

Ю.И. ТУБОЛЬЦЕВ

СЦИПИОН



Социально-исторический роман

Том II

ББК 63.3(0) 32

Т81

Ю. И. Тубольцев

Т81 СЦИПИОН. Социально-исторический роман.

Том II. – М.: Полиграф сервис, 2007. – 496 с.

ISBN 978-5-86388-151-5

Главным героем дилогии социально-исторических романов «Сципион» и «Катон» выступает Римская республика в самый яркий и драматичный период своей истории. Перипетии исторических событий здесь являются действием, противоборство созидательных и разрушительных сил создает диалог. Именно этот макрогерой представляется достойным внимания граждан общества, находящегося на распутье.

В первой книге показан этап 2-ой Пунической войны и последующего бурного роста и развития Республики. События раскрываются в строках судьбы крупнейшей личности той эпохи – Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего.

ISBN 978-5-86388-151-5

© Ю. И. Тубольцев, 2005 г.



С Л А В А

1

Итак, завершилась величайшая война, самая масштабная и кровавая, подобной которой не было в предшествовавшей истории. Римляне одолели карфагян. Потерпев на первом этапе борьбы несколько катастрофических поражений от изощренного и экономически более могучего соперника, Рим оказался на грани полного краха, но, будучи молодым и нравственно здоровым государством, почерпнул в своих недрах новые силы. Был приведен в действие потенциал, заложенный в единстве целей граждан, и война стала делом каждого римлянина, война стала народной. Карфагяне не смогли ни понять истоки возродившей римской мощи, ни совладать с нею прежними средствами. Холодная власть денег уступила живой страсти и воле людей. В войне настал перелом, а затем Рим окончательно сокрушил Карфаген.

И вот теперь лучшая часть победоносного войска шла по Италии, возвращаясь из славного африканского похода, в котором было разгромлено шесть вражеских армий, общей численностью в пять раз превышавших силы победителей вместе с союзниками. Весь путь колонна проходила сквозь одну сплошную толпу счастливых людей. Вся Италия сошлась сюда, чтобы поприветствовать чудо-воинов и удивительного полководца, выигравшего все сражения, последовательно повергшего в ничтожество всех карфагенских военачальников, одолевшего, кроме того, нумидийцев и иберов, полководца, чьи операции поражали воображение смелостью, внезапностью и неизменной удачей, отчего казались не порождением человеческого разума, а промыслом богов. Широко раскрытыми глазами смотрели люди на приятного длиннокудрого еще



молодого человека с широким добродушным лицом, спеша насладиться свои взоры и созерцанием приобщиться к величию свершившегося.

А Публий Сципион несколько растерянно глядел по сторонам и не видел ничего конкретного, отдельного, воспринимая только общее единое ликование, предстающее взору в калейдоскопе различных образов и лиц, и причудливо сплетающееся с его собственными переживаниями. Он, величайший человек этой страны, возглавивший ее борьбу за свободу, принесший ей сверх того славу и первенство в мире, чувствовал себя сейчас маленьким мальчиком, который заблудился в лесу, наполненном ужасными чудовищами и зубастыми хищниками, и, только что вырвавшись из чащи, увидел свой дом, стоящую на пороге мать, и уже ощущал радость встречи, но еще не избавился от страха перед лесом. Семнадцать лет прошли беспросветным жестоким кошмаром, и лишь теперь Публий возвращался к тому состоянию душевного равновесия, каковое наполняло его силой и гордостью свободного человека, когда он семнадцатилетним юношей выступил с Марсова поля в составе отцовского войска навстречу судьбе. Лишь сегодня он смог увидеть голубое небо Италии и не устыдиться пред сияющей весенней природой Родины.

Однако праздник, шествующий по стране вместе с войском Сципиона, не мог стереть с нее следы многолетних подвигов Ганнибала. Итальянская земля зияла чернотой пожарищ там, где прежде зеленели виноградники и оливковые рощи, вздымалась горами развалин на месте обращенных в руины городов, белела в укромных уголках рассыпями человеческих костей, обглоданных волками. Эти картины, встречающиеся на всем пути победителей, пока отстранялись в сознании людей на задний план зрелищем торжествующих сил обновления, и никто еще сейчас не мог узреть в них знак грядущего упадка Италии; ныне казалось, что жизнь навсегда восторжествовала над смертью.

Достигнув Рима, Сципион и его воины расположились на Марсовом поле. На следующий день туда же, в храм Беллоны, прибыл сенат в полном составе, за исключением магистратов, находящихся в своих провинциях. Сципион, выступив перед собранием, коротко рассказал об африканской экспедиции и намекнул на триумф, которым следовало бы поощрить победоносное войско. Сенат возликовал оттого, что прославленный полководец не пренебрег традицией и сохранил в вопросе о награде уважительную форму просьбы. Несколько ораторов произнесли похвальные речи императору и всему его штабу, а затем победителям единодушно был присужден триумф. По завершении официальной части встречи сенаторы всех партий и группировок, как мальчишки, гурьбою бросились к Сципиону и, перебивая друг друга, благодарили его за



великое благо, принесенное им Родине. Сейчас они взирали на героя такими же удивленными и восхищенными глазами, как и простонародье на дорогах Италии при его марше от Путеол до столицы.

Этот человек смог исполнить все свои обещания, когда-то казавшиеся бредом воспаленного тщеславия. Чуть ли не частным образом собрав войско, он вторгся в Африку, в то время, как другие полководцы с опаской перемещались даже по Италии, сумел найти там союзников, причем не только из числа нумидийцев, но и среди пунийцев, держава которых в согласии с его предвидением действительно оказалась весьма рыхлой, разгромил четырех полководцев, включая и матерого Ганнибала, шестнадцать лет державшего в страхе всю Италию, не оставив им никаких шансов на продолжение борьбы, и привел некогда могучего врага к капитуляции. Четыре года назад каждый считал себя вправе критиковать Сципиона, высмеивать его планы, обвинять в личных амбициях, три года назад побуждаемые соперничеством сенаторы стремились сорвать африканский поход, два года назад они потворствовали тогдашнему консулу, пытавшемуся отнять у Публия власть, в прошлом году без государственной необходимости создали ему нового конкурента, и даже месяц назад старались вырвать славу уже прямо из его рук. А ведь и четыре, и три, и два, и один год назад он был таким же, как и теперь: он так же любил Отечество, имел тот же ум и то же обаяние, а сверх того, был переполнен блистательными идеями, каковые, реализовавшись, ныне покинули его. Что же изменилось? Он достиг успеха! Успех, внешний фактор, мало относящийся к качествам личности, ибо подвержен случайностям, осенил его светом формального, запечатленного вовне величия, и люди, глядя на эту тень, брошенную личностью на события, по ней только и оценили человека. Есть в такой оценке и доля справедливости, и доля обиды. Потому Публий и радовался этому признанию со стороны сенаторов, и огорчался ему, мысленно спрашивая себя, а может быть, богов: «Почему же эти люди только сегодня проявили участие ко мне, сегодня, когда оно уже не нужно мне? Почему же я должен был бороться с ними, когда шел на большое дело, то самое, за которое они теперь превозносят меня?» Впрочем, в реальности все обстояло не совсем так, и Публий, конечно же, признавал это. Сципиона оценили задолго до нынешнего дня. Непосредственно по личным качествам, идеям и мыслям его оценили друзья, потому что им было по пути с ним. Опираясь на них, он и добился удачи. Опираясь на них, и победил Рим, ибо заложенными в себе моралью и государственным порядком позволил проявиться лучшим качествам лучших людей.

Несколько дней Сципион готовился к триумфу. Он вложил в это дело весь свой организаторский талант. Усталость от общественных ме-



роприятий, накопившаяся в нем за многие годы проконсульств, отошла на задний план, отступив перед важностью задачи, состоящей в том, чтобы великому походу придать величественное завершение.

Триумфальное шествие должно было стать своеобразным рассказом о военной кампании, сочетающим обряд с различными видами искусства. Потому Сципион привлек себе в помощь лучших живописцев, поэтов, музыкантов, а также инженеров и всевозможных мастеров. На Марсовом поле кипела многообразная деятельность. Кто-то сооружал гигантские стенды, кто-то расписывал их картинами, оркестр репетировал марши, тут же создавались макеты городов, возводились элементы укреплений, то там, то здесь маршировали солдаты, сверкал металл знамен, звенело оружие. Со стен города можно было бы принять эти приготовления за осадные работы вражеского войска, если бы не звучащее повсюду имя «Сципион», заставляющее ликовать сердца людей.

И вот настал тот день, в ожидании которого семнадцать лет томилась страна под гнетом захватчика, мысль о котором семнадцать лет вдохновляла Италию на борьбу с агрессором, наступил день, всю долгую войну питавший надеждой иссушенные несчастьями души людей. Родившаяся в далекой Африке Победа наконец-то пришла в Рим.

Уже накануне в огромном городе поселилось Возбуждение и не позволило гражданам уснуть всю ночь. Еще затемно взбурлили людскими потоками улицы, по которым живые реки, клокоча эмоциями радости и счастья, устремились к площадям, образуя там озера, затем текли далее за померий на Марсово поле, чтобы разлиться на просторе могучим морем и в волнах любви и восторга омыть ратный пот своих героев.

Именно отсюда, с Марсова поля, откуда войска обычно отправляются на войну, и двинулась торжественная процессия в город, чтобы внести в него мир. На всем пути до городской заставы вдоль Фламиниевой дороги выстроились десятки тысяч благодарных людей, спешащих воздать хвалу полководцу и воинам за подвиг, свершенный ими во имя Отечества, и народ все прибывал, собираясь на празднество из окрестностей и даже – из довольно отдаленных мест Республики. Шествие растянулось на несколько миль, и когда голова колонны через Триумфальные ворота вступила в город, проследовала мимо крутого Капитолия и стала огибать колыбель Рима – Палатин, легионеры, замыкающие процессию, еще не тронулись с места и по-прежнему находились на Марсовом поле, и здесь, однако, не обделенные вниманием. Впереди шли магистраты и сенаторы в сверкающих аристократической белизной тогах, увенчанные лавровыми венками, за ними дружно шагал военный оркестр, энергичным звучанием парадного марша чеканя шумный восторг толпы на музыкальные периоды, задающий



эмоциям четкий ритм, отчего многоголосый гам народной массы начинал звучать как гимн, потрясая здания Вечного Города обретенной в слаженности мощью. Далее, бряцая блестящим металлом, тянулся, по виду, бесконечный караван повозок с добычей, больше сотни из которых были загружены только серебром в монетах и слитках, на других телегах вздымались груды вражеского оружия и предметов искусства в основном греческой работы, так как произведения пунийского творческого вдохновения поднаторевшими за последние десятилетия в подобных вопросах римлянами без особых колебаний были удостоены переплавки на металл. За добычей следовал запечатленный в зрительных образах рассказ о том, как эта добыча была завоевана; тут везли макеты штурмовых башен, хитроумно сконструированные боевые машины, прочие диковины и во множестве – транспаранты с картинами, последовательно повествующими о ходе африканской кампании. Горожане могли увидеть, как проконсул приносил жертвы богам в день прибытия на вражескую землю, как были взяты первые пунийские города, как полыхал лагерь Сифакса, а затем – Газдрубала, как оказалось разгромленным неприятельское войско в правильном сражении на Великих Равнинах. Была здесь и красочная картина, прославляющая героическую смерть дочери Газдрубала, ибо римский народ, превыше всего ставивший доблесть, тщательно собирал по всему миру примеры явленного представителями рода людского величия, чтобы передать эти истинные сокровища человечества последующим поколениям. С наибольшими подробностями живописалось, естественно, о событиях войны с Ганнибалом. Эмоциональные римские граждане словно вживую воспринимали сцены беспримерного похода на край обитаемой земли, встречи и переговоров двух знаменитых полководцев, самой величайшей битвы всех времен, кровавого возмездия самонадеянным завоевателям и наконец безоглядного бегства Ганнибала, покрывшего его, по понятиям римской морали, вечным позором. Последнее полотно изображало коленопреклоненный карфагенский совет старейшин и гордо взирающих на него победителей. С этих картин, не всегда умело передававших пропорции пространства и человеческих фигур, но обязательно точно выражающих характер каждого эпизода, на горожан взирали герои и антигерои этой войны. В крупных планах представляли лица Сципиона, Лелия, Октавия, Бебия, Минуция Терма, Масиниссы, простых солдат и центурионов, отличившихся в ожесточенных сечах, а также – Софонисбы, Ганнибала, Газдрубала, Сифакса и Ганнона.

Живописная поэма о пути к победе сменялась зрелищем попроще, но оттого не менее удивительным для простолюдина, ибо впервые по улицам Рима вели слонов. Несколько десятков этих грозных живот-



ных, захваченных в последних битвах с карфагенянами, придавали сегодня истинно африканский колорит ливийскому триумфу римлян. А за слонами, представляя противоположный полюс эмоционального спектра многоликой процессии, угрюмо шли пленные, гремящие цепями в назидание всем завоевателям. Тут их было несколько сотен, отобранных по критериям знатности и воинских отличий из бесчисленных толп, порожденных жестокой войной. Среди них находились галлы, иберы, лигуры, балеарцы, лузитаны, мавританцы, нумидийцы, ливийцы, македоняне, но большую часть все же составляли карфагеняне из офицерского корпуса пунийских войск. Люди, некогда занесшие меч войны над Италией, яростно грозившие Риму, мечтавшие о Риме, теперь шли по улицам этого города. Восемнадцать лет назад нутро им разедала ядовитая смесь тщеславия и корысти, заразившая их тогда небывалой мощи разрушительным потенциалом, пробудившая свирепую жажду крови. Но, разорвав когти и обломав зубы о сталь римского характера, чудовище дурных человеческих страстей оказалось поверженным и смрадным трупом придавило души своих бывших хозяев. И вот теперь несчастные карфагеняне, согбенные грузом собственных пороков и разочарованием в былых идеалах, вступили в город, преподавший им суровый урок. Они опускали головы пред гневными взорами победителей и прятали взгляд на камнях мостовой. Лишь некоторые из них, закалившие дух в бедах, находили в себе силы вспоминать о канувшем в прошлое могуществе своей Родины и мужественно поднимать глаза навстречу страшному зрелищу торжествующего врага, а другие старались держаться прямо и невидящими глазами смотрели перед собою, будто бы возвысившись над окружающим, будто бы перешагнув уже через позор и отчаянье. Однако при этом все они невольно ступали в такт звукам гремящего позади них оркестра, подчиняясь ритму, задаваемому счастливым победителем.

На смену мрачному звену колонны приближалась самая яркая ее часть, в которой взорам горожан предстал сам триумфатор. Связующим элементом между двумя контрастными этапами шествия выступали жертвенные быки, предназначенные в дар Юпитеру. Эти животные безукоризненного телосложения, белые, как сенаторская тога, были украшением мычащего племени, а люди добавили им блеска в своем вкусе, раззолотив им рога и обвешав гирляндами из роз. Вся предшествовавшая жизнь могучих красавцев, проведенная в сытости и при заботливом уходе, а также теперешний праздничный вид гармонировали с настроением торжества, но участь жертв сближала их с карфагенянами.

Перед полководцем шел еще один, на этот раз мирный оркестр, оглашающий пространство звоном кифар и заливыстыми трелями флейт,



и, конечно же, – ликторы, облаченные в пурпурные туники; их фасцы, этот грозный символ власти, сегодня были увиты лавром. Император ехал стоя на богато разукрашенной колеснице, запряженной четверкой белых коней. На нем величаво, словно сознавая свое назначение, колыхалась пурпурная тога, расшитая золотыми нитями, слагающими узоры в виде пальмовых листьев. В одной руке триумфатор держал скипетр Юпитера из слоновой кости, взятый в Капитолийском храме, а в другой его руке мерно раскачивалась ветвь с дерева победы – лавра. Над головою императора священнослужитель держал золотую корону, тоже позаимствованную из храма. По смыслу обряда, Сципион изображал сегодня главу божественного мира, потому его лицо было раскрашено охрой, и он пользовался храмовым снаряжением Юпитера. Императора окружали взошедшие на колесницу миловидные дети патрицианских фамилий. Вокруг колесницы на конях ехали юноши из числа родственников Сципиона, а несколько сзади держались следующие также верхом легаты полководца. За колесницей шли штабные чиновники, писцы и переводчики, затем – наиболее знатные римляне из числа вызволенных Сципионом из карфагенского плена, среди которых особо выделялся демонстративно напяливший колпак вольноотпущенника сенатор Квинт Теренций Куллеон, а далее весело шагало войско, распеваящее шуточные песенки «квадратными» стихами. При этом, однако, воины двигались слаженно, в полном порядке, каждое подразделение было на отведенном ему месте со своим знаменем. Легионеры выступали во всей красе, сверкая начищенными доспехами и наградными знаками, и представляли такое же торжественное зрелище, как и перед сражением с наемниками Ганнибала, только в руках у них вместо зловеще бряцающего оружия, мирно шелестели ветви все того же лавра.

По мере продвижения вперед праздничная колонна приобретала все больше зрителей. Преодолевая городскую тесноту, люди всходили на холмы, взбирались на крыши зданий, занимали окна, балконы и, конечно же, заполняли перекрестки, площади и вообще любые расширенные места улиц. Со всех сторон на участников триумфального шествия взирали тысячи восхищенных глаз, к ним простирались в знак приветствия тысячи рук, их славил тысячи голосов. При этом каждый этап процессии получал свою особую долю народного признания.

Первыми шли сенаторы, и простые граждане, глядя на них, ликовали, словно не видели их на форуме еще вчера, будто те и впрямь прибыли из Африки. В духовной атмосфере триумфального Рима величаво шествующие патриархи, гордою грацией заставляющие вспоминать отзывы иностранцев о сенате как о собрании царей, действительно представляли конструкторами, авторами достигнутой победы, ибо это воин-



ство в белых тогах являло собою коллективный разум государства. «Ведь именно тогда, когда после кризиса первых лет войны сенат взял управление Республикой в свои руки, дела и пошли на поправку!» – раздавались голоса в толпе. «И наше участие в политике стало благотворным для Отечества только после того, как мы прекратили противопоставлять себя сенату, а начали поддерживать его передовую партию», – подхватывали остальные, и, возбуждая друг друга таким образом, люди отчаянно рукоплескали отцам Города.

При виде добычи, назначенной в государственную казну, народ шумно радовался возрождению финансовой мощи Республики и очередную повозку с серебром отмечал новым возгласом, словно каждый римлянин провожал ее в собственный двор, а пожалуй, и еще веселее, так как любой гражданин понимал, что его личное богатство, сколь велико бы оно ни было, не защитит ни от нашествия карфагенян или галлов, ни придаст ему авторитета в средиземноморском мире, тогда как общественное достояние обеспечивает всякому римлянину и то, и другое.

Рассматривая катапульты, баллисты, тараны и прочее армейское оснащение, простолюдины проникались сознанием сложности современных боевых действий и оттого еще сильнее гордились достижениями соотечественников. А при изучении повести о ходе африканской кампании по представленным в процессии картинам и макетам, мощный гам толпы превращался в рокот, подобный звукам бурлящего на каменистом пороге горного потока, разбивающегося препятствиями на множество струй, поскольку люди прерывали монотонное выражение восторга и разноголосно обсуждали увиденное, делились впечатлениями. Они живо сопереживали явленным в красках героям, мысленно свершали вместе с ними подвиги, праздновали успехи сограждан, расстраивались из-за их частичных неудач, экспрессивно изливали любовь к своим воинам и извергали ненависть к врагам. «Пройдя с боями по Африке» вслед за войском Сципиона, «завоевав» множество городов и «выиграв» в завершение захватывающе острый поединок с Ганнибалом, горожане отдыхали от эмоциональных трудов, созерцая экзотическое для Рима шествие слонов. Возгласы удивления смешивались с весельем. Особенно радовались дети. «Смотрите, какие большие свиньи!» – восклицали они, показывая на огромных животных. «В Африке все такое крупное», – поясняли своим чадам мамыши. «Кроме людей», – добавлял при этом кто-либо из стоящих поблизости ветеранов.

Появление скованных цепями шеренг пленников зрители встречали гулом недоброжелательства. На головы горе-завоевателей сыпались насмешки мужчин, некогда сражавшихся против них на всем пространстве Западного средиземноморья, проклятья женщин, потерявших в



битвах с ними сыновей или мужей, издевательства подростков, не успевших проявить себя в сражениях и стремящихся компенсировать недостаток дел острословием.

Зловещий хор Рима, звучащий под аккомпанемент лязгающих оков, действовал отрезвляюще на одурманенных мечтами о мировом господстве пунийцев, и если кому-то из них суждено выйти живым из римской тюрьмы, вряд ли он еще раз ступит на поле брани.

Когда же мрачную колонну пленных сменяла блистающая дорогим убранством колесница, везущая самого триумфатора, дух людей с низин яростных страстей войны взмывал к солнечным вершинам счастья. Не имея возможности ринуться навстречу народному любимцу, чтобы непосредственно обнять его, сограждане голосом и жестом посылали ему свои лучшие чувства. Женщины бросали национальному герою цветы, из окон многоэтажных зданий императора осыпали лепестками роз. Пропорционально заслугам изъятие почестей и любви распространялось на свиту полководца и его войска, так что расцвеченные букетами ряды легионеров скоро стали походить на яркую клумбу.

Между тем шествие продвигалось все дальше. Обогнув Палатинский холм, процессия вступила в Большой цирк, битком забитый зрителями, занявшими здесь места еще с ночи, проследовав через него, завернула на Этрусскую улицу и далее по Священной улице приблизилась ко входу на Капитолий.

Когда сенаторы уже толпились на форуме, Сципион только въезжал в Большой цирк. Это было апогеем праздничного марша по городу, ибо, проехав под аркой парадного входа на стадион, император предстал сразу перед шестьюдесятью тысячами людей. С его появлением все с криком вскочили с мест и показалось, будто даже статуи, возвышающиеся на колоннах, вздрогнули и ожили, загудев медными чревами. Грянул шквал восторга, который словно подбросил триумфатора к небесам, и с высот он узрел картину, доступную лишь богам, охватывающим единым взором всю Землю, населенную благодарным к ним человечеством.

Так Сципион, формально изображая по ходу ритуала Юпитера, могучей волной народного ликования действительно был вознесен в заоблачные дали страны чувств и душою слился с всеобъемлющим божественным духом. В выражении признания толпа достигла вдохновения: ее возгласы, крики, рев являли собою поэзию народа и звучали гимном победителю, ласкающим его слух слаще медоточивых строф Пиндара. Насыщаясь эмоциями десятков тысяч людей, Публий ощущал себя великаном, способным на самый невообразимый подвиг ради обожающего его Отечества, и если боги, восседая на Олимпе, испытывали



какое-либо иное состояние, отличное от того, в котором пребывал сейчас он, то не стоило людям завидовать их доле.

Он достиг высочайшего пика человеческой жизни, сверх которого желать уже было нечего, так как ничто не может быть прекраснее заслуженной награды, и не существует награды выше благодарности своего народа.

«Ах, Ганнибал! – мысленно воскликнул Сципион. – Если бы ты видел такое, разве посмел бы ты ступить на нашу землю! Ни один пуниец или грек не способен столь жаждать победы, как римлянин, ибо никакой иной народ, кроме племени Квирина, не умеет столь ярко одарять своих героев!»

В самом деле, в гигантской чаше стадиона сейчас сконцентрировалась вся жизнь Республики, чтобы всеми силами Родины воздать почести героям, тогда как в Карфагене и в других крупных городах Эллинстического мира жизнь давно уже ушла с площадей и из общественных сооружений и, измельчав, расплзлась по частным дворам, забившись в сундуки и закрома, скрывшись за заборами и под замками. Что, кроме алчности и тщеславия голого индивидуализма, осталось в удел вождям этих народов? А каковы их чувства, таковы и дела!

Таким образом, превратив согласно своему нраву заимствованный у этрусков религиозный обряд в торжество по восхвалению победоносного полководца, римский народ создал могучее средство воздействия на души собственных лидеров и, держа их всю жизнь в узде закона, однажды сверхмерным почетом в несколько часов восполнял их силы, затраченные в течение многих лет на служение Отечеству. Возвышаясь в такие дни изъявлением благодарности до уровня произведения особого народного искусства, порождая шедевр общественной жизни, римляне воспитывали этим в согражданах, как и должно всякому шедевр, героический дух, ибо кто из воинов, идущих ныне в триумфальной процессии, мог пожалеть о полученных в борьбе за Родину ранах, кто из мальчишек, иступленно кричащих сейчас на ступенях Большого цирка, мог не возжелать сильнее всего на свете подобной славы!

«Да здравствует Публий Корнелий Сципион Великий! – раздавались с трибун тысячи возбужденных голосов». «Да здравствует Публий Сципион – победитель карфагенян, гроза африканцев! Слава Публию Корнелию Сципиону Африканскому!» – мощным рокотом неслось по стадиону, пока триумфатор величаво следовал по вытянутому полуовалу арены, и казалось, что не колесница везет его, а парит он в волнах всеобщего ликования. Множество титулов и эпитетов звучало здесь в его адрес, но к моменту, когда триумфатор подъехал к северным воротам цирка, победил один, и шестьдесят тысяч людей вдохновенно сканди-



ровали: «Слава Публию Корнелию Сципиону Африканскому!» Так, впервые в римской истории из недр любви народной произошло почетное прозвище полководцу по названию побежденной им страны.

Когда опьяневший от счастья Сципион оказался за пределами цирка, вслед ему еще долго гремел клич сограждан, столь громко, неистово славящих героя, что думалось, будто они желают донести его имя до небесных богов. Позднее над стадионом стали разноситься крики: «Слава непобедимым богатырям Сципиона! Слава римскому оружию! Слава богам – покровителям Республики!»

В это время Публий уже следовал вдоль Палатинского холма, на склоне которого располагался дом Сципионов, но он даже забыл взглянуть на него, поскольку целиком был поглощен созерцанием добрых, а потому прекрасных лиц приветствующих его сограждан и не мог оторваться от этого, самого радостного человеческого глазу зрелища; домом сейчас был для него весь Рим и вся Республика. А триумфальная колесница влекла его дальше и дальше вдоль бесконечных рядов счастливого люда и наконец доставила главного героя дня на форум, где толпу простонародья сменила столь же доброжелательная толпа сенаторов. За массой народа колесница уже не была видна, и казалось, что пурпурный юпитероподобный Сципион плывет по белому морю аристократии.

Спешившись у подножия Капитолия, триумфатор в сопровождении сенаторов и жрецов взшел на высшую из двух вершин холма, согласно обычаю, вознес мольбы государственным богам и приступил к торжественному и суровому ритуалу жертвоприношения. Сложив на жертвенном камне буйные головы с позолоченными рогами, красавцы-быки связали земные дела с промыслом небес. Завершив обряд, Сципион окинул сверху прощальным взором радостно бурлящий Рим, «вернул» Юпитеру золотой венок, скипетр, колесницу и мирным человеком, рядовым гражданином спустился с Капитолия.

На следующее утро Сципион сменил военное облачение на белую тогу и предстал перед соотечественниками как их сотрапезник и симпозиарх в гигантском пире, устроенном в честь победы римского народа над Карфагеном.

Торжества, начатые ярким и грозным зрелищем триумфа, теперь продолжались более привычными городскими празднествами, как бы переводящими государство из состояния войны в мир. Несколько дней длилось всенародное угощение, в котором участвовали и солдаты, получившие от триумфатора щедрые премиальные, проходили цирковые игры, театральные представления и совершались праздничные молебствия. Площади были заставлены столами с яствами, на аренах сражались африканские звери, на временных подмостках давались комичес-



кие пьесы с пантомимой, храмы распахнули ворота, призывая людей к украшенным венками, окутанным благовонными курениями святилищам, и все это наполняли жизнью непрерывно движущиеся толпы веселящегося люда. Сам Сципион пировал на Капитолии, куда он пригласил всех сенаторов консульярных родов, и в общении блистал мирными талантами не меньше, чем год назад – военными.

Никогда прежде Рим не знал такого яркого, богатого дарами триумфа и столь пышных празднеств, но никогда прежде не бывало и подобных побед, и никогда раньше государство не поднималось до уровня нынешних высот. Побуждаемые необходимостью противостояния жестокой внешней силе к тесному сплочению граждане приобщились к величию больших дел, вкусили радость прямого, полнокровного человеческого общения и познали гордость коллективной мощи. Отточив во взаимоотношениях под влиянием экстремальных условий войны нравственные нормы, добившись сближения писаных законов с моральным законом, римская община укрепилась внутренне, словно закалившись в битвах и невзгодах. Триумф Сципиона как раз и отметил собою завершение этапа становления нового качества, и заодно с африканской победой Республика праздновала вступление в эпоху расцвета, оказавшейся, увы, недолгой, ибо накопленный духовный потенциал, реализуясь в расширении государства, в новых условиях не находил пищи для своего воспроизводства и скоро исчерпал себя, в результате чего Рим был обречен на длительный упадок, сменившийся столетней агонией гражданских войн и в конце концов потонул во мраке монархии.

2

Сципион стоял в атрии своего дома и задумчиво смотрел в нишу ларария. Его взор насыщался изображениями предков, а мысли наполнялись воспоминаниями об их деяниях. В портретных масках, надетых на терракотовые бюсты, представляли лица великих людей рода Сципионов. Посредством этих мертвых символов предки оживали в пронизанном патриотизмом, как и все прочие стороны души, воображении потомков, спрашивали с них за проступки, утешали их в бедах, славили в победах и вдохновляли на подвиги. Вот и сегодня герои прошлых времен будто сошлись в домашнюю курию, чтобы принять отчет о свершениях нынешнего носителя их фамилии. Здесь был отец Публия, в чье консульство началась величайшая война, дед Луций Корнелий Сципион – консул времен первой войны с Карфагеном, прадед – известный современник знаменитого Аппия Клавдия Цека – Луций Сципион Бородатый, и ряд этот продолжался, уходя в глубь веков до эпохи диктатора Марка Фурия Камилла, начальником конницы у которого был Публий



Корнелий Сципион. На каждом бюсте блестела серебряная табличка с перечнем магистратур соответствующего патриарха, его титулов и достижений на поприще общественной деятельности. Эта лаконичная, подобная записи понтификов летопись Сципионов воспринималась как часть летописи Республики и показывала, сколь тесно сплелась история рода с историей Отечества. Публий мог смело смотреть в каменные глазницы своих предков, лучащиеся незримым светом высших миров, ему было что сказать им в ответ на их безмолвный вопрос. Получив, как бы по наследству от отца, войну с могущественным противником — Карфагеном, он привел ее к блестящему завершению и, принеся Родине ярчайшую победу, на столько превзошел славой всех предшественников, на сколько современное государство силой и мощью превзошло Рим предков. Мысленно повествуя о своих делах пред суровым непогрешимым судом, возвышающимся над временем, Публий вновь переживал историю войны во всех ее взлетах и падениях. Развертывающаяся его внутреннему зору картина была столь огромна, что ее трудно было обозреть целиком даже с высоты триумфального пьедестала Капитолия, и ему казалось, будто большая часть событий его жизни произошла не с ним, так как совершенное им в своей грандиозности представлялось непосильным человеку. Размышляя о деяниях недавних лет, он поражался необъятности человеческих возможностей, дивился формирующей способности идеи и цели, преобразующих рыхлую людскую массу в монолит, из которого создаются монументы вечной славы.

Сознавая значительность пройденного жизненного пути, помня затраченные труды, Публий удивлялся нынешнему состоянию своих души и тела. Казалось, неистовые военные годы спрессованной до умопомрачительности жизни должны были поглотить все его силы, выжать все эмоции, обескровить желания и превратить его в тридцатилетнего старца, но именно сейчас он ощущал особый приток энергии, которая, однако, не бурлила в нем подобно горной реке, как было прежде, а равномерно наполняла всего его мощью, роднящей душу с океаном. Думалось, что, познав головокружительные высоты сказочных успехов и бездны жестоких несчастий, взлетов на крылах славы к самому трону небесных богов после долгого восхождения чуть ли не из самого царства сумрачного Плутона, он зачерствеет в своем восприятии житейских радостей, но этого не произошло. Казалось, что земное существование исчерпало в нем все возможные сокровища и боли, но он вновь хотел жить так же сильно и естественно, как младенец. Растратив больше всех других, он больше всех и получил. Вопреки обывательскому мнению, жизнь дарит силой того, кто не щадит себя и достигает высшей самореализации в делах своего предназначения.



Правда, новая потребность жизни направляла его помыслы в иную сторону. Он не желал бы теперь снова стать во главе войска и идти на следующую войну: на этом пути самые трудные тропы были им уже пройдены, это поприще уже не сулило ему достойных вершин. Ему требовалась перемена рода деятельности, и он жаждал мирных забот, тревог и удач, мирного счастья.

На этом месте мысль Публия оборвалась, так как краем глаза он увидел Эмилию, скользнувшую из женских покоев в направлении перистилля. Он заметил, как она тайком посмотрела на него и тем проявила желание общения, но не решилась окликнуть мужа, боясь помешать ему в размышлениях. Тут Публий ясно осознал необходимость для него самого и для его близких окунуться в поток семейных радостей, звучащий нежным шелестом любовных ласк и веселым журчаньем детского лепета и смеха. Ему в тот же миг захотелось догнать Эмилию и, по возможности, возместить ей лишения долгих лет разлуки, но он почему-то замешкался и ушел в таблин.

Уединившись в кабинете, Публий углубился в анализ своих чувств. Его томила внутренняя тень, лежащая на в целом светлом отношении к жене, а он хотел выйти к ней, только полностью очистившись от сомнений и призраков былых страстей. Ему вспомнилась их первая по его возвращении из Африки встреча. Тогда, увидев ее, он сразу ощутил всплеск искренней радости, но это была радость друга, а не любовника, и только позднее его слегка взволновала ее женственность. А между тем аристократическая, интеллектуальная красота Эмилии не потерпела ущерба от времени, и на пороге тридцатилетия Павла была столь же прекрасна, как и в двадцать лет, что всегда отличает женщин, питающих внешнюю прелесть глубинными родниками духа, от простушек, чья скоропортящаяся девическая миловидность, не имея корней в душе, быстро вырождается в гримасу тупоумной мегеры. И хотя она немного пополнела, это тоже не портило ее, поскольку придавало телесным формам зрелую округлость, уподобляя весь облик налитому спелому плоду.

Глазами Публий видел, сколь хороша Эмилия, но его чувства были сориентированы на иную красоту и устремлены к другому образу. Пройдя эстетическое воспитание в годы молодости, его душа навсегда усвоила те давние каноны прекрасного и с того времени неукоснительно следовала им в симпатиях, антипатиях и влечениях. В поисках родной своему духу красоты Публий вновь и вновь возвращался мыслью к испанскому чуду, сверкнувшему перед ним вспышкой эмоционального света, озарившего на миг сказочную страну и тут же погасшего, в результате чего у него остался лишь бестелесный образ идеала, не способный заполнить собою жизнь и одновременно затмевающий все про-



чие ценности. Любой порыв его чувств неизменно разбивался об испанскую преграду и разливался по душе томящей тоской. Но, обращаясь памятью к мучительной сцене пира на свадьбе Виолы, Публий в который раз вынужден был признать свое бессилие перед задачей, поставленной ему судьбой. Повторись все заново, он опять поступил бы так же и не только из соображений политики, нравственности и римской гордости, но и во имя самой страсти, так как, дав волю чувствам, он не достиг бы в любви с той женщиной ничего значительного, а физическая близость с существом иной духовной природы привела бы только к разочарованию и гибели идеала. Увы, Виола явилась в мир лишь как обещание счастья людям далекого неведомого будущего, указав примитивному обществу вершину эстетических возможностей человечества, будучи в то же время обречена в земной жизни на поправление своих достоинств как из-за невежества окружающих, так и ввиду неразвитости собственной души. Остается только удивляться расточительности природы, которая неразумно разбрасывает человеческие таланты по свету, как икринки в море, тогда как лишь незначительная часть их задерживается в дырявом ковше Фортуны, а остальные, просыпаясь сквозь прорехи, упадают в грязь.

Итак, очистив душу едкой щелочью анализа от лишних эмоций, Публий в очередной раз пришел к выводу, что сожалеть ему не о чем, поскольку печальный исход его встречи с иберийской красавицей был неизбежен. И все же, вспоминая об Испании, он всегда испытывал чувство, подобное по типу, но, конечно же, не по силе, переживаниям купца при виде морских вод на месте, где канули в пучину его корабли, утащившие с собою в сумрачные глубины груз пурпурных тканей, драгоценных камней, произведений человеческого искусства и дорогих вин.

И при всем том, Публий понимал, что лучшей жены, чем Эмилия, у него быть не могло, и сознание этого заставляло его раскрывать ей навстречу свои объятия. Так разум одержал победу над своенравием чувств сегодня, так же происходило и в дальнейшем. Однако интимная часть семейной жизни постоянно требовала от него усилий воли и этим изнуряла его.

Всю сознательную жизнь идя к заветной цели в области общественных дел, давясь меж жерновов интересов различных партий и слоев населения, он вынужден был вступать в компромиссы и, дабы честно вести главную линию своей политики, допускать лицемерие в частных. Человеку, ощущающему в себе истинно значимые для общества таланты, естественным образом чужда ложь – оружие тех, кто стремится занять место выше обусловленного его способностями. Поэтому, с честью выдержав все испытания, пройдя великий путь в основ-



ном без духовных и физических потерь, Публий устал только от одного – от необходимости хитрить, пусть в незначительной степени, в народном собрании, на войсковой сходке, ловчить в курии. Теперь же, достигнув в государстве положения, соответствующего значимости своей личности, он надеялся, что тем самым заслужил право на абсолютную искренность в обращении со всеми согражданами, но вдруг в первый же день по возвращении из похода в собственном доме столкнулся с тем самым злом, каковое повсюду преследовало его прежде, и должен был имитировать пыл влюбленного, не будучи влюбленным – удручающая насмешка судьбы над его мечтою!

Позднее, когда Публий вновь привык к жене, супружеские обязанности стали менее тяготить его, и порою ему даже казалось, что его отношение к Эмили и есть наилучший род чувств мужчины к женщине. Но в один из таких периодов уравновешенного состояния его постиг новый моральный удар. Увидев, выходя однажды из спального покоя, пятилетнего сына, хилого и слабого, с непропорционально большой головой, сосредоточенно пускающего кораблик в бассейне атрия, он вдруг ощутил свою ответственность за болезнь этого несчастного существа. «Какова любовь, таков и плод, – подумалось ему, – любовь рахитична, болен и сын». Тайное стало явным: то, что он пытался запрятать в глубине души, выплыло на поверхность и, облекшись в человеческую плоть, теперь постоянно было перед глазами. Это вновь внутренне осложнило его отношение к Эмили, зато сыну, мучаясь сознанием вины перед ним, он стал уделять внимания больше.

Маленький Публий пребывал в том возрасте, когда дети еще находятся под опекой матери, и потому редко покидал женскую половину дома. Но с некоторых пор отец все чаще зазывал его к себе или, в теплые дни, – в перистиль и целые часы проводил в играх с ним. Мальчик был очень стеснительным, что мешало ему проявлять лучшие задатки, и оттого казался несообразительным, однако при доброжелательном подходе в нем можно было обнаружить не только острую смекалку, но и совсем недетскую рассудительность. Все больше занимаясь с сыном, Публий раскрывал в нем все новые и новые способности и, вспоминая себя в такие годы, должен был признать, что во многом уступал ему. Его любовь к сыну усилилась, но вместе с тем стала сильнее и скорбь по поводу болезни. Чем заметнее оказывались блестящие таланты в мальчике, тем больнее было видеть, как тонут они во мраке неестественно быстро наступающего утомления.

Вдобавок ко всем бедам, это обиженное природой создание невзлюбила мать. Не имея слабостей, будучи в каком-то смысле совершенством, Эмилия в своей гордости, доходящей до надменности, требова-



ла безупречности от всего, относящегося к ней. Неудачный же, по ее мнению, ребенок уязвлял в ней сознание собственного достоинства, и хотя она всячески скрывала неприязнь, чувствительный мальчик знал, что его не любят.

Сципион довольно скоро разобрался во взаимоотношениях матери и сына, но его тактичные попытки навести мосты между их душами не принесли успеха.

Вообще, Эмилия из всех людей признавала равным себе только мужа, а к остальным окружающим относилась с презрительным высокомерием. Она затерзала деспотизмом не только слуг, но и жену Луция Ветурию и даже покушалась на авторитет Помпонии. Правда, величаяя матрона умела дать отпор властолюбивой невестке. В своих притязаниях они были равны, поскольку черпали амбиции из одного источника: Эмилия считала себя вправе повелевать всем женским миром как жена первого человека в государстве, а Помпония сознавала, что не имеет права уступить кому-либо, будучи матерью того, кто не уступил никому, и пред кем, наоборот, склонились все: и соперники внутренние, и враги заморские.

Однако, сохраняя несокрушимую крепость духа римлянки, Помпония все более угасала телесно. Физические силы ее почти иссякли. В год консульства старшего сына она поклялась Публию дожить до его победы и теперь не преминула заметить ему, что сдержала обещанье. На это Сципион сказал, что она должна дожить и до победы Луция, но мать лишь печально улыbnулась в ответ.

Итак, выяснилось, что семейная жизнь исполнена противоречий, как и другие области человеческого существования, и в этом смысле недалеко от политики, потому Публий был вынужден руководствоваться в ней не столько чувствами, сколько рассудком. На него он постепенно и возложил основную нагрузку в общении с женой, сместив акцент с телесных удовольствий, сладость которых отдавала горечью, на поиск интеллектуальных радостей. Эмилия, имеющая претензию возвышаться над уровнем обыкновенной самки, в свою очередь пошла ему навстречу и в увлекательных беседах предавалась уму мужа с таким же пылом, с каким иная женщина отдается мужским объятиям. Публий рассказывал ей о своих путешествиях, делая при этом объектом повествования не себя и собственные подвиги, поскольку считал подобное бахвальство достойным разве что какого-нибудь центуриона, а познанный им мир. Он обрисовывал ей нравы и обычаи народов дальних стран, попутно проводя их сравнение с италийскими, выявлял положительные черты одних и несовершенства других, и в ходе сопоставления старался выработать варианты общественной жизни, которые способствовали бы наиболее полному раскрытию человеческих возможностей, чем открывали бы людям путь



к счастью. В результате, его рассказ становился исследованием, проводимым в живой, подвижной форме, и потому открытым для встречных идей собеседницы. Эмилия поддавалась соблазну наслаждений игры ума и вносила в создаваемую перед ней картину узоры своих мыслей. Трансцендентный элемент женской логики будоражил разум Сципиона, побуждал его к разностороннему рассмотрению темы и в итоге содействовал углублению суждений. Исчерпав в каком-либо вопросе практический опыт, они обращались к теории, добытой из прочитанных книг, и все вместе дополняли фантазией. Когда им по-настоящему удавалось вникать в проблемы государственного устройства, политика, как область деятельности, определяющая основы функционирования Республики и потому стоящая во главе интересов каждого свободного человека, распадалась на составные части, в многообразии которых представал весь образ жизни общества. Так у них заходила речь об искусстве, науке, праве и экономике.

Нередко их исследования приводили не только к приятному времяпрепровождению и расширению кругозора, но и к объективно ценным выводам с точки зрения познания человеческого общества. В этих случаях Сципион брал стиль, дощечки и переносил достижения мысли с зыбкой почвы памяти на более надежный воск. Когда слова приобретали зримую форму, отношение к ним становилось более серьезным и, уединяясь в кабинете, Публий переходил от игры к настоящему творческому труду. Этот род деятельности захватил его новизной впечатлений и переживаний. До сих пор он постоянно был на виду у людей, все помыслы и чувства направляя к совместной цели, сливаясь с окружающими духовно, полностью принадлежа им, создавая заодно с ними и деля между ними свою жизнь. Теперь же ему открылась возможность обратиться в будущее и безгранично расширить аудиторию. В небольшой комнатке, не сходя с места, он вступал в общение с потомками, нес им ценности ума и души и по закону живой субстанции, требующему сполна одаривать дарителя, чувствовал ответ и признательность людей грядущих поколений. Его жизнь раздвинулась во времени. Прежде Сципион достигнутой победой простер в будущее вечный памятник себе, но то был лишь статичный, застывший, как в камне монумента, образ великого гражданина и полководца, а сейчас трудом писателя и ученого он как бы проникал сквозь время сам и представлял далеким людям в неизменно живой, динамичной форме мнений, идей и чувств, ибо, соприкасаясь с новыми умами, его мысль всегда будет пробуждать в них движение, а в душах – новые переживания.

Постепенно Публий настолько увлекся этим занятием, что стал уделять ему почти все свободное время. Потому-то он и говорил друзьям,



по-доброму завидующим его возможности наслаждаться заслуженным досугом, что как раз на досуге у него особенно много дел. Правда, труды его представляли собою разрозненные проработки отдельных вопросов, пока только предварительно сориентированные на единую цель, и ему еще нечего было предъявить публике. Впрочем, он и без того не стремился к обнародованию своих работ, довольствуясь в отношении современников уже имеющейся славой.

Однако ему не столь часто, как хотелось бы, удавалось оставаться наедине со своими мыслями, поскольку даже в дни, свободные от заседаний сената и других политических или религиозных мероприятий, он большую часть времени проводил в общественных делах. Сципион стал человеком, слишком значимым для Республики, занимал в ней слишком большое место, через него проходили важнейшие связи общества, он был узлом живой ткани римского народа.

Еще затемно у порога дома Сципионов собиралась толпа клиентов, спешащих засвидетельствовать патрону свое почтение. Они жестко конкурировали между собою за право быть принятыми могущественным человеком в первых рядах, чтобы получить большую долю его внимания, какового просто физически не могло в полной мере хватить на всех. После возвышения Сципиона эта толпа у его дома непомерно возросла и сделалась более пестрой, чем прежде, как в части одежд, состояния и социального положения составляющих ее людей, так и в смысле их нравов, помыслов и стремлений. Здесь были давние приверженцы рода Корнелиев Сципионов, как бы полученные Публием по наследству от предков. Эти клиенты-ветераны чувствовали себя чуть ли не членами выдающейся фамилии и внутренне ощущали свою причастность к великим делам патрона, причем небезосновательно, поскольку они действительно немало способствовали всем начинаниям Сципиона, осуществляя связь между ним и плебсом, распространяя в народе его идеи. Другую категорию представляли новички, сблизившиеся со Сципионами в результате сотрудничества последних лет, среди которых было много бывших легионеров, воевавших в Испании и Африке. Третья группа состояла из предприимчивых людей, ставящих осязаемую выгоду превыше всего, потому бросивших прежних, менее влиятельных патронов и под всяческими предлогами перешедших в стан поклонников первого человека государства, поднявшись таким образом на вершину неофициальной клиентской карьеры. В числе четвертых были самые никчемные люди, статисты городской толпы, по тем или иным причинам опустившиеся на дно общества, которые и не помышляли ни о чем, кроме милостыни. В борьбе за первые места у двери патрона обычно побеждали всегда активные представители тре-



твей категории клиентов, с ними до некоторой степени могли соперничать только нищие, поскольку зов пустого желудка звучал почти так же громко, как и голос алчности. Какое-то время ветераны, возмущенные наглостью выскочек и проходимцев, скандалили с ними, но почти всегда бывали вынуждены отступать на задний план, однако, сохраняя при этом достоинство, почерпнутое в сознании своих заслуг перед Сципионами, и уповая на справедливость патрона, который в любом случае должен был принять их первыми.

Каждое утро, едва поднявшись с ложа и приведя себя в порядок, Сципион несколько часов уделял общению с этой толпой. Вслед за приветствиями, пожеланиями здоровья и доброго дня, клиенты сообщали патрону о тех новостях городской жизни, которые, по их мнению, могли его заинтересовать, а затем открыто, либо посредством намеков, высказывали свои просьбы. Публий добросовестно старался вникать в проблемы друзей из простонародья. Во время таких приемов при нем находился секретарь, по ходу разговора производивший соответствующие записи о делах клиентов. В основном здесь разбирались вопросы, связанные с тяжбами по поводу имущественных и межевых споров. Иногда в судебных преследованиях клиентов Сципион усматривал руку своих личных врагов, не смеющих напасть непосредственно на него и потому досаждающих его сторонникам. В других случаях у Публия спрашивали советов относительно хозяйственных и семейных дел, желали получить его одобрение на брак, торговую спекуляцию или открытие нового ремесла, а также – добыть протекцию к могущественным лицам для лучшей реализации этих замыслов. А многие ограничивались пустой лестью в жажде поскорее занять корзинку с даровым завтраком. Наметив меры по удовлетворению просьбы того или иного клиента, Сципион сам ненавязчиво давал ему поручение, состоящее в сборе информации, пропаганде, сотрудничестве с другими клиентами, посредничестве в отношениях с некоторыми сенаторами. Так в атрии Сципиона связывались частные интересы с общественными, силы отталкивания вступали во взаимодействие с силами притяжения, происходило взаимопревращение социальной энергии из одной формы в другую, из личных страстей складывался государственный потенциал, который в свою очередь направлялся на реализацию потребностей конкретных людей.

Разобравшись с клиентами, Публий каждому вручал заранее приготовленное слугами угощение или какой-либо подарок, после чего прощался с ними до следующего утра. Ради экономии времени и более полного охвата всех желающих обратиться к нему, Сципион прибегал к помощи образованных рабов, обычно – греков, проводящих с клиентами предварительное собеседование и делающих поток просьб к пат-



рону более упорядоченным. Но в конце концов, как того требовали римские нравы и обычаи, он всякому клиенту обязательно уделял внимание лично.

Едва Публий успевал позавтракать, как к нему являлись новые гости. Теперь это уже были весьма высокопоставленные персоны и, следовательно, общение с ними требовало иного уровня. В теплые дни Сципион принимал их в перистиле, а при холодной погоде вел беседу в таблице или реже – в атриии. Такие, индивидуальные визиты в середине дня наносили ему в основном друзья, когда у них бывало срочное дело, которые часто приводили с собою собственных друзей или родственников, чтобы представить их видному человеку и исхлопотать для них его покровительство.

Если Сципион в последние пять лет даже заочно направлял государственную жизнь в нужное ему русло, то теперь он уже полностью контролировал деятельность сената и имел сильнейшее влияние на плебс. Без его согласия не могло быть принято ни одно сколько-нибудь важное политическое решение, без его одобрения не мог пройти в курульные магистраты ни один соискатель. Поэтому все будущие кандидаты, прежде чем предстать на Марсовом поле перед народом, проходили проверку у Сципиона. Он как бы производил смотр политических резервов Республики, отбирая среди множества молодежи людей наиболее достойных. При этом соблюдалась определенная пропорция между их талантами, родовитостью и идейной приверженностью политике Сципионовой партии. В полном соответствии с традициями римского общества и своим аристократическим положением Публий предпочитал носителей знатных фамилий, но охотно давал ход и карьере новых людей, если те действительно обладали значительными способностями. Поэтому из его лагеря выдвинулось гораздо больше государственных мужей малых и средних родов, чем из какой-либо иной партии. Так, из окружения Сципиона вышли на широкую арену политической жизни Гай Лелий, Квинт Минуций Терм, Маний Ацилий Глабрион, Гней Октавий, Спурий Лукреций, Секст Дигиций, Луций Бебий, Гней Домиций Агенобарб, Гай Фабриций Лусцин, Луций Апустий Фуллон и другие. Немало талантов открыл Сципион и среди патрицианской молодежи, например: Тита Квинкция Фламинина, Луция Эмилия Павла, Публия и Луция Корнелиев Лентулов. Ну и, конечно же, как и во всех областях жизнедеятельности римлян, на выбор Сципиона в таких случаях влияли не только собственные качества претендентов на какую-либо должность, но и его родственные и дружественные связи, поскольку даже воля первого человека в государстве была стеснена путами взаимных обязательств и услуг с прочими членами сообщества.



Произведя в непринужденной беседе разведку умов своих гостей, желающих ступить на путь почестей и славы, Сципион приглашал наиболее интересных из них на обед, неизменно собирающий за пиршественным столом верхушку нобилитета, чтобы продолжить изучение личности кандидата и показать его своему окружению. В триклинии Сципиона или реже – кого-то из его друзей перспективная молодежь держала главный экзамен, а заодно проходила обучение, но не только питью и еде, как тайком злословили недоброжелатели, а тонкостям общения и политическим премудростям. Здесь же формировалась идеологическая позиция – основа мировоззрения будущих государственных деятелей.

Так, приемами и беседами разного уровня заполнялся почти весь день Сципиона, и часто вереница гостей тянулась в его дом с зари и до самого обеда, когда превращалась уже в целый поток. Основная трапеза римлян начиналась через два – три часа после полудня и продолжалась до заката солнца, а иногда и дольше. К обеденному времени деловая часть дня заканчивалась, и все полноправные граждане, приняв ванну, располагались у пиршественных столов на отдых. Непосредственно прием пищи служил лишь поводом для встречи друзей, суть же мероприятия заключалась в организации досуга. Для насыщения римляне ели в одиночестве, либо в кругу семьи: так бывало утром и на исходе первой половины дня – но обед почти всегда проходил в компании коллег по деятельности или просто единомышленников и представлял особое явление. Первое было данью животной части человеческой природы, второе услаждало ее духовную составляющую. Все в этом действе подчинялось главной цели – общению, которым питалась душа, тогда как чрево лишь попутно получало свою долю удовольствий. Потому и сами обеденные блюда, изысканностью приготовления и сервировки отличающиеся от незатейливых кушаний двух завтраков, имели эстетическую функцию, являлись приправой к беседе, к радостям ума. Однако культурная программа вечера не исчерпывалась разговорами и включала музыкальные и танцевальные номера, выступления поэтов и всяческие игры как интеллектуальные, так и не очень.

В соответствии со своим положением Сципионы уделяли значительное внимание столь важному элементу общественной жизни, как обеденные трапезы, и их дом задавал в городе тон в подобного рода мероприятиях. Получить приглашение на вечер к Сципиону стало в мирное время такой же честью, какой было прежде – служить у него легатом. Триклиний этого дома привлекал гостей качеством развлечений, а также – славой и могуществом хозяина. Многие знатные и не особенно знатные, но имеющие претензии и свои взгляды на будущее люди стре-



милось попасть сюда. Сципион как бы принимал парад честолобый, однако не менее чем на две трети, его компания всегда состояла из проверенных друзей.

Обеды у Сципионов бывали аристократическими, но не изощренными, и в гастрономической части несли в себе ровно столько достоинств, сколько необходимо иметь форме, чтобы должным образом представить содержание. Здесь не ценилось начинавшее тогда входить в моду гурманство. И хотя вкус большинства гостей был весьма развит роскошествами частых пиршеств, их внимание занимали более серьезные темы, чем секреты кухонных технологий. Тут мало интересовались, с сухих или с поливных полей им подали капусту, в лесах или на лугах собраны грибы, чем кормили кабана, украшающего теперь стол. В этом обществе не спорили, как в домах внезапно разбогатевших плебеев, о том, лучше ли продолговатые яйца или же круглые, нежнее устрицы из Баий или, добытые в Цирцеях, предоставляя решение подобных вопросов поварам.

В столовой Сципиона сразу же после возлияния вина богам и угощения домашних ларов традиционными пирожками, сжигаемыми в очаге, начинался оживленный разговор, в котором, первым делом обсуждались новости государственной и частной жизни народа, причем и те, и другие почти всегда приводили собеседников к суждениям политического характера, что в свою очередь служило пробным камнем для умонастроений новичков. Так проходила первая треть обеда, когда к столу подавали всевозможные салаты, благодаря пряным соусам и специям пробуждающие аппетит гостей, в то время, как изюминки остроумия в речах будоражили их мысль. Затем на фоне основных калорийных блюд из политической дискуссии вырастали философские, мировоззренческие проблемы, порождавшие на свет немало любопытных соображений. На этой стадии в пылу увлечения многие показывали суть своей личности. Некоторым было важно либо интересно наблюдать за таким процессом, других он раздражал. В большой компании хорошо завязываются споры, но плохо разрешаются. На определенном этапе внимание людей дробилось, в доводы вмешивались симпатии и антипатии, в ход шли амбиции, и борьба идей трансформировалась в противостояние характеров. Тут на помощь людям приходило насыщение желудка, они добрели, тяга к глобальным вопросам слабела, и начинался десерт. За сладостями и вином, каковое до той поры употреблялось сдержанно, вулкан мыслей и страстей, только что извергавшийся над ложами, превращался в искрящийся юмором фонтан веселья. Пирующие увенчивали себя венками из цветов, пели, слагали стихи, совместными усилиями и порознь, изображали из себя жителей Олимпа или прославленных



героев Эллады и разыгрывали импровизации на темы греческих мифов. Восхваляя в таких случаях друг друга согласно избранным ролям и сюжету, они начинали комплименты двусмысленностями и состязались в остроумии. Иногда насмешки звучали весьма колко, но чаще их наконецники бывали притуплены, и схватка острословов походила на учебный бой легионеров с применением дротиков и копий, лишенных металлических насадок. Причем даже в такой, весьма воинственной обстановке при всей изобретательности здешней публики редко кому удавалось пустить стрелу в хозяина дома и уж совсем немислимым представлялось пробить латы его доблести. Сципион всякий раз оказывался столь же неуязвимым для шуток, сколь и для вражеских снарядов на полях битв, как, впрочем, и его ближайший сподвижник Гай Лелий, разве что брат Луций позволял себе не очень любезные высказывания в его адрес. Обычно во фразах, обращенных к Публию, звучало уважение, окрашивающее их в теплые тона доброты, и любые остроты выглядели как бы двусмысленностями наоборот, то есть внешне будто бы подначивали адресата, а по сути выражали ему хвалу. Так, например, когда Сципиону долго не удавалось приладить венок на своей роскошной шевелюре, который то и дело обрывался и падал, кто-то воскликнул: «Зря стараешься, Публий, ничего у тебя не выйдет: ведь для такой головы венка не подберешь!» Друзья частенько вспоминали о его «взаимоотношениях» с богами и смаковали истории о том, как Юпитер «помог» ему разогнать толпу сектантов на форуме, Нептун «освободил» путь в испанский Карфаген, «отведя» назад морские воды, как Великая Мать «предрекла» в нужный момент решающую победу над врагом, а Вулкан однажды ночью «поразил» лагеря нумидийцев и карфагенян огнем. По их утверждению, он пребывал в приятельских отношениях даже с Венерой, каковая ввиду особой симпатии «одарила» его самой красивой и умной женой всей ойкумены.

Нередко и сама Эмилия присутствовала на этих пирах и своей блистательной красотой, сиявшей колдовским ореолом в затуманенных винными парами взорах гостей, вдохновляла компанию на разговоры о Венере. В большинстве случаев она в одиночку представляла женский род на этих собраниях, поскольку приглашенные нечасто приводили с собою жен. Однако ее не смущал чисто мужской состав коллектива, она чувствовала себя уверенно и раскованно, так как была образованна и умна не менее мужчин. Эмилия платила лишь единственную, формальную дань своему полу тем, что не возлежала у стола, как другие, а сидела на ложе рядом с Публием, демонстрируя позой приличествующую матроне скромность, да еще женственность прорывалась порою сквозь едва заметные бреши ее сильного характера невольным кокетством, же-



ланием очаровать всех окружающих, которое, впрочем, столь густо окрашивалось властолюбием, что представлялось сложным ответить, чего в проявленном ею качестве больше: женского нрава или мужского. Обычно Эмилия присоединялась к пирующим после многократных просьб гостей, но в душе делала это охотно, поскольку только в кругу друзей мужа ощущала себя равной среди равных, тогда как в женском обществе ей приходилось скучать, реализуя свои таланты лишь в узкой области стремления к господству над капризными, хитрыми, но неумными существами, напоминающими разукрашенные пестрыми красками и изощренной резьбой шкатулки, все множество которых при внешнем разнообразии открывается одним единственным ключом. Павла неизменно вносила в развлечения собственный особый тон, придавала им эстетическую утонченность. Правда, иногда она несколько забывалась и вместо того, чтобы излучать на мужчин мягкое тепло, обжигала их. Особенно чары Эмилии действовали на молодежь, ибо, хотя ее ум искал интеллектуальной любви с отношениями равенства, нрав требовал слепого преклонения и, обманывая сознание своей хозяйки, использовал любой повод, дабы повергнуть ниц впечатлительных юнцов. Но, несмотря ни на что, увлечение товарищей Публия его женою не шло дальше восторженного благоговения, так как при великом уважении к Сципиону честь Эмилии казалась им святыней.

Третий этап трапезы сопровождался обильными возлияниями вина, что иногда пробуждало творческую фантазию собеседников и способствовало возобновлению философского спора, расцвеченного в таких условиях экзотическими красками парадоксальных суждений, но в большинстве случаев низводило действо до наиболее простых и шумных видов увеселения, когда играли флейтистки, плясали танцовщицы, на каждом шагу натывавшиеся в тесноте триклиния на пирующих и попадавшие к ним в объятия. Группы гостей из числа тех, в ком под действием вина просыпалась излишняя активность, в поисках новизны отправлялись в дома других нобилей, чтобы, прибыв туда под занавес аналогичного мероприятия, засвидетельствовать почтение тамошней компании и отведать от ее щедрот, а на освободившиеся места прибывали подобные делегации от соседей, в состав которых частенько входили даже представители враждебных политических кланов, осмеливающиеся водить дружбу со Сципионом только за десертом.

Итак, во время римского обеда люди несколько часов жили насыщенной жизнью, когда у них получали удовлетворение запросы и души, и плоти, когда находили себе исход стремления всех сторон личности: ума – к рождению на свет вызревших в нем идей и познанию чужих достижений; чувств – к эстетическим наслаждениям; амбиций – к самоут-



верждению посредством споров и состязания в остро словии – когда человеческая сущность выражалась в разностороннем общении с друзьями и радость ощущения полнокровного течения бытия воплощалась в веселье и симпатии к окружающим. Условия для самореализации, атмосфера доброжелательства и единения в таких трапезах еще более сближала людей. Поток жизненных сил, интенсивно бурлящих в человеческих недрах целый вечер, иссякнув к ночи, оставлял в душах глубокое русло, запечатлевался в памяти яркими узорами, навечно соединяя положительные эмоции с лицами участников совместного действия. В результате, с каждым днем укреплялась солидарность этого товарищества, а новички приобщались к жизни кружка Сципиона и как бы проходили здесь таинство посвящения в орден его друзей.

При всей заполненности времени приемами множества гостей Сципион каждый день должен был изыскивать возможность выходить в город для исполнения разнообразных обязанностей, заданных римскими обычаями и коллективным образом жизни. Как и полагалось всякому нобилю, он наносил визиты знатым друзьям по случаям каких-либо торжеств в их семьях, как то: юбилей, вступление в должность, облачение сына в тогу для взрослых или обручение дочери, а также проводывал больных и приносил соболезнования родным почивших. Ему приходилось посещать суды, когда там разбирались дела его товарищей или клиентов. Причем часто требуемый эффект достигался уже одним присутствием Публия на свидетельских скамьях. Вообще, Сципион никогда не оказывал на судей либо других должностных лиц прямого давления; применяя свой авторитет в качестве инструмента, обладающего магической властью над людьми, он пользовался им тонко и тактично, как музыкант, извлекающий потрясающие душу звуки легким прикосновением к струнам кифары. Исполнив в суде долг, диктуемый отношениями взаимопомощи с друзьями, Сципион, не выходя из общественного здания, отправлялся в другой зал, чтобы послушать публичные чтения поэтов, историков, взращенных ныне в большом количестве эмоциональным потенциалом победы над Карфагеном, ораторов, а порою и греческих философов. Если кто-нибудь из выступавших смог заинтересовать Публия, он приглашал его к себе на обеденную трапезу. Закончив повседневные дела, Сципион шел на форум – место, ежедневно посещаемое каждым настоящим римлянином. Там узнавались последние новости, происходило общение с сенаторами, достаточно близкими к его лагерю, чтобы придти к нему в дом, и с простыми людьми. Именно на форуме устанавливались и регулярно возобновлялись отношения нобилей с народом. Здесь люди могли непосредственно зреть своего героя и разговаривать с ним, тут они убеждались, что ве-



ликий человек является частью их общины, а его слава – всеобщим достоянием. Сципион никогда не пренебрегал неписаной обязанностью и одновременно – правом неофициального контакта с широкими слоями сограждан, и тяготы шумной суеты форума всегда с лихвой восполнялись бурлящей там энергией общения.

Во всех таких путешествиях по городу Публия неизменно сопровождала группа друзей и целая толпа клиентов. Это было проявлением как римских традиций вообще, так и его персональной значимости. Причем, где бы он ни появлялся, его свита росла по закону лавины, присоединяя почти всех окружающих, она запруживала улицы, затопляла площади. Над Римом гремело ликование. Правда, не все соотечественники были искренни в выражении добрых чувств, некоторые вели себя так из корысти, другие – по инерции, следуя за большинством, как овцы на выпасе, а третьи шли на компромисс из-за невозможности вступать в конфронтацию с выдающимся человеком пока не будут собраны достаточные силы для борьбы. Но, так или иначе, все римляне признали величие Сципиона. С ним теперь стремились наладить отношения и Фабии, и Клавдии, и Валерии. Сам Публий относился к почитанию сограждан с естественностью человека, достойного славы. Он был органичен в нынешнем состоянии, поскольку качествами и деяниями соответствовал оценке окружающих, был самым собою, потому что именно таким его воспринимало общество.

Однако слава Сципиона стала выходить из берегов разума, люди обезумели в экстазе поклонения. Издавна питаемые к Публию симпатии после его блестящего успеха на поприще войны как бы получили законное основание и вырвались из глубин народного духа на поверхность государственной жизни. Город будоражили идеи наделить исключительную личность исключительными же полномочиями и почестями. Мнение форума захлестывало курию, воздействовало на сенат и магистратов, получая порой воплощение в соответствующих предложениях официальных лиц. Всерьез обсуждались мнения о том, чтобы сделать Сципиона бессрчным консулом, поставить ему статуи на Комиции, у ростр, в курии, на Капитолии и даже в самом святилище Юпитера, приравнять его к богам и проносить изображения обожествленного героя в торжественной процессии во время празднеств наряду с ликами других небожителей.

Сципион искренне, где и как только мог, отказывался от столь неумеренных почестей, чуждых римскому духу, используя для вразумления соотечественников любую возможность. В конце концов он был вынужден попросить городского претора собрать народную сходку и открыто обратиться к людям с имеющимися у него соображениями по



этому вопросу. Публий разъяснил, что все его деяния совершены благодаря римским законам и нравам, а если государство дает простор и способствует своим гражданам творить подвиги и достигать человеческих вершин, то ни в коем случае нельзя искажать его структуру чрезвычайными мерами, недопустимо изменять существующие порядки, ибо порча государства приведет к порче людей. «Уважение к живому человеку должно основываться на его авторитете, — утверждал Сципион, — но не за счет постановлений и статуй, каковые необходимы только, чтобы запечатлеть достойного гражданина для потомков, лишенных возможности непосредственного общения с ним. Живое следует измерять живым, каждый человек должен постоянно двигаться вперед, и путь его может отразиться только в сердцах и умах людей, тогда как мертвый мрамор или медная доска способны запечатлеть лишь того, кто исчерпал себя и закончил земные труды». После этого народ еще сильнее восхитился своим героем, но стал вести себя сдержаннее, не позволяя более славе перерасти в бесчестье чрезмерных восхвалений.

На золотистом фоне всеобщего уважения и почитания великого человека грязной кляксой зияла непримиримая ненависть Марка Катона, единственного, в ком достало отваги и желчи бросить вызов безупречному авторитету Сципиона. По всякому поводу и без повода Порций порочил Публия, трактуя перед окружающими все его поступки в дурном смысле. Гордость и достоинство Сципиона он называл высокомерием, ум — хитростью, в проявлении великодушия усматривал низкую корысть, в доброжелательности — лицемерие, в щедрости — скрытую жадность, в отказе в пользу друзей от власти республиканских магистратур — стремление к власти абсолютной монархии. Катон заявил о своей враждебности к Сципиону с первой же встречи после неловкого расставания в Африке. Это произошло на форуме при стечении большого количества плебса. Публий проходил в сторону табулярия, когда увидел давнего недруга у продуктовой лавки. Катон только что рьяно торговался с вольноотпущенниками, давая тем самым урок своему рабу, ответственному за доставку снеди к его столу, но, узрев врага, прикипел негодующим взором к шумной веселой ватаге друзей Сципиона. В силу своего характера и благодушного настроения Публий забыл о неприятностях, причиненных ему этим человеком, и направился к Катону для приветствия. Однако тот, выждав, пока намерение Сципиона не сделалось очевидным для всей публики, в последний момент демонстративно отвернулся от него, предпочев выказать себя хамом, лишь бы только поставить в неловкое положение своего недавнего императора. Присутствующие затаили дыхание, а кое-кто злорадно хихикнул. Но чувство естественного превосходства позволило Сципиону легко обер-



нуть эпизод к собственной пользе. Он сказал, обращаясь к спутникам, но так, чтобы его слышали все: «Друзья, вначале я подумал, будто передо мною мой неудачливый квестор Катон, но потом выяснилось... что так оно и есть, это и в самом деле Порций». Фраза содержала в себе сразу два скрытых смысла: в первом значении она показывала, насколько Катон оказался ниже мнения о нем Публия, а во втором – жестоко язвила его за бестактность и определяла ему надлежащее место, используя латинское созвучие фамилии «Порций» со словом «свинья». Все римляне были ценителями остроумия, и в ответ на замечание Сципиона в толпе грянул хохот. Катон ядовито покраснел от позора и в следующий миг хотел броситься на обидчика врукопашную, но патриции Сципионовой свиты столь тонко улыбнулись, проявили такую холодную надменность, словно бы не удостоив Порция даже полноценной насмешки, что ясно продемонстрировали, насколько их аристократическая сдержанность выше его плебейской горячности, и он будто примерз к булыжникам мостовой, а краска в лице сменилась ледяной бледностью. Только Луций Сципион не утерпел и, нарушив эффектную паузу, небрежно обронил через плечо: «Тускульская мышь презрела римского слона». Катон дернулся от удара этой фразы и взглядом вонзил в спину Луция пучок отравленных стрел ненависти. Тут его поглотила толпа сопровождающих Сципиона, и он долго барахтался в ней, изнемогая в напрасных попытках вырваться на волю.

Итогом этого происшествия стало то, что друзья Порция сочли его чудачком, а все остальные утвердились во мнении о нем как о склочнике, злоба которого уже не вмещается в судебных залах. Но Катон не сдался и с невиданным упорством продолжал последовательно проводить политику дискредитации Сципиона и его окружения, больше потешая этим людей, чем встречая их сочувствие. Однако эпизод остался эпизодом, все остальные римляне безоговорочно отдавали должное победителю Карфагена. Если же у кого-то и была личная либо родовая неприязнь к нему, голос справедливости заставлял почтительно смолкать недобрые чувства пред именем Сципиона Африканского.

3

Заслуги Публия Сципиона сразу же поставили его на первое место в сенате. Без него отцы города даже не собирались в курии, разве что для решения второстепенных вопросов. Ныне не существовало организованной оппозиции партии Корнелиев-Эмилиев, возникали лишь частные разногласия. Теперь спорили не из-за того, что предложение внесено неудобным лицом, а только по существу проблемы. Сципион считал вполне естественным такое положение, поскольку он практикой дока-



зал превосходство своей идеологии, и ему казалось, что конструктивный метод навечно утвердился в деятельности сената.

Подавив авторитетом притязания неприятельской группировки, Публий сосредоточился исключительно на задачах государства и стал проводить в жизнь давние замыслы о гармоничном устройстве ойкумены как единого организма, в котором Риму отводилось место идеологического центра, но никак не роль тирана. Однако Сципион был силен во внешней политике и плохо знал внутреннее состояние Республики. Война многие годы в заморских краях, он не имел представления, до какой степени война поразила его собственную страну.

А разорение Италии дошло до крайности; ни в Сицилии, ни в Африке, ни в Испании не наблюдалось ничего подобного. Население Италии уменьшилось почти вдвое, четыреста городов лежало в руинах, плодовые рощи и виноградники были сожжены. Крестьянские хозяйства — основа здешней экономики — распались как из-за прямых бедствий войны, так и потому, что отцы семейств, а следом и взрослые сыновья покинули землю, встав под знамена легионов. Теперь же, возвращаясь в родные места, изувеченные ветераны обнаруживали, что их избы сгорели, участки заросли бурьяном, а семьи канули в пунийском рабстве, рассеявшем их по всему свету. Редко кто из них находил в себе моральные и физические силы, чтобы остаться на этом кладбище своей прежней жизни и возродить землю и самих себя. Тяжко было видеть крушение родных сел, повсеместный глубокий упадок Италии после триумфов ярких побед и ликования Рима, а потому ветераны, залив душевные раны вином, спешили покинуть руины и шли в столицу, где можно было прожить несколько лет на жалованье и премиальные, полученные за военную службу. Там мало кому из них удавалось заняться полезным ремеслом, и большая часть недавних героев превращалась в угодливых нищих, пресмыкающихся перед нобилиями и кормящихся объедками с их столов. А в то же время опустевшие земли захватывали аристократы и богачи, наводняя их дешевыми рабами, в результате чего коренное население Италии заменялось разноплеменным сбродом из Африки, Испании, Галлии, Сардинии и Сицилии. Причем на поверхность экономической жизни всплывали темные личности, нажившиеся на военных поставках и всяческих авантюрах за счет трещин в законах государства, образовавшихся под ударами войны, богатевшие, пока другие разорялись, ковавшие состояние из трупов, обращавшие в золотые россыпи слезы и кровь сограждан. Так, например, удалось раскрыть происхождение собственности группы бывших откупщиков, а ныне людей с виду достойных, достигших в размерах имущества сенаторского ценза и потому претендующих на магистратуры. При рассмотрении дела этих



новых «нобилей» на судебном процессе, затеянном их менее удачливыми коллегами, выяснилось, что, занимаясь снабжением войск в провинциях, они топили в море свои старые пустые посудины и взыскивали за них с учетом несуществующих грузов полномасштабную страховку с Республики, задыхающейся в петле военных расходов, а также организовывали нападения пиратов на купеческие караваны сотоварищей по промыслу и получали хорошую долю в бизнесе морских разбойников. Этих предпринимателей, конечно же, осудили, но зато многие другие, сумевшие скрыть происхождение своих капиталов, теперь благоденствовали и гордо взирали из роскошных лектик, проплывающих над толпой, на суетящихся внизу отцов и братьев тех несчастных, кого они когда-то тайком продали пунийцам в рабство, и небрежно отвечали на их поклоны. Преуспевание подобных людей разъедало мораль общества и, проникая в поры нравственной основы государства, вызывало в нем социальное напряжение, грозящее с достижением определенной, критической величины расколоть его подобно тому, как вода, натекающая в щели утеса, замерзая в холодную пору, разрывает его на куски.

Развал италийского хозяйства не долго оставался тайной для Сципиона и других сенаторов. Все их глобальные планы рушились при столкновении с реальностью. Государство находилось в тяжелом кризисе. Необходимо было срочно восстанавливать земледелие в стране, а заодно и главную социальную силу Республики – крестьянство. Пока еще в Риме не было голода, поскольку народ питался трофейным хлебом, в гигантском количестве привезенном Сципионом из Африки, более того, продовольствие стоило, как никогда, дешево. Но военная добыча лишь отсрочивала катастрофу, предоставляя время для возрождения собственной экономики, но не более того. Поэтому Сципион пересмотрел программу действий и первым делом через дружественных ему магистратов внес на обсуждение сената проект постановления о демобилизации своих солдат и наделении их земель из государственного фонда, расширившегося за счет угодий, конфискованных у италийских союзников Карфагена. Он и раньше имел в виду эту меру, но придавал ей меньшее значение, чем теперь, считая лишь наградой ветеранам, а не средством восстановления экономической силы государства.

Для всех была очевидна польза от исполнения этого замысла, но предложение затронуло другие проблемы настоящего периода. В первую очередь возмутились нобили, не принадлежащие к группировке Сципиона. В победных экспедициях в Испанию и Африку Публий обогатил своих друзей и славой, и добычей, но его политические противники, оставшиеся в стороне, не получили ни того, ни другого и теперь жаждали реванша. Повод к тому был: назревающая война с Македонией, в которой Фуль-



вии, Валерии и Клавдии хотели воспользоваться блистательным войском Сципиона. «Как же так! – восклицали они. – Надвигается война со знаменитым противником, непобедимой фалангой Александра, ныне серьезно усовершенствованной Филиппом, а мы распускаем лучших солдат! А ведь это тем более недопустимо, – утверждали поборники славы, – что скудная земля Балкан не способна прокормить большую армию, а потому качество воинов приобретает в таких условиях особую значимость!» Сенаторы этого лагеря предлагали использовать отлаженный военный механизм государства для покорения чужих стран, чтобы создать изобилие в Италии за счет военной добычи. «Мы потеряли мирную структуру, но зато необычайно развили военную. Так зачем же разрушать то, что имеем, когда не располагаем ничем взамен?» – веско вопрошали они. Другие, в основном средний слой сената, противились идее Сципиона по иным причинам. Они не хотели отдавать землю простонародью, поскольку сами надеялись завладеть ею, чтобы заложить экономический фундамент для своего восхождения в разряд нобилей, консулярной знати. Третьи, не отвергая законопроект в принципе, считали его преждевременным, так как, по их мнению, вначале следовало выработать общий план государственных мер по восстановлению хозяйства Республики, а затем, уже в его рамках, рассмотреть вопрос о ветеранах.

В ходе политической борьбы идеологическая позиция Сципиона сблизилась со взглядами третьей группы, и в союзе с этой силой его партия справилась с противодействием оппонентов, сделав им лишь незначительные уступки, касающиеся качества выделяемых солдатам земель и этапности демобилизации. В течение нескольких месяцев были выработаны главные направления внутригосударственной политики на ближайший период. Так, было решено: во-первых, расформировать легионы Сципиона, следом за ними – и другие войска, сражавшиеся против пунийцев, но одновременно стараться привлечь ветеранов в качестве добровольцев под знамена новых подразделений высоким жалованием и славой предстоящих походов, в дальнейшем же не допускать длительного отрыва граждан от мирной жизни и регулярно проводить в армии ротацию; а во-вторых, наделить Сципионовых воинов участками на сравнительно мало пострадавших территориях, исходя из расчета двух югеров (0,5 гектара) за каждый год службы, тогда как разоренные поля – сдать в долгосрочную аренду аристократам, дабы в тяжелых условиях использовать большие капиталы и рабский труд. При этом были задуманы малые колонии на триста семей каждая в пограничных, стратегически важных районах Италии, чтобы прикрывать страну от посягательств ненадежных соседей. Таким образом внутренняя политика переходила во внешнюю.



В области межгосударственных отношений сенат занимался налаживанием разрушенных войной связей со странами Запада и Юга, осуществляя политическое и экономическое урегулирование на новом уровне с учетом возросшей роли Рима, но с особым вниманием относился к делам Востока. Одолев Карфаген, Республика расширила зоны своего влияния и вошла в соприкосновение с великими державами, возникшими более века назад в результате греко-македонской экспансии. Наименее агрессивной из них был Египет, еще со времен соратника Александра Птолемея Сотера взявший ориентацию на использование внутреннего потенциала страны, а ныне, кроме всего прочего, ослабленный отсутствием твердой власти ввиду малолетства царя Птолемея. Сирийская монархия сейчас представлялась, как никогда, мощной и опасной, поскольку, включив в себя Бактрию и Мидию в ходе удачных походов по следам Александра царя Антиоха, прозванного за эти победы Великим, вышла на берега Инда – границу, каковую не следовало переходить, – и теперь устремила грозный взор на запад. А Македония, имевшая гораздо меньшие денежные и людские ресурсы, чем два родственных царства, но располагавшая прекрасно оснащенной и организованной армией, недавно уже пыталась затеять войну в Италии, и вторжение Филиппа было предотвращено лишь упреждающими мерами римлян. В настоящий период цари Филипп и Антиох вошли в соглашение друг с другом и, стремясь воспользоваться слабостью египетского трона, открыли боевые действия по захвату азиатских территорий Птолемея. Традиционное равновесие сил в Восточном средиземноморье нарушилось, а с упадком Карфагена главным конкурентом Македонии и Сирии на Западе становился Рим. Интересы трех ведущих держав, перешагнув через головы сотен малых зависимых республик и царств, столкнулись между собой, породив мощный политический разряд, сверкнувший молнией над человечеством, и грозящий в скором времени прогреметь по миру громом новых войн.

В этих условиях римляне действовали энергично и боролись за инициативу. Они послали делегацию в Египет, чтобы поддержать дружественные отношения с этой страной, и тщательно зондировали настроения в Греции, где вести политическую игру было одновременно и очень сложно, и легко, так как, при великом множестве городов и разнообразии сил и группировок, там кто угодно мог найти поддержку как лучшим, так и худшим устремлениям, и в то же время – раздобыть противников не только пагубным, но и самым полезным начинаниям, там союзники внезапно обращались во врагов и наоборот.

Активность Филиппа в зоне Геллеспонта, грозившая процветанию торговых государств, благополучие которых основывалось на сношении



ях со странами бассейна Понта Эвксинского, вызвала решительное противодействие со стороны греков. Пергам и Родос начали открыто готовиться к войне с Македонией, к ним присоединились Афины. Филипп воспользовался в качестве повода инцидентом, произошедшим в знаменитейшем городе Эллады во время исполнения религиозных таинств, и повел осаду Афин, не прекращая боевых операций также и на побережье Геллеспонта. В поисках союзника греки обратились к римлянам, поскольку Сирийское царство, ввиду близости к месту событий, имело собственные интересы в этом регионе, а Египет представлялся слишком слабым, да еще и вынужден был защищаться от Антиоха. Рим в силу своей новой роли мирового судьи и координатора, проповедоваемой Сципионом, а отчасти — опасаясь роста могущества Македонии, вступился за близкий ему по культуре народ и потребовал от Филиппа оставить эллинов в покое, а когда тот презрительно отверг ультиматум, объявил ему войну. Правда, вначале римские граждане, уставшие от ратных трудов, отклонили постановление сената, но после обращения к народному собранию магистратов, разъяснивших, что столкновение с Македонией неизбежно и запоздалая реакция на зреющую за морем агрессию лишь усугубит тяготы войны, как это произошло в случае с Ганнибалом, проголосовали согласно требованиям сложившейся обстановки. Так взаимопонимание аристократии и простого народа позволило принять упреждающие меры против удара по Италии и отодвинуть войну на территорию соперника.

В это же время римляне провели карательные экспедиции против галлов бассейна реки Пада и лигуров, которые многие годы безнаказанно вредили итальянцам, пользуясь их занятостью в борьбе с пунийцами. Однако там война затянулась, поскольку варвары не вели правильных боевых действий, а предпринимали короткие набеги на итальянские земли и города, но с появлением легионов скрывались в лесах или горах.

В Африке не осталось ни одного римлянина, тем не менее, Рим надежно держал этот край под контролем дипломатическими средствами, а также благодаря личным связям Сципиона с первыми людьми Нумидийского царства, Карфагена, Тунета, Утики и других пунийских городов.

В отношении Испании Сципион предлагал ограничиться подобно-го же рода влиянием, но пока вывести оттуда войска не представлялось возможным, так как иберийские общины в идеологическом плане составляли пеструю картину. Отсутствие там сильного класса аристократии, на который обычно опирались римляне в других странах, не позволяло добиться стабильности политическим путем. Уход римского войска грозил Испании бесконечной междоусобицей и даже возобновлением пунийского влияния, по крайней мере, экономического, что в



свою очередь могло привести к возрождению мощи злейшего врага Рима. Однако Сципион не терял надежды нормализовать положение в Испании, тем более, что эта территория все время находилась в ведении его единомышленников. Многие годы управлявший ею Луций Корнелий Лентул, набрав политический вес, ныне прибыл в столицу искать консульства, но на его место Сципиону удалось отправить другого Корнелия – Гая Цетега, племянника своего давнего соратника Марка Цетега, а позднее – и третьего – Гнея Корнелия Блазиона.

Вообще, расстановка кадров в послевоенное время в значительной степени зависела от победителя Ганнибала. Используя высокий авторитет в сенате и среди простого люда, Публий почти всегда добивался избрания на главные посты намеченных им кандидатов, а также – желаемого распределения магистратских полномочий. Партия Сципиона была сильнее всех прочих группировок и желанна народу как носительница победных традиций. Вполне естественно, что комиции охотно вручали республиканские должности героям африканской кампании. Так, в первые мирные годы преторами стали: Квинт Минуций Руф, Квинт Фульвий Гиллон, Луций Виллий Таппул, Квинт Минуций Терм, Маний Ацилий Глабрион, Луций Апустий Фуллон. Ближайшим соратникам полководца, в свое время пренебрегшим магистратурами ради возможности сражаться вместе с ним, теперь, несмотря на великую славу, пришлось начинать карьеру с низших должностей, и Гай Лелий исполнял плебейский эдилитет, а Луций Сципион был курульным эдилом. Молодые офицеры пока еще не могли претендовать на консульство, а потому высшая должность вручалась политическим вождям Сципионова лагеря и их друзьям. Консулат в эти годы исполняли: Публий Сульпиций Гальба, которому должность была обещана за услугу, оказанную Сципиону в качестве диктатора, Гай Аврелий Котта, Луций Корнелий Лентул, Публий Виллий Таппул, Тит Квинкий Фламинин, Секст Элий Пет – брат Публия Элия, виднейшего наряду с Цецилием Метеллом и Гаем Сервилием деятеля партии Сципиона – Гай Корнелий Цетег и Квинт Минуций Руф. Сципион пока несколько придерживал ближайших родственников, с одной стороны, стараясь скорее рассчитаться по чувству долга с менее близкими людьми, а с другой – не желая давать повода для сплетен злым языкам; но, утешая их, заявлял, что они свое еще возьмут.

Большие возможности для поощрения видных нобилей и выдвижения молодежи предоставлялись участием в работе аграрных комиссий по выведению колоний и наделению землей ветеранов. Поскольку эта деятельность проводилась по инициативе Сципиона и под его руководством, он добился почетных постов для главных представителей своего окружения: Квинта Цецилия Метелла, Публия Элия Пета, Гая Серви-



лия Гемина и его брата Марка, Гнея Корнелия Лентула и Гнея Октавия, отблагодарив их тем самым за поддержку, оказанную ему на последнем этапе войны, а также дал простор проявить себя перспективной молодежи, зачислив в состав комиссий Тита Квинкция Фламинина, Публия Корнелия Сципиона Назику, Квинта Минуция Терма, Тиберия Семпрония Лонга, Луция Эмилия, брата своей жены, Луция Корнелия Мерулу, Квинта Элия Туберона, и братьев Гостилиев Катонов.

В безопасных количествах Сципион допускал к магистратурам представителей издавна враждебных родов, особенно если те выказывали лояльность к нему лично или к его политике. Поэтому, например, среди преторов были Луций Фурий Пурпуреон, Луций Валерий Флакк, Квинт Фабий Бутеон – брат посла Сципиона в Карфаген.

Вообще же, магистратские списки пестрели новыми фамилиями, что радовало народ, опасавшийся, как бы десяток выдающихся людей, прославившихся в войну, не монополизировал власть. Но теперь казалось, что государство выздоровело, не нуждается более в экстраординарных мерах и возвращается к привычному, законному порядку управления. За это граждане были благодарны Сципиону, ибо он более, чем кто-либо, имел возможность получить повторное консульство.

4

Итак, Сципион не стремился догнать Фабия Максима и Клавдия Марцелла по количеству исполняемых консульств как ввиду староримской добропорядочности и скромности, так и из-за особого рода гордости, в силу которой он считал, что ему стоит братья за рулевые весла государства только в бурю, тогда, когда никто более не способен удерживать их в руках, но никак не пристало делать это в спокойное время. Однако существовала еще одна не взятая им служебная вершина – цензура, магистратура своеобразная и в некотором роде высшая в Республике. Ему казалось вполне естественным после длительного руководства внешнеполитическими и военными делами государства заняться внутренними вопросами жизнедеятельности Рима, для чего предоставлялся широкий простор именно должностью цензора. Поэтому, когда подошел срок избрания двух блюстителей нравов общества, это было спустя год после завершения войны с Карфагеном, Сципион выставил свою кандидатуру.

К удивлению простых граждан у великого человека объявилось очень много соперников, хотя всем представлялось очевидным, что, кроме него, может попасть на этот пост лишь один соискатель, причем плебейского рода и как раз тот, кому отдаст предпочтение сам Сципион. Неискушенным умам казалось странным стремление нобилей вя-



зывать в бесперспективную борьбу и прилюдно обрекать себя на провал. Дело же объяснялось тем, что в данном случае отвергнутые конкуренты должны были запомниться народу не в качестве неудачников, поскольку проиграть Сципиону не считалось позорным, а как смельчаки, отважившиеся состязаться с самим Публием Африканским. Таким образом ловкие политики набирали очки даже на поражениях.

Победили на выборах, проходивших под руководством консула Луция Корнелия Лентула, Публий Корнелий Сципион Африканский и Публий Элий Пет, которого Сципион поддержал своим авторитетом.

Главной обязанностью цензоров было проведение ценза – переписи граждан с установлением их экономического уровня, оценкой нравственного облика и последующей классификацией всего полноправного населения Республики по различным социальным разрядам на основе собранных данных. Эта процедура осуществлялась один раз в пять лет и по ее результатам проводились налогообложение и призыв в армию. По распоряжению цензоров все самостоятельные римские граждане от сенаторов до крестьян и нищих, от коренных жителей столицы до уроженцев самых отдаленных колоний являлись в храм Сатурна у подножия Капитолия или в общественное здание на Марсовом поле, где сообщали цензорам либо их чиновникам требуемые сведения о себе. Данные о малолетних и прочих зависимых членах общины приводились отцами семейств. Вся необходимая информация давалась людьми под клятвой, каковой было достаточно для государства, так как свою честь римляне ценили больше, чем монеты, которые могли бы выручить при недоплате налогов. Впрочем, вздумай граждане прибегать ко лжи, государство все равно взяло бы свое, только тогда вместо доверия и достоинства в обществе царили бы слежка и насилие.

Война внесла существенные изменения в структуру населения. Очень много мелких и средних хозяйств разрушилось, зато возросли состояния значительной категории всадников, занимавшихся предпринимательством, чрезвычайно разбогатели благодаря военной добыче некоторые сенаторы. Поэтому состав триб нуждался в значительной корректировке, и работы у цензоров было много. А что касалось высших слоев общества, то Сципион и его коллега должны были обсудить персонально каждого из нескольких тысяч членов всаднического разряда и, конечно же, всесторонне разобрать образ жизни всех сенаторов, чтобы установить соответствие не только их материального положения, но и личных качеств занимаемому высокому положению в государстве. Оценивая человека, римляне в первую очередь рассматривали его моральные качества и уже потом уделяли внимание профессиональным талантам и навыкам. Умение можно приобрести – считали они – но величие души должно присут-



ствовать изначально. Талантливый полководец может нанести вред Отчеству, если он нечестен или несдержан в своих страстях, а неопытный юноша способен совершить подвиг, если он – патриот. Поэтому частная жизнь первых людей Республики интересовала граждан не меньше, чем их ратные и политические достижения. Тому сенатору, который обидел жену, унизил сына или оскорбил прохожего на форуме, римляне никак не могли доверить власть над собою.

Все цензоры заново составляли список сената и имели право исключить из него любого человека, уличенного в недостойном римлянина поступке, или вынести кому-либо порицание, не имеющее юридических последствий, но позорящее виновного в глазах соотечественников. Точно так же они делали смотр и сословию всадников, располагая возможностью разжаловать недостойного в низший класс или отобрать у кого-то казенного коня в знак бесчестия.

Решение цензоров получало силу закона, когда оно являлось общим для обоих магистратов. По принципиальным вопросам у Сципиона и Элия было полное единомыслие, но при оценке того или иного человека между ними порою возникали споры. При гигантском объеме работы, их дискуссии длились целыми днями, а иногда внедрялись глубоко в ночь, но в неофициальной, домашней обстановке как продолжение дружеских послеобеденных бесед. Коллегам уже стало казаться, что они никогда не достигнут полного согласия по многотысячному перечню граждан, когда Сципиона вдруг осенила идея, которая в следующий миг обоим представилась вполне естественной и, более того, единственно верной и справедливой, чем сразу устранила все противоречия. Особых прегрешений за сенаторами и всадниками за период со времени предыдущего ценза не числилось, поэтому Публий Сципион и Публий Элий решили пренебречь мелочами, списав их на издержки войны, и не портить репутацию народа-победителя какими-либо придирками и замечаниями. Рим победил, и добился успеха во многом благодаря сплоченности и высоконравственности подавляющего большинства граждан. Лучшего морального состояния общества невозможно было и желать, а значит, цензорские записи должны запечатлеть это качество без искажений и донести до потомков чистоту нравственной атмосферы славного периода истории. Осознав это, цензоры не предприняли никаких санкций ни против сенаторов, ни против всадников, конечно же, за исключением осужденных за махинации и уже понесших наказание.

При переоформлении списка сената, в котором имена его членов располагались в порядке, соответствующем заслугам, авторитету и влиянию, Элий Пет на первое место поставил своего коллегу, который не пытался возражать против справедливого решения, дабы не впасть в



лицемерное позерство, и Публий Корнелий Сципион Африканский стал принцепсом сената, самым молодым за последние десятилетия, а возможно, и за всю историю Рима. Этот статус формально не давал ему никаких полномочий и лишь предоставлял право первым высказываться в Курии при обсуждении всех вопросов. Однако звание принцепса было великой честью, так как его носитель считался первым гражданином Республики. Причем этим не исчерпывались преимущества первоприсутствующего или, как его называли, первого среди равных, поскольку возможность открывать прения позволяла влиять на умонастроения сенаторов и задавать дискуссии желаемый тон.

Хотя цензоры и не собирались карать всадников своей могучей властью, процедура смотра этого зажиточного сословия римской общины проходила в соответствии с традициями и выглядела пышно, торжественно и грозно. Хранители нравов вместе с подчиненным им многочисленным административным аппаратом занимали возвышение на форуме, а всю площадь, террасы близлежащих зданий и окрестные холмы заполняли толпы народа. Всадники по одному держали экзамен перед цензорами на виду у всего плебса. Представая взорам суровых моральных судей, каждый из них вел под уздцы коня, полученного от государства для исполнения долга защиты Родины.

В прежние века эпохи бедного крестьянского Рима выделение гражданину казенного боевого коня являлось существенным материальным подспорьем его дому, так как вообще римляне должны были самостоятельно, за собственный счет, добывать военное снаряжение для службы в армии, но в настоящее время эта государственная мера больше значила в эмоциональном отношении, чем в экономическом, ибо свидетельствовала об официальном признании человека достойным почетной привилегии. Прилюдное лишение кого-либо государственного коня, нанося легковосполнимый для большинства всадников урон домашнему хозяйству, ложилось несмываемым пятном позора на его личность. Поэтому эти весьма высокопоставленные люди дрожали, как пожелтевшие листья на осеннем ветру, пока цензоры прошупывала их требовательным оком. Иногда бывало достаточно магистратам заметить малый изъян у лошади, свидетельствующий о недобросовестном уходе за нею, чтобы разжаловать всадника в более низкую гражданскую категорию, а потому хозяева старались придать животным лоск, дабы те выглядели упитаннее и ладнее, чем даже они сами. Обозрев всадника с конем, сверившись со своими записями и задав несколько вопросов, цензоры произносили установленную фразу: «Веди коня дальше», – и тогда экзаменуемый гордо возвращался в строй, порою даже под аплодисменты толпы; или же сурово повелевали: «Продай коня!» – и это звучало



раскатом грома над головой несчастного, прокатывалось по его жизни грозой, сметающей все его человеческие достижения.

Длиннокудрый обаятельный тридцатишестилетний Публий Сципион в ходе этого ритуала был любезен, как и всегда на людях, а Элий Пет для контраста хмурился и сдвигал брови, но оба они в один голос под шумное одобрение народа неизменно разрешали каждому всаднику «вести коня дальше». Заминка произошла лишь однажды, когда перед цензорами предстал Марк Порций Катон. Он хорохорился и нахально поглядывал на Сципиона, как молодой петух, вызывающий соперника на бой за подругу куриной любви. А когда цензоры позволили ему с почетом удалиться, еще некоторое время занимал смотровую площадку, оборачиваясь во все стороны и торжествующе взирая на зрителей, будто победитель олимпийских состязаний. Как потом узнал Публий, Катон был уверен, что, став цензором, Сципион исключит его из разряда всадников за проступок, совершенный им будучи квестором в Сицилии, когда он тайно бежал в Рим жаловаться на своего полководца — Сципиона, ибо, в свете признания невиновности консула, это выглядело дезертирством. Порций загодя начал прощаться с надеждой на дальнейшую карьеру, по меньшей мере на несколько ближайших лет, но, верный своему нраву, не желал сдаваться без боя и всячески настраивал народ против ожидаемых цензорских санкций. Он обрядился в траурную рваную тогу на голое тело, взял с собою малолетних детей и в скорбном шествии обходил дома знакомых и незнакомых граждан, слезно сетуя на жестокость мстительного Сципиона. А когда Публий, далекий от мыслей о неимоверных страданиях Катона, отпустил его с миром, Порций возомнил себя победителем над могущественным человеком, приписав лояльность цензора страху перед ним, Катонем. Еще несколько дней он выглядел триумфатором, на всех перекрестках рассказывая прохожим, как надменный, властный Сципион устрасился его, Марка Порция, и всех порядочных граждан, каковых он олицетворяет своими зелеными глазами и жесткой рыжей шевелюрой.

В целом великодушные цензоров, проявленное в снисходительном проведении ценза, вызвало всеобщее удовлетворение, поскольку как нельзя более соответствовало настроениям того времени. Измученный тяготами войны, уставший от всего негативного народ принял с благодарностью оптимистичные, жизнеутверждающие постановления блюстителей нравов, как бы давших санкцию обществу на дальнейшее движение по избранному пути ко всестороннему процветанию. Поэтому и процедура традиционных очистительных жертвоприношений по завершении ценза, проведенная, как и всякое общественное мероприятие в исполнении Сципиона, красочно и ярко, вылилась в своеобразное празднество.



Другую и не менее важную сторону деятельности цензоров составляла область финансово-хозяйственных вопросов. Эти магистраты распоряжались казной государства и определяли приоритетные направления для применения экономических ресурсов Республики. Цензоры устанавливали уровень налогов, а также торговых пошлин и соответствующим образом заключали от имени государства сделки с купеческими и откупными компаниями. Изучив состояние городского хозяйства, они решали, какие общественные сооружения нуждаются в ремонте, какие следует построить заново, иногда их взоры простирались за пределы померия, и тогда строительные коллегии получали от них подряд на прокладку дорог или возведение акведуков. Некоторые цензоры успешной деятельностью прославились не меньше выдающихся полководцев и запечатлели свои имена в названиях монументальных общественно-полезных сооружений. Об Аппии Клавдии Цеке напоминали мощные арки возведенного под его руководством водопровода – первого в Риме – и сама вода, изливающаяся благодатными струями под жарким итальянским солнцем из множества искусственных источников и фонтанов, а также дорога, ведущая в Капую и далее на юг к Брундизию. Гай Фламиний, тот самый, который попал в пунийскую засаду у Тразименского озера, вошел в историю как создатель цирка на Марсовом поле, где теперь проводились плебейские игры, и дороги в Аримин.

Конечно же, и Сципион мечтал о подобной славе. Еще будучи эдилом, Публий разработал план реконструкции центра города, а ныне, после того, как ему в ходе путешествий по Западному средиземноморью довелось посмотреть на развитые и благоустроенные пунийские и особенно греческие города, он страстно возжелал придать Риму блистательный внешний облик, который соответствовал бы его ведущему положению в мировой политике. Публий намеревался замостить центральные площади и улицы булыжником, отделать мрамором главные храмы, возвести базилику на форуме, одинаково удобную для судебных процессов, публичных чтений и прогулок в тени, но на свежем воздухе, соорудить термы, включающие в себя не только банные залы, но и площадки для игр и физических упражнений, создать государственную библиотеку и оборудовать порт на Тибре. Это были лишь его первоочередные задачи, планы же по облагораживанию столицы простирались гораздо дальше.

Но, увы, финансовое положение Республики и в мирное время все еще оставалось крайне тяжелым. Война высосала из государства все денежные ресурсы. Римская экономика напоминала иссушенное нещадным солнцем поле, разом поглотившее несметные богатства, привезенные Сципионом из Африки, не оставив на поверхности и следа от



них. Так что средств на грандиозное строительство не было. Но, даже если бы таковые и имелись, употребить их надлежало иным образом. Прежде чем затевать возведение новых зданий, портиков и мостов, следовало восстановить старые общественные постройки, пришедшие в негодность за долгие годы эксплуатации без ремонта.

В военное время не проводились профилактические работы в системе городских водопроводов и канализации, вследствие чего прохудились свинцовые трубы, по которым вода поступала в общественные здания и колодцы, разошлись стыки, обрушились конструкции распределительных устройств, засорились тоннели для сточных вод. На ликвидацию этих неисправностей и пошли скудные денежные резервы, оставшиеся после расплаты по обязательным ежегодным контрактам.

Некоторые средства цензоры выручили, продав соотечественникам, желающим стать колонистами, кампанские земли, конфискованные в свое время у провинившихся перед государством капуанцев. За счет этого пополнения казны они отремонтировали городские стены, мостовые на форуме и прилегающих улицах¹, а также некоторые храмы, тогда как их планы по укреплению булыжником склона Капитолийского холма и приведению в надлежащий вид площадей Бычьего и Овощного рынков остались нереализованными еще на двадцать пять лет.

Так, непрестанно лавируя между откупщиками, которые хотя еще и не достигли в изворотливости уровня пунийцев, но уже сравнялись в хитрости с греками, с одной стороны, и строительными кампаниями – с другой; всевозможными ухищрениями вытрясая монеты из первых и дразня ими вторых, цензоры оживляли городское хозяйство после двадцатилетнего состояния заброшенности. Работа не выглядела благодарной, ее результаты не высились эффектными каменными громадами над городским ландшафтом, не тянулись лентами дорог по Италии, но она была необходимой. Поэтому, прощаясь по истечении положенных полутора лет с должностью цензора, Публий, хотя и не испытывал полного удовлетворения от своей деятельности, все же успокаивал себя, заверяя требовательный внутренний голос, что им сделано для государства все возможное и должное. Правда, не все его труды остались анонимными, и кое-что вошло в историю Отечества: вместе с коллегой он вывел в кампанские земли несколько колоний, со временем выросших в значительные города, жители которых всегда помнили имена основателей.

¹ Мнение, будто до 174 г. до н. э. в Риме не было мостовых, представляется спорным, т. к. в цензорских подрядах этого года ничего не говорится о главном форуме, Священной и Этрусской улицах, которые следовало замостить в первую очередь, из чего можно заключить, что в центральных кварталах мостовые уже существовали.



Уходя в последний раз из храма Сатурна – резиденции цензоров, где также работали и квесторы, – Сципион вспомнил, как он покидал это здание на заре своей карьеры, когда завершил исполнение низшей магистратуры. Публий окинул мысленным взором истекшую часть жизни, и дух у него захватило от величия и масштабности свершенных дел, но одновременно и защемило сердце ощущение невозвратимости минувшего. На миг ему вновь, как и в первый день после триумфа, показалось, будто главные события его жизни произошли не с ним или не его волей. Разумом он подавил это неприятное чувство, напомнив себе, сколь упорно и осознанно шел к цели. Однако на смену одной пессимистичной мысли пришла другая: Публий обратил внимание на то, что тогда, в бытность квестором, он твердо смотрел вперед и шагал, не оглядываясь, а теперь, удаляясь от храма Сатурна, то и дело оборачивался к этому зданию и обращался мыслью к своему прошлому. Может быть, впервые за тридцать семь лет Публий ощутил холодное липкое прикосновение Страх; ему подумалось, что отныне его взор всегда будет направлен назад, и он станет жить, как бы пятясь. Но это было скорее предчувствие, а не мысль, и оттого становилось еще тревожнее. В то же время сознание рисовало картину широких просторов будущего. Рим совершил качественный скачок, но пока не использовал его энергию и потому был полон сил, как река, разрушившая плотину, но еще не успевшая вольно разлиться по благодатным лугам необъятной долины. Государство решительно ступило на всемирную арену, и по великому пути его должен вести он, Публий Корнелий Сципион. Перспективы выглядели грандиозно, оставалось лишь недоброе предчувствие, неуловимой тенью скользящее за ним.

5

Послужив Отечеству в меру своих сил на мирном поприще, как ранее на военном, Сципион, наконец-то, мог уделить большее внимание частной жизни. А в этой области к тому времени накопилось немало проблем. У Публия уже было два сына и две дочери, росла семья и брата Луция. Старый родовой дом Сципионов гудел от шума и тонул в хаосе бесконечной суеты. К многочисленным членам двух семейств добавилось несметное количество рабов, недавно приобретенных разбогатевшими братьями. Особенно стесненными чувствовали себя Эмилия и Ветурия.

В ту пору римская аристократия интенсивно усваивала привычки роскошной жизни. Вместе с военной добычей, хлынувшей в Рим из покоренных стран, в него проникал и нрав побежденных. Капитал консервативен, меняя хозяев, он каждого лепит по своему подобию и в конечном итоге все человеческое разнообразие сводит к одному незатейливому типу. Легионы этого неумолимого воителя составляют нагромождения из-



начально ненужных вещей, которые, встречая между людьми, рвут естественные человеческие связи и заменяют их искусственными; постепенно, вытесняя одних людей из поля живого восприятия других, они занимают их места, и таким образом становятся необходимыми, а значит, и всевластными. Мир вещей особенно легко овладевает женщинами, для которых внешнее вообще превалирует над внутренним, форма — над содержанием.

Поэтому жены прославленных людей, вкусив богатства, никак не хотели мириться с патриархальной простотой жизненного уклада большой семьи, характерного для времен старины, когда роскошью были не раззолоченные палаты, а насыщенность и глубина общения, и главной ценностью для людей являлись люди. Обеим хозяйкам дома Сципионов несказанно мешали все без исключения представители другого семейства, и они заряжали сородичей энергией отталкивания. Эмилия и Ветурия постоянно скандалили, используя для этого современные достижения цивилизации, потеснившие человеческую речь языком предметов. Так, например, желая уязвить конкурентку, Эмилия обряжалась в шикарные ткани, увешивала себя драгоценностями и щеголяла по дому. Ветурия от зависти впадала в прострацию и томилась собственным бессилием. Если бы Павла прибегла, как это бывало прежде, к колкой фразе, то у Ветурии хватило бы ума ответить равноценной остротой, но в данном случае ум не имел значения, так же, как, скажем, красота или другие личные качества: все определялось богатством. А потому Ветурия, стиснув белые зубки и исказив милое личико злобной гримасой, отправлялась к мужу и, обуреваемая противоречивыми страстями, ласкалась к нему или, наоборот, капризничала, пока он не приобретал ей чего-нибудь ярко-пестрого. Эмилия тоже не теряла времени, и поединок жен, вводящий в расточительство мужей, продолжался без каких-либо шансов на окончательный успех одной из сторон.

Эмилия Павла уже откровенно жаловалась Публию на семейство Луция и требовала, чтобы его брат как младший представитель рода переселился в другое место и оставил дом законным владельцам. Одновременно она сетовала на убожество их старого жилища, в которое, по ее словам, стыдно было вводить знатных гостей, съезжавшихся теперь к Сципиону со всего света, и обращала внимание мужа на развернувшееся в последние годы частное строительство в городе. Публий пребывал в замешательстве: с одной стороны — не желая обижать Луция, а с другой — привыкнув в бытовых вопросах считаться с мнением жены. В конце концов умелой политикой Эмилия склонила Сципиона к решению построить новый большой и благоустроенный дом, отвечающий высшим стандартам Средиземноморья.



Задавшись этой целью, Публий увлекся ею и приступил к исполнению задуманного с присущими ему пылом души и силой ума. В согласии с Эмилией он купил участок земли у подножия Палатина напротив храма Диоскуров: Кастора и Поллукса, который, примыкал к форуму. Для разработки проекта сооружения были наняты известные греческие и латинские архитекторы, руководил ими сам Сципион. В Африке и Сицилии Публий повидал немало произведений строительного искусства и знал толк в этой области. Помимо того, у него разгорелся аппетит к такого рода деятельности в результате исполнения магистратуры цензора, когда им были составлены обширные планы, призванные украсить родной город, оставшиеся, однако, нереализованными. Теперь он стремился компенсировать неудачу на поприще государственного строительства в делах частного порядка, тем более, что видное местоположение его будущего дома накладывало на возводимое сооружение требования по соответствию общегородской архитектурной идее и давало возможность оживить застарелый вид форума. Публий тщательно отделял планировку обеих граней здания, обращенных к общественно-значимым местам: форуму и храму Диоскуров, чтобы гармонично вписаться со своей постройкой в городской ландшафт, хотя в ту пору римляне не придавали важности облику фасадов личных домов. Он мечтал своей постройкой положить начало архитектурному обновлению форума и гордился этим замыслом почти так же, как если бы вел обширные работы по возведению государственных сооружений, не подозревая, что через двадцать пять лет детище его трудов пойдет на слом.

Были у него и другие стимулы в стремлении к совершенству форм здания. Дело в том, что хозяйство, основанное на рабском труде, было малоприбыльным, вкладывать большие средства в производство не имело смысла, и аристократы, нажившиеся за счет войны, тратили деньги на приобретение земли и строительство. Поэтому в те времена многие нобили обновляли свои жилища и между ними шло негласное соперничество, к которому Сципион, будучи живым человеком, не мог оставаться равнодушным, особенно при наличии такой жены, как Эмилия. Главную конкуренцию ему составляли самые близкие друзья, и это дополнительно придавало состязанию остроту и азарт. Публий привык во всем побеждать, а его соратники жаждали хоть в чем-то превзойти своего лидера. Множество ухищрений и изобретательности шло в ход при разгоревшемся соперничестве, но, конечно же, тут не было места ни злобе, ни зависти; все это походило на своеобразную игру, в которой люди, уставшие от многолетних трудов, искали отдыха и развлечений.

В результате сотрудничества Сципиона с греческими специалистами, его проект стал архитектурным синтезом латино-этрусского и эл-



линского жилища. Согласно плану, дом делился на две части: торжественно-официальную и комфортно-эстетическую. Основу первой составлял традиционный римский атрий, гораздо более просторный и величественный, чем прежний, а вторая – группировалась вокруг настоящего греческого перистила – уютного дворика с фонтаном, бассейном и миниатюрным садиком, опоясанного по периметру колоннадой портика. С обеих сторон атрия располагалось бесчисленное множество комнат и комнатшек различного назначения от зимней спальни хозяев до каморок прислуги, а к портику с внешней стороны примыкали помещения, предназначенные в основном для летнего досуга. За перистилем размещались кухня, прачечная, туалет, чулан, кладовые, а еще далее – конюшня, сараи для карет и лектик. На втором этаже находились площадки для прогулок и одна из летних столовых.

Нечто подобное по структуре получилось и у других нобилей, что явилось следствием как их взаимодействия, так и общих тенденций мировосприятия тогдашних римлян, стремившихся соединить достижения соседних цивилизаций с собственными и, обогатившись иноземными культурами, остаться, тем не менее, собою.

Несмотря на соперничество, хозяева строек помогали друг другу советами, материалами и работниками. Сотоварищи Сципиона часто беседовали на темы, связанные с их делами по обустройству быта, и находили удовольствие как в том, чтобы похвастаться оригинальными архитектурными находками, так и в тех случаях, когда им удавалось оказать услугу коллегам. Каждый предоставлял в распоряжение друзей избыток имеющихся у него ресурсов. Тот, кто добывал в своих владениях хорошую глину, делился ею с остальными, кто был богат туфом, одаривал им всю компанию, а кто-то снабжал товарищей металлом. Таким образом, значительная часть Италии сделалась сырьевой базой, обеспечивающей строительные нужды римской аристократии, а постепенно в это предприятие втянулись и дальние земли. Испания поддерживала своего недавнего наместника Луция Корнелия Лентула, считая его выразителем иберийских интересов в Риме, Сардиния содействовала тем сенаторам, чьей благосклонности добивалась для осуществления собственных целей, а Сципиону старались угодить все те страны, где его знали. Из Сицилии Публию привозили в качестве подарков восхитительные греческие статуи для украшения внутренних покоев дома, а Масинисса прислал ему знаменитый желтый нумидийский мрамор.

Строительство на углу при пересечении Священной и Этруской улиц продолжалось более года. Народ, постоянно сновавший на форуме, будучи привлеченным шумом работ, частенько собирался у возводимого сооружения, чтобы поглазеть на будущее жилище великого че-



ловека. Когда стекалась значительная толпа, перед нею словно из-под земли появлялся Марк Катон. Простирая руки ораторским отточенным жестом, он указывал на стройку и произносил гневные речи о порочности знати, помешавшейся на восточной роскоши и впавшей в безумные траты в то время, когда истомленный войною, обнищавший плебс с трудом залечивает раны. «Вы! Вы – истинные победители Карфагена!» – экспрессивно восклицал Порций. – А вспомните-ка о своих трущобах и посмотрите, как устраиваются они – те, кто присвоил плоды ваших заслуг. Где же справедливость? Возможно ли терпеть такое поведение этих людей, возомнивших себя господами над народом?» Обычно выступления Катона не находили одобрения в массе присутствующих, и лишь единицы, внимая его речам, осмеливались роптать на Сципиона. Сам Публий старался не замечать происков одержимого недугом злобы, как ему казалось, врага и реагировал на его нападки не больше, чем на лай оголтелой шавки, смелой только пока к ней не повернулись лицом. Зато за брата заступался Луций. Младший Сципион формировал группу клиентов, и те, освистывая Катона, поднимали его на смех. Их заразительный хохот должным образом воздействовал да публику, которая, не вдаваясь в смысл происходящего, подчинялась господствующей силе и присоединялась к победителю.

Ненависть одного человека, конечно же, не могла испортить общую обстановку доброжелательства Сципиону и всем его начинаниям, тем более, что сам Порций выдавал свою необъективность, атакуя, несмотря на обобщенность лозунгов, одного только победителя Ганнибала и не затрагивая по сути других аристократов.

Итог дела всегда отличен от первоначальной идеи и редко результат превосходит замысел, чаще бывает наоборот. Когда работы были закончены, Сципиона не все устраивало в его новом жилище. Что-то не удалось воплотить в реальность, однако некоторые находки, появившиеся уже в ходе строительства, превосходили задуманное изначально, поэтому в целом Публий был удовлетворен плодом долгих трудов.

Дом у форума невозможно было сравнивать со старым, палатинским: он выглядел, по представлениям того времени, дворцом. У клиентов, вваливающихся ныне разношерстной толпой в атрий патрона для утренних приветствий, захватывало дух при виде обширного величественного зала, украшенного стоящими на постаментах вдоль стен статуями, панорамы на перистиль с его фонтанами, клумбами и колоннадой, открывающейся взору с самого порога, если шторы таблина были отвешены. Стены и пол сверкали мраморной отделкой, изысканной музыкой для глаз воспринимались гармоничные ряды орнаментов и лепных барельефов. Торжество царящего здесь высокого вкуса восхи-



щало душу. Казалось, будто сама летучая слава Сципиона облеклась в камень, чтобы наглядным образом просвещать каждого входящего сюда о качествах и ранге хозяина дома.

Между тем жилище первого человека государства было скромнее, чем помпезные палаты многих богачей, которые нагромождение предметов искусства, завезенных из Тарента и Сиракуз, уподобляло складу, и где роскошь превращалась в мишуру; он выглядел в сравнении с ними, как римский патриций в сияющей чистой белизной тоге рядом с пунийскими купцами в развевающихся пестрых мантиях с кольцами, браслетами и серьгами по всему телу.

В общем, Сципион построил такой дом, какой хотел, и теперь мог, не стыдясь, принимать любых гостей не только из числа друзей, но и иностранцев, во множестве прибывающих в Рим в составе различных посольств, и, естественно, стремящихся обзавестись знакомствами с наиболее влиятельными сенаторами. Причем, затеяв это дело в угоду своему социальному положению, как бы по воле других, он постепенно привык к удобствам, и сам начал получать удовольствие от комфорта, казавшегося ему заслуженным благом после десяти лет походной жизни.

Успокоилась, наконец, и Эмилия, правда, ненадолго. Вскоре, посмотрев дворцы знатных соседей, она обнаружила немало недостатков в собственном жилище, и мнение, будто у кого-то что-то лучше, чем у них, мешало ее счастью. К этому периоду характер Эмилии заметно испортился. Она и прежде обижала людей высокомерием, но тогда ее нрав смягчался чувством благоговения перед Сципионом. Теперь же, каждодневно видя мужа, причем в будничной обстановке, а не на роствах или в триумфальной колеснице, Эмилия стала забывать о его исключительности и испытывала к нему меньшее почтение, помня, однако, что сама является женою принцепса и героя. Повлияли на нее и частые роды: фигура стала терять четкие, зовущие очертания, отчего нрав, наоборот, приобретал резкость и угловатость. Она сделалась раздражительной и заявила Публию об отказе далее множить его род. Даже простор благоустроенного дома вызывал у нее досаду. Раньше она реализовывала свои властолюбивые запросы, унижая всеми доступными женской изобретательности способами Ветурию, а в новых условиях у нее не было объекта для приложения такого рода сил, за исключением жалких рабов, торжество над которыми ввиду их вынужденной безответности не приносило удовлетворения ее требовательной натуре. Глумиться же над детьми римские обычаи не позволяли; воспитанная веками святость отношения к продолжателям рода защищала их от низких страстей родителей. Она бессознательно искала выхода отрицательной энергии и часто издевалась над клиентами, а то и над совсем чужими людьми, тесня



граждан на форуме своей лектикой, а на отдаленных улицах чуть ли не наезжая на прохожих каретой, запряженной мулами. Такое поведение матроны порождало ропот в народе, тем более, что по городу вообще было запрещено ездить в колясках без особых на то оснований, так как это, по мнению римлян, ущемляло достоинство пешеходов. Пренебрегла Эмилия и другими традициями и установленными ограничениями: она носила дорогие украшения, появлялась на религиозных празднествах в роскошных одеждах, выходила в город только в сопровождении толпы служанок и рабов, превосходя свитой даже компанию мужа.

После завершения строительства дома Сципионами овладела новая забота. Многие нобили приобретали земли, отобранные государством у неверных союзников. Вот и Публий, будучи по делам цензорства в Кампании, присмотрел прекрасный участок возле поселения своих ветеранов Литерна.

Это был сказочный край. Плодороднейшая почва, пышная растительность, мягкий здоровый климат, теплое море и восхитительные пейзажи казались суровым римлянам воплощением персидской мечты о райском саде. Литерн располагался на побережье рядом с одноименной очаровательной речушкой, впадающей в Вольтурн. В четырех милях к югу находился древний греческий город Кумы – родина знаменитой прорицательницы Сивиллы, а за ним по береговой линии следовали Путеолы и Неаполь. Тут же было легендарное Авернское озеро, сообщающееся, согласно мифу, своими недрами с Аидом. За близлежащими холмами виднелась возвышающаяся вдалеке вершина Везувия, украшенная белым султаном горячего дыхания Вулкана. Голубой морской простор с одной стороны уравнивался видом на синеющую в туманной дымке грядку Апеннин – с другой.

Вот в таком примечательном месте, утопая в зелени виноградников, оливковых и финиковых рощ, находился участок Сципиона, вскоре превращенный им в усадьбу для летнего отдыха, с небольшим хозяйством, обслуживающим лишь внутренние семейные нужды. Так что теперь, когда в Риме наступал период нездоровой погоды, Публий, если его не задерживали государственные дела, с женою, детьми и большим количеством слуг отправлялся на кампанскую виллу, предпочитая ее старым родовым имениям, и предавался радостям первозданной жизни наедине с природой и близкими людьми.

6

Занимаясь и будто бы даже охотно частными делами, Сципион подспудно ощущал измельчание своей жизни. При всей необходимости и особого рода приятности трудов по благоустройству семейного быта он



чувствовал неудовлетворенность: его личность имела совсем иной масштаб, ей было тесно в стенах самого просторного дома и в угодьях самого обширного имения. Она простиралась далеко за пределы телесной оболочки и материальных границ, сливаясь с душами целых народов, ее домом было все человечество, что в качестве высшей потребности ставило целью стремление к обустройству именно этого дома. Потому Публий даже в период некоторой переориентации своей деятельности продолжал вникать в государственные вопросы, причем не столько по моральному долгу принцепса, сколько – по зову сердца.

Главной политической темой Средиземноморья в то время была война Рима с Македонией. Сципион не участвовал в ней непосредственно, но вела ее возглавляемая им партия. В этом предприятии Республика пыталась воплотить в реальность идеи, вызревшие в кружке Сципиона в ходе испанской и африканской кампаний. Здесь, на гигантской сцене политического театра изощренного эллинистического мира, проходили проверку сокровенные мысли Сципиона, и одновременно держал экзамен перед всей ойкуменой сам Рим.

Долгое время определявшая облик половины тогдашнего мира греческая цивилизация, истомив себя в бесконечных междоусобицах, растеряла социальный потенциал, растратила впустую моральные силы, накопленные обществом, родившимся в муках первобытного коллективного отбора, так и не достигнув политической консолидации, которая была бы способна оболочкой государственности защищать дряхлеющий народ от внешних посягательств и замедлять его внутреннее разложение, а потому скорее, чем следовало по логике исторического движения, подпала под власть менее развитого, но более сплоченного племени. Лишь необычайная эстетическая одаренность греков спасла их для человечества, позволив эллинской культуре распространиться по свету на гребне волны македонских завоеваний. Так, эта цивилизация в предсмертных конвульсиях сумела произвести смешанное потомство в варварской среде.

Ныне Балканский полуостров являл собою величественное и в то же время удручающее зрелище, как руины знаменитого города, где на пепелище былых дворцов среди оскверненных костей героев рыскали алчные завоеватели и копошились израненные беспомощные горожане.

Теперь сюда пришли римляне, издавна жившие в тесном соприкосновении с италийской ветвью греческой цивилизации, и считавшие себя духовными последователями, а по некоторым легендам, и кровными потомками Эллады. Они вступили на Балканы с чувствами молодого богатыря, стремящегося заступиться за престарелого чудаковатого, наивно-мечтательного, но мудрого и доброго учителя, третируемого грубостью настырного дикаря.



В подобном же духе трактовали свое участие в этих событиях и македоняне, верхи которых давно переняли греческий нрав и образ жизни. Неспроста ведь наставником Александра Великого был Аристотель, а македонские цари называли себя выходцами из Аргоса.

Так что лозунги обеих сторон оказались схожими: и римляне, и македоняне «боролись за свободу Греции». О свободе Греции звонко рассуждали и наиболее сильные эллинские федерации, такие как этолийский и ахейский союзы. Отовсюду несчастным грекам грозили полчища «освободителей», и, чтобы разобраться в обстановке, отличить фальшивые монеты лицемерия от чистого золота правды, следовало внимать не только раздающимся речам, но и верно расценивать поступки, конкретные дела всех сторон.

Открыть военные действия против Филиппа довелось консулу Сульпицию Гальбе. Публий Сульпиций не блистал талантами, и в первый, и во второй раз, он получил консульство не за личные доблести, а благодаря стечению обстоятельств и услугам, оказанным первым людям государства. Это был средний представитель римской аристократии, но, как средний римлянин, он мог добротнo вести любую войну и добиваться значительных побед. А действовать в Македонии ему было сподручнее, чем кому-либо другому, так как несколько лет назад он возглавлял римскую экспедицию на Балканы и считался знатоком этого региона. Филипп тоже имел некоторый опыт по части римлян. Однако первое столкновение между двумя великими державами сейчас могло расцениваться лишь как разведка; по-настоящему война начиналась только теперь. Поэтому обе стороны при безусловной вере в собственные силы повели дело осторожно. Борьба шла за выгодные позиции, горные проходы, опорные крепости, а самое главное — за союзников. Те и другие стремились расположить к себе греков, иллирийцев, акарнанов, эпиротов и другие народы, на чьей территории велась война, поскольку при скудости урожаев на здешней каменистой почве, успех в снабжении армии определялся помощью местного населения. Пока же большинство жителей стратегически важной зоны колебалось с выбором, взвешивая свои симпатии и антипатии, Сульпиций опасался углубляться во вражескую страну и держался вблизи портовых городов, через которые осуществлялась связь войска с питающими его землями, а Филипп избрал пассивную оборону, дабы не спугнуть союзников какой-либо неудачей.

После первых схваток уважение противников друг к другу еще более возросло. Македоняне дивились выдержке и дисциплине италийцев, планомерности и согласованности всех их предприятий. Даже сам вид вражеского лагеря четкостью рисунка и царящим там порядком приводил в смущение воинов Филиппа, а оружие римлян и образ их



действий в сражении, превращавшие столкновение фаланг в жестокую резню накоротке, шокировали македонян, и они содрогались от ужаса, рассматривая после боя трупы соратников, растерзанные короткими обоюдоострыми италийскими мечами. В свою очередь и римляне еще раз убедились в неприступности македонской фаланги и квалифицированности вражеского вождя.

События развивались с переменным успехом. В нескольких эпизодах Сульпиций вынудил ошибиться Филиппа, а в двух – трех случаях уже царь застал противника врасплох. Но и тому, и другому полководцу не хватило таланта и удачи, чтобы одержать решительную победу. В конце концов, римляне оказались упорнее соперника и заставили его отступить. Сульпиций проследовал с войском по окраинам македонских владений, захватил несколько небольших городков и возвратился к своей приморской базе – Аполлонии. Филипп проделал рейд по Греции, уговорами и угрозами пытаясь склонить эллинов к войне против Рима. Особенно напряженная идеологическая борьба развернулась в Навпакте, где проходило общезтолийское собрание. Туда прибыли послы и от римлян, и от царя.

Этолия была главной надеждой и наибольшим разочарованием Греции последних десятилетий. Совокупность племен, носящих обобщенное название этолийцев, до последнего времени пребывала в состоянии близком к древнему родовому строю, будучи как бы законсервированной горами, отделяющими ее от путей, по которым шагала цивилизация. Поэтому Этолия представляла собою молодую, нравственно здоровую федеративную республику с народным собранием во главе и советом старейшин, избираемым от всех народностей пропорционально их численности и значению, в качестве относительно постоянного руководящего органа. В то время, когда остальная часть Греции согнулась под тяжестью собственных пороков в поклоне македонским владыкам, Этолия, еще мало изъеденная паразитами наживы и прочих видов частной корысти, представляла значительную силу. Ее граждане понимали, что необходимым условием соблюдения индивидуальных интересов является отстаивание интересов государства, а потому по зову долга они собирались из самых отдаленных уголков страны, готовые дать отпор любому врагу. Единство устремлений и сплоченность этолийцев поставили их выше гораздо более культурных и богатых народов Эллады, позволив им играть существенную роль в обуздании македонской агрессии и смягчении ига чужеземного господства. Постепенно вся Греция признала заслуги Этолии, и несмотря на давнее презрение к полудиким малообразованным горцам, в столь просвещенное время все еще жившим в первобытных деревнях, и афиняне, и коринфяне, и беотийцы, и эвбейцы прониклись ува-



жением к этому народу. Особенно возрос авторитет Этолии, когда ее гражданскому войску удалось отразить нашествие галлов и тем самым защитить всю Элладу от варваров куда более свирепых, чем македоняне, смиренные греческой образованностью. С тех пор этоляне возгордились собственным значением и пытались возглавить освободительную борьбу Греции против Македонии, но, увы, они пришли в новый мир со старыми средствами, а потому оказались неспособными справиться с задачей, поставленной им историей. То, что было хорошо в гомеровскую эпоху, шокировало нынешних эллинов. Мораль родового общества, сохраненная этолийцами, создавала наилучшие возможности человеческого взаимодействия внутри государства, но ставила вне законов все внешнее. Будучи людьми в самом человеческом смысле слова среди соплеменников, они обращались в жестоких дикарей за границей своей страны, грабя и терзая соседних эллинов, попирая все нормы международного права. В помыслах этолийцы желали стать добрыми хозяевами всей Греции, но на деле низкий культурный уровень заставлял их видеть во внешнем мире лишь ареал поиска добычи, и за пределами страны они были беспощадными хищниками. Но и это еще не все: с ними в форме шаржа произошло то, что позднее пережили римляне в виде трагедии. Расширив сферу деятельности, этоляне узрели достижения эллинской цивилизации, причем в меру своего интеллектуального уровня обратили внимание не на искусства и науки, а на материальную роскошь быта. В их глазах заискрились отражения блестящих побрякушек богатства, поднимая со дна души муть алчных вожделений. Опыневшие от жадности вожди стали разменивать политическое могущество и престиж своего народа на знаки материального преуспевания, отдавая им все большее предпочтение в сравнении со славой человеческого уважения. Так, этоляне, еще недавно презиравшие продажность афинян, спартанцев и коринфян, скоро обогнали их в падении и сделались гораздо уязвимее для подкупа, чем даже персидские чиновники. Резкое обогащение наименее честных людей повлекло постепенное упразднение честности во всей общине и стремление к качеству противоположному. Одновременно с вторжением коррупции этоляне приобрели особый аппетит к грабежу. Корысть мгновенно распространилась в их среде подобно чуме, поразившей скученный лагерь недисциплинированного войска. Богатство застало этолийцев врасплох и, обрушившись лавиной, покалечило их нравы. Вот такими людьми, утратившими собственные достоинства и обретшими чужие пороки, застали этолийцев настоящие события.

Помышляя о гегемонии в Греции, этолийский союз пятнадцать лет назад затеял войну с Македонией, но не справился со взятой на себя задачей и обратился за помощью к римлянам. Римляне, занятые войной с



Карфагеном, оказывали грекам лишь минимальную поддержку, недостаточную для полной победы. Поэтому этолийцы при первом удобном случае без ведома союзника заключили сепаратный мир с Филиппом. Так что теперь они выступали по отношению к римлянам одновременно и как соратники, и как нарушители договора, а по отношению к царю выглядели и потенциальными врагами и добрыми соседями. С учетом важности этого звена в политической жизни Эллады как римляне, так и Филипп готовы были до поры, до времени закрыть глаза на проступки этолийцев и судить о них, исходя из перспектив на будущее, а не минувших дел. Поэтому соперничество за сильного, хотя и ненадежного союзника сегодня начиналось заново.

Первыми выступали послы царя. Они напомнили собранию, что лишь македоняне и родственные им греки являются цивилизованными людьми, тогда как римляне есть варвары, разнузданные дикари, неспособные ни мыслить, ни чувствовать по-человечески. Вскрыв таким образом природную суть римлян, македоняне сумрачными красками вечернего закатного неба начертали картину римского гнета над Италией и Сицилией, население которых цепенеет от ужаса пред розгами и топорами магистратских ликторов. Далее солирующий в македонском хоре оратор возрыдал конкретно над судьбою Капуи и других, поверженных Римом городов, а в завершение на основе всего сказанного вывел формулу, заключающуюся в том, что римляне – врожденные враги как эллинов, так и почти неотличимых от них македонян.

Дабы не заниматься неблагодарным делом самооправдания и ответного обличения соперника консульский представитель Луций Фурий Пурпуреон вывел на сцену подготовленную заранее делегацию афинян. Те же с высочайшим артистизмом поведали этолийцам о том, как просвещенный, изысканно изыскающийся по-эллински Филипп разорил Аттику, разрушив не только жилые дома, но также святыни и храмы славного края, а затем грозил то же самое сотворить с городом, но был отброшен от Афин подоспевшими на помощь римлянами. После такой эмоциональной подготовки собрания, этолянам предстал сам Фурий.

В противовес грекам, римлянин решил выступить кратко и хлестко. «О “доблестях” Филиппа здесь уже достаточно рассказали ваши соотечественники, – уверенно заговорил Луций, между прочим, на чистом аттическом диалекте, – я же бегло брошу луч информации на ситуацию с Капудей и городами, ей подобными. Некогда мы вступились за Капудю перед самнитами и выдержали ради нее семидесятилетнюю войну с храбрейшими на земле племенами. Потом мы дали капудянам права нашего гражданства. А каков был ответ благодетельствованного нами народа? Поставленные на один уровень с римлянами, капудяны



возымели мечту возвыситься над Римом и в труднейший для Италии период предали африканским завоевателям! Так чему же теперь стоит удивляться: тому ли, что уничтожены их государственные учреждения, или тому, что мы сохранили в неприкосновенности этот город и возвратили его кампанцам на условиях их сугубо мирной жизни в дальнейшем? Аналогичные истории можно рассказать и о других полисах. Да, действительно, многие города, воевавшие против нас на стороне взнузданных друзей из Африки, ныне платят нам налоги и подати. Я не скрываю этого, а, наоборот, подчеркиваю, — выразительно заявил Фурий, поразив греков такой откровенностью. — Тут все так и есть, как говорили македоняне: участь каждого народа зависит от его заслуг или вины перед Римом». Далее Луций Фурий призвал этолийцев аннулировать сепаратный сговор с македонянами и возобновить союз с римлянами. «Если только вы не предпочитаете погибнуть с Филиппом тому, чтобы победить с Римом», — добавил он напоследок.

Уверенная, логичная и жесткая речь консульского посланника завожила этолян, произвела на них впечатление, подобное тому, какое может испытать женщина, встретившая мужчину при выходе из гарема, где она долгие годы томилась в обществе склочных старух и писклявых евнухов. Видя, что мнение народа склонилось в пользу римлян, союзный стратег, получивший, как здесь было заведено, взятку от Филиппа, поспешил закрыть собрание, не дав ему принять конкретное решение. Однако, несмотря на неопределенный исход дипломатической борьбы, римляне одержали здесь важную моральную победу, и потому в скором времени этолийцы все же открыли боевые действия против Македонии.

Второй значительной силой Эллады этого периода наряду с Этолией был ахейский союз. Он походил на этолийский тем, что на федеративных началах включал в себя многие мелкие государственные образования с общенародным собранием во главе всего сообщества, но отличался неоднородностью своего состава. Непосредственно ахеяне представляли собою остатки древнего, некогда покоренного дорийцами населения Пелопоннеса. Подобно этолийцам они в большой мере сохранили общественные установления и нравы родоплеменного строя, благодаря чему не утратили единства в эпоху разброда и междоусобиц и выделились из пестрой мозаики греческих полисов здоровым, формообразующим моральным потенциалом, привлечшим к ним в конце концов внимание соседних республик. Так этот скромный и будто бы невзрачный по культурным и материальным достижениям народ сделался центром кристаллизации пелопоннесских общин. Постепенно к нему примкнули знаменитые дорийские города Сикион, Коринф, Аргос, а также большая часть Аркадии. Причем столь притягательна была цен-



ностная ориентация на внутренние, человеческие качества древнего народа, противостоявшая распространившейся тяге к внешним, осязаемым элементам престижа, что и аркадяне, и дорийцы после включения их в союз с гордостью именовали себя ахейцами. Дабы коренное население этого государства не затерялось в массе новых граждан, было принято, чтобы голосование в народном собрании проходило по городам без учета их многолюдства и значения. Поэтому и мелкие ахейские полисы, и крупные дорийские или аркадские имели равную власть в союзе, что позволило ахейцам называть свое государственное устройство самым справедливым в мире. Однако более образованные и изощренные в политике инородцы со временем все же выдвинулись на первые роли в федерации, внедрили в нее собственные ценности и тем самым исказили ее суть. С ростом ахейского союза народные собрания становились все менее народными, поскольку простым людям из отдаленных краев было сложно в материальном плане несколько раз в год покидать свои хозяйства для участия в политической жизни союза, и позволить себе такую роскошь могли лишь представители зажиточных слоев населения. Нерегулярность занятий государственными вопросами широких гражданских масс привела к их недостаточной политической осведомленности, чем и воспользовались доминирующие классы. Завладев монополией на информацию, богачи и аристократы с помощью пропаганды еще более отдалили народ от руководства общественными делами. Выборного же органа, который стабильно выражал бы интересы простого люда, в ахейском союзе не было. Поэтому, с отчуждением народа от власти, республика переродилась в аристократическое государство и, при видимости республиканского управления, тон там задавала незначительная часть населения, преуспевавшая далеко не в лучших человеческих начинаниях, которая осуществляла свою власть через угодных ей стратегов.

Внутренняя противоречивость ахейского союза выразилась в противоречивости его политики и исторической роли. Возникнув из патриотической потребности освобождения от иноземного владычества, он в конечном итоге подавил последнее серьезное патриотическое движение в Элладе и способствовал укреплению чужеземного господства.

Главные достижения ахейской федерации, как положительные, так и губительные для Пелопоннеса и всей Греции, оказались парадоксальным образом связаны с именем одного человека – сикионца Арата. Арат был прирожденным политиком, а трудности жизни изгнанника с малых лет развили в нем этот талант, и к двадцатилетнему возрасту он превратился в изощренного интригана, умеющего с филигранным мастерством использовать слабости людей и силу денег. Мысли, чувства,



идеи, традиции, мораль, ложь, истина – все это сделалось его рабочими инструментами, которыми он вначале воссоздал ахейский союз из руин государственности, оставленных Македонией, а потом порушил его и сдал той же самой Македонии.

Еще будучи юношей, Арат организовал заговор в родном городе Сикионе и сверг власть тирана, посаженного на трон македонским царем. Следующий подвиг молодого человека затмил первый. Ему удалось устроить переворот в Коринфе и выбить из городской крепости македонский гарнизон. Таким образом, знаменитый Акрокоринф – «ключ к Пелопоннесу», запирающий коринфский перешеек, – возвратился к эллинам. Эти успехи пробудили всю Грецию. Эллины вспомнили, что они люди, а не пресмыкающиеся перед полудикими македонянами рабы. Соответственно они и повели себя как люди, встав широким фронтом на борьбу с иноземцами и их ставленниками в греческом обличье, но с негреческой душой. Волна патриотизма разбила македонские редуты в Пелопоннесе и смыла всю нечисть. Моральная обстановка была такова, что тираны добровольно отказывались от власти и шли в народ, отныне предпочитая восходить к вершине не по головам людей, а возносясь на их руках. Вождем освободительного движения по праву стал Арат, а его имия сделалось гимном и знаменем возрождающейся Греции.

Умри Арат в те счастливые дни, он считался бы самым светлым героем Отечества, но судьба, продлила его годы, чтобы обнажить перед миром суть характерной личности той эпохи. Дело в том, что Арат, увы, уже не был истинным эллином, он являлся продуктом эллинизма, периода разложения общинного образа жизни, когда деградация родных полисов заставляла людей искать счастья за их пределами и, после безуспешных попыток слить свои интересы с судьбами всей цивилизации, сделаться гражданами всей ойкумены, вставать на путь индивидуализма; когда, разочаровавшись во внешнем мире, они пытались открыть истинный мир в самих себе, который был, однако, всего только отражением внешнего со всеми его пороками, и лишь искаженным мечтами и адаптивным лицемерием. Так во времена эллинизма личность выделилась из общества, осознала свою относительную автономность, но вместо того, чтобы на новом уровне объединиться с себе подобными, такими же личностями, и создать общество более высокого, чем прежде, качества, она абсолютизировала собственную автономность и принялась рвать живые связи, тогда как следовало их совершенствовать. В результате, замахнувшись на слишком многое, человек приобрел слишком мало и, не став гражданином мира, превратился в скудного душою эгоиста.

Более тридцати лет Арат заправлял делами ахейского союза с пользой и для себя, и для соотечественников. Все это время его честолубию



индивидуалиста было по пути с общенародными интересами, и в этом заключалась причина такого благополучия. Но, когда ахейцы стали предпочитать других лидеров, мало-помалу проявилась его беспринципность. Арат начал грязно интриговать против соперников и, не имея своей особой идеологии, боролся с лучшими людьми союза только из-за власти ради власти. Вскоре в Пелопоннесе наизрекли события, способные поднять население полуострова на новый виток гражданственности и обещающие в дальнейшем реализацию извечной мечты эллинов о создании могучей общегреческой республики. Тут-то и определилась цена индивидуализму, обнаружилась шаткость автономной личности, лишенной опоры на широкую народную массу. Выяснилось, что таким людям, как Арат, все равно куда плыть, лишь бы оставаться на плаву.

Главное действующее лицо Пелопоннеса прошлых веков – Спарта последние десятилетия пребывала на обочине истории. Распространившись на волнах войны по миру, лакедемоняне увидели, насколько проще собирать материальные ценности, чем растить духовные и, прельстившись легкостью добычи престижа посредством богатства, столь доступного их оружию, презрели древние отеческие нравы, а потому вскоре сделались персами, афинянами, египтянами: кем угодно, только не спартанцами. Едва ослаб характер этого народа, притупилось и его оружие. Спартанцам более нечего было противопоставить соперникам, вытесненные с места под солнцем, они постепенно возвратились в свой пыльный городок, утешаясь в собственном ничтожестве награбленными безделушками. Лакедемон превратился в захудалый олигархический полис. Но на берегах Эвроты среди скромных хижин издавна жила Слава. Зрячим душам она заменяла свет исторического благополучия и во мраке кротового мирка стяжательства озаряла путь к солнцу. Меж мясистых сорняков, разросшихся на навозе корысти, земля Лаконики порою возвращала и добрые ростки. Постепенно прояснялось сознание людей, нарастало понимание невозможности дальнейшего пребывания в состоянии крайнего убожества, назревал протест против чужеземной болезни, поразившей Родину, и в Спарте стали все чаще возникать гражданские волнения. Хранителем нравственности всегда является народ, в глубинных слоях которого она скрывается от назойливых домогательств алчности, когда ее вытесняют из государственной структуры. Так и в Спарте патриоты, желая возродить Отечество, зывали к массам униженных и обездоленных граждан. Естественно, что им противостояли богачи со сворой идеологических прислужников, как то: поэты, актеры, ораторы, олимпийские чемпионы и софисты, кормящиеся отбросами с господского стола. До поры, до времени деньги торжествовали над людьми, но наконец царю Клеомену удалось одолеть звенящее воинство. Этот талант-



ливый человек, получивший стоическое воспитание, шел к цели извилистым путем. Вначале он подкупом расположил к себе эфоров – государственный орган олигархии; а положение было таково, что любое постановление эфоров покупалось за взятку. Затем, добыв авторитет на военном поприще, он расправился с продажными эфорами и ценою их жизни, а также – изгнания восьмидесяти видных деятелей враждебной партии избежал гражданской войны. В глазах богачей он, конечно же, выглядел злодеем, так как подверг репрессиям несколько десятков представителей их класса, вместо того, чтобы погубить в междоусобице десятки тысяч простых людей, кровью которых олигархи привыкли решать свои вопросы по перераспределению собственности, однако народ ликовал. Клеомен произвел демократические в истинном смысле этого слова реформы, то есть отобрал излишнее имущество у богачей и отдал рядовым гражданам, перераспределил земли в пользу бедных людей, освободил из государственного рабства шесть тысяч илотов. Вновь получили распространение традиции Ликургова времени, снова возобладали ориентация на качественное развитие самих людей, а не на количественное умножение их собственности. На базе этих преобразований Спарта воспряла из политического небытия, а ее пример воодушевил народные массы всего Пелопоннеса. Над олигархами ахейского союза нависла угроза демократической революции, а потому Лакедемон был объявлен средоточием зла, и против него началась война.

Первые же столкновения ахейян со спартанцами показали превосходство граждан, вдохновленных идеей, над людьми, одуроченными ложью. Кроме того, и сам вожь лакедемонян как полководец оказался выше Арата. Ахейцы терпели поражение за поражением. Спартанцы расширяли зону своего влияния и привлекали к себе все большие массы простого люда. Постепенно народ Пелопоннеса стал разбираться, кто есть кто, и начал проявлять солидарность со спартанцами. Тогда олигархия ахейских государств решила поступиться частью имеющегося благополучия, дабы не лишиться его полностью, и пошла на сговор с Клеоменом. Вожь лакедемонян, будучи сам аристократом, выказал сочувствие к собратьям по классу и несколько притупил демократичность реформ на завоеванной ахейской территории во имя всеобщего согласия. Настала пора радужных надежд, когда бедняки мечтали что-то приобрести из отобранного у них ранее, богачи – что-то сохранить из награбленного, а все вместе рассчитывали создать могучее пелопоннесское государство с выдающейся личностью во главе. С Клеоменом стали наводить контакт этолийцы и другие сколько-нибудь значащие силы Эллады. У греков появилась перспектива окончательно избавиться от македонских оков.



Но тут показал свою оборотную сторону Арат. Казалось бы, вот-вот будет реализована его гражданская цель, и он должен всячески приветствовать доброго преемника, но Арат предпочел личную власть над соотечественниками счастьем Родины и повел новую войну против Клеомена. Не совладав с соперником в открытом бою и на политическом фронте, он развязал идеологическую борьбу. Не было лжи и зловердных измышлений, которые Арат оставил бы без внимания. В неусыпных трудах он обшаривал все словесные помойки человечества и без усталости швырял грязь в самого Клеомена и в лакедемонян вообще. Богачей он пугал спартанской похлебкой, ячменной лепешкой и перспективой полного уничтожения богатства, а массам, наоборот, внушал, будто Клеомен, по сути, сторонник собственности и никакой отмены долгов и передела земли с его приходом к власти не будет. Посредством лжи и всяческих провокаций Арат добился возобновления боевых действий, но снова потерпел сокрушительное поражение. Тогда глава ахейцев замыслил уже ничем не прикрытое предательство. Он обратился за поддержкой к Македонии, однако сделал это с ловкостью матерого политика. Через подставных лиц он взбунтовал аркадский город Мегалополь, который менее других пострадал от македонских владык, но более остальных терпел от войны со спартанцами, будучи их соседом. Мегалопольцы внесли в собрание ахейян предложение о вступлении в союз с Македонией, дабы при содействии добрых иноземных завоевателей сокрушить апологетов ненавистной черной похлебки. Ахейское собрание, подготовленное к подобной мере пропагандой, да еще составленное в основном из богачей, все же безразлично выслушало это пожелание аркадян, но возмущенный ропот совести заглушался вкрадчивым шепотом находящихся в опасности денежных мешков, и потому ахейяне смущенно молчали. Тут выступил на сцену сам Арат и эффектно сыграл трагическую роль с воздеванием и заламыванием рук. Он густо смешал патриотические лозунги с рыданиями над бедами Отчизны и этой вязкой массой залепил уши сограждан, отныне оглохших к гласу истины, разума и чести. Вначале Арат заявил, что им, эллинам, не пристало взывать к помощи чужестранцев, но в дальнейшем стал называть македонца Антигона другом, тогда как до этого тридцать лет именовал македонских царей врагами, а эллина Клеомена – отъявленным злодеем. Напоследок он сказал, что они, ахейцы, видимо все-таки обратятся к могущественному северному соседу, но лишь в крайнем случае. Таким образом, оратор снискал хвалу как патриот и в принципе решил вопрос о сдаче страны иноземцам. К тому времени уже прошли переговоры Арата с Антигоном, естественно, через подставных лиц, и были выработаны условия защиты Арата от Клеомена, а олигархов – от народа в обмен на общее рабство и одного, и второго, и третьих, и четвертых.



Антигон в первую очередь требовал отдать ему важнейший стратегический пункт – Акрокоринф, то есть ту самую крепость, которую Арат в молодости освободил от македонян. Раздираемый противоречиями ахеец переступил через свой юношеский подвиг и выполнил желание иноземного хозяина, причем, как всегда, очень ловко. Злоупотребляя должностью стратега, он принялся всячески преследовать коринфян, править над ними несправедливый жестокий суд и такими действиями вынудил их искать защиты у Клеомена, после чего с чистой совестью сдал Коринф Антигону как город, предавший дело ахейян. Правда, еще раньше Клеомену удалось отразить нападение самих македонян, то есть спартанцы собственными силами совершили то, что прежде не сумели сделать все греки вместе взятые, но Арат, сыграв на слабостях половинчатости реформ Клеомена в области упразднения собственности, поднял восстание в Аргосе. Спартанцы, укрепившиеся на коринфском перешейке, оказались под угрозой удара с тыла и были вынуждены отступить, после чего македонянам как раз и отдали Коринф. Выйдя на оперативный простор, Антигон завладел инициативой и не без труда, но все же выиграл войну, надежно утвердив македонское господство в Пелопоннесе. По этому поводу греки грустно шутили, вспоминая притчу о том, как повздоривший с оленем конь призвал на помощь человека, который с тех пор на нем и ездит. Арат и кучка продажных олигархов, начав дело как полноправные союзники Антигона, по мере его успехов скатывались вниз и в конце концов опустились до роли угодливых холопов иноземного хозяина. Так, Арат в льстивом подбострастии повелел назвать разрушенный и разграбленный Антигоном древний славный город Мантинию после его восстановления Антигонией, увековечив тем самым свое предательство на двести лет, пока римляне не возвратили городу прежнего имени. В благодарность Антигон поощрил Арата благоволительным жестом, когда, уничтожив в Коринфе изваяния героев-освободителей, давних соратников Арата, он сохранил статую самого изменника и поставил ее во главе мраморной шеренги тиранов. Таким образом, Арат, всю жизнь боровшийся против тиранов – ставленников Македонии и самих македонян, на склоне лет перечеркнул все свои праведные дела, растоптал геройски добытую славу и в итоге удостоился первого места в галерее тиранов Отечества и репутации царского прислужника.

После этих событий ахеец, терзаемый угрызениями совести, написал, хотя и не имел соответствующего таланта, мемуары, чтобы скрыть свою роль в порабощении Родины и оправдать себя в глазах потомков. При этом он продолжал служить иноземцам, пока те не избавились от него за ненадобностью, отравив ставшего бесполезным старика. Сделал это преемник Антигона Филипп.



Эта жестокая драма еще раз подтвердила, что предательство никогда не бывает частичным, малым, а предатель никогда не бывает счастливым.

Вот такое многоплановое и неоднозначное явление представляла собою ахейская федерация ко времени начала войны Рима с Македонией. Наряду с добрыми порывами, в ней царила обстановка лжи и лицемерия, и потому даже спустя семьдесят лет историк из среды ахейской олигархии называл борьбу с Македонией на стороне Клеомена подлостью и посрамлением любви к свободе и благодетельству.

Ныне Филипп сам прибыл в собрание ахейцев и, поразив их великодушием, предложил свою помощь в войне с пытающейся подняться на ноги Спартой. Однако ахеяне не долго восхищались Филиппом. Дело в том, что с появлением на Балканах альтернативной силы в лице римлян, македоняне теряли абсолютную власть и, следовательно, лишались монополии на пропагандийские благодетельство и справедливость. Отныне греки уже не обязаны были безоговорочно верить северному соседу и принимать «на ура» любое его заявление, а потому ахеяне посмели обнаружить в будто бы бескорыстном предложении Филиппа и сопутствующих ему условиях попытку втянуть их в войну с Римом. С помощью ловкого дипломатического шага они отклонили навязываемую помощь, сохранив при этом добрые отношения со своим давним господином. В итоге Филиппу пришлось удалиться ни с чем. У римлян же пока вообще не было доступа в ахейский союз.

Первый год войны не принес ощутимых успехов ни одной из сторон. В Риме нарастало недовольство ходом македонской кампании. Поэтому сенат принял решение не продлевать полномочия Сульпиция Гальбы, а передать провинцию новому консулу. На роль командующего македонским корпусом партия Сципиона выдвинула сильную кандидатуру – недавнего испанского проконсула Луция Корнелия Лентулу. Но, хотя Луций легко победил на магистратских выборах, Македония по жребию досталась второму консулу Публию Виллию Таппулу. Виллий был сравнительно новым человеком в высших слоях сената. Он проявлял задатки незаурядного дипломата, но в него мало верили как в полководца. Сципион, имевший большое влияние на Таппулу, пытался уговорить его уступить провинцию Лентулу, но, увы, безуспешно: амбиции взяли верх над авторитетом принцепса. В ответ на строптивость консула сенат не стал помогать ему в подготовке кампании этого года, и трудные сборы задержали Виллия в Италии дольше обычного. А когда он все-таки прибыл в Македонию, войско отказалось ему подчиняться: три тысячи Сципионовых ветеранов, составлявшие костяк армии, подняли бунт, будто бы требуя демобилизации. Пока консул боролся со всевозможными препятствиями, срок его им-



перия истек, и ему на смену был направлен преемник, на этот раз именно избранник Сципиона.

Принцепс давно искал кандидатуру, достойную Греции. Он понимал, что представитель Рима на Балканах должен не только иметь выдающиеся таланты полководца и политика, но и быть обаятельным высокообразованным человеком, любящим Элладу, короче говоря, он должен походить на самого Сципиона в годы его испанского и африканского проконсульств. Конечно же, у Публия было желание самому возглавить эту кампанию, но он не хотел возмущать сограждан присвоением себе всей военной славы, да и испытывал усталость от тягот лагерной жизни. Наилучшим образом могли справиться с ролью македонского проконсула Гай Лелий и Луций Корнелий Лентул, но первый еще не набрал достаточного политического веса, а второму, как уже сказано, не повезло со жребием. Претендовали на заветную должность Луций Сципион и Публий Сципион Назика, однако они пока застряли на нижних ступенях магистратской лестницы, а использовать всю силу своего влияния для продвижения ближайших родственников Сципион считал делом не достойным его репутации.

Еще и еще раз просматривая государственных мужей, созревших для консульства, Публий приходил и отчаяние: он видел много людей, способных завоевать Грецию, но ни одного, кто мог завоевать самих греков, их симпатии, кто мог бы овладеть душой Эллады. Тогда он решился на рискованный и экстравагантный шаг. Публий Корнелий Сципион Африканский, принцепс сената доверился молодому человеку, почти не проявившему себя в государственных делах, Титу Квинкцию Фламинину. Квинкцию тогда еще не исполнилось тридцати лет, но он уже давно входил в кружок друзей Сципиона. В войну с пунийцами Тит служил под началом Марцелла, а затем некоторое время был комендантом Тарента. Позднее он исполнял квестуру, но наибольший вес ему придала работа в аграрной комиссии по выведению колоний, куда его устроил Сципион.

Как личность Тит Квинкий обладал немалыми способностями. Он был человеком живого ума и смотрел на вещи сразу с нескольких точек зрения, а потому воспринимал проблемы и события объемно. Его смекалка работала мгновенно. В любой компании он выступал интересным собеседником, правда, бывал остроумен и симпатичен, когда солировал в коллективе, но его остроумие становилось желчным, если окружающие отдавали предпочтение кому-либо другому. И все же при таком болезненном тщеславии он не выказывал злопамятности и благодаря эмоциональной отходчивости был по существу добродушен. В застольных беседах Квинкий на равных состязался со Сципионом и если послед-



ний все-таки чаще одерживал верх, то лишь за счет большего жизненного опыта. В отличие от категории людей, блистающих в тесном дружеском кругу, но тушающихся в многочисленной компании, Тит проявлял свои достоинства тем ярче, чем значительнее была внимающая ему аудитория, и на публике он прямо-таки озарялся вдохновением. Чем больше глаз на него смотрело, тем непринужденнее и изящнее становились его движения и осанка, чем больше ушей ловило звук речей, тем живее бил фонтан его красноречия. Фламинин знал множество поучительных историй и притч, что служило как бы запасом метательных снарядов его остроумия, имел богатый интеллектуальный багаж мыслей и идей греческих философов, то есть располагал обширным материалом для любого общения. Он мог разрешить шуткой сложную ситуацию и, наоборот, через шутливую форму выйти на серьезные проблемы, готов был высмеять кого угодно и тут же посмеяться над собою.

В общем, Тит Квинкий представлял собою яркую личность, но его послужной список был удручающе ничтожен. Однако, отказавшись пойти на нарушение условностей и традиций в интересах родственников, Сципион позволил себе это ради карьеры Фламинина. Он считал такой ход оправданным как целями государства, так и снижением накала межпартийного противостояния, поскольку Квинкий, будучи близким другом Сципиона, имел жену из рода Фабиев, благодаря чему мог восприниматься нейтральной политической фигурой.

Но всем угодить невозможно, и матерые сенаторы оппозиционной группировки взбунтовались при виде такого кандидата в консулы. Многие годы они томились в тени Сципиона, лишённые света славы, этого солнца Рима, и вот, когда выдающийся человек великодушно отошел в сторону, позволяя другим увидеть вожака, его место вдруг занимает мальчишка! Клавдиям и Фульвиям это представлялось издевательством, насмешкой над ними, и они осмелились вступить в борьбу.

Между тем лидирующая партия уже подготовила должным образом общественное мнение, и народ изъявлял готовность избрать на высшую должность Тита Квинкия, в котором многие видели как бы второго Сципиона, столь схожими были их устремления и начало карьеры. Но во время комиций плебейские трибуны Марк Фульвий и Маний Курий выступили против кандидатуры Фламинина, придав, как обычно, своим намерениям форму народной борьбы с всевластием знати. Они произнесли красивую, острую речь о зазнайстве нобилей, пренебрегающих некогда почетными должностями эдила и претора, и рвущихся с пеленок прямо к консульству, а в завершение призвали собрание не доверяться слепо громким именам, а проверять патрициев в деле, проводя их по всем ступеням иерархической лестницы. Люди были смущены



реакцией на ход выборов своих официальных государственных защитников и заколебались. Не желая испытывать судьбу, друзья Сципиона уговорили собрание перенести рассмотрение протеста трибунов в сенат. В Курии же Сципион без особого труда добился утверждения кандидатуры Тита Квинкция, тем более, что юридических препятствий к его избранию не было, поскольку закон, регламентирующий порядок прохождения магистратур, был принят лишь несколько лет спустя. Единственным реальным оппонентом Публию в этом деле, пошедшим дальше общих фраз о неблаговидности поведения Фламинина, гнушающегося средних магистратур, и открыто обвинившим нобилитет в сговоре против основной сенатской массы, был Марк Катон, исполнявший тогда плебейский эдилитет, но уже избранный на предстоящий год в преторы. Порций говорил ярко и осмысленно, но на его выступление в сенате смотрели как на эффектное театральное представление, и только. Всерьез его оппозицию Сципиону тогда еще не воспринимали.

Итак, на повторных комициях Тит Квинкий Фламинин получил консульство. Его коллегой стал Секст Элий Пет, с которым, по всей видимости, была договоренность, чтобы он не мешал Квинкцию возглавить македонскую кампанию. Так или иначе, но именно Фламинин отправился на Балканы с солидным подкреплением войску, состоящим из ветеранов Сципиона, внявших призыву своего патрона поддержать молодого полководца.

Прибыв на место, Тит Квинкий собрал всех офицеров на совещание и поставил им задачу выработать стратегию войны на предстоящий год. Однако, выслушивая мнения легатов и трибунов, он не столько внимал их идеям, сколько занимался изучением своих кадров, потому что относительно принципов ведения боевых действий все было оговорено еще в Риме в неформальном штабе легатов африканской армии под руководством прославленного императора. В области военного дела взгляды Сципиона и Фламинина в основном совпадали, и им нетрудно было найти общий язык. К тому времени римляне уже накопили немало сведений о македонянах и греках. Было известно, что вражеская фаланга состояла из шестнадцати шеренг копьеносцев, что сариссы первых пяти рядов за счет чудовищной длины выступали перед строем, что каждая шеренга была в два раза плотнее римской, а следовательно, в бою против одного легионера могли сражаться два македонца первого ряда и восемь фалангитов четырех последующих шеренг, то есть на каждого римлянина приходилось сразу десять противников и при всем его проворстве изрубить одним мечом десять сарисс не представлялось возможным, а потому легионы никак не могли выдержать фронтального столкновения с македонской фалангой. Но римляне хорошо осознавали и свои преиму-



щества, именно: манипулярный строй был высокоманевренным и сохранял боеспособность на любой местности, при всякой погоде и даже в непредвиденных ситуациях, когда требовалось срочно внести коррективы в ход битвы. Достоинства римской тактики соответствовали как раз тем областям спектра военных действий, где находились слабости македонян, но зато там, где покорители Востока были сильны, с ними не мог сравниться никто. Такое соотношение качеств армий противников показывало, что любой из них способен и одержать яркую победу, и потерпеть сокрушительное поражение, а значит, судьба войны будет решена дуэлью полководцев и степенью удачливости. Квинкций понимал, что он должен избегать равнин и маневрированием завлечь Филиппа в пересеченную местность, после чего блокадой или какой-либо хитростью втянуть его в беспорядочное сражение, которому по ходу дела следовало придать организацию и слаженность, выгодные для римлян. Знал Фламинин также политическую обстановку и моральную атмосферу в Греции, был в курсе взаимоотношений Эллады и Македонии на протяжении последнего столетия. Располагая необходимой информацией, он имел и достаточные для достижения цели силы. Его войско насчитывало двадцать пять тысяч воинов и состояло из квалифицированных, закаленных во многих битвах солдат. Здесь были ветераны Сципиона, не помышляющие более о демобилизации, вдохновленная их достижениями крепкая молодежь, нумидийская конница, присланная Масиниссой, и даже слоны, впервые используемые римлянами в надежде дезорганизовать ими грозную фалангу. Снабжение экспедиции осуществлялось посредством флота из Италии, Сицилии, Сардинии и Африки по продуманной схеме с задействованием многих портов Греции, Иллирии и Эпира. Тит Квинкций Фламинин был готов к этой войне и мог приступить к ней безотлагательно.

Со своей стороны и Филипп предпринял все от него зависящее. Он собрал почти тридцатитысячное прекрасно оснащенное войско, занял с ним горные перевалы и ущелья, ведущие в Македонию, и поставил римлян перед необходимостью штурмовать неприступные природные крепости или потерять несколько месяцев на кружной, чреватый многими лишениями путь.

Фламинину нужен был быстрый успех, чтобы создать благоприятный эмоциональный тон среди местных народов и в самом Риме, поэтому он решил атаковать Филиппа в теснинах. Военная практика для подобных случаев указывала единственное средство к победе: найти обходную тропу, ведущую через горы в тыл врагу. Такими поисками и занялся консул, для чего завел дружбу с вождями окрестных племен. Одновременно римляне навязывали противнику мелкие стычки, желая



создать у царя впечатление, будто ни о чем ином, кроме штурма его укреплений в лоб, они не помышляют.

Целый месяц прошел безрезультатно, и Фламинин, опасаясь, как бы Филипп не проявил активности, вызвал его на переговоры. Царь откликнулся на это предложение, хотя и понимал, что всерьез говорить о мире еще рано. Наверное, каждый из них желал взглянуть в лицо сопернику и попытаться узреть границы его личности. Познакомиться противникам действительно удалось, но тем дело и ограничилось.

Филипп прибыл на встречу с намерением подавить молодого, неопытного римлянина значительностью своей царственной особы и принял по отношению к нему снисходительно-покровительственный тон старшего товарища, по величию души желающего благополучия самому Титу, всем римлянам и вообще – целой ойкумене. В свою очередь Квинкий заметил, что если Филипп столь добр и великодушен, сколь это следует из его слов, то он, конечно же, не откажется вывести гарнизоны из всех греческих городов и на будущее оставит в покое славные народы Эллады. Розовый образ, в котором первоначально предстал Филипп, теперь окрасился в грозный пурпурный цвет: царь был в гневе. «Римлянин! – вскрикнул он. – Да ты и побежденному не предъявил бы мне более жестких условий!» «Это естественно, – буднично, безо всякого пафоса, намеренно контрастируя поведением с помпезностью царской позы, отреагировал Квинкий, – ведь с нашим вступлением в войну, вопрос о победителе автоматически снимается: если уж мы затеваем какое-либо предприятие, то рано или поздно доводим его до конца. Но война – это жертвы, жертвы с обеих сторон, и потому мы готовы договориться сейчас... А вот неужели тебе, царь, для того, чтобы совершить праведное дело, необходимо потерпеть поражение? Неужели ты способен явить миру справедливость, а наше требование об освобождении Греции справедливо, только будучи побежденным?» Филипп задохнулся от возмущения и ушел, не дав ответа обидчику, желчно досадуя на претензии соперника и на свой психологический просчет.

Фламинин добился своего: македоняне стали выказывать стремление сразиться и, нацелившись на битву, забыли об осторожности. А в скором времени нашлись проводники-эпироты, готовые указать legionарам путь к утесам, возвышающимся над лагерем противника. Прodelав необходимую подготовку, римляне смело двинулись на приступ гигантской цитадели, созданной македонянами и самой Македонией. Грянул залп катапульт и баллист, установленных на скалах, вниз посыпались камни, стрелы и прочие снаряды. Ущелье потонуло в пыли и дыму. Бой шел с преимуществом царских воинов, но когда они твердо уверовали в успех, с тыла на них обрушился римский отряд, и сражение круто изме-



нило ход. Вскоре македоняне обратились в бегство, и, если бы не горы, их войско оказалось бы истребленным, но благодаря сложному рельефу местности, побежденные ускользнули от преследования, и Филиппу удалось восстановить силы своей армии, однако пришлось отступить.

Царь направился в Фессалию и, сдавая территории римлянам, старался как можно больше захватить с собою и возможно меньше оставить врагу. Македоняне снимали урожай с полей, грабили селения, разрушали города, а жителей уводили в полон. Римляне двигались следом и с демонстративной мягкостью обращались с греками. Ни один колос не был срезан итальяйским серпом, ни одно яблоко не было сорвано там, где проходили легионы. Половина мира снабжала войско, римляне шли на огромные траты, доставляя пропитание солдатам, слугам, лошадям, мулам и слонам из дальних стран, но зато их взоры были ясны, а головы – высоко подняты: они заявили, что прибыли в Грецию как освободители великого, близкого им по культуре народа, и их поведение соответствовало лозунгам.

Греки оценили дисциплинированность и порядочность римлян, но гораздо большее впечатление на них произвел факт их успеха и неудачи македонян. На сторону римлян встали этолийцы и полуварварское племя афаманов, но сделали они это весьма своеобразно: принялись разорять и опустошать те области, откуда римляне изгнали Филиппа. Консул досадовал на горе-союзников, дискредитирующих его замысел, и дивился тому, как греки умеют доставлять друг другу неприятности, но пока он не мог совладать с ними.

Пройдя по Фессалии, Тит Квинкий стал смещаться к центру Греции. С городами, открывающими перед ним ворота, он поступал как друг, а с теми, которые под давлением македонских гарнизонов оказывали сопротивление, – как враг. В большинстве случаев ему сопутствовала удача, но не эти мелкие города, каковых в Элладе были тысячи, интересовали его: он подбирался к Пелопоннесу. К тому моменту, когда консул овладел северным побережьем коринфского залива, его брат Луций Квинкий, командовавший флотом, подросел со своими силами с другой стороны и обосновался у коринфской гавани. Окружив таким образом ахейцев, Фламинин направил к ним посольство.

Едва только римляне завладели инициативой в войне, к власти в ахейской федерации пришла проримски настроенная группировка. Но все же большая часть олигархов там по-прежнему ориентировалась на царя, ибо право собственности и внутривнутриполитическое могущество этого класса зиждилось на македонском оружии. Потому на союзном съезде, обсуждавшем предложения римлян о мире и сотрудничестве, возникли волнения, едва не переросшие в гражданскую войну.



Изложив дело, римские послы, как обычно, подкрепили свои доводы речами самих греков, на этот раз родосцев, пергамцев и афинян. Была здесь и делегация Филиппа. Идеологическое наступление римлян одолело робкую защиту македонян, и простой люд, издавна ненавидевший иноземных господ, внял их доводам, надеясь с помощью римлян освободиться от македонского гнета. Об опасности попасть в зависимость от заморской державы здесь пока не думали. Видя, что настроение масс склонилось в пользу римлян, стратеги из числа промакедонской олигархии воспрепятствовали проведению голосования, при этом яростно внушая народу, будто высшим проявлением демократии является лишение людей возможности высказаться. Не будь поблизости римлян, пергамцев и родосцев, народу пришлось бы уверовать в это, но в данном случае ему было к кому звать о помощи.

Борьба продолжалась три дня. Наконец Аристену, главному стратегу союза, ориентирующемуся на римлян, удалось убедить богачей, что им в любом случае предстоит иметь дело с Римом, и вопрос состоит лишь в том, какую роль изберут ахейцы: добровольного союзника или подвластного народа, побежденного силой и подверженного действию жестокого права войны. Олигархи протерли глаза и увидели, что консульское войско во всей красе и мощи стоит в Фокиде, отделенное от Пелопоннеса узким проливом, римский флот блокировал полуостров у Коринфского перешейка, а вот македонские сариссы при всей своей длине нигде не просматриваются. Это возымело решающее значение. Ахейская верхушка посчитала за благо изъять дружелюбие к более могущественному господину, полагая, что в таком случае ее закрома могут пока остаться в покое, а в будущем надеясь оправдаться перед Филиппом безвыходностью положения и даже свалить вину за собственную измену на самого царя, якобы бросившего ахейцев на растерзание врагу. Голосованию более никто не препятствовал, и ахеяне приняли предложение римлян. Для заключения официального договора следовало получить одобрение еще и от римского народа, но совместные действия союзников начались немедленно.

В то время Коринфом безраздельно владели македоняне: он не входил в ахейскую федерацию. Римляне решили захватить этот важнейший стратегический пункт и передать его ахейцам, чтобы тем самым скрепить новую дружбу и заодно открыть себе доступ в Пелопоннес. Операцией руководил Луций Квинкий. Греческую твердыню штурмовали сразу и с суши, и с моря, но безуспешно. Македонянам удалось отстоять Коринф.

На этом летний сезон, годный для ведения боевых действий, завершился. Следовало готовиться к зиме. Но Тит Фламинин, опасаясь, что



ему не будет продлен империй на следующий год, продолжал штурмовать принадлежащие македонянам города. Царские владения неумолимо таяли, и в конце концов Филипп был вынужден предложить консулу переговоры. Совершая такой шаг, он не столько надеялся прекратить войну, ибо уже достаточно знал соперника, сколько рассчитывал выиграть время и сбить наступательный порыв римлян. В свою очередь и Квинкций был заинтересован в дипломатической игре, так как в ином случае, пусть бы он даже успел овладеть десятью или двадцатью городами, это не дало бы требуемого результата, не сокрушило бы вражескую державу, а переговоры означали если и не финал войны, то, по крайней мере, промежуточный финиш. Достижни он хоть частичного соглашения с Филиппом, было бы о чем рассказать в Риме, когда в ходе ежегодного зимнего раунда политической борьбы друзья будут отстаивать его интересы в сенате и на Комиции. Правда, Квинкций мечтал повышенной активностью вызвать Филиппа на генеральное сражение, но он понимал, что после летних неудач царь не отважится на такое дело, и поэтому без особого воодушевления, но все же принял приглашение соперника встретиться для беседы. Филипп прибыл на переговоры с небольшой свитой, а Фламинина окружала толпа его союзников, добросовестно собранных им со всей Греции, включая Ионию.

Консул кратко изложил прежние условия об освобождении городов Эллады от македонских гарнизонов и о предоставлении им гарантий в организации самоуправления. Царь отнесся к услышанному гораздо спокойнее, чем несколько месяцев назад, поскольку уже был соответствующим образом сориентирован во время первого свидания с Квинкцием. Но вот к чему он оказался не готов, так это к разговору со своими недавними подданными, зависимыми, полузависимыми, дружественными и союзными греками, каковые теперь обрушили на него град требований и претензий, а заодно – укоров и обвинений. Так прорвалась скопывавшая их души плотина более чем столетнего рабства у Македонии. Этолийцы, ахейяне, пергамцы и родосцы обязывали Филиппа не только освободить оккупированные города, но и восстановить разрушенные, а также – возродить поля, усадьбы, рощи и так далее и тому подобное. При этом они, перебивая друг друга, бросали ему упреки в давних прегрешениях и в проступках лишь ожидаемых. Они выставляли ему все новые и новые условия и тут же кричали, что он все равно ничего не выполнит, ибо нечестен и коварен, после чего опять требовали и требовали... Филипп пытался отшутиться, но постепенно распался сам и обрушился на греков с ответными обвинениями. Этолийцев он упрекал в беззаконии, ахейцев – в измене, а всех вместе – в недомыслии и мелочности. В подобных перепалках прошел первый день переговоров.



Назавтра Филипп намеренно сильно запоздал якобы потому, что перебирал в уме все уступки, каковые намеревался сделать грекам, и попросил позволить ему в целях экономии времени объясниться один на один с консулом. Греки долго возмущались такой просьбой, и вечер уже замаячил на западе розоватыми оттенками небес. Под угрозой полного срыва переговоров римские союзники смирили гонор, и состоялась аудиенция полководцев. Этот разговор, ввиду отсутствия помех со стороны, продолжался недолго, и по его окончании Квинкций сразу же объявил грекам результат. Царь действительно соглашался на многие требования противоположной стороны, хотя, конечно же, не на все. Так, например, он выражал готовность отдать ахейцам Аргос и Коринф. В качестве итога одного года не особенно сложной войны достигнутое соглашение могло считаться вполне приемлемым. Но, увы, греки больше обращали внимание не на то, что им возвращали македоняне, а на то, что они оставляли себе. Перед их несговорчивостью обращались во прах все дипломатические усилия римского консула и македонского царя. Тогда Филипп, возможно, по тайному совету Квинкция, предложил отправить послов в Рим и окончательно решить все вопросы в сенате. Этолийцы и ахейцы заподозрили в пожелании царя некое опасное плутовство и уступили лишь уговорам Фламинина, напомнившего им, что наступающая зима в любом случае прервет боевые операции и лучше использовать неблагоприятное время для переговоров, чем потерять его впустую.

Пока посольство македонян, греков и делегация из штаба Квинкция добирались в Рим, там прошли выборы магистратов. Высшую должность народ вверил Гаю Корнелию Цетегу и Квинту Минуцию Руфу. Оба консула принадлежали к ближайшему окружению Сципиона, но оба они не вняли увещаниям принцепса, а также своего друга, и изъявили претензию на командование в Македонии.

В данном случае помощь Сципиону пришла из оппозиционного лагеря от плебейских трибунов Луция Оппия и Квинта Фульвия, посчитавших кандидатуру Квинкция более приемлемой для себя, чем Корнелия или Минуция. Ввиду их протеста, рассмотрение вопроса было передано из Комиций в сенат. В Курии очень постарались посланцы Фламинина, которые не столько занимались обслуживанием переговоров сената с македонянами и греками, сколько рекламировали летние успехи своего полководца. При поддержке Сципиона им удалось убедить сенаторов в том, что балканская кампания идет нормально и не следует мешать Квинкцию довести начатое дело до конца. В итоге оба консула получили назначение в Италии, а Фламинин в ранге проконсула остался в Греции.

Разговор с царскими посланцами продолжался недолго. Обильное словоблудие македонян не ввело в заблуждение сенаторов, быстро рас-



крывших суть этого предприятия Филиппа, состоявшего в том, чтобы еще раз произвести разведку в стане врага и одновременно отвлечь римлян от войны. Люди Квинкция по достижении главной цели тоже перестали интересоваться диалогом с противником. Таким образом, дипломатическая миссия исчерпала себя, выполнив скрытые задачи и оставив без внимания провозглашенные. Римляне потребовали от македонян полного освобождения Эллады и с тем отправили их на родину. Умы государственных мужей всех стран, задействованных в балканском конфликте, вновь обратились к войне. Приближалась весна.

Тит Квинкций Фламинин за год вполне освоился в Элладе и намеревался сразу же с началом летней кампании приступить к решительным действиям. Однако, прежде чем двинуться на саму Македонию, следовало обеспечить себе надежный тыл, то есть заручиться дружественным расположением всей Греции. Большая ее часть уже была связана с римлянами узами договоров, договоренностей, а также наличием италийских гарнизонов в одних городах и власти проримской аристократии – в других. Последней крупной силой Эллады, все еще ориентирующей на Филиппа, оставалась Беотия.

Эта страна из-за своего срединного, стратегически важного местоположения в Греции и доступности ввиду отсутствия на ее территории естественных природных укрытий издавна была лакомой добычей для всех завоевателей, и ее население привыкло покорствоваться силе и служить иноземным царям. «Римляне прибыли издалека, они пришли и уйдут обратно, а Македония располагается рядом», – рассуждали беотийские вожди и склонялись к тому, чтобы выказать верность Филиппу. «Но зато в настоящий момент римляне находятся ближе македонян», – вспоминали они, и это заставляло их колебаться.

Квинкций вознамерился при помощи хитрости помочь беотийцам определиться с выбором и таким путем избавить их от мучений натужных раздумий. Он окружил себя множеством греческих посольств, взял для охраны чуть более сотни солдат и с такой пестрой, далеко не воинственной свитой направился прямо в столицу беотийского союза Фивы. Увидев с городских башен проконсула, излучавшего миролюбие, подтверждаемое отсутствием войска, фиванцы, и прежде наслышанные о прекрасных человеческих качествах Фламинина, восхитились римлянином и толпой вышли за ворота, дабы достойно встретить гостя. Пока Квинкций раскланивался с беотийцами и говорил им любезности, подтянулись две тысячи легионеров, следовавших в миле от полководца и прежде скрытых за извилинами дороги. С ними Квинкций и вошел в город, делая вид, будто именно в таком сопровождении его и пригласили жители. Фиванцы оторопели от случившегося трагического недоразумения, но ввиду безвыходности



тоже делали вид, что все происходит как раз так, как они того желали. Обосновавшись в городе, Фламинин любезно предложил беотийцам провести союзное совещание. Легионеры даже с зачехленными щитами и вложенными в ножны мечами выглядели весьма представительно, и греки с готовностью исполнили просьбу консула. На собрании вначале, как обычно, выступили делегации эллинских союзников римлян, а сам Квинкций лишь добавил несколько слов о справедливости, честности и нравственности своего народа. Услышав с трибуны, сколь благодатен для греков приход на Балканы римлян и, посмотрев еще раз на приветливых легионеров с мечами в ножнах, беотийцы единогласно постановили заключить союз с Римом. После этого проконсул поблагодарил фиванцев за гостеприимство и покинул город, не оставив в нем ни единого италийца, чем еще раз удивил греков. Отныне никто и ничто не препятствовало римлянам идти на Македонию, кроме самих македонян.

Тит Квинкций двинул свое войско в Фессалию. Поспешив миновать опасный Фермопильский проход, римляне замедлили марш и далее шли, соблюдая осторожность, так как стало известно, что царь, мобилизовав все наличные силы Македонии, выступил им навстречу. Обе стороны были настроены на генеральное сражение. Фламинин второй год планомерно приближался к этой цели, и весь ход войны теперь направлял его к ней. А Филипп в принятии аналогичного решения руководствовался не столько стратегией, сколько политическими и экономическими факторами. Его государство было истощено войной, ресурсы страны почти иссякли, а в то же время агрессивные соседи – фракийцы, иллирийцы и другие дикие народы – пользуясь трудностями Македонии, участвовали в набегах на ее территорию. Такое положение дел вынуждало Филиппа торопиться с битвой.

Встретившись, противники некоторое время совершали маневры, стараясь занять более выгодную позицию для боя. Римляне то и дело затевали стычки с врагом, чтобы спровоцировать македонян на сражение в пересеченной местности. Филипп умело уходил из римских ловушек и в ответ предлагал собственные версии решающей схватки. Однако вскоре царь понял, что ему необходимо найти более удобный для своей фаланги район действий, и быстрыми переходами устремился к югу, намереваясь заманить неприятеля на фессалийские равнины. Квинкций кратчайшей дорогой пустился в погоню. Оба войска двигались параллельно по разные стороны горного хребта, который и римляне, и македоняне использовали как прикрытие от внезапного нападения. Фламинин продолжал засылать легкую пехоту и всадников к вражескому стану, чтобы препятствовать маршу противника, но Филипп каждый раз немного опережал римлян и успевал уйти.



Но вот однажды непогода задержала македонян в пути, и легионы нестигли их. Правда, и в этом случае римлянам не удалось застать неприятеля врасплох. Царь занял господствующие высоты сильными отрядами, и войнам Квинкция пришлось вступить в бой в неблагоприятных условиях. Вскоре македоняне начали одерживать верх. Это раззадорило их и подвигло на новые дерзания. А Фламинину только того и было надо. Вначале в деле участвовали триста его всадников и тысяча пехотинцев, теперь он послал к вершинам хребта в качестве подкрепления вдвое большие силы. Тут уже стало худо македонянам, и они запросили помощи у царя, дабы успешно завершить удачно начатую схватку. Филипп откликнулся на этот призыв. Несколько тысяч солдат, брошенных им в жертву ради милости Ники, склонили богиню победы на его сторону. Римляне на холмах терпели неимоверные трудности и находились под угрозой полного уничтожения, когда подоспело очередное подкрепление из расположенного внизу лагеря. С изменением соотношения сил, вновь изменился ход битвы. Перед царем встал выбор: бесславно потерять свой авангард или рискнуть всем войском в надежде на большую победу, казавшуюся в тот момент совсем близкой благодаря локальному успеху его вспомогательных частей. Филипп раздумывал недолго: он зашел слишком далеко как в части действий, так и в своих чаяниях, чтобы ни с чем возвращаться к исходному состоянию.

Так, через несколько часов после того, как завязалась на первый взгляд рядовая стычка, шло уже грандиозное сражение, решающее судьбу почти двадцатилетнего спора Рима с Македонией. Тит Фламинин добился главной тактической цели: навязал противнику битву на неровном рельефе в местности, непригодной для традиционного применения македонской фаланги. Однако за это он заплатил тем, что поставил свое войско в крайне неудобное положение, обязав воинов атаковать неприятеля снизу, взбираясь по крутому склону навстречу массивному вражескому строю, ошетилившемуся тысячами устрашающих сарисс. Кто больше выигрывал от столь неоднозначных, противоречивых обстоятельств начала боя: Тит Квинций или царь Филипп – должны были показать дальнейшие события. Македоняне имели и дополнительное, моральное преимущество, поскольку по суммарному итогу одолели италийцев в схватке на самом хребте. Но их воодушевлению успешно противостояла римская воля, делающая легионера неуязвимым для страха и опасных сомнений в самых сложных ситуациях.

Филиппу удалось построить фалангу на правом фланге, на другом же крыле фалангиты еще только подтягивались на передовую разрозненными группами. Римляне не дали времени сопернику для полного построения и атаковали его по всему фронту. Бросив слонов на левый край ма-



кедонян, Фламинин окончательно смешал ряды не успевших изготовиться к схватке копьеносцев. Но Филипп этого не видел. Он возглавлял боеспособную часть фаланги, которая, выставив смертоносные сариссы, обрушилась с холма на первую линию легионеров и смяла, а затем растерзала ее. Несчастных гастатов поддерживали принципы, и отступление римлян замедлилось. Однако это был предел их возможностей. Монолитный вражеский строй продолжал наступать, круша все живое перед собою. Он походил на гигантское чудовище, ранящее сразу тысячи людей своими бесчисленными жалами и сталкивающее тысячи остальных в низину, чтобы раздавить их там. И все же римляне не предались панике и, уступая жестокому натиску, отодвигались на тыловые позиции организованно, реализуя заранее продуманную тактику. Они то смыкали, то размыкали ряды, рассыпаясь на манипулы, то отступали, то бросались вперед, стремясь расстроить вражеские шеренги. В какой-то степени это им удавалось, и результатом их усилий было выигранное время, каковое в полной мере использовали их соратники на другом фланге. Там римляне, дружно напав на едва успевших перевалить через горную грядку македонян, навязали им ближний бой, в котором грозные сариссы были лишь помехой. На этом участке схватка шла по римским законам, а потому царское войско несло страшный урон, и только особенности местности, препятствовавшие бегству, заставляли разрозненные группы македонян оказывать сопротивление. Очень скоро на правом фланге римляне отеснили неприятеля к вершинам хребта. Линия фронта изогнулась уступом, а вокруг центральной зоны битвы, где выясняла отношения тяжелая пехота, возникли многочисленные очаги мелких стычек между вспомогательными подразделениями. От римлян в них участвовали нумидийцы, этолийцы, афаманы, критяне и италики, а со стороны македонян – фракийцы, иллирийцы и греческие наемники. Насколько хватало глаз, склон горной гряды был расчерчен разноцветными узорами войск. Сражение распалось на отдельные схватки, на первый взгляд будто бы не зависимые друг от друга, но имеющие взаимосвязь через фактор времени и суммарно реализующие главную идею битвы.

Римская армия располагала сравнительно автономными тактически единицами. Легион, когорта, манипул и даже центурия или турма могли функционировать как в общем строю, так и самостоятельно. Соответствующим образом были подготовлены и офицеры самого различного ранга. У македонян же гигантская фаланга в шестнадцать тысяч копьеносцев представляла собою единое подразделение, и некоторая инициатива допускалась только для вспомогательных отрядов. В тех условиях, в которых проходило сражение, царь не имел возможности уследить за всеми событиями, а фаланга не была монолитной. Следовательно, маке-



донское войско билось стихийно, против своих правил. У римлян дело обстояло по-иному, и хотя в существовавшем сумбуре не могло быть полного порядка, в целом они планомерно шли к поставленной цели.

Разгромив копьеносцев на правом фланге, римляне зашли в тыл победоносным воинам Филиппа, и часть фаланги, сохранявшая до тех пор организованность на царском фланге, мгновенно рухнула под их ударами. Увы, сколь грозен был македонский строй с фронта, столь беспомощным он оказался против фланговых и тыловых атак. Громоздкая фаланга с трудом разворачивалась даже на учебном плацу, в боевых же условиях, да еще на неровной местности успешность подобного маневра была абсолютно исключена.

С реализацией главного тактического замысла, римляне разгромили македонян в одночасье. Победа была полной. Около трети царского войска погибло, а остатки армии потеряли боеспособность. Филипп спешно бежал в собственную страну и вскоре прислал к проконсулу парламентаров просить пощады.

Греков это событие потрясло. Полтора столетия находясь под властью македонян, они привыкли благоговейно смолкать при имени македонского царя либо раболепно возносить своему земному владыке восхваления и молитвы, как божеству. Мощь македонян представлялась им явлением запредельным. И вдруг на Балканы приходят представители простого бедного народа с загадочным характером, давно забытой здесь моралью и непостижимыми целями, ведомые обаятельным, улыбчивым молодым человеком, и наголову разбивают Македонию. Ужасавшая весь Восток фаланга оказывается против этих простачков, не знающих ни софистики, ни роскоши, ни половых извращений, совершенно беспомощной, подобной огромному неуклюжему животному, клыки которого никак не способны защитить необъятную голую тушу от зубов маленького ловкого хищника.

Задумываясь над фактом победы римлян, греки невольно спрашивали себя: кто же мы в таком случае, если сто пятьдесят лет терпели рабство? Вопрос больно язвил самолюбие и, желая избежать укоров совести в собственном ничтожестве, они решили, что не римляне одолели македонян, а сами боги, непредсказуемая судьба сломила Филиппа. Однако вскоре этолийцы подсказали еще более выгодное с точки зрения нравственной адаптации объяснение происшедшего: это они, этолийцы, четыреста всадников которых участвовали в авангардной стычке с легкой пехотой Филиппа на холмах в завязке сражения, решили исход дела; именно они, измотав царские полчища, обеспечили окончательную победу римлянам. Греки необычайно воодушевились новой версией и охотно поверили в нее, поскольку это льстило их тщеславию. В самой нестандартности сра-



жения, его неровном течении, рваном ритме они узрели случайный характер римской победы, не поняв, что внешняя неорганизованность действий римского войска явилась воплощением высшей организации. Повсюду восхвалялись этолийцы, слагались песни и гимны в их честь, правда, при этом все же упоминались и римляне. «Четыреста славных сынов Этолии при некоторой поддержке двадцати пяти тысяч римлян сокрушили македонскую мощь!» — надрывались глашатаи, поэты, актеры и жрецы на площадях, в театрах, палестрах и храмах Эллады.

Так измельчавшие за период македонского рабства греки продемонстрировали неспособность оценить чужую доблесть и тем самым показали, что справедливость присуща лишь тем, кто имеет истинное духовное величие и внутреннюю силу, не нуждающиеся в услугах лицемерия, будь то отдельные личности или целые народы.

Римляне были несколько удивлены и обижены такой реакцией Греции на их победу, тем более, что этолийцы отличились не столько в битве, сколько в разграблении македонского лагеря, который они обобрали, присвоив себе общую добычу, пока легионеры бились с царской фалангой. Имея дело с такими людьми, теряешь желание творить добро, ибо справедливая общественная оценка является главным, а в конечном итоге и единственным стимулом для совершения справедливых поступков. Но все же римляне не придавали особого значения поведению греков, относясь к нему с такими чувствами, с какими взрослые, умудренные опытом люди смотрят на ребячества детей, радующихся маленьким удовольствиям жизни. Основная цель данного этапа оказалась достигнутой, и если не греческий, то римский народ обязательно воздаст должное деяниям своих героев, а этого воинам было вполне достаточно, чтобы ощущать живительное тепло в груди и гордо смотреть на мир.

Гораздо важнее споров по поводу дележа славы были разногласия во взглядах на дальнейшую судьбу Македонии и Греции. Тит Фламинин настаивал на первоначальном требовании к Филиппу — освободить Элладу, но греки после победы преобразились, как хищники, почуявшие запах крови. Их притязания резко возросли, а этолийцы открыто требовали низложения Филиппа и ликвидации Македонии как государства.

Квинкцию не составило труда разобраться в сущности происходящего. Этолийские вожди были не так просты, как это представлялось другим грекам. Они имели конкретную цель и планомерно шли к ней сразу с нескольких направлений. Во-первых, этолийцы старались максимально расширить свои владения за счет присвоения земель соседних народов, покушаясь в частности на Фессалию на том основании, что когда-то она была ими захвачена; во-вторых, требовали уничтожения Македонии; и, в-третьих, вели широкомасштабную пропаганду своих действительных,



а еще более – мнимых успехов и заслуг в войне. То есть они намеревались через посредство римлян увеличить собственное государство, сокрушить главного конкурента на Балканах и таким образом превратиться в господствующую силу Эллады, чтобы под флагом героев-освободителей греческих народов подчинить себе многострадальную Грецию, занять место Македонии. Квинкция ни в коем случае не устраивала подобная перспектива. Как образованный человек, ценитель эллинской культуры, он не желал для Греции хозяина, подобного Этолии, а как римский политик – не хотел чрезмерного усиления этой своенравной, заносчивой федерации. Поэтому с тонким тактом и ловкостью проконсул повел кампанию по дискредитации этолийцев перед остальными греками. В этой связи всплыли вопросы о захвате ими общей добычи, об их тщеславии и вероломстве. Создав вокруг этолийцев отрицательный эмоциональный фон, Квинкций затем аргументировано отверг их политические претензии. «Македония служит вам щитом от воинственных варваров, – внушал он грекам, – ее нельзя уничтожать, а надлежит органично включить в мозаику Балканских государств». «Фессалийские города большей частью сдались нам добровольно, – говорил Фламинин по второму пункту дискуссии, – народ римский не может предать в чье-либо рабство людей, вверивших ему свои судьбы». Подобными речами Тит Квинкций убедил основную массу греков в собственной правоте, и боровшиеся с ним этолийцы теперь уже вошли в противоречие с земляками. Так стал назревать раскол между важнейшими политическими силами Греции.

Заручившись доверием и поддержкой большинства союзников, Тит повел переговоры с македонянами самостоятельно, поскольку отлично понимал, что с многочисленными греками, желания которых рождаются в области воображения, а не в сознании, договориться невозможно. Сначала он встретился с царскими послами, затем с самим Филиппом. Царь мужественно признал поражение и принял все условия проконсула. Были отправлены македонские послы в Рим, и наступило перемирие.

Греки, привыкшие бесплодно спорить и враждовать веками, несказанно удивились быстрому достижению согласия, и по оголенным холмам Эллады поползли гаденькие слухи, сочиняемые этолийцами. «Припертый трудными обстоятельствами к заветному сундуку Филипп вынужден был поднять крышку и высыпать содержимое царских закровов в мешок Квинкция, – нашептывали они, ибо не могли постигнуть иных доводов в решении какого-либо дела, кроме взятки. – Вот они какие, римляне! Пришли сюда утверждать справедливость, а сами, как и мы, поддаются соблазну подкупа! – восклицали этолийцы уже в полный голос. А чуть тише добавляли: – Только берут они гораздо больше нас». При этом глаза у них наливались желчью зависти.



Пока в Греции происходили такие значительные события, политическая жизнь в Риме неспешно заходила на новый виток. Перед выборами к Сципиону пришел Марк Клавдий Марцелл и обратился к нему за поддержкой. Несмотря на то, что между Корнелиями и Клавдиями существовало соперничество, часто переходившее во вражду, Сципион ладил с Марцеллом. Их добрые, хотя и не дружеские отношения завязались еще во времена консулата Публия, когда Марк гостил у него в Сицилии в составе сенатской комиссии. Сципион с готовностью одобрил кандидатуру Марка Марцелла в консулы, отчасти, исходя из понимания того, что тот пройдет на должность и без его помощи уже благодаря одной только любви народа к прославленному отцу соискателя, отчасти из-за желания расширить круг своих сторонников путем вовлечения видных людей оппозиционного лагеря в проводимую им политику, и, наконец, просто он считал Марцелла человеком, достойным высшей магистратуры. Однако Марцелл несколько слукавил: когда Публий уже пообещал выступить в его поддержку, он заявил, что станет исполнять консулат только в паре с Луцием Фурием Пурпуреоном и ни с кем другим. Таким образом, выяснилось, что Марцелл ходатайствовал не столько за себя, ибо в своих силах он был уверен, сколько за товарища. Отдавать сразу оба консульских кресла конкурирующей партии не входило в намерения Сципиона, но отступить от данного слова ему не приличествовало. Итак, Публию пришлось благосклонно отнестись к представителям враждебной группировки, но все же он сумел извлечь из этого пользу и для своих целей. Во-первых, такой шаг позволил ему выступать как надпартийному деятелю, выражающему общегосударственные интересы, и внедрять в политическую жизнь Республики собственные идеи в качестве насущных нужд всего народа римского, а во-вторых, отдав соперникам высшую магистратуру, он легко провел своих людей в преторы, эдилы и трибуны. Как раз тогда получил должность претора его верный друг Гай Лелий.

Больших военных предприятий в наступающем году не намечалось, так как уже было известно о победе, одержанной под империем Тита Квинкция, что также явилось одной из причин лояльности Сципиона к соперникам. Несмотря на это, новые консулы сразу по вступлении в должность заявили претензию на власть в Македонии. Но они ничего не добились, поскольку Рим в целом был настроен миролюбиво. Балканская кампания уже решила свою задачу; Македония, ослабленная войной и отсечением от нее Греции, более не угрожала Риму, а потому здравомыслящая часть сената и почти весь народ высказались за прекращение боевых действий и мир с Филиппом. Такое решение дополнительно инициировалось еще и тем, что на политическом горизонте снова сгущались тучи. Назревала война с Антиохом, который захватил



азиатские территории Птолемея и теперь угрожал Родосу и Пергаму, вожаденно поглядывая и на материковую Грецию.

Однако активность консулов привела к тому, что македонская проблема встала перед римскими политиками в ином аспекте. Фурий и Клавдий обосновывали необходимость продолжения борьбы с Филиппом до полного покорения Македонии соображениями о вероломстве царя и скрытых возможностях его страны, в силу которых плоды достигнутых успехов могут быть утеряны, едва только легионы оставят Балканы. То есть их доводы походили на высказывания этолийцев и столь же легко могли быть опровергнуты. Оказалось вполне достаточным Сципиону привести в пример Карфаген, сделавшийся, благодаря умело заключенному договору, союзником римского народа, чтобы убедить сенаторов в действенности дипломатических и политических мер для обуздания агрессивных тенденций в мире. Но как только разум сенаторов получил удовлетворительное разрешение своих сомнений, в них вдруг заговорил голос чрева — именно так следует назвать особый, доселе неизвестный интерес римлян к завоеваниям. Победившие войска, вернувшиеся из богатых стран Африки, Сицилии и Испании, доставили на родину несметную добычу и показали согражданам, сколь выгодна может быть война с точки зрения наживы, причем доход приносили не только прямые грабежи побежденных, но и управление подвластными территориями, эксплуатация местного населения. Влившись в Рим, иноземные богатства существенно подпитали социальный слой средних рабовладельцев. Многие всадники вошли в разряд сенаторов, а многие рядовые сенаторы поднялись до уровня нобилей. Конечно же, деньги не открывали прямого пути в сословие знати, но позволяли отворить скрипучую дверь черного хода, ведущую во дворец аристократии грязными подземными коридорами. И вот теперь преторско-эдилская масса, жаждущая любыми средствами увеличить собственную значимость, чтобы пробиться к консулату, узрела в Греции неисчерпаемый источник обогащения, а потому звучно высказалась за продолжение войны до полной победы над Македонией и за образование провинции на уже завоеванной части Эллады.

Типичным и, как вскоре выяснилось, самым ярким представителем этой группировки, имеющей солидную поддержку также и за пределами Курии, был Марк Порций Катон, который со временем возглавил ее и образовал из нее третью силу сената. Сейчас Катон, только что вернувшийся из Сардинии, где он, исполняя претуру, прославился староримскими добродетелями, провел первую масштабную атаку на идеологию Сципиона. Он экспрессивно призывал сенаторов дорожить результатами побед и не разбазаривать достояние Отечества, вкладывающего огромные средства в войну и не получающего взамен ничего, кроме мо-



рального удовлетворения. «Что же это получается?! – восклицал он. – Мы развернули гигантское предприятие на Балканах, мы трудились, мы сражались, совершали подвиги, мы несли материальные и людские потери, мы победили!.. И вдруг... уходим, уходим ни с чем, уходим, оставив результаты наших усилий Филиппу, Антиоху или кому-то другому, кому угодно, только не своим согражданам! Кто же, вспахав поле, засеяв его, вырастив богатейший урожай, пролив семьдесят семь потов, в сезон жатвы вдруг все бросает и возвращается в свою хижину грызть коренья? Будто бы никто?.. Ан нет, так поступают наши славные нобили, краса и гордость Рима, наши Корнелии Сципионы, Корнелии Лентулы, Корнелии Цетегии, Корнелии Мерулы, Корнелии Малугинские, Корнелии Блазионы и... опять Корнелии, и снова Корнелии! Что же, их можно понять: они здорово поработали в Африке над сундуками пунийцев. Какой им резон устраивать балканские дела, тем более, что плоды македонского урожая достанутся не им, а истинным героям кампании! Конечно, им совсем ни к чему, чтобы другие люди сравнились с ними славой, властью и размерами имущества. Им совсем не нужна Македония! Но сенат состоит пока не из одних Корнелиев! Не из одних Корнелиев состоит народ римский! У нас есть свой интерес. Да, увы, римский народ посмел в пику принцепсу иметь собственный интерес, и он будет его отстаивать, ведь он – народ римский!»

«Отцы-сенаторы, – заговорил в ответ Сципион, – здесь только что во множестве гремели риторические вопросы, но претор забыл спросить себя, а именно к себе он и обращался, вот о чем: кто же вырастив урожай, срезает пшеницу вместе со слоем почвы, взрастившей ее? Кто собирает яблоки, спилив яблоню? Кто вырубает виноградник, чтобы добыть грозди? Задумавшись над этими вопросами, он понял бы, что если мы станем грабить и обращать в рабство соседние народы, то ничем не будем отличаться от галлов и прочих варваров, а значит, в скором будущем нас постигнет их участь, мы уничтожим все доброе вокруг себя, и наша жизнь станет варварской. Но мы не галлы и даже не пунийцы, хотя многие и пытаются уподобиться им, мы – римляне. Издревле наше государство отличалось от прочих бережным отношением к побежденным. Мы не стремились возвыситься над ними, взгромоздившись на их плечи, но наоборот, поднимали их до своего гражданского уровня. Рим включал в себя побежденные народы, впитывал их культуры. Так он рос, таким путем он пришел к нынешнему могуществу. Не будем же пускаться теперь в обратном историческом направлении по дороге, ведущей к дикому хищничеству.

«Зачем, – спрашивают вас, – такая победа, которая не дала ни новых территорий, ни подвластных народов, ни добычи?»



А зачем какой-то человек оказывает благо своему ближнему, не требуя за это ни добычи, ни его участка, ни рабских услуг? Он поступает так, чтобы поддержать хорошего человека и нейтрализовать плохого, чтобы жить ему среди добрых людей, а не дурных, пользоваться их уважением, а не страшиться ненависти, гордиться почетом, а не гнаться под игом презрения.

Теперь снова вернемся к возмущению претора. Вот как оно звучит в открытую: «Как же так, мы откликнулись на призыв греков, помогли им против Македонии и за это не ограбили их, не обратили в рабство?»

А почему, — в свою очередь спрошу я его, — у государства должны быть более мелочные, более низменные интересы, чем у каждого его гражданина в отдельности? Почему общество в целом должно быть хуже всякого конкретного человека? Почему все люди вместе должны быть корыстнее, ничтожнее и, в конечном счете, глупее, чем кто-либо из их совокупности?

Любой скажет, что такое недопустимо. Но так в мире случается, увы, нередко. И происходит подобное всякий раз, когда человеческая масса выражает не собственные интересы, то есть не интересы большинства, а потворствует низким страстям меньшинства, допуская к власти его лидеров. Но у нас этого не будет, потому что мы римляне!»

Полчаса назад слова Катона, всером рассыпавшись по скамьям курии, подобно блохам заразили сенаторов зудом, зудом корыстных надежд, но речь Сципиона на некоторое время избавила их от чесоточных мучений и вернула им римское достоинство. Собрание постановило заключить мир с Филиппом на выработанных ранее условиях, а Грецию, как и планировалось, освободить от всех иноземных войск, в том числе и от римских, сообразуясь, однако, со стратегическими интересами Республики в намечающемся противостоянии с Антиохом. Для детального урегулирования всех вопросов было определено солидное посольство в помощь Титу Квинкцию в составе десяти видных сенаторов. Делегация наделялась полномочиями вершить судьбы греческих городов и общин в согласии со своим разумом и совестью при соблюдении главной политической линии государства.

Поскольку многое в будущем Эллады и ее взаимоотношениях с Римом зависело от этой комиссии, Сципион приложил немало усилий к тому, чтобы в ее состав попали верные его идеологии люди. Его хлопоты увенчались успехом, и он мог быть спокоен за исход балканского предприятия.

Тем временем в Греции этолийцы нагнетали вражду к римлянам, внушая соотечественникам, что те пришли не освободить их страну, а лишь заменить собою македонян. «И если к македонянам мы как-то притерпелись, — говорили они, — то какими господами будут пришель-



цы из Италии неизвестно». Этолийцев поддержали беотийцы, которые в силу их особого исторического воспитания горько сетовали на утрату рабства у Филиппа и в ностальгической тоске по длинным македонским сариссам, издавна указывавшим им путь к счастью, открыли партизанскую войну против солдат Квинкция. Фламинин кое-как уладил этот конфликт, стараясь не раздражать греков крутыми мерами.

В час прибытия делегации Греция проявляла внешнее спокойствие при крайнем напряжении внутренних сил и напоминала переполненный котел на грани кипения. Граждане сотен эллинских государств, затаив дыхание, следили за совещанием римских политиков, решающих их участь. Суровые люди с пронизательным взглядом, облаченные в непривычные здесь торжественные, ниспадавшие до пят тоги, вызывали у греков благоговейный трепет. Лишь этолийцы с галерки этого гигантского амфитеатра, которым ныне стала вся Греция, источали пессимизм и приглушенно роптали. Остальные сотни тысяч зрителей развертывающейся драмы млели от сознания могущества этих пришельцев, казавшихся столь же простыми, сколь и непостижимыми, и попеременно краснели и бледнели, охватываемые то восторгом, то гневом.

Достигнув соглашения с сенатской комиссией и выработав совместными усилиями план урегулирования греческих дел, Тит Квинкций решил огласить принятое постановление на приближающихся общегреческих играх в честь Посейдона, называемых по месту проведения Истмийскими, чтобы сильнее воздействовать на впечатлительный, падкий до театральных эффектов народ Эллады. Его намерение стало известно местному населению, и на традиционное спортивное празднество собралось как никогда много зрителей. Будучи истомленными ожиданиями своеобразного суда над собою греки, сойдясь всем миром, не сдержали эмоций и выплеснули накопившиеся страсти в бурных словопрениях. Они утверждали, предполагали, надеялись, боялись и мечтали. Здесь был представлен весь спектр человеческих чувств, тут столкнулись и рай, и ад. Кто-то восхвалял римлян, кто-то проклинал их, одни обожествляли Фламинина, другие мешали его образ с грязью. Некоторые загодя оплакивали судьбу своих городов, а в то же время иные из их сограждан готовы были возликовать в предвкушении радужных перспектив.

И вот настало время открытия игр. Все уже бывало в Греции, но еще не было такого дня. Никогда так сильно не стремились люди попасть на спортивные торжества и никогда они так мало не интересовались самими состязаниями, как сегодня. Над человеческими толпами витало ощущение конца света, извечно предрекаемого всеми религиями, вслед за которым будто бы должна наступить абсолютная тьма или засиять заря новой цивилизации.



Расположившись на зрительских скамьях, греки, а также гости почти со всего Средиземноморья приготовились услышать либо самую страшную новость, либо самую прекрасную. На арену, согласно обычаю оповещать население Эллады о главных событиях во время подобных форумов, вышел глашатай с рулоном пергамента. Когда смолкли звуки труб, призывавшие публику ко вниманию, чего именно сегодня не требовалось, поскольку все и без того обратились в слух, он развернул свиток и зычно произнес: «Народ римский, сенат и проконсул Тит Квинкий Фламинин, выиграв войну, начатую ими за честь и независимость Эллады, у Филиппа и македонян, даруют свободу коринфянам, фокидянам, эвбейцам, фессалийцам...» Гигантская котловина стадиона взорвалась ликованием, шумный восторг заглушил дальнейшие слова глашатая, но тот продолжал выкрикивать названия городов и наименования народов, коих римляне возвращали к достойной жизни. Наконец зрители устали, смолкли, потом, собравшись с силами, снова подняли гам и опять стихли, а с арены все звучал и звучал голос, перечисляющий полисы, союзы и федерации, обретшие ныне свободу. Когда же свиток все-таки закончился, счастливые люди пожелали еще раз услышать небывалое сообщение, и свиток был перемотан к началу. Глашатай повторил постановление сенатской комиссии, выступающей на основании данных ей полномочий от имени всего римского государства. Только при втором чтении греки осознали происходящее и поверили собственному счастью. Едва глашатай покинул арену, масса людей бросилась к сидящему на почетном месте Титу Квинкию и с присущей толпе способностью все, даже самые лучшие чувства доводить до абсурда едва не растерзала проконсула в порыве благодарности. В этот момент выдумки жрецов о будто бы наблюдаемых ими двух солнцах или трех лунах показались грекам реальностью: ведь все они видели, как под сиявшим на небесах весенним солнцем на земле, среди них сверкало светило ничуть не менее яркое. Тысячи людей старались заглянуть в лицо Квинкию, сотни норовили потрогать его. На римлянина, как из мифического рога изобилия, сыпались букеты и венки, со всех сторон к нему летели разноцветные ленты.

На несколько дней Эллада обезумела от восторга, но потом сквозь барьер рукоплесканий снова стал просачиваться злобещий шепот этолийцев, не ставших, увы, господами Греции. Они уловили кое-какие неточности в формулировках сенатского постановления, неизбежно, ввиду стихийного происхождения языка, присутствующие в любом документе, и это позволило им говорить о его двусмысленности, а римлян объявить коварными злодеями, как будто те не могли при наличии желания открыто воспользоваться своей властью и подчинить себе всю страну без всяких оговорок. Греки насторожились, а вскоре опять забеспокоились.



Некоторый повод у них был, так как, предвидя вторжение Антиоха в Европу, римляне не решились оставить Грецию совсем беззащитной, словно бы назначенной ими в подарок конкуренту, и сохранили свои гарнизоны в Акрокоринфе, Деметриаде и Халкиде. Эти три пункта имели особое военное значение, и тот, кто владел ими, контролировал ситуацию во всей Греции. Занимая их своими войсками, македонские цари цинично шутили, говоря, что Коринф или точнее его кремль Акрокоринф, Деметриада и Халкида – это цепи Эллады.

Фламинин убеждал греков в целесообразности предпринятого римлянами шага по обороне ключевых точек Балканского полуострова, доказывал, что в противном случае их страна как легкая добыча навлечет на себя нашествие агрессора. Но в последнее столетие нигде в мире не говорилось так много о свободе, как в Греции, и, пожалуй, нигде в мире не было так мало реальной свободы, как здесь. Эллада утопала в сладкой риторике и гнусных деяниях. Привыкнув жить в искаженном информационном пространстве, греки охотно верили лжи и подозревали в корысти говоривших истину. Поэтому усилия Фламинина пропадали даром. О трех цитаделях, оставленных римлянами за собою, толковали больше, чем о сотнях действительно освобожденных городов. Доброе дело оказалось осквернено домыслами и пересудами. Но римляне проявили непреклонность, поскольку им требовалось возможно дольше удерживать Антиоха на некотором удалении от Европы, чтобы отсрочить войну с необъятным Сирийским царством, к которой они пока еще не были готовы. Однако позднее Тит Квинкий, ставший главным римским специалистом по Греции и как бы патроном всей этой страны, добился от сената разрешения на вывод гарнизонов из трех знаменитых балканских крепостей, и после этого во всей Элладе не осталось ни одного итальянского солдата. Римляне полностью сдержали слово, данное грекам накануне войны, подтвердили делом свои лозунги и реализовали поставленную цель. Но это произошло только через два года, а пока Квинкий оставался в Греции и активно занимался дипломатией, стараясь утрясти противоречивые интересы местных общин и уладить их вековые дразги.

Заклучив договор о мире с Филиппом, римляне посоветовали ему вступить с ними в союз. Царь выказал готовность к этому, и Македония сделалась страной, дружественной Риму.

Так, мощью своих легионов и последовательной принципиальной политикой римляне заслужили уважение и любовь на Балканах, явно преобладавшие в то время над завистью и недоброжелательством, так идеология Сципиона и его окружения после успехов в Испании, Сицилии и Африке, шагнула на Восток и овладела душою просвещенной Эллады.



БОРЬБА

I

Казалось бы, после столь блистательной победы политики Сципиона в Греции его авторитет и влияние в Республике должны были возрасти еще более. Но, увы, народу сложно уследить за мыслями и идеями и гораздо проще внимать именам и словам. А в тот период в Риме появились и новые имена и тем более – слова. Ежегодные набеги на непокорных галлов и лигурийцев при малой эффективности были эффектны и произвели на свет немало триумфаторов. В последние годы обострилась обстановка в Испании, и иберийские конфликты позволили отличиться тамошним преторам. Ну и, конечно, главным событием стала македонская война, а Тит Квинкий по ее завершении вознесся в сонм героев Отечества. Недруги Сципиона очнулись от шока, вызванного его беспримерными победами, и принялись нашептывать плебсу: «Вот видите, мы и без Сципиона можем добиваться успехов, и без Корнелиев способны выигрывать войны». Марк Катон развил эту мысль и польстил толпе заявлением, что побеждают в сражениях и целых кампаниях не императоры, всякие там консулы и преторы, а солдаты, и потому заслуга в небывалых достижениях государства принадлежит не аристократам, а простому народу. Он даже взялся проиллюстрировать свое открытие примерами из прошлого Республики и затеял написание истории римского государства, что было очень модно в тот период ввиду резкого подъема национальной гордости. Оригинальность его труда, названного им впоследствии «Началами», как раз и состояла в том, что действующим лицом пятисотлетней эпопеи выступал народ, а полководцы не упоминались вовсе. Конечно, не будь люди уже заранее психологически готовыми к



подобному повороту в общественном мнении, не принесли бы успеха ни попытки заглушать славу Сципиона галльскими триумфами, ни старания Катона разделить неразделимое и вбить клин между лидерами и массой. Всем представлялось очевидным, что загнать галлов в лес и одолеть Карфаген — дела разного порядка, и что даже война с Македонией по сложности и масштабности не шла в сравнение с Пунической, столь же ясным было и особое значение стратегической и тактической дуэли Сципиона и Ганнибала в борьбе возглавляемых ими народов. Но к тому времени плебс утомил сам себя неумеренным поклонением Сципиону, устал от собственных восторгов, и его подобно маятнику, по инерции проскакивающему нормальное положение, занесло в противоположную сторону. Имя принцепса набило оскомину, начало вызывать кисловатый привкус, а кроме того, превозносить Публия Африканского стало делом тривиальным, старомодным, и теперь уже люди чаще морщились при упоминании о победителе Ганнибала, а также — двух Газдрубалов, Сифакса и Магона, чем аплодировали. Не чья-то слава, не новые идеи потеснили Сципиона на пьедестале почета, они лишь заняли освободившееся место, а сделала это мода — вульгарная потаскушка, угодливо помогающая тем, кто не располагает критериями истины, красоты и добра, чтобы облегчить им ориентировку в окружающем мире путем навязывания искусственных, зато всем доступных псевдокритериев, декларированных псевдоценностей. Не беда, что завтра нынешние каноны прекрасного и достойного станут символами безобразия и позора: это будет уже другая мода. Итак, Сципион как бы износил одеянье славы, пурпур его триумфального плаща поблек, и потому плебс смог различить на померкшем политическом небосводе восходящие звезды: Тита Квинкция, Клавдия Марцелла, Фурия Пурпуреона, Корнелия Лентула и других нобилей, потому народ стал прислушиваться к голосам, призывающим его ориентироваться на новые имена.

Немало поработали над затенением авторитета Сципиона последние консулы: Марк Марцелл и Луций Пурпуреон. Они представили Квинция Фламинина выдвиженцем своей партии, проводником ее идей, а победоносное завершение войны, пришедшееся на год их консульства, изобразили достижением группировки Фуриев-Фульвиев-Фабиев. В борьбе против общего врага объединились принципиальные соперники: аристократы партии трех «Ф» и третья сила в лице сенаторов низших рангов, среди которых все более выделялся рыжий Марк Порций. «Мы, благодаря тому, что наперекор всемогущему Сципиону поставили во главе македонской экспедиции своего воспитанника юного талантлив



целла, добились блистательной победы на Балканах! Добыли славу и безопасность Отечеству!» – ораторствовали Фабии и Фурии, а также Клавдии, Семпронии и Валерии перед народом. А в это время в другом собрании Катон яростно бил уши купцов, чиновников, ростовщиков, откупщиков и прочих дельцов такими речами: «Вот она, победа Сципиона в Македонии: ему слава, а нам ничего! Мы раскошеливались, финансировали предприятие, казавшееся столь выгодным, а он взял и подарил завоеванную Грецию эллинам, этим деградировавшим существам, пустомелям! Хорош же и Квинкций! За милости патрона и консульское кресло этот мальчишка продал и душу, и глаза, и уши! Он и сам не видит чудовищности такой расточительной политики и не слышит наших голосов, велящих ему развеять вокруг себя Сципионовы чары и обратиться к разуму, твердому расчету!» Благодаря разделению зон влияния эти речи не аннигилировали, а, воздействуя на разные слои общества, складывались без учета их противоположных смысловых знаков. Поэтому граждане все более отдалялись от Сципиона и соответственно приближались куда-то еще, куда именно, пока никто не знал.

Но все эти интриги, как и психология неорганизованных масс в действительности, только поколебали влияние Сципиона, не более того. Однако противники сумели использовать некоторое ослабление его позиций и, применив в пределах дозволенного имеющуюся у них в тот год магистратскую власть, добились избрания на высшие должности своих людей. Выборами руководил Клавдий Марцелл, напрочь забывший, кто помогал ему овладеть курульным креслом, а новыми консулами при его активном и умелом пособничестве стали Луций Валерий Флакк и Марк Порций Катон. И даже вновь избранные преторы поголовно принадлежали враждебному Сципиону клану. Лишь эдилитет получил сторонник Публия, его испанский квестор Гай Фламиний. Такой результат объяснялся еще и тем, что незадолго до проведения комиций задача Марцелла и его соратников неожиданно упростилась, поскольку умер ближайший друг и сподвижник Сципиона Марк Корнелий Цетег, и их главному противнику было не до выборов.

Могучие роды Корнелиев Сципионов и Корнелиев Цетегов сотрудничали всегда. Нынешнее поколение в полной мере поддержало традицию. На заре карьеры Публий опирался на авторитет Марка Цетега-отца, а затем исполнял эдилитет совместно с сыном. Далее они шагали рядом с младшим Цетегом по пути к общей цели – победе над Карфагеном и утверждению идеи о гармоничном устройстве цивилизации, правда, Сципион более выступал на военном поприще, а Цетег – на политическом. И вот теперь двадцатилетнее сотрудничество и близкая дружба разом прекратились, погибли вместе с внезапной смертью Мар-



ка. Корнелий Цетег был колоритной личностью, и Сципион даже в душе, то есть наедине с самим собою, признавал его равным себе значением и талантом. С уходом из жизни Цетега оборвались многие связи, соединявшие Публия с миром, умерла доля его существа, из души оказалась вырванной лучшая часть, подобно тому, как из тела вражеским снарядом вырывает кусок мяса, и он корчился от боли зиявшей черным провалом раны. При этом ему приходилось еще исполнять общественные и дружеские обязанности по организации погребального обряда и помогать семье почившего.

А его враги тем временем праздновали победу. Катон, можно сказать, совершил невозможное. Родившись в средней всаднической семье, он пробился в сенат, а теперь шагнул дальше предельной для людей его круга магистратуры претора и штурмом взял оплот нобилитета – консулат.

Но, конечно же, штурму предшествовала длительная осада. Целые века Порции Катоны медленно восходили из тьмы плебейских низов к заветной вершине, впрочем, не только Катоны, а Порции вообще, ибо еще ни один Порций не был консулом, хотя близкая Катонам родовая ветвь Леков достигала претуры; так, например, произошло и в нынешнем году, когда этой магистратуры удостоился Публий Порций Лека. Катоны упорным трудом и низким скряжничеством асс за ассом сколачивали состояние, храбростью, волей и смекалкой привлекали к себе внимание офицеров в ходе военных походов. Итогом цепочки таких жизней стал заметный авторитет отца нашего Катона в среде всадничества и его экономические, а следом и товарищеские связи с сенаторами преторско-эдилского ранга. Катон-отец дал хорошее образование сыну, зарядил его неумемной жаждой славы, и тот с юношеских лет привлекал своими достоинствами внимание видных людей Республики.

Родовой дом Катонов находился в муниципии Тускуле неподалеку от столицы, а молодой человек воспитывался в сабинском имении, где с детства осваивал весь комплекс специальностей земледельца. Рядом с усадьбой Порциев располагались владения знаменитого Мания Курия Дентата – победителя самнитов и царя Пирра. Видя, в сколь скромных бытовых условиях жил этот человек и каких он при этом достиг высот, юноша задумывался о сущности счастья и познавал иерархию ценностей, учась отличать истинные от искусственных, условных. Тут же, по соседству, была вилла патрицианского консульского рода Валериев Флакков. Однажды задиристый Марк люто подрался с юным отпрыском Валериев, и такое знакомство положило начало их плодотворной дружбе, продолжавшейся всю жизнь. Глава фамилии Публий Валерий Флакк, тот самый обладатель тонких улыбок и утонченного коварства, который третировал Сципиона по его возвращении из Испании, разглядел в шустром рыжем пареньке за-



датки ярких качеств и в свою очередь способствовал их развитию. Обща-
ясь с представителями высшей знати, Марк старался ни в чем не уступать
им и таким образом подтягивал свои амбиции до их уровня.

Достигнув совершеннолетия, младший Флакк – Луций отправился
делать карьеру в Рим. С ним устремился в столицу и Порций. Начало
взрослой жизни Марка совпало со временем нашествия Ганнибала. Ка-
тон сражался в войсках Марцелла, Фабия Максима и Клавдия Нерона,
участвовал во взятии Тарента и Сиракуз. Везде он был замечен, но осо-
бенно отличился в битве у Метавра. С войны он вернулся с ног до голо-
вы исполосованным шрамами. При виде этих устрашающих узоров на
его торсе, ногах и руках, прекрасных символической красотой славы,
возникло впечатление, будто карфагеняне проиграли войну потому,
что их металлическое оружие затупилось о тела таких людей, оказав-
шихся тверже железа. По окончании войны у Катона прорезался ора-
торский талант, который в совокупности с его тщеславием и агрессив-
ностью создал идеального судебного сутягу. Порций без усталости обви-
нял и защищал, казалось, он вообще не сходил с ораторской трибуны, при-
чем обвинения ему удавались лучше, нежели защиты, и ярым словом он
уничтожал соотечественников так же эффективно и безжалостно, как
недавно мечом рубил пунийцев. Такой деятельностью Катон приобрел
известность, а вместе с нею друзей и врагов. Первых он обязал чув-
ством благодарности, обеспечив их победу в судебных процес-сах, а
вторых сковал страхом перед своим ораторским могуществом. Наскока-
ми на Сципиона и его друзей он привлек к себе интерес толпы и благо-
склонность Фульвиев, Фабиев, Фуриев. В сношениях со знатью ему
оказали поддержку давние покровители Валерии Флакки, которые в
последнее время плотнее примкнули к клану трех «Ф», чтобы совмест-
ными усилиями повысить влияние оппозиции Корнелиям и Эмилиям.

После войны с пунийцами Катон начал быстрое восхождение по слу-
жебной лестнице. Исполнив плебейские должности, он добрался и до ку-
рульных магистратур. Основу его деятельности составляло противобор-
ство власти аристократов. Причем он дурачил Фульвиев и Фуриев тем,
что нападал в первую очередь на лагерь Сципиона, хотя по сути его ме-
роприятия были направлены против всего нобилитета. Так, со своими
единомышленниками – Порциями Леками, Гельвиями, Манлиями пле-
бейской ветви, Лициниями Лукуллами – Порций инициировал отмену
чрезвычайных проконсульств в Испании, где двадцать лет господствова-
ли Корнелии, и передачу этой страны в ведение ординарных преторов.
Исподволь он готовил почву для установления жесткого порядка прохож-
дения магистратур, чтобы удлинить путь нобилей к вершинам власти, вы-
ступал против присуждения триумфов и оваций друзьям Сципиона.



Катон был весьма заметен при исполнении всех государственных должностей, но особенно его прославила претура. Он получил назначение в Сардинию, где строгостью и принципиальностью навел порядок и возвысил имя римского магистрата, очистив его от печати пороков, свойственных пунийскому чиновничеству. Пребывая долгое время под протекторатом Карфагена, сарды привыкли к бесконтрольному всевластию пунийских должностных лиц, их взяточничеству и разгулу. Дурные традиции местное население распространило и на прибывающих к ним римлян. Преторам всячески угождали, потакали любым их желаниям и излишествами пробуждали новые, местная аристократия добровольно поступала к ним в услужение, образуя пышную свиту наподобие царской. Предшественникам Катона это нравилось, и постепенно низкое раболепие сардов и роскошь жизни магистратов за счет населения стали обыденными и как бы узаконенными явлениями. Порций же разогнал свиту, отменил незаконные поборы и демонстративной скромностью быта заставил здешнюю аристократию обратиться к человеческому образу жизни. Пешком обойдя все города острова, Порций непосредственно вник в дела каждой общины и целенаправленной деятельностью оздоровил экономическую жизнь страны.

На всех государственных постах Катон был безупречно честен. Но при этом богатство оставалось его заветной мечтой, то есть, с одной стороны, он, будучи истым римлянином, презирал все постороннее основной цели, все искусственные элементы престижа, не вытекающие логически из достоинств самой личности, с другой стороны, как представитель аристократического государства, стремился укрепить и расширить материальный фундамент для карьеры. Поэтому, достигнув необходимого для сенатора минимума, Катон продолжал самозабвенно наживаться, растворившись в этой страсти и потеряв разумные ориентиры. Его дух, обитающий гораздо выше мелочных удовольствий шикарного прозябания, пренебрегал непосредственными проявлениями богатства. Марк был непривередлив к пище и одежде, презирал блестящие побрякушки, годные лишь на то, чтобы похвалиться ими перед скудоумными обывателями, но как провинциал, росший у подножия Рима, как всадник, долгое время стоявший у порога курии, он взрастил в себе червя вечной неудовлетворенности и был болен ощущением своей неполноценности перед нобилями, что внешне пытался компенсировать петушиным зазнайством. Привыкнув всегда догонять, он, сравнившись с лидерами, продолжал гнаться уже за призраком. Ведя самый скромный образ жизни, прославляя бережливость и простоту быта, Катон сколотил гигантское состояние и сделался богачом, за свои восемьдесят пять лет так, наверное, и не поняв – зачем. Получилось, что он бо-



ролся с алчностью и проповедовал скромность во имя все той же наживы. Из этого порочного круга ему вырваться так и не удалось. Противоречивость его мировоззрения не позволила ему проникнуть в сущность денег, осознать их безликий, абстрактный характер, а потому он томился иллюзиями о честном богатстве, разделяемыми многими его современниками. Поэтому Катон и проявлял неподкупность и порядочность в государственных делах, но зато всю лютовал в собственном имении. Рабов он держал на положении тяглогового скота, обеспечивая их существование ровно на столько, на сколько это требовалось для поддержания их работоспособности. От пожилых работников, независимо от их заслуг, он избавлялся, как и от одряхлевших коней, мулов, быков, не брезгуя получить за них лишний асс. Порций прибегал к самым низким хитростям, чтобы держать рабов именно в рабском состоянии, и гордился этими достижениями своего рабовладельческого искусства. Столь же честным бизнесом он считал торговые спекуляции, хотя по законам нравственным и юридическим сенаторам воспрещалось заниматься торговлей как занятием, не совместимым с достоинством римского аристократа. Катон через подставных лиц владел многими купеческими и откупными компаниями, выколачивая при их посредстве чудовищные барыши из народа, того самого народа, обворовывать который напрямую считал делом постыдным. Вот такими путями его убогие, грубо сколоченные закрома наполнялись горами золота.

Удивляясь и даже восхищаясь восхождением Катона, большинство сенаторов, тем не менее, не сомневалось, что далее претурой он не пойдет. Но не так думал сам Марк. Всем и всюду он доказывал, что ничем не хуже нобилей, и до бесконечности перечислял свои заслуги. Наверное, даже его домашний кот досконально знал все подвиги хозяина и был убежден в консульских достоинствах двуногого собрата. Но, возможно, запросы неумного тщеславия Катона так и остались бы неудовлетворенными, если бы к нему не проявили интереса Фульвии и Фурии.

Однако в последнее время резко возрос спрос на ненависть Порция к Сципиону, тем более, что от злобных сумбурных нападок на самого принцепса, казавшегося многим безупречным, он перешел к последовательной критике его политики, в чем были заинтересованы не только противники Сципиона, но и мощный слой зажиточного всадничества. Обрадовавшись неожиданной поддержке в среде богачей и в сенатских низах, нобили оппозиционной партии стали всячески потворствовать Катону. Они поощрительно похлопывали его по плечу, снисходительно улыбались ему в лицо и пренебрежительно кривились за его спиной. А хитрый Порций, игнорируя противоречивую мимику покровителей, воспользовался их попустительством и собрал вокруг себя многочис-



ленных сторонников из сенаторов низших рангов, которые прежде ввиду разобщенности являлись послушными марионетками консуляров. Из этой массы он создал собственную группировку, грозную не именами и авторитетами, а именно числом. За действительную дискредитацию идеологии партии Сципиона Катон получил одобрение своей кандидатуры на высшую должность от Фабиев и Фуриев. В свою очередь и метивший в консулы Луций Валерий Флакк благосклонно взглянул на друга детства, полагая, что из него выйдет послушный коллега. Он обеспечил ему поддержку Валериев и Клавдиев вместе с их бесчисленными клиентами. С другой стороны Катона толкали к консульскому креслу претории, квестории и эдилиции. Так Порций сумел впрячь в колесницу предвыборной кампании и нобилей, и «сенатское болото», предварительно расшевелив его. На конях этих двух общественных сил он и въехал на Марсово поле в день избирательных комиций.

Наблюдая со стороны политический разгон Катона, Сципион поражался недалекости аристократов, ради сиюминутных выгод взращивающих себе непримиримого врага. Публий называл поведение Фуриев, Фульбиев, Клавдиев низостью, предрекал им многие беды в дальнейшем и жестокое раскаяние. Сам же он брезговал ввязываться в борьбу со своим бывшим офицером, тем более что Порций, казалось, жаждал противодействия Публия, чтобы получить довод еще раз обвинить его в мстительности и злобном преследовании, как он говорил, лучших людей. Но при всем том даже Сципион пока не осознавал в полной мере той опасности, которую представлял для высшего сословия этот человек.

Став консулом, Катон неожиданно нашел широкое поприще для приложения своих сил и талантов. Он получил в управление ближнюю Испанию и тридцатитысячную армию. В помощники ему дали претора Публия Манлия, а дальнюю Испанию поручили другому претору Аппию Клавдию Нерону. Таким образом, страна, некогда завоеванная Сципионом, теперь целиком перешла в руки его политических врагов.

Пятнадцать лет назад Публий Сципион выступал в Испании как освободитель иберийских народов от пунийского ига. Он сумел убедить местное население в праведности своих целей и добыть их уважение и дружбу. Потому при всей воинственности и неуступчивости иберы лишь однажды оказали ему противодействие. Победив карфагенян и утвердившись в Испании, Сципион свел функции римлян к защите страны от вторжения пунийцев и контролю над политической ситуацией с целью предотвращения междоусобицы иберийских племен. В экономическую жизнь римляне не вмешивались, и в Испании начался торговый бум благодаря устранению жесткой пунийской монополии в этой области. Сципион не прикоснулся и к такому национальному богатству



иберов как серебряные рудники. Помимо выполнения основной задачи Публий еще инициировал внедрение в иберийские верхи греко-римской культуры, чтобы цивилизовать этот грубый народ и воспитать из него сознательного верного союзника.

В дальнейшем проконсулы, назначаемые по выбору Сципиона, продолжали его политику. Римляне не имели никаких материальных выгод от пребывания в Испании и довольствовались тем, что держали в руках потенциальный очаг напряженности, не позволяя реализоваться его разрушительной внутренней энергии, заключенной в разнородности племен. Если бы они оставили этот регион без внимания, там неизбежно началась бы борьба за власть между князьями различных народов. При чрезвычайной многочисленности испанского населения такая война могла затронуть соседние земли, из локальной перерасти в глобальную, из внутренней – во внешнюю и стать дестабилизирующим фактором в масштабах всего Средиземноморья. С точки зрения обеспечения безопасности Италии и римской идеологии вообще такое было недопустимо.

Десять лет последователи Сципиона более или менее успешно воплощали в реальность его замысел относительно Испании. Но постепенно в столице привыкли к тому, что огромная страна надежно замирена, и стали подумывать о большем. Исподволь возобладали хищнические тенденции группировки, впоследствии преобразовавшейся в партию Катона. Под лозунгом упорядочения магистратур был ликвидирован неофициальный протекторат Корнелиев над этой провинцией. Преторы, отныне назначаемые в Испанию по жребию, не могли быть объединены общей идеей. Некоторые из них продолжали линию Сципиона, другие вели себя иначе и старались добраться до достояния иберийских общин. Исчезла стабильность, и стали возникать конфликты с местным населением. Чем более римляне вторгались в непосредственную жизнь иберов, тем ожесточеннее и масштабнее был отпор, тем чаще вспыхивали восстания.

И вот, вместо того, чтобы одуматься и вернуться к прежнему политическому курсу, в сенате по инициативе Катона, наоборот, раздувались воинственные настроения. Толстосумы, рвущиеся к новым богатствам, возмутились, что какие-то иберы посмели отстаивать свое добро и внутриполитическую независимость. Протестующий голос Сципиона потонул в море алчности. Но алчность всегда рядится в чужие одежды и высказывается чужими словами, не рискуя представить всеобщему обозрению свою безобразную физиономию и гнусную суть. Поэтому никто, конечно же, не говорил, что в угоду свой низменной владычице он готов предать поруганию честь и совесть римского народа; сокровенные чаяния отставали по-другому. Принцепса укоряли в ревности к сла-



ве тех, кто намерен заново покорить страну, в которой он некогда завоевал авторитет и титул императора, а кое-кто даже упрекал его в жадности, ибо, по утверждению недругов, он исключительно с корыстными соображениями на пятнадцать лет превратил Испанию в собственную вотчину и не желает возвращать ее государству. Сципион оказался не готов к столь массированному, хорошо организованному наступлению противников и проиграл. Испании объявили войну, вести которую поручили Катону. Валерию Флакку досталась в управление Ближняя Галлия.

Но, прежде чем отправиться согласно назначению в свои провинции, консулы исполнили грандиозный религиозный обряд, обещанный богам от имени государства в страшный период поражений от карфагенян. Называлось это действо «Священная весна» и состояло оно в том, что в жертву суровым обитателям небес приносился весь приплод домашних животных весенних месяцев определенного года. Добросовестный и безжалостный Катон постарался, чтобы мероприятие было проведено строго и в соответствии со всеми предписаниями до самой выцветшей буквы ветхих жреческих папирусов. Италия утонула в крови, и хотя это была кровь животных, она тоже имела красный цвет. Мрачный обряд, выполненный с варварской жестокостью в духе варварских времен любимой Катонем старины, задал особый тон этому консульству, и многие воспринялся как своеобразное дурное предзнаменование.

Пока войско Катона снаряжалось для отправки в Испанию, сам консул успел отличиться еще раз. Его необузданная энергия прорвалась к глубинам римского быта и пробудила к действию сокрытые до той поры силы. Столицу захлестнули невиданные страсти, потрясли небывалые события, столь же драматичные, сколь и смехотворные. Развернувшейся на римских холмах трагикомедии острословы с подачи не упускающего ни одной возможности высмеять Катона Луция Сципиона дали наименование «Женская война». Затеявая эту самую женскую войну, Порций намеревался официально с государственной трибуны заявить о враждебности к аристократии, а также обозначить положительную составляющую своей идеологии, ибо добиться власти только за счет критики политик может, но, чтобы удержаться на вершине, ему необходима созидательная программа. В качестве базовой, формообразующей цели Катон выдвинул стремление к чистоте нравов и суровой простоте жизненного уклада предков, представляемых, естественно, на уровне понимания его окружения.

Повод для демонстрации своих идей Катон нашел мастерски. Несметные богатства, которыми побежденный мир полонил победоносный Рим, подобно весеннему ливню напитал почву скромного италийского быта, из всех звеньев которого, как из набухших почек налившегося



соками дерева, полезли ростки новых потребностей и фетишей. Хмель роскоши вскружил головы римлян и в первую очередь – женщин как существ морально более слабых. Вошли в цену дорогие наряды, утварь, прислуга и украшения. Но вот как раз наряды и украшения носить не позволялось законом трибуна Оппия, введенном в самые трудные годы пунийской войны с целью ограничить роскошь и сосредоточить все внимание граждан на делах государства. Возмущенное ущемлением своих прав богатство возропало устами послушных вассалов. В семьях нобилей стал назревать протест против, как считалось, устаревшего закона, а многие матроны откровенно игнорировали запреты, щеголяя в золоте и пурпуре. Особенно выделялась такого рода независимостью надменная Эмилия – жена принцепса. Сначала личным примером, потом и пропагандистской деятельностью она увлекла за собою жен друзей Сципиона, а вскоре превзошла влиянием мужа, присоединив к своей партии Клавдий, Валерий, Фабий, Фурий, Фульвий и всех прочих обладательниц аристократических стол. В каждом богатом доме началась осада мужской добропорядочности хитрыми, изящными созданными, ловко применяющими весь арсенал крепостной войны от страстного штурма до измора длительным голоданием, от гневных угроз до ласковых коварных обещаний. Многие нобили и сами были не прочь занять едко поблескивающие на солнце знаки отличия, которые выделяли бы их из грязной, потной толпы, заставляя простолюдинов ахать от восхищения и почтительно уступать им дорогу. Если они еще и не раболепствовали перед богатством, то уже не считали его злом. Другие были равнодушны к подобным привилегиям, имея привилегии ума и чести, но изъявляли готовность побаловать своих жен. Сципион, например, сам не нуждался в золотой оправе, поскольку, завидев его, все и без того ахали, но к барским замашкам Эмилии относился снисходительно, не догадываясь о пагубных последствиях, к каковым может привести потворство таким страстям.

Итак, общественное мнение созрело для упразднения Оппиева закона. Но, конечно же, ни один здравомыслящий политик не выставил бы подобный вопрос на обсуждение в консульство Катона. Однако, желая во что бы то ни стало отличиться, Порций решил сам вызвать огонь на себя. Плебейские трибуны Луций Валерий и Марк Фунданий, принадлежавшие явно не к лагерю Сципиона, а значит, расположенные к Катону, вняли тайной просьбе консула и поспешили выступить с предложением отменить закон об ограничении роскоши, стараясь успеть с его рассмотрением до отплытия своего вдохновителя в Испанию.

Как и следовало ожидать, это дело разрешилось не сразу. Многие видные сенаторы защищали закон, другие, не менее видные, выступали



против него. Начались прения. Обсуждение продолжалось несколько дней. И тут женщины, привыкшие вносить свою лепту в управление государством путем воздействия на мужей и сыновей, не стерпели предписанной им обычаями пассивности и толпою ринулись к форуму, чтобы непосредственно вступить в борьбу за право мести тротуары подолами из тарентинской или мелитской ткани и звякать на зависть подружкам яркими камнями. Италия проявила солидарность со столицей, и к римлянкам присоединились протопавшие десятки и даже сотни миль матроны и девицы из соседних областей. Гам наполнял улицы и площади Рима. Тысячи просьб, пожеланий, требований и молитв роились над городом, жала уши мужчин, направляющихся к форуму. Казалось, даже камни зданий и булыжники мостовой плавилась и таяли от неги и слез, затопивших Рим. На фоне такого «размягчения камней» как раз и выделялся несокрушимой твердостью сердца принципиальный консул.

Оккупировав ростры, Марк Порций Катон с отчаянной храбростью возглавил войну с женщинами и громил их всей мощью первозданного плебейского красноречия.

«Если бы каждый из нас, квириды, твердо вознамерился сохранить в своем доме порядок и почитание главы семьи, то не пришлось бы нам и разговаривать с женщинами, – веско, с позиций умудренного жизнью патриарха говорил сорокалетний консул. – Но раз допустили мы у себя в доме такое, раз свобода наша оказалась в плену у безрассудных женщин, и они дерзнули придти сюда, на форум, чтобы попусту трепать и унижать ее, значит, не хватило у нас духа справиться с каждой по отдельности и придется справляться со всеми вместе». Бросив краткий, но внушительный упрек мужчинам, Катон долго распространялся об опасности случившегося прецедента. «Нет такого закона, который был бы хорош для всех, а потому нужно стремиться, чтобы он удовлетворял интересам большинства, – утверждал он. – И если мы в угоду кому-то отменим один закон, то неизбежно ослабим другие. Но вдвойне и втройне опасно уступать женщинам, которым нельзя давать волю, ибо они очень скоро свободу превращают в распущенность». Далее консул принялся растолковывать порочный характер женских требований, низменность стремлений. По этому поводу он вспомнил нравы предков и привел пример из истории Отечества, когда посланцы царя Пирра, отчаявшись в надежде подкупить римлян, стали улещать их жен, предлагая им тончайший виссон и драгоценности, но были с презрением отвергнуты. «Теперь же, – сокрушался Порций, – я подозреваю, что подобная попытка иностранцев увенчалась бы позорным успехом, и нашлись бы девицы, жаждущие продаться сами и продать честь Родины за иностранную тряпку!» Мешая слезы с гордым пафосом, Катон еще



долго славил образцы давней римской добродетели, а в завершение предостерег сограждан от опрометчивого шага. «Помните, – воззвал он, – что никогда прежде роскошь не была столь страшна, как теперь, когда ее подобно дикому зверю посадили на цепь, раздразили, а затем спустили с цепи!»¹.

Напоследок Порций призвал женщин состязаться друг с другом истинными достоинствами, а не бесстрастными шелками и камнями, в равной степени служащими дурным людям и хорошим, одинаково сверкающими и на почтенной матроне, и на залапанной потаскушке. «Оппиев закон отменять ни в коем случае нельзя!» – провозгласил еще раз Катон и сошел с ростр.

Затевая это предприятие, консул располагал бесспорной поддержкой среди трибунов, так как не только главные исполнители действия Марк Фунданий и Луций Валерий, но и их коллеги сходились с ним во взглядах. Однако дело приняло такой широкий размах, что трибуны заколебались в выборе позиции. Обеспокоенные вначале нобили, увидев затем, какой оборот принимают события, вознамерились использовать происходящее в собственных целях и «Женскою войною» скомпрометировать Катона. Получив посулы в благорасположении от аристократов, трибуны перешли на их сторону. Кроме того, в силу своей молодости, они возжаждали стать кумирами всех женщин Республики. Такие расчеты и такие эмоции сделали их ярыми поборниками женских свобод, и они уже искренне повели борьбу за отмену Оппиева закона. В первую очередь это относилось к Луцию Валерию, которого нобили и выставили в качестве главного официального оппонента Катону.

Луцию очень хотелось отличиться и доказать, что плебеи тоже могут с достоинством носить звучную фамилию Валериев, каковую его предки, по-видимому, получили как вольноотпущенники Валериев-патрициев. Поэтому он вложил в ответную речь не только ум и подсказанные сенаторами мысли, но также – душу и вдохновение. Трибун выступал артистично и очаровал толпу, хотя порою нелепо переигрывал, чем вызвал нарекания более искушенной части публики.

Начал Луций с оправдания женщин, якобы оклеветанных Катонем. Он перечислял их немалые заслуги перед государством за пять веков существования Рима и воздавал должное проявленным ими крепости духа, самопожертвованию и патриотизму. При этом он намеренно упустил из виду, что Катон не отрицал этих качеств в женщинах, а наоборот, защищал их от разрушительной ржавчины богатства. Затем трибун

¹ В вышеизложенных фразах Катона практически дословно приведены выдержки из его речи в обработке Тита Ливия, чтобы подчеркнуть почтенный возраст высказанных мыслей.



перешел к рассмотрению вопроса о самом законе Оппия и, любезно соглашаясь с консулом в необходимости трепетного отношения к законам вообще, подчеркнул, что в данном случае разговор идет не об упорядоченном закреплении выработанных жизнью правовых норм, а всего лишь о временной мере, вызванной чрезвычайными обстоятельствами войны. «А потому, с устранением экстремальных условий, должны быть упразднены и порожденные ими следствия, — с упоением, заливаясь на рострах, как соловей на жердочке, выводил молодой оратор. — Грубо вторгаясь в жизнь, война искажает все области нашего бытия, включая и право. Есть законы вечные, а есть такие, которые призваны служить лишь для войны. По-разному приходится править государством в мирную эпоху и в годину бедствий, как по-разному надлежит управлять кораблем в шторм и в тихую погоду!»

Доказав преходящий характер Оппиева закона, Валерий тут же обрек его на смерть и снова возвратился к волнующей юношескую душу теме. Он опять заговорил о женщинах. Описав вкратце их жизнь, Луций пролил слезы над горькой женской долей, лишенной радостей ратных побед, восторга триумфов и азарта политической борьбы. По его словам, всего-то и осталось утешения у этих обиженных созданий, что золото да пурпур. Далее его речь густо окрасилась цветом тарентинских моллюсков. «Выходит, тебе, консул, можно даже коня покрывать пурпурным чепраком, а матери твоих детей ты не позволишь иметь пурпурную накидку! Что же, даже лошадь у тебя будет наряднее жены?» — едва не рыдая, возмущался Луций, сам делаясь пурпурным, как упоманутая попона на консульском коне.

Заканчивая столь прочувствованное выступление, он успокоил сомневающихся мужей напоминанием, что они, мужья, и есть главный закон для жен, а не какие-то там записки Оппия, и потому каждый из них всегда волен сам запретить своей подруге любое излишество.

Речь Катона была ярче и разумнее, но на этот раз он проиграл, точно так же, как недавно в вопросе о судьбе Испании проиграл Сципион, хотя выглядел убедительнее в ходе дискуссии и защищал более справедливую позицию. Так произошло потому, что сегодня Порций протестовал против корысти, тогда как прежде торил ей дорогу. Именно богатство одной своей гранью — роскошью сокрушило Катона, а не Валерий или Фунданий.

Итак, собрание большинством голосов отменило закон Оппия, и провожаемый злорадством Катон поспешил покинуть форум, затем — Рим и вообще — Италию, отбыв в свою провинцию, а женщины еще шустрее консула побежали к сундукам наряжаться.



2

Катон провел испанскую кампанию именно так, как мог и должен был это сделать Катон. Едва прибыв на место, он удалил из войска подрядчиков, занимающихся закупками продовольствия для армии, самодовольно провозгласив при этом: «Война сама себя кормит!» После чего сразу же отправил солдат грабить поля и селения иберов.

Привыкшие к иному обращению испанцы были ошеломлены таким поведением римлян. Ведь они, народы левобережья Ибера, издавна являлись их союзниками и если уж теперь подняли восстание, то только будучи выведенными из терпения злоупотреблениями недавних друзей. Иберы полагали, что Рим прислал к ним консула с намерением беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации и упорядочить их взаимоотношения с пришельцами на основе справедливости. Увы, они ошиблись, однако даже и сейчас, видя, как пылают родные села, все еще не осознавали масштабов своих заблуждений, они до сих пор надеялись, что гримаса войны явлена им для устрашения, как лишний довод для последующих переговоров, они пока еще не поняли, что к ним прибыл отнюдь не Сципион, а антипод Сципиона.

Тем временем более воинственное население глубинных районов страны перешло к активным действиям. В верховьях Ибера сложилась мощная антиримская коалиция из нескольких племен. Лишь илергеты, раньше познавшие на собственном опыте, какова участь мятежников, пытались сохранить верность заморскому союзнику, но, не будучи в силах совладать с давлением соседей, оказались вынужденными обратиться за помощью к консулу.

Римский лагерь посетило представительное посольство илергетов, в знак особого доверия к союзникам включавшее в себя царского сына. Выслушав делегацию, Катон похвалил иберов за преданность, но, отвечая на конкретную просьбу, развел руки: выслать им подкрепление он не мог, так как готовился к генеральному сражению с приморскими племенами. Тогда илергеты сознались, что без римской поддержки они не смогут противостоять превосходящим силам неприятеля и должны будут принять его сторону, чтобы не погибнуть всем народом. После такого заявления Порций передумал и объявил, что отправит к союзникам аж треть войска.

Немедленно началась погрузка воинов и снаряжения на речные суда для доставки подкрепления в страну илергетов. Обрадованные послы с доброй вестью поспешили домой, правда, не все, поскольку Катон прибег к пунийской хитрости и оставил юного царевича у себя в качестве заложника, тем самым надолго отучив илергетов доверять римлянам.



Едва посольство скрылось в лесных дебрях, консул, усмехаясь наивно-сти испанцев, вернул солдат на берег и стал заниматься прежними делами, предоставив илергетов произволу судьбы.

Подобно древнему римлянину, который, выступая за черту померия, преобращался из гражданина в безжалостного хищника, подобно представителю любого из первобытных обществ, являвшихся субъектами глобальной борьбы коллективного отбора, Катон, покидая Отечество, оставил на родине честь, совесть и достоинство. Уезжая из Италии добрым семьянином, честным гражданином, мудрым сенатором, он прибыл в Испанию врагом всего живого. Плебейская душа Катона замкнула его могучие способности в тесную оболочку родоплеменного мировоззрения, не позволив им выйти на космический простор и объять весь свет. Он не чувствовал себя хозяином ойкумены, не ощущал себя, как Сципион, гражданином всей Средиземноморской цивилизации, он был только членом узкой общины, вырвавшимся на краткий миг в чуждый, непонятный и насквозь враждебный мир, чтобы набить свой мешок попавшимся под руку добром и скорее возвратиться к родному порогу, укрыться в собственной скорлупе. В соответствии с таким миропониманием испанец или галл рассматривался им, с одной стороны, как противник, соперник в потреблении материальных ценностей, а с другой – как дикарь, варвар, на которого не распространяется родовая мораль, направленная лишь на ближнего, и в обращении с которым, следовательно, допустимы все средства, ведущие к непосредственной, утилитарной цели.

Такой была психология Катона, таковым было его естество. Разум же этого человека усвоил космополитические тенденции своего времени и стремился объять необъятное. Итогом борьбы противоречивых начал личности Катона стала настойчиво претворяемая им в жизнь идеология и политика.

Немного освоившись в Испании и закалив в стычках до той поры неопытное войско, Порций дал сражение иберам прибрежной зоны. Напутствуя солдат, консул в простонародной форме изложил основные тезисы своей программы. Тогда впервые в Испании прозвучали по-латински лозунги, характерные для другой державы и столь на них похожие, что казались дословно переведенными с пунийского языка.

«Настало время, которого вы ждали, – бодро говорил Катон перед строем, – до сего дня вы не столько воевали, сколько грабили. Но вот пришла пора настоящих дел, и теперь вы сможете не только опустошать поля, но и захватывать богатства городов. Вам предстоит оружием вашим и доблестью вашей надеть ярмо на здешние племена!»

Итак, спустя двадцать лет после прихода в Испанию, римляне отказались от принесшей им победу идеологии и сменили ее на пунийскую,



некогда обрекшую карфагенян на поражение. Однако если пунийцев интересовали в основном барыши, и они не особенно беспокоили иберов вмешательством во внутренние дела, то Катон усугубил притязания и задался целью подчинить испанцев также и политически, считая государственную гегемонию гарантом экономического господства.

В сражении Катон применил еще одну пунийскую хитрость, причем направленную на этот раз против своих собственных воинов. Не будучи уверенным в стойкости боевого духа новобранцев, он на рассвете завел легионы в тыл врага, чтобы лишить солдат возможности возвратиться в лагерь иначе как через иберийское расположение, предварительно сокрушив неприятеля. В ходе самой битвы Порций использовал последние достижения римской тактики. Им был организован обходной маневр, правда, не половиной войска, как это сделал Сципион, а только несколькими когортами, однако весьма эффективно. На завершающем этапе операции консул ввел в бой резервный легион, чем окончательно решил исход дела в свою пользу. Таким образом, за счет тактического превосходства римляне выиграли сражение у примерно равного по силам противника. Победа была полной. Легионеры разогнали иберийское войско, захватили вражеский лагерь и, конечно же, ревностно выполнили консульский приказ о его разграблении.

Катон тут же развил успех и усилил давление на дезорганизованного соперника. Римляне захватили оставшиеся без охраны земли и уничтожили весь урожай. Теперь иберам противостояли два врага: заморский агрессор и голод. Им пришлось покориться. Примеру зачинщиков восстания последовали другие окрестные племена, и вскоре вся Тарраконская область подчинилась римлянам.

Разделавшись с Ближней Испанией, Катон возмечтал повторить достижение Сципиона и добыть себе славу второго завоевателя всей этой страны. Игнорируя сенатское постановление, которым ему поручалась только часть Испании, лежащая к северу от Ибера, он начал поход на юг в провинцию Аппия Клавдия. Порций считал, что как консул имеет право вторгаться в сферу деятельности претора. И вообще, он сейчас был готов обосновать все, что угодно, лишь бы пройти по маршруту Сципиона и доказать надменному патрицию, брезгующему даже ссориться с ним, что он, плебей Марк Порций Катон, с фамилией, произведенной от свиньи, и с кошачьим прозвищем, ничуть не хуже любого нобили и самого Сципиона в том числе.

Но, увы, консула вернула обратно его собственная политика, посеявшая в исконно благожелательной к римлянам Тарраконской Испании лютую ненависть. Едва легионы ступили за Ибер, как у них в тылу вновь вспыхнул мятеж. Катон возвратился назад и прошел с войском



через весь край, огнем и мечом искореняя нежданные плоды своих идей. Заново покорив провинцию, Порций продал в рабство особо провинившихся перед ним иберов, а у остальных велел отобрать оружие. Испанцы же, будучи одним из самых воинственных народов на земле, не мыслили себе жизни без залога их чести и независимости — знаменитых коротких обоюдоострых мечей, которые, кстати сказать, у них позаимствовали сами римляне. Они принимали смерть на месте, но не сдавали оружия, а некоторые и вовсе демонстративно кончали жизнь самоубийством. Тогда Катон созвал иберийских вождей и попытался убедить их, что им выгоднее стать рабами римлян, чем погибнуть свободными, но, конечно же, он облакал эту мысль в благозвучные выражения. Испанцы отвечали холодным молчанием. Порций дал им срок подумать, а встретившись с ними через несколько дней, вновь столкнулся с гордым молчанием, куда более красноречивым, чем его экспрессивное риторство. Ничего не добившись ни силой, ни дипломатией, Порций прибег к очередной хитрости, на этот раз уже, пожалуй, не пунийской, а именно катоновской, столь концентрированным, ярким в ней было коварство.

Он разослал во все испанские города этого региона приказы немедленно скрыть стены, угрожая в противном случае насильно скрыть уже не только стены, но и сами города. Гонцов он отправил в разное время с учетом длины пути каждого из них, рассчитав всю операцию так, чтобы во всех городах его приказ получили в один и тот же день. Замысел был исполнен с римской точностью, и потому, распечатав консульские послания, старейшины нескольких сотен городов, не заподозрив подвоха, подчинились суровому указанию. Если бы испанцы знали истинное положение дел, они, несомненно, отвергли бы жестокое требование, поскольку со всеми ними сразу римляне не совладали бы. Но каждая община полагала, что угроза относится к ней одной и что свирепый Катон стережет добычу именно в окрестностях их города. Находясь в таком заблуждении, иберы в страхе перед худшим лишили защиты собственные жилища и с тех пор уже ни в чем не могли перечить Порцию. Лишь один город не сдался, и с ним Катон расправился персонально.

Пока консул в Тарраконской Испании, водворял свой, катоновский порядок, за Ибер по его приказу отправился претор Публий Манлий. Манлий, во всем копировавший старшего друга, лишил власти Аппия Клавдия и с его войском начал крушить южных иберов. Однако на месте каждого побежденного испанского войска возникали два новых, и чем больше лютовали римляне, тем шире разворачивалась освободительная борьба местного населения. Ненадолго на юг прибыл сам консул. Он попытался одурачить испанцев ложными посулами в стиле Ганнибала, но



те уже разобрались, кто перед ними, и без крайней необходимости не верили Порцию. Так ничего и не добившись, Катон вскоре вынужден был поспешить обратно на север, чтобы, подавить очередное восстание.

В подобных заботах прошел этот год. Сверхэнергичными действиями Катону удалось раздробить испанскую войну на множество мелких мятежей и бунтов, рассредоточить ее по всей территории громадной страны, загнать в горы и леса, что позволило ему заявить о ликвидации испанской угрозы. В Рим понеслись донесения об успешном завершении кампании, достойном триумфа.

Под стать военной была и экономическая политика Катона. Он использовал любой повод для всевозможных поборов с коренного населения, устанавливал законы о взимании подати с побежденных народов, о штрафах с провинившихся перед ним племен, и, кроме того, обложил высоким налогом знаменитые серебряные, а заодно и железные рудники. Отныне Испания стала подкармливать римских толстосумов, которые по этой причине свыше всякой меры восхищались Катонем и внушали плебсу представление о нем как об истинном герое Отечества.

Итак, при полной противоположности восточной и западной политики, сбитый с толку сенат почти одинаково оценил успехи Тита Квинкция в Элладе и Катона в Испании, присудив последнему триумф и назначив по случаю побед трехдневные молебствия.

Катон вернулся в Италию знаменитостью и, весьма довольный собой, охотно принимал благодарность Родины за свою деятельность, принесшую Риму еще один триумф и столетнюю войну с Испанией, доходы с иберийских рудников, лежащие мертвым грузом и бездонные сундуки богачей, и расходы на бесконечную борьбу с непримиримыми иберийцами, восполняемые монетами, вырываемыми из мозолистых рук простых людей.

3

Сципион с ужасом следил за деятельностью Катона в Испании. Некогда он, Публий, провел в этой стране великую созидательную работу. Терпением, тактом и доброй волей он создавал там позитивные взаимоотношения римлян с коренным населением, ткал духовную материю новой морали, каждый свой поступок и личный, и общественный своря с вектором главной идеи, но теперь туда вторгся грубый солдафон, который подобно варвару, не задумываясь, рубил направо и налево, сокрушая заложенный его предшественниками фундамент дружбы, искоренял справедливость, рвал столь трудно установленные связи человечности. При этом Порций оказался страшнее любого дикаря, ибо раны, нанесенные мечом, затягиваются, но отравленные стрелы производят



незаживающие язвы, он же не удовольствовался разрушением достигнутого ранее согласия, а вдобавок еще полил руины ядом низменного коварства и корысти, отравив Испанию на многие десятилетия.

Победив Карфаген и открыв тем самым средиземноморскую цивилизацию соотечественникам, Сципион был уверен, что в дальнейшем все пойдет должным образом само собою, и победоносный римский нрав будет формировать мир по своему подобию, как он обещал солдатам при Заме, но выяснилось, что мир тоже формирует нравы и, втягивая людей в свой круговорот, выжигает в их душах клеймо собственных пороков. Вытесняя греков, карфагенян и македонян с активных позиций средиземноморской жизни, римляне занимали освободившиеся политические и экономические ниши. Не у всех у них хватало духовной мощи, чтобы раздвинуть давящие своды сложившихся порядков, многие, будучи лишенными нравственной идеологии, этого хребта мировоззрения, представляли собою аморфную в моральном смысле массу, которая под давлением обстоятельств растекалась по углам и размазывалась по щелям существовавших ниш, в результате чего человек как бы замуровывался некими невидимыми злодейскими силами в бесплодную скалу дурно устроенного общества. Сципион начал осознавать, что военной победы не достаточно для преобразования мира. Политика являлась лишь верхушкой необъятной громады человеческого мироздания. Он смутно угадывал это, но в недра цивилизации его взор проникнуть не мог, как и взор любого из его современников. Блуждая в сумрачных непроходимых дебрях, окружающих людей за пределами породившего их родоплеменного строя, осененных лишь бледным, подобным лунному сиянию отсветом разума, Сципион интуитивно нащупал тропу, петляющую где-то в окрестностях нравственного пути. Провести этой зыбкой дорожкой все человечество со всем его скарбом и поклажей, с громоздким грузом пороков и вожделений представлялось невозможным, но Сципион мог задать верные ориентиры и реализовать частичные меры по оздоровлению обстановки в надежде на то, что достойные последователи продолжат его дело.

Несомненным было одно: он должен действовать. Относительная пассивность в последние шесть лет казалась ему теперь преступной. Недостроенное здание скоро превращается в развалины. И Публий имел возможность убедиться в этом на примере Испании, да и самого Рима. Кроме того, нанеся ущерб делу Сципиона в Иберии, Порций как бы вторгся в его молодость и разрушил часть самой его жизни. Так, порой проявляется влияние настоящего не только на будущее, но и на прошлое, ибо человеческое время неоднородно, и каждой личности доступны необъятные горизонты, лишь только обыватель вечно томится в рабстве у



повседневности. Сципион никак не мог допустить столь грубого вмешательства в свои дела и тем более – в собственную жизнь. Он принял решение о возобновлении борьбы. Но его удручала необходимость начинать как бы все сначала вместо того, чтобы идти дальше. Увы, путь вперед не бывает прямым, а вьется изнуряющей спиралью. Сципиону же порою казалось, будто его спираль и вовсе сжимается к исходной точке, а не разворачивается в пространстве, и он мысленно восклицал: «Если уж я в молодости состязался с Фабием Максимом и Ганнибалом, то неужели в зрелости опущусь до того, чтобы соперничать с каким-то Катонном!»

Несколько месяцев Публий пребывал в нерешительности. Приливы активности духа сменялись в нем апатией, когда безразличность к интригам и интриганам подавляла все добрые порывы. Неоднократно его одолевала соблазн бросить суетливую столицу, где люди парадоксальным образом мельчали с возвеличиванием государства, и уехать на кампанскую виллу, чтобы укрыться от бушеванья искусственных страстей в тишине естества природы.

Вероятно, его колебания продолжались бы еще долго, но тут внезапно ему оказал помощь давний заклятый враг, пославший мощный, эмоциональный заряд с берегов другого материка. Ганнибал, поверженный во прах Ганнибал, вдруг воспрял из небытия и, овладев властью в Карфагене, вернул великую державу на путь возрождения. О Карфагене вновь заговорили с почтением, заговорили и о самом Ганнибале, причем, большей частью, со страхом. Этот пример, явленный неукротимым африканцем, который упорно восходил вверх со дна самой глубокой пропасти все то время, пока его победитель, страдая излишней щепетильностью, скатывался с вершины, встряхнул Сципиона, и он выставил свою кандидатуру в консулы.

4

Потерпев поражение от Рима, Карфаген не мог более притязать на мировое господство, но в экономическом плане это государство продолжало процветать и после войны, точнее не само государство, а его олигархическая верхушка, которая посредством богатства развратила и дезорганизовала народ, вслед за чем фактически отобрала у него власть и превратила государственный аппарат в инструмент личной наживы. Однако с утратой агрессивности в политике карфагенянам пришлось стать более миролюбивыми и в хозяйственной деятельности. Теперь они уже не могли осуществлять торговый диктат над народами Иберии и Нумидии, не могли заниматься пиратством, работорговлей, грабить испанские и сардинские рудники, и наконец, они лишились главного источника обогащения эпохи античности – военной добычи. Но этот гигантский



город, превосходивший размерами и количеством населения Рим и Афины вместе взятые, имел огромный потенциал, заключавшийся в многолюдстве, плодородии земель, мощном торговом флоте, а также в богатстве, купеческой смекалке и предпринимательском духе граждан. Жажда наживы жгла пунийцам пятки, и они не могли сидеть на месте. День, не приносивший очередной монетки, казался им потерянным, разве только на завтра он обещал сразу две монетки. Они измеряли свою жизнь серебряными бляхами с неуклюжим изображением коня на одной стороне и головы богини или пальмового веера – на другой. Эти «коня» и «пальмы» заменили пунийцам счастье, честь, достоинство, любовь, и в бесконечной погоне за цинично поблескивавшими символами престижа они шастали по всему свету, заплотонив все портовые города, при этом, не замечая, что с каждой приобретенной монетой сокращается их жизнь. Выходило так, что люди служили богатству, а не богатство – людям. Увы, карфагеняне не сознавали этого, потому как им было некогда задумываться: они всецело предалися страсти, которой послушно отдавали каждый свой день и каждый час. Видимо, очень жесток и насмешлив был бог, повергший пунийцев в такое безумие, ибо у счета есть начало, но, увы, у счета нет предела, и, стартуя с единицы, числовой ряд уходит в пустоту бесконечности, увлекая за собою в небытие больных людей, привыкших выражать себя числом, начертанным на сундуке. Их вождество не знало и не могло знать удовлетворения, так как, сколько бы они ни приобрели, того, что им не принадлежало, всегда оставалось больше, это была изнуряющая гонка без финиша, в которой пощаду приносила только смерть. Но богов не судят; ведь существуют в природе черви, творящие из отбросов перегной. Так и пунийцы, копошась по всему Средиземноморью, неусыпными трудами, возможно, подводили итог некоему циклу цивилизации.

Карфагеняне, потесненные победоносными римлянами на западе, их сумасшедший торговый гений бросил на восток. Торговые гиганты прошлых веков Афины, Коринф и Тир к настоящему времени ослабли, как бы уже превратившись в упомянутый выше перегной, и не могли конкурировать с африканским гигантом, а с такими купеческими республиками как Родос, Самос и Пергам пунийцы сумели завязать взаимовыгодное сотрудничество. В результате, карфагеняне проникли в страны бассейна Эгейского и Черного морей, а греки загроздили Карфаген предметами своего ремесла, которые благодаря высокому качеству имели большой спрос в зажиточной аристократической среде. Пользуясь благорасположением Египта, пунийцы проложили пути в «Страну ароматов» и далее в Индию. Таким образом, карфагенянам в значительной степени удалось компенсировать утрату рынков в Испании, Нуми-



дии, Сардинии, Сицилии и Италии интенсивной разработкой торговых районов в Греции, Причерноморье, Аравии и Сирии. Но они не остановились на достигнутом и активизировали свои сношения с внутренней Африкой, задействуя караваны гарамантов, наперекор солнцу и песку двигавшиеся транссахарскими маршрутами. Сбывая дикарям африканской глубинки низкопробные продукты своего ремесла, пунийцы вывозили от них золото, драгоценные камни, получившее в Средиземноморье название карфагенских, слоновую кость и звериные шкуры. Далее эти предметы пунийцы с успехом перепродавали грекам и азиатским богачам, с выгодой используя разность потенциалов между двумя противоположными полюсами цивилизации. Гонимые неутолимой страстью наживы карфагеняне издавна выходили за Геракловы столпы, покидая обжитый мир, и устремлялись в Атлантику навстречу богатству или гибели. Со временем они неплохо освоили западное побережье Африки и частенько посещали его, пытаясь даже образовывать там колонии, одновременно распуская по свету слухи о всяческих ужасах, будто бы преследующих путешественников в тех краях. Рассказами о неистовых ураганах, таинственных водоворотах, кровожадных чудовищах и свирепых туземцах в звериных шкурах и перьях, хитрые пунийцы старались отвлечь от этих мест иноземцев, дабы избавиться от конкуренции. Сами же они добросовестно изучали новые земли, храня добытые сведения в секрете, и постепенно подчиняли племя пернатых людей богу торговли. При этом сделки осуществлялись путем «немного обмена», когда пунийцы раскладывали на берегу свои товары и возвращались на корабли, а туземцы напротив них бросали кучки золота и тоже уходили в укрытие, после чего каждая из сторон поочередно приближалась к этому своеобразному прилавку и корректировала соотношение цены и стоимости до значений, удовлетворяющих и одних, и других, по достижении которых, пунийцы забирали золото и те предметы, которые не вызвали должного интереса у аборигенов, и отправлялись дальше. Конечно, карфагенянам представлялось весьма диковинным делом доверяться честности торгового партнера, но, снисходя к низкому уровню цивилизации здешних племен, не доросших до изощренной лжи, они прибегали к этому архаическому качеству, тем более, что, проявляя порядочность в ходе процедуры «немного обмена», они успешно спекулировали на неосведомленности варваров, часто отдававших золото и драгоценности за безделушки. Естественно, что в условиях послевоенного кризиса пунийцы с особым энтузиазмом хлынули на атлантическое побережье Африки и в немалой степени материализовали там свои мечты. Сумели карфагеняне оправиться и от другого удара, нанесенного римлянами, отобравшими у них вместе с Испанией и Сардинией богатейшие серебряные, свин-



цовые и медные рудники: они разыскали залежи этих металлов в окрестностях собственной столицы и без промедления начали их разработку. Весь же этот торговый и предпринимательский бум базировался на уже сточившейся эксплуатации покоренного, зависимого и полузависимого населения как в самом Карфагене, так и в стране в целом.

Вот такими мерами и такой деятельностью пунийцы вернули себе благосостояние и богатство. Причем все их новые достижения явились итогом приспособления к существовавшим тогда условиям, то есть основывались на прочном мире в своем регионе. Выросшие в этой обстановке, вскормленные обильной восточной и внутриафриканской торговлей, доходами с местных рудников и казнокрадством слои населения были яркими поборниками миролюбивого курса государства и боготворили римлян, низвергших их Родину из разряда великих держав в число послушных своей воле купеческих республик, при этом позволивших, однако, наживаться именно этим кругам, а не могущественным прежде кланам работорговцев и войсковой верхушки. Им было невдомек, что большая часть жителей страны страдает, что их собственные перспективы весьма призрачны, ибо следом за римскими легионами по миру идут итальянские купцы, объединенные в мощные коллегии и корпорации: они видели перед собою вожаемый желтый блеск и были слепы ко всему остальному. В лице этих новых карфагенских олигархов старая землевладельческая аристократия получила солидное подспорье в борьбе с остатками партии Баркидов. Вдобавок ко всему, измученный войнами народ не хотел и слышать о каких-либо глобальных планах, предпочитая из последних сил тянуть привычную лямку и монотонно жевать скучную жвачку повседневности, лишь бы только его не беспокоили призывами к великим начинаниям. Поэтому в течение нескольких послевоенных лет в Карфагене безраздельно господствовала партия сторонников мира, проводившая угодный Риму политический курс. В то время пунийцы всячески заискивали перед римлянами, стараясь выглядеть их друзьями. Они обращались в сенат за советом по всяким поводам, преследовали своих соотечественников, неугодных северному господину, поставляли продовольствие македонской экспедиции Тита Квинкция. Причем выказали намерение сделать это безвозмездно, однако тонко разбирающиеся в моральных аспектах римляне поблагодарили пунийцев, но сполна оплатили их услуги. Правда, при всем том пунийцы оставались пунийцами, и, внося победителям первый взнос в счет контрибуции, они попытались обмануть их на четверть суммы, поставив недоброкачественное серебро. Но достаточно изучившие пунийский нрав римляне произвели контрольную переплавку и выявили недостачу.



В целом римляне принимали услужливость карфагенян если и не благожелательно, то, по крайней мере, снисходительно; им ведь не впервой было вовлекать в орбиту своих дел побежденный народ.

Вполне понятно, что в такой обстановке Ганнибал не был нужен господствовавшей в Карфагене группировке. Сразу после катастрофического поражения от Сципиона, когда не только пошатнулась его репутация, но сама жизнь держалась на волоске, Ганнибал пошел на компромисс и стал лавировать между двумя основными политическими силами, стараясь угодить и тем, и другим. Партия землевладельцев благосклонно отнеслась к его заигрываниям и на время приютила его в своих рядах, защитив от гнева обманутого народа и оскорбленных соратников. Однако, используя этого последнего прямого потомка Барки для того, чтобы расправиться с баркидской группировкой, аристократы, по достижении своих целей, отказались от него. Несмотря на то, что Ганнибал, подчиняясь власти момента, активно ратовал за мир с Римом, его имя оставалось символом войны, и своим присутствием он компрометировал миротворцев как в глазах сограждан, так и римлян. Кроме того, по самой своей природе: по воспитанию, происхождению и виду имеющейся собственности – Ганнибал являлся врагом партии Ганнона и Газдрубала Гэда, ибо, хотя он и приобрел поместье в плодороднейшей области страны Бизацене, стремясь уподобиться матерым плантаторам, основные богатства ему всегда приносила военная добыча и эксплуатация заморских территорий. Отторгнутый чуждой средой, Ганнибал попытался вернуться в прежний стан военной знати и купечества. При этом на упреки в недавнем предательстве он, не мигая, отвечал, что не переметнулся к противнику, а старался примирить обе партии в целях консолидации сил государства в трудный исторический период. Он даже переходил в контрнаступление, заверяя бывших товарищей, будто ему это удалось, и они обязаны своим спасением именно его двуличию. Однако женщины в то время политикой не занимались, а мужчин обмануть голым словотворчеством было сложно, потому баркидская партия не простила последнего Баркида, и примирение не состоялось.

Оставшись на бесплодном идеологическом поле между двух враждебных лагерей, неунывающий Ганнибал попробовал обратиться к народу. Но кем или чем был тогда карфагенский народ? Отчужденный от власти и забывший значения слов «гражданин» и «Родина» с одной стороны, и зараженный алчностью – этим вечным двигателем человеческих пороков – с другой, он был даже ниже толпы, поскольку не представлял собою единства. С распадом общинной собственности на частную распался и народ, разделившись на мизерные элементарные частицы, заряженные взаимоотталкиванием и неодолимым тяготением к собствен-



ным сундукам. Люди оставили некогда шумную, бушующую жизнью городскую площадь у подножия Бирсы, оккупированную ныне крикливыми торгашами, и расползлись по норам, закопались в рутину. Формально Карфаген оставался республикой, и высшим органом власти по-прежнему было народное собрание, но, поскольку народа не стало, оказалось упраздненным и народное собрание. Какое-то время некоторые политики, видевшие синее небо в розовом свете, пытались заманить плебс на главную площадь подачками, но позднее они прозрели и убедились, что гораздо эффективнее давать взятки политическим противникам, чем подкупать толпу. С тех пор знать кормила плебс только посулами, а государством правила самостоятельно, чернь же утешалась мнением, будто по-иному никогда нигде не было, и быть не может.

Отлавливая случайно отбившихся от родного сундука горожан и ораторствуя на всех перекрестках, Ганнибал лишь привлек к себе излишнее внимание могущественных людей, которые так и назывались «могущественные», что переводилось с пунийского языка как «знать», в отличие от простых людей, именовавшихся «малыми». Олигархи вознамерилась осадить непоседу и затеяли против него суд. Это начинание с воодушевлением подхватили бывшие соратники Ганнибала, сообразившие, что процесс по делу побежденного полководца можно превратить в очистительный ритуал, призванный смыть с их партии проклятье неудач и проступков, дабы, похоронив своего бывшего лидера в грязи сточной клоаки людской злобы, они могли бы возвратиться в тронный зал политики очищенными от скверны.

Ганнибала обвинили в присвоении итальянской добычи и в том, что из-за чрезмерной, даже по пунийским понятиям, корысти, он упустил возможность одолеть Рим, так как после великой каннской победы слишком долго продавал пленных и очень уж скрупулезно делил захваченное в битве имущество, а затем и вовсе ударился в разгул, всем войском вкушая прелести развратной Капуи. К этому официальному обвинению добавилось множество частных претензий и нападок. Все чем-либо недовольные карфагеняне несли ком грязи, чтобы швырнуть им в пошатнувшегося колосса и тем самым отвести душу, забыть на миг о собственных бедах при виде несчастья гораздо большего. Обделенные им офицеры упрекали полководца в тираническом типе командования, в том, что он пригревал у себя в штабе только посредственностей и не терпел рядом с собою талантливых, крупных людей, ввиду их требовательности, ибо всеми фибрами своей пунийской души страшился раздела добычи и не переносил страданий этой процедуры. В качестве примера приводили случай с его братом Магоном, которого он после первых итальянских побед сослал в Испанию, вспоминали в этой связи и других ле-



готов. На поверхность бытия всплыли и совсем давние события, произошедшие в Испании двадцать пять лет назад, когда Ганнибал пришел к власти в результате предательского убийства его предшественника Газдрубала подосланным наемником, объявленным потом сумасшедшим маляком. Однако темные обстоятельства его воцарения в Испании ныне дополнительно покрылись мраком времени, и что-либо конкретное по этому вопросу выяснить не удалось, но эмоциональный фон вокруг Ганнибала стал еще более черным. «Никто не извлекал блага из власти, добытой преступлением», — поучительным тоном изрекали патриархи. «Он еще тогда разгневал богов, покаравших за его грехи всех нас!» — в тон им восклицали обыватели. Ему ставили в вину также и то, что некогда в Испании он отказался принести в жертву своих детей, как того требовал пунийский закон, и вместо них велел зарезать три тысячи пленных иберов. Но более всего Ганнибала проклинали за безобразно проигранную африканскую кампанию. Люди поносили его самомнение и говорили, что ради Отечества он обязан был смирить гордыню, признав превосходство вражеского полководца, и вести войну более осторожно, применяя методы, исключаяющие риск полного провала.

Земля шипела и плавилась под ногами Ганнибала от обрушившегося на него шквала ненависти сограждан, но он, не раз видевший атаки римских легионов, не устрасился этого нападения и как опытный военачальник, понимающий, что лучшей защитой является наступление, сам пошел вперед на врага. Он выступил с ответными обвинениями в адрес олигархического карфагенского совета, заявив, будто сражался с Римом в одиночку, брошенный государством на произвол судьбы. Полководец без усталости перечислял свои итальянские успехи, после которых ему, по его мнению, не хватало до окончательной победы какой-то тысячи талантов. «Вместо того чтобы закупить еще одну, последнюю партию наемников, они, эти бессильные «могущественные», закупали родосское вино и замысловатые эллинские безделушки для ублажения извращенного вкуса и неимоверной лени! — яростно громил неприятеля Ганнибал. — А ведь стоило нам купить еще несколько десятков демагогов итальянских общин и бросить на римлян десяток тысяч даровых иберийских рубак, и я залил бы Карт-Хадашт фалернским вином, так, что оно перехлестывало бы через стены, забил бы ваши мастерские и именья патрициями, а постели наполнил бы гордыми римлянками, которые были бы вам мягче перин! Расправившись с Италией, я шагнул бы в Македонию, затем — в Азию, ведь покорителю Альп не страшны никакие преграды! Все сокровища мира стеклись бы в Африку, простой булыжник здесь был бы дороже золота! Еще немного, и мы стали бы богаче самих богов! Но вот они! — выкрикивал Ганнибал, ука-



зывая на благодатный склон Мегары, где увитые плющом и декоративным виноградником нежились в тени высоких пальм дворцы толстосумов, включая и грандиозный замок самого оратора. – Вот они украли у меня победу, а у вас – все земные блага!»

У зевак, ненароком попавших под этот град восклицательных знаков, текли слюнки от мысленного поглощения перечисляемых роскошеств, и они бежали к знакомым, чтобы поведать им, сколь вкусными речами угощают на главной площади. С каждым днем перед регулярно декламирующим лозунги, обещания и прочую патетику Ганнибалом млели от восторга все большие толпы гурманов. Число поклонников отставного полководца быстро росло. Особенно его энергичная манера и уверенный пророческий тон, пересыщенный притязаниями на сокрушение устоявшихся понятий и авторитетов, нравился молодежи, преклоняющейся перед всякой игрой бицепсами.

Теперь Ганнибала уже нельзя было убрать с дороги без всеобщего скандала. Тогда партия Ганнона усилила натиск на всю группировку Баркидов, перенеся центр тяжести этой кампании из области мелочной персональной критики в сферу массивированной идеологической борьбы с целью дискредитации в принципе всей политики своих противников. Для этого олигархии стали активно разрабатывать испанскую тему.

«Баркиды, – говорили они с различных трибун, – сначала Гамилькар, затем его зять Газдрубаал, далее убивший его Ганнибаал и наконец братья Газдрубаал и Магон, завоевав эту богатую страну за счет казенных средств, превратили ее в личное владение, в собственное царство, передаваемое по наследству, практически оторвав ее от государства. Эти новоявленные владыки, уподобляясь восточным монархам, самостоятельно чеканили монеты, причем под видом бога Мелькарта давали на аверсе собственные портреты в диадеме! Они сгребали в свои сундуки, вздымавшиеся выше египетских пирамид, все иберийские богатства. Сам Ганнибаал только с одного рудника, называемого Бебелон, имел более тысячи талантов серебра в год! Вполне достаточно, чтобы купить целый Вавилон! И, присвоив себе все это, они спустили несметные богатства в бездну своих бредовых агрессивных затей!»

Тут вам этот Баркид расписывал радужные перспективы своей карьеры в том случае, если бы мы продали весь Карт-Хадашт в обеспечение его авантюры. Так неужели вы, граждане, думаете, что он стал бы делиться с вами Италией, Македонией и Азией после того, как не поделился даже добытой вашим золотом Испанией? Заверяем же вас, что, добившись победы в Италии, он возвратился бы к нам тираном, и нам было бы хуже, чем теперь! Но, хвала богам, этого не произошло, планы Баркидов рухнули под ударами римской доблести. Они потерпели крах!



Ну и пусть бы сами страдали за это! Так нет же, этот обанкротившийся авантюрист свалил свои беды на нас, и теперь мы должны платить римлянам по двести талантов в год! А где нам взять такие деньги, ведь мы не Ганнибаалы, мы не присваивали италийской добычи и у нас нет Бебелонов! Ему же все мало. Он обвиняет нас, доблестный совет старейшин Карт-Хадашта, и даже весь совет ста четырех! Он хочет лишить Отечество защиты лучших людей, стоящих на страже мира и порядка! Он стремится к власти, он жаждет царствовать в нашем городе, как царствовал в Испании!»

Отрекшаяся от своего лидера баркидская партия пыталась отмежеваться от поносимой теперь со всех сторон завоевательной политики, выставляя себя перед толпою партией нового толка. Но все же упреки, сыницированные судебным процессом, разросшимся до масштабов общегосударственного скандала, падали и на нее. Поэтому торговые магнаты были вынуждены защищаться вместе с Ганнибалом, и это несколько сблизило его с ними, после чего они прекратили свои нападки на него. Помимо замирения с бывшими соратниками, Ганнибал снискал еще и расположение простолюдинов, сочувствующих преследуемой стороне всегда, когда преследование ведется недостаточно квалифицированно.

Таким образом, в ходе длительной борьбы группировка плантаторов не добила сколько-нибудь заметных успехов и, очернив конкурентов, пострадала также и сама. В общем, судебный процесс пошел не совсем так, как того хотели аристократы, а потому его организаторы, в конце концов, согласились на весьма умеренные взятки за то, чтобы прикрыть это дело, и Ганнибал истратил на подкуп судей лишь незначительную часть тех сокровищ, за сокрытие которых его судили.

Заплатив символический штраф, Ганнибал ушел от ответственности, но мечтать о продолжении политической карьеры после такой публичной порки ему не приходилось. Поэтому он удалился в имение под Лептисом и предался мирной жизни на лоне природы. Однако ненависть к Риму не давала ему покоя, и он не смирился с поражением. Ганнибал тщательно следил за развитием событий в Карфагене и во всем Средиземноморье, твердо веря, вопреки мнению всех окружающих, что, несмотря на невзгоды, его час придет, и он заявит о себе в полный голос.

Люди, исполнившие свой долг перед обществом и небесами, сполна реализовавшие заложенный в них природой и воспитанием потенциал, находят несказанное блаженство в созерцательном образе жизни в период отдохновения от дел. Но Ганнибалу был чужд подобный сладостный покой: все его предприятия провалились, и ныне он находился гораздо дальше от цели, чем в начале карьеры, потому страна тихой радости не принимала его к себе, толкая обратно в вертеп пошлой суеты и разнуз-



данных страстей. Червь неудовлетворенности днем и ночью глодал его сердце, и, теряя разум от никогда не прекращающейся зудящей боли в душе, он грозил богам, гневно сверля небеса единственным глазом, и требовал, чтобы они как можно скорее устроили ему прямой поединок с судьбою, чтобы либо победить, либо умереть.

Небожители вняли его воззваниям и мольбам, однако, не располагая в данный момент пищей, достойной острых зубов этого хищника, они, словно орущему младенцу, заткнули ему рот пустышкой: Ганнибал с головою погрузился в пучину истинно пунийской стихии – наживы.

Естественное состояние капитала – приращенье. Когда же случается убыток, то, сколь бы велика ни была его оставшаяся часть, он страдает, и сундуки плачут серебряными слезами. Но поскольку инструментом жизнедеятельности капитала является подвластный ему богач, чью душу он присваивает, чтобы торжествовать и злорадствовать, чей ум он делает своим рабом и превращает в исчадь коварства, чьи руки он обгагрывает в крови и творит ими свои преступления, то и страдает капитал тоже посредством богача, поднимая со дна его чрева горькую муть расчлененных цифр.

Из-за ненавистных римлян и проклятого Сципиона Ганнибал лишился чудовищного дохода с иберийских рудников, налогов с варварских племен и превосходящей все и вся военной добычи. Правда, за счет латифундий Гамилькара и награбленных в Италии богатств, спасенных от жестокого раздела на пятьдесят тысяч частей гибелью войска под Замой, он и теперь оставался одним из первых, если не самым первым богачом Карфагена. Но Ганнибалу этого было мало, он хотел быть богаче самого себя. Отсеченная от его достояния мечом Сципиона Испания заставляла болеть его сребролюбивое сердце, подобно тому, как калек порою ощущает боль в уже не существующей, давно отрубленной руке. Ганнибал стал беднее, чем был; с позиций капитала это – преступленье, причем единственное истинное преступленье, тогда как все то, что называется преступленьем у людей, служит ко благу капитала, то есть – к его концентрации в более сильных руках, хотя он и не любит в этом признаваться, а предпочитает лицемерить и кокетничать с людьми по поводу области определения терминов и своей сути. Богатство больно вонзило шпоры в израненные бока Ганнибала, заставив его мчаться вперед, не разбирая дороги. В переполненных погребках звенело чеканное серебро, шелестели, перекатываясь, драгоценные камни, бряцали золотые кувшины и тарелки, настойчиво требуя пустить их в оборот, чтобы они могли размножаться быстрее саранчи.

И Ганнибал «закусил удила». Он образовал несколько сухоходных компаний, и, раздав щедрые подарки всяческим стратегам, сатрапам,



царям и прочим видным фигурам эллинистического мира, добился для своих флотилий режима наибольшего благоприятствования на главных торговых путях Средиземноморья. Благодаря мощному стартовому капиталу и правильной организации дела пошли успешно. Потому вскоре деньги полюбили Ганнибала больше, чем самые преданные солдаты. Горстями, кучками и целыми мешками они спешили в его закрома со всего света, так что денежная рать была у него пестрее, чем разногосое войско наемников.

И все же Ганнибал сумел подняться над уровнем обычного торговца и заставил стяжательство служить более высоким целям. По мере процветания его торговли принадлежащие ему купеческие объединения расширялись, поглощая побежденных конкурентов, и за счет этого многие нынешние лидеры оппозиционной партии Карфагена, той самой, которая прежде называлась баркидской, оказались подчинены Ганнибалу в бизнесе. Он умело воспользовался таким стечением обстоятельств и нашел доступ к скрытым пружинам этого политического механизма, управлявшегося из подполья экономики, отныне будучи готовым в любой момент стать официальным лидером всей группировки. Однако пока он считал свой выход на сцену политического театра преждевременным и оставался за занавесом, внимательно следя за игрой второстепенных актеров.

Исподволь, осторожными шагами подбираясь к власти в собственном государстве, Ганнибал не меньше внимания уделял и другим странам Средиземноморья, поскольку понимал, что силами одного Карфагена ему свои планы не реализовать. Посылая купцов в Грецию и Азию, он давал им секретные поручения, и те исполняли роль тайных агентов и шпионов. С их помощью Ганнибал тщательно изучал политическую обстановку на Балканах и в Малой Азии, наводил контакты с видными деятелями этого горячего региона, используя при всем том коммерцию в качестве ширмы для прикрытия весьма серьезных начинаний. Обширными были его связи и с прародиной карфагенян Финикией, в первую очередь, с тирийскими купцами. Богатства Ганнибала по всему свету находили ему друзей и помощников.

Намереваясь принять действенное и даже решающее участие в назревающих на Востоке событиях, Ганнибал все же никак не мог успеть подготовиться к римско-македонской войне, и ему оставалось лишь наблюдать за нею со стороны. В этой схватке он, конечно же, болел за македонян, точнее не столько за македонян, сколько против римлян. Так утверждал его разум, но в душе он страшился победы Филиппа. Он ревновал римлян ко всем полководцам и царям мира, как объект первой и на всю жизнь единственной страсти. Ганнибал жаждал сам, и только



сам расправиться с ними. Поэтому его раздирали противоречивые чувства, он страдал, когда получал сведения о победах римлян, и ничуть не меньше мучился, если узнавал об успехах Филиппа. Его нестерпимо влекла война, он жаждал битв, крови и торжества над противником, а вместо этого вынужден был торговать и подкармливать подачками продажных столичных политиков. В этот период Ганнибал чувствовал себя тигром, которого заперли в клетке и кормят травой, в то время как на его глазах шакалы кромсают тушу быка.

По ходу развития балканской драмы, Ганнибал все больше поражался дипломатической удачливости римлян, умело разъединяющих врагов и побеждающих их поодиночке. Так было с Карфагеном, теперь то же происходило и с Македонией. Он не сомневался, что настанет черед Антиоха и Птолемея. Его удивляла и возмущала недальновидность восточных политиков. Тот факт, что даже греки приняли сторону римлян и пошли войною на греко-язычных македонян, представлялся ему чем-то зловеще загадочным, некой дьявольской проделкой злобных подземных божеств. У него не укладывалось в голове, что кто-то может испытывать добрые чувства к римлянам, к тем самым римлянам, которых он люто возненавидел раньше, чем увидел.

Вместе с тем он не понимал, почему за ним, Ганнибалом, не пошли ни италийцы, кроме полудиких луканов и бруттийцев, ни греки, ни македоняне, почему от него в конечном итоге отвернулись даже галлы и нумидийцы. При своем складе характера Ганнибал не мог искать решение подобной задачи в себе самом, а потому искал его в недомыслии Филиппа, Антиоха, греков, галлов, нумидийцев и всех, всех остальных представителей двуногого рода. Свои соображения по этому вопросу он изложил в письмах к Антиоху, в сокровенных надеждах уповая именно на него.

Македонию Ганнибал уже мысленно похоронил, хотя и не думал, что римляне разделаются с нею в четыре года, в Египте не просматривалось сильного руководства, греческие государства и союзы он считал мелочью, которую не стоило брать во внимание. Поэтому единственной силой, способной остановить римлян, ему виделась Сирийская держава. Именно Сирию он наметил в будущие союзники Карфагену в его борьбе против Рима и уже теперь начал готовить почву для такого альянса, заигрывая с Антиохом и одновременно поучая его.

И вот настал момент, когда Ганнибал смог, наконец, выйти из своей роскошной бизаценской тюрьмы и расправить богатырские плечи.

За пять послевоенных лет ситуация в Карфагене существенно изменилась. Жизнь государства устоялась, и наглядно обрисовались все достижения и утраты минувшего исторического этапа. Граждане по свое-



му достоянию и уровню быта разошлись к противоположным социальным полюсам, общество резко поляризовалось.

Жиреющие на торговле во вновь открытых рыночных зонах купцы заявляли, что все идет прекрасно. «Хвала Риму, давшему нам свободу!» – восклицали они, сотрясая при этом многоэтажные подбородки. Крупные землевладельцы ничего не приобрели, но им стало спокойнее оттого, что разорилось большинство их противников из лагеря баркидской партии. Правда, на границах Карфагенской хоры их начинал беспокоить Масинисса, но они помалкивали, опасаясь худшего. Чиновники бесчисленного контрольно-управленческого аппарата крепко присосались к огромному рыхлому телу государства и поглощали практически весь его доход. Надутые, как пиявки, они раздражались при малейшем шевелении этой мертвеющей туши и не подпускали к ней никого, кто знал бы слова «возрождение» и «Отечество». «Все хорошо! Да здравствует Рим, давший нам свободу в нашей деятельности!» – захлебываясь казенным серебром, сбивчиво выкрикивали они.

Но при всем обилии сытых людей, хрустящих счастьем за обеими щеками, в семисоттысячном Карфагене гораздо больше оставалось таких, которое жевали в основном слюну. Вокруг кучки преуспевавших торговцев черным фоном зияла масса разорившихся купцов, занимавшихся ранее посреднической торговлей между Западом и Востоком, работоторговлей и обслуживанием расквартированных чуть ли не по всему свету войск. В карфагенской гавани гнили их никому не нужные суда. Все побережье было усыпано разрушенными остовами ныне заброшенных, а некогда шустрых и смелых покорителей морских просторов. Остались не у дел тысячи ремесленников, чья продукция не могла выдержать конкуренции с произведениями эллинских мастеров и была ориентирована на невзыскательный вкус иберов, сардов и нумидийцев. Особенно резко возросло количество безработных офицеров. В Карфагене многие аристократические роды издавна посвятили себя военному искусству и из поколения в поколение давали огромной наемной армии государства первоклассных командиров. Военное дело до тех пор являлось наиболее почетным и прибыльным видом бизнеса, потому оно привлекало самых талантливых и честолюбивых граждан. И вот теперь многие сотни лучших представителей аристократии оказались выброшенными за пределы социальной жизни. Ради пропитания они, еще недавно состязавшиеся своим искусством с самими римлянами, ныне были вынуждены наниматься в войска варварских царьков, а то и просто идти в банды разбойников. Тот страшный для Карфагена день, когда на рейде его бухты сгорел гигантский непобедимый пунийский военный флот, разом толкнул на городские помойки десятки тысяч высококвалифицированных карфаген-



ских моряков. Некоторая часть их также разбрелась по свету, ублажая добытыми на родине знаниями и мастерством иноземных хозяев, но в большинстве своем они обратились в нищих бродяг и из славы Карфагена сделали его позором. Каково-то им было слышать от разжиревших на обмане дикарей или далеких скифов торгашей вопли о благоденствии и свободе! Понятно, что только имя Ганнибала могло воскресить этих бывших людей и поднять их из могилы социального небытия. Необъятные массы неполноправных членов сложной иерархической пирамиды Карфагена, так или иначе обслуживающие полноценных граждан, тоже пришли к упадку вместе с деградацией основного населения и, ничего не решая по существу, все же создавали снизу эмоциональный подпор отрицательной общественной энергии.

Настало время, когда подавляющая часть населения поняла, что с поражением государства, уменьшением его территории, сокращением зон его влияния и падением международного веса и авторитета жизнь большинства граждан улучшиться никак не может, сколь ни был бы назойлив визг, доказывающих противоположное, не понимали этого только те, кому выгодно было не понимать. Тут-то возродившаяся баркидская партия и подбросила людям скованные неразрывной цепью слова: «креванш» и «Ганнибал».

Под одобрительные крики граждан, отчаявшихся безысходностью существующего положения, на арену борьбы вышел Ганнибал, обильно оснащенный серебром, подобно тому, как атлет перед схваткой бывает обильно умащен маслом. Он отчетливо представлял себе, на какие категории населения может рассчитывать, и не пытался обращаться сразу ко всему народу, ибо в Карфагене тот давно не существовал в качестве единого целого. Некогда, произнося речи перед наемниками, он не говорил со всем войском одновременно, а внушал нужные мысли по отдельности ливийцам, нумидийцам, галлам, бруттийцам и иберам, всякий раз затрагивая наиболее звучные струны каждой народности. Также Ганнибал поступал и теперь в своих воззваниях к согражданам. Купеческим компаниям он обещал возврат утраченных рынков, ремесленникам – прежних потребителей их продукции в Испании и Нумидии, а сверх того – приобретение новых – в Галлии и Италии, офицерам и легатам сулил прибыльные войны, причем более масштабные, чем когда-либо. Впрочем, о войнах Ганнибал предпочитал говорить лишь в узком кругу заинтересованных лиц, а на публике старался обходить эту тему молчанием, чтобы не будоражить раньше срока могущественный Рим, и на вопросы о курсе внешней политики отвечал уклончиво, бросая обтекаемые, но, в общем-то, достаточно красноречивые фразы вроде следующей: «Государство, как и все в мире, не может пребывать в



покое, и, если у него нет внешних врагов, оно находит их внутри себя». В таких высказываниях содержалось вполне достаточно информации для того, чтобы поддержать дух его воинственных сторонников и запугать трусливых противников. Перед друзьями и крупными дельцами в области военного бизнеса Ганнибал поворачивал свой афоризм обратной стороной, словно монету, и на реверсе читал: «Государство спит, и разбудить его может только звон оружия». Он объяснял, что при существующей разобщенности и деградации карфагенского народа сплотить его в могучую силу способны лишь экстремальные обстоятельства, лишь крайняя опасность. «Если Карт-Хадашт не воспрянет сейчас, он не поднимется уже никогда. Город губит поганая свора мелочных страстей и, чтобы избавить его от них, мы должны навязать ему одну большую страсть, добиться, чтобы малые корысти смолкли пред ревом гигантской необузданной алчности!» – говорил Ганнибал.

При всем том, легальный лозунг партии Баркидов звучал так: «Возрождение государства через наведение порядка». Слово «порядок» настолько нравилось простолюдинам, что они забывали уточнить, какой порядок имеется ввиду: тиранический, олигархический или порядок диктатуры наживы, как раз существовавший в тот период, ибо разрывывание государства осуществлялось в высшей степени упорядоченно, и для самих казнокрадов такой ход дел являл пример высшей гармонии.

Итак, заинтересовав и обнадежив наиболее активные слои населения, Ганнибал с их помощью втянул в борьбу и пассивное большинство, создававшее мощное шумовое оформление его политической кампании. С этим пестрым воинством он и ринулся на штурм власти. Во главе его грозно двигались «слоны карфагенской жизни» – хозяева крупных торговых фирм и корпораций по производству оружия, доспехов, боевых машин и военных кораблей, за которыми сомкнутой фалангой шагали профессиональные военные вместе с мелкими и средними предпринимателями, прокладываящие дорогу следующей за ними плоховооруженной, но многочисленной массе плебса, на флангах суетилась конница шустрых торговцев, а меж рядов сновала мелкота пропагандистов и провокаторов, истерично метающая в противника ядовитые стрелы насмешек и увесистые камни обвинений.

Дискредитировавшая себя за пять послевоенных лет партия плантаторов не смогла выдержать натиска Ганнибалова войска и бежала быстрее римлян при Каннах. Победоносный полководец был избран суффетом, а его коллегой на этом посту стал один из ближайших сподвижников.

Полномочия суффета в Карфагене приближались к консульским в Риме, только без права командования армией. То есть суффет обладал



исключительно политической властью, не располагая военной. Используя двусмысленность, неоднозначность этой должности, олигархический совет неусыпными трудами в течение нескольких столетий свел ее значение на нет, превратив ее в фикцию, и платил магистратам за фактическое бездействие формальным почетом.

Поэтому знать, отдав неприятелю эту башню на самом видном месте своих укреплений, не унывала и дружно отступила в цитадель, чтобы дать противнику отпор на главном рубеже обороны, на пороге пунийской курии.

Карфагенский совет старейшин сложился в эпоху перехода государства от монархии к республике на базе весьма могущественной группировки царских советников. Становление этого органа происходило в борьбе с опирающимися на армию и заигрывающими с народом военачальниками, которые то и дело норовили превратиться в тиранов. В конце концов аристократы одолели амбициозных выскочек и свели всевластие войсковых лидеров к более упорядоченной с государственной точки зрения магистратуре суффета. Впоследствии знать пошла дальше и сначала разделила политическую и военную власть, а затем и вовсе обесценила должность суффета. В отличие от Рима в Карфагене народ не выступал в качестве влиятельной третьей силы, поэтому, расправившись с монархическими поползновениями, аристократы установили в государстве свое господство. Грозным оружием в руках знати были деньги, изначально имевшие в Карфагене как торговом городе чудовищное значение. Ими она устранила с пути народ, отвратив его от борьбы за свои человеческие права, заставив «малых» людей жить малыми интересами, враждовать между собою за объедки с пиршественного стола «могущественных», ими она смирила честолюбие магистратов, приучив их ползать по курии и собирать небрежно брошенные им монетки. Восторжествовав в государстве, аристократы самозабвенно упивались счастьем, жадно поглощая богатства почти всего Западного средиземноморья, и не заметили, как при этом превратились в олигархов, а их счастье обернулось обжорством фиктивными ценностями, от которых пучит живот, тяжелеет голова и чернеет душа. С тех пор единственным властелином Карфагена стало богатство. Оно диктовало свою волю олигархам, магистратам и толпе, оно устанавливало и отменяло законы, назначало и свергало чиновников, избирало сенаторов и распинало их на крестах, заключало и расторгало союзы, затевало войны, обращало в рабство или истребляло племена и народы. Высшие руководящие посты в государстве открыто продавались, словно на аукционе, «с молотка» шли и выгодные должности сборщиков налогов и контролеров в покоренных странах.



В таких условиях Чести, Разуму и Таланту нечего было делать в этом городе, и состязаться с пресмыкающимся у земли сторуким, стоглавым, пышущим отравой драконом богатства отваживалась только гремящая оружием Сила. Так, воспользовавшись смутой, вызванной освободительным движением ливийских народов, военную диктатуру сумел установить Гамилькар Барка, но, поскольку он затем удалился в Испанию, на карфагенском троне, возвышавшемся на куче денежных мешков, снова воцарился прежний монстр. Недавно среброзубое страшилище до полусмерти искусило Ганнибала, позарившегося на его владения. Не испугалось оно и нынешней атаки залечившего раны Баркида. Правда, на этот раз олигархи решили кнут сменить на пряник и вознамерились подкупить и приручить Ганнибала, опьянив его терпким вином, крепленным растворенным жемчугом и ароматизированным дурманом почестей. По их мнению, ничего, кроме жирного куска для себя, в существующих условиях он добиваться не мог.

Но Ганнибал бился за власть не ради компромиссов; как уже отмечалось, его натура не терпела дележа. Он замыслил разом ниспровергнуть олигархию и заменить ее господство собственной диктатурой, опирающейся на военную знать и торговых титанов. Тщательно изучив государственные законы, пылившиеся где-то на задворках курии, он обнаружил, что по правовому статусу Карфаген все еще остается республикой, то есть высшим органом в нем, как и прежде, является народное собрание. На начальном этапе борьбы с денежно-земельной олигархией ему и денежно-торговой олигархии было по пути со многими тысячами ремесленников, офицеров и матросов, которые вполне могли сойти за народ. Сложив официальную власть суффета и народного собрания с теневой властью купеческих денег, он вполне имел право рассчитывать на успех. Загвоздка заключалась в том, что из-за ограничений, установленных хитрыми крючкотворами от политики, народ допускался к государственным делам только при конфликтных ситуациях в высших сферах власти. Но, поскольку у здешних сенаторов и магистратов имелся один хозяин – деньги, все неурядицы благополучно разрешались после непродолжительного звона серебряных, в исключительных случаях золотых кругляшей, а масса простолюдинов неизменно оставалась в стороне.

Знать настолько успешно избегала общения с толпой, а народ так прочно забыл свои права, что усыпленные длительным спокойствием олигархи просмотрели коварный удар Ганнибала и попались в его ловушку, как Гай Фламиний у Тразименского озера.

А все начиналось весьма безобидно для толстосумов. Придя к власти, Ганнибал оказался лицом к лицу с множеством хозяйственных проблем, отделенных от него только пустыми закромами казначейства. Этим



пустым закромам как раз и была отведена роль могилы, предназначенной для захоронения честолобивых замыслов строптивного суффета. Голые погребя государственной житницы, отвечающие бесплодным эхом на любые воззвания, должны были вынудить Ганнибала идти на поклон к знати или облагать новыми налогами народ, что в Карфагене могло не только ниспровергнуть политика, но и привести его к смертоносному кресту. Но суфсет не устранился зияющих прорех в государственном хозяйстве и бодро призвал к себе главного казначея. Олигархи восприняли этот шаг как начало торга, и потому казначей не высказал намерения подчиняться, промедлением набивая себе цену. Он заявил: «Жаждающий должен идти к винной бочке, а не бочка – к жаждущему». Ганнибал стал в позу и требовал повиновения от этой «винной бочки» или точнее от «денежного мешка». «Мешок» был несказанно поражен такой наглостью, ибо сословие сенаторов располагало еще и дополнительными средствами для поддержания своего могущества, поскольку монополизировало судебскую власть: всякого, кто посмел бы встать у них на пути, они совместными усилиями могли осудить под любым предлогом. Однажды Ганнибал спасся от их преследований, но понес при этом моральный и материальный ущерб. Второй процесс стал бы для него роковым. Итак, суфсет упорствовал, а финансист совсем размяк от удивления и недвижимой глыбой лежал в своем логове. Олигархи опешили, не понимая, почему их враг столь глупо идет на смерть, ожидающую его в следующем году сразу по сложении полномочий суффета и соответствующего прекращения действия магистратского иммунитета. А Ганнибал вознамерился расправиться с самими судьями, прежде чем они предъявят ему обвинения. Тыча им в лицо ветхой табличкой с текстом законов, он вдруг начинает созывать народное собрание. Казначей уже стоит навывтяжку перед суффетом, богачи мучают животы, силясь изобразить смиренный поклон, а Ганнибал забыл и думать о них: его цель достигнута – он получил доступ к толпе.

Взбодоражив плебс гневными речами о надменности и злоупотреблениях знати, Ганнибал добился постановления собрания о ежегодном переизбрании высшего государственного совета ста четырех. Спешно организовав выборы, он провел в руководящий орган представителей своей партии и достиг временного политического господства. Однако рыхлый экономический фундамент грозил в скором времени обрушиться все возведенное им здание.

В Карфагене назревала гражданская война, ибо толстосумы миром власть никогда не отдают, а финансовая война разразилась немедленно. Новому правительству требовались гигантские средства не только на реализацию своих планов, но и просто для выживания. Свергнутые оли-



гархи злорадствовали, предвкушая, как их враги схлестнутся с плебсом на почве жестоких поборов. Они устрашали людей слухами о грядущих катастрофах и небывалых налогах. Но баркидцы тщательно изучили всю финансовую систему государства и объявили, что денег в Карфагене хватит, если взыскать все награбленное и наворованное с взяточников и расхитителей казны. Народ, обрадованный тем, что удар, предназначавшийся ему, направлен в другую сторону, с готовностью поддержал партию Ганнибала. С одобрения широких гражданских масс баркидцы повели яростную борьбу со своими противниками. На государство обрушилась лавина судебных процессов. Дубинами приговоров из коррумпированных чиновников выколачивали наворованное серебро. Видя ответ справедливости, простые люди воспряли духом и включились в праведное дело. События приняли характер демократической революции, то есть революции, проводимой в интересах народа против нахлебников. Повсюду стоял плач богачей, звон возвращающихся к своим истинным хозяевам денег и ликующий крик возрождающегося народа.

Однако вскоре оптимизм должен был потухнуть столь же стремительно, как и вспыхнул, ибо на освободившиеся места изгнанных олигархов готовились взгромоздиться олигархи победившей, отнюдь не народной партии. Но все хорошее кончилось еще раньше. Людям не довелось насладиться даже кратким мигом свободы в период межвластия, так как свергнутые толстосумы, как обычно, нанесли народу и заодно Отечеству в целом предательский удар в спину: они обратились за помощью к Риму.

Поднимая государство с колен, Ганнибал и его сподвижники всячески демонстрировали свою лояльность к гегемону Западного Средиземноморья. При них исправно и в срок была выплачена очередная доля контрибуции. Официальная внешняя политика Карфагена точно соответствовала курсу, указанному победителями. Но при этом Ганнибал, конечно же, готовил глобальную войну против Рима и вел секретные переговоры с Сирией и другими восточными странами. Как известно, деньги просачиваются через любые заслоны и проникают во все щели. Потому, сколь ни секретничал Ганнибал, подкуп делал свое дело: происходила утечка информации, и политические противники знали о его агрессивных планах и о тайных посольствах Антиоха. Эти сведения они и сообщили в Рим, прося великую державу вмешаться в дела Карфагена и навести в них порядок (опять порядок), чтобы устранить опасность для себя, а им вернуть вождельные сундуки.

В Риме долго не хотели придавать значения слухам о военных приготовлениях Карфагена, но жалобы пунийских «доброжелателей», не хотевших возрождения Отечества ценою собственного разорения до уров-



ня обычных людей, множились чуть ли не с каждым днем, и в конце концов сенаторы заволновались. Вопрос о положении в Африке был вынесен на обсуждение Курии. Кое-кто из сторонников Катона, бывших тогда в силе, потребовал от сената без промедления снарядить войско и уничтожить ненавистный город раз и навсегда или, по крайней мере, заставить пунийцев выдать им на расправу Ганнибала. «Впрочем, одно другому не мешает», – цинично добавляли они. Эта агрессивная группировка уже покалечила первую Сципионову провинцию – Испанию, а теперь зарилась и на вторую. Но большинство сенаторов не решалось затевать войну в Африке, пока не снята угроза с Востока в лице Антиоха. Выразители этой позиции предлагали отправить в Карфаген посольство, чтобы непосредственно оценить степень опасности и попытаться уладить дела мирным путем, опираясь на местную олигархию. Лишь Сципион и некоторые из его ближайших друзей возражали против всякого вмешательства во внутренние дела Карфагена. Сципион доказывал, что у Рима есть немало политических и экономических средств для воздействия на побежденного соперника, поэтому, по его мнению, не следовало прибегать к помощи предателей в борьбе против тех, кого однажды уже одолели в честной схватке. «Сейчас цивилизация стоит на распутье, весь мир пристрасстно взирает на Рим, – говорил Публий, – и, смотря на нас, страны и народы решают, куда им идти, как к нам относиться, встречать нас хлебом и вином или мечом и копьем. Так неужели мы у всех на виду струсим перед тенью побежденного нами Ганнибала и публично опозорим римскую честь низменным поступком?» Кроме рассуждений о моральных аспектах проблемы, Сципион отметил и несвоевременность каких-либо санкций против Баркидов с позиций даже голого практицизма, так как Ганнибал сумел воодушевить и привлечь на свою сторону подавляющую массу граждан, и потому любые репрессии против него будут выглядеть как враждебные действия против всего пунийского народа. Подобным вмешательством римляне лишь помогли бы консолидироваться всем карфагенянам в великую силу и дали бы в руки Ганнибала могучее оружие под названием патриотизм. Сципион призывал отложить решение вопроса еще на год. За этот срок Карфаген не сможет настолько усилиться, чтобы стать опасным Риму, но народу представится возможность рассмотреть Ганнибалову клику во всей ее неприглядности. «И когда плебс разочаруется в новой власти, падет духом, мы, при необходимости, поможем пунийцам освободиться от этого ярма, снискав их благодарность вместо ненависти, которая встретила бы нас теперь», – закончил выступление Сципион под аплодисменты слушателей.

Однако, хотя сенаторам очень нравились речи принцепса, они все реже следовали им в своих поступках, ибо зов чрева звучал в них гро-



мче гласа души, и обычно одерживало верх стремление к сиюминутным выгодам. Сципиона не поддержали даже его ближайшие родственники и соратники Публий Назика и брат Луций. Правда, было отвергнуто и агрессивное предложение сенаторов катоновского склада. Победила умеренная сенатская середина: в Карфаген командировали послов якобы с целью разобрать конфликт пунийцев с Нумидией, в действительные обязанности которым вменялось поддержать партию Ганнона авторитетом Рима и помочь ей вернуться к власти. Делегация состояла из двух консуляров Гнея Сервилия и Марка Клавдия Марцелла, к которым присоединился Квинт Теренций Куллеон – бывший пленник пунийцев, освобожденный Сципионом.

Состав посольства позволял Публию надеяться на спокойное развитие событий, так как двое из троих его членов принадлежали к Сципионову лагерю. Но Сервилий частенько забывал о родственных и дружеских связях, если ему предоставлялся шанс громко заявить о себе, а Теренций пылал страстью мести к своим обидчикам, так что Марцелл тоже мог рассчитывать на эту нестабильную пару в реализации собственного, весьма жесткого курса.

Когда римская квинкверема вошла в обширную карфагенскую гавань, когда послы увидели мрачный гигантский многоэтажный город и бесчисленные толпы пунийцев на пирсе, все они, не сговариваясь, прониклись ненавистью к этому вековому сопернику их Отечества и к его самому энергичному сыну – Ганнибалу. Поэтому римляне сразу принялись за дело. Они встретились с видными представителями земельной олигархии, затем для них был устроен митинг на главной площади, куда, ввиду прохладного отношения к гостям плебса, согнали торговцев новой волны и лишившихся тучных государственных кормушек чиновников, которых в Карфагене насчитывалось немало тысяч. Эта толпа несколько часов сотрясала воздух Отчизны криками: «Хвала Риму, давшему нам свободу в нашей деятельности!»

Здесь же, во враждебной ему среде дефилировал, как ни в чем не бывало, Ганнибал. Он даже перекинулся несколькими словами с Марцеллом на греческом языке и вообще всячески демонстрировал невозмутимость. Но по всему городу уже сновали его агенты, готовя восстание, а в Бизацене снаряжался в дальнейшее плавание корабль на случай, если попытка восстания провалится, на который с самого утра сносили груды знаменитых ганнибаловых сокровищ.

Римляне застали баркидцев врасплох. Увлеченные внутренними делами, они забыли о заморских союзниках своих политических врагов. Кроме того, эта партия не была готова к функционированию в нестандартных условиях при активном прессинге соперника по всему фрон-



ту, поскольку в ней не было, за исключением Ганнибала, крупных личностей, способных в трудной ситуации брать инициативу на себя. Ганнибал, прекрасно ладивший с солдатами и офицерами низшего и среднего звеньев, действительно, как упрекали его соотечественники, не терпел рядом с собою значительных людей, потому вокруг него никогда не было соратников, равноценных Гаю Лелию, Квинту Цецилию и Масиниссе у Сципиона. Так же, как и в других случаях, в ходе этого предприятия по оздоровлению государства он постепенно, по мере того, как набирал силу сам, отсеивал из своего окружения излишне талантливых, по его мнению, людей. В результате такой кадровой политики его партия оказалась не способной действовать в кризисной обстановке. Конечно, это была только одна из причин, помешавших Ганнибалу победить, а в первую очередь ему не хватило времени.

Ближе к вечеру, в итоге суммирования поступающих с разных концов города сведений о состоянии дел, выяснилось, что баркидцы не готовы к полномасштабному восстанию, то есть они не имеют сил, достаточных для победы в короткий срок, тем более, что под предлогом митинга противник захватил центр города, а промедление грозило вторжением римских легионов и окончательным крахом. Взвесив все «за» и «против», Ганнибал решил перевести свою партию в подполье оппозиции и ожидать лучших времен, а сам вознамерился бежать от преследований врагов, чтобы вдали от родных мест, на чужбине энергичной деятельностью ускорить наступление этих самых лучших времен.

Лениво посвистывая, почти без свиты и без багажа Ганнибал вышел за городские ворота, словно направлялся на вечернюю прогулку, вразвалочку прошел к угловой башне, вскочил на приготовленного ему коня и галопом устремился в Бизацен. Погрузившись там на скрипящий и стонущий под грузом золота и прочих драгоценностей корабль, Ганнибал на рассвете вышел в открытое море.

5

Итак, успех Ганнибала, пусть и кратковременный, всколыхнул Сципиона. Этот пример продемонстрировал непрерывность движения жизни, а также непредсказуемость и даже вычурность судьбы. В потрясающей активности Пунийца, не теряющего вкуса к деятельности ни при каких обстоятельствах, Публий увидел упрек собственной пассивности, укор апатии, вызванной созерцанием торжества довлеющих над людьми сил тяготения, которые прижимают их души к земле всякий раз, когда за них прекращают бороться посланцы небес. Правда, иногда он ловил себя на попытке благого самообмана и уличал разум в поисках какого-либо повода для искусственного возбуждения интереса к



жизни. Но, как бы ни обстояло дело с его чувствами и психологией, в любом случае ему пора было очнуться от дремы прозябания.

Сципион начал добиваться второго консульства, не только исходя из желания перехватить политическую инициативу у Фуриев, Фульвиев, Валериев и Катонов, но, главным образом, в надежде получить назначение в Испанию, чтобы залечить раны, нанесенные этой стране варварским правлением Катона, и спасти ее для Отечества. Судьба Испании волновала его по-особому, и именно в последние годы он как никогда часто вспоминал свою первую провинцию.

Жизнь перестала радовать Сципиона. Ныне он был богат и знаменит гораздо больше кого-либо из соотечественников, включая предков. Но счастье просачивалось сквозь груды денег и уходило в небытие, как в песок; и со славой оно теперь общалось менее охотно, подозревая ее в неискренности и холодности. От того, что сегодня Сципион занимался делами в облицованном мрамором кабинете, у него не прибавлялось мыслей, высота дворцовых сводов не возвышала душу, а его любовь к жене с каждой ночью становилась все меньше и тусклее, несмотря на огромное ложе и золотую отделку спального покоя. Известность его имени тоже лгала ему в последнее время, приводя в дом фальшивых друзей, проходимцев и лицемеров. Сладостный гимн славы превратился в назойливый хор просьб о должностях и провинциях, который Публий неизменно слышал даже в самом отдаленном углу перистилия. Правда, у него уже было четверо детей. Но и здесь не все складывалось благополучно. Старший сын, Публий, по-прежнему оставался болезненным и слабым до такой степени, что не мог играть с другими детьми и учиться в школе, а необычайный по его возрасту ум и тонкая душа будто специально были даны ему насмешливой природой для того, чтобы острее осознавать и переживать свою неполноценность. Второй сын, названный в честь прадеда и дяди Луцием, рос мальчуганом шустрым, но слишком лукавым. Он был любимцем матери и уже сейчас умел извлекать выгоду из ее слабости к нему. Отцу это не нравилось, а хитрец, смекнув, от кого ему проще добиться гостинцев, в своих симпатиях демонстративно отдавал предпочтение Эмилии. Безусловным украшением семьи были две прелестные девчушки, которые чуть ли не целыми днями со смехом порхали по дому, как бабочки, и казались единственными по-настоящему живыми существами в холодной роскоши мраморных палат. Однако, любуясь ими и наслаждаясь их радостью, Сципион омрачался, когда думал о будущем этих восхитительных созданий, ожидающем их в день ото дня ухудшающемся мире.

Увязнув в предательски топкой, как болотная жижа, повседневности, Публий лихорадочно хватался за всевозможные дела, цеплялся мыс-



люю за любые события, чтобы выбраться на поверхность жизни, но все безнадежно утопало в тине, и он погружался глубже и глубже. Поэтому Сципион и обратился в своих помыслах к Испании. Страна, где он возмужал и вырос как полководец и государственный деятель, манила его к себе, словно сказочный край, дарящий силу, молодость и удачу. Он томился желанием вновь увидеть пейзажи гор, над которыми некогда возшла заря его славы, долин, где размашисто шествовал его победоносный дух, ощутить вольный воздух, насыщавший когда-то его горячую молодую грудь. Ему хотелось опять ступить на эту землю, родственную его внутренней природе, чтобы напитаться ее соками, и, оттолкнувшись от привычной исходной точки, с новыми силами пойти на следующий виток борьбы.

Вспоминая об Испании, Публий, конечно же, не мог не думать о Виоле. Почти стершись в его памяти под шквалом событий африканской кампании, ее образ теперь вдруг снова засиял пред мысленным взором в первозданной красоте. Так в старости болят раны ветеранов, полученные ими еще в первых битвах и казавшиеся давно залеченными. Но, внимая тяжким стоном заживо похороненной страсти, он все же не стремился увидеть эту женщину вновь. Вторая встреча с ней выглядела карикатурой на первую, а третья, несомненно, и вовсе осквернила бы остатки добрых чувств в его душе. Виола уже давно стала для него сияющим в вышине символом, отделенным от плоти. Но символ все-таки имел конкретные черты, и эти черты Публий мечтал обновленными увидеть в ее детях. Ее дочь или дочери должны были сейчас находиться как раз в таком возрасте, когда природа уже завершила свое творчество, а примитивное общество еще не успело разрушить божественный шедевр мелочными страстями. Поэтому Испания порою принимала в его воображении обольстительный женский образ и влекла к себе всеми чарами, присущими переполненной надеждами и силами юности.

На роль коллеги по консульству Сципион определил Тиберия Семпрония Лонга, сына того Семпрония, который исполнял консулат вместе с его отцом в год вторжения Ганнибала в Италию. Отношения Корнелиев Сципионов с представителями знатного плебейского рода Семпрониев всегда были весьма прохладными, а с Гракхами и вовсе враждебными, но именно с Лонгами они ладили, хотя и не числились в друзьях. Таким образом, Сципион желал возобновить партнерство с видной фамилией, включить в орбиту своей политики толкового человека, а при его посредстве – и группу мелких сенаторов, тяготеющих к Семпрониям.

Многие представители плебейской аристократии оказались обиженными решением Сципиона, полагая себя фигурами, более достойными высшей должности, чем Тиберий. Публий напрасно пытался



урезонить их. «Не вернуться ли нам к древности? Не избрать ли нам шестерых военных трибунов с консульской властью вместо двух законных консулов, чтобы удовлетворить большее количество честлюбий?» – саркастически вопрошал он. Увы, отвергнутых соискателей не могли охладить насмешки: они готовы были и на возрождение института трибунов с особой властью, и на что угодно прочее, лишь бы забраться под потолок государства. Иерархическая лестница скрипела от их напора. Даже Гай Лелий омрачился и стал держаться несколько поодаль от Сципиона после того, как рухнула его мечта воссесть в курульное кресло рядом со своим знаменитым другом, так же, как некогда они вместе располагались возле претория на трибунале. Причем, демонстративно избегая Публия, Лелий умудрялся то и дело попадаться ему на глаза, чтобы величайший государственный муж все время видел обиду величайшего из друзей. А ведь Гай еще не расстался с должностью претора, и сразу претендовать на консульство ему как новому человеку в среде знати было неприлично.

Сципион добросовестно подготовился к выборам и, несмотря на противодействие враждебного ему до последнего стежка на тоге Луция Валерия Флакка, руководившего комициями, добился полного успеха. Народ бурно приветствовал возвращение своего любимца к активной политической жизни и охотно исполнял все его пожелания. Потому Луций Валерий, исходя ядом в заимствованной у отца язвительной улыбке, был вынужден по ходу процедуры объявить магистратами одного за другим всех ставленников Сципиона. Консулат получили, конечно же, Публий Корнелий Сципион Африканский и Тиберий Семпроний Лонг, а преторами избрали Публия Корнелия Сципиона Назику, Гнея Корнелия Меренду, Гнея Корнелия Блазиона, бывшего офицера африканской экспедиции Гнея Домиция Агенобарба, служившего в Испании и отличившегося при штурме иберийского Карфагена Секста Дигиция и Тита Ювенция Тальну. Из всей этой компании лишь Тит Ювенций не мог похвастаться дружбой с принцепсом, поскольку принадлежал к серой массе сенатского «болота», активно разрабатываемого в последние годы Катонем.

Чуть позже прошли выборы цензоров, и на них опять подтвердила свое превосходство партия Сципиона. Цензорскую палату в храме Сатурна на ближайшие восемнадцать месяцев заняли Гай Корнелий Цетег и Секст Элий Пет.

Но все эти победы не радовали Сципиона, так как к этому времени уже рухнула его мечта об Испании. Едва узнав, кто готовится воссесть в будущий год на консульские кресла, Марк Порций, находившийся тогда в этой стране, воскликнул, бравирова перед своей свитой: «Вы говорите, Сципион и Лонг? Ну что же, я устрою им “Требию”!»



Смекнув, на что рассчитывает его противник, Катон развернул бесшумную кампанию по ликвидации очагов иберийского восстания. Тогда-то он, вдохновленный злобой к Сципиону, и творил свои «пунийские хитрости». Спешно разбросав пылающий костер освободительного движения, он засыпал искрами ненависти всю Испанию и объявил войну законченной. Временные союзники и потенциальные враги Катона в Риме, желая оставить не у дел Сципиона, поддержали консула и признали его действия великой победой. Испания была провозглашена замиренной провинцией, а Катону стали готовить помпезную встречу в столице. Так Испания оказалась исключенной из сферы деятельности новых консулов. Причем, нанося удар Сципиону Африканскому, его недруги заделали и Сципиона Назику, получившего преторское назначение в юго-западную часть этой страны. Правда, Назика все же отправился за море, но результаты его грядущих трудов были заранее обесценены.

Следовало срочно спасать положение. Консульство Сципиона без новых побед подорвало бы его авторитет, затушевало бы давнюю славу, не говоря уже о том, что Публий просто не мыслил себя прозябающим без дела на высшей республиканской должности. Некогда он творил великие победы, покорял огромные чужеземные просторы, не будучи облеченным полноценной властью, а теперь, формально располагая всей мощью государства, должен был отсиживаться в Риме, обслуживая триумфы Катона и Квинкция. Такого унижения он вынести не мог. Это был позор на весь Средиземноморский мир, причем позор незаслуженный и потому особенно обидный!

Сенаторы злорадствовали, видя растерянность Сципиона, и не только те, кто принадлежал к числу явных недругов, но и нейтральные, еще месяц назад почтительно расшаркивавшиеся перед ним, искавшие его благосклонности. Их торжество вызывало досаду Публия более, чем что-либо иное. Ведь его поход в Испанию, несомненно, принес бы пользу Отечеству, как и все другие его походы. Это было очевидно для всех. Если раньше такой титан как Фабий Максим имел резон сомневаться в его талантах, то затем он своими делами доказал право на доверие Родины. Значит, восставая против Сципиона, недоброжелатели восстают против государства, а, выступая против государства, выступают против самих себя, ибо являются гражданами этого государства. Поразительное самопожертвование ради удовольствия доставить неприятности преуспевшему на службе Родине соотечественнику!

Все это опять затрагивало болезненную тему его души, и он в который раз за последние годы задавался вопросом: почему в его согражданах все чаще злобные помыслы стали побеждать добрые порывы, даже если последние не только благородны, но еще мудры и выгодны?



К началу административного года Сципион все же определился с выбором направления своей деятельности, и потому вступал в должность, будучи исполненным оптимизма. Боевых действий, достойных масштаба его личности, пока не было, но война соответствующего ранга уже зрела на Востоке. Антиох давно стягивал несметные полчища к побережью Азии, смотрящему на Европу. А теперь он перешел Геллеспонт и под предлогом реставрации разрушенной варварами Лисимахии, укреплялся во Фракии, явно готовя плацдарм для вторжения в Грецию. В самой же Элладе Антиоха с нетерпением ждали этолийцы, которые некогда привели на Балканы римлян, рассчитывая с их помощью утвердиться в качестве гегемона Греции, а ныне с аналогичными упованиями взирающие на Сирию. Риму не следовало форсировать конфликт, но было важно подготовиться к неизбежному столкновению с могучим врагом и занять выгодную исходную позицию, подобно тому, как кулачный боец перед схваткой стремится принять боевую стойку, чтобы не быть сбитым с ног первым натиском противника. Если римляне не предпримут упреждающих мер, то испорченная своей историей, прошедшая через много рук Греция может отдаться Антиоху, как нервная девица во хмелю, и тогда война с Сирией затянется, станет сложной и кровавой. Такой поворот событий предвещал опасность еще и потому, что царь приютил у себя бежавшего с родины Ганнибала, а Пуниец, как было доподлинно известно каждому римлянину, раньше расстанется с жизнью, чем с мыслью о вторжении в Италию. То есть, во избежание распространения пожара войны по всей Европе, его необходимо локализовать в той самой Лисимахии, где пребывал сейчас сирийский царь, а для этого надо держать Грецию и Македонию под жестким контролем. Именно эту задачу и избрал себе Сципион, в дальнейшем надеясь продлить империй и довести дело с Антиохом до логического конца.

Находящийся до сих пор в Элладе Тит Квинкий в принципе завершил свою кампанию, и справедливость требовала возблагодарить его почестями и дать ему отдых. Поэтому на одном из первых в новом году заседаний сената Сципион выступил с предложением сменить его на Балканах, чтобы продолжить восточную политику уже в новом качестве, переориентировав ее на иные цели. И тут в курии началось нечто невообразимое.

Половина сенаторов возомнила себя Фабиями Максимами и принялась уличать консула в неблагоприятных замыслах. Были тут солисты, звучал и целый хор. Сципиона обвиняли в том, что прежде он добивался свободы для Греции, а ныне стремится разжечь новую войну на Балканах лишь бы получить империй. Его упрекали в ненасытном стремлении к славе и власти, а попутно и во всех прочих пороках, присущих



двуногим обитателям земли. По мере накала страстей слова имели все меньшее значение и главную роль начинал играть тон. Красноречивыми здесь были не фразы, а звуки, интонации, а также – жесты. Тут все было пронизано одной мыслью и, казалось, сами стены кричали: «Не хотим Сципиона!»

В последнее время оппозиция почувствовала силу и теперь, когда Сципион пошел в контрнаступление, стеною встала за свою гегемонию в государстве. Ей удалось временно сплотить самые разнородные слои сената и всадничества. В первых рядах этого воинства шагали, конечно, Фульвии, Фурии, Фабии и Валерии, в качестве тарана они использовали крепкую голову Катона, а сенатское «болото» пускали на штурм вражеских укреплений. Тылы обеспечивались гигантской армией всевозможных предпринимателей, которым политика Сципиона так или иначе мешала вышибать сверхприбыли из побежденных народов. Идея консула о продлении балканской кампании в первую очередь вызвала злобное недовольство дельцов, ибо это предприятие ввиду его гуманного характера было убыточным в противоположность испанской экспедиции Катона, показавшего, как надо наживаться на чужих бедах. Оскорбленные в своих лучших чувствах дельцы воздействовали на подкармливающихся у них сенаторов, а те потом улюлюкали в курии, проклиная властолюбие Сципиона.

На столь решительную битву оппозицию вдохновила первая победа над принцепсом, связанная все с той же Испанией и с тем же Катон. Враги Сципиона почувствовали, что еще немного, и противник будет сломлен. Вынудив его провести консульство в бездействии, они затем смогут заявить, что он иссяк, выдохся, пустить подозрение, будто он и прежде ничего сверхъестественного собою не представлял, а его достижения – лишь плод удачи, счастья. Народ доверчив ко всему плохому, и его нетрудно толкнуть на ниспровержение героев, которыми он устал восхищаться.

На организованное сопротивление сенаторов, каждый из которых преследовал свою конкретную выгоду, Сципион не смог ответить ничем иным, кроме абстрактных рассуждений о благе Отечества. Однако границы быстро расширяющегося Отечества все дальше отодвигались от сенаторских вилл и усадеб, и это величайшее, могущественнейшее когда-то понятие, способное тысячи людей вдохновить на подвиг, ныне многим виделось уже размытым пятном, контуры которого гораздо менее отчетливы, чем забор, огораживающий то или иное имение. Даже упоминание о Ганнибале и Филиппе, жаждущих реванша и готовых выступить на стороне Антиоха, если римляне потерпят неудачу на начальном этапе войны, не образумило сенаторов: ведь Сирия, Македо-



ния, Карфаген и тем более Ганнибал, бежавший в Азию, сейчас казались такими далекими... Вот, если Ганнибал снова подступит с ордою диких наемников к стенам города, тогда они на коленях будут умолять Сципиона заступиться за них, тогда они вспомнят, что он – Африканский, что он – Великий, а сейчас они могут попирать его ногами и вытирать о его имя грязные языки.

Партия Сципиона, избалованная множеством легких побед на политическом фронте, оказалась неспособной мобилизовать свой потенциал в этот критический момент и не поддержала вождя в должной мере. Сципион проиграл. Антиоха объявили миролюбивейшим царем, по крайней мере, на срок консулата Сципиона, Грецию – страной вечного мира и благоденствия, а Титу Квинкцию отправили послание с требованием срочно вернуть войска в Италию, чтобы Сципион не измыслил какого-либо коварства. Обоих консулов сенат оставил в Италии, поручив им играть в прятки с боями в гуще галльских лесов и радовать народ торжественными претекстами и пышной свитой.

В это время вновь напомнила о себе Греция. После поражения от македонян, ведомых Антигоном, спартанцам вскоре удалось собраться с силами, прогнать продажных олигархов и установить власть царей, опирающихся на народ. Ныне продолжателем дела Клеомена выступал Набис, человек, хотя и менее талантливый, чем Клеомен, но достаточно превосходящий всех ахейских олигархов, чтобы вызывать их лютую ненависть. Он, как и предшественники, освобождал поработенное дорийцами коренное население Лаконики и наделял землю народ, равнодушно игнорируя при этом желание знати роскошествовать за счет сограждан.

Естественно, олигархам, разбежавшимся по всей Элладе и страшающим «лакедемонским чудовищем» собратьев по классу, такая политика представлялась тиранией, попиранием завоеваний демократии. Не сумев справиться с лакедемонским народом силами лжи и денег, ахейская верхушка воззвала к римлянам. Римский аристократ Тит Квинкий подтвердил, что «призывать рабов к свободе и раздавать земли неимущим – провинность немалая» и, что «спору тут нет», однако уничтожать знаменитый город не пожелал. Он собрал гигантскую армию со всей Эллады, не столько из-за военных нужд, сколько ради демонстрации единства целей римлян и греков, а заодно и для того, чтобы последние привыкали подчиняться первым. С этими полчищами Фламинин осадил Лакедемон и принудил Набиса искать мира на любых условиях, а в качестве главного условия римляне выставили требование ограничить область демократических преобразований пределами одной только Спарты.



И вот теперь делегация Набиса предстала перед сенатом, чтобы утвердить текст соглашения, достигнутого с Квинкцием. Вначале сенаторы сделали строгие лица для острастки посланцев «тирана», но те завели такие речи о свободе и равенстве людей, о вольном воздухе в их славном городе, что им тут же подписали договор и поскорее отправили восвояси, чтобы их не услышал римский плебс, а тем паче – рабы. Ведь одно дело, когда о свободе и равенстве с высокой трибуны красиво, по всем правилам риторики рассуждает богач, хозяин тысячи рабов и нескольких тысяч зависимых граждан, и совсем другое, если о свободе и равенстве заговорят грубые, не ведающие искусства и понимающие все буквально простолюдины и рабы!

Затем Сципион занимался комплектованием двух городских легионов, служащих стратегическим резервом Республики. Изучая новобранцев на Марсовом поле, Публий опять с тоской думал о несуразностях своей судьбы: когда он готовил грандиозный поход в Африку, чтобы спасти Отечество от могучего врага, ему не позволили набирать войско, а сейчас, лишив его инициативы, связав по рукам, обязали снаряжать легионы!

Дальше хуже! Прибыл из Испании самодовольный Катон, и Рим ликовал, словно была одержана победа над Ганнибалом или Филиппом. Сенат вышел навстречу победителю иберийских рудников, и старенький храм Беллоны долго сотрясаясь от самовосхвалений речистого героя. «Четыреста городов сдались в один день!» – гремела весть на площадях и улицах столицы. «Он даже своего боевого коня оставил в провинции, чтобы не обременять государственную казну перевозкой ослабевшего животного!» – восхищались некоторые опуниченые серебром италийцы. Катону дружно присудили триумф, и в пурпурной с золотом тоге он вознесся на Капитолий. Руки, привыкшие лелеять медяки, ныне сжима-ли скипетр Юпитера!

Сципион сказался больным и не участвовал в празднествах, чем лишь усилил торжество Катона, считающего, что его враг пребывает в полном отчаянии. На ехидные упреки Фульвиев и Фуриев в отказе воздать должное новоиспеченному герою, Публий зло отвечал: «Уместнее спросить, чему вы радуетесь, ведь Порций справляет триумф не над Испанией, а над Римом и в первую очередь – надо мной и вами!» Товарищи советовали ему не выказывать недовольства, наоборот, дипломатично улыбаться и снисходительно приветствовать Катона как меньшего собрата по славе. «Какая к Церберу дипломатия, когда вокруг творится такая подлость! – возмущался Публий. – Играть в подобные игры можно только с равными!» Недовольство консула крайне умиляло избавленных щепетильности дружков Катона. А сам герой, вспоминая, как многие годы, в бессильной ярости скрежеща зубами, проклинал Сципиона, теперь



с замиранием сердца внимал его доносящимся через уста «доброжелателей» ругательствам, словно сладчайшим трелям флейты.

Откровенность Публия в неприятии им славы Катона дурно повлияла на его репутацию в народе, который посчитал такое недовольство плодом зависти. Публий называл помпезный триумф Порция осквернением государственных святынь. «Станет ли впредь достойный человек стремиться к этой награде, если ее сегодня вручили за злобу и махинации? Станет ли он мечтать о венце Юпитера, только что снятом с головы Порция?» – гневно вопрошал он. А в толпе шептались: «Смотрите, он ревнует к славе Катона, видно и впрямь Порций затмил его достижения...» Причем, поскольку Сципион ничего не говорил по этому поводу официально, молва питалась слухами, распускаемыми порою самими катоновцами, и от этого принимала особо причудливые формы. Сципиона же все больше злило непонимание людьми того, что он обижен не на Катона, а на них за неразборчивость в симпатиях и непритязательный вкус, сводящий на нет благие порывы великих душ.

В этот неприятный период Сципиону помогли друзья. У Публия Лициния Красса, его коллеги по первому консульству, возникла интересная мысль о том, как мирным путем перехватить инициативу у противников и вернуть себе внимание народа. Первоначально идея Красса не пришлась по душе принцепсу, считающему, что сограждане должны ценить его за действительные заслуги, а не за хмель пьяного угара пропагандистских мероприятий, но товарищи все же уговорили его пойти на предложенный шаг. Разработав подробный план, кружок Сципиона повел скрытое наступление на Фульвийев и Катона.

Лициний Красс как главный понтифик объявил, что, по его наблюдениям, отечественные боги в последнее время выражают недовольство подшефным народом. Дурных примет и знамений в большом государстве всегда хватало, как, впрочем, и добрых, поэтому мнение специалиста в любом случае находило фактическое подтверждение и выглядело авторитетно. «Разобравшись», в чем дело, Красс пояснил сначала коллегии понтификов, а затем и сенату, что боги гневаются на государство за упущения и нарушения обрядов в ходе проведения в прошлом году «Священной весны». Это действо проходило под ауспигиями и рьяным контролем тогдашнего консула Марка Порция, следовательно, подразумевалось, что ответственен за упущения именно он. Тонко бросив тень на Катона, Лициний тут же подсказал выход из сложившегося положения: по его мнению, надлежало повторить священнодействие заново и чистотою его исполнения умиловить богов.

Удар оказался неожиданным и был нанесен в соответствии со всеми неписаными правилами политического искусства, поэтому соперник



не только не сумел сделать ответный выпад, но и не успел прикрыться щитом. Сенат практически без противодействия принял предложение Великого понтифика и поручил консулам, то есть Сципиону, так как ищущий ратной славы Семпроний уже отбыл в долину Пада пугать бойев, организовать масштабное очистительное жертвоприношение.

Под водительством Сципиона это мрачное и жестокое по своей сути мероприятие превратилось, как и было задумано, в яркое празднество. Оно проводилось мягко и снисходительно, беднякам за предоставленных животных из частных средств Сципионов и их друзей выплачивалась компенсация, остальных окружали почетом. В созданной моральной атмосфере люди не уклонялись от участия в ритуале, как в прошедшем году, но, наоборот, старались проявить активность, чтобы отличиться перед согражданами. Религиозные обряды по всей стране сопровождалась театральными постановками, пантомимами и прочими зрелищами. В самом Риме в этот период проходили Великие игры, отставленные как никогда пышно.

В целом весь комплекс этих акций был направлен на представление в должном свете политики и идеологии партии Корнелиев-Эмилиев и на демонстрацию контраста между ее курсом и линией оппозиции. Все, исходящее из окружения Сципиона, казалось проникнутым гуманизмом и ощущением радости бытия, тогда как у Катона и примкнувших к нему Фуриев правила порою отрывались от жизни и торжествовали над сутью и людьми. Так, например, щедрость Сципионовых друзей воплощала принцип: деньги должны служить обществу. А фанатическая скаредность Катона норовила подчинить общество деньгам.

В ходе празднеств народ если и не понял этих различий, то, по крайней мере, почувствовал их, и, уж конечно, имя Сципиона затмило в сознании людей из толпы недавнюю славу Катона.

Недруги консула не остались в долгу. Но их ответная мера значительно уступала утонченной идеологической атаке партии Сципиона, она была груба и примитивна. В самый разгар торжеств по Риму пустили провокационный слух о том, что злодей Племиний, будто бы до сих пор сидящий в Мамертинской тюрьме, организовал заговор с целью поджечь город и устроить всеобщий погром. Простой люд опешил. В Риме преступников содержали в тюрьме лишь до приведения в исполнение приговора, а значит, Племиния должны были казнить еще десять лет назад. И вдруг выясняется, что он жив! Это уже само по себе представлялось чем-то зловещим, а вдобавок еще ожидание пожара и бесчинств! Пережив первый шок, люди попытались разобраться в событиях. Прежде всего, возник вопрос: а кто такой Племиний, ибо воспоминания о нем в столице были смутными? Тут-то Катонovo пле-



мя, давясь от стараний скрыть удовольствие, возвестило плебсу, что Племиний – легат Сципиона, воплощающий собою тиранический образ правления своего императора. Многим гражданам этот пропагандистский мотив показался излишне знакомым, и они поостыли, а чуть позже и все остальные горожане узнали, что слух ложен, и никакого Племиния давно уже и в помине нет. Страсти улеглись, но к имени Сципиона вновь прилип старый, высохший шлепок грязи.

В проходивших тогда Великих играх было испробовано новшество, также ставшее впоследствии орудием пропагандистской войны. Слишком значительной сделалась к тому времени разница между знатью и плебсом, слишком сильно укрепились позиции сената по отношению к народу, а потому нобили решили открыто отмежеваться от простого люда. Одним из проявлений этой тенденции стало учреждение специальных мест в цирке и театре для сенаторов и всадников: цензорским распоряжением им были отведены первые четырнадцать рядов. Будучи избавленными от утренней давки в борьбе за места, тесноты и общества дышащих луком Децимов и Септимов аристократы из сенаторской среды и богачи из всадничества в течение следующего за играми дня на все лады восхваляли мудрость удруживших им цензоров Гая Цетега и Секста Элия. Однако Элий и Цетег не долго ходили в героях. Вскоре на них обрушился гнев оскорбленного народа. Впервые в Риме столь нагло заявило о себе неравенство. По классовому признаку были отделены полководцы и офицеры от солдат и центурионов в армии, по классовому признаку формировался сенат. Но там это объяснялось образованием, традициями и благосклонностью богов-пенатов к избранным родам. Теперь же оказалось, что и в мирной жизни для получения удовольствия от зрелищ требовалась доблесть предков и осененность божественным благоволением избранных родов аристократов и денежных мешков торговцев-всадников! Начав отгораживаться от народа, римская знать все же пока не отгородилась от чувства справедливости и совести. Терпкий республиканский дух еще витал над Римом и отрезвляюще действовал на захмелевшие от амбиций головы. Сенаторы устыдились своей привилегии, правда, не отказались от нее. Цензоры принялись виниться перед народом и в оправдание сообщили, что вся знать без исключения высказалась за эту меру, в том числе и сам Публий Африканский. В подтверждение они привели когда-то поведенную Сципионом историю о том, как однажды во время состязаний на колесницах его окружили явно пришедшие издалека и расположившиеся на соседних скамьях латины, которые весь день только и делали, что закусывали, да перекусывали и в конце концов настолько заплевали его тогу объедками своих плебейских блюд, что она уподобилась пестрому пу-



нийскому плащу. Катоновские молодцы тут же подхватили слова цензоров, и в народе имя Сципиона прочно связалось с делом о сенаторских местах. Таким образом, зная благодарила за привилегию цензоров, а простолудины за то же самое хулили Сципиона.

Публий ничего не опровергал и ни в чем не оправдывался, такое было не в его характере. Он продолжал действовать в выбранном направлении, стараясь спасти для истории свое консульство, придать ему хоть какое-то значение. В связи с отсутствием крупных боевых операций в заморских странах группировка Сципиона поставила себе целью совершенствовать внутреннюю жизнь государства. Поэтому был интенсифицирован давно начатый, но недостаточно быстро шедший процесс выведения колоний в земли, конфискованные у народов, предавших Италию во время войны с Карфагеном. Так, римские граждане заселили кампанские города Путеолы, Вультурн, Литерн, Салерн и Буксент, многие обосновались на юге страны, в том числе в Бруттии, некогда служившем оплотом Ганнибалу. Эти мероприятия не только позволяли улучшить материальное состояние обнищавших масс римских граждан, но и способствовали укреплению Италии на случай повторного вторжения иноземцев, что было весьма актуально в период, когда на Востоке под знойным сирийским солнцем зрели идеи о глобальной войне против Рима.

В самой столице велось активное строительство общественных зданий. Особенно много было сооружено и освящено храмов различным богам и отдельным божественным силам и ипостасям в согласии с данными в прошлые годы обетами.

В общем, Сципион, некогда завершивший величайшую войну, ныне, во второе свое консульство, как бы выводил государство на орбиту совсем иной, сугубо мирной жизни. Удачно вписался в такую трактовку настоящего исторического момента триумф наконец-то возвратившегося из Греции Тита Квинкция Фламинина.

Тит Квинций увел из Эллады все римское войско, дав Греции, как и было провозглашено в девизе кампании, полную свободу. Теперь он готовился пройти вместе с огромной армией по праздничным улицам Рима. Несмотря на множество триумфов, обрушившихся на город в последние годы, граждане понимали, что сегодняшнее событие не идет в сравнение с шумихой по случаям побед над галлами и иберами, а значением своим приближается к торжествам, вызванным окончанием Пунической войны. Предыдущие триумфы служили поводом для веселья, а нынешний был его причиной. Искренность придавала восторгам особую проникающую способность, благодаря чему ликование блаженным трепетом пронизывало людей до самых глубин души.



Под статью феерически-радостному настроению была и сама процедура празднества. Триумф длился три дня. В первый по городу везли захваченные у врага оружие и предметы искусства, во второй – золото и серебро во всем коварстве их форм от слитков до монет, а на третий день в Рим въехал на великолепной колеснице сам император в сопровождении победоносного войска. Особым отличием этого триумфа явилось большое количество выкупленных в Греции соотечественников, некогда проданных туда в рабство Ганнибалом, и великое множество венков, преподнесенных полководцу эллинскими общинами в знак благодарности.

Проходя в торжественной процессии в группе сенаторов, Сципион вполне мог чувствовать себя триумфатором наравне с Квинкцием. Ведь это он разглядел в малоизвестном молодом человеке, выделяющемся разве что особым блеском глаз, будущего героя, это он отделил его от массы жаждущих власти бездарностей, и он посадил его, квестория, на консульское кресло вопреки традициям и негодованию злопыхателей. Но самое главное состояло в том, что Тит Квинкций вел кампанию в строгом соответствии с идеологией Сципиона. Именно идеи Сципиона, воплощенные в реальность умелым образом действий Фламинина, покорили души эллинов, заставили их поверить чужеземцам-римлянам и пойти за ними против родственного народа македонян. Однако торжествующий плебс видел перед собою только Квинкция, а Сципион был сейчас для него лишь одним из сенаторов, составляющих собою праздничный фон триумфатору. Это вызывало горечь в душе Публия, но не потому, что ему хотелось новых почестей – славы на его долю выпало более чем достаточно – ему было досадно оттого, что люди за явлениями не видят сути, за событиями – их причин, за именами исполнителей – движущих идей, а такая близорукость предвещала немалые беды в грядущем.

Сам Фламинин держался по отношению к Сципиону уважительно, отдавая себе отчет в том, кому он в значительной степени обязан своим успехом, и сознавая, в содружестве с кем сможет покорить пока еще недоступные вершины. Но большая группа льстецов Сципиона не уловила характера взаимоотношений двух колоритных личностей и поспешила переметнуться к новому герою, а Фульвии и Фурии принялись активно вербовать Квинкция в собственный лагерь. Катон же понимал, что для нобилия Фламинина он является тем же, чем и для нобилия Сципиона, а потому не тешил себя надеждой на союз с этой яркой политической фигурой, но доблестно трудился над тем, чтобы вбить клин раздора между видными соратниками, всячески раздувая пламень тщеславия победителя Филиппа.

Пока в Риме гремели триумфы, в Испании гроыхала война, и гнев возмущенных иберов звучал громче победных реляций Катона. Провоз-



гласив испанскую кампанию завершённой, сенат, естественно, распорядился расформировать Катонову армию. В результате, прибывший в Ближнюю Испанию на смену триумфатору претор Секст Дигиций получил лишь остатки бывшего войска, с которыми он едва-едва сдерживал натиск охватившего всю страну освободительного движения и терпел существенный урон. Неудачи в «замирённой» провинции никак не поддавались логическому объяснению, и потому вину за них возложили на претора. Так Дигиция обрядили в грязные лохмотья, содранные с изнанки триумфальной тоги Катона, и его карьера на этом закончилась. В дальней провинции находился претор Публий Сципион Назика. Ну а Сципионам в Испании, как утверждали Фабии и Валерии, а также – Газдрубалы и Магоны, сопутствовали сами боги. Поэтому, наверное, Назике удалось создать боеспособное войско и не только удержать под контролем вверённую ему территорию, но и нанести иберам ряд чувствительных поражений. Особенно значительным его успехом стал разгром вторгшихся в долину Бетиса лузитанов – племени дикого и крайне воинственного.

Во второй половине года Сципиону Африканскому тоже довелось примерить после долгого перерыва военный плащ. Оказалось, что бойи, вопреки сводкам полководцев удивительным образом умножающие свои силы от поражения к поражению, в результате «сокрушительного удара», нанесённого им предыдущим консулом Луцием Валерием Флакком, расплодись до такой степени, что не позволяли воинам Семпрония Лонга даже выставить гребень шлема над частоколом лагерных укреплений. Повышенный интерес галлов к римским легионам и городам долины Пада как раз и заставил Сципиона отправиться на помощь сотоварищу. Плащ Публию пришлось впору, а вот среброкрылая Виктория в небесах над Падом не появлялась, видимо, присматривая более просторные равнины в Азии. Пока Сципион довел вверённых ему калек и новобранцев, называемых консульским войском, до галльских лесов, пока он научил их держать щит левой рукой, а меч – правой, Тиберий Лонг кое-как сам выбрался из западни и с большими потерями, но все же одолел бойев.

Совершив путешествие по местам, где он семнадцатилетним юношей сражался в отцовском войске против тогда ещё непобедимых карфагенян, Сципион возвратился в Рим, чтобы провести магистратские выборы, не привезя с собою ничего, кроме щемящих душу воспоминаний о мрачных, жестоких, но и по-своему счастливых днях юности.

Тиберий Семпроний остался в Галлии добывать боевую славу. Между прочим, под его началом служил Марк Порций. Неутомимый Катон, только что справив триумф, снова записался в армию в должности во-



енного трибуна. Этот свой шаг он детально разъяснил народу на всех площадях и перекрестках Рима: как истый римлянин он, Марк Порций, превыше всего ставит благо Родины и потому, будучи недавно консулом и триумфатором, не погнушался стать простым офицером, лишь бы принести пользу Отечеству, не в пример нобилиям, которые звание военного трибуна используют чуть ли не в младенчестве в качестве старта для карьеры, а достигнув консулата, покоятся до старости в блаженной лени, окруженные пожизненным почетом. Поступок Катона вызвал одобрение простолюдинов и, что для него было не менее важно, упрёки в адрес знати. Сами аристократы тоже обратили внимание на непоседливость «новичка». Фабии и Фурии полагали, что, сделав этого низкородного плебея консулом и тем самым допустив дерзкого крикуна в свою среду, они смогут приручить его, превратить в безобидное домашнее животное. Но амбиции Катона простирались дальше желания слиться с высшим сословием.

Используя для восхождения к консулату родовитых недругов Сципиона, он теперь, окрепнув и создав собственную сенатскую группировку, открыто встал в оппозицию к обеим аристократическим партиям. Правда, его непримиримая задиристость пока еще вызывала скорее презрительные усмешки в стане нобилей, чем опасения. Но Катон не унывал и сотрясал устои власти древних могучих фамилий бурной деятельностью, не брезгуя к крупным акциям добавлять всяческую мелочь, подобно тому, как колдунья, выплясывающая в сырой пещере над кипящим котлом свой танец ведьм, с терпеливым тщанием смешивает в убойном зелье смертоносные яды диковинных гадов со зловонной отравой лягушек, мух и пауков. Вчера его еще видели триумфатором, а сегодня он уже изрыгает очистительное пламя, обвиняя в суде ростовщиков за вакханалии махинаций в честь их бога Ссудного процента; поаплодировав оратору, люди проходили квартал и на другой площади видели того же Катона, проклинаящим надменность знати; едва обсудив его речь о зазнайстве нобилей, горожане узнавали, что Порций уже кромсает галлов в дремучих лесах севера Италии; не успев ахнуть от удивления, они снова слышали напористый голос любимого героя, с упоением критикующего Семпрония Лонга, имевшего несчастье оказаться его очередным начальником.

При проведении выборов Сципиону, конечно же, не составило труда добиться победы для своих кандидатов. Консулами стали Луций Корнелий Мерула и один из лучших легатов африканской экспедиции Квинт Минуций Терм. А в преторы прошли Луций Корнелий Сципион, брат принцепса, и Гай Фламиний. Несколько преторских мест консул без сопротивления отдал рьяно напиранию оппозиции. Их получили Марк Фульвий Нобилиор, Марк Валерий Мессала и Луций Порций Лицин.



Распределение магистратских назначений прошло относительно спокойно. Корнелий получил в управление Галлию, а Минуций – Лигурию, где после нескольких лет затишья снова вспыхнула война. Луций Сципион весной должен был отправиться в Сицилию – провинцию довольно благополучную, а Фламинию выпало путешествие в Ближнюю Испанию, где он когда-то исполнял должность квестора при Сципионе.

На этом консульские обязанности Публия практически закончились, и оставшееся до окончания года время прошло в суете традиционных зимних празднеств и в построении планов на будущее лето. Подводя итог своей магистратуре, Сципион, конечно же, не мог записать ее себе в актив. Он допустил ошибку, неверно рассчитав время начала войны с Антиохом, и потерял шанс возглавить азиатскую кампанию. С точки зрения государственного мужа он был прав, настаивая на заблаговременных действиях по подготовке к будущей войне, но как политик, находящийся под прессом давления оппозиции, обязан был предвидеть, что получит поддержку большинства только в случае крайней опасности для государства, когда общественные интересы превысят партийные амбиции. Большие дела ожидали его в Испании, где во избежание беспорядочных, бесконечных войн со свободолюбивыми племенами следовало создать несколько значительных, противостоящих друг другу государств, основанных на власти пунийской, греческой и иберийской знати, подконтрольной Риму, чтобы при посредстве этой аристократии обуздать и цивилизовать эти народы. Но, увы, опьяненному ненавистью Катону при поддержке группы недалёковидных сенаторов удалось сорвать его планы.

6

Следующий год начался с идеологической подготовки войны с Антиохом. Руководил этой кампанией Тит Квинкий. Он созвал в Рим представителей от многих греческих государств, в том числе, от городов Малой Азии, будто бы для того, чтобы окончательно утвердить в сенате и народном собрании ранее достигнутые греко-римские соглашения. Этот своеобразный съезд был приурочен к визиту делегации Антиоха. Обласкав греков в сенате, римляне сделали их свидетелями своей дипломатической схватки с посланниками царя.

Азиатские македоняне вelerечиво известили собравшихся, что царь отнюдь не считает себя слабее Рима и потому согласен вести диалог только на равноправных условиях, а это означает, что он не потерпит вмешательства в свои дела, поскольку же его дела ведутся уже в Европе, на фракийском побережье Геллеспонта, то да будет так и впредь. Председательствовавший на собрании Квинкий на это заметил, что такое равноправие позволяет римлянам в свою очередь водить дружбу с



азиатскими греками. Довод Фламинина вызвал возмущение главы царского посольства, и он принялся убеждать римлян в беспочвенности их притязаний на ионийское и эолийское побережье Азии.

– Значит, Антиох может вторгаться к нам, в Европу, чтобы воевать наши города, а мы не смеем явиться в Азию даже с дружескими, мирными побуждениями? Так вы понимаете равноправие? – переспросил Квинкий, подводя итог речи оппонента.

Тот смутился, потому что его поняли излишне хорошо, и принялся рассказывать, как еще в давние времена Селевк – прадед Антиоха – бился с Лисимахом на спорной территории.

– А ведь и наш предок некогда занимал видное положение в Илионе, – заметил на это кто-то из римлян.

Раздосадованный ходом переговоров и особенно бурной реакцией присутствующих греков, держащих сторону римлян, глава царской делегации попробовал сменить тактику и, потерпев поражение в логике, вернулся к пафосу.

– Царь, – внушительно возвестил он, – всей душой стремится к дружбе с римлянами, но на условиях славных, а не постыдных!

– Прекрасно сказано! – восхитился Фламинин. – Такое заявление нам по душе, ведь у нас, римлян, достославное всегда имело, имеет и будет иметь приоритет надо всем прочим. А потому в угоду тебе поговорим о достойном и славном. Так вот, ответь нам, что же достойнее: добиваться свободы для всех греческих городов, где бы они ни находились, или стремиться ввергнуть их в рабство и обложить данью? Народ наш уже освободил европейских греков от Филиппа и полагает свой долг в том, чтобы также освободить греков Азии от Антиоха. Ну, а, судя по твоим высказываниям, можно подумать, будто царь видит собственную славу в порабощении эллинских городов... Проясни же нам ваши представления о славном и достойном.

Сирийцы растерялись и, как ни вертели спасительные для всех лицемеров, а для политиков – особенно, слова «свобода» и «законность», пристроить их к речи не смогли, а без них всякая претензия на господство несостоятельна. В конце концов, забыв о принципах дипломатии, они сознались:

– Мы не можем обсуждать условия, коими уменьшится царство Антиоха.

Такова оказалась правда, когда с нее сняли пестрые риторические покровы, украшенные блестками слов «равноправие», «справедливость» и «достоинство».

После этого разоблачения азиатам пришлось с позором удалиться под улюлюканье греческих наблюдателей. А сенаторы вдогонку отсту-



пающим с поля боя велели передать царю совет, как следует поразмыслить над их условиями.

Таким образом, римляне прочно укрепились на дипломатическом Олимпе и могли теперь выступать против Антиоха с позиций поборников справедливости. Моральный перевес снова был на стороне Рима, но в войне имеют значение и материальные факторы. С учетом последних, обстановку следовало признать сложной. Тревожные вести приходили не только с Востока, но и из Африки. Ганнибал вел тайные переговоры с властями Карфагена, где многие посты занимали его сторонники, убеждая бывших сограждан начать войну против Рима одновременно с Антиохом. Поскольку в Карфагене все было продажно, Ганнибаловы деньги оказались побеждены еще большими деньгами, и его секреты перекупила оппозиция, благими стараниями которой эти сведения достигли Италии. Так в Риме узнали, что Ганнибал выпросил у царя войско и намеревался высадиться с ним в Африке, чтобы подкрепить свои доводы к соотечественникам угрозой применения силы и склонить их к войне. Увеличив армию за счет средств Карфагена, он собирался вторгнуться в Италию в тот момент, когда Антиох двинется на Балканы.

В эти дни Сципион отправил письмо давнему африканскому другу Масиниссе. Они переписывались регулярно, потому это событие не могло возбудить чье-либо подозрение. Однако дружба двух выдающихся людей «была со значением», как выражались их ближайшие соратники, поэтому в их письмах существовала некая особенность, а именно: в определенных строках каждого послания, при отсчете их сверху, содержалась важнейшая деловая информация, к которой следовало относиться с повышенным вниманием, тогда как все остальное поле папируса заполнялось бытовым материалом. На этот раз основные строки читались так: «Наш давний знакомец, путешествуя по Востоку, не забывает Отечество и весьма надеется с помощью новых друзей воздействовать на своих домашних, чтобы те откликнулись на его просьбу и помогли ему снова посетить места юношеских проказ. Впрочем, достаточно о нем, поговорим о тебе. Я в очередной раз отмечаю твои заслуги перед нами, Масинисса, и не устаю выражать тебе нашу благодарность. Так было прежде и, думаю, так будет впредь, надеюсь, ты и в предстоящих делах окажешь нам немалые услуги, естественно, с пользой и для самого себя».

Ознакомившись с этим посланием, Масинисса собрал войско и вторгся в карфагенские владения, причем в наиболее богатую пунийскую область – торговую зону на побережье Малого Сирта. В результате его вояжа интересы самых видных карфагенских глобалистов резко сузились от космических пространств до пределов участка собственной



виллы: Италия прискорбным образом выпала из их поля зрения. Не располагая достаточной армией и не имея разрешения римлян воевать, пунийцы взмолились о помощи к северному соседу. По этому вопросу, то есть с жалобами на Масиниссу, в Рим отправились карфагенские послы. Стараясь угодить римлянам, чтобы склонить их в свою пользу, пунийские власти изгнали из города ганнибаловых агентов, усилили борьбу с баркидцами и антивоенную агитацию в народе. Так Карфаген снова отвернулся от Ганнибала с его милитаристскими страстями и на время надел личину доброго союзника и послушного данника Рима.

Масинисса, естественно, был оповещен о готовящихся против него кознях пунийцев, и его делегация пустилась в Италию следом за неприятельской. В сенате опять развернулись словесные баталии. Рим все более утверждался в качестве центра международной политики и приближался к статусу столицы Средиземноморья. Однако, при всем искусстве римских политиков, разрешить данный конфликт оказалось непросто, ибо Лептис, за который шел спор, был один, а претендовали на него два государства, но самым главным являлось то, что у судей, как это часто случается, имелись собственные цели, суть которых заключалась именно в разжигании спора, а не в его разрешении. Выслушав доводы обеих сторон и их взаимные обвинения, сенаторы произнесли несколько нравоучительных речей и с тем отправили африканцев домой, пообещав прислать ответное посольство, чтобы на месте в конкретной обстановке лучше вникнуть в глубь проблемы. При кажущейся бесплодности такая политика все же сыграла положительную роль, поскольку трансформировала военный инцидент в более безобидный – дипломатический.

С выбором главы делегации у сенаторов вопросов не возникало, так как африканский регион находился в ведении Сципиона. Правда, Публий не изъявил желания ехать к пунийцам, потому как миссия представлялась уж слишком лицемерной, и первоначально намеревался послать в Карфаген кого-либо из друзей, но затем уступил уговорам большинства сенаторов и стал собираться в дорогу сам. «В конце концов, почетно не только преодоление явных трудностей, но и скрытых, – убеждал себя Сципион, – подводные рифы часто опаснее для корабля, чем высокие скалы; и выйти с честью из скользкого, двусмысленного положения – тоже многого стоит. Я завязал ливийский узел, и кому же, как не мне, следить за тем, чтобы канаты в нем не перетерлись, ведь неспроста я – Африканский!»

Перед лицом необходимости Публий даже нашел плюсы в предстоящей поездке: он давно хотел посмотреть места своей славы, и с этой целью стремился в Испанию, но тогда судьба разбила его надежды, зато теперь неожиданно подарила другой шанс и, возможно, более ценный.



Стоя на носу судна, держащего курс на Африку, Сципион смотрел в прозрачную синеву морского простора и вспоминал, как шел с эскадрой в этом направлении одиннадцать лет назад. Сколь изменился с тех пор мир: тогда, чтобы ступить на пунийскую землю, требовалась огромная, прекрасно выученная и оснащенная армия, теперь же с десятком сопровождающих он направлялся прямо в Карфаген, чтобы несколькими словами решить его участь. И это стало возможным благодаря его трудам! Осознание свершенных им преобразований наполняло разум гордостью, но душа почему-то оставалась пуста. Публий старался насыщать ее славными пейзажами былых сражений и звуками когда-то раздававшихся победных маршей. Однако он именно вспоминал, но воспоминания не приходили к нему сами. Некая сила отделила его невидимой преградой от прошлых успехов и неумолимо влекла вниз. Где-то в космических сферах Будущего уже обрисовалась его судьба и, оторвавшись от пуповины времени, неслась к нему сквозь мглу неизвестности, омрачая дух роком грядущей катастрофы.

Но вот на горизонте показалась Африка, затем в белесой синеве темными очертаниями проступил Карфаген, и настоящее выступило на передний план, раздвинув прошлое и будущее.

Когда посольская квинкверема вошла в бухту торговой столицы мира, к ней почтительно приблизились два небольших пунийских судна и, приветливо трепеща лентами, сигнализирующими о доброжелательстве, стали сопровождать ее, чтобы указать отведенное ей место в порту. Проследовав через морские ворота над погруженными на дно запорными цепями в торговую гавань, римский корабль, игнорируя знаки пунийцев, напрямую устремился к следующим воротам, ведущим в военный порт. Туда карфагеняне никого из посторонних не допускали, и сама эта искусственно созданная гавань с комплексом прилегающих сооружений была отделена от любопытных взоров высокими стенами. Тем не менее, Сципион явно обозначил намерение проникнуть в секретный порт. Возникла заминка. На борт квинкверемы поднялись представители пунийских властей и сказали послам, что перед ними находится военный объект, не предназначенный для приема гостей. В ответ Сципион напомнил статью римско-карфагенского договора, согласно которой в Карфагене не могло быть военного флота, за исключением десяти сторожевых кораблей, следовательно, скрывать им от римлян нечего. Пунийцы засмутились и принялись сбивчиво объяснять, что дело не в их скрытности, а в непригодности внутренней гавани для встречи высокого посольства, тогда как здесь, в самом



городе, уже все подготовлено к торжественной церемонии. Сципион не удостоил ответа столь лицемерный довод, лишь знаком дал понять, что пунийскими хитростями его не возьмешь. Африканцы посовещались и, не найдя иного выхода из создавшегося положения, открыли злейшему врагу доступ туда, где некогда билось сердце пунийской державы, где ковалась ее мощь.

Через несколько мгновений взорам римлян предстала удивительная морская площадь правильной круглой формы, обнесенная по кольцу береговой линией колоннадой гигантского портика, по середине которой возвышался островок с замком – резиденцией командующего флотом. Как только квинкверема причалила к пирсу, послы и их свита без промедления сошли на берег. Начальник портовой охраны впился взглядом в непрошенных гостей, соображая, как ему быть, каким образом совместить служебный долг со страхом перед международным скандалом. Сципион помог ему сориентироваться и разрешил все сомнения, поманив его величавым жестом к себе. Имя римского полководца обладало магической властью над пунийцами, а его облик, когда он того хотел, был чрезвычайно внушителен. Охранник ни на миг не усомнился в праве римлянина распоряжаться здесь, будучи уверенным, что все это происходит с ведома руководителей государства. Он подбежал к послам и засуетился возле них, угодливо исполняя все их требования. Сципион же, пользуясь тем, что официальные лица пунийского правительства, которым было поручено его встречать, отстали, пробираясь из района торговой гавани через трущобы верфи и складов, обошел основные портовые сооружения и внимательно изучил их. Необычный, подступающий к самой воде портик вокруг гавани, при ближайшем рассмотрении оказался множеством радиально расположенных эллингов для хранения и ремонта судов, а высокие колонны, придающие всей огромной конструкции эффектный вид городского ансамбля, служили опорами для ступенчатых крыш этих помещений. Публий насчитал двести двадцать эллингов, в каковых ныне не было готовых кораблей, зато стояли остовы, а кое-где и целые корпуса. На прилегающей территории он обнаружил прочие фрагменты корабельных конструкций. Сие означало, что пунийцы будто бы выполняют договор, запрещающий им иметь военный флот, однако, уже все приготовили к тому, чтобы в краткий срок собрать и спустить на воду две сотни первоклассных боевых судов.

Сципион был мудрым политиком, потому не удивился увиденному и не огорчился грозным приготовлениям врага, а наоборот, порадовался, что договорные обязательства хоть как-то сдерживают его. Он сделал вид, словно ничего особенного не обнаружил, и не обмолвился о своем открытии пунийским магистратам, наконец-то нашедшим его.



Обменявшись установленными приветствиями с хозяевами, римляне двинулись за ними в глубь города к правительственному зданию. В состав посольства, кроме Сципиона, входили: цензор Гай Корнелий Цетег и легат африканской экспедиции Марк Минуций Руф. Сенаторов сопровождали переводчики, писцы и слуги.

На пути к местной курии римляне пересекали главную городскую площадь, где их появление вызвало необычайный интерес. Люди сбегались со всей окрестности, чтобы поглядеть на Сципиона. Публий предоставил им такую возможность и взойшел на ораторское возвышение с намерением поприветствовать народ. Долго ему не удавалось начать речь, так как пунийцы шумели, воюя за первые места у трибунала, а с набережной валила огромная толпа, возвращаясь из торговой части порта, где первоначально намечалась встреча великого полководца.

Африканцы были огорошены незапланированным ходом визита. Они всей массой вышли навстречу гостям, а те проскользнули мимо, проникли в сокровеннейшие места города и, опередив их, оказались в самом его центре, все равно как легионы Сципиона, совершившие обходной маневр и зашедшие в тыл карфагенского войска. От такого поворота событий у пунийцев раскрылась недавняя психологическая рана, и им показалось, будто Сципион вновь одержал над ними победу. В результате, их чувства резко сместились по спектру в сторону еще большего почтения к и без того уважаемому здесь и друзьями, и врагами римлянину. Тех, кто возвысился в государстве благодаря низвержению Баркидов, охватил особенно острый приступ восхищения, сторонники Ганнибала приуныли, увидев, сколь вольно ведет себя в их городе враг, а обыватели, которых привело сюда любопытство, взорвались шумным восторгом, словно хлебнули неразбавленного вина. Большая часть толпы рукоплескала Сципиону, поскольку даже провокаторы Баркидов, которым вменялось в обязанность возбуждать в плебсе недовольство, под эмоциональным давлением всеобщего ажиотажа разжали кулаки и работали ладонями.

Наблюдая панораму этой гигантской, окруженной небоскребами площади, где кипели страсти ста тысяч людей, Публий, которого в Риме уже давно не встречали подобным образом, дивился тому, что у врагов память оказалась крепче, чем у соотечественников.

«Смотрите, вот тот человек, кто отвоевал у нас Испанию и саму Африку, кто сокрушил мощь Баркидов!» – с благоговейным удивлением кричали простолюдины. «Вот тот человек, который мог уничтожить или поработить нас, но оставил нам свободу и вернул нашу исконную территорию!» – вторили им преуспевающие торговцы и землевладельцы.

Наконец Сципион получил возможность говорить. Он поблагодарил пунийцев за добрую встречу, похвалил их за умение забывать прошлые



обиды и воздавать должное справедливости, за то, что вражда в их умах и душах уступила место дружбе, и заверил в ответной благосклонности римлян к простому карфагенскому народу и к тем истинным аристократам, которые всегда выступали против войны. Затем он ненавязчиво предостерег пунийцев от повторения ошибок, призвал их прислушиваться к мнению добрых людей и не поддаваться истерии, нагнетаемой агрессивным меньшинством. После такого пространного предисловия, Публий сказал несколько фраз о цели своего визита. По поводу конфликта с Масиниссой он заметил, что нумидийцы многие десятилетия терпели притеснения карфагенян и потому их теперешняя реакция вполне закономерна, хотя и незаконна. По его мнению, от пунийцев в этом вопросе требуются терпение и осторожность, чтобы инцидент не перерос в войну. Он подчеркнул, что стоящая задача шире спора о землях вокруг Лептиса и суть ее заключается в том, чтобы пунийцам и нумидийцам научиться жить в мире и добром соседстве, искоренение же веками накопивавшихся обид и ненависти – процесс длительный. В заключение Сципион дал понять, что карфагеняне достигнут благополучия только в том случае, если они и дальше будут действовать в согласии с Римом. Такой речью Сципион вполне успокоил простолюдинов, а пунийские сенаторы поняли, что добиться уступок от римлян будет очень сложно.

Перед советом старейшин Сципион повторил содержательную часть выступления на площади, но в более аргументированной с учетом уровня аудитории форме. Касаясь непосредственно проблем Лептиса, он заявил, что примет решение лишь после того, как выслушает все три стороны и изучит имеющиеся документы. В ответ на удивление пунийцев, вызванное упоминанием о некой третьей стороне, Публий пояснил, что подразумевает самих жителей Лептиса. За отсутствием контрдоводов, карфагеняне согласились с таким подходом к делу и снарядили гонца в пограничный город, а послам предложили в ближайшие один-два дня, пока не прибыла делегация от Масиниссы, ознакомиться с достопримечательностями Карфагена. Вечером три римских аристократа возлежали на пиршественных ложах в обществе тридцати высших чинов пунийского совета. Вначале застольная беседа текла вяло, как река, впадающая в болото, но постепенно Сципион вошел во вкус этого действия, разговорился и раззадорил окружающих. Он вспомнил молодость и то, сколь успешно солировал на подобных мероприятиях в Массилии, Испанском Карфагене, Сиге, Сиракузах, Тунете и других городах, общаясь с представителями разных народов и культур. Оказалось, что его потенциал веселья не иссяк с годами, а остроумие не притупилось в ходе ставших однообразными римских обеденных трапез. Он говорил вдохновенно, а потому живо и увлекательно, говорил о политике, о гар-



моничном устройстве Средиземноморской цивилизации, об искусстве, военном деле, греческих науках, римской нравственности, пунийском земледелии и даже о любви. Пунийцы были захвачены необычайно широким для них кругом обсуждаемых вопросов и заинтригованы прослеживающейся во всем этом многообразии, давно забытой ими внутренней связью, имя которой – человек с его поиском счастья. Встреча представителей различных миров, противоположных мировоззрений прошла на едином дыхании, никто и не заметил, как настала ночь.

Потом пунийские старейшины удивлялись такому необычайному духовному подъему и не могли понять, как случилось, что этот вечер для многих из них стал самым интересным в жизни, хотя то был единственный вечер, когда они ни слова не сказали о деньгах. Сияясь объяснить этот парадокс, пунийцы, в конце концов, решили, что Сципион просто колдун, и одурманил их гипнотическими чарами.

На следующий день послы в сопровождении высших карфагенских магистратов осматривали город. За более чем трехлетнее пребывание в Африке, Сципион хорошо изучил пунийцев и их страну. Столица же характеризовалась в первую очередь чрезвычайной концентрацией, спрессованностью пунийской жизни. Весь Нижний город, заселенный простонародьем, был превращен в огромный базар, в хаосе которого через торгашеские муки рождался пунийский порядок. Среди этой толчеи и пошловато притязавшей на жизнерадостность пестроты, разрисовавшей разноцветными узорами и орнаментами все от стен многоэтажных домов до хитонов горожан, за мрачными грядами холмов возвышались суровые здания храмов, где до сих пор приносили человеческие жертвы. Почти в каждом храме имелись сложные машины для жертвоприношений, делавшие и без того жестокие обряды еще более устрашающими. Пунийцы были охотниками до всяческих механических чудовищ, клацающих каменными или металлическими челюстями при поглощении жертв; неспроста они, захватив в сицилийской войне пресловутого «быка Фаларида» – изощренное орудие пыток агригентского тирана в виде полого медного тельца, который, хотя и ничем не клацал, но зато здорово ревел, когда в нем жарили людей, – привезли его в Карфаген как великую ценность. Публий и раньше видел зловещие тофеты, разбросанные по всей стране, но в столице жертвенники были превращены в произведения дьявольского искусства и сияли на раскрашенном всеми цветами радуги городском пейзаже величественными провалами в Аид. Смерть здесь выглядела внушительнее жизни.

На вершине Бирсы стоял храм Эшмуна, занимая в Карфагене местоположение, подобное тому, какое было у храма Юпитера Капитолийского в Риме, из чего напрашивалась аналогия и по значению соответ-



ствующих богов. Однако Публий так и не сумел разобраться в функциях главы карфагенского пантеона: по рассказам сопровождающих, получалось, что Эшмун представляет собою нечто вроде Эскулапа, а как Эскулап может быть верховным богом государства, он не понимал.

Римляне обратили внимание на то, что в Карфагене не видно ни цирков, ни театров. «Наверное, пунийцам не нужно иных зрелищ, кроме созерцания своих сундуков», — подумали они.

Для того, чтобы осмотреть Мегару, гостям пришлось сесть в коляску, так как этот аристократический район занимал вдвое большую площадь, чем Нижний город и Бирса вместе взятые. Мегара разительно отличалась от перенаселенных плебейских районов и если те выглядели базаром, то здесь был сад. Утопая в зелени, на пологом склоне выгодно разметались роскошные виллы богачей, построенные большей частью по греческому образцу, но с нагромождением всевозможных восточных излишеств. Изредка попадались тут и типично пунийские, старинной архитектуры дома-башни с окошками под крышей. Все это надменное царство богатства было отделено от остального города мощной стеной, чтобы низкая чернь не пачкала тщательно замощенных садовых дорожек пунийского рая своими презренными сандалиями.

Показывая римлянам владения пунийской олигархии, магистраты полагали, что те обязательно пожелтеют от зависти, ведь здесь было известно, в какой тесноте живут сенаторы победоносного Рима и сколь страдают они от близости простонародья. На послов действительно произвела впечатление Мегара, но они стыдились своих восторгов, поскольку в глубине их душ сиял республиканский идеал, в свете которого стена, разделяющая Карфаген, виделась как одна из причин его поражения. Сципион же опять недобро помянул невидимую, но почти непреодолимую границу, отделившую недавно первые четырнадцать рядов римского амфитеатра от остальных мест.

В безупречном ансамбле Мегары был обнаружен только один изъян, которым пунийцы, однако, гордились перед римлянами — это руины разрушенного год назад дворца объявленного вне закона Ганнибала. Сципион поморщился, глядя на немощные развалины, ставшие итогом деятельности могучего человека, и, не сумев ввиду своего характера одобрить поступок карфагенян, а в силу своего положения — осудить его, промолвил нечто о целесообразности взвешенной политики, чтобы гасить внутренние конфликты без применений подобных мер.

Вечером римлян пригласили к себе лидеры партии Ганнона, но Сципион вежливо отказался, пояснив, что намерен встречаться здесь только с официальными представителями государства, чтобы не вносить раскол в ряды карфагенских граждан. В прошлом году, когда пунийская



масса пошла за группировкой Ганнибала, римская делегация, наоборот, вела сепаратные переговоры с оппозицией и коварной дипломатией насаждала раздор, но сейчас, когда власть в Карфагене постепенно переходила к угодным Риму силам, было выгодно создавать иллюзию единства интересов всех слоев населения. Как раз гарантом соблюдения этих интересов Сципион и хотел себя представить перед пунийскими гражданами, а потому старался не давать противникам повода для провокаций. Кроме того, польщенный восторженным приемом простого народа, Сципион и в самом деле дорожил авторитетом у пунийского плебса и не желал ронять его какими-либо закулисными играми.

Вскоре прибыли нумидийцы. Самого Масиниссы с делегацией не было. Царь официально через послов объяснил свое отсутствие опасением диверсий со стороны коварных пунийцев как против него лично, так и против его страны, на самом же деле он остался в Цирте потому, что при встрече на высшем уровне труднее уйти от решения проблемы. Как ни стремились увидеться давние друзья, и Сципион, и Масинисса понимали, что из политических соображений им следует воздержаться от непосредственного общения.

Переговоры сразу же пошли в эмоциональном, нервном тоне. Римляне вели себя спокойно, но контрагентов успокаивать не собирались, дух конструктивности здесь был неуместен. Пунийцы и нумидийцы с равным темпераментом доказывали свои права на спорные территории, которые действительно были спорными, так как на протяжении многовековой истории переходили из рук в руки. Однако в последние десятилетия карфагеняне превосходили военной мощью и нумидийцев, и ливийцев, а потому владели этими землями именно они, что давало им повод считать существующее положение вещей законным. В ответ нумидийцы совершали словесный экскурс на шестьсот лет назад и напоминали пунийцам, что они вообще чужаки в Африке и им ничего здесь не принадлежит, а захваченное силой у них теперь силой же и отобрали. Рассмотрение всевозможных документов от международных политических и торговых договоров до частных контрактов на покупку земли или поставки товаров тоже толком ничего не прояснили.

С точки зрения абстрактной справедливости ближе к правоте казались нумидийцы, как коренные африканцы, но, с другой стороны, пунийцы давно обжили район Лептиса и укоренились в нем, многие жители этой зоны особенно из среды знати ныне говорили на пунийском языке и вели свое происхождение от карфагенян. Вообще, римлянам, которые сами владели Италией, Сицилией, Испанией и Сардинией, была ближе позиция карфагенян, но Масинисса являлся их союзником. Первое выступало как субъективный фактор, а второе – как реальная сила.



Задача посланцев великой державы была не из самых достойных, но и не входила в число сложных: им следовало убедить обе стороны в недостаточности их доводов. Для таких титанов римской политики как Сципион и Цетег, это не составило труда. Когда же карфагеняне попытались возмутиться, Сципион намекнул на картину, увиденную им в порту, отнюдь не свидетельствующую об их честности. Пунийцы смутились, а Публий, развивая успех, уже прямо заговорил о том, как карфагенянами соблюдаются условия, предписанные им победителями, и потребовал, чтобы ему показали внутренние помещения гигантских городских стен. Еще во время войны он узнал от перебежчиков, что в этих стенах оборудованы казармы для наемников, конюшни, стойла для слонов, а также склады и оружейные арсеналы. Не подлежало сомнению, что там и сегодня можно обнаружить не менее любопытные вещи, чем возле военной гавани. Пунийцы заверили Сципиона в фанатически ревностном соблюдении ими римско-пунийского договора и начали улыбаться нумидийцам.

Видя, что они все поняли, Сципион несколько охладел к экскурсии в полости стен, но не отказался от нее совсем, оставив пунийцев под гнетом отрезвляющего от лишних амбиций страха. Он и сам не желал увидеть то, что от него здесь скрывали, поскольку, уличив пунийцев, вынужден будет поставить им невыполнимые условия и тем самым спровоцировать конфликт. Сейчас же первостепенное значение имело не накопление карфагенянами оружия и военной техники, а воспитание их в духе подчинения Риму.

К этой, важнейшей цели Сципион шел весьма уверенно. После его атаки из засады, пунийцы забыли гонор и теперь уже не столько думали о приобретениях, сколько чаяли сохранить то, чем обладали.

Заседание было отложено до прихода делегации из Лептиса. А когда, наконец, прибыла третья сторона и получила слово, всем сразу стало ясно, что пунийцы, делая накачку своим вассалам, слишком переусердствовали. Представители Лептиса рьяно, без какой-либо оглядки на собственную родину, отстаивали интересы Карфагена и тем самым выдали и себя, и карфагенян, обнаружив перед окружающими тайный сговор.

Сципион изобразил возмущение и потребовал организовать выездную комиссию на место событий, чтобы опросить простых жителей и выяснить их отношение к карфагенянам и нумидийцам. Пунийцев охватил ужас, когда они представили, как попранные ими ливийцы будут характеризовать пришлых господ, и они сделались еще покладистее. В это время нумидийцы украдкой стали намекать им, что они смогут договориться с Масиниссой о спорных землях без участия не в меру дотошных римлян, если только не будут очень скупиться. Как только речь зашла о торге, карфагеняне почувствовали себя в родной стихии и приободрились.



Теперь пунийцы хотели поскорее отделаться от римлян и потому предложили не принимать сейчас окончательное решение по рассматриваемой проблеме, чтобы «лучше изучить ситуацию». Полагая, что римляне могут не удовлетвориться таким итогом совещания, пунийцы принялись всячески их благодарить и хвалить перед народом за будто бы оказанную ими помощь в состоявшемся примирении с нумидийцами.

В итоге, Сципион, встреченный в Карфагене как герой, и покидал город героем. Он достиг поставленной перед его посольством цели, причем сумел повернуть дело ко всеобщему удовольствию, так, что пунийцы, ничего не добившись, были довольны результатом переговоров и изъявляли ему искреннюю признательность, ибо он не навредил им, хотя выявил немало возможностей для этого. Но при всем том, у Публия было скверно на душе, когда он взошел на палубу своей квинкверемы.

С точки зрения большой политики его поведение было безупречным как по применяемым средствам, так и – что самое главное – по своим целям. Да, он создал этот конфликт между Нумидией и Карфагеном, а теперь сделал его затяжным, как хроническая болезнь, однако при этом все заинтересованные стороны по большому счету только выиграли: Рим избавился от потенциального врага в лице Карфагена, Нумидия получила новые земли и военную добычу, а Карфаген, понеся некоторый ущерб, избежал гибели, неминуемой для него в случае третьей войны с Римом. Издержки формы исполнения своего замысла в виде двуличия и коварства Публий мог отнести на счет несовершенства ойкумены и утешиться тем, что ныне его деятельность более гуманна, чем пять – десять лет назад, а значит, мир, следуя выработанной им идеологии, движется к более разумной организации. И все же любой пунийских простолудин, узнав всю правду, сказал бы, что Сципион обманул его, а потому воспоминания о восторгах карфагенского плебса, провожавшего делегацию рукоплесканиями, являлись Публию укором.

Чуть позже, когда квинкверема вышла из гавани и начала удаляться от Карфагена, Сципион, глядя на темнеющий в туманной дымке гигантский человеческий муравейник, поймал себя на мысли, что ему безразлична судьба этого города, как безразлична и участь Нумидии, Испании и Греции. Прежде Публий жил интересами только одного Рима, и в этическом плане все было проще, теперь же он вместе со своим Отчеством вышел на средиземноморский простор, и с изменением масштаба деятельности вырос масштаб его личности, но еще более усложнились стоящие перед ним задачи, в том числе, и нравственные.

В думах об этом он провел большую часть времени пути, что облегчило ему тяготы дороги, но не сняло тяжесть с души.



Прибыв в Рим, Сципион отправил письмо Масиниссе, в котором поздравил его с блестяще проведенной операцией. Вскоре он получил ответ с подобными же поздравлениями в свой адрес.

8

В отсутствие Сципиона в Риме началась очередная атака против его соратников. Консул Луций Корнелий Мерула в упорном кровавом сражении одолел бойев и потребовал, как то было заведено, триумф. Его победа имела не большее и не меньшее значение, чем достижения Марцелла, и других галльских триумфаторов, но фамилия консула возбуждала Катона, как хиосское вино, и, оседлав любимую тему о злоупотреблениях знати, Порций галопом ринулся в атаку на Мерулу, а заодно и на всех прочих Корнелиев. Вопрос о триумфе сделался предметом жаркой дискуссии.

Любимая катоновская тема всегда находила отклик у сограждан, ибо знать действительно злоупотребляла, злоупотребляла социальным положением, богатством и силой своей кастовой сплоченности. Особенно возросло влияние нобилитета в ходе Пунической войны, когда именно сенат, взяв на себя руководство государством после катастрофических поражений ставленников плебса, сумел мобилизовать все ресурсы Республики для отпора врагу и привести народ к победе. Завоеванный в те годы авторитет сенаторы теперь использовали в собственных интересах, преследуя порой корыстные цели. Разобшенная масса плебса, лишившаяся лидеров и дискредитированная, не могла выступать в качестве организованной оппозиции, и ее безысходное недовольство создавало переполненный, клокочущий ненавистью резервуар отрицательной общественной энергии, из которого некоторые политические деятели черпали силу для реализации своих амбиций. Особенно ловко это получалось у Катона, научившегося вовремя открывать кранчики людских душ и ядовитой струей их страстей обдавать идеологических противников.

Вот и теперь Порций рьяно нагнетал социальную напряженность, крича в уши всем и каждому, что Корнелий жаждет почестей за пять тысяч погубленных им италийцев. «Так пусть он идет к галлам и справляет триумф у них, потому как его победы на руку варварам, но никак не нам!» – гневно восклицал он.

Надоумило Катона провести эту акцию ставшее известным ему частное письмо Клавдия Марцелла к одному из сенаторов. Марцелл служил легатом в галльской провинции и, страдая от невозможности повторить отцовское достижение пятикратного консульства, ревниво присматривался ко всем нынешним консулам. С великим удовлетворением он находил всяческие изъяны в действиях полководцев и старал-



ся внушить окружающим, будто он, Марцелл, подобного промаха не допустил бы. В присущем ему стиле Клавдий раскритиковал поведение Корнелия Мерулы в битве с бойями. По его мнению, консул запоздал с вводом в бой резервов и несвоевременно дал команду на преследование отступающего врага, в результате чего римляне понесли чрезмерный урон, а галлы успели спастись в лесу.

Увидев, сколь успешно Катон разрабатывает «галльское дело», Фульвий, Валерий и Клавдий снова на некоторое время подружились с забиякой, тем более, что его затея не только грозила авторитету Корнелиев, но и давала шанс лишний раз отличиться принципиальностью их другу Марцеллу. Вдохновленный неожиданной удачей, Марк Клавдий сочинил целую серию писем, подобных тому, которое возбудило шум, и веером рассыпал их по курии. Дюжина сенаторов ходила меж скамей палаты заседаний и с обличительным пафосом потрясала табличками «вскрывающими правду о консуле».

Мерула решил срочно прибыть в Рим, чтобы лично навести там нужный ему порядок. Через своих столичных друзей он упросил второго консула Минуция Терма передать ему право проведения выборов, выпавшее Минуцию по жребию, и с этим поводом явился на Марсово поле. Встреча с сенаторами поначалу не предвещала ему ничего хорошего, и тогда за дело взялся корифей интриг в штабе Сципиона Квинт Цецилий Метелл. Метелл выступил будто бы против Мерулы и, раскритиковав его горячность, порекомендовал сенату отложить вопрос о триумфе до прибытия в столицу Клавдия Марцелла, якобы за тем, чтобы, выслушав обе стороны, принять взвешенное решение, выгодное не консулу или легату, а самой справедливости и, следовательно, государству. Такой мерой Цецилий рассчитывал притушить конфликт на период предвыборной борьбы, этапом которой он, несомненно, и был задуман противниками. В таком случае враждебная группировка потеряла бы политическую инициативу на время избирательной кампании, а затем, после выборов, триумф Мерулы уже никого, кроме плебса, не интересовал бы, и он получил бы возможность без особого сопротивления осуществить свою мечту. Ненавистники Корнелиев в ответ погромели грозными словами и смирились, поскольку возразить Цецилию было нечего, однако они дали понять, что их злоба – не благовония и от времени не выдохнется, а потому триумфу Мерулы не бывать.

Вообще, Рим встретил Сципиона по его возвращении из Карфагена недобрым молчанием. Только Катон выказал ему свое неослабное внимание и принялся будоражить народ рассуждениями о том, как Сципион затянул конфликт между Карфагеном и Нумидией вместо того, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией и разом покон-



чить с извечным врагом. Именно тогда он и произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу о том, что Карфаген должен быть уничтожен. Но плебс не желал войны с Карфагеном, а потому злословие Порция оказалось менее эффективным, чем обычно.

Единственным отрадным событием для Публия стал успех Луция Эмилия Павла в исполнении эдилитета. Вместе с коллегой – молодым энергичным молодым человеком Марком Эмилием Лепидом – также представителем лагеря Сципиона, Павел раскрыл очередную махинацию предпринимателей и осудил многих раззолоченных преступников за спекуляции взятыми в аренду государственными землями. Совсем недавно состоялся суд над банкирами, жиревшими благодаря прорехам в законах по части ограничения ссудного процента на стыке прав римских граждан и латинян, теперь же на скамье подсудимых оказались не менее упитанные скотопромышленники, также нашедшие щели в здании государства, через которые можно было сосать кровь народа. На вырученные деньги эдилы украсили храм Юпитера и соорудили два портика. Простые люди по достоинству оценили деятельность обоих Эмилиев и были благодарны им как за обуздание алчности, так и за благоустройство города.

Жена Сципиона давно протезировала брату и терзала Публия пуще Катона, требуя обеспечить для него скорейшее восхождение на консульский пьедестал. Сципиону и самому нравился рассудительный и честный Луций, казавшийся, правда, несколько медлительным в поступках и мыслях, но очередь кандидатов на должности, включавшая героев африканской и испанской кампаний, а также столичный политический авангард, не позволяла Публию найти для него вакансию, кроме участия в аграрной комиссии. И вот теперь Эмилий Павел, наконец-то, достиг первой курульной должности и, отличившись при ее исполнении, сделал заявку на успешное продолжение карьеры. Эмилия торжествовала, но при своем гоноре она не могла долго чему-либо радоваться и вскоре начала еще агрессивнее атаковать мужа. Сципион пообещал, что в течение четырех – пяти лет предоставит Луцию вожаемое для нее консульское кресло. Такой срок вызвал у женщины крайнее негодование. Она попрекала его, в частности, стремительной карьерой Тита Квинкция. «Фламинина ты сделал консулом прямо из квесториев, а Луция томишь уже десять лет! Значит, тебе какой-то Квинций дороже собственной жены! – возмущалась она, с истинно женским талантом источая яд всеми порами своего существа. Публий пытался отшутиться, говоря, что и саму ее возведет в консулы или назначит диктатором, если только она раньше не затравит его до смерти своими претензиями, но ничего не помогало, и тогда он резко сказал: «Ищи себе мужа, кото-



рый сделает это быстрее». Тут Эмилия опомнилась и притихла, но эта фраза оставила глубокую трещину в их отношениях.

К предстоящим выборам Сципион подошел более серьезно, чем в предшествовавшие годы. В консулы он наметил Публия Корнелия Сципиона Назику и Гая Лелия, а в качестве резерва выдвинул Гнея Домиция Агенобарба и Мания Ацилия Глабриона. Были еще кандидаты от нейтральных фамилий, а именно: Луций Квинкций Фламинин и Гай Ливий Салинатор. Устрашенная массированным наступлением партии Сципиона оппозиция на этот раз не выставила своих соискателей, заранее отказавшись от борьбы.

Сципион и его товарищи, будучи уверенными в успехе, строили грандиозные планы на будущий год, намереваясь как следует осадить Антиоха. Но то, что оказалось не под силу недругам, смогли сделать друзья: в борьбу со Сципионами вступили Квинкции.

Тит Квинкций недавно справил триумф за великую победу, и его брат, служивший у полководца легатом, имел право рассчитывать на высшую магистратуру, тем более, что претура была им пройдена несколько лет назад. Квинкции торопились воспользоваться свежей славой, пока ее благоуханный аромат еще не выдохся на ветру времени, и сделали заявку на консульство. Правда, увидев ход принцепса, они сникли и поставили себе задачей хотя бы обозначить Луция как претендента, чтобы к следующему году он получил своего рода право давности на заветную должность. Однако неожиданно-негаданно к ним пришла помощь от преторско-эдилской массы сената и плебса. Это старался Катон. Порций не мог открыто выступить за Квинкциев, чтобы не дискредитировать себя как врага нобилей, да те и не приняли бы его услуг, потому он действовал через друзей, а сам оставался в тени, храня неестественное для него беспристрастие. Поддержка низкородных сенаторов не очень польстила кичливым Квинкциям, а вот к проявлениям народной воли они прислушивались внимательно.

Чаяния народа сформулировали в обшарпанном, скромном до неприличия табличке Катона всяческие Порции, Титинии, Лицинии Лукуллы, Петилии, Неви и Актеи, затем выработанные лозунги провозгласили на форуме кучки их клиентов, действуя и порознь, и вместе. «Не хотим Сципионов! – кричали они. – Хотим Квинкциев! Сципионы – это наше прошлое, а Квинкции – настоящее и будущее! Нет возврата во вчерашний день, обратим взоры вперед!» Неорганизованная плебейская масса насторожилась и через час – другой подхватила чеканные фразы о будущем, ибо кто же захочет пятиться назад, в прошлое! Скандирование фамилии победителя Филиппа воодушевило солдат балканской экспедиции, еще не успевших разбрестись по родным селениям



после триумфа и прогуливающих жалование в столичных трактирах. Несколько тысяч этих молодцов обосновалось на форуме и, ревниво следя, чтобы на площадь не проник кто-либо из чужих, громогласно восхваляло своего императора.

Фабии, Фурии, Валерии и Клавдии тоже приободрились и, не сумев пробиться к консулату, утешались теперь местью Сципиону, всячески содействуя его соперникам. Причем не столь продуктивна была их прямая помощь, сколь эффективным оказалось возбуждение тщеславия Квинкциев. Они то и дело подзуживали братьев, насмехаясь над их зависимостью от Сципионов, или, наоборот, выражали им притворное сочувствие по этому поводу. «Как же так? – сокрушенно сетовали Фульвии и Валерии. – Деянья вы творите большие, а почет вам меньший». «До каких же пор будут царствовать в Риме Сципионы?» – гневно откликнулись Фабии и Клавдии.

Первым заболел горячкой тщеславия более простоватый и грубый Луций, который в свою очередь обрушился на Тита, обзывая его клиентом Сципиона. «Вспомни рукоплескавшую и боготворившую нас Грецию! – возмущенно обращался он к брату. – А кто такой Сципион? Победитель каких-то варваров!» Тут залихорадило и Тита. Он вообразил себе, как вдруг превзойдет в чем-то самого Сципиона Африканского, и голова его закружилась, а из глаз посыпались искры. В тот момент он понял, что уже давно жаждет этого, только прежде таил сокровенную мечту в глубине души, прикрыв ее сознанием долга перед благодетелем. Теперь же он с загадочной, неопределенной улыбкой, празднуя победу над самим собою, вышел на форум и стал открыто агитировать за брата. Люди, видя, как к ним обращается с просьбой недавний триумфатор, расчувствовались до сладких слез. Тот, кто только что возвышался над ними в триумфальной колеснице, ныне открыто выказывает свою зависимость от них, в чем-то признает их превосходство над собою! За такую утонченную лесть плебс мог согласиться на что угодно. Так иные готовы рабствовать, лишь бы их называли господами.

Сципион не хотел просить того, чего мог потребовать по праву. Поведение Фламинина вполне соответствовало римским обычаям, и соотечественники не усматривали в нем ничего недостойного. Но Публий перерос обычаи и не желал пресмыкаться даже перед всесильным римским народом. По его мнению, люди должны внимать доводам, а не бросаться вслед за порхающими эмоциями, и ценить прямоту, но не гибкую лесть. Он тоже выступал на форуме, но не просил за Назику, а доказывал его права на консульство и целесообразность избрания на высший пост в столь тревожный для государства период выдающегося



человека. Характеризовать Сципиона Назику было легко, ибо еще в юности его признали лучшим гражданином, и в таком качестве он встречал в торжественной процессии символ Матери богов, доставленный из Малой Азии, а в зрелом возрасте в ранге претора одержал значительные победы в Испании.

В первый момент, когда Сципион узнал об активности Тита Фламинина, он хотел пригласить его к себе, чтобы открыто обсудить с ним возникшие затруднения и совместно выработать кадровую стратегию на ближайшие годы. Квинций ныне стал заметной политической фигурой, и Публий признавал это, будучи готовым сотрудничать с ним почти на равных. Но Тит избегал Сципиона: сограждане чрезмерно раздули их соперничество, возвели его в принцип, и он страшился любого компромисса, боясь уронить свою честь. Отчужденность Фламинина, вызванную растерянностью и смущением, Сципион сгоряча принял за проявление надменности и оскорбился. Он отказался от мысли о личных контактах и с мрачной решимостью ринулся в бой. Такая враждебность в свою очередь отрицательно подействовала на Тита и избавила его от угрызений совести, он раскрепостился и заблистал всеми гранями своего дипломатического таланта, очаровывая соотечественников столь же успешно, сколь недавно – греков.

Но однажды противники все же неловко столкнулись на форуме в присутствии большого числа зевак. Сципион, морщась от досады, попытался молча пройти мимо, понимая, однако, что тем самым легализует ссору с Квинцием и распространит ее за пределы предвыборной борьбы, но тут Фламинин неожиданно для самого себя, не вполне осознавая, делает ли он ловкий политический трюк или совершает действительно благородный поступок, шагнул прямо к Публию и улыбочиво поприветствовал его. Усердно скрывая радость, Сципион ответил менее доброжелательно, чем хотел. После первых традиционных фраз о здоровье, Тит сказал:

– Похоже, Публий, предвыборный ажиотаж вырвался за пределы разумного, и в народе бушуют нездоровые страсти.

– Весьма похоже, Тит, – согласился Сципион, пока еще не догадываясь, чего хочет собеседник, – весьма похоже, что страсти нездоровые, ведь многие от них бледнеют, а другие перестают краснеть.

Фламинин тонко улыбнулся с видом эстета, оценившего остроуту, и продолжал:

– Может быть, нам, Публий, утихомирить этот поток эмоций, перегородив часть русла, чтобы воды людских желаний текли размеренно и спокойно? Может быть, мне, Публий, посоветовать брату Луцию снять свою кандидатуру и потерпеть до следующего года?



В толпе, собравшейся вокруг них, пошел гул, в котором смешались удивление, восторг и возмущение, но шум тут же стих, ибо уши, сколь это ни поразительно, одолели уста: все напряженно ждали ответа.

— Ну что ты говоришь, Тит, — внушительно сказал Сципион, честное соперничество лучших людей — важнейший источник совершенствования государства. Стремиться к почету у сограждан и к власти ради самореализации — дело благородное... Я ни в коем случае не рекомендовал бы Луцию отступать. Да, и потом, разве допустимо лишать народ возможности выбора достойнейшего из достойных?

— Ты успокоил меня, Публий, — удовлетворенно заметил Квинкций. — а то мы с братом сомневались: способны ли мы претендовать на столь высокое место, имеем ли право на такую честь... Но теперь, после одобрения наших планов таким великим авторитетом, мы будем смелее.

— Будьте смелее. Конечно, вы способны, — холодно подтвердил Сципион, — вспомни, как ты сам стал консулом, всем на удивление вознесшись на вершину прямо из квесториев.

Только что возликовавший Тит снова осекся от этого напоминания об услуге, оказанной ему Сципионом, и примолк, закусив губу. А Публий пошел дальше.

Сципион тоже не понял поступок Квинкция: было ли это продуманное коварство или добрый порыв, при исполнении которого Тит немного слукавил. Но как бы там ни было, шаг Фламинина, оказался очень удачным. Если бы подобный разговор состоялся в атрии или столовой Сципиона, итог, скорее всего, был бы противоположным, но на форуме Публий никак не мог дать Квинкцию иной ответ. Народ же воспринял этот жест как проявление высшего благородства и готов был вопреки законам избрать в консулы даже двух Фламиниев сразу.

С этого дня состязание Сципионов и Квинкциев развернулось с особой широтою, как бы получив на форуме официальное одобрение народного собрания. Теперь даже Катон не стерпел позы нейтралитета и открыто, на виду у всех, рванулся в самую гущу битвы. Его набухший ядом язык более не мог помещаться во рту и искал уши сограждан, чтобы влить в них отраву. Причем если Квинкций в меру приличий хвалили себя и не говорили ничего дурного о Сципионах, то Катон со своими многочисленными единомышленниками не упоминал вовсе о Квинкциях и говорил только плохое о Сципионах.

Чем дальше люди отходят от своей природы, основанной на морали субъектов коллективного отбора, чем мельче они дробят духовное величие на множество разновидностей ползучей хитрости индивидуального приспособленчества, тем сильнее они ощущают где-то в забытых глубинах души собственное ничтожество. Не оттого ли они с мучительной



страстью рядятся в пурпур и парчу, что тщатся скрыть внутреннее убожество? В безумной мании бежать от самих себя, они жадно хватают символы престижа и гордостью за свои дворцы и золотые россыпи стремятся заглушить презрение к самим себе как таковым. Но отчужденные элементы престижа добавляют им вес лишь в глазах подобных же страдалцев, а потому не дают полноценного удовлетворения. Успокоение же этим несчастным, страждущим над собственными пороками, приносит лишь злорадство, утверждение во мнении, будто все люди родственны червям. Слова «подвиг», «герой» и «гений» крушат их низколобые черепа страшнее топоров, все возвышенное терзает их, преследует кошмаром до тех пор, пока они не вымажут его родною грязью и не обратят в посмешище. Великое им не доступно, они пресмыкаются перед многочисленным. У них психология вырождения, их эгоистические идеалы несут глобальную гибель. Когда категория таких людей начинает преобладать в составе какого-либо сообщества, оно умирает, становясь добычей соседей. Однако то, что на развалинах вырастают новые цивилизации, свидетельствует о реальности понятий «подвиг», «герой», «гений» и их первопричины – патриотизма как высшей ценности.

В Риме подобная людская масса, тянущая общество вниз, еще не имела перевеса, но уже составляла солидную прослойку, вполне достаточную, чтобы по наущению Катона запачкать Сципиона. Активность злопыхателей будоражила множество представителей промежуточных типов человеческих характеров, всевозможных нравственных кентавров, циклопов и химер, которые не испытывали ненависти к Сципиону за слишком уж яркие победы, но устали от его славы, радость которой не способны были разделить микроскопическими обывательскими душами. Благодаря умелому руководству и самоотверженному труду Порция, вся эта масса обрушилась на Сципионов и затоптала их авторитет в навоз словесных испражнений.

На выборах победил Фламинин.

По своим человеческим и деловым качествам Сципион Назика явно превосходил Луция Квинкция, но разве это может интересовать народ, когда он превращается в толпу? Не будь Квинкция, разъяренная чернь сейчас избрала бы даже Ганнибала, лишь бы уязвить Сципиона. Более того, антисципионовская кампания возымела такое действие, что и Гай Лелий не прошел в консулы от плебеев из-за своей дружбы с Публием, и вторым консулом стал Гней Домиций.

Расстроенный Сципион при объявлении итогов комиций с надеждой смотрел на Гнея, взглядом прося его не довершать разгрома и отказаться от должности в пользу Лелия. Он, Сципион, и вдруг просил! Но Домиций сиял счастьем и раскланивался перед толпою, не замечая Сципиона.



9

Назика несколько дней проклинал плебс, жаловался, что не переживет такого позора и грозился броситься на меч или по примеру Кориолана уйти к Антиоху и воевать против Рима.

— Это — по примеру Ганнибалы, а не Кориолана, — усмехнувшись, сказал ему Публий и посоветовал не валять дурака, а готовиться к большим делам.

Поражение ожесточило Сципиона, и он сказал друзьям, среди которых теперь не было Лелия, что враги здорово его разозлили, а потому им скоро придется как следует познакомиться с десницей, сокрушившей Карфаген. По его прогнозам, ситуация в Риме в ближайшее время должна была измениться, так как в гнусной предвыборной травле его кандидатов оппозиция растратила резервы и обнажила свое уродливое лицо. «Перестаравшись в ненависти, плебс скоро раскается и возвратится к нам, — говорил он, — мы же используем его силу в благих целях. Хватит нам валяться на пиршественных ложах и воевать с пирогами, пора выходить на поле брани!»

Встретившись вскоре после комиций с сияющим Титом Фламинином, Сципион хмуро, но напористо поинтересовался, чему тот радуется.

— Ну, как же? — хитровато усмехаясь, удивился Квинкций, довольный, что Публий сам с ним заговорил. — Приятно, когда государство ценит тебя не меньше, чем других.

— Государство тебя ценит, но ты об этом, кажется, забыл, а вот плебс показал лишь то, что других он ценит ниже, чем тебя. И торжествовать тебе нечего: победил не ты, а Катонново отребье!

— Жестковато ты высказываешься о консуляре и его друзьях, — не без ехидства заметил Тит.

— Если мы станем мешать друг другу, знаешь, сколько завтра будет таких консуляров?

— Ну, так что же здесь плохого, ведь твой Лелий не знатнее Порция? — притворно удивился Квинкций, шурясь от внутреннего смеха и едва скрывая улыбку, так как вражда Порция со Сципионами все еще воспринималась нобилиями как анекдот.

— Ты, я вижу, якшаясь со своими греками, разучился говорить серьезно.

— Как, с моими? — изумился пуще прежнего Тит. — С твоими греками, ведь ты, Публий, просто дал их мне взаймы.

— Что верно, то верно, — тоже улыбнувшись, согласился Сципион, — а потому пора бы вернуть их мне.

— Обязательно! Сразу, как только мой Луций добудет азиатов.

— Азию не трогай, Азия не про вас.



- Как скажешь, – без запинки согласился Квинций.
- У самого какие планы?
- Буду радоваться жизни, то есть служить Отечеству. А может быть, пойду легатом к брату и стану радоваться и служить в лагере.
- Не за горами выборы цензоров, так что води себя хорошо.
- Так я же без твоего высочайшего соизволения, Африканский, ничего не предпринимаю.
- Ладно уж, хитрец, ступай, сегодня с тобой разговаривать о деле невозможно: кокетничаешь, как девица, глазки строишь...
- Это тлетворное влияние Эллады, греки ведь, знаешь, какие...
- Ты брось такие отговорки. Вот я же не сделался торгашом, побывав в Карфагене, не сменил веру в Юпитера и ларов на поклонение пунийскому сундуку.
- Так ли, Африканский? А дом-то какой себе отгрохал!
- Да я же форум украшал!
- Вот и ты, Публий, повеселел и тоже стараешься отшутиться.
- Значит, и ты остротами заменяешь доводы, а стало быть, признаешь неприглядность предвыборного фарса?
- Что было, то прошло.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

С Лелием отношения разладились более основательно, чем с Квинцием. Конечно же, Гай Лелий выдвинулся благодаря Сципиону, но он и сам имел неоспоримые достоинства. Гай был прекрасным полководцем и умел ладить с людьми всех уровней, классов и народностей. Его любили и солдаты, и городской плебс, и сенаторы, а также испанцы, нумидийцы, греки и пунийцы. За ним числилось немало заслуг, поэтому он твердо рассчитывал на консульские фасы и провалился на выборах только из-за принадлежности к лагерю Сципиона. Лелий с детства привык идти за Публием, но если раньше он полагал, что тот прокладывает ему путь к славе, то в последнее время Гаю казалось, будто Сципион загораживает ему дорогу. На него давил авторитет принцепса, и рядом с этой громадой он терял самого себя. Его уже знали чуть ли не во всем мире, но на вопрос о нем: «Кто это?» – навряд ли кто-нибудь ответил бы: «Гай Лелий, сильный военачальник и политик, умный и обаятельный человек, один из столпов государства», но всякий сказал бы: «Это друг Сципиона Африканского». Когда-то такая аттестация воспринималась им как честь, но потом стала тяготить и даже угнетать. Он не раз думал о том, как оценила бы его Республика, если бы над ним не возвышался Сципион. Правда, пока их дружба приносила добрые плоды, Лелий мирился с таким положением, но когда из-за нее рухнула его заветная мечта, она стала нестерпима.



Как у всех видных людей невысокого происхождения, у Лелия было ранимое самолюбие, и он очень тяжело переживал неудачу, даже заболел. Публий несколько раз приходил проведывать друга и по мере возможностей старался его утешить. Он рассказал ему, как некогда лечил Масиниссу от чар Софонисбы. «Но ведь консульство — не жена, — говорил он, — вот я, например, и с одной Эмилией не справляюсь, консулатов же было два, а с годами проконсульств — даже десять, и ничего. Пройдет лето, народ одумается, поймет, кого он потерял, и ты займешь свое законное кресло. Еще и надо мною покомандуешь». Но Лелий слушал Публия плохо, раздражался и говорил, что больше не подвергнет себя подобному унижению, или вовсе прерывал его и просил дать покой.

Через месяц Лелий поднялся с ложа и вернулся к обычной жизни, но выглядел поблекшим, словно светило ему не солнце, а луна. От Сципиона он отдалился, но не примкнул к его врагам, хотя Фульвии и Порции, назойливо маневрировали вокруг него, разбрасывали приманки, рыли ямы и ставили сети.

10

Сосредоточившись на борьбе за консульство, Сципион выпустил из виду выборы преторов, тогда как оппозиция пошла в наступление именно на этом участке политического фронта. В результате, в числе шести новых преторов оказался только один человек Сципиона — Марк Бебий, брат легата африканского корпуса Луция Бебия, некогда возглавлявшего рискованное посольство в Карфаген. Упустив магистратскую власть, партия Сципиона попала в очень сложное положение. На Востоке сгушались тучи, и, несомненно, консулы потребуют в качестве провинции Грецию. Тот же, кто поведет войну с Антиохом, будет задавать тон и в Риме, точно так же, как Сципион, взяв в свои руки бразды правления Пунической войной, одновременно подчинил себе и всю политическую жизнь государства. Кроме того, восточная кампания и сама по себе имела огромное значение и могла принести славу, соизмеримую с честью победы над Карфагеном, поэтому для всех партий это предприятие являлось не только могучим средством самоутверждения, но и заветной целью. Итак, уже пошатнувшейся группировке Корнелиев ныне и вовсе грозил крах. Правда, оба консула не были людьми, чуждыми Сципиону, но Квинкции имели претензию на самостоятельную роль в политике, и в случае успеха, они, конечно же, сколотили бы собственную группировку, а Домиций, хотя и представлял меньшую опасность, все же не вполне поддавался контролю Сципиона. Азиатская тема, помимо партийных, затрагивала еще и личные интересы Публия, поскольку Сирийское царство виделось ему последним до-



стойным объектом для приложения его сил. Но, стремясь к руководству в войне с Антиохом, он думал не столько об умножении собственной и без того непомерной славы, сколько об утверждении своей идеологии и сопряженном с нею благе Отечества. Публий допускал мысль, что и другой полководец способен одолеть Антиоха, хотя одно только присутствие в царском штабе Ганнибала уже требовало его участия в этом деле, но даже в случае победы кого-нибудь из Квинкциев или Фульвиев, а тем более Катона, отношения с азиатскими народами могли бы сложиться столь дурно, что побежденными они стали бы опаснее для Рима, чем если бы оказались победителями.

Ко всем этим доводам добавлялась злость Сципиона из-за незаслуженного поражения на выборах. Поэтому Публий настроился на борьбу так, словно перед ним вновь стоял с войском Ганнибал. Он мобилизовал силы своей партии, вывел на улицы клиентов, призвал из ближайших селений ветеранов африканской и испанской войн. Каждое из этих подразделений политической партии Сципиона действовало в соответствующей социальной среде, внедряя в умы сограждан его идеи.

Задачей данного этапа была нейтрализация противника. Увы, могучему племени Корнелиев приходилось держать оборону и защищать свои позиции от агрессивного штурма неприятеля. А в качестве этих позиций сейчас выступала Греция. Группировке Сципиона требовалось во что бы то ни стало задержать нынешних консулов в Италии, не допустить их на Балканы, дабы, выиграв следующие выборы, поставить во главе экспедиции своих людей.

Обстановка на Востоке позволяла надеяться на отсрочку войны хотя бы на год, однако полной уверенности быть не могло. Желая отвлечь Антиоха от военных приготовлений, сенат под водительством Сципиона снарядил в Азию очередное посольство из трех Публиев: Сульпиция, Виллия и Элия. А для обуздания воинственных настроений в Риме согражданам активно, но ненавязчиво внушалась мысль, что ни в коем случае нельзя провоцировать Сирию на конфликт, а потому недопустимо всякое маневрирование боевой силой вокруг Греции. Агитаторы Сципиона объясняли, что римляне выигрывают войны благодаря справедливости своих действий. «Когда Антиох вторгнется в Европу, эллины сами призовут нас на помощь, – говорили они, – и тогда местные народы будут нашими союзниками. Но, если мы первыми ступим на балканскую землю, клевета, распространяемая о нас этолийцами, уцепившись за этот факт, разрастется на нем, как плющ на стене, и те, кто сегодня с нами в дружбе, завтра станут нашими врагами».

Недруги Сципиона, пытаясь уличить его в непоследовательности, напоминали, как два года назад он, будучи консулом, призывал усилить



балканский корпус, чтобы воспрепятствовать вторжению Антиоха, тогда как теперь будто бы толкует противоположное.

«Именно, будто бы, — отвечал на это Сципион. — Два года назад ситуация была иной: во-первых, наше войско стояло в Элладе, и два в нем легиона или больше — никого не интересовало, а во-вторых, тогда мы владели ключевыми пунктами в стране и в случае боевых действий получили бы преимущество, теперь же стратегические позиции у нас с Антиохом равноценны, и, опередив сирийцев на какой-то месяц, мы ничего не выиграем, но много прогадаем».

Потенциал Сципионовой армии был очень велик, и ее фронт ныне выглядел весьма внушительно, оппозиция же на этот раз выступала неорганизованно, почивая на лаврах после недавней победы. Клан Квинкциев явно уступал Корнелиям и не мог долгое время выдерживать конкуренцию с ними. Катон всем надоел в предвыборную кампанию и сейчас от него отмахивались, как от назойливой осы, а Валерии или Фурии не горели желанием ратовать за Квинкция или Домиция и в вопросе об Азии были солидарны со Сципионом, надеясь на будущий год протолкнуть в консулы своего кандидата. Поэтому, когда новые магистраты вступили в должность и консулы заявили в сенате о намерении двинуть свои ретивые стопы за Адриатику, они встретили мощное сопротивление. Им предлагалось остаться в Италии, чтобы завершить войну с лигурами и галлами.

Луций Фламинин выступил с речью, обосновывая необходимость вторжения в Грецию, но не уговорил никого, кроме десятка сидевших в зале Квинкциев, зато убедил брата Тита в том, что без поддержки партии Сципиона они, Фламинины, мало чего стоят. Домиций тоже поведал звонкими патриотическими фразами о своем желании прославиться, но с еще меньшим успехом. В угаре честолюбия Агенобарб даже обратился к народу и попытался воздействовать на него трансцендентным фактором. Он заявил, будто бык на его ферме рано поутру человеческим голосом молвил: «Рим стерегись!» Друзья и подхалимы консула тут же истолковали это сногшибательное событие как указание богов на угрозу с востока, забыв при этом, что в Риме истолкованием занимаются уполномоченные на то специалисты. Жрецы же только посмеялись над Домицием, ибо Великий понтифик был близким другом Сципиона, однако перед народом сделали строгие лица и назначили умиловительные молебствия богам.

Потуги консулов вызвали лишь снисходительное сострадание к ним за не востребовавшее честолюбие и ничего более. Они оба получили назначение на север. Причем Домиция Сципион задержал в столице под предлогом создания резерва на случай активизации Антиоха, а на са-



мом деле для того, чтобы он не помешал завершить войну с лигурами Квинту Минуцию Терму – давнему другу и соратнику Публия. Для самого же Минуция Сципион не только добился продления полномочий, но и подкрепления его войску.

II

Устроив должным образом дела в Риме, Сципион обратил взор на Азию. Он мог твердо рассчитывать на то, что через год кто-то из его ближайших друзей возглавит восточную кампанию, а значит, ему предстоит так или иначе столкнуться с Антиохом. Поэтому Публий решил, не теряя времени, заранее изучить царя, для чего надумал отправиться в Азию в составе посольства Виллия Таппула. При этом у Публия возникла еще одна идея, реализация которой требовала именно его присутствия в царской резиденции.

Римские делегации обычно состояли из трех сенаторов. Не желая нарушать традицию, Сципион попросил Публия Элия Пета уступить ему место в посольстве и без труда уговорил своего друга согласиться.

Такое событие, как поездка принцепса в Азию, не могло остаться незамеченным и вызвало немалый ажиотаж и в сенате, и в народе. Но Сципион утихомирил страсти, объяснив, что глобальных планов на предстоящий визит он не строит и в его намерения входит лишь знакомство с будущим противником. Вообще, Публий всячески давал понять, что ответственность за переговоры остается на Виллии и Сульпиции – признанных авторитетах восточной политики, с одной стороны, не желая лишать их первоначальных полномочий, а с другой, стараясь избежать ситуации, когда второе подряд его посольство, решая локальные задачи, выглядело бы в глазах народа безрезультатным. Однако каждое свое высказывание на эту тему Сципион заканчивал интригующей фразой: «Впрочем, некоторую пользу Отечеству я надеюсь принести уже сейчас. Но распространяться об этом пока не стоит».

В конце марта три Публия с многочисленной свитой, достойной видных консуляров, выступили из Рима по Аппиевой дороге, держа путь в Брундизий, где их ждала быстроходная квинкверема.

Сципион исходил и изъездил практически все Западное Средиземноморье: побывал в Галлии, Испании, Нумидии, Карфагене и Сицилии, но на Восток отправлялся впервые. Когда дома все в порядке, приятны дороги дальних путешествий, ум не отягощен думами о насущном и устремлен вперед, навстречу всему новому. Ныне путь Публия лежал в те края, где не раз бродило его воображение, откуда к нему пришли теоретические знания по многим областям жизни, где зародилась человеческая мысль, вырвавшись на свободу из утробы утилитарного бы-



та. На этот раз деревянная фигура нимфы, стоящая на носу его корабля, смотрела не на дикую Испанию, кишашую воинственными племенами, не на великую в своей низости империю наживы – Карфаген, а на Грецию, где было все: варварство и цивилизация, воинственность и трусость, небесное сияние идеи и ползучая корысть, величие и низость, а сверх того, все то, что способен измыслить человеческий разум, и еще гораздо больше.

Публий хорошо знал эту страну. Греция являлась ему в различных облициях, когда он бывал в Таренте, Массилии, Тарраконе, Сиракузах, в самом Риме и даже в Карфагене, она обращалась к нему с папирусных свитков собственной библиотеки, ораторствовала устами Демосфена, Сократа, Лисия, поучала мудростью самой жизни, запечатленной в исторических трудах Фукидида, Геродота, Ксенофонта и Тимея, пела голосами лирических поэтов и страдала стихом трагиков, она приходила к нему мраморными ногами скульптур, рисовалась взору архитектурными линиями перистилей и портиков, окружала уютom домашней обстановки, украшенной декоративными безделушками. Греция давно сплелась в тесных объятиях с Италией, и Публий сам не всегда осознавал: что в нем латинское, а что греческое. Но при всем том он еще никогда не был в Греции, на той земле, каковой в первую очередь принадлежало это название, не был там, где ключом бил источник удивительной цивилизации, который растекался благодатными струями по всему Средиземноморью.

Однако ознакомиться с Грецией, как того хотелось, Публию не довелось. Напряженная обстановка в этом регионе вынуждала римлян торопиться с исполнением возложенной на них миссии, которая, хотя и не могла в корне изменить ситуацию, все же была необходима. Особенно встревожили послов сведения, полученные в небольших греческих городках, где они останавливались для пополнения ресурсов экспедиции. Там местные друзья римлян сообщили им всевозможные подробности о подрывной деятельности, которую вели в Элладе этолийцы.

Этолия почти не расширила свои владения в ходе кампании Тита Фламинина, и с точки зрения ее жителей это неопровержимо свидетельствовало о коварстве римлян. Вопиющей неблагодарностью казалось им то, что, изгнав из Греции Филиппа, римляне отдали Фессалию фессалийцам, Ахайю – ахейцам, а Этолию – этолийцам, и только. Возмущение обиженных росло не по дням, а по часам. У ненависти, как и у любви, собственная, иррациональная логика: когда легионы Фламинина стояли на Балканах, этолийцы, тыча на них пальцем, подвергали обструкции все миролюбивые заверения римлян, теперь же, с выводом италийского войска из Греции, римляне, в их изображении, сделали



еще опаснее. Оказывается, даже самим именем Рим давит на греков так, что они задыхаются, как в неволе. «Уход латинян – всего лишь красивый обман, и в любой момент они могут вернуться, – пророческим тоном вещали стратеги этолийского союза, справедливо полагая, что стоит только им, этолийцам, пойти войною, скажем, на ахейцев, как тут же явятся римляне и водворят их обратно в границы своей прискучившей бесплодной страны. О какой уж тут свободе может идти речь, если нет никакого простора для грандиозных замыслов! Вытрясая из рваного, заношенного слова «свобода» перлы своей пропаганды, этолийцы внушали грекам, что эту самую свободу могут им дать только сирийские завоеватели во главе с Антиохом Великим, который уже осчастливил массированным вторжением немалые области царства Птолемея, а теперь зарится сверкающим добротой взором на Грецию. Готовя общественное мнение в Элладе к покорству пред азиатским агрессором, этолийцы не забывали и о материальной стороне задуманного предприятия, вполне сознавая, что меч тяжелее любого слова, а сарисса острее самого едкого сарказма. Они отправили посольства к трем царям, на чью помощь рассчитывали в первую очередь: к спартанцу Набису, Филиппу Македонскому, ну и, конечно же, к самому Антиоху Великому. Набиса этолийцы уговаривали развязать войну с ахейцами, обещая ему безнаказанность, так как, по их мнению, ради двух-трех ахейских городков римляне, запуганные пропагандой, побоятся ввести войска в Пелопоннес. Филиппа инициаторы очередного передела Эллады призывали к более масштабным действиям, напоминая, что Греция ныне осталась без хозяина, и при этом сулили ему свою бесценную помощь. «Вспомни, царь, что прежде ты сражался не столько с римлянами, сколько с нами, этолийцами, – с самым серьезным видом говорил посол беспокойного народа, – но теперь мы вдвоем, сложив наши могучие силы, обрушимся на презренных итальяшек». И, наконец, Антиоха они торопили воспользоваться глупостью римлян, бросивших завоеванную страну, и поскорее начать переправу войска в Европу, не забывая попутно произносить всякие слова о свободе и справедливости. Стараясь еще более воодушевить его, этолийцы говорили о том, что с ним заодно на территории Греции будут действовать Филипп и Набис, хотя сами цари еще не дозрели до подобного решения, принятого за них этолийцами, и, естественно, непобедимый этолийский народ, а также сообщали конкретные сведения о городах и гаванях, каковые уже сейчас готовы принять его воинов.

Получив такие известия, Виллий и Сульпиций поспешили в Азию в надежде отговорить царя от необдуманных шагов, и Сципион вынужден был последовать за ними. То малое, что Публий успел увидеть в Греции, разочаровало его. Здешные поселения, пришедшие в запусте-



ние вследствие бесконечных войн и сопровождающей их разрухи, не шли ни в какое сравнение с городами эллинов в южной Италии и Сицилии. Окружающий ландшафт был столь же скуден красотами, сколь убогими выглядели обиталища людей. А краткие беседы с местным населением расстроили Публия еще больше, чем все увиденное.

Встречи с греками происходили так: сначала, заметив у берегов своей деревушки римское судно, жители всей гурьбою с цветами в руках высыпали к пристани и нетерпеливо спрашивали, не Тит ли к ним пожаловал, затем, узнав, что Квинкция на корабле нет, они в досаде дарили цветы самодовольным чемпионам каких-либо соревнований и начинали разбредаться, но с появлением хорошо знакомых здесь Виллия и Сульпиция, возвращались и весьма дружелюбно, однако без первоначального вдохновения, приветствовали гостей. Имя Сципиона и уж тем более его облик тут не были известны, разве что кто-то когда-то где-то слышал о таком сенаторе. При этом о Ганнибале все были прекрасно осведомлены и считали его лучшим полководцем современности, конечно, после Филопемена и Тита. Сообщению Виллия, что этот вот, стоящий перед ними человек – Публий Корнелий Сципион, победил Ганнибала, причем, не только тактически, но и стратегически, за что и получил почетное прозвище Африканский, никто не верил. И во всех посещаемых делегацией городках повторялась та же история.

Как ни смешно все это выглядело, Публию стало обидно от такого приема. Он не знал, что здешняя слава Ганнибала – проделки все тех же этолийцев, использующих гулкое, как удар тарана в окованные медью городские ворота, имя в качестве символа ненависти к Риму. Правда, он несколько повеселел после того, как выяснил у Виллия, кто такой Филопмен, которого греки ставили выше Фламинина и Ганнибала. «Местный воевода, преуспевший в их игрушечных войнах», – ответил Таппул Сципиону, и тот познал цену мнениям здешней публики, а заодно понял, что обижаться тут не на кого.

Просеявшись сквозь сито островов Эгейского моря, послы наконец прибыли в Элею – портовый город Пергамского царства – а оттуда двинулись в столицу. Дорога заняла чуть ли не полдня, зато в Пергаме их ожидал пышный прием. Сам царь Эвмен вышел к воротам встречать делегацию дружественного народа. Его окружала представительная группа свиты, смыкавшаяся с толпою простолюдинов, которые собрались здесь, чтобы поглазеть на путешественников, а также на своего царя. Азиатские греки не в пример европейским носили хитоны и плащи, украшенные всевозможными узорами, и оттого масса горожан, сгрудившаяся по обеим сторонам дороги, выглядела забавно и весело. Однако эллинский вкус угадывался даже в этой пестроте и отличал пер-



гамцев от размалеванной в назойливо яркие цвета карфагенской толпы. Под приветственные крики местных жителей римляне вместе с царем проследовали через город к холму, на котором стоял акрополь, и, поднявшись по каменной лестнице, вошли в крепость, где среди храмов и прочих общественных зданий находился царский дворец.

Пергамское царство возникло девяносто лет назад, отколовшись от созданной Александром державы в годину междоусобий диадохов. С тех пор пергамцам удавалось отстаивать независимость в борьбе не только с сирийскими монархами, но и с галлами, обосновавшимися в Малой Азии. Они действовали в содружестве с родосцами и европейскими соотечественниками. Но все эти годы пергамское государство выглядело бельмом на глазу Селевкидов, и не подлежало сомнению, что рано или поздно азиатские владыки подчинят его себе. С приходом к власти Антиоха, обширное Сирийское царство укрепилось и повело завоевательные войны. Одно за другим падали мелкие азиатские государства. Подходила очередь Пергама. В поисках альтернативной Антиоху силы тогдашний пергамский царь Аттал обратился к римлянам. Раз обозначив свои симпатии и антипатии, Аттал навсегда остался им верен. Он добросовестно поддерживал греков и римлян в борьбе против Македонии и в ответ получал от них дипломатическую помощь. До последних дней жизни этот, бесспорно, выдающийся человек был одним из вождей общегреческого движения за освобождение от властолюбивых последователей Александра, и умер он после сердечного приступа, постигшего его во время выступления перед гражданами Фив, когда царь вместе с Титом Квинкцием убеждал беотийцев отречься от Филиппа. После Аттала его трон, а главное, идеологию унаследовал старший сын Эвмен, тот самый, который теперь привел послов в свой дворец, по пути успев раз двадцать заверить их в самых добрых чувствах, питаемых им к римскому народу.

Царь Эвмен вначале произвел на Сципиона очень хорошее впечатление. Это был образованный и опрятный, благородный человек, разбиравшийся не только в международной политике и исконно царской науке дворцовых интриг, но также в философии и искусствах. Он в первый же день показал гостям богатейшую библиотеку и коллекцию собранных им картин и скульптур, а потом принялся увлеченно рассказывать о планах по реконструкции библиотеки и строительству новых храмов на акрополе, которые должны были стать всемирными шедеврами архитектуры. При его дворе обитали десятки художников, поэтов, философов, математиков и врачей. Благодаря его заинтересованной поддержке, в городе процветали науки и искусства. В театре, расположенном на склоне холма акрополя позади дворца, редкий день не было спектаклей.



Публий нигде не видел столь интенсивной культурной жизни, как в Пергаме, и потому он с интересом беседовал с Эвменом, сумевшим создать в своем государстве такое духовное благополучие. Царь испытывал ответную симпатию к Сципиону и был рад знаменитому собеседнику, способному оценить его достижения. Правда, Эвмен охотнее говорил об искусствах, нежели о политике, в первую очередь он принадлежал эстетическому миру и уж потом рассудочному. Царь любил все красивое: живопись, музыку, изваяния атлетов и богов, колоннады храмов, женщин, сияющие солнцем небеса и открывающиеся с дворцового холма пейзажи садов и полей его подданных, простирающихся до горизонта; он любил все вкусное: мясо под экзотическими соусами, блюда из редких рыб, персидские фрукты, родосское вино и опять-таки женщин, точнее, женские ласки. Но когда наступал черед деятельности ума, он снова оказывался на высоте и умел разобраться в любых политических проблемах. Эвмен так же, как и его отец, постиг суть римлян и неизбежно верил в них, несмотря на любые сюрпризы судьбы и злостные речи недругов. Эта вера являлась гимном его идеологии и хребтом политики, в ней заключалась его сила.

Как и всякому римлянину, Сципиону было радостно видеть перед собою такого надежного союзника. Но, хотя Эвмен казался просто-таки ларцом, доверху набитым сокровищами всевозможных достоинств, Публий вскоре начал охладевать к нему. Их беседы при всей своей насыщенности информацией и мыслями оставляли осадок неудовлетворенности. У Сципиона в разговоре часто возникало впечатление, будто изощренный царский ум запечатан в какой-то сундук, ограничен некой прочной оболочкой, природу которой он пока не установил. Так, например, хорошо разбираясь в вопросах современной политики, Эвмен ничуть не интересовался идеями Сципиона о построении гармоничной средиземноморской цивилизации, его также не занимали рассказы об Испании и Нумидии.

Пообщавшись с царем несколько дней, Публий, наконец, понял, что тот не более чем рачительный хозяин своего царства, чуть украшенный орнаментом эстетических запросов. Внимание Эвмена затрагивало только то, что могло так или иначе затронуть границы его владений. Он и римлянами восхищался не за их доблести, не потому, что их воля и нравственность указывали другим народам путь к совершенствованию человеческой природы, а только из-за надежды с их помощью отбиться от Антиоха и расширить собственные границы за счет его территории. Если бы Эвмен не родился царем, то был бы обыкновенным прижимистым плантатором или крестьянином, радеющим только о прибавке урожая. Но по наследству он получил более обширный дом, чем у дру-



гих хозяев, и потому оказался вынужденным не только печься об умножении богатства этого дома, но и о его защите, репутации и внешнем облике. Получилось так, что большой ум и тонкая душа достались маленькому человеку, и оттого Эвмен в общении вызывал немалый интерес, но и сильнейшую досаду.

Деловой разговор с царем получился коротким. Эвмен, видя, что Антиох уже вплотную подобрался к его царству, всячески торопил римлян начать войну, не дожидаясь, пока враг укрепится в Европе. Со своей стороны он обещал активную поддержку римскому корпусу живой силой и материальным обеспечением. Тут же были согласованы количественные характеристики союзнических контингентов и объемы поставок продовольствия при различных вариантах хода боевых действий. Царь не торговался и брал на себя все посильные обязанности. Послы были вполне довольны им как партнером по военному сотрудничеству. Впрочем, по-иному Эвмен вести себя и не мог, потому как в войне он был заинтересован больше, чем сами римляне.

Расспросив напоследок царя о новостях в Азии, послы завершили переговоры и, поблагодарив хозяина за гостеприимство, отправились в Эфес – малоазиатскую столицу Антиоха. Правда, продолжили поход только Виллий и Сципион, а престарелый Сульпиций, истомившись дорожными тяготами, разболелся и остался в Пергаме.

В настоящий момент сложилась очень благоприятная обстановка для реализации плана Сципиона. Антиох только что отбыл в центральную часть Малой Азии усмирять взбунтовавшиеся горные племена, и это давало послам возможность погостить в Эфесе при царском штабе.

Придворные министры встретили римлян холодно, но, следуя законам международного права, предоставили им все необходимое для жизни в городе и через гонца известили царя об их прибытии. Монарх сообщил письмом, что примет послов при первой же возможности, о чем своевременно их уведомит.

«Ну что же, будем ждать», – разведя руки, с сожалением в голосе сказал Виллий закованному в дорогие одеяния царскому советнику, принесшему эту весть, словно не стремился к такому ожиданию с самого начала.

Римляне с комфортом расположились в одной из палат обширного дворца и сделали вид, будто настроились на приятное времяпрепровождение. Однако их культурная программа получилась короткой. Горожане, возгордившись честью, оказанной им Антиохом, выбравшим Эфес своей резиденцией, подобно придворным недружелюбно косились на гостей в тогах, но в отличие от них мимикой, жестом, а то и терпким словом норовили выказать неприязнь. В свете этого недоброжелательства



архитектурные достопримечательности Эфеса показались римлянам сумрачными и невыразительными. Они кое-как уделили внимание только знаменитому храму Артемиды, который греки причисляли к семи чудесам света, да и то потому, что это грандиозное сооружение стояло за городом. Впрочем, не камни и мрамор интересовали их в Эфесе, а люди, точнее, всего один человек. Поэтому, ничуть не расстроенные спесью горожан, они с важным видом стали расхаживать по бесчисленным залам и перистилиям дворца, исследуя атмосферу, царящую в ставке Антиоха и изучая его придворных, с которыми им вскоре предстояло схлестнуться за столом переговоров, а затем и на поле боя.

Очень скоро в одном из колонных залов римляне встретили того, кого как раз и хотели здесь повстречать. В окружении льстивых азиатов и профессионально угодливых пунийских диссидентов их взорам предстал Ганнибал. Сципион небрежно поздоровался с бывшим карфагенином и, скользнув по нему скучающим взглядом, пошел дальше. Виллий чуть задержался и перекинулся с давним врагом несколькими бессодержательными фразами, обозначив ими свою приязнь, а затем догнал Сципиона.

Безав с родины, Ганнибал, как и ожидалось, нашел приют при дворе Антиоха. Он предложил царю свой полководческий талант, ненависть к Риму и надежду на поддержку Карфагена. Такой товар Антиох годился, и он принял опального пунийца с расчетом как-нибудь пристроить его к делу.

Заводя два года назад секретную переписку с Ганнибалом, царь, конечно же, полагал, что африканец со временем предоставит в его распоряжение пунийскую армию тысяч в пятьдесят копий, и теперь, увидев его лишь в сопровождении десятка слуг, был разочарован. Однако Ганнибал пустил слух о несметных сокровищах, будто бы припрятанных им на каком-то острове по пути из Карфагена, и этим весьма заинтересовал жадного, как все богачи, Антиоха. Царь начал внимательнее присматриваться к своему гостю и постепенно проникся к нему уважением. Будучи наслышан о Ганнибале, о его громких победах и провалах, Антиох составил мнение о нем как о человеке тщеславном, хвастливом и слишком самоуверенном. Таким Пуниец представился ему и в письмах. Как настоящий царь Антиох желал, чтобы все окружающие были ниже его. Поэтому он с неприязнью думал о чрезмерном гоноре африканца, но с первой же встречи был приятно удивлен поведением Ганнибала, который, при том, что держался с достоинством, ничем не задевал амбиций царственной особы, более того, по всему чувствовалось, что Пуниец даже не помышляет сравнивать себя с Антиохом. И хотя он прямо не говорил об этом, но царь улавливал с его слов, что он,



Антиох, для Ганнибала в настоящее время является высшим авторитетом. В их беседах Пуниец выражал безмерное восхищение Александром Великим и, подчеркивая, что в итоге тот стал властелином Азии, выводил отсюда главенствующую роль в мире именно этой необъятной страны, откуда делал переход к нынешней Азии, проча ей славу, превосходящую все былое. Размашисто рисуя блистательные перспективы Азиатской державы, Ганнибал тем самым давал понять, что видит в Антиохе прямого последователя Александра, а говоря о себе, выражал надежду прославиться в качестве сподвижника и слуги великого человека. При этом он приосанивался и казался исполненным гордости. Не привыкший к столь благородной и возвышенной лести Антиох сплеховал перед пунийской хитростью и сделал Ганнибала чуть ли не вторым человеком в царстве. Оттого и распространились в Риме тревожные слухи, будто Антиох собирается вручить Пунийцу верховное командование в войне против римлян, и оттого пустился в столь дальний путь Сципион, сказав дома ближайшим друзьям, что если Отечеству грозит Ганнибал, то действовать должен именно он, Сципион.

В последующие дни Виллий неоднократно беседовал с Ганнибалом, выказывая при этом дружелюбие. Он говорил, что вся их вражда осталась в прошлом. Рим и Карфаген ныне добрые союзники, хотя союзный договор между ними пока и не заключен, а потому и Ганнибалу, по его мнению, следует не отставать от хода истории и смирить свою беспричинную ненависть к римлянам. «Да-да, конечно, вся вражда в прошлом», — с готовностью подтверждал Пуниец, воображая, как его наемники, безразлично какой народности, маршируют по улицам Рима, а Виллий на пару со Сципионом гремят кандалами, понуро плетясь перед его колесницей.

Сципион же не проявлял никакого интереса к побежденному сопернику и при встречах на ходу обменивался с ним несколькими словами по формуле вежливости, после чего равнодушно продолжал свой путь. Он вообще держался особняком; обслуживающие послов римляне из числа писцов и охранников вели себя с ним подобострастно, до азиатов он и вовсе не снисходил. На этом фоне формальные фразы, брошенные им Ганнибалу, казались великой милостью.

От этих «милостей» у Пунийца начиналась лихорадка, он смолкал на полуслове, замирал в одной позе и заворуженно следил уголком глаза за уходящим Сципионом. Карфагянин мог бы подумать, будто римлянин слишком кичится победой и оттого надменен, но он не усматривал в его поведении ни позерства, ни презрения: у Сципиона был вид человека, страдающего от одиночества, но сознающего его меньшим злом, чем общение с окружающими, среди которых нет сколько-нибудь интересных



людей; и это действовало на Ганнибала, как ледяной душ. Он привык к тому, что его боялись, проклинали, боготворят, ненавидят, он привык вызывать у людей сильные чувства, будоражить их страсти, чем гордился как свидетельством своей неординарности, гениальности. И вдруг Сципион скучает в его присутствии, словно он, Ганнибал, какой-нибудь Виллий, Эвмен или Антиох! Это казалось каким-то чудовищным наваждением. Ганнибал пытался отмахнуться от него, не думать об этом странном римлянине, но тогда в его памяти возникали страшные картины побоища у Замы, которое было делом ума и воли этого самого Сципиона. Ганнибал всегда был уверен, что его сокрушительное поражение в Африке — лишь недоразумение, злая проделка судьбы; с иным представлением он просто не смог бы жить. Но теперь его начали донимать сомнения: случай одолел его или все же человек; и это было ужасно. Мысль, что кто-то его превосходит, превышала силы его души, была больше, чем он сам. «Да кто же он, этот Сципион!» — вскрикивал по ночам Ганнибал, просыпаясь в холодном поту. Мысленно прослеживая шаг за шагом всю жизнь Сципиона, карфагенянин отдавал ему должное. Он понимал, что полководец, завоевавший Испанию и Африку, не может быть рядовой личностью, что политик, который сумел в трудный период убедить сенат в верности своих идей, а теперь вот уже десять лет почти безраздельно господствует в государстве, не может быть рядовой личностью. Но при всем том он не мог равнять Сципиона с самим собою, ибо этого не позволяла его система координат, не позволяло его мировоззрение. Предстань ему хоть сам Геркулес или Мелькарт, хоть Зевс, хоть Юпитер, хоть Баал: Ганнибал все равно будет смотреть на него сверху вниз, как на существо второго сорта. Потому он не был способен разрешить задачу о Сципионе, но, увы, не мог отмахнуться от самого факта существования такой задачи. Неразрешенные противоречия терзали его душу, Ганнибал страстно жаждал нового поединка со своим обидчиком, причем не обязательно на поле боя: он ощутил бы облегчение, если бы просто уязвил его насмешкой или обыграл в кости, хотя, конечно же, его душа требовала полного торжества над Сципионом как личности над личностью!

Ганнибал стал присматриваться к своему обидчику, даже следить за ним, но Сципион вел себя инертно, ни во что не вмешивался, почти ни с кем не разговаривал и ничего не делал; потому распознать его не было никакой возможности. Африканец напрягал всю свою пунийскую хитрость, но уличить его на каком-либо характерном поступке не мог. Ум Ганнибала разбивался о бесстрашие Сципиона, казавшееся гораздо неприступнее башен Сагунта. Но карфагенянин не привык пасовать перед трудностями и, не взяв крепость с ходу, начал искать окольные пути в стан вражеской души. Пользуясь словоохотливостью Виллия, Ган-



нибал принялся исподволь выведывать у него всяческие сведения о Сципионе. А Таппул, едва заходила речь о принцепсе, делал значительное лицо и в каждом предложении расставлял восклицательные знаки, но ничего конкретного тоже не говорил. Это еще сильнее возбуждало африканца, и он все более походил на своего хищного полосатого земляка, когда тот мечется по арене цирка, кидаясь за куском мяса, который перебрасывают у него над головой из рук в руки.

Наконец, совсем отчаявшись, Ганнибал пошел в лобовую атаку на Виллия, и в упор спросил, почему Сципион его избегает.

– Разве? – наивно удивился римлянин. – Верно, ты, Ганнибал, ошибся: он никогда никого не избегает. Может, всего только лишний раз не стремится к общению...

– Хорошо, пусть так. Почему же он не стремится к общению со мною?

Виллий изобразил недоумение, и Ганнибал понял, что сгоряча выпалил глупость.

– Видишь ли, – задумчиво произнес Таппул, – не нам, конечно, судить о мыслях и чувствах Сципиона Африканского... Но однажды Корнелий сказал мне, что его влечет лишь новое, он не любит возвращаться на пройденные дороги...

«Это я-то – пройденная дорога!» – в душе взбеленился Ганнибал и поскорее отошел в сторону, так как почувствовал, что больше не владеет собою.

Снедаемый небывалой страстью, Пуниец смотрел на Сципиона, как смотрит пылкий юноша на салонную красавицу, когда не умеет подступить к этому кусочку солнца на паркете или, точнее, на мраморе. Впрочем, Ганнибал не знал, как смотрят пылкие юноши, ибо никогда не был таковым. В детстве он с восхищением смотрел только на отца, а потом – только в зеркало. Из ребенка Ганнибал сразу превратился в мужа, стал фактически монархом Испании и хозяином наемного войска. Женился он по политическому расчету на иберийке и, естественно, не познал любви, а в дальнейшем, заметив некое прелестное создание, отдавал распоряжение, солдаты приводили жертву в его палатку, и он, не снимая доспехов и ножен, расправлялся с нею скорее, чем успевал ощутить волнения жарких чувств. И вот теперь судьба наказала его за пренебрежение мирскими радостями: он горел страстью, только если женщины похищают у юнцов сердца, то Сципион похитил у Ганнибала тщеславие и даже более того – веру в себя. Потому Пунийцу необходимо было во что бы то ни стало сразиться со Сципионом, вскрыть его душу и извлечь оттуда ту самую, утраченную им веру в себя. И вот однажды Ганнибал подстерег Сципиона в аллее дворцового парка, когда римлянин прогуливался там почти в



одинокости, то есть за ним поодаль следовали только двое слуг и какой-то чиновник. Свита Ганнибала была не больше. Пуниец, как и при Заме, решился дать Сципиону генеральное сражение и с отчаянной смелостью выступил ему навстречу. Насмешливо щуя зрячий глаз и «подмигивая», как в былые дни, слепым, Ганнибал сказал по-гречески:

– Берет меня зависть, глядя на тебя, Корнелий, задумчив ты и спокоен, нет тебе дела до нашей суеты. Хотел бы я иметь столь высокие думы, чтобы за ними забыть о земных горестях. Поделись секретом, Корнелий.

Он опасался, что римлянин, как всегда, отделается общими фразами и со скужающим видом пройдет мимо, но Сципион, хотя и обозначил жестом такое намерение, когда обнаружил перед собою Ганнибала, затем переменялся в лице и приветливее, чем обычно, ответил:

– Попробуй, Ганнибал, для начала задуматься о гармоничном устройстве ойкумены. Ручаюсь, что в этом случае твои Ганноны и Антиохи сразу окажутся на задворках мысли.

– Охотно последовал бы твоему совету, Корнелий, будь я Платоном, а не Ганнибаалом.

– Ты не понял. Я говорю не об устройстве государства – тут меня пока удовлетворяет римская традиция – а о построении единой межгосударственной цивилизации, например, у нас, в Средиземноморье. Представь себе такое объединение городов и общин, в котором каждая народность занята присущим именно ей делом, наподобие того, как разные органы внутри нас строго выполняют только свои функции, ведь не борются за власть печень с желудком, не дерутся руки с ногами, почему же должны враждовать Рим и Карфаген? Пусть карфагеняне торгуют, если это поприще им по сердцу, пусть римляне ведут политику и устанавливают законы, а греки развивают науки и радуют всех нас искусствами.

– Мечтатель ты, Корнелий, или притворяешься... Не торговля мила карфагенянам, а по сердцу им деньги, так же, как и вам, и грекам. Так что у всех одна цель, а значит, драки не избежать.

– Не скажи, Ганнибал, у нас все благородные люди мечтают о магистратурах, хотя их исполнение несет убыток и немалый. Римляне, не задумываясь, жертвуют деньгами ради славы и любви народа.

– Это из-за того, что вы не доросли до денег. Вот мы, когда торгуем с дикарями африканской глубинки, тоже вынуждены обменивать одни товары на другие, потому как они денег не знают: они в перьях. Так и слава ходит промеж вас как неудобоваримая монета, пока вы не повзрослели и не поняли, что всякое людское взаимодействие – торговля, и вся жизнь – торг, а расцвет торговли достижим лишь при деньгах, следовательно, и расцвет ойкумены – тоже.



– Но ведь на деньгах стоит печать и нет лица, они все нивелируют.
– Так в том их сила! Я богач – мне все подвластно, и никому нет дела, преступлением добыто богатство или потом. Впрочем, чтобы потом достичь моего богатства придется вычерпать всю соль из Океана! Так-то вот, полная свобода! Отпадают пути морали – прибежища глупцов и ничтожеств! Я богат – я господин, и все!

– А остальные – рабы?

– Выходит, да, пока кто-нибудь из них не возвысится и надо мною.

– И это хорошо? Я имею в виду – для тебя; о других тут уж и речи нет: с тобою можно говорить только о тебе самом.

– Для меня, конечно, хорошо, а другие пусть не спят. Я для них ориентир, маяк. Как видишь, вопреки твоему мнению, я забочусь и о них.

– Но, если ты стремишься сделать окружающих рабами, почему же теперь ты ищешь общения со мною? Вон ведь сколько вокруг тебя рабов! Беседуй с ними, наслаждайся превосходством!

Ганнибал от удивления так широко раскрыл левый глаз, что, показалось, вот-вот прозреет и на правый. Однако он так и не прозрел, а Сципион продолжал:

– В том-то и дело, Ганнибал, что деньги, как я сказал, все нивелируют. Заменяя собою, воплощая в себе все ценности, они высасывают их из человека и людей подменяют печатью, а печать, будь она на золоте или на лице, есть лишь мертвый оттиск былой жизни, человек же без своего лица – не человек.

– Софистика какая-то, Корнелий. Попробую тебе растолковать это дело по-иному. Зайдем с другой стороны. Вот ты говоришь о некоем общественном организме, подобном биологическому. Это – чушь, это нереально. Хищники будут биться до тех пор, пока не победит сильнейший и не проглотит всех остальных.

– А кого он будет глотать потом? Что дальше? Голодная смерть?

– Опять софистика. Не перебивай, Корнелий. Так вот, реальна, я тебе скажу, империя Александра Великого. Когда-нибудь и страны будут продаваться на политическом рынке, шаг к этому уже сделан, недаром же Филипп II говорил, что осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Ну а пока цивилизация не достигла такого уровня, государства приходится брать силой, и хвала Александру за то, что у него это вышло! А вот у меня из-за вас, увы, не получилось. Ваша победа, Корнелий, отбросила человечество лет на триста назад.

– Она спасла цивилизацию!

– Нет, она затормозила развитие! Но придет время, когда и у вас найдется свой Александр или Ганнибал, который возродит монархию уже в средиземноморском масштабе, если, конечно, я не смогу раньше взять



реванш. В последнем случае все это произойдет скорее. Вот оно, будущее ойкумены!

– Путь, указанный тобою, ведет к краху цивилизации!

– Нет, к ее упорядочению! То есть к строгому разделению на господ, коих должны быть единицы, если не вовсе один, и на рабскую массу, имя которой – чернь! И я, Корнелий, полагал, что ты сумеешь правильно использовать свою победу над Карфагеном, я думал, именно ты станешь таким римским Александром!

– Нет, Ганнибал, я предпочитаю жить среди людей, а не рабов, и человеческое уважение ценю выше рабского страха и ненависти.

– Но страх и ненависть – единственные искренние чувства! Все остальное – ложь!

– Несчастен ты, Ганнибал!

– Разочаровал ты меня, Корнелий!

– Твое мировоззрение, Ганнибал, построено на всем худшем, что появилось в людях по мере искажения их взаимоотношений, а мое – на всем лучшем, зародившемся в них у истоков человечества и человечности.

– Ах, Корнелий! Я был более высокого мнения о моем удачливом сопернике! А ведь, я слышал, тебе предлагали царство, или как там оно у вас зовется: диктатуру, пожизненное консульство. Но ты не потянул на Александра Великого и вместо империи удовольствовался прозвищем «Африканский».

– Это потому, что дороже Александра мне Фемистокл и Павсаний. Македонца я ценю, как ценю Дионисия и Агафокла за достижения в укреплении государства, а еще более – за успешную борьбу с вами, но настоящему мне близки другие.

– Да-да, защитники Родины. Как же, понимаю! Вы восторженны, как юнцы, ибо народ ваш слишком молод и не созрел до взрослых рассуждений. А не обратил ли ты, Корнелий, внимание на то, что и Фемистокла, и Павсания эти самые, спасенные ими Отечества с позором изгнали, да еще продолжали травить на чужбине, пока не доканали совсем, причем Павсания так даже не погнушались растерзать в храме!

– Это объясняется тем, что, сумев отстоять свои народы от персидской агрессии, они не успели воспитать их.

– Воспитать! Что может быть смешнее этого слова! А вот как раз Александр всех усмирил, то бишь воспитал.

– И был отравлен.

– Возможно, и так. Но зато никто не посмел выступить против него открыто. А твои греки – это вообще дрянь!

– Неужели тебе совсем некого выделить из них?



– Ну, разве что Адкивиада. Удалой был молодец. Сражался у афинян – побеждал спартанцев, переходил к спартанцам – побеждал афинян. Ника ходила за ним, как привязанная.

– Да, с Алкивиадом у вас много общего. Твой поход в Италию, например, очень напоминает его сицилийскую затею...

– Вижу, к чему ты клонишь, только напрасно ты это делаешь. Алкивиад довел бы до конца кампанию в Сицилии, если бы ему не навредили афинские завистники, точно так же, как и я добился б своего, если бы не помешали всякие Ганноны, да Газдрубаалы Гэды.

– Неужели ты до сих пор усматриваешь причину неудач только в этом, лишь в сопротивлении тех, кто остался в Карфагене? А как же два войска, которые тебе привели братья? Они же пропали. Ты не сумел их использовать. И неужели ты думаешь, будто мой Фабий Максим был слабее твоего Ганнона? Может быть, это не довод, а всего лишь отговорка, предназначенная, как ты выражаешься, для черни и рабствующих духом историков? О чем-то подобном ты мне когда-то намекал...

– В какой-то степени и то, и другое: наполовину – правда, наполовину – довод для тех, у кого есть уши, но нет головы.

– А что же повлияло, кроме этого?

– Судьба.

– Да, Ганнибал, ты неисправим... А ходят слухи, будто царь дает тебе войско для вторжения в Италию...

– Так и будет, если только у Антиоха хватит ума послушаться меня, – приободрившись, не без удовольствия подтвердил карфагенинин.

– А зачем такая суета?

– То есть, как это зачем?

– Ну если ты не сделал правильных выводов из первой попытки, то стоит ли предпринимать вторую? Ведь будет то же самое, даже хуже, потому как если ты выказываешь готовность повторять свои ошибки, то мы, римляне, не делаем этого никогда.

– Ах, как громко сказано! – воскликнул Ганнибал, чтобы скрыть досаду по поводу неудачи в дебюте поединка, которую он, впрочем, отнес на счет стартового волнения.

– Нужно только приветствовать, когда правда звучит громче лжи, а то ведь чаще бывает наоборот, – хладнокровно добил противника Сципион.

На некоторое время собеседники смолкли, словно спохватившись, что разговор принял уж слишком откровенный характер, и украдкой следили друг за другом, как бы выискивая слабые места во вражеских редутах.

Публий обратил внимание, что Ганнибал несколько постарел, осунулся, черты его лица заострились, сделались еще более угловатыми, но при том в душе он несколько не изменился и остался таким же без-



надежно самоуверенным, каким был десять и двадцать лет назад, только излишне нервничал, разговаривая с ним.

Во время беседы они, как перипатетики, двигались по роскошной аллее, щедро украшенной весенней зеленью. Но теперь аллея кончилась, дальше в глубь сада вела только узкая тропинка. Для двоих на ней места не было. Ганнибал искоса стрельнул хитрым глазом на Публия и решительно ступил на эту дорожку, опередив соперника в надежде вызвать его недовольство и поколебать душевное равновесие.

Пуниец грубо нарушил каноны античной морали, ибо не ему, а Сципиону как победителю следовало идти первым. Таким поступком африканец показывал, что, вопреки фактам, не считает римлянина победителем. Публий разгадал этот ход и, избегая ловушки, предпринял обходной маневр, стараясь исподволь вынудить Ганнибала признать свою неправоту. Он сказал:

– Так, значит, Александра ты ценишь выше всех как государственно-го деятеля, и уж, конечно, считаешь лучшим полководцем всех времен?

– Да, именно так, – слегка обернувшись, через плечо бросил Ганнибал.

– Ну а кого поставишь на второе место?

– Пожалуй, Пирра.

– Он же грек!

– Он царь, а у царей нет национальности: они все одной породы.

– Хорошо, а кто же, по твоему мнению, будет третьим?

– Третьим я считаю Ганнибаала, сына Гамилькара.

Тут Публий едва не обиделся. Но он видел, сколь жаждет этого его оппонент, а потому мило улыбнулся и с едва уловимой иронией в голосе произнес роковую фразу, которой запер африканца в логическом ущелье покрепче, чем когда-то Фабий Максим – в самнитских теснинах. Он с коварным простодушием поинтересовался:

– А что бы ты сказал, Ганнибал, если бы я не победил тебя?

Пуниец засветился внутренним напряжением, но, подобно противнику, скрыл свои эмоции и вышел из западни так же ловко, как когда-то в Самнии.

– О, тогда, Корнелий, я поставил бы себя выше и Пирра, и Александра! – с воодушевлением воскликнул он.

Сципион едва не рассмеялся от удовольствия, вызванного такой отчаянной остротой. Он даже не сразу понял, что это высказывание открывало ему сразу и пропасть, и вершину: в прозвучавшей фразе можно было увидеть и презрение к нему, Сципиону, как к пустому месту, ни на что не претендующему, и тут же – узреть высшую похвалу как личности несравненной, одна победа над которой сразу возносит человека над всеми смертными.



– Вот ты тут похваляешься, топаешь как победитель, – после паузы заговорил Публий, – а мне не понятно, как ты можешь гордиться победами, которые в конце концов привели твой народ к краху. Неужели тебе доставляет удовольствие, что твое имя часто мелькает у поэтов и историков, в то время как название «Карфаген» все реже звучит в реальной современной жизни? Неужели возможно считать себя победителем, когда все, кто был с тобою, проиграли?

– Ну, Корнелий, тут тебе явно изменил дипломатический такт!

– Ничуть, Баркид, просто я ориентируюсь на уровень собеседника. Так отвечай же!

– Хорошо, ответ будет столь же острым, сколь и вопрос. Попытаюсь и я приноровиться к уровню оппонента. Слушай же, Корнелий, да только не опьяней от крепких слов: разгадка содержится в самом твоём вопросе и, чтобы извлечь ее на свет, достаточно очистить от шелухи эмоций. Так и всегда надлежит поступать настоящим мужчинам, ибо эмоции хороши лишь для толпы, дабы нам было за что ее ухватить, и для женщин, дабы они могли скрыть отсутствие всего остального. Отвечаю же: я действительно победил, а Карт-Хадашт в самом деле проиграл. Все удачи – плод моих заслуг, все беды – итог глупости и ничтожества карфагенян. Моя же победа огромна! Она заключается даже не в том, что произошло у Требии, Тразименском озере и Ауфиде, хотя и это немало, а в том, какие горизонты я открыл сильным людям. Я показал, на что способна выдающаяся личность, когда оборвет путы, коими связана со стадом посредственностей, и запряжет это самое стадо в свою колесницу. Да, Александр будто бы преуспел, а я вроде бы – нет, но не все так просто. Он сражался с азиатами, каковые уже с рождения – рабы, а я с вами, первобытными дикарями, неукротимыми в своей фанатической преданности стаду, неподвластными не только мечу и копыю, но даже – деньгам! Следовательно, мои победы имеют куда большую ценность, чем его. А неудачи, как я уже отметил, целиком на совести, точнее на бессовестности жалких Ганнонов, да Газдрубаалов. Потому я – победитель.

– Бедные Ганноны и Газдрубалы. Ты вспоминаешь о них всякий раз, когда тебе туго в споре, невзирая на состоявшееся признание. А кстати сказать, куда подевался мой давний знакомый Газдрубал, сын Гизгона.

– Его где-то зарезали заговорщики. Точнее не знаю, меня он не интересовал: моего внимания не заслуживает человек, лишившийся всех своих сил.

– Хорошо, вернемся к обсуждению того, кто тебя интересует. Так, значит, ты, Ганнибал, не чувствуешь своей ответственности за Родину?

– Ты смешишь меня, Корнелий, а еще Африканский! Родина для вас, что папенька с маменькой для малого дитяти, вы и на миг боитесь от



нее оторваться, а моя Родина там, где я существую и действую, она в моей воле, в моих свершениях, в моих победах! Вот если бы тебя изгнали твои твердолобые латины, так ты через год окочурился б с тоски. И поделом бы было, чтоб проучить тебя, как Павсания! А я, как видишь, здесь и процветаю, и так же грозен, как когда-то, настолько грозен, что вы теперь со страхом смотрите не на Африку, а на Сирию! Моя сила не в финикийцах, а во мне самом, и для меня все равно, будут ли в моем войске ливийцы, галлы или сирийцы, состав не имеет значения – важно, что полководец – Ганнибал!

– А я бы оскорбился, если бы мне предложили одерживать победы для азиатов. Ведь я – гражданин Рима, а не безродный наемник!

– Ты словно и не слышал того, что я тебе здесь толковал.

– Я слышал. А теперь ты услышь меня, Ганнибал. Я был в Карфагене, я видел ваш сенат, который выплевывает на свет таких вот героев, из среды которого, как ты ни отрекайся, вышел ты сам, твой Гамилькар и сын Гизгона – вопреки тебе, замечу – тоже фигура весьма неординарная, и беда его только в том, что ему не попались Теренции и Фламинии. Так вот, не было перед моими глазами зрелища постыднее, чем явление в наш лагерь под Тунетом вашего совета тридцати. Мои слуги ведут себя куда достойнее вашей знати, а наш сенат посланцы Пирра некогда называли собранием царей и богов.

– Но никто из этих «царей» не может властвовать, – с горячностью перебил Пуниец, – никто не способен встать над остальными, подчинить их собственной воле и сделать орудием свершения своих великих замыслов.

– Потому мы и все цари, что никто не пытается подчинить других, а наоборот, стремится увлечь, зажечь их своей идеей, целью, ибо тогда они будут действовать на столько же эффективнее, на сколько войско граждан боеспособнее банды наемников – уж этого-то ты не оспоришь!

– Оспорю другое. Пусть кто-то у вас в самом деле умеет убеждать, увлекать и действовать, но при этом он все равно остается лишь одним из многих. Так, что в том проку? Его усилия – Сизифов труд. Я оспариваю смысл вашей системы и утверждаю, что вы не люди, а муравьи и вам не испытать и даже не постичь истинную гордость!

– Поскольку мы все вершим совместно, наша гордость умножается с ростом числа достойных людей. Слава современников присоединяется к подвигам предков, и так она копится столетиями. Каждый из нас сопричастен делам всего народа, всего Рима, дух каждого гражданина объемлет века. Вот истинный размах жизни! Мы воздвигаем громаду, в сравнении с которой отдельный, выброшенный из общества человек – что камень на обочине против подпирающей небеса египетской пирамиды! Нам есть чем гордиться, и гордость наша несет в себе созида-



тельный потенциал, а у таких осколков человечества, каким ты себя изображаешь, вместо гордости – лишь пустоцвет тщеславия!

– Смесь изощренной риторики с воображением наивного юнца! Вот уж где пустоцвет во всем своем цветении и во всей своей пустоте!

– Вот тебе раз! А как же наши победы, Ганнибал? Разве они не свидетельствуют в пользу моих слов? Жизненность наших идеалов и ценностей, Ганнибал, подтверждена в Италии, Сицилии, Испании, Африке и Греции, подтверждена тем, что мы всегда одерживаем верх, подтверждена тем, что побежденные народы не становятся нашими врагами, а вливаются в наше государство. Так что истинный победитель – не бездомный скиталец, авантюрист-одиночка, а римский народ, и он же истинный герой истории!

– Против патетики я бессилен, Корнелий. Уволь! Ты надрываешься передо мною, едва не воздевая руки в священном экстазе, словно я – толпа безмозглой черни, а не Ганнибаал. Давай без эмоций, я тебя уже учил. Вот ты сейчас гордо взираешь на меня с пьедестала твоих побед и стадной морали, но через сто лет уже никто не будет знать о твоих достижениях. «Сражение при Заме?» – скажут: «Было такое». «Кто победил?» – «Римляне». А вот победу при Каннах всегда будут называть Ганнибаловой! Так-то тебе боком выйдет ваш коллективизм! Ну и чем же ты гордишься?

– Как, чем? Ты меня удивляешь таким тугодумием старца, Ганнибал. Ведь в продолжение приведенного тобою диалога зададут вопрос: «А кто такой Ганнибал?» На это ответят: «Карфагянин». Потом спросят: «А кто такой Сципион?» И прозвучит в ответ: «Римлянин». Тут-то все сразу и станет на свои места, тут все и прояснится.

– Ах, насколько различным тоном ты произнес: «римлянин» и «карфагянин»!

– Различие в тоне соответствует разнице в качестве приведенных понятий. А насчет сравнения сражений при Заме и Каннах, замечу, что одно из них все же было поинтереснее другого на столько же, на сколько Ганнибал как полководец интереснее Варрона.

– Но ведь, кроме Варрона, у Ауфида был еще и Павел, – с азартом заядлого спорщика перебил Ганнибал.

– В тот день, к сожалению, командовал не он.

– Так ты хочешь сказать, что моя победа оказалась напрасной!?

– Твоя – да, а победа Карфагена была весьма существенной, потому как для государства не имеет значения, над кем именно из полководцев ты восторжествовал, а важно, что было побеждено вражеское войско. Видишь, как я усвоил твое разделение Африки на Карфаген и Ганнибала!

– Вот ты издеваешься, Корнелий!



– Кстати сказать, – словно не заметив обиженного возгласа, продолжал Сципион, – греки в качестве одного из симптомов упадка своей цивилизации приводили именно твой пример: они говорили, что во времена расцвета эллинского мира никто не называл победу при Саламине Фемистокловой, а при Платеях – Павсаниевой, и лишь гораздо позже на другом моральном уровне общества государственным победам стали присваивать имена отдельных людей. Однако характерно, что эти победы уже не шли ни в какое сравнение с прежними, как и люди, их одерживавшие.

– Ох уж эти греки! Проучил бы я их как следует, если бы на моем пути не встали вы! Впрочем, еще не все потеряно.

– Я думаю, что теперь уже для тебя потеряно все, – холодно произнес Публий, посмотрев на окружающие их кусты.

– Вот ты издеваешься Корнелий, – повторил Ганнибал, – но время покажет, что прав был именно я.

– Плохого ты мнения о времени.

– Не смейся, Сципион, а выслушай. Я, но не ты, стану кумиром последующих поколений. Вы – стадные животные, потому даже именуется чаще по названию рода, чем по персональному имени, и ты при всех своих успехах ничуть не оторвался от стада. Ты во всем действовал с согласия сената, ни разу не поступил наперекор толпе, ни разу не сокрушил всеобщей глупости, не растоптал смешных догм коллективной морали! Поэтому сильным личностям ты – не авторитет, а чернь, для которой ты якобы старался, всегда будет почитать только того, кого ей навяжут сильные люди. Так что, история тебя не помянет, разве только мимоходом, в связи с моим именем! Иное дело – я. Меня не гнет к земле груз пустых понятий: Родина, долг, любовь – все то, чем мелкие людишки хватаются друг за дружку, сбиваясь в стадо, потому я свободен, я царю в вышине и ступаю по вашим головам! По своей прихоти я гублю или возвышаю народы, обращаю в руины одни города и засыпаю золотом другие, я создаю и разрушаю, я господствую! Я силен и я внушил толпе, что она – моя раба, так же, как настоящий мужчина внушает женщине, что она должна пред ним пасть. И, пресмыкаясь предо мною, толпа счастлива, как и счастлива загипнотизированная наглой силой женщина, потому что люди по природе своей – рабы и любят кричать о гордости и свободе, как та самая, взятая нами для примера женщина любит выступать неприступной павой, но и народ, подобно этой величавой паве, в гнусных дебрях своей душонки лелеет мечту о насилии над ним. Все людишки жаждут рабства и потому сами себе выдумывают фетиши, как-то: троны, богатство, славу, наконец, Ганнибалов и Александров! Презренные обыватели вожделенно льнут к стопам олигархов, царей, богачей, а все они вме-



сте – и рабы, и господа – пресмыкаются перед деньгами. И ваш Рим, Корнелий, скоро изменится. Победы проложили к нему русла для потоков сокровищ, которые вскоре сокрушат заскорузлую скорлупу первобытной нравственности и размоют основы вашей духовности, заразят вас алчностью. О Корнелий, ты еще не знаешь этой страшной неодолимой силы, которая смертельной хваткой берет за горло и юношу, и старца! Ты не знаешь эйфории этой страсти, когда из-за какого-то желтого кружочка хочется задушить друга! Впрочем, и друзей тогда уже не будет, останутся лишь партнеры, а точнее – конкуренты. Потому-то и столь естественно стремление подавить всех окружающих, что они соперники в вечной, нескончаемой борьбе за золотой престиж! Властвовать! Властвовать сначала над ближним, затем – дальним, а потом – над остальными, надо всем человечеством – вот единственная, хоть сколько-то достойная цель в этом вертепе, называемом цивилизацией!

– Страшен был бы ты людям, Ганнибал, если бы не существовало на свете Рима, и страшно общество, породившее тебя. Да, тенденция, указанная тобою, заметна ныне и у нас, но это частное явление нашей жизни, и мы справимся с ним, мы останемся верны себе и сохраним свое лицо. Рим всегда будет Римом! От эпидемий чумы, Ганнибал, погибли тысячи и десятки тысяч людей, но никогда не вымирали целые государства, и жизнь продолжалась.

Наступила пауза. Казалось, сама мать человечества – речь утратилась всего сказанного, и слова попрятались в олеандровые заросли, чтобы их не уличили в причастности к разразившейся битве. Тропинка снова превратилась в широкую аллею, и полководцы шли рядом, ничуть не стесняя один другого, в то время как дух каждого из них не мог ужиться с соперником даже в пределах всей Земли. Слуги и римлянина, и карфагенянина держались поодаль и старались помешать друг другу подслушивать патронов. Ганнибал искоса наблюдал за противником, силясь угадать произведенное на него впечатление. А Сципион вспоминал свою беседу с отцом в долине Тицина перед схваткой с Ганнибалом и с завистью думал о том, сколь светлым было тогда его представление о жизни и людях. Однако он жалел африканца как человека, лишенного Родины и потому вынужденного искать эрзацы живых чувств в головоломных уродливых умопостроениях.

Так они дошли до заднего крыльца царских покоев, и Публий остановился, выражая намерение распрощаться с собеседником. Ганнибал испугался, что сейчас все закончится, так как еще не был уверен: победил ли он сегодня или снова проиграл. Поэтому карфагенянин спешно ступил дальше в сад и жестом предложил римлянину идти за ним. Публий поколебался и нехотя двинулся следом.



– И все же, Сципион, меня, а не тебя назовут потомки величайшим полководцем, – внушительно произнес Ганнибал, стараясь вернуться к любимой теме.

Ожидавший чего-то нового Публий теперь почувствовал раздражение и резко сказал:

– Презренно будет человечество, если станет считать великим полководцем труса, который вверг свое войско в бездну поражения, а сам бежал с поля боя!

– Ах, какие страсти кипят в твоей варварской душе, Корнелий! «Трусость», «бездна поражения»! Возможно, это красно звучит на форуме, но меня такие возгласы смешат, да простит мне Баал. Не трусость заставила меня спастись под Замой так же, как и недавно в Карт-Хадаште, а голос рассудка. Войско – это лишь внешняя сила, которую я использовал в своих целях, и когда оно перестало представлять собою силу, а превратилось в убойный скот, мне уже нечего было там делать. Людям не допустимо жалеть убойный скот, поскольку иначе они не смогут обеспечить свое существование: увы, мы питаемся мясом, мы – хищники.

– А, кроме того, – после некоторой паузы добавил он с загадочной улыбкой, – жизнь, как ты говоришь, продолжается, и свиток моих дел еще развернут...

– И в этом ты ошибаешься, Ганнибал, – сурово заметил Сципион. – Под Замой я свернул свиток твоей жизни, а сегодня поставил на нем печать, причем сделал это чисто по-пунийски. Познай же на себе коварство!

При этих словах Сципион выразительно посмотрел на густые заросли возле беседки между аллеями, где в тот момент мелькнула фигура одного из царских шпионов, которые уже давно заинтересовались подозрительной тягой африканца к римлянам.

Смуглый Ганнибал побледнел: он почти догадался, что потерпел еще одно поражение от Сципиона, но на этот раз не бросил поле проигранной битвы, а из гордости остался на месте, хотя ничего не мог сказать в ответ, ибо вся его воля затратилась на то, чтобы не выказать гнев и отчаяние.

– Так что же дальше, Ганнибал? – строго спросил Сципион. – Я уже говорил: мы, римляне, не любим повторов. Если тебе больше нечего сказать, иди разговаривать с царскими лакеями о рыбалке.

Пуниец молчал, покусывая толстую губу.

– Или ты опять ударишься в самовосхваления, – продолжал Сципион, – в которых ты пытаешься найти опору своей падшей жизни? Так я тебе укажу на твою непоследовательность. Ты презираешь людей и в то же время ищешь у них признания, ты утверждаешь, будто их мнения пусты, и тут же из кожи лезешь вон, чтобы заслужить их уважение. Ты, Ганнибал, бежишь по кругу, стараясь убежать от самого себя. А отно-



сительно меня и твоих прогнозов на будущее я скажу так: коли обществу будет подобным тому, какое нарисовал ты, так пусть оно восторгается Ганнибалом, мне его почестей не надо, они для меня унизительны, а если человечество станет человечеством, то оно верно оценит нас с тобой и каждого поставит на соответствующее место в истории.

Ганнибал долго молчал, а когда Сципион повернулся, чтобы уйти, крикнул ему в спину:

– У Антиоха много войск, и мы с тобою, Корнелий, еще продолжим наш спор!

После этого разговора Ганнибал стал избегать римлян. Однако он не долго страдал от их присутствия, поскольку вскоре Антиох сообщил, что примет посольство в Апамее, и оба Публия, распрощавшись с негостеприимным Эфесом, отправились в глубь страны к месту встречи с царем.

В Апамее им пришлось провести в ожидании несколько дней, так как азиатский повелитель все еще громил непослушных горцев. Наконец, громыхая громоздкой, сверкающей роскошью и лоснящейся сытостью свитой, в город въехал царь – Антиох Великий. В этот день он не осчастливил римлян высочайшим вниманием и лишь позволил им издали полюбоваться собою. На следующее утро царь не сделался милостивее и, казалось, напрочь забыл о гостях. Римляне томились в унизительном ожидании. Тогда Сципион выбрал из приобретенных им в Пергаме книг свиток Ксенофонта «Воспитание Кира» – теоретический труд об идеальном монархе – приложил к нему небольшое письмо и велел передать царю в качестве подарка. Получив этот дар, а самое главное, узнав, что в составе делегации присутствует сам Публий Корнелий Сципион Африканский, Антиох сменил тон поведения и сразу же пригласил римлян к себе.

Он принял их дружелюбно, но попросил отложить деловой разговор на завтра, сославшись на усталость, вызванную трудностями последней кампании. Послы с готовностью предоставили царю отсрочку, поскольку именно «деловой» разговор не сулил никакого дела, и значение имели не сами переговоры, а то, что происходило вокруг них. Поэтому между царем и римлянами завязалась беседа на отвлеченные темы. Поводом послужила книга, преподнесенная царю Сципионом. Постепенно от обсуждения бестелесного образа идеального правителя, который, по мысли греков, смог бы помочь их стареющей цивилизации шагнуть из эллинского мира в эллинистический, они стали переходить к более насущным темам. Тут Антиох начал жаловаться на тяготы царской доли, на бесчисленные заботы и на утомительную необходимость все время повелевать. «Я совсем лишен нормального человеческого общения, – с богатым спектром чувств в голосе говорил он, – мне не доступны ни



дружба, ни любовь. Я постоянно властвую: властвую над народом, знатью, армией, придворными, советниками, шпионами, я властвую над женою и сыновьями. Я всегда царь, и не имею возможности быть ни другом, ни мужем, ни отцом». Конечно, он рисовался, изображая такие горести, какие, по его представлению, должны являться предметом зависти всех окружающих, но при этом в нем ощущалось и истинное страдание. Было заметно, что в настоящий момент у него не все ладно в личной жизни: возможно, он раскрыл заговор близких ему людей, и теперь душа его больна от нравственного яда предательства, возможно, что-то случилось в его семье.

С Виллием Антиох уже встречался, поэтому сейчас он проявлял больший интерес к Сципиону. Заметив это, Таппул разговорился с одним из царских министров и оставил наедине этих столь разных, но одинаково называемых на родине «Великими» людей.

С Антиохом Сципион разговаривал сдержанно и осторожно. Он пока не понял этого человека, а потому старательно предоставлял ему возможность высказываться по различным поводам и сам при этом лишь направлял ход беседы, всячески подогревая его красноречие. Публий соизнавал, что чем больше он сейчас узнает о царе, тем меньших жертв потребует война, тем легче будет добыта победа. Когда Антиох достаточно полно обрисовал свое нынешнее состояние, не затрагивая, естественно, конкретных причин, его вызвавших, Сципион помог ему снова перейти к теоретическим вопросам построения справедливого государства. Чтобы царь не испытывал неловкости за излишнюю откровенность, римлянин сделал вид, будто воспринял его жалобы как чисто научный материал для исследования монархической власти, и завел разговор о путях гуманизации единодержавия. Они прошлись мыслью по соответствующим работам Платона и Аристотеля, вспомнили известных царей минувших веков и не обделили вниманием современников. В частности, Публий рассказал об иберийских князьях и, конечно же, о Масиниссе и Сифаксе, показав при этом, сколь различной оказалась судьба царя, верного Риму и – изменившего ему. Антиох в ответ жаловался на Филиппа и Птолемеев и доказывал, что только из-за их порочности между тремя державами нет взаимопонимания, а следовательно, и нет мира в Средиземноморье. О своей модели гармонического устройства ойкумены Сципион не заговаривал, поскольку в ней не было места агрессивной монархии Селевкидов. Он вел обсуждение только внутрис государственного порядка и законов международного права, регулирующих взаимоотношения разных стран независимо от их природы и структуры, и совсем не затрагивал проблем интеграции. Когда с этой темы был собран достойный урожай, Публий перевел разговор на науки и искусства.



Антиох был прекрасно образован и эрудирован. Он квалифицированно и чуть ли не с блеском говорил по любому вопросу. Правда, царь не испытывал при этом воодушевления, у него, например, не было трепета перед творениями выдающихся мастеров резца и кисти, как у Эвмена. Он, видимо, считал, что искусства и так должны быть благодарны ему за внимание. Подобным образом и в других областях человеческой жизнедеятельности сознание своего царского достоинства подавляло в нем все прочие чувства. Эта сосредоточенность на собственной исключительности мешала ему проникать в суть рассматриваемых явлений, но она же способствовала поддержанию дистанции с собеседником, достаточной для того, чтобы царь производил впечатление весьма умного, а подчас и мудрого человека.

Лишь постепенно за счет сложного логического маневрирования в ходе беседы Публию удалось обнаружить, что Антиох теряет уверенность в нестандартных ситуациях, а при переключении на новую тему его ум на некоторое время снижает ход. Для полководца это было существенным недостатком, и к концу беседы Сципион уже знал, в каком ключе следует вести против него военную кампанию.

Вообще, за этот день Сципион сумел составить себе довольно цельное впечатление об Антиохе. По его мнению, царь был человеком, играющим в великую личность. Прodelывал он это с вдохновением и талантом большого актера, хорошо вжившегося в роль, постигшего все нюансы образа. Величавость осеняла всего его, словно ореолом, она придавала значительность любому бросаемому им слову, одухотворяла самую статичную позу, она завораживала зрителей. Царственность была хребтом этого образа, вокруг которого группировались все остальные качества. Антиох имел представительную внешность, каковая соответствовала избранной осанке так же, как царское одеяние соответствовало самой внешности. Его сочный, богатый оттенками голос гармонировал с интерьером тронного зала и казался гласом божества, источаемым таинственными глубинами дворца, пламенный взгляд мерцал загадочно и внушительно, как золотые блики на его диадеме при свете факелов. И даже прогуливаясь со Сципионом по залам сравнительно скромного апамейского дворца, он словно катился на передвижном троне, в который впряжены тысячи рабов. Антиох любил эффектные поступки. При общении с ним у Публия частенько возникало впечатление, будто он вот-вот скажет: «А хочешь, милейший Корнелий, я подарю тебе Индию или Скифию?» При этом казалось, обмолвись кто-либо, что ни та, ни другая страна ему не принадлежит, он, не теряя величавости, воскликнет: «Неужели? Я обязательно все выясню и, если это правда, завтра же их завоюю, а послезавтра подарю тебе!»



В конце концов, оба они: и Сципион, и Антиох – оказались довольны состоявшейся встречей. Публий полагал, что неплохо разобрался в ребусе под названием: «Царь Антиох Великий», в котором золотыми буквами были написаны бронзовые слова. Царь же ощущал, что его душа наполнилась благодатью из живительного источника равноправного общения, и испытывал незнакомое состояние безмятежного умиротворения. Антиох привык к тому, что вся необъятная Азия униженно льстит ему, а представители европейских республик конфликтуют с ним, составляя против его царского апломба, Сципион же сумел избежать психологического гнета монаршего авторитета, не вступая при этом в конфронтацию, а отражая агрессивные флюиды царственности щитом чувства собственного достоинства свободной личности. Антиох был восхищен римлянином и ставил его чуть ли не вровень с самим собою.

На следующий день царь устроил послам официальный прием. Он встретил своих вчерашних гостей надменно и строго. Если накануне Антиох еще позволял себе какие-то естественные чувства, то сегодня, в присутствии приближенных, он выступал только как царь, впрочем, так же, как и оба Публия теперь были только сенаторами Римской республики.

После обмена формальными любезностями царь изложил свою позицию, давно известную римлянам по речам сирийских посольств. В дипломатичных выражениях он обосновывал право силы и давал понять, что будет владеть теми городами, которые сумеет завоевать. Римлянам же царь предлагал довольствоваться Италией и Сицилией, но не совать любопытный нос на Балканы и уж тем более – в Азию. Ответ держал Публий Виллий Таппул. Он говорил о справедливости, о достоинстве, чести и наконец о необходимости бережного отношения к грекам, столь много сделавшим для цивилизации.

– Что же вы сами их не бережете? – насмешливо перебил Виллия Антиох после того, как некий внушительный господин, почтительно склонившись, прошептал ему несколько слов на ухо. – Как же вы при вашей справедливости могли покорить южноиталийских и сицилийских греков? Как же вы при вашей чести и достоинстве до сих пор держите их в рабстве?

Виллий терпеливо начал объяснять, что греческие города Италии и Сицилии являются союзниками Рима, и отношения с ними регламентированы договорами, действие которых не прерывалось с момента их заключения и до настоящего времени. То есть с юридической точки зрения эти отношения были вполне законны и справедливы, тогда как греческие города Малой Азии уже давно освободились от власти азиатских владык и никаких договоров с Антиохом не заключали. Антиох снисходительно посмотрел на Виллия и, усмехнувшись, молвил:



— Так ведь и мои греки, едва я введу к ним свои войска, охотно подпишут любые договоры, а копья моих солдат обеспечат непрерывность их действий. Так что никакой разницы между сицилийскими и малоазиатскими эллинами я не вижу.

— Зато ее видят сами греки! — воскликнул Виллий. — Давай царь, пригласим делегации от эллинских общин Италии, Сицилии и Малой Азии. Пусть они сами расскажут об их положении и выразят свои чаяния.

— Только мне и осталось разбирать склоки каким-то греков! — презрительно бросил царь.

Помолчав, он произнес:

— Да, видно, ни о чем мы с вами не договоримся. Пора переходить к делу; там, где кончается красноречие, начинается раздаваться звон оружия.

— При желании, царь, всегда и обо всем можно договориться без звона, стонов и хрипов, — вступил в разговор Сципион.

Антиох насторожился, понимая, что такой человек пустой спор затевать не станет. А Сципион продолжал:

— По крайней мере, у нас, римлян, это получалось нередко. Нужно только наличие доброй воли и разумности с обеих сторон. При соблюдении этих условий мы находили общий язык даже с недавними врагами, и они, забывая вражду, изъявляли готовность сотрудничать с нами.

Царь вздрогнул. Он вдруг подумал о Ганнибале. Ему уже сообщили, что в Эфесе африканец настойчиво искал контакта с римлянами и после неоднократных бесед с Виллием имел в завершение длительную аудиенцию со Сципионом, причем в условиях, исключающих подслушивание. Заодно ему вспомнились многочисленные легенды о пунийском коварстве.

Наступила напряженная пауза. Антиох экспрессивно сверлил Сципиона взглядом, стараясь найти подтверждение своей догадке, а Публий надел маску непроницаемого бесстрастия, сквозь которую чуть поблескивали лукавством его глаза.

— Я имею в виду Филиппа, — пряча усмешку, разъяснил Сципион.

Антиох вздохнул с облегчением, но спустя мгновение заволновался еще сильнее. Римлянин будто прочитал его мысли и разрешил его тайные сомнения. Но, если они думали об одном и том же, значит, подозрения не напрасны? Выделив Филиппа, Сципион как бы проговорился, что есть и еще кто-то. А кто иной может сейчас занимать их общее внимание, кроме Ганнибала? Усмешка же римлянина, тень которой успел уловить Антиох, еще более озадачила его. Все цари изначально поражены жестокой болезнью подозрительности, потому семена сомнений, брошенные Сципионом в душу Антиоха, быстро проросли мясистыми стеблями дурмана и помрачили его ум.



«Ну и противники у меня, эти римляне, — думал царь, — где ни появятся, всюду добьются своего. Надо же, такого злодея у меня сманили!»

У царя пропало последнее желание вести переговоры. Заметив это, Сципион выразил намерение расстаться, а напоследок сказал:

— Напрасно ты, Антиох, надеешься на оружие. Тебя, видно, кто-то вверг в заблуждение. Сил у нас не меньше, чем у тебя, а союзников больше. Те же, на кого полагаешься ты, ненадежны...

Увидев, как при этих словах у Антиоха вытянулось лицо, Сципион спешно добил:

— Я имею в виду этолийцев.

Он и в самом деле подразумевал этолийцев, но царя уже невозможно было образумить: вспыхнувшая едким пламенем болезнь чернила его душу и распяляла мозг, а потому хладнокровных размышлений ждать от него уже не приходилось.

— Ну что же, Антиох, — снова заговорил Сципион, — видимо, нам действительно придется померяться силами. Но прошу тебя, в том случае, если вопреки нашим стараниям, это все же произойдет, сумей сделать правильные выводы из первого же столкновения и вовремя остановись, не доводи наше противостояние до крайнего ожесточения, до смертельной злобы. Это будет выгодно и тебе, и грекам, и нам. Но все же не торопись, царь, рвать с нами дружбу и вверять судьбу прихотливому военному счастью, еще раз обдумай сложившуюся ситуацию, и пусть следующий день принесет нам больше взаимопонимания.

— Да, — поднимаясь, нетерпеливо сказал Антиох, — всего вам доброго, встретимся завтра.

Однако на следующий день встретиться не довелось. Утром пришло сообщение о смерти царского сына, носившего, как и отец, имя Антиох. Во дворце, а также во всем городе был объявлен траур. Ни о каких переговорах теперь, конечно же, никто не помышлял.

Младший Антиох подавал большие надежды, и его добрые задатки сами вынесли ему приговор. Талантливый царевич страшен для царя, и, как шептались при дворе, да и по всей Сирии, Антиох был вынужден отравить сына, естественно, при посредстве специалистов, в качестве которых в Азии использовались евнухи. Другой царский сын Селевк был попроще, и потому ему позволили жить, однако отправили фактически в ссылку за Геллеспонт в Лисимахию, дабы в этой отдаленной от азиатских центров, ничтожной провинции он не мог собрать сил, достаточных для свержения отца.

Царь в жестокой депрессии заперся в своем покое и не показывался на глаза ни придворным, ни гостям.



Сципион же, расхаживая по облаченным в траурное убранство залам дворца, вспоминал страдания царя в день их первой встречи и содрогался от ужаса. Теперь они виделись ему в ином, беспощадном свете и воспринимались по-другому. «Вот она, монархия, — думал он, — пусть бы философы, восхваляющие единодержавие, взглянули ныне на этот дворец, на этого могущественного царя, не смеющего даже оплакивать сына! Прежде говорили, что в Азии все люди рабы и только один человек — господин, это царь, но, увы, оказалось, что царь — тоже раб, раб своего трона».

Виллий предложил Сципиону оставить Антиоха в покое и переждать траур в Пергаме. Сципион согласился, и римляне, передав через придворных соболезнования несчастному царю, возвратились к Эвмену.

В Пергаме они не теряли времени даром и сразу же включились в проводимую выздоровевшим Сульпицием работу по созданию антисирийской коалиции. Большую помощь в этом римлянам оказывал Эвмен. В результате, к тому дню, когда из штаба Антиоха поступило согласие на продолжение переговоров, трех Публиев окружало множество греческих делегаций от малоазийских городов, и потому в Эфес, где теперь находился сирийский царь, римляне отправились с целым караваном союзников.

Сам Антиох не вышел к гостям, сославшись на болезнь, и поручил вести переговоры своим советникам. От имени царя на этот раз выступал внушительный вельможа Миннион. Виллий и Сципион еще в Апамее обратили на него внимание, так как он обычно ближе всех стоял к царскому уху и чаще других прикладывался к нему устами, нашептывая господину свои бесценные соображения; правда, друзья не сразу его узнали, поскольку в отсутствие царя он стал как-то выше и солиднее. Всегда согбенный перед Антиохом, Миннион сегодня распрямился и держался перед римлянами с великим апломбом, словно разом совмещая в себе и царскую самоуверенность, и собственное самомнение, а греков он и вовсе в упор не замечал. Однако его новая поза не придала свежести старым речам, произносимым совсем недавно Антиохом, а гораздо раньше сирийскими посольствами в Риме. Он снова указывал римлянам пределы их интересов и советовал либо совсем забыть беспокойные слова «свобода» и «справедливость», либо воплотить их в реальность у себя дома, а не таскать свои лозунги за моря в чужие территории. Отвечая царскому представителю, Публий Сульпиций первым делом высказал предположение, что Антиох постыдился сам выступать со столь пустою речью, а потому поручил это сделать первому, кто попался ему под руку. В подобном же ключе, опровергая один за другим доводы Минниона, он продолжал его высмеивать, стараясь расположить в свою пользу присутствующих греков. Когда же очередь высказываться дошла до де-



легаций греческих городов, в зале поднялся такой галдеж, что здравый смысл в ужасе покинул поле боя в неизвестном направлении.

Попрепивавшись подобным образом несколько дней, оппоненты разошлись, сохранив за собою прежние позиции. Римляне вернулись в Пергам, а оттуда поторопились на родину.

Последнее посещение Эфеса, несмотря на бесплодность переговоров, все же возымело некоторое значение для римлян, так как позволило им удовлетворить любопытство относительно Ганнибала. Они заметили, что Пуниец уже не столь уверенно разгуливает по царским палатам, как прежде, и свита его весьма уменьшилась. У дворцовых сплетников им удалось выведать, что африканец попал в немилость у Антиоха, а попытками рассеять царские подозрения только усугубил их, что однажды он начал бить себя кулаком в грудь и кричать: «Я – злейший из злейших врагов римлян! Как смеешь ты мне не доверять! Я ненавидел их с рождения и даже раньше, поскольку их ненавидели все мои предки! Я в девять лет дал клятву отцу и богам в вечной вражде к Риму! А теперь я ненавижу римлян в десять раз сильнее, потому что среди них находится тот, кто мне ненавистнее самой смерти! Знай же, Антиох, если ты отвергнешь мою жажду мести, я пойду за Альпы, за Гирканское море, подниму на борьбу с Римом галлов и скифов, а если не помогут и они, взойду на небеса и взбунтую самих богов!» После этой неистовой оргии в честь подземных духов злобы и ненависти царь будто бы смилостивился над Пунийцем и соизволил оставить его при своем штабе, однако прежнего доверия к африканцу уже не было.

12

На обратном пути Сципиону опять не удалось ознакомиться с Грецией, поскольку на этот раз послы спешили еще более, чем по дороге в Азию. Миссия трех Публиев, задержавших Антиоха переговорами и внесших разлад в его штаб, способствовала отсрочке войны на несколько месяцев, но столкновение с Сирией было неизбежным, поэтому послы желали как можно скорее оповестить соотечественников о положении дел в Азии, дабы государство незамедлительно предприняло соответствующие меры. В последние месяцы обострилась обстановка и в Элладѣ. В центральной части страны бесновались этолийцы, а на Пелопоннесе по их наущению открыл боевые действия Набис, надеявшийся под шум назревавшей бури незаметно для великих держав решить свои проблемы с соседями. Об этом также следовало доложить сенату и внести необходимые коррективы в политическую стратегию ближайшего периода.

Путешествие прошло успешно, так как приближалось лето, и погода благоприятствовала мореплаванию. Сразу по прибытии в Рим деле-



гация отчиталась перед согражданами в своей деятельности. Изложив формальные итоги визита в Азию, Публий Виллий дал понять, что подобно тому, как палубное судно имеет трюм, так и их дипломатия содержала в себе невидимую постороннему глазу область, результаты которой, возможно, важнее объявленных. В частности, он намекнул, что Сципион сумел нейтрализовать Ганнибала, и Пуниец отныне уже не столь опасен Республике, как то было зимой.

Выслушав послов и проанализировав всю имеющуюся информацию о восточных делах, сенат определил направления возможной агрессии Антиоха и выработал упреждающие меры противодействия врагу. Так, не вызывало сомнения, что при пособничестве этолийцев сирийские войска вторгнуться в Элладу; велика была опасность морского десанта в Сицилию; вероятность нападения из Африки представлялась невысокой, поскольку партию Баркидов в Карфагене за последние три года удалось почти полностью отстранить от власти, а Ганнибал был дискредитирован в глазах Антиоха, да и Масинисса не бездействовал, создавая пунийцам вполне достаточно домашних проблем, чтобы отвадить их от помыслов о заморских походах. Поэтому римляне решили направить войска в Брундизий с целью последующей переправки их на Балканы, а флот – в Сицилию. Кроме того, были приведены в повышенную готовность гарнизоны восточного побережья Италии. Эти силы возглавили преторы Марк Бебий и Авл Атилий, которым первоначально предназначалась Испания, оставленная теперь в распоряжении прежних преторов Фламиния и Фульвия. Весьма успешно действовавший против иберов Бебий командовал сухопутным тридцатитысячным войском, а Атилий получил под свое начало тридцать военных кораблей и несколько тысяч вспомогательных войск. В качестве официальной версии, под политическим прикрытием которой проводились все эти мероприятия, была провозглашена подготовка к войне с Набисом, открыто напавшим на римских союзников – ахейцев.

Все другие события в государстве отступили на задний план и вызывали интерес лишь у тех людей, кого они непосредственно касались. Наиболее значительное из таких второстепенных событий произошло в северной Италии, где войско под предводительством друга Сципиона проконсула Квинта Минуция Терма разгромило лигуров, вторгшихся в Пизанскую область. Минуций, будучи верным традициям своего императора, не остановился на достигнутом и, преследуя разбитого противника, огнем и мечом прошел по его стране, лишив врага экономического потенциала для продолжения войны. Прибывший на смену консул Луций Квинкций Фламинин остался не у дел, а потому двинулся в земли бойев. Попад под двойной удар войск Луция Квинкция и Гнея Доми-



ция, бои, истомленные многолетней войной, пали духом и начали более или менее многочисленными группами переходить на сторону римлян. Передовые ряды в колонне предателей-перебежчиков, как обычно, составляли местные богачи, желавшие сохранить груды своего барахла ценою утраты собственной чести и свободы Отечества.

В начале лета стало ясно, что в нынешнем году война с Антиохом может быть лишь обозначена, но в следующем — грянет на полную мощь. В связи с этим особое значение приобретали состав будущих магистратов и предстоящее распределение должностей. Пока события развивались в полном соответствии с расчетами группировки Сципиона. Владея инициативой, Сципионова партия вознамерилась извлечь максимум выгоды из своего лидирующего положения и выдвинула идею провести выборы раньше обычного срока якобы для того, чтобы заранее начать подготовку к военной кампании следующего года.

Это предложение надлежащим образом представили народу и сенату и снабдили хорошей аргументацией, потому оно не встретило организованного сопротивления, и комиции были назначены на ближайшее время.

Сципион наметил в консулы Публия Назику и Гая Лелия. Однако Лелий все еще не вышел из душевного кризиса и к своему другу относился недоверчиво. Несмотря на уговоры их общих со Сципионом товарищей, он отказался надеть беленую тогу кандидата и вместо него пришлось выставить на выборы Мания Ацилия Глабриона. Сильных претендентов Сципион выдвинул и в соискатели претуры. В первую очередь это были Луций Эмилий Павел и Марк Эмилий, с лучшей стороны проявившие себя при исполнении эдилитета, причем Павел сумел отличаться еще и как авгур.

На этот раз партия Сципиона наступала широким фронтом, стараясь исключить малейшую вероятность срыва на выборах. Так, например, со стороны патрициев за консулат с Публием Назикой соперничали Луций Сципион и Гней Манлий Вольсон. Последний, конечно же, не мог тягаться политическим весом с двумя первыми, и потому всяческие завистники, ненавистники и прочие недоброжелатели Публия Африканского стояли перед выбором: голосовать ли им за родного брата Сципиона или за двоюродного. Сам принцепс, соблюдая корректность в этой щекотливой ситуации, в одинаковой мере просил народ за каждого из братьев. При этом Сципион понимал, что предпочтительные шансы имеет Назика, поскольку граждане чувствовали свою вину за незаслуженную обиду, нанесенную почтенному мужу на прошлогодних комициях, и жаждали искупления. Поэтому принцепс вел дело так, чтобы в будущем люди сознавали за собою подобный моральный долг уже перед Луцием. Вообще,



Публий больше говорил не о достоинствах того или иного Корнелия, а о том, сколь благодатно государство, располагающее возможностью подобного выбора, и таким способом как бы уравнивал двух главных претендентов, ставил их обоих на самую вершину общественного авторитета.

Фурии и Порции на этот раз сплеховали перед массивированным и продуманным наступлением Корнелиев и Эмилиев и не смогли оказать серьезного сопротивления. Однако главная причина явного превосходства группировки Сципиона заключалась не в слабости конкурентов, а в изменении общественного сознания, вызванном осложнением международной обстановки. Еще год назад плебс чувствовал себя уверенно и, сознавая свою силу, бравировал перед Сципионом, во всем противореча ему и отвергая его кандидатов. Ах, как приятно было тогда обывателям навязывать свою волю самому Сципиону Африканскому! Ах, как сладостно сосало у них под ложечкой при виде неудач и унижений прежде недоступного для их посягательств принцепса! Но теперь на Востоке грянул гром, и толпа задрожала, как сбившееся в кучу овечье стадо при звуках волчьего воя. Огромная Сирийская держава, превосходящая территорией и населением Италию, Сицилию, Испанию, Грецию и Карфаген вместе взятые, разверзла ужасающую пасть и грозит проглотить Рим, весь Лаций и целую Италию. В страхе перед грядущей бедой плебс напрочь забыл о Катонах и Леках, презрительно смотрел на Фуриев и Валериев, но зато испытывал безмерное счастье, сознавая, что у него есть Сципион Африканский. Ныне простолюдины, затаив дыхание, внимали речам Сципиона, жадно смотрели ему в рот, когда он говорил, будто хотели извлечь оттуда его слова прежде, чем те будут произнесены. Они с готовностью выполняли все его пожелания и гордились послушанием так же, как год назад — строптивостью.

В такой эмоциональной атмосфере партия Сципиона одержала полную победу, и на выборах, проводимых Луцием Квинкцием, консульские должности получили Публий Корнелий Сципион Назика и Маний Ацилий Глабрион, а в преторы прошли оба Эмилия, Корнелий Маммула и трое представителей нейтральных родов.

13

Тем временем в Эфесе Антиох усиленно советовался со своими подданными и союзниками о дальнейших действиях в отношении римлян.

Велика царская власть, многое подвластно самодержцу, но, увы, там, где в отношения между людьми вступают посторонние силы, не являющиеся функциями существа личности, не приходится ждать естественности, потому монарху, распоряжающемуся жизнями и судьбами людей, недоступны их сердца и мысли. Перед Антиохом выступали де-



сятки виднейших мудрецов Азии, и говорили они подолгу, красиво и внушительно, однако в их речах не было и не могло быть искренности. Каждый из них что-то настойчиво советовал повелителю, но исходил при этом не из потребностей дела, а из условий адаптации при царском дворе. Все вельможи стремились использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы наилучшим образом угодить царю, обогнав на этом поприще коллег, и таким путем продвинуть свою карьеру еще на одну или две ступеньки вверх, еще на шаг или два приблизиться к трону. Судьба же непосредственно военной кампании интересовала их меньше всего, разве что кто-нибудь надеялся получить в Греции сатрапию.

В данный момент придворные интриганы внушили царю, что он хочет войны с Римом, и успешно спекулировали на его искусно разожженном острыми приправами воинственных речей аппетите к поглощению заморских стран. На этой волне агрессивности к власти прорвалась целая группировка, заправляющая сегодня всеми делами в штабе Антиоха. Первоначально предполагалось развивать наступление на царство Птолемеев, но затем сирийские политики обнаружили недовольство этолийцев и узрели в их неугомонном темпераменте «золотое дно» для себя. Исподволь внимание Антиоха мудрыми советниками стало направляться на Грецию, его убеждали, что он должен совершить деяния, задуманные прежними азиатскими владыками, но оказавшиеся им не по силам. Из идеологического и политического столкновения с римлянами эти «хозяева дворцового подполья» также извлекли пользу для своих целей и растравили царское тщеславие. Добрые плоды выращиваются трудом и заботой, сорняки же растут сами, достаточно лишь бросить семя. Царь с готовностью ступил на указанный ему путь и очень скоро загорелся воинственностью на зависть самим этолийцам.

Со слов этолийцев Антиох составил себе мнение, будто достаточно ему только ступить на Балканы, как Греция всеми своими бесчисленными республиками и союзами вождельно прильнет к его стопам и безоговорочно отдастся царской воле. «Эллада стонет, придавленная римской калигой!» – говорили ему, и он верил. «Наивные римляне в безумной надежде прельстить греков свободой, возвратились в Италию, словно специально для того, чтобы передать нам завоеванную ими страну», – раздавалось над другим ухом царя, и он тоже верил. Ему не хотелось сопоставлять эти фразы и выявлять противоречия, поскольку очень заманчиво было верить каждой из них. Царь пребывал в эйфории. «Филипп жаждет реванша, – думал он словами своих советников, – и уповает на меня. Этолийцы мечтают о мести римлянам, присвоившим себе славу четырехсот этолийских богатырей, сокрушивших македонскую фалангу. Спартанец Набис уже начал войну против римских при-



спешников – ахейцев. Молодчина Набис, чувствуется наша, царская, порода! Настал мой черед вступить в дело и возглавить все эти силы в борьбе за сирийское господство, то бишь за свободу Эллады!» Именно такой лозунг: «Свобода Эллады», который недавно принес успех римлянам, ныне с подачи этолийцев был взят Антиохом на вооружение для порабощения Греции.

Единственный, кто в этой ситуации мог сказать царю правду, это Ганнибал, который, лишившись благосклонности владыки, отверг длинный утомительный путь наверх, прокладываемый мелкой лестью, и вознамерился разом, одним скачком вернуть себе утраченное положение, а потому гордо выпячивал грудь, стараясь дать понять царю, кого тот потерял в его лице, и изображал всевидящего, всезнающего оракула, изрекающего жестокие истины с заоблачных вершин мудрости, невзирая на личности, троны и диадемы. Но, увы, Пунийцу теперь не было доступа в высшие эшелоны власти, и ему редко выпадал случай продемонстрировать царю свою эффектную позу.

Итак, Антиох настолько уверовал в собственное могущество и поддержку словоохотливых союзников, что не стал дожидаться, пока в Малую Азию стянутся основные силы его гигантской армии, и, собрав всего лишь около десяти тысяч воинов, поспешил к Геллеспонту.

14

Пока в Эфесе вызревал воинственный перл Антиоховой политики, в Греции этолийцы с изобретательностью, достойной самих карфагенян, готовили плацдарм царскому войску. В прошлом греки неоднократно возмущались циничной фразой Филиппа Македонского о том, что, захватив города Деметриаду, Халкиду и Коринф, он наложил на Элладу оковы, теперь же этолийцы сами решили последовать примеру надменного царя и вручить «цепи Эллады» Антиоху. Для того, чтобы овладеть Деметриадой, Халкидой и Спартой, которая была поставлена в этот ряд вместо надежно охраняемого ахейцами Коринфа, этолийские вожди в строжайшей тайне разработали три дерзкие авантюры.

Полным успехом завершилось их предприятие в Деметриаде. В этом городе незадолго перед тем возникли гражданские волнения. Промакедонская группировка знати, с победой римлян оставшаяся, естественно, не у дел, ныне прониклась ненавистью и к Риму, и к Филиппу: к первому за его силу, а ко второму – за слабость. С пробуждением от азиатского сна сирийского титана, эти люди узрели возможность вернуть себе власть на родине за счет Антиоха. Сделав царское имя знаменем своей партии, они пошли в наступление на официальных магистратов. Для народа была сочинена басня о том, что римляне будто бы намереваются



возвратить их город Филиппу. Как раз в то время римляне собирались вернуть македонскому царю его сына, находящегося в итальянской столице в качестве заложника. Царевича звали Деметрием, возможно, поэтому и заговорили о передаче Деметриады. «Созвучие есть, чего еще надобно презренной черни!» – думали олигархи. Но, увы, на горе толстосумам тогда еще не везде народ превратился в презренную чернь, а потому их номер не прошел, и разоблаченным инициаторам смуты пришлось удалиться в изгнание. И вот несколько месяцев спустя на сцену вышли этолийцы, чтобы завершить прерванный на самом интересном месте спектакль. В городе началась хорошо профинансированная извне кампания нагнетания жалости к изгнанникам. Помимо соответствующих речей и лозунгов, в дело были введены траурные процессии родственников обиженных претендентов на господство. День и ночь рыдали на площадях и перекрестках одетые в рванье аристократки, окруженные хороводом хныкающих младенцев. Сердце народа не выдержало горестных картин проявлений скорби, и сердобольные люди согласились простить изгнанников. Так, не сумев сыграть на пороках толпы, олигархи добились своего спекуляцией на добрых чувствах народа. Возврат блудных сыновей государства был превращен в шумное и красочное мероприятие. Простые люди вышли на улицы, дабы приветствовать своих мучеников, и сквозь слезы умиления взирали на пышное шествие. Изгнанников сопровождали давшие им приют во время смуты этолийцы, каковые, благодаря проявленному гостеприимству, ныне тоже выглядели героями в глазах горожан. Этолийцы были как пешими, так и конными, но в порыве благородного восторга жители Деметриады не придали этому значения. Проследовав в центр города, этолийские друзья захватили здание совета, водрузили на магистратские кресла приведенных с собою диссидентов и, сверкая кинжалами, с криками «Да здравствует свобода!» мелкими группами рассыпались по городским кварталам. Всего за какой-то час они перерезали наиболее видных представителей правящей партии и освободили Деметриаду... для Антиоха.

В Спарте дела этолийцев поначалу тоже шли неплохо. Правда, Набис был несколько обижен на союзников, поскольку, затеяв по их совету войну с ахейцами, он не дождался обещанной поддержки ни от Антиоха, ни от самих этолийцев и практически проиграл кампанию. Зато помощь пришла теперь, и царь, которого после череды неудач все чаще стали называть тираном, вновь воссиял оптимизмом и благодарностью к друзьям. Однако на первый раз этолийцы прислали ему сравнительно небольшой отряд в тысячу копий, но зато начальник прибывшей тысячи обещал царю больше, чем иной полководец, стоящий во главе целого войска, и парадоксальным образом он выполнил свои обещания, ибо



Набису действительно больше не потребовались подкрепления. Очень скоро этолийский офицер сделался доверенным лицом и чуть ли не оруженосцем царя. Он повсюду сопровождал Набиса и оказывал ему множество услуг. Пользуясь таким положением при монархе, этолиец однажды во время военного парада подобрался к Набису ближе телохранителей и ударил его мечом в спину. Тут же этолийская тысяча набросилась на поверженного царя и исколола его пиками. В рядах спартанцев возникло замешательство, а заговорщики, к которым присоединились отряды служивших здесь ранее этолийских наемников, ворвались во дворец, а затем нестройными потоками хлынули в город грабить население. По ходу дела они опять-таки кричали что-то о свободе и свергнутых тиранах. Увы, это традиционное заклинание политических ведьм им не помогло, так как спартанцы больше доверяли глазам, а не ушам, потому они не признали таких «освободителей» и, быстро вооружившись, дали им бой. Сражаться холодным оружием оказалось сложнее, чем – пылкими словами, и этолийцы были разгромлены. Остатки их сил укрылись в ближайших городах ахейского союза, но ахейцы, по достоинству оценив методы этолийской политики, оказались солидарны со своими врагами и продали беглецов в рабство. После этих событий изнуренный внешними войнами и междоусобицей Лакедемон подчинился ахейцам и вступил в их союз.

В Халкиде у этолийцев и вовсе ничего не вышло. И хотя они сумели подобно тому, как было в Деметриаде, завязать отношения с халкидскими изгнанниками и даже собрать небольшое войско, вся Эвбея встала на борьбу с ними и воспрепятствовала реализации их замыслов. Подступив с несколькими тысячами наемников к стенам Халкиды, этолийцы убедились, что город в полной мере готов к обороне, и удалились ни с чем. У них было достаточно сил для осуществления предательства, но, увы, не для сражения.

В итоге, из трех авантюр этолийцам удалась только одна, но и это являлось большим достижением, поскольку теперь Антиох мог вступить в Грецию, минуя длинный путь через царство Филиппа, который совсем не был склонен к союзу с властелином Сирии.

15

Антиох не замедлил воспользоваться предоставленным ему шансом. Не взирая на глубокую осень, он погрузил войско на корабли, пересек Эгейское море и причалил в гавани Деметриады. Там ставленники этолийцев организовали царю помпезную встречу, и народ, совсем недавно прославлявший освободителей-римлян, ныне под умелым руководством олигархии превращенный в толпу, с тем же энтузиазмом чествовал ос-



вободителя-Антиоха. Возгордившись «народной любовью» эллинов, царь в сопровождении всего лишь тысячи воинов пустился в вояж по Греции собирать лавры. На ура прошла его встреча с этолийцами, несколько прохладнее к нему отнеслись в центральной Фессалии, а в Халкиде указали на порог. Поле этого Антиох стал действовать через своих представителей, дабы избавить себя от неприятного общества тех, кто не понимает сирийско-этолийского варианта свободы.

Римляне же до сих пор предпочитали дипломатию, и за Грецию с азиатами сражались четверо послов: Тит Квинкций Фламинин, Публий Виллий Таппул, Гней Сервилий Гемин и Гней Октавий. Силы, конечно же, не были равны, но делегация Квинкция все-таки добилась успехов. Так, именно Фламинину силой ума и авторитета удалось подавить первый бунт в Деметриаде, он же предотвратил мятеж в Афинах и выиграл острую идеологическую борьбу, развернувшуюся в Ахайе, куда прибыли посланцы царя и этолийские стратеги, чтобы агитировать ахейцев против римлян.

Ахейский союз служил в Греции практически единственным противовесом этолийцам. Эти две силы в последние десятилетия определяли политику Эллады. Потому сирийцы оказывали ахеянам повышенное внимание. Даже сам царь одно время изъяснял готовность облагодетельствовать их своим посещением, но, узнав, что Квинкций его опередил и уже находится на Пелопоннесе, он, во избежание очной ставки с римлянином, остался в Деметриаде, где сумел неплохо устроиться во дворце, выстроенном когда-то для Филиппа, а в Ахайю направились его послы.

Азиатские вельможи были густо облеплены этолийской знатью, примерно так же, как сами вельможи обычно облепливают царя. Ввалившись в ахейское собрание, эта разноголосая толпа поразила взор пелопоннесцев яркостью нарядов, а воображение – пестротой речей. Царские министры держались с преувеличенной важностью, словно старались в краткие дни свободы от надзора монаршего ока вознаградить себя неестественным гонором за годы неестественного пресмыкательства пред господином. Воспитанным в республиканском духе грекам такая манерность представлялась диковатой, но из почтения к имени могущественного азиатского царя они относились к напыщенности сирийцев как к должному.

Представ собранию, глава посольства Антиоха повел речь с небывалым размахом. В рокоте его слов мысленному взору замороженных слушателей явилась вся Азия в своей необъятности, богатстве и всевозможной экзотической чрезмерности. Он живописал индийские и персидские просторы, скифские степи, малоазийские горы, и все это посыпал груда-



ми золота и самоцветов; он, как колдун, дурным голосом выкликающий заклинания, перечислял диковинные наименования бесчисленных племен и народов, населяющих царство его повелителя; он слагал стихи во славу сирийской армии, вобравшей в себя весь цвет этих самых племен и народов, звенел колкими названиями азиатского вооружения, запрудил все греческие гавани восхвалениями царскому флоту, основу коего составляли силы знаменитых мореходов – финикийцев.

Когда же азиат замолк, чтобы перевести дух, греки, поеживаясь, стали боязливо озиаться вокруг, веря и не веря, что они еще живы. Вновь расправив могучую грудь, образцовый продукт дворцовой политики зычно пропел погребальную песнь римлянам, которым ныне, как он заявил, предстоит бороться не с каким-то ничтожным городком – Карфагеном и не с захудалым нищим царством – Македонией, а с лучшей богатейшей половиной света – Азией, состязаться в воинском искусстве не с ослепшим от самолюбования Ганнибалом и не с кичливым Филиппом, а с самим Антиохом Великим, преемником Александра Великого, у коего Ганнибал ходит в прислужниках! «Похоронив» римлян, оратор призвал ахейцев поторопиться с поклоном будущему властелину мира и впредь всячески стараться заслужить его хвалу, для чего первым делом им надлежало возненавидеть римлян.

Звонким эхом прозвучавшей речи стало последующее выступление этолийцев. Они в меру своих риторических талантов восславили Антиоха, сверх всякой меры обругали римлян, а затем забыли и о первом, и о вторых, сосредоточив все силы легких на поношении Тита Квинкция. Этолийский стратег заявил, что именно он выиграл сражение при Киноскефалах, ибо бился мечом и копьем в первом ряду, тогда как Фламинин даже не выпустил ни одной стрелы, не метнул ни единого дротика, а, стоя на холме, размахивал руками, отдавая какие-то непонятные распоряжения. «И после этого вы называете его полководцем! – возмущался отчаянный рубака. – Да если бы не я, его и в живых-то теперь не было! Если бы не мы, этолийцы, то не существовало бы уже и самого Рима!»

Греки любили риторику, гиперболы приводили их в трепетный восторг, потому никто не смеялся. В исполненную напряжения паузу на ораторское возвышение пробрался Тит Квинкций. Он одарил толпу лучезарной улыбкой и заговорил легко и свободно, как всегда говорил с эллинами, потому что ощущал себя властителем их душ. Ритмика его речи была совсем иной в сравнении с оппонентами, надрывному пафосу азиата и громким эмоциям этолийцев он противопоставил речь-рассуждение, словно участвовал в товарищеской беседе, и тем сумел оживить внимание уставших от крика слушателей.



«Сегодня, друзья, нам открылась великая тайна, и, думаю, стоит за это поблагодарить предыдущих ораторов, – весьма интригующе начал римлянин. – Долго мы терялись в догадках: что могло сблизить Антиоха и этолийцев, что общего между столь разнородными явлениями ойкумены. И вот наконец-то секрет раскрыт. Заметили ли вы, что, выступая перед вами, этолийцы обращались совсем не к вам? Действительно, зачем им рассказывать эллинам о своей доблести, цену которой вы уже давно poznали в бою? Не могут же они всерьез надеяться словесной храбростью компенсировать трусость поступков. Нет, вам, выдавшим их в деле, они уже никогда не докажут свою смелость. Значит, их речи адресованы не вам, а тем, кто иначе как со слов, мнения о них составить пока не может. Так вот, выхваляются этолийцы перед азиатами, а сирийцы в ответ бахвалятся перед этолийцами. Отсюда эти рассказы о царском могуществе, эти страшные перечисления племен и родов вооружения, которые весьма кстати напомнили мне один забавный эпизод. Гостил я как-то в Халкиде у очень достойного человека и пришел в изумление от обилия дичи на его обеденном столе. Чего там только не было: и кабаны, и зайцы и всяческая птица, и морские животные, хотя до начала охотничьего сезона еще было далеко. А хозяин, добродушно посмеиваясь в отличие от ваших нынешних гостей, говорит мне: «Все это мой повар из свиньи состряпал с помощью различных приправ». Так же и я вам скажу: все эти кадусии, дахи, элимеи, мидийцы, как и конные латники и конные лучники – все это сирийцы, только вооружение у них разное, а значит, это – рабы, но не граждане, добыча победителю, но не воины. Так и лгут друг дружке по очереди этолийцы и сирийцы, стараясь воодушевить самих себя и шумом пустых речей о вымышленной мощи, заглушить собственный страх. Вот что их объединило, но, как всякий заметит, подобная связь ненадежна. Правда, однажды этолийский стратег ненароком обмолвился и нечаянно сказал истину о том, что при Киноскефалах он вместе с остальными этолийцами был впереди римлян, однако забыл добавить, что случилось это не в сражении, а при разграблении македонского лагеря. Тут уж ничего не возразишь: в чем хороши этолийцы, в том хороши! Я безоговорочно признаю, что, пока мы бились с воинами Филиппа, этолийцы нанесли сокрушительное поражение их скарбу и по праву заслужили славу грозы вещей мешков. Победоносному войску после них не досталось ничего. Но, я надеюсь, что подобного рода славу вы, ахейцы, не оцените выше славы освободителей Эллады; о вкусах же Антиоха пока судить не берусь, но, думается мне, напрасно он доверился этолийцам. Ну, Антиох пусть сам расплachaется за свои заблуждения, а вы, ахейяне, не принадлежите к числу краснобаев, потому в такой кампании вам делать нечего. Это очевидно, пожалуй, даже для этолийцев».



Выслушав Квинкция, ахейцы выразили ему одобрение и недовольным гулом вынесли порицание этолийцам. Тогда зачинщики войны заговорили снова. Они бросили несколько черных фраз в Тита, а потом переключились на римлян вообще. На разные лады они переиначивали одну и ту же мысль: римляне поработили Грецию.

– В чем же это выражается, если ни в одном эллинском городе нет римского гарнизона, ни один город не платит дани, если, изгнав македонян, римляне возвратились к себе на родину, предоставив Грецию грекам? – поинтересовались ахейцы.

– Да, римляне ушли, – отвечали этолийцы, – но даже из Италии повелевают Элладой, и все здесь послушно следует их воле, ибо дрожат перед опасностью их возвращения.

Тут в спор вмешался Фламинин.

– В любом благоустроенном государстве существует суд, который упорядочивает взаимоотношения между гражданами, поддерживая установленный законами баланс добра и зла, – сказал он, – причем зло обуздывают угрозой возмездия. Если же мы хотим порядка в международных отношениях, то нам и в этой области следует использовать тот же подход, и в масштабах всей цивилизации, как и в отдельной стране, страх наказаний за преступления должен стоять на страже справедливости. Вот принципы римской политики, отличающие ее от права грубой силы навязывать свою волю побежденным, каковое царило в мире до нас, какового до сих пор держаться и Филипп, и Антиох.

– Так вы присвоили себе право вершить суд над государствами, вершить суд надо всем миром? – возмутились этолийцы, бросая в бой эмоции подсознательного человеческого самолюбия.

– Во имя порядка кто-то должен это делать. Почему же не мы? – продолжил Тит изложение идеологии Сципиона, давно уже слившейся с его собственным мировоззрением. – Согласитесь, ведь мы поступили справедливо, освободив Грецию? Справедливо. Тут мне не смогут возразить и этолийцы, обычно готовые оспаривать даже Луну и Солнце. Но в то же время мы, как признали те же этолийцы, способны явить возмездие всякому, кто явит несправедливость. Следовательно, мы обладаем двумя главными качествами судей: чувством справедливости и силой, способной ее защищать. Верно, этолийцы?

– Верно! Верно! – дружно закричали ахейцы.

Те же, к кому непосредственно обратился Квинкций, в растерянности молчали: искусное хитроумие греков пасовало перед добротной фундаментальностью римского мышления.

Помучившись некоторое время раздумьями, этолийцы вновь воспряли духом и, перемигнувшись с царскими послами, завели такую речь:



– Дорогие наши соотечественники, ахейяне, вы нас не поняли. Этот коварный чужеземец, – ткнули они пальцами в направлении Тита, – гнусно клеветает на нас, будто мы призываем вас к войне, а вы верите. Отнюдь нет, уважаемые ахейяне, все тяготы борьбы за истинную свободу Эллады, – так этолийцы усовершенствовали свой лозунг, не совладав с ним в очищенном виде, – всю тяжесть этой войны мы принимаем на себя, уповая, конечно же, на нашего заморского друга Антиоха, а вас призываем лишь не вмешиваться в грядущие события, и только. Так вы сохраните достоинство соблюдением договора с римлянами и не повредите Элладе. А когда вам станет очевидна разница между свободой в римском понимании этого слова и нашей, истинной свободой, тогда и определитесь по собственному разумению с выбором союзника.

Сирийцы величавыми кивками подтвердили, что они нисколько не нуждаются в помощи ахейцев и лишь заботятся об их репутации, а потому, исходя из бескорыстия самой высшей пробы, вместе с этолийцами стремятся удержать их от поступка, который в будущем стал бы укором их совести.

– Вот как! – воскликнул Квинкций. – Эти этолийцы – прямо-таки пунийцы в греческом обличии. Не сумев переманить вас, ахейцы, на свою сторону, они теперь хотят просто устранить вас с пути, сделать так, чтобы вы словно бы и не существовали вовсе на тот период, когда они будут вершить свое предательство, продавая ваше Отечество иноземному господину. Неужели же вы, ахейцы, станете безучастными зрителями этой гнусной драмы? Ни один человек, а тем более, народ не может спрятаться от своей судьбы; если он предоставит другим право решать свою участь, то неизбежно окажется в рабстве. И вы это знаете не хуже меня. Я поражаюсь бесстыдству этолийцев, посмеявшихся предложить вам такое!

Тит хотел сказать еще что-то, но его голос потонул в громе возмущения по адресу этолийцев. Он понял, что дальнейшие слова не нужны, и успокоился. Ахейцы издали постановление, подтверждающее их верность союзу с римлянами, и выразили готовность в случае начала войны вступить в борьбу против Антиоха и его союзников.

Но не везде миссия Квинкция была столь успешна. Не удалось привлечь на свою сторону беотийцев, которые сохраняли выжидательную позицию; колебались и фессалийцы. Фламинин даже предпринял рискованную попытку вразумить самих этолийцев, не столько в надежде на успех, сколько, желая продемонстрировать свою добрую волю и обнажить перед всем миром оголтелую агрессивность этого племени.

Незадолго до вторжения Антиоха в Европу Тит прибыл на общетолийское собрание, как раз и созданное для придания законной силы уже



принятому в верхах решению призвать в Элладу сирийского повелителя. Опасаясь, как бы столь влиятельный человек, любезный народу приятным обхождением, не помешал сбыться их планам, этолийские олигархи загодя настроили толпу против Квинкция, и в обстановке крайнего недоброжелательства римлянин едва довел до конца свою речь. Он напомнил о давних отношениях между римским и этолийским народами, о том, сколь много хорошего принес их союз, показал, что все плохое явилось следствием непоследовательности самих этолийцев, аппетиты которых непомерно росли с каждым новым успехом. Затем он говорил о хищном, агрессивном характере всякой монархии, а азиатской – в особенности и просил этолийцев не стравливать Европу с Азией. А в завершение предостерег их об ответственности за преступное намерение, грозящее всемирной катастрофой.

Усилия Квинкция пропали даром, его никто не слушал, с трибуны он сошел под улюлюканье толпы, потешающейся безнаказанностью. Вдогонку римлянину кричали, что, дав ему возможность пролепетать свою речь, они, этолийцы, оказали недостойному великую честь, а теперь он пусть мечтает лишь о том, чтобы подобру-поздорову убраться из их страны.

Тит смотрел на эти пенистые рты, изрыгающие ругательства, и с трудом верил, что их обладатели когда-то сверх всякой меры славили всех римлян, а его самого – больше остальных. И такие перемены в простых этолийских людях произошли лишь потому, что кучка олигархов, не довольствуясь притеснениями собственного народа, притязала на победы еще и с фессалийских городов. Корыстные желания знати были понятны, но стремления плебса не поддавались рациональному объяснению.

Тут же, при Фламинине, этолийцы вынесли постановление о приглашении Антиоха и о войне с римлянами. При этом они с садистским злорадством смотрели на римских послов, наслаждаясь тем, что выпороли их столь дерзким и демонстративным решением.

Тит пожелал ознакомиться с текстом документа, но ему этого не позволили. Ведший собрание стратег Дамокрит небрежно заявил, едва бросив косой взгляд на Квинкция, что у него теперь есть дела поважнее, чем цацкаться со всякой мелочью.

– А содержание постановления, коль тебе неймется, ты скоро узнаешь в Риме, когда на Тибре будет стоять этолийский лагерь! – совсем «убил» римлянина Дамокрит.

Едва подавляя и впрямь убийственный смех, Квинкций негромко сказал стратегу:

– Как бы тебе, Дамокрит, и в самом деле не оказаться на Тибре. Страшись этого пуще чумы, ибо враги входят в Рим только в цепях!



– Каков фрукт! – воскликнул всегда уравновешенный Публий Виллий. – Говорит об освобождении Эллады, а мечтает о лагере на Тибре!

Постепенно все более сказывалось присутствие в Греции сирийского войска, разум уступал силе, и колеблющиеся начинали склоняться перед Антиохом. Сгущались тучи над Эвбеей. Халкидцы запросили у римлян поддержки. К ним отправился отряд ахейцев. Затем римляне сняли пятьсот человек со своего флота, помогавшего ахейцам в войне с Набисом, и также послали их к стратегически важному острову. Туда же со всей армией выступил Антиох. Передовое царское подразделение застигло римлян на пути в Халкиду и, напав на них без объявления войны, учинило избиение. Причем совершено это было в священном месте возле храма. Так началась эта война.

Ахейцы не смогли противостоять превосходящим силам сирийцев и сдали Халкиду. Вскоре царю подчинилась вся Эвбея. На этой волне успеха Антиоха застала зима.

16

По мере того, как нарастало политическое напряжение в Греции, усиливалась тревога в Риме. Когда Антиох стронулся с места и двинулся к Геллеспонту, старожилы стали вспоминать времена Ганнибалова нашествия, а когда он благодаря этолийцам смог избежать длительного перехода и в краткий срок достиг Балкан морем, многим в Италии Сирия показалась даже страшнее Карфагена. Антиох и впрямь представлялся чрезвычайно могущественным врагом, потому как его царство по всем материальным ресурсам и объективным факторам многократно превосходило Македонию, Египет, Карфаген и саму Римскую республику. Война надвигалась на Рим как нечто огромное безжалостное и всесокрушающее, подобного чему еще не бывало в истории.

В такой обстановке некоторые сенаторы настаивали на немедленном вводе войск в Грецию, дабы отбросить малоэффективные словесные баталии и действовать силой. Сципион категорически выступал против таких методов. Он говорил о римской чести и римском авторитете, привлекающих к ним сердца иноземцев. Его доводам о порядочности противостояли требования выгоды.

– Гораздо проще, – убеждали оппоненты, – сейчас с помощью легионов удержать в повиновении колеблющихся греков, чем сражаться с ними потом, когда они подчинятся Антиоху.

– Часто бывает гораздо проще украсть что-либо, чем заработать, – отвечал на это Сципион, – но, однако же, порядочные люди этим не занимаются, и воруют лишь отщепенцы.



Постепенно к сторонникам агрессии примкнули Фурии и Фульвии, поскольку лишь на такой идеологической платформе они могли противостоять Корнелиям и Эмилиям. Таким образом борьба идей вскоре трансформировалась в борьбу партий. Большую помощь Сципиону оказывала немногочисленная, но довольно влиятельная группировка Тита Квинкция, взгляды которого на международную политику совпадали с взглядами принцепса.

На первом этапе позиция Корнелиев и Квинкциев возобладала, и сенат постановил продолжить состязание с Антиохом дипломатическими средствами. Именно тогда и было направлено в Грецию посольство во главе с Титом Фламинином. Позднее, после того, как этолийцы захватили Деметриаду и обеспечили царю легкий доступ на Балканы, оппозиция опять оживилась и возобновила нападки на Сципиона.

«Вот она, твоя свобода для греков, – ворчали недруги, – дав волю этому никчемному, выродившемуся народу, ты лишь вручил его прямо тепленьким другому господину, гораздо более опасному, чем прежний».

«Увы, греки привыкли к рабству, – говорил на это Сципион, – они сейчас похожи на раба, случайно вырвавшегося из эргастула и с радости напившегося до скотского опьянения в ближайшем трактире».

Греков надо заново учить свободе. Делать это следует настойчиво, но терпеливо. Самоуправство Порция в Испании также привело к мятежу. Однако разница между возмущением иберов и волнениями части эллинов в том, что первые восстали на борьбу за праведное дело, а вторые – нет. В Греции мы защищаем справедливость, тогда как в Испании, изменив самим себе, теперь уже искореняем ее. Но наше дело, наше призвание, данное свыше, – учить мир справедливости. Это угодно богам, это выгодно нам самим, ибо следует стремиться устроить такой порядок в Средиземноморье, чтобы в будущем нам довелось жить среди доброжелательных, полноценных людей, а не среди низколобых обзолбленных рабов».

Оппозиция не сдавалась и продолжала спор. Были приведены в движение корыстные интересы вечно скупаемых алчностью дельцов, которые опасались, что, взяв в руки управление восточной кампанией, Сципион вновь, как и в македонской войне, оставит их без чрезмерных барышей. Особенно старался, конечно же, неунывающий Катон. Он был одновременно и уязвлен, и польщен упоминанием в речи принцепса о его испанских «подвигах». И то, и другое придавало ему вдохновения, и Порций безудержно изрыгал пламя гневных речей. От его брызжащей слюны выгорала трава и кипели колодцы, но народ, увы, оставался холоден.

Грозящая опасность сирийского нашествия, да еще при участии Ганибала, придавала разума плебсу, отвратив его от мальчишеских проказ,



досаждающих принцепсу, и заставив обратиться к трезвому расчету взрослых людей. В критической ситуации народ уповал именно на Сципиона и его друзей, с их многократно проверенной доблестью он связывал все свои надежды на победу. Поэтому никакому Катону теперь не под силу было пробить брешь в народном сознании. Простые люди слушали Сципиона и слушались его.

Сейчас при такой поддержке масс Публию ничего не стоило расправиться с личными врагами, но мысль об этом даже не приходила ему в голову. Он стремился к честной борьбе за свою идею, поскольку был создан так, что именно в обществе справедливости и правды мог наилучшим образом реализовать собственные способности и проявить главные качества личности, а, следовательно, поползновения паразитических натур были органически чужды его нраву.

Встречаясь с согражданами, Сципион искренне высказывал свое мнение по вопросу о восточных делах и терпеливо убеждал колеблющихся в верности избранного политического курса. Критикуя меры, предлагаемые оппозицией, он говорил, что польза от них будет краткосрочна, вред – долговечен. В завершение каждой такой стихийно возникавшей народной сходки Публий успокаивал людей, заверяя их, что, хотя война предстоит серьезная, сомневаться в благоприятном ее исходе не следует.

«Не такой человек Антиох, который был бы способен оказать нам сопротивление, – говорил он, – не такое государство Сирия, чтобы могло соперничать с Римом. Пусть оно велико, но это – царство, и населяют его рабы, кои не в силах состязаться в доблести с гражданами. Вспомните, как греки разгромили полчища Ксеркса. И пусть теперь сирийское войско преобразовано по македонскому образцу, суть остается прежней, оно состоит из несчастных существ, лишенных Отечества, ибо рабский ошейник, все равно, надет он да шею или на душу, и царский трон не могут выступать в качестве Родины. Нам лишь нужно быть достойными самих себя, и тогда победа будет за нами. Верьте мне, граждане, я отвечаю за свои слова, ведь я – Сципион Африканский».

17

В течение второй половины года в Риме интенсивно зрела внутренняя энергия. Война проникла во все области жизнедеятельности и одухотворила Город грозной страстью, хмурой тенью легла она на лица граждан и замутила их души. В зловещих отсветах надвигающейся грозы все приобретало особый оттенок и особый смысл. Война стала подтекстом любого поступка и всякого решения.

Сенат заранее определил провинции следующего года и соответствующие воинские контингенты. Одному консулу назначалась Италия,



а второму предусматривалось специальное сенатское поручение: под такой формулировкой скрывалась Греция. Один из преторов должен был отправиться в Бруттий, образовав со своими легионами резерв балканской экспедиции, а другому выпало командование флотом.

Римляне умели не только принимать толковые решения, но и исполнять их, потому в одно и то же время дружно проходили набор и обучение рекрутов, в широких масштабах шло строительство флота, изготовлялось оружие и прочее воинское снаряжение.

Однако, думая о войне, римляне занимались и мирными делами. Продолжалось выведение колоний на свободные земли, посвящались богам новые храмы, украшался и благоустраивался город, гремели суды над ростовщиками, кои не теряли аппетита к наживе ни во времена опасностей и всеобщих тревог, ни в годину бедствий.

Сенатом под руководством партии Сципиона была разработана сбалансированная программа подготовки к войне, включающая как военные, так и политические меры. Дипломатия Рима не ограничилась только посольством Тита Фламиния. Делегации отправились также в Карфаген и Нумидию, оживились отношения с Филиппом и Птолемеем.

Особое внимание, естественно, было уделено царю Македонии. Правда, римляне не афишировали свои контакты с Филиппом, чтобы не оттолкнуть от себя греков, но, тем не менее, сумели внушить царю желание совместно действовать против Антиоха. В этот ответственный период римляне завели речь о том, чтобы отпустить находившегося у них в заложниках царского сына Деметрия, и не ошиблись в своих расчетах. Столь тщеславный человек, каким был Филипп, не мог остаться равнодушным к подобному знаку доверия накануне важных событий; будучи польщенным, он выступил с ответным жестом благородства и предложил немедленную военную и финансовую помощь. От денег римляне, как обычно, отказались, а об остальном рекомендовали договариваться непосредственно с магистратом, который будет вести восточную кампанию. Отправляя Деметрия на родину, римляне, кроме всего прочего, надеялись, что сын должным для них образом повлияет на отца, так как, прожив несколько лет в италийской столице, царевич проникся симпатиями к этому городу и усвоил римскую систему ценностей.

Сирийцы тоже предприняли некоторые шаги в отношении Македонии, стараясь перетянуть ее на свою сторону, но сделали это настолько неуклюже, что лишь помогли римлянам укрепить союз с сильной державой. Этолийцы нашли грека, объявившего себя потомком Александра Великого, а азиаты предприняли попытку возвести этого авантюриста в конкуренты Филиппу, якобы дискредитировавшему себя поражением от римлян. Скороспелый претендент на македонский трон



затял пропагандистскую акцию по захоронению останков македонян, погибших под Киноскефалами. С выделенным ему Антиохом подразделением он собрал кости, оставшиеся после пиршества Смерти пятилетней давности, и сотворил из них холм вышиною с собственные амбиции. Увы, этот греческий Филипп не дождался благодарности от тех, кого страстно мечтал сделать своими подданными, ибо они восприняли его поступок как назойливое напоминание об их поражении, но зато всерьез разгневал Филиппа македонского, чем заставил его поторопиться с оказанием содействия римлянам.

Между тем Антиох, расположив свое войско на зимних квартирах, сам без усталости принимал посольства балканских народов. Греки, привыкшие к смене властителей и к властителям вообще, протоптанной дорожкой шли к трону очередного повелителя и льстили ему с профессиональной угодливостью. Некоторые при этом искренне стремились к союзу с Антиохом, поскольку верили в его силы и полагали, что он утвердился здесь надолго, другие сомневались в могуществе царя и, стараясь понравиться ему, в то же время уходили от конкретных обязательств, чтобы не ссориться с римлянами.

Расчувствовавшись от обилия поклонов и риторики, Антиох возмнил себя добрым гением Эллады и устыдился собственного бездействия. Потому он, невзирая на позднее время года, разбудил войско от зимней спячки и направился с ним в Фессалию. С криком «Даешь свободу Эллады!» сирийцы принялись штурмовать фессалийские города. Однако, освобождая Грецию от римлян, они сражались не с римлянами, ибо тут их и в помине не было, а с самими греками, которые всячески упирались, почему-то не желая, чтобы их облагодетельствовали. Все же противостоять царской мощи мелкие и средние города не могли, потому им вскоре пришлось возрадоваться нагрянувшей свободе, но сильные города выдержали натиск и дали отпор иноземцам.

Едва Антиох снялся с зимних квартир, римляне тоже переправили на Балканы находившееся наготове войско претора Марка Бебия. Так дело «освобождения Греции от римлян» наконец-то привело сюда и самих римлян. Передовые отряды Бебия двинулись на выручку фессалийцам. Вдохновленные надеждой на помощь греки усилили сопротивление, и царю пришлось прервать поход, чтобы дожидаться более благоприятной для ведения боевых действий поры.

Новый административный год в Риме начался с прямой увертюры к войне. Вступив в консульскую должность, Сципион Назика и Ацилий Глабрион организовали масштабное жертвоприношение во всех храмах, а жрецам повелели узнать волю богов. Изучив внутренности несчастных животных, павших у алтарей, гаруспики выяснили, что боги



в полном соответствии с желаниями властей одобряют затеваемую войну и сулят великую победу. После этого было созвано народное собрание, которое, не захотев перечить богам, тоже высказалось за войну.

Все дела от имени консулов вел Публий Назика, Ацилий, как и ожидалось, пребывал на вторых ролях. снаряжение экспедиции также проводилось под Корнелия с учетом его интересов и качеств. Соответствующим образом формировался и штаб, в который вошли братья главных организаторов этой кампании – Луций Сципион и Луций Квинкий. Всем заранее было ясно, что полководцем в войне с Антиохом должен стать кто-то из Сципионов, в данном случае на этот пост консульскими выборами был определен Назика. Однако распределение провинций откладывалось, так как Сципион Африканский никак не мог уговорить Манья Ацилия отказаться от жеребьевки и добровольно уступить Грецию коллеге. Ацилий проявлял строптивость и обижался на Публия за неблагодарность, напоминая тому, как во время ливийской кампании он, будучи плебейским трибуном, оказал ему услугу, запретив трибунскою властью тогдашнему консулу Гнею Корнелию Лентулу вмешиваться в дела Сципиона. В конце концов принцепс сдался, и доверился жеребьевке. Но жребий вновь, как и в македонскую войну, оказался немилостив к Корнелиям, указав на Глабриона, а Назике досталась Италия.

Стан Сципиона охватило отчаяние, затем сменившееся унынием. Столько сил было потрачено этими людьми для организации балканской кампании, а плоды их деятельности предстояло собрать какому-то Ацилию!

В поисках выхода из создавшегося положения неудачливый консул предложил Сципиону назначить его диктатором. Тогда Публий Африканский возглавил бы восточный поход, а Публий Назика исполнял бы при нем роль начальника конницы. При нынешнем влиянии Сципионов и общей тревоге за судьбу войны вполне возможно было добиться от сената соответствующего постановления, но принцепс отверг этот шаг, хотя и не без сожалений.

«Я надеюсь, – сказал он, – что наши поступки будут оценивать такие люди, в глазах которых мой сегодняшний отказ принесет всем нам большую славу, чем победа над Азией с помощью подобных средств».

Но все же этот вариант был принят на будущее как запасной на тот случай, если Глабрион в ходе кампании потерпит сколько-нибудь значимое поражение.

Погрустив еще какое-то время, друзья Сципиона смирились с неудачей, принесенной им жребием, и принялись добросовестно, хотя и без воодушевления помогать Ацилию. Они могли утешаться тем, что глава экспедиции принадлежит к их лагерю, а значит, он должен будет вести



войну в соответствии с их программой и, кроме того, позволит им отличаться в качестве легатов.

Сципион и Ацилий вскоре вернулись к товарищеским отношениям.

– Я думаю, ты понимаешь и ценишь братские чувства, – сказал Манию Публий, когда конфликт был исчерпан, – а потому не досадуешь на меня за мои хлопоты в пользу Назики.

– На твоём месте любой римлянин в этом вопросе вел бы себя так же, – отвечал Ацилий, – а вот отказаться от шанса, предоставляемого диктатурой, я, например, скорее всего, не смог бы. А ведь я знаю, что у тебя был этот шанс...

– Я рад такому ответу, Маний, и желаю тебе успеха. Но, прости мне мое старческое брюзжание, прошу тебя, обуздывай свой крутой нрав, помни, что ты представляешь в Греции перед утонченным, чутким к добру и злу народом всех нас, все государство.

Ацилий воспринял как должное не только само напутствие, но и его тон, тон патриарха, наставляющего молодежь, а ведь они со Сципионом были примерно одних лет.

Ритуал вступления в войну римляне обставили с величавой торжественностью. Сенат на основании решения народного собрания вынес соответствующее постановление, коллегия фециалов указала, каким образом надлежит произвести объявление войны, во всех храмах свершались молебствия, консул Ацилий Глабрион дал обет устроить в честь Юпитера десятидневные игры в случае, если затеваемое государством предприятие завершится успешно, и принес по этому поводу клятву, составленную Великим понтификом. Сципион Назика запретил сенаторам отлучаться из города, чтобы сенат в любой момент мог собраться в полном составе и быть готовым к обсуждению сколь угодно сложных и ответственных вопросов. Казалось, сам воздух над Римом был напоен грозной решимостью и волей к победе.

Весной дала результат осенне-зимняя дипломатическая кампания. В Рим прибыли послы от Масиниссы и карфагенян, которые сообщили о готовности их государств поставить необходимое для восточной экспедиции продовольствие. Кроме того, нумидийцы подготовили двадцать боевых слонов, а пунийцы пообещали снарядить флот. Причем карфагеняне вновь высказали пожелание оказать помощь безвозмездно, а вдобавок к этому разом выплатить всю контрибуцию, которая была распределена еще на сорок лет вперед, дабы римляне могли использовать эти средства против Антиоха и Ганнибала.

Римляне ответили, что примут материальную помощь за плату по установленным в Средиземноморье ценам. От флота они отказались, за исключением тех кораблей, которые пунийцы поставляли им по сущес-



твующим соглашениям, предложение о досрочном взыскании долга также было отклонено.

Тогда же Рим посетила делегация Птолемея, привезшая довольно много золота и серебра. Не ограничиваясь этими дарами, царь обещал отправить в Грецию еще и свое войско. Египетских послов римляне просили передать царю великую благодарность и сообщить, что его добрые побуждения для них дороже войска, золота и серебра, а потому они ничего этого не примут, ибо рассчитывают самостоятельно справиться с их общим врагом.

Пока римляне в обстановке патриархальной суровости целеустремленно готовились к весенней кампании, Антиох пожинал плоды лицемерия, паразитирующего на его первых успехах. Окружающие наперебой восхваляли царя, объявляя его уже чуть ли не победителем во всей войне. Столь бурному взлету славословия способствовало развернувшееся состязание между тугобрюхими царскими придворными, коим это ремесло вменялось в обязанность, и поджарыми, подвижными на язык греками, за годы духовного рабства также поднаторевшими в искусстве сладкой лжи. Уверовавший в собственную звезду Антиох досрочно праздновал предрекаемую ему победу. Он проводил время в пирах и прочих увеселениях. В свои пятьдесят лет монарх доблестно выносил тяготы юношеских утех, и не одна любительница приключений могли похвастаться знанием упругости царского ложа. Однако, когда он позарился на дочь знатного гражданина Халкиды, красота которой сияла в обрамлении чести и достоинства, вместо того, чтобы сверкать искрами порока в луже грязи, как у бывалых сотрапезниц царя, в народе поднялся ропот. Не привыкший к отказам властелин не внял гласу толпы, и его домогательства становились все более настойчивыми. Это портило созданный пропагандой образ великодушного благодетеля эллинов, и придворным идеологам пришлось как следует взяться за дело. Вскоре конфликт удалось уладить отнюдь не в ущерб царскому сластолюбию. Вожелению монарха была придана добродетельная форма, и в Халкиде объявили о свадьбе всемогущего повелителя Азии Антиоха Великого и жемчужины Эвбеи, красивейшей девушки всего острова и даже целой Эллады. То, что замышлялось как бесчестие, теперь подавалось как почесть халкидианам и вообще всем эвбейцам. Удовлетворив надобность, царь тем самым одарил милостью греков, каковые даже забыли спросить, сколько жен осталось у Антиоха в Азии. Это экзотическое бракосочетание превратилось во всенародное празднество, одобренное царской щедростью. Казалось, Антиох женился сразу на всей Эвбее, наверное, именно поэтому он переименовал свою счастливую жертву по названию острова и нарек Эвбеей. Веселью не было конца, вино рекою текло в бездонные чрева цар-



ских прихлебателей, и хмельной дух, клубившийся над резиденцией монарха, овеял сначала придворных, потом офицеров, а затем осенил и простых солдат. Все сирийское воинство беспробудно пировало целую зиму и весну встретило с больною головой.

Разрабатывая стратегический план на лето, в штабе Антиоха говорили о необходимости продолжать начатое дело и постепенно, город за городом, область за областью, покорять Грецию. Расхождения во мнениях касались лишь частных деталей. Но тут Ганнибал, допускаясь на совет высших чинов от случая к случаю, огорошил царское окружение масштабами своей воинственности.

«Если бы меня приглашали в столь изысканное общество и раньше, — заговорил Пуниец, когда ему из вежливости дали слово, — то тогда вам было бы легче воспринять мою нынешнюю речь, чем теперь просто услышать ее, но сейчас она, увы, будет вам непривычна. Однако это ничего не изменит, я все равно скажу то, что считаю выгодным с точки зрения дела, а не карьеры при царском дворе, ибо мое призвание — война с Римом, а не прислуживание. Так вот, вы много говорите о фессалийцах, беотийцах, ахейцах, эвбейцах, акарнанах. Но стоят ли они усилий, прилагаемых вашими мудрыми устами? Это народы-пигмеи, заискивающие перед всяким, кто обладает могуществом: стоишь в Беотии ты с войском, царь, они льнут к твоим стопам, придут римляне, и греки станут лизать пыль на их калигах, а надменные латиняне не удостоят этих всяких беотийцев даже пинка, по их ничтожеству. Единственным, кто обладает здесь реальной силой, является Филипп. Ему и нужно уделить внимание. Его необходимо как можно скорее убедить в выгодах нашего предприятия, обещать ему все, что угодно, лишь бы поскорее посорить его с римлянами. Тогда вы, два величайших царя ойкумены, раздавите римскую гидру, сколько бы у нее ни отрастало новых хищных голов!

Ведь кто такие римляне? — вдруг взбеленился Ганнибал, и глаз его запылал, как Этна во время извержения. — Это самый никчемный народишко! Я не буду говорить о себе, я не стану вам рассказывать, как я крошил их войска у Требии, Тразименском озере и Каннах, как я стоял у ворот их города и не взял его лишь по небрежности, я не буду рассказывать вам о том, как драпал от меня при Тицине и Каннах их хваленый Сципион, которого они называют непобедимым, я напому вам лишь тот факт, что совсем недавно по историческим масштабам один царь Эпира разгромил их в пух и прах! А еще их били галлы и самниты! Да что там говорить! У меня победу над ними отняли тупоумные и завистливые картхадашские политики, у Пирра — мои соотечественники, несвоевременно вторгшиеся на Сицилию, Филиппа Македонского одолели за них бравые этолийцы при поддержке афаманов, сыгравших в



той войне вторую после этолийцев роль. Они, эти римляне, просто ба-
ловни судьбы, и только!»

Ганнибал ненадолго смолк, спохватившись, что излишне проявил свои долго сдерживаемые эмоции. Весь последний год он пребывал в жестокой депрессии, поскольку видел, как день за днем рушатся его надежды получить от азиата войско и отомстить римлянам, более того, он уже предчувствовал новую победу ненавистного ему народа и от бешенства готов был грызть булыжник. Отсюда проистекала его неуравновешенность и раздражительность. Заставив себя успокоиться, он уже более обстоятельно продолжил:

«Объединившись с Филиппом, ты, царь, добьешься полной победы над Римом. Если же с Македонцем договориться не удастся, то твоему сыну Селевку следует ударить из Лисимахии по царским владениям и отвлечь на себя Филиппа, дабы он захлебнулся собственной войной и не лез в наши дела. А что касается стратегии, то тебе, царь, надо призвать все свои войска, которые прозябают в Азии, стать лагерем в Иллирии или Эпире, откуда ты сможешь держать под контролем Грецию и угрожать Италии, флотом блокировать итальянское побережье Адриатики и Сицилию, а меня послать с войском в Карт-Хадашт, чтобы, силой образумив своих сограждан, я двинул их на Рим. И тогда римляне задрожат от ужаса, они узнают, что в Италии вновь находится Ганнибал, а страшнее этого для них не может быть ничего!

С реализацией моего плана война вспыхнет по всему Средиземноморью. Это будет настоящая война, она станет жестокой и кровавой, погибнут сотни городов, будут истреблены десятки народов, но так и только так можно уничтожить Рим! Это говорю тебе я, Ганнибал, который знает толк в войнах, по меньшей мере, в войнах с римлянами!»

Ганнибала выслушали с боязливым недоумением. Ни у кого из присутствующих мысли не простирались столь далеко, никто из них не мечтал о Лации, и только для фарса этолийцы заявляли, что их лагерь будет стоять на Тибре. Антиох не думал о войне на уничтожение. Последуй он совету Пунийца, то, даже если бы ему удалось стереть с лица земли Рим, потом пришлось бы биться насмерть с тем же Ганнибалом, Филиппом и неведомо с кем еще. В случае же его поражения в такой, глобальной войне уже римляне стерли бы с лица земли царство Антиоха. Нет, сирийский царь желал лишь несколько раздвинуть пределы своих владений, проучив при этом римлян, дабы они не смотрели более в сторону Азии, и установить прочное равновесие с соседними странами. Дельный совет относительно Филиппа также не мог быть принят Антиохом ввиду извечного соперничества последователей Александра. А для этолийцев македоняне и вовсе являлись основным врагом в их притязаниях на гос-



подство в Элладе. Наконец, Антиох не знал главного, что на горьком опыте изведal Ганнибал, он не знал, сколь сильны римляне.

«Зачем же такие сложные маневры, Ганнибал? — несколько иронично заметил царь. — Чего ты страшишься, ведь ты сам называешь римлян никчемным народишком? Нет, мы не имеем права тратить время на столь грандиозные приготовления, ибо нас ждет Эллада, жаждущая свободы. Да и вообще, не мешало бы тебе знать, Ганнибал, что все великие полководцы предпочитают стремительность действий тщательной подготовке и количественному наращиванию сил».

Ганнибал хотел возразить, но царский распорядитель сделал ему знак, что он и без того слишком долго занимал внимание монарха. Пуниец смолчал, ограничившись мысленной тирадой по адресу царя и всей этой публики. А к Антиоху вновь подступили лстецы и принялись уверять его в скорой победе.

Итак, после всевозможных совещаний царь вернулся к первоначальному занятию и продолжил прерванный зимою тур по Греции. Срывая аплодисменты, он проследовал через Беотию, Этолию, принес жертву Аполлону в дельфийском храме, ибо тамошний оракул имел большое влияние на общественное мнение в Элладе, и вторгся в Акарнанию. Эта страна географически смотрела на запад, а потому ее жители не хотели ссориться с римлянами и при виде славного царя стали готовиться к обороне. Ввязываться в череду осад и штурмов Антиох не желал, так как в Брундизии уже приступил к переправе Ацилий Глабрион, потому царь привлек к делу другую имеющуюся у него помимо войска силу, способную разрушать пораженные ржавчиной пороков общины быстрее таранов, копий и мечей, а именно — богатство. За счет своих денег Антиох повсюду находил себе толковых предателей, которые отработывали полученные гонорары весьма изобретательно. Так произошло и в этот раз: купив кучку олигархов, каковые чем богаче, тем продажнее, царь без боя ввел войска в главные акарнанские города. Лишь в одном случае измена не удалась, поскольку в город прибыл посланный Титом Квинкцием Гней Октавий, сумевший грамотно наладить охрану укреплений и вдохновить жителей на сопротивление.

При всех этих успехах Антиох вдруг начал понимать, что проигрывает войну. Марк Бебий еще зимой встретился с Филиппом, и теперь, с началом весенней кампании, они вместе вступили в Фессалию. То объединяя, то разделяя свои войска, царь и претор энергично пошли по стране, едва успевая принимать капитуляции фессалийских городов. Причем греки, опасаясь попасть под власть Филиппа, охотнее сдавались римлянам. Больше сил Антиох затратил на празднования по поводу захвата Фессалии, чем его соперники — на то, чтобы вернуть ее себе.



А вскоре на Балканы прибыл консул, и сложенная Антиохом мозаика союза племен, городов и народов рассыпалась быстрее, чем азиатский освободитель Европы сумел это осознать и разгневаться. Даже Афамания в мгновение ока сделалась добычей Филиппа, который спешил урвать себе как можно большую часть Греции, поскольку понимал, что в такой ситуации римляне не станут ему перечить. Стремительно падая душою с эмоциональных вершин победной эйфории в пещерный мрак отчаяния, Антиох грозно воззвал к этолийцам. Те срочно организовали у себя воинский набор и привели в царский лагерь четыре тысячи солдат. Такой помощи великого народа – победителя македонян и грозы римлян – не хватило бы даже для того, чтобы прикрыть бегство Антиоха из Греции. Увы, с появлением на Балканах римских легионов, пыл этолийцев сразу остыл, воинственность иссякла и даже речь обрела скромность. Вдобавок ко всему, прибывшие этолийцы не выказали готовности подчиняться царю и смущенно бормотали что-то о необходимости защищать собственную территорию. Тут царь прозрел. Он отвернулся от этих союзников, вооруженных только красивыми фразами, да заманчивыми обещаниями, и с надеждой посмотрел на Ганнибала, но вспомнил, что Пуниец сам просит войска, и снова отвел взгляд, который оставалось лишь устремить в небеса в ожидании милости богов. Силы Антиоха в два, а то и в три раза уступали армии противника, потому он занял Фермопильский проход, рассчитывая продержаться в этом удобном месте до прибытия подкреплений из Азии.

Подступив к Фермопилам, Маний Ацилий принялся изучать это прославленное место. Когда-то триста спартанцев задержали здесь целое войско персов, следовательно, атаковать азиатов в лоб не имело смысла, тем более, что сирийцы возвели мощную систему укреплений. Консул стал искать обходной путь в горах, но ключевые вершины загодя заняли этолийцы – единственное, на что уговорил их царь. Кроме того, этолийский отряд засел в Гераклее, городе, расположенном у входа в ущелье. Никакие царские посулы и угрозы не могли их оттуда выманить, поскольку этолийцы мечтали во время сражения с тыла напасть на римский лагерь и пожить солдатским скарбом, пока вдали будет идти сеча.

Ознакомившись с обстановкой, Ацилий созвал легатов, среди которых находился весь цвет римского нобилитета, и объявил, что необходимо пробраться горными тропами к господствующим высотам, выбить оттуда этолийцев и совершить обход сирийского войска. В претории наступила тишина: предприятие казалось не просто трудным и опасным – этим римлян не напугаешь – но дающим очень мало шансов на успех, а потому никто из знатных людей не хотел браться за него, дабы не погубить свою карьеру. Тут с места поднялся Катон и, торжествующе гля-



дя на пристыженных патрициев, заявил, что принимается за это дело, а в напарники себе приглашает Луция Валерия.

Взяв по тысяче отборных воинов, Марк Порций и Валерий Флакк под покровом ночи устремились на штурм вершин. Этолийцы укрепились в трех пунктах. Катон облюбовал один из них, а Луцию достались два других. Поэтому пути давних друзей скоро разошлись. Карабкаясь в кручу, Порций видел перед собою ненавистное лицо Луция Сципиона, в преддверии консулата не отважившегося на рискованный поступок, и предвкушение досады на этом лице придавало ему силы. Он преодолевал любые препятствия, восходил по отвесным скалам, скользил ужом в расщелинах. Много смекалки, изобретательности и упорства проявил в эту ночь Катон и сумел-таки достичь передового поста этолийцев. Там его солдаты схватили «языка», вывели у него расположение противника, после чего Катоновы молодцы организованно напали на вражеский стан, сбросили этолийцев с горы и погнали их вниз. Валерию Флакку не удалось пробиться через неприятельские заслоны, но успех Катона сделал его неудачу менее заметной.

Увидев на рассвете условный знак, поданный легатом с вершины хребта, Маний Ацилий дал сигнал к началу битвы. Римляне густой массой пошли на врага. Антиох поначалу выстроил свое войско перед валом. Основу сирийской армии составляла фаланга, созданная по македонскому образцу, однако качество выучки азиатских воинов было низким, потому римляне прорвались сквозь фалангу и начали штурм укреплений. Но это дело оказалось гораздо более сложным, и продвижение легионов прекратилось. Тут, как и было задумано, на азиатов с тыла обрушился Марк Порций и внес сумятицу в ряды противника. Не выдержав двойного натиска, сирийцы пустились бежать.

Царь, изящно гарцуя на холеном коне, пытался предотвратить отступление, но получил удар в лицо – камень, пущенный из пращи, выбил Антиоха Великому зубы и вообще испортил недавнему жениху всю красоту – потому он изменил тактику и сам возглавил бегство.

Тем временем, хихикая над трудностями азиатов, равно как и римлян, из Гераклеи, крадучись, вышли зачинщики войны – этолийцы. Настал их звездный час!

Подступив к консульскому лагерю, они широко раскрыли мешки и воинственные глотки, но были неприятно удивлены явленным им образом римской дисциплины. Увы, к разочарованию этолийцев, даже в самый разгар битвы римляне не оставили лагерь без охраны, а потому победителям царя Филиппа пришлось бросить оставшиеся пустыми мешки и с олимпийской скоростью устремиться в Гераклею под защиту женских юбок и детского плача.



Потеряв практически всю армию, Антиох проворно переправился в Халкиду, а оттуда нацелил нос своего корабля на Эфес. Что ему еще оставалось делать! На поле брани у него дела не пошли, для брачного ложа он теперь, с раскрошенной физиономией, тоже не годился.

А в лагере римлян всю ночь продолжалось ликование по случаю легкой победы, и среди общего шума то и дело раздавался зычный голос Катона.

— За этот славный день вовек не расплатится со мною Рим! — восклицал герой. — В вечном долгу предо мною теперь будет римский народ.

А спустя какое-то мгновение уже на другом конце лагеря слышалось:

— Сам консул поощрительно обнимал меня и, восхваляя мой подвиг, говорил, что именно я выиграл сражение и тем спас все войско!

И даже за валом разносилось:

— А Корнелии-то каковы! Сципион так вовсе язык проглотил, когда консул вызвал легата для этого маневра!

Казалось, что Катону мало победы над сирийцами, и своим хвастовством он хочет обратить в бегство самих римлян. Ацилий уже готов был десять раз обнять Катона, лишь бы тот замолчал, но, увы, проще остановить извержение вулкана, чем Катонову речь. Наконец, утром консул, желая дать покой войску, которому предстояло преследование отступающего противника, и не найдя способа совладать с языком бесноватого легата, отправил его с миссией в Афины, где тот должен был поведать союзникам о победе над врагом, ну и, конечно же, о собственном подвиге. Едва переведя дух, римляне вновь увидели Катона, который с сияющим лицом возвращался из дружественного города. Когда вездесущий герой приблизился к воротам, в лагере с ужасом обнаружили, что он все еще продолжает ораторствовать. Катон не только не выговорился в самом говорливом городе мира, но, напротив того, почерпнул там новые темы. Теперь он рассказывал об афинянах, сравнивал их с римлянами, а в конечном итоге, с самим собою. Порций живописал свою речь на Агоре и подчеркивал, как она поразила афинян, ибо то, что он сообщал в нескольких словах, греки переводили долго и пространно.

«Риторическое образование греков выхолостило их речь, — делился он сделанными наблюдениями, — у них форма возобладала над содержанием. Они произносят речи умом, а мы, римляне, — сердцем».

Далее он снова рассказывал о впечатлении, произведенном на эллинов его красноречием.

Все это было любопытно, однако не в таком количестве.

Но внезапно, к всеобщему потрясению, Катон умолк. Он принял сосредоточенный вид и, придя к консулу, потребовал, чтобы его отправили с победным донесением в Рим. Маний ответил, что в качестве тако-



вого курьера в путь уже выступил Луций Сципион. При упоминании этого имени из глаз Порция посыпались искры. По хищному выражению его лица Ацилий догадался, что Катон все знает и именно поэтому рвется в дорогу. Консул попытался отговорить его от хлопотной затеи, но это было невозможно. Как один из главных героев сражения Катон имел моральное право на то, чтобы предстать перед сенатом в качестве вестника победы, и от него не отступился, потому Ацилий вынужден был удовлетворить его просьбу.

Забывая о сне и пище, Катон ринулся в Италию. Сейчас за ним не угнался бы и сам Геркулес. Он продирался через леса, форсировал реки и перешагивал горы. Если бы на Адриатике ему не подвернулось быстрое судно, он, несомненно, выпил бы море. Ежечасно свершая подвиг, Катон прибыл в Рим на полночи раньше Сципиона, который ничего не подозревая, двигался неторопливо, любовался Грецией и наслаждался жизнью. Разбудив городского претора в пору самого сладкого сна, Порций сообщил ему о цели своего прибытия и напомнил, чтобы тот сразу же на рассвете созвал сенат. Все было исполнено согласно обычаям, и когда беззаботный Луций входил в курию, Катон уже держал речь перед сенаторами, докладывая обо всем, что произошло в Греции. Так Порций сумел сорвать цветы почестей, предназначавшиеся Манием Ацилием и всей Сципионовой партией брату принцепса. Правда, народу оба посланца были представлены вместе, но и на Комиции бойкий плебей захватил инициативу и не давал патрицию раскрыть рта.

После разгрома сирийского войска, римляне скорым маршем проследовали через области, поддерживавшие Антиоха, чтобы навести в них порядок, прежде чем там соберутся с духом враждебные им силы. Повсеместно греки являлись к консулу с повинной и легко получали прощение за свое отступничество. Ацилий твердо выдерживал идеологию партии, приведшей его к консулату, и в поступках старался походить на Тита Квинкция, но в душе у него накопал гнев против этих вечно раскаивающихся и вечно непостоянных людей.

Негодование консула обрушилось на этолийцев, продолжавших упорствовать в своей неприязни к римлянам. Он подступил к Гераклею и после того, как получил отказ на предложение сдаться, атаковал город. Консул основательно взялся за дело и предпринял своеобразную активную осаду. Его действия напоминали поведение паука, который, периодически щекоча за брюхо угодливую в паутину бабочку, заставляет ее трепыхаться без отдыха до полного изнеможения, вслед за чем беспрепятственно выпивает ее соки. Так же и консул, измотав этолийский гарнизон непрерывным подобием штурма в течение месяца, затем легко завладел городом и по праву победителя отдал его на разграбление солдатам.



Этого предприятия хватило для того, чтобы этолийцы сникли и запросили мира. Ацилий потребовал полной капитуляции, а когда послы на свой манер завели витиеватую речь о былых заслугах перед Римом, трижды погранных изменой, он пришел в бешенство, велел принести оковы и, потрясая перед этолийцами цепями, сказал им примерно то же, что некогда галльский вождь Бренн, демонстрируя меч, сказал самим римлянам, а именно: горе побежденным! Оскорбленные этолийцы снова взялась за оружие и засели в Навпакте. Консул решительно начал осаду вражеской столицы, и через два месяца греки находились на грани отчаяния. Они готовы были сдаться самому Плутону, но только не Ацилию, который грозился уничтожить все этолийское племя.

В этой критической ситуации на некогда воинственных этолийских стратегов снизошло озарение: они вспомнили, что у римлян есть Тит Квинкций, освободитель Эллады. Добившись встречи с Фламинием, этолийские старейшины пали ему в ноги и, горько сетуя на свою судьбу, но отнюдь не на собственную глупость, взмолились к нему о пощаде. Здесь пред Квинкцием умиротворенно склонился весь цвет этолийской знати, не было разве что плененного в Геракле Дамокрита, каковой обещался стать лагерем на Тибре и благодаря этому влечению к италийским красотам сейчас громыхал кандалами на пути в Рим. Взирая на горестно поникшие головы своих недавних злопыхателей, Тит растрогался зрелищем их незащитных затылков и пообещал заступиться за несчастных перед консулом, за которым, однако, согласно римским законам оставалось решающее слово.

И вот прославленный аристократ Тит Квинкций Фламинин обыкновенным просителем пришел к плебею Ацилию Глабриону, облаченному в императорский плащ, окруженному суровыми ликторами, и со всею присущей ему обходительностью и изобретательностью принялся убеждать консула смилостивиться над греками и перейти к более важному делу, нежели избиение побежденных. А римлянам было чем заняться, поскольку царь Филипп, пользуясь тем, что ненависть консула к этолийцам надолго привязала его к Навпакту, город за городом покорял Фессалию. При этом Филипп добросовестно испрашивал у римлян разрешения, прежде чем захватить какую-либо местность, делая вид, будто помогает им, а римляне вынуждены были делать вид, будто это действительно так. С трудом вняв доводам Квинкция, Ацилий нехотя оставил этолийцев и двинул войско в Фессалию «посодействовать» Филиппу. В результате такой взаимной помощи экспансия македонян прекратилась, и Греция стала успокаиваться, постепенно переходя к миру, подобно тому, как постепенно остывает кипящая вода, когда под нею гаснет огонь.



18

В то время, когда в Греции события пошли на убыль, напряженность в Риме начала возрастать. Неудачная для Сципионов жеребьевка в какой-то мере отвлекла от них внимание народа, и это вдохновило оппозицию на новые дерзания. Публий Назика, стараясь поднять значение своего консульства, решил именно в этот год провести игры, обещанные им богам в ходе сражения с лузитанами, но квесторы воспротивились этому и не дали ему необходимых средств. Оказалось, что по чьему-то недосмотру или злему умыслу – теперь установить истину уже не представлялось возможным – из испанской добычи Назики не была заблаговременно отделена соответствующая сумма. Консул потребовал восстановить справедливость, но многочисленные Фурии, Фульвии и Клавдии, объединившись в один рой с Катоновым воинством сенатской мелкоты, разразились надсадным гулом, выразившим недовольство.

– Это неслыханно! – шумели они. – Своими неумеренными запросами консул попирает все нормы порядочности! Каковы амбиции! За счет государства раздувать собственную популярность! Дурачить народ за его же деньги!

– Но ведь я добыл в битвах с иберами и лузитанами огромные богатства! Они существуют, лежат в храме Сатурна. Почему же нельзя взять их часть, чтобы почтить богов, помогших одолеть неприятеля? – удивлялся Назика.

– Это неслыханно! – снова кричали Фульвии, хотя в Риме каждый год кто-нибудь освящал храмы, построенные по аналогичному обету, или давал подобные игры.

Плебсу туманно намекнули, будто Корнелий хочет поживиться за счет простонародья. Никто ничего не понял, но сама неопределенность слухов создала интригующую атмосферу, заставила работать однобокую фантазию обывателей, и успех был достигнут: толпа взроптала. Недовольство возбудить всегда проще, чем вызвать воодушевление, ибо падать вниз легче, чем восходить в гору.

Стараясь вызволить своего представителя из такой щекотливой ситуации, род Сципионов совместными усилиями на частные средства провел эти злополучные игры. Мероприятие длилось десять дней и прошло на уровне, достойном его организаторов. В итоге все оказались довольны: народ получил зрелища, боги – почет, Назика побывал в центре всеобщего внимания, а Фульвии злорадствовали, что отобрали у Сципионов часть богатств.

После этого Назика, вновь любимый народом, отправился в провинцию добывать свирепых бойцов.



Десять лет длилась война с наиболее строптивым галльским племенем северной Италии. Каждую весну бои в меру своих возможностей вредили пограничным римским областям, каждое лето терпели поражение от консульских войск, но всякий раз в течение зимы вновь собирались с силами и продолжали безнадежную борьбу с могучей державой. В последнее время местная знать, поняв бесперспективность столь неравного противостояния, начала переходить на сторону врагов. Но племя бойев не располагало материальными богатствами, а, следовательно, имело — духовные. Большинство граждан, включая и аристократов, пока еще не подозревало, что денежный мешок можно вознести выше своего личного Я, а потому и не догадывалось торговать честью и достоинством. Нравственная мощь психически здорового народа и на этот раз возродила его физические силы: бои снова создали войско и встретили римлян во всеоружии. Ныне и стар, и млад взял в руки длинный рыхлый галльский меч, чтобы защитить Родину, но за спиной у воинов остались лишь женщины, да младенцы. Это было последнее войско бойев, в последний раз поднялся с земли жестоко избиваемый упрямец, чтобы наконец-то получить смертельный удар.

Консул, легаты, офицеры и, тем более, солдаты не думали о трудностях противника, они выполняли собственную задачу, а делать это римляне умели. Сципион Назика провел военную кампанию в лучших традициях прославленного двоюродного брата. Он сумел втянуть галлов в генеральное сражение, разгромить их, захватить лагерь и отрезать побежденным путь к бегству. В кровавой сече погибла половина галльского войска, и боям пришлось сдаться. Назика по своему разумению справил над ними суд, отобрал у них в пользу Республики половину земель и взял заложников. На этом война с боями прекратилась, и консул, отослав победоносные легионы в Рим, вскоре отправился туда и сам.

Публий Назика возвратился домой, твердо рассчитывая на триумф и благодарность соотечественников, однако в столице его ждали неприятности. Первым делом он узнал, что политические враги, пользуясь его отсутствием в городе, украли по праву принадлежащую ему честь освятить храм Великой Матери богов, символ которой, доставленный из Малой Азии, он принимал в Риме в качестве лучшего гражданина государства. Это сделал за него городской претор Юний Брут. Затем он услышал недовольное брюзжание, направленное против присуждения ему триумфа.

По своему родовому положению и деловой ориентации слишком близок был Сципион Назика Сципиону Африканскому, и слишком походил на него характером, образом мыслей и даже именем, потому он на равных делил с великим родственником направленную против того



зависть, однако оказался более уязвимым для нападков. Между прочим, то же самое происходило и с Луцием Сципионом. Недруги победителя карфагенян, преклоняясь поневоле перед самим принцепсом, мстили за свое ничтожество и его значительность ближайшим родственникам. Но дело было не только в этом. Сципион Назика все более проявлял качества выдающегося государственного мужа и обещал в будущем стать вровень со знаменитым братом. Мысль же о том, что к привычному подчинению авторитету Сципиона Африканского добавится зависимость еще от одного Сципиона, приводила в бешенство как Фабиев, Фульбиев, Фуриев, Валериев, Клавдиев, Семпрониев, так и набравших силу Порциев, Лициниев Лукуллов, Теренциев, Юниев, Петилиев и многих других.

И вот, забывая о неравенстве сил перед партией Сципиона, сенаторы оппозиции бросились спасать свои амбиции от авторитета Назики с самоотверженным неистовством матери, защищающей собственных детей. От слабости пред доблестью консула они несли всяческую чушь, каковой разве что необузданное красноречие Катона могло бы придать пробивную мощь, но тот в это время свершал фермопильский подвиг. Очень скоро выяснилась несостоятельность всех возражений против триумфа, и тогда, отказавшись от лобовой атаки, неприятель повел скрытые подкопы. Плебейский трибун Семпроний Блез взял слово в сенате и, вначале расположив к себе слушателей признанием обоснованности триумфа, затем вдруг повернул речь в другую сторону. «Да, триумф нужен, – говорил трибун, – но не теперь. В жажде почестей консул поторопился, а следовало бы вначале помочь Минуцию Терму, который все еще никак не закончит покорение Лигурии. Благо Отечества требует, чтобы консул, отложив торжества, отправился усмирять лигуров. А по завершении последней войны в Италии пусть бы он и получил свою долю славы».

Некоторых сенаторов прозвучавшая забота о благе Отечества заставила призадуматься, они заколебались. Однако для матерых политиков все было ясно: «благо Отечества», в понимании Блеза, состояло в том, чтобы в преддверии магистратских выборов лишить Сципионов мощного эмоционального воздействия на народ, каким является триумф, и вообще удалить из Рима одного из Сципионов, да еще консула на время комиций и тем самым ослабить фронт всей партии. В этой ситуации Публий Назика отстаивал свою позицию грамотно и уверенно, а Сципион Африканский умело создавал ему поддержку в аудитории. Задача Сципионов не представлялась сложной. Согласно сенатскому постановлению и жеребьевке Назике была поручена война с бойями, в то время как в Лигурии продлевались проконсульские полномочия Минуция Терма. Вторгаться в чужую провинцию без специального решения сената законом запрещалось, и за подобные действия излишне ретивые



магистраты порою привлекались к ответственности. Кроме того, обстановка в Лигурии никак не требовала чрезвычайных мер, поскольку в прошлом году Минуций Терм разбил основные силы противника и теперь тушил остатки мятежа, внося завершающие штрихи в портрет будущего мира. Собственное задание Назика выполнил с блеском. Он не только разгромил бойев в большом сражении, что делали до него и другие, устаиваясь триумфа, но и привел галлов к повиновению, выиграл войну в целом. Все это Назика обстоятельно изложил сенату, вполне удовлетворив запросы самых взыскательных оппонентов. А в заключение консул добавил немного эмоций и заявил, что сам он насытился славой еще в тот день, когда сенат доверил ему принять священный камень, символизирующий Матерь богов, признав его лучшим гражданином государства, и потому ни на что более не претендует, но на солдат, доблестно исполнивших свой долг, которым, однако, из-за поползновений зависти должностного лица вместо награды грозит продолжение службы, такой пример может повлиять очень дурно.

После этого выступления даже Фабии и Фурии признали себя побежденными и проголосовали за триумф. Катон был далеко и потрясал Грецию рассказами о фермопильском подвиге, потому заслуженная почест консулу и его войску была присуждена сенатом единогласно.

19

Итак, в Риме вновь говорили о Сципионах, потому что, чествуя Сципиона Назику, невозможно было не вспоминать Сципиона Африканского, а следом за ним и Луция Сципиона, которому прочили консулат будущего года. Триумф прошел ярко, торжественно и стал значительным событием общественной жизни. Победные празднества всколыхнули и без того великую гордость римлян, возвысили их самосознание и воодушевили на дальнейшие свершения. И весь этот всплеск чувств базировался на обновленной любви народа к Сципиону и Сципионам. На некоторое время мысли о представителях могучего рода, благодарность к ним за прошлые деяния и надежды, связанные с ними на будущее, вытеснили из проникнутого патриотизмом сознания граждан все прочие интересы. Рим бредил Сципионами и ждал от них новых подвигов и небывалых чудес.

В такой духовной атмосфере государство подходило к выборам. Шансы Луция Сципиона выглядели почти как абсолютные. Вдобавок ко всему, комициями должен был руководить Публий Назика, а у магистрата, проводящего выборы, всегда имеется возможность повлиять на мнение избирателей. Единственным, кто мог воздвигнуть препятствие Луцию на пути к консулату, был сам Сципион Африканский, которого



многие подговаривали в третий раз воссесть на консульское кресло, чтобы возглавить ожидавшийся поход против Антиоха.

Хотя царь и потерпел поражение в Греции, это никак не отразилось на мощи азиатской державы. Всем было ясно, что Антиоха подвели поспешность и доверчивость. А с возвращением в свое царство, хмельные пары этолийских обещаний в его голове рассеются, и он, несомненно, будет действовать более трезво и грамотно. При этом у него в распоряжении окажутся все наличные силы огромной страны. Поэтому римляне не сознавали, что война с Антиохом только начинается. Правда, теперь она отодвинулась за пределы Европы и оттого стала казаться менее грозной для Италии, но в то же время пугала небывалая отдаленность района боевых действий.

Понимание всего этого сохраняло в Городе эмоциональную напряженность. Как в сенате, так и среди простого люда поговаривали о том, что целесообразно поручить азиатскую кампанию именно Сципиону Африканскому, а не кому-либо из его друзей или родственников, как то случалось прежде. «Сирия – великая страна, и потому победить ее может только великий человек!» – то и дело раздавались возгласы и на форуме, и в курии.

Однако в последние годы закрепились тенденции предоставлять консулат новым кандидатам. Считалось, что Республика располагает большим числом достойных мужей, а потому не следует вручать власть всякий раз одним и тем же лицам. Претензия на повторное консульство стала рассматриваться как неумеренные амбиции и презрение к остальным соискателям. Правила приличия в тот период допускали исполнение второго консулата только через десять лет после первого, и велась борьба за то, чтобы узаконить такой срок. Вместе с этим предполагалось установить временной разрыв между занятием других магистратур. Все это были проделки Катонина племени – весьма разросшихся и окрепших экономически категорий мелких и средних сенаторских и видных всаднических родов, стремящихся потеснить у власти древнюю знать – нобилитет.

Следуя сложившимся нравственным нормам, Сципион терпеливо выдержал принятый интервал между первым и вторым отправлением высшей должности, и о третьем консулате пока не думал. Поднявшаяся шумиха вокруг возможности его внеочередного избрания в консулы разбудила давние страсти и всколыхнула всю массу средних землевладельцев и союзных им крупных финансовых и торговых дельцов. Бурливо полилась вода речей о злоупотреблениях знати. Ораторствовал уже вернувшийся из Греции Марк Катон, ему подпевали десятки катонов помельче. Странники Сципиона ссылались на пример Фабия Мак-



сима и Клавдия Марцелла с их почти непрерывными консулатами. Оппоненты указывали на особые обстоятельства, сопутствовавшие тем магистратурам, и тут же, идя в контрастступление, заявляли, что перед Сципионом двенадцать ликторов, полагающихся консулу, ходили и вовсе десять лет. Реагируя на это замечание, друзья принцепса говорили, что по справедливости и десяти лет мало, поскольку такого человека ликторы должны сопровождать всю жизнь.

При всем этом сам Сципион ни разу не высказал своего мнения, хотя и выглядел задумчивым. Его дух парил над Азией, огромной страной, сделавшей знаменитым Александра Македонского. Как было не желать Публию такого назначения! Ведь ему исполнилось только сорок три года, и уже десять лет он не имел дела, достойного размаха его личности! По римским понятиям, Азия была пределом цивилизованного мира. Помимо нее у Рима не осталось настоящих конкурентов. Существовали еще галлы и прочие варвары, но они не интересовали Сципиона. Только Сирия могла добавить ему славы, только азиатский поход с его необъятными далями и ордами неведомых народов мог предоставить ему возможность проявить свои лучшие качества и таланты, которые в ином случае бесследно умрут вместе ним.

Что такое человек? У Сципиона всего было достаточно: и славы, и авторитета – он осознавал собственную значимость, гордился свершенными делами, но у него остались нереализованные духовные силы, и они напирали изнутри на оболочку его «я», создавая душевный дискомфорт, угнетая личность и заставляя ее искать новых путей самореализации без оглядки на прошлые достижения.

Нет, Публий никак не мог отказаться от азиатского похода, но не мог он и нарушить обычаи. Сципион не хотел давать недругам даже малейшего повода для упрека. У него было много недоброжелателей; большого человека всегда сопровождает большая зависть, неспособные к великому стремятся сжить великих со света, чтобы избежать уничтожающего сравнения. Из всех темных углов общества на него злобно шипела клевета, однако он был спокоен, потому как все нападки строились на лжи и оттого походили на метание дротиков с деревянными наконечниками. Но, если у врагов найдется реальная возможность укорить его, если у них появится стрела с железным острием, он будет сражен насмерть одним ударом, ибо гордость Сципиона Африканского не выдержит даже царапины на его репутации.

Оказавшись перед столь затруднительным выбором, Публий после мучительных раздумий, возвратился к первоначальному решению: добиваться должности главнокомандующего азиатской кампанией для брата Луция, а самому идти к нему легатом. В таком варианте это



предприятие станет делом Сципионов, и честь победы, а в победе он не сомневался, будет принадлежать их роду. Много лет Луций добросовестно помогал брату, не покушаясь на его славу, теперь настала пора отплатить ему тем же. Луций был опытным, квалифицированным военачальником, и в звании консула он, несомненно, сможет руководить войском ничуть не хуже, например, Ацилия Глабриона, но все же в глубине души Публий надеялся на справедливую оценку людей, в первую очередь, потомков, которые сумеют понять, что и при таком распределении полномочий он, Сципион Африканский, не будет играть второстепенную роль. Правда, Луций излишне тщеславен и потопу, конечно же, выкажет стремление к самостоятельности, но в то же время у него достаточно благоразумия, чтобы в ответственных вопросах советоваться с братом. В общем, Публий был уверен, что им обоим удастся должным образом проявить себя в войне с Антиохом и обеспечить Отечеству – победу, а своему роду – славу.

Относительно претендента на второе консульское кресло никаких вопросов не было, поскольку в этом году возобновилась дружба Сципиона с Гаем Лелием. На Лелия большое впечатление произвел успех Мания Ацилия. Гай понимал, что на месте Глабриона мог быть он сам. Именно он мог и даже должен был стать консулом, возглавить балканскую экспедицию и победить Антиоха. Такая мысль одновременно и удручала его осознанием упущенной возможности и воодушевляла надеждами на будущее. Едва Ацилий отправился в Грецию, Лелий пришел к Публию и объявил ему о том, что полностью излечился от пессимизма. С этого момента они вместе начали готовиться к делам предстоящего года.

Итак, Сципионова партия выставила кандидатами в консулы Луция Сципиона и Гая Лелия. Над Римом пронесся вздох; для кого-то это был вздох разочарования, для других – облегчения, а для третьих – сожаления. Народ сник, потому что желал видеть во главе войска своего кумира Публия Африканского. Простой люд был настроен восхищаться, а восхищаться не пришлось, следствием чего и явилась неудовлетворенность. Враги Сципиона испытывали радость, но вместе с тем ощущали досаду оттого, что ненавистный им человек поступил благородно. Многим из них досрочный консулат Публия предоставил бы возможность прочистить глотки от застоявшегося гноя злобы речами о беззакониях знати и о царском самоуправстве Сципиона Африканского. Очень заманчиво им было бы выступить перед плебсом в роли обличителей принцепса, но зато впоследствии их мог поразить гром его очередной победы. Вот потому-то они толком и не знали, злорадствовать им или огорчаться такому шагу первого человека государства. Расстроенными были друзья Сципиона, особенно его старые легаты, которые мечтали о дальнем походе, на-



деясь со своим императором повторить молодость. Опечалились Сципионы ветераны: устав от рутины обыденной жизни, они мечтали вновь ощутить себя солью земли. Тужили и молодые солдаты, поскольку знали, что никакой другой полководец не приведет их к таким победам, каких они достигли бы со Сципионом Африканским, а следовательно, ни с кем другим они не получают такой добычи, какую дал бы он. И, наконец, большинство граждан сожалело о скромности Сципиона потому, что, по их мнению, именно он мог обеспечить наибольший успех государству.

Оппозиция в ответ на ход группировки Корнелиев выдвинула своих соискателей, полагая, что разочарование со стороны масс действиями принцепса вызовет охлаждение к нему народных симпатий, а из-за интенсивного муссирования в последние месяцы имен Сципионов и вовсе наступит пресыщение ими.

Стараясь помочь плебсу разлюбить выдвиженцев Сципионова лагеря, Фурии и Фульвии подвергли их нападкам, используя для этого услужливых клиентов. При осуществлении пропагандистской диверсии был применен оригинальный маневр, который состоял в том, чтобы расхваливать Публия Сципиона в ущерб Луцию и Лелию. Теперь, когда принцепс уже не был опасен конкурентам, он предстал в их изображении богоподобным гением, зато Луций Сципион и Гай Лелий лишились плоти и души, обратившись только в тени Сципиона Африканского. «Они – ничтожества, кормящиеся крупичами славы, оброненными титаном, – вещали провокаторы фразами своих патронов, – в них нет и искры таланта. Обретаясь при штабе, они научились угождать императору, но оттого у них не выросли крылья, ибо поддакивать великому человеку – это не значит вершить великие дела».

Публий Сципион тоже не остался в стороне от предвыборной кампании и всеми достойными мерами поддерживал своих кандидатов. Он старался внушить народу мысль, что государство не нуждается в его чрезвычайном консулате, так как и Луций Сципион, и Гай Лелий – выдающиеся мужи, способные выиграть любую войну. И прямо, и косвенно Публий ручался за них обоих и брал на себя ответственность за любые последствия рекомендуемого им выбора.

В итоге усилия оппозиции оказались напрасными. Слишком серьезной виделась предстоящая война, а потому граждане не могли позволить себе каких-либо экспериментов или капризов. Все прислушивались к Сципиону Африканскому и, доверяя ему самому, выразили доверие и его кандидатам, которых, впрочем, и без того хорошо знали. Потому на консульских выборах легко победили Луций Корнелий Сципион и Гай Лелий.

Однако на этом политическая борьба в Риме не закончилась. Она лишь изменила форму и, будучи изгнанной из межпартийной сферы,



ядом раздора проникла внутрь победившей группировки. Придя на Марсово поле друзьями, Гай Лелий и оба Сципиона возвратились в город непримиримыми конкурентами. Комиции влили в них общественную энергию, зарядили государственным потенциалом, который своей великий мощью породил силы отталкивания между этими столь близкими людьми. И Луций Сципион, и Гай Лелий до умопомрачения хотели получить в управление Азию. Пока еще вопрос о провинциях не обсуждался, но всем было ясно, что один из консулов отправится на Восток.

В оставшееся до начала нового административного года время Публий Сципион попытался уговорить Лелия уступить провинцию его брату, но тот весьма холодно встретил эту просьбу.

– Ты только для того и сделал меня консулом, чтобы в нужный момент легко убрать с дороги? – с мрачной язвительностью поинтересовался Гай в ответ на его предложение.

– Я помог тебе достичь консулата, желая, чтобы человек добрых качеств, да к тому же мой друг, получил заслуженную почесть, – с несколько виноватым видом объяснил Публий.

– Ага, мне почесть – награда за двадцатилетнюю службу тебе, и только, будто я уже покойник, а большие дела ты опять забираешь себе? Но, на мой взгляд, было бы уместнее теперь, когда я помог прославиться тебе, предоставить и мне возможность проявить себя. Это было бы тем более справедливо, что, как ты знаешь, в военном искусстве я на всем белом свете уступаю только тебе. Почему же не поручить эту, вторую по значению кампанию после той, которую вел ты, именно мне?

– Главенствующую роль в подготовке азиатского похода, как и во всей восточной политике, сыграли Корнелии. Нам и надлежит довести начатое дело до конца. Ведь если бы не было нас, Сципионов, и вся идеология обустройства этого региона Средиземноморья основывалась вами на именах Гая Лелия, Ацилия Глабриона, Публия Виллия или Тита Квинкция, который первоначально не имел никакого веса, то всеми делами заправляли бы Фабии, Клавдии и Фульвии, а то и вовсе какие-нибудь Порции. Вы существуете благодаря нам и теперь хотите нас же устранить от рулевого весла нами оснащенного судна!

– По какому же критерию ты разделяешь нашу партию, говоря «мы» и «вы»? Может быть, по уму, мировоззрению, образованию, талантам? Нет, ты разделяешь всех на Корнелиев и прочих, каковым отводишь роль клиентов. Я внес в наше дело, в том числе, и в восточную политику ничуть не меньший вклад, чем твой Луций, но он Корнелий, да еще Сципион, а значит, ваш, а я всего только Лелий, и потому мое место на обочине!

– Ты заговорил, как Катон.

– Потому что ты поставил меня в положение Катона.



– Выходит, родись ты Порцием, вел бы себя точно так же, как та зло-
вредная шавка?

– Не только я, но и ты.

Сципион поперхнулся гневом, но сделал усилие и выплюнул этот яд
в канаву, после чего смог посмотреть на Лелия чистыми глазами.

– В некотором смысле, может быть, и так, – примиряюще промолвил
он, но все же следует соблюдать достоинство и знать честь.

– Если бы он соблюдал честь и достоинство, то никогда бы не вы-
рвался наверх сквозь мощный заслон нобилитета. Увы, он вынужден
был работать локтями!

– Но ведь ты же сумел выдвинуться из малого рода в большие люди,
оставаясь при этом порядочным человеком.

– Да, только за свою порядочность я расплатился испанской и афри-
канской славой, безраздельно уступив ее тебе. А теперь ты требуешь,
чтобы в угоду этой порядочности я отдал Азию твоему брату!

– Но ведь мы друзья...

– Это так, только предложение твое недружеское!

– Ты меня огорчаешь, Лелий.

– Ты меня огорчаешь, Корнелий!

Так Лелий впервые назвал Публия по фамилии. Терпение Сципиона
лопнуло. Он считал себя оскорбленным каждой буквой состоявшегося
диалога, так же, как отец считает себя оскорбленным строптивостью
внезапно повзрослевшего сына. Потому он круто повернулся к Лелию
спиной, взметнув тогой форумную пыль, и пошел прочь. Лелий тоже
посчитал себя обиженным и точно так же отвернулся от Публия. Совер-
шив этот вираж, они размашисто зашагали в разные стороны.

Жесткость Лелия помогла Сципиону пережить страдания тяжкого вы-
бора между другом и братом, другом и самим собою, другом и родового
честью, памятью предков, зовом манов и ларов. С вызывающим протес-
том отклонив просьбу Публия, Гай сам пошел на разрыв их отношений и
тем частично освободил Сципиона от пут морального долга перед ним.
Отбросив сомнения, принцепс повел открытую пропаганду за Луция.

Результат сказался очень скоро: как ни обаятелен и популярен был
Гай Лелий, ему, конечно же, не под силу было тягаться со Сципионом.
Особенно быстро определились симпатии народа. «Луций ведь тоже –
Сципион, – рассуждали простолюдины, – значит, его опекают те же ма-
ны и лары, что и Публия Африканского, их обоих осеяет одно и то же
небесное благоволение, ведет к цели одна и та же божественная сила,
и потому поддерживать Луция Сципиона все равно, что выступать за
самого Сципиона Африканского». В сенате обстановка была сложнее.
Большинство нобилей, включая Фабиев, Фуриев и Клавдиев отдавало



предпочтение родовитому Корнелию, зато значительная часть преториев и эдилитиев склонялась на сторону Лелия, видя в нем человека своего круга. Среди последних наиболее шумно вела себя группировка Катона, жадно ухватившаяся за возможность навредить Сципионам. Причем Лелий не противился развернутой Катонем кампании в свою поддержку, но и не выказывал стремления к сближению с непримиримыми врагами Сципиона.

Главным итогом всех этих страстей, кипевших в Риме несколько месяцев, стало утверждение мнения о недопустимости в данной ситуации вверять судьбу государства жребию, об аморальности такого способа распределения провинций. Теперь, когда два консульских назначения были столь различными по масштабам деятельности, люди считали необходимым осуществить сознательный, зрячий выбор и настаивали на голосовании. Именно этого и добивался Сципион, помня о том, что уже дважды в решающий момент его выдвиженцы были сражены ударом слепого жребия.

С наступлением нового административного года сенат не решился сразу приступить к основному вопросу и некоторое время уделил этолийцам, просившим мира. Римляне требовали от заблудшего народа безоговорочного покаяния, но беспокойные греки никак не могли избавиться от привычки похвастаться былой доблестью и сумбурными словопрениями еще более ожесточили победителей. Несмотря на заступничество прибывшего с ними Тита Квинкция, их прошение не было удовлетворено, и делегация возвратилась домой ни с чем. Этолийцам дали время, чтобы полнее осознать свои прегрешения.

После этого сенат занялся провинциями. Один консул, конечно же, должен бы остаться в Италии, чтобы воспользоваться победой Сципиона Назики над бойями и закрепить достигнутый успех, а второму следовало отправиться на Восток. Тут все мнения сходились, но затем начинались разногласия. Некоторые предлагали ограничиться Балканами и, лишь утвердившись в Греции, двигаться дальше. Этой позиции придерживались враги Сципионов, надеясь, что к то моменту, когда наступит пора «двигаться дальше», консулом будет кто-либо из них. Другие считали целесообразным вторгнуться в Азию уже сейчас и гнать Антиоха прочь от малоазийских греков, пока он не собрался с силами и пребывает под впечатлением фермопильского поражения. Второй вариант в большей степени отвечал характеру римлян, ибо этот народ привык доводить до конца любое дело. Поэтому Сципионам сравнительно легко удалось отстоять свою точку зрения. Однако вместо слова «Азия» в наименовании провинции все же значилось: «Греция». Так хотели Фурии и Фульвии, рассчитывавшие этой поправкой удержать консула на



Балканах; так хотели матерые политики, стремящиеся интерпретировать азиатский поход как войну за освобождение греков, но не как завоевание Сирии; и наконец так же пожелал и сам принцепс, полагая, что данное определение шире и позволяет новому консулу вершить все дела Востока без оглядки на Ацилия Глабриона и прочих магистратов. При этом в текст постановления о провинциях было внесено дополнение, позволяющее консулу действовать в отношении Азии по собственному усмотрению. В подобном же виде и сам Сципион Африканский получил некогда разрешение на проведение ливийской кампании.

Определив провинции, сенат по традиции обратился к консулам с предложением разделить между собою сферы полномочий по доброму согласию, либо с помощью жребия. Доброго согласия быть не могло, жребий в общественном мнении стал непопулярен, все заранее были склонны к голосованию.

Лелий понимал, что победить в комициях у него нет никаких шансов, поэтому он еще некоторое время поколебался относительно жребия, но не захотел, чтобы его империй над балканским корпусом, доставшись ему волей случая, воспринимался согражданами как украденный у более достойного конкурента, и высказался за голосование, но только не в народном собрании, а в сенате. Луций Сципион, страшась неверного шага, который мог бы перечеркнуть великие надежды не только его самого, но и Публия, попросил отсрочку для размышления и побежал к брату за советом. Публий успокоил Луция, и тот согласился предоставить свою участь усмотрению сената.

Бравые катоновцы, все, как на подбор, энергичные и дерзкие, с колочим взглядом и острым языком, ринулись добывать сенатские голоса для ненавистного им Лелия, который, однако, был менее ненавистен, чем Сципион. Шли в ход старые, проверенные и даже вовсе гнилые и протухшие доводы, изобретались новые, необыкновенные, фантастические, но самыми действенными были те, что привел в своем споре со Сципионом Гай Лелий.

Другая партия проявляла величавое бездействие, и по бурному морю мельтешащей в предвыборной сутолоке сенатской мелкоты чинно проплывали солидные фигуры самоуверенных нобилей.

Спокойствие Публия Африканского завораживало тех, кто издавна привык смотреть на него снизу вверх, подобно тому, как неподвижный взгляд удава, по поверью, гипнотизирует несчастных кроликов. Всем было ясно, что Сципион заготовил некое тайное политическое оружие, а значит, любые потуги его врагов обречены на неудачу. Презрительный холод патрициев, как рок, повис над стриженными головами катоновских гвардейцев и источал скепсис из нейтральной массы. Когда же в



куруию входил принцепс, аудитория цепенела в предчувствии чего-то грандиозного. Так, парадоксальным образом наибольшего влияния добились те, кто как раз ничего не добивался.

Настал решающий день. Первым слово взял Лелий. Его речь была сильной по содержанию, но произнес он ее слабо, поскольку, при всей остроте соперничества, ощущал неловкость оттого, что выступал против Сципиона. Луций говорил уверенно, но тоже не произвел особого впечатления на сенаторов, ибо все смотрели на его брата, ожидая, что именно он внесет основной вклад в разрешение конфликта. После того, как высказались консулы, сенат приступил к обсуждению рассматриваемого вопроса. Открывал прения в соответствии с рангом принцепса Публий Африканский.

Он напомнил Курии о славных деяниях своих предков, рассказал о духе дружбы и взаимопомощи, царящем в их роду, и в качестве примера привел парный империй в Испании собственного отца Публия и отца Назики Гнея Кальва, а затем более подробно поведал о своем взаимодействии с братом в той же Испании и, конечно же, в Африке. Несколькими фразами он ярко обрисовал Луция как грамотного самобытного военачальника, надежного соратника и добросовестного гражданина, который бескорыстно служит Отечеству, не притязая на славу и добычу.

«В победе Республики над Карфагеном есть немалая доля трудов Луция Сципиона, – сказал в завершение Публий, – в основании моей славы победителя Ганнибала, двух Газдрубалов, Магона, Ганнона, Сифакса и Вермины заложена значительная часть его заслуг, а потому, следуя законам справедливости и морали рода Сципионов, я стремлюсь возвернуть нравственный долг Луцию и для этого готов поступить к нему легатом в том случае, если вы, отцы-сенаторы, доверите ему войну с Антиохом».

Вместе с последней фразой на зал обрушилась лавина эмоций, одних она придавила, заставив онеметь от изумления, а других закружила в вихре страстей. Публий Корнелий Сципион Африканский, который повелевал не только людьми, но порою – даже богами, как то случилось с Нептуном под Новым Карфагеном, ныне согласен идти в подчинение к простому смертному, пусть бы и к собственному брату! Это казалось невероятным. Потрясение было столь велико, что даже Катон несколько мгновений не мог вымолвить ни слова, хотя и отчаянно жестикулировал, показывая свое возмущение и категорическое несогласие с чем-то.

Лишь ближайшие друзья Публия догадывались о его намерении, большинство же граждан пребывало в неведении. Поэтому заявление принцепса произвело фурор как своим содержанием, так и внезапностью. Ход мыслей сенаторов круто изменил направление. Обуздав горды-



ню, Сципион вышиб слезу у впечатлительных соотечественников, и вся прежде нейтральная сенатская масса сейчас симпатизировала ему. Но еще важнее чувств были доводы рассудка. Не вызывало сомнения, что участие в азиатском походе Публия Африканского гарантирует этому предприятию полный успех, а потому истинные патриоты восприняли решение принцепса с удовлетворением; патриотами же были все римляне, ибо даже Катон при угрозе государству подал бы руку Сципиону, поскольку его любовь к Родине превосходила ненависть к сопернику.

Настроение Курии проявляло себя небывалым сумбуром. Никакого упорядоченного обсуждения не получилось; уподобившись плембсу, сенаторы говорили все разом и с восхищением взирали на двух стоящих перед ними Сципионов. Только Лелий был тих и печален. Он больше ничего не сказал в свою пользу, смирившись с поражением, и лишь грустно смотрел на друга, нанесшего ему сокрушительный удар. Когда восторги несколько поубавились, и отцы города, спохватившись, снова приняли чинный вид, выступили некоторые из неугомонных катонцев, но их выслушали только из вежливости.

Голосование стало формальностью: с подавляющим преимуществом в поединке за Грецию победил Луций Сципион, а Гаю Лелию досталась мирная Италия.

Едва такой итог подвел черту под бушевавшими страстями, друзья Сципионов начали утешать Лелия, а его недавние сподвижники – катонцы принялись всячески насмехаться и издеваться над ним. Он стал не нужен этим политическим хищникам, точно так же, как не нужен разгоряченному борьбою гладиатору сломавшийся клинок, который он со злости пинает ногами. А приверженцам Порция было за что гневаться на Лелия, ведь он не только не сумел преградить путь Сципиону, но своей неудачей им самим закрыл доступ в богатейшую Азию, до поры, до времени избавив древнюю страну от мертвой хватки итальянских дельцов.

В то время, когда в курии громко злорадствовали катонцы, учинившие моральное избиение побежденного, на форуме толпа, как героев, встречала братьев Сципионов. Граждане ликовали, уже предвкушая падение Сирии, а владыка величайшего царства Антиох казался им в этот момент самым несчастным человеком на всем земном круге. Сципионы шли по площади, не чувствуя под собою мостовой, словно парили в жарком потоке народной любви. Их глаза, насыщаясь восторгом сограждан, обретали необыкновенную мощь и посылали взор, пронзающий горизонт за пределы Италии к чужим, неведомым краям. В третий раз в жизни они познали такое озарение: впервые это произошло, когда, их призвала Испания, во втором случае – незадолго до отправления в Африку, а ныне взорам братьев открылась необъятная Азия.



АЗИЯ

I

Публий спал плохо и беспокойно. Проснувшись утром, он почувствовал слабость. Постель его была влажной и холодной от пота, а в душе зыбким страхом застыло недоброе предчувствие. Он силился вспомнить ночной сон, но в сознании лишь бродили тени призраков. Наконец из сумрака неведомого мира сновидений выплыло одно лицо. Публию оно показалось очень знакомым и неприятным, однако ему так и не удалось припомнить, где он мог встречаться с этим зловещим стариком.

Выйдя на улицу и умывшись ласковыми струями утреннего солнца, Сципион ощутил, как силы возвращаются к нему, и приободрился, но сквозь дневной свет бледным седым контуром все еще проступал загадочный лик, сулящий беду. Публий вопросительно взглянул на Капитолий, где парил под облаками храм Юпитера, сверкающий в восходящих лучах золотым блеском украшавших его щитов. Оттуда, с этой божественной вершины исходило величавое спокойствие: Юпитер ничего не знал или не хотел знать о ночных тревогах Сципиона.

Постепенно круговорот дел отвлек Публия от тягостных мыслей. А дел у него было немало. Полным ходом шла подготовка экспедиции на Восток. На Марсовом поле происходил набор воинов в пополнение балканским легионам, одновременно по всему государству осуществлялся поиск толковых людей для формирования офицерского корпуса, строился и оснащался флот, разрабатывалась программа продовольственного обеспечения армии. Все эти мероприятия были немыслимы без четкого представления об общей стратегии кампании, которую Сципионы наметили в первую очередь, но затем, однако, все время вынуждены были корректировать, приводя в соответствие с конкретной ситуацией теку-



щего момента и имеющимися в их распоряжении материальными ресурсами. К этому добавлялись заботы об укреплении надежности союзников, в связи с чем братья отправили несколько писем Филиппу Македонскому, Эвмену Пергамскому и властям некоторых греческих общин. И, как в любом большом деле, на пути к решению основной задачи возникли целые баррикады неожиданных, второстепенных проблем, отчего труды Сципионов множились и нарастали, как снежный ком.

Окунувшись в эту сутолоку приготовлений к походу, Публий испытывал ликование в предвестии грандиозных событий. Причем на мысль об Азии наслаивались яркие впечатления юности и поры расцвета сил, пережитые им в период подготовки к путешествиям в Испанию и Африку, потому время смешалось в его душе и, сложив бывлые чувства с настоящими, породило в нем эмоции небывалой концентрации, а сиянье славы прошлых, победных начинаний бросало ответ в будущее, благодаря чему взгляд его проникал сквозь завесу судьбы, и он видел картину грядущей победы так же ясно, как воспроизведенные памятью сцены минувших триумфов. Время, заставляющее людей воспринимать мир последовательно, как бы в смене чередующихся кадров, под напором спрессованных чувств Сципиона словно съезжилось, свернулось клубком, из линейного стало сферическим, и оттого он теперь мог разом обозреть большую часть жизни, не дробя ее на прошлое и будущее, увидеть в совокупности и в единстве все главные события и основные достижения своей деятельности. Однако эти озарения не могли быть длительными; всплески такого вдохновения пронзали его душу, только на мгновения распахивая покровы судьбы, подобно тому, как молнии в ночи лишь на миг разрывают тьму, выхватывая из нее наиболее характерные детали пейзажа и не позволяя памяти ввиду краткости экспозиции запечатлеть всю панораму целиком. Из этих необычных состояний Публий выносил с собою только уверенность в успехе, ощущение величия происходящего и некое смутное чувство тревоги, рока неведомых бед, гнусным болотом разлитых у подножия вершины его побед. Первое и второе было вполне созвучно голосу рассудка, последнее представлялось непонятным и вызывало досаду, но казалось мало важным в сравнении с остальным.

Предстоящий поход стал значимым событием для всей семьи Публия. Эмилия говорила, что лишь теперь в дом пришел истинный праздник в отличие от множества всевозможных торжеств мирного периода, пустых, по ее мнению, как миражи в сицилийском проливе. Впрочем, властная женщина не была удовлетворена отведенной ее мужу ролью. Вначале она и вовсе устроила Публию скандал за то, что он согласился идти легатом к брату. По этому поводу ей пришлось выдержать издева-



тельства и позу превосходства вечно униженной пред нею жены Луция Ветурии. И за такое оскорбление она готова была стащить Публия в Гемонии. Но вскоре Эмилия нашла контрдоводы в состязании с Ветурией и отстояла престиж мужа. Невольно она прибегла к предвыборным аргументам Фабиев и Фуриев, утверждавших, будто из всех Сципионов лишь Публий Африканский является значительной фигурой, тогда как Луций и Назика – не более чем нахлебники его славы. «Он тянет за собою на Капитолий весь род Сципионов!» – с апломбом заявляла Эмилия. В конце концов она совсем уладила слабохарактерную женщину, которой даже консулат мужа не придавал особого веса и, как в былые времена, подчинила ее своей воле. Тогда она поняла, что Публий может поступить аналогичным образом в отношении Луция и силой своей личности подавить авторитет официальной власти. Тучи гнева рассеялись, ее взгляд прояснился, и она заметила, что большинство непредвзято настроенных граждан воспринимает первенство Луция как чисто формальное и условное. Тут только Эмилия несколько примирилась со сложившейся ситуацией, но все же втайне жаждала увидеть мужа всевластным диктатором, повелевающим консулами и сенатом. Через своих подруг – жен видных нобилей – она попыталась внедрить созвучную ее мечте мысль в умы сенаторов, но, естественно, ей это не удалось. Ничего не изменив, Эмилия с типично женской способностью адаптироваться к любым условиям внушила самой себе и пыталась внушить окружающим, будто нынешнее положение мужа как раз и есть самое достойное для великого человека, скромность которого стоит вровень с талантами. «Публий давно покорил сердца всех честных граждан и ему оставалось соперничать разве что с богами, но он не пожелал смущать покой небесных владык и предпочел должность, не приносящую славы, но позволяющую в полной мере послужить Отечеству, – говорила она, – Публий обеспечит победу Риму, и это главное, а лавры, чью бы голову они ни украшали, все равно достанутся Родине, а значит, и ему!»

Сципион не обращал внимания на бушевавшие в душе жены страсти и переживаемые ею метаморфозы, поскольку был целиком сосредоточен на старшем сыне. Благодаря продуманному воспитанию и разумным заботам отца, болезненный мальчик с годами окреп и теперь, на пороге взрослой жизни, по физическим качествам почти догнал сверстников, по умственным же способностям с ним и раньше некого было сравнивать. Много лет Сципион страдал из-за немощи своего сына, имея перед глазами неудачный опыт друга юности Марка Эмилия, который после ранения так и не смог найти себя в сугубо мирной деятельности, но в последние годы у него появилась надежда устроить для младшего Публия традиционную карьеру римского аристократа. Поэтому едва только



решился вопрос о проведении восточной кампании, Сципион принялся готовить сына к походу¹. Тот был еще слишком молод для военной службы, но отец надеялся своим попечением ускорить его возмужание, тем более, что путешествие предстояло дальнее, серьезные боевые действия не могли начаться раньше, чем через восемь – десять месяцев.

Помнил Сципион и о том, как в свое время сражался с пунийцами в отцовском войске, будучи всего на какой-то год старше, чем теперь его Публий. Сам юноша тоже жаждал больших дел, воодушевленный славой предков. Взвесив все эти обстоятельства, Сципионы несколько раньше, чем того требовал обычай, провели красочный обряд посвящения юного Публия в мужи, обрядили его в белую тогу для взрослых и отправились в Капитолийский храм вознести мольбу Юпитеру. Вскоре консул Луций Сципион записал его в свое войско в ранге всадника, и к двум Сципионам, собирающимся в Азию, добавился третий.

Младший сын Сципиона Луций завидовал брату, но хорохорился и бойко заявлял, что через два – три года пойдет бить пунийцев. Он никак не хотел внимать разъяснениям отца о том, что пунийцев больше бить не нужно, поскольку они теперь союзники римского народа, и все так же настойчиво кричал, придерживая одной рукой то и дело спадающую с детского тельца тогу и воинственно размахивая другой, что он обязательно будет штурмовать Карфаген. На вопрос, почему же все-таки именно Карфаген, он, выставляя грудь вперед, гордо отвечал: «Чтобы тоже быть Сципионом Африканским!»

Девочки – две славные Корнелии – со страхом и восхищением смотрели на двух красивых, внушительных воинов в их доме, собирающихся куда-то в тридевятое царство отстаивать интересы Родины в борьбе с ужасными дикарями. Настроение их все время резко менялось: они то плакали навзрыд в предчувствии разлуки с обожаемым отцом и любимым братом, который в отличие от задиристого Луция их нисколько не обижал, то торжествовали и веселились, ощущая своими пусть детскими, пусть женскими, но все же римскими душами величие предстоящего события.

Помимо прямых приготовлений к дальнему походу, были и другие связанные с этим предприятием заботы. Так, Публий желал воздвигнуть на форуме некое сооружение, которое стало бы украшением го-

¹ Распространено мнение, будто в Азию отправился младший сын Сципиона Луций, однако в основных античных источниках юноша не назван по имени, и достоверно установить, какой именно из сыновей Сципиона участвовал в походе, не представляется возможным. Косвенным свидетельством в пользу точки зрения, противоположной принятой в этой работе, служит время исполнения Луцием претуры, однако неурядицы, возникшие при его избрании, возможно, спровоцированы как раз его недостаточным возрастом, а потому сообщение об этом эпизоде также не может иметь решающего значения.



рода и своеобразным символом, напоминающим согражданам о своем создателе во время его отсутствия. Традиционный храм или алтарь не годились для этой цели, нужно было что-то особенное, поэтому он отклонил несколько проектов как собственных, так и предложенных друзьями, прежде чем принял определенное решение. Остановившись наконец на одном из вариантов, Сципион показал его городскому претору и эдилам, а затем, согласовав с ними организационные вопросы, нашел квалифицированных подрядчиков и приступил к непосредственному осуществлению своего замысла. Финансирование строительства осуществлялось из личных средств Публия, которыми он распоряжался еще более щедро, чем обычно, надеясь на азиатскую добычу. Поскольку работа оплачивалась очень хорошо, дело двигалось быстро, и как раз к нужному сроку на склоне Капитолия у начала подъема на холм выросла арка с семью позолоченными статуями богов и героев и двумя скульптурами вздыбленных коней. Этот декоративно-идеологический ансамбль дополняли два мраморных бассейна, воды которых сверкали отражением золота колонн и статуй.

Простолюдины были в восторге от столь необычного сооружения и собирались толпами, чтобы вдоволь поглазеть на него и воздать хвалу Сципиону. Сияющая драгоценным блеском арка вызвала удивительные ассоциации, напоминая собою о Публии Африканском, она походила на его образ в народе, на его славу и воспринималась как символический портрет великого человека. Это заметили недруги Сципиона и не упустили возможности позлословить по столь удобному поводу, однако их никто не стал слушать.

Бархатаясь в бурливом потоке больших и малых дел, Сципионы однажды внезапно ощутили под ногами дно и, осмотревшись, обнаружили почти готовый остов экспедиции, возвышающийся подобно острову среди все тех же волн суеты, бестолково несущихся в неведомую даль. Несмотря на пропасть нерешенных вопросов, в их активе уже было главное. Они сформировали воинский корпус, насчитывавший в соответствии с сенатским постановлением восемь тысяч пехотинцев и триста всадников; определились с составом штаба, в который вошли, кроме Корнелиев и Эмилиев, Гней Домиций Агенобарб, Луций Апустий Фуллон, Секст Дигиций, Гай Фабриций, братья Гостилии и другие преданные Сципионам люди, а также – в качестве компромисса – некоторые представители конкурирующей аристократической группировки; добились желаемого распределения магистратур – командование флотом получил претор Луций Эмилий Регилл, а Греция была вверена попечению пропретора Авла Корнелия; и наконец согласовали объемы и сроки поставок зерна из Сицилии и Сардинии. Вдобавок к восьми тысячам вои-



нов, полученным от государства, Публий Сципион скомплектовал пяти-тысячное подразделение из героев африканской и испанской кампаний, отобрав их из множества своих ветеранов, изъявивших желание поступить в его войско без каких-либо претензий на жалование. В итоге, в распоряжении Сципионов оказалось чуть более тринадцати тысяч солдат. Еще тысяч двадцать — двадцать пять они намеревались взять из войска Мания Ацилия, и с этими силами двинуться в Азию. Конечно, количественно подобная армия выглядела смехотворно ничтожной в сравнении с легендарно многочисленной азиатской ордой, но римские полководцы привыкли оперировать именно такими войсками, казавшимися им оптимальными как с точки зрения стратегии, так и по условиям снабжения продовольствием и одеждой.

Братья жаждали поскорее выступить в поход, чтобы наконец-то начать осуществление своих грандиозных планов и избавиться от нескончаемой суеты второстепенных дел. В Риме уже справляли летние праздники, однако дороги еще не просохли после зимней слякоти, а море грозно волновалось, забрасывая суда смельчаков высокими темными валами. Столь презрительное несогласие природы с календарем объяснялось крайней запущенностью последнего. Официальный римский год был на одиннадцать дней короче солнечного, а потому с соизволения понтификов в календарь периодически вставлялся дополнительный месяц, но в последнее время этот порядок нарушился, ошибки накопились, и потому, когда римляне отмечали приход весны, едва заканчивалась осень. Сроки магистратских полномочий определялись гражданским календарем, но боевые действия, увы, приходилось вести в соответствии с природным. Это всегда вызывало нервозность консулов. Так было и теперь. Публий, как умел, успокаивал Луция и придумывал всяческие мероприятия, чтобы драгоценное время консульства не пропадало даром. Уже были выполнены всевозможные религиозные ритуалы по очищению государства от мелких обид небожителей, выражавшихся разнообразными приметами и знамениями, и произведены молебствия с целью привлечения богов на свою сторону в предстоящих делах, после чего осаждаемые Сципионами жрецы долго не могли сочинить ничего нового. Наконец кому-то пришлось в голову повторить Латинские празднества. Для этого следовало найти какие-либо упущения в произведенном ранее ритуале, и, поскольку принципс имел огромное влияние в жреческой среде, необходимые ошибки были успешно найдены: кому-то не досталось жертвенного мяса. По ходатайству священнослужителей сенат поручил консулу заново устроить Латинские торжества, и Сципионы напоследок еще раз потрясли впечатлительный плебс организаторским талантом и щедростью.



И вот наступил день, когда Луций Сципион почувствовал, что ни часа более не может усидеть в Риме, но к счастью этого теперь и не требовалось, так как весна вступила в свои права и дала сигнал к старту в гонке человеческих честолюбий. Консул повелел всем набранным солдатам, а также стоящим в Бруттии легионам Авла Корнелия к определенному сроку собраться в Брундизии, после чего сам облачился в военный плащ и с пышной свитой покинул столицу.

Публий, сославшись на частные дела, еще на некоторое время задержался в городе, пообещав Луцию догнать его по дороге в Брундизий. И сразу же его враги разразились гвалтом торжествующего злорадства. «Согласившись подчиняться консулу, Африканский взял на себя непосильную задачу, — обличительным тоном заявляли они, — уже сейчас, с первого дня похода, он не в состоянии терпеть власть и намеревается идти отдельно, дабы его не затмевал блеск консульского достоинства!» О том же, только шепотом и с подмигиваниями, шушукались и многие из тех, кто числился в друзьях принцепса. Сципион давно привык к тому, что всякий его шаг, любое слово и даже взгляд отзывались в городе громким эхом крайних эмоций либо неумеренного восторга, либо завистливой злобы, потому не реагировал на подобные экспрессивные комментарии своих поступков. Он, не торопясь, выполнил задуманное и затем спокойно ступил на камни знаменитой Аппиевой дороги. Его сопровождали сын Публий, несколько легатов, множество офицеров, отряд добровольцев, а также толпы праздного народа. По совести говоря, это шествие действительно выглядело внушительнее консульского.

В тот момент, когда Публий Африканский через Капенские ворота вышел из города, померк день — произошло солнечное затмение. «Затмилась слава Антиоха», — прокомментировали небесное знамение государственные власти. Однако многих такое совпадение напугало.

2

В первую же ночь похода, остановившись на постоялом дворе, Сципион вновь терзался видениями кошмарного сна. Наутро он ничего конкретного вспомнить не мог, но почему-то был уверен, что и нынешнюю вакханалию ведьм ему устроил тот самый старик, который являлся к нему на крыльях Гипноса в начале года и еще когда-то очень давно. Не поколебав сознания и воли, эта ночь все же мутным осадком легла на дно его души.

«Неужели отныне каждая глава моей жизни будет начинаться подобным предвестием несчастья?» — сказал он сам себе с не совсем искренней насмешкой над собственными страхами и с вполне искренней досадой.



Поднявшись с жесткого казенного ложа, Публий первым делом разыскал сына и, убедившись, что юноша находится в добром здравии, успокоился.

Все три Сципиона благополучно прибыли в Брундизий, где уже находились их дисциплинированные солдаты. Гавань этого портового города пестрела всевозможными судами, а закрома трещали, переполненные зерном, что стало результатом оперативных действий высланных вперед консульских легатов. Все было готово к путешествию, поэтому консул погрузил войско и его снаряжение на корабли, вознес мольбы богам, прося у них удачи для себя, своих воинов и всего римского народа, дал сигнал к началу похода и вышел в море, держа курс на Иллирию.

Успешно преодолев лазурные волны Адриатики, Луций Сципион высадился возле Аполлонии. Тут он узнал, что Ацилий Глабрион уже открыл военный сезон и штурмует этолийские города. В распоряжении консула пока были лишь те тринадцать тысяч солдат, которые они с братом набрали в Риме, но он не стал дожидаться легионов Авла Корнелия, только готовившихся к переправе на Балканы, и, внезапность маневра предпочитая большей численности, решительно выступил к центру Эллады.

Не добившись от римлян мира и не умея вести войны, этолийцы в растерянности заперлись в своих городах, уповая на толстые стены и жалость богов. Особенно тщательно они укрепили спасенный Квинкцием Навпакт. Учтя это, Ацилий не пошел к столице, а совершил рейд севернее, там, где его не ждали. Захватив и разграбив довольно крупный город, он приступил к следующему, но тут узнал о прибытии консула и вынужден был сложить с себя империй.

Луций Сципион в обращении с этолийцами сразу принял повелительный тон и, проходя по их стране, всем окрестным поселениям и общинам отдавал приказания сдаться. Это производило на греков должное впечатление и, хотя они не подчинялись властному требованию римлянина, все же страшились обнаружить перед ним враждебность, потому заискивающе отвечали, что рады бы выполнить его приказ, да не могут этого сделать без соответствующего решения общеэтолийского собрания. «У нас ведь то, что вы называете республикой», – не без гордости поясняли они. «У вас скоро будут одни руины, а не республика», – небрежно бросал им Луций с недоступного Олимпа лагерного трибунала. Взирая на этого «Зевса», испускающего молнии обжигающих фраз, и на его войско, ошетилившееся остриями смертоносных копий и дротов, этолийцы пятились к своим городам и, скрывшись за каменным панцирем, громко стучали зубами.

Застрашав этолийцев, Сципионы приступили ко второму акту политической комедии, сыграв которую перед эллинами, этими страстными по-



читателями театра, они надеялись избавиться от пут, препятствующих реализации их главного замысла. Дело в том, что война с этолийцами, при ясной предрешенности ее исхода, все-таки могла затянуться на многие месяцы, и тогда не осталось бы времени на Азию. Правда, находясь в Риме, принцепс тщательно подготовил политическую почву для того, чтобы в случае необходимости власть его брату удалось продлить, но, тем не менее, ручаться за благоприятный исход в борьбе за сирийское проконсульство было нельзя. Кроме того, Сципион Африканский, дорожа своей славой благородного человека и эллинофила, ни в коем случае не хотел вести эту неравную войну с греками. Потому Публий предложил консулу прибегнуть к безобидной хитрости там, где сила была не только малоэффективна, но и вовсе неуместна. И хотя Луций горячился и хотел наказать неразумных хвастунов, он все же внял доводам брата.

Еще на марше из Аполлонии Публий, принимая представителей греческих общин, спешивших засвидетельствовать свое почтение могущественным пришельцам, присмотрел толкового человека – афинянина Эхедема и договорился с ним о сотрудничестве. Тогда, выступая от имени афинской делегации, Эхедем говорил о неблагоприятности войны с этолийцами и, не отрицая вины этого оголтелого народца, просил римлян пощадить многострадальную Элладу, воспрянувшую от рабского прозябания как раз благодаря римлянам. При этом хитрый грек то и дело норовил вознести хвалу кротости нрава Тита Квинкция, тем самым навязывая Сципиону заочное соперничество в благородстве со знаменитым здесь соотечественником. Публий смекнул, к чему клонит афинянин, смакуя имя Фламинина, но все же призадумался и понял, что ему в любом случае не уйти от сравнения с Квинкцием, ставшим для греков эталоном, которым ониверяют всех прочих государственных мужей. Именно в ходе разговора с Эхедемом Публий сообразил, как ему обойти этолийцев, чтобы и не подпортить своей репутации, и как можно скорее приступить к осуществлению основной цели кампании. Поэтому он обнадежил грека намеками на возможность мирного урегулирования конфликта и дал ему понять, что в этом деле будет нуждаться в его помощи.

И вот теперь к Публию Африканскому, который, командуя авангардом войска, ставил собственный лагерь в некотором удалении от консульского, явилось внушительное афинское посольство, дабы ратовать за мир во всей Греции. На этот раз Эхедема окружали самые высокие лбы Аттики, а также – и самые длинные языки, способные плести многочасовые речи и окутывать облаками непроницаемой мудрости сколь угодно ничтожные вопросы. Пообщавшись с этими выдающимися мужами пару часов, Сципион опьянел от чада словесных воскурений и, обменявшись понимающими взглядами с Эхедемом, отправил их к Луцию.



Повергнув консула своим убийственным красноречием в состояние глубокого транса, герои языка и жеста очень скоро снова предстали перед Публием. Он на некоторое время прикинулся внимательным слушателем, а затем объявил, что в принципе согласен с неугомонными ораторами, после чего предложил им встретиться с этолийцами, чтобы сообщить осажденным соотечественникам обо всем, о чем они не в состоянии молчать. Поощренные успехом афиняне без промедления устремились к несчастным собратьям. Несколько дней они произносили перед ними речь, и те, наконец, поняли, что Сципионы зовут их на переговоры. По совету афинян этолийцы выбрали самых голосистых сограждан и направили их к Публию Африканскому.

Так закончился второй, риторический акт спектакля и начался третий — дипломатический.

Публий принял этолийцев весьма радушно и явил им яркий образец своего дружелюбия. Правда, на этот раз ему пришлось больше говорить, чем слушать, так как нынешние его гости были красноречивы только в самовосхвалениях, но афиняне загодя предупредили их, что упоминать в присутствии Сципиона Африканского о каких-либо воинских подвигах, по меньшей мере, неуместно, ибо им не хватает фантазии, чтобы измыслить нечто достойное его внимания, потому они большей частью чинно молчали, а уж если их внезапно начинало нести привычным аллюром, римлянин «делал страшное лицо», и те, спохватившись, затихали. Публий же рассказывал этолийцам о том, как и сколько народов он благодетельствовал своим чуть ли не отеческим попечением. Уши зачарованных греков запоем поглощали истории о приключениях испанских князей и нумидийских царей и цариц, о перипетиях судьбы иберийских и африканских племен, а их души млели от восторга, угадывая величие скрытого меж строк захватывающей повести демиурга, заправлявшего всеми этими событиями. В итоге этолийцы страстно возжелали по примеру героев рассказа укрыться от невзгод бесконечных войн под полой Сципионовой тоги и получили на это негласное соизволение.

Заручившись благоволением брата консула, они, излучая раду и надежду, двинулись к самому полководцу. А тот, сурово глядя в их жизнерадостные лица, металлическим голосом повторил приговор, вынесенный им ранее в Риме, суть которого сводилась к тому, что либо они дают явно непосильный для них выкуп в тысячу талантов, либо вверяют себя власти римлян, оказываясь чуть ли не в положении рабов. Выслушав консула, этолийцы едва не упали на колени, как это делают пунийцы, но только не из-за лстивой угодливости, присущей торгашам, а от неожиданности и охватившего их отчаяния. В недоумении и рас-



стройстве чувств парламентареры возвратились домой, и вся Этолия погрузилась в несанкционированный траур.

Увы, не все было так просто, как представлялось грекам. Поскольку сенат уже вынес решение относительно этолийцев, консул не мог без особых причин допустить какие-либо послабления вражескому государству. В сложившейся обстановке любой проект мирного договора на более мягких, чем сенатские, условиях, который мог бы составить Луций Сципион, с неизбежностью был бы раскритикован и отвергнут в Риме, а существующие требования этолийцы принять отказались, следовательно, достичь мира в такой ситуации было невозможно, потому-то Сципионы и прибегли к дипломатическому маневру.

Итак, этолийцы убивались горем, а спектакль продолжался, приближаясь к своей кульминации.

Публий Африканский снова снарядил афинян в этолийский поход. Эхедем и его доблестные соратники, прибыв на место, сахаром речей подсластили горечь беды заблудших сородичей, а затем внушили этолийцам мысль еще раз попытаться счастья у обаятельного Сципиона. Те, воскрешенные надеждой, живучей, как сама жизнь, расправили плечи и устремились в меньший римский лагерь. Добившись там полного взаимопонимания и сочувствия, они были вынуждены опять посетить того из Сципионов, который им казался гораздо менее обаятельным.

При всем желании консул ничем не мог порадовать своих гостей. Публий выступал перед греками как частный человек и потому говорил все, что ему заблагорассудилось, но Луций являлся должностным лицом и должен был выступать только от имени государства.

Забрызгав пол претория крупными слезами, послы, обречено опустив головы, удалились восвояси. В один из последующих черных дней к этолийцам в очередной раз пришли афиняне и сообщили, что Публий очень скорбит об их участи и желает им помочь. А Эхедем как бы между прочим посоветовал местным стратегам испросить у римлян если уж не мир, то хотя бы перемирие сроком эдак месяцев на шесть. Сообразив, что за такое время могут произойти большие перемены и вопрос о договоре, с соизволения богов, возможно, разрешится сам собою, этолийцы без промедления ступили на знакомую тропинку, ведущую в лагерь доброго легата.

Выслушав главу делегации, Публий глубоко задумался и несколько раз с сомнением покачал головою, но потом сказал, что согласен выступать ходатаем за своих гостей, хотя и видит немалые трудности, препятствующие достижению цели. Затем он сам вместе с греками явился в палатку консула и долго упрашивал Луция снизить к просьбе давно раскаявшихся в былых прегрешениях людей. Сначала консул и слы-



шать не хотел о перемирии, да еще таком длительном, но постепенно расчувствовался под впечатлением, вызванным осознанием несчастий, выпавших на долю бедных греков, и принял их предложение.

В итоге, этолийцы к великой радости всей Эллады, за исключением их извечных врагов ахейцев, заключили с римлянами перемирие на полгода, дабы, как значилось в формулировке документа, они получили возможность повиниться перед сенатом и народом римским и добиться полноценного мира на реальных условиях. Нелишне будет заметить, что боевые действия прекращались как раз на период, равный оставшемуся сроку консульского империя Луция Сципиона.

Отныне, с установлением мира в Греции, ничто не мешало Сципионам нанести ответный визит Антиоху и вторгнуться в его владения.

3

Римляне неспешно двинулись к северу. Пред ними расстилалась широкая равнина Фессалии, за которой следовали Македония, Фракия и наконец Геллеспонт, отделяющий Европу от Азии. Им открывался необъятный простор для деятельности, однако, прежде чем приложить свои силы к возведению монументов славы в этой, испещренной трофеями местности, следовало тщательно разметить ее знаками мысли и прочертить магистрали идей, чтобы в дальнейшем не пришлось блуждать во мраке неизвестности. Потому-то Сципионы пока не торопились с маршем и изучали обстановку, взвешивая последние сведения, поступающие из Малой Азии и Македонии.

Кратчайший путь в Азию проходил через Эгейское море. Но решиться на такое плавание с гигантским караваном на судах, отягощенных войском и припасами, можно было только при полной уверенности в превосходстве своего флота над вражеским. Без достижения господства на море этот шаг был недопустим ввиду риска сразу всей армией сделаться легкой добычей сирийцев. Причем, даже если бы римлянам удалось благополучно преодолеть заслоны царских эскадр, они оказались бы на чужом побережье в изоляции и перед ними встала бы необходимость в целях пропитания грабить местное население, что противоречило их идеологии. Сухопутный же путь через Македонию и Фракию был очень длинен и по-своему тоже опасен, потому первостепенное значение в настоящий момент приобрело соперничество за преобладание на море.

Борьба за водные просторы Эгейского моря развернулась еще в прошлом году. Тогда претор Гай Ливий в союзе с Эвменом Пергамским принял морской бой с сирийским флотом, возглавляемым родосским изгнанником Поликсенидом, и одержал великолепную победу. Инициативу в регионе захватили римляне, и это сулило Сципионам, в то время



еще только готовившимся в поход, блестящие перспективы, но в дальнейшем ситуация изменилась. Поликсенид понял, что в открытом сражении римляне практически непобедимы, поскольку плохие мореходные качества своих судов с лихвой восполняют целеустремленностью, мужеством и тактикой, сводящей морской бой к сухопутному. Поэтому он решил действовать хитростью и принялся измышлять всяческие авантюры.

Сторону римлян наряду с пергамцами держали и родосцы. Флот этого народа прославленных мореходов минувшим летом запоздал с поддержкой Гаю Ливию и не принимал участия в избиении азиатов. С тем большим рвением родосцы стремились отличиться теперь. Они снарядили тридцать шесть первоклассных кораблей и направились к претору. Но тут диссидент Поликсенид затеял с земляками тайные переговоры.

Не бывает больших и маленьких предателей, измена есть измена, а предатель есть предатель. Совершивший мелкую подлость, способен и на крупную. Человек, обрубивший все связи, делавшие его человеком, и взамен их обложившийся золотом измены, камнем летит вниз, и глубина его падения определяется глубиной самой пропасти.

Однажды предав Родину, Поликсенид обнаружил, что с тех пор его душа обратилась в черный мешок, наполненный смердящей едкой массой карьеризма, возникшего в духовной пустоте в качестве эрзаца утраченных идеалов, который был замешан на едкой щелочи цинизма. Отныне он презирал всех, потому что презирал себя, и любыми средствами старался восторжествовать над другими людьми, дабы компенсировать свое реальное, хорошо сознаваемое ничтожество формальным возвышением в глазах окружающих. Так он мстил всему свету за собственное преступление.

Командующий родосской эскадрой Павсистрат был человеком неоспоримых достоинств, за что пользовался заслуженным уважением сограждан. Для Поликсенида это являлось тягчайшей мукой. Само существование порядочного человека было невыносимо для мерзавца и служило для него карой. Белый демон духа Павсистрата повсюду находил Поликсенида и нестерпимо терзал его черную душу. Восприятие мира предателя сменило полярность: все лучшее стало худшим – и потому не было границ его ненависти к честному гражданину.

Млея от предвкушения крови героя, Поликсенид сочинил к Павсистрату слащаво-слезоточивое послание с лицемерным раскаянием в своем проступке. Он пытался уверить родосца, будто страстно жаждет возвращения на родину, и во искупление давних прегрешений обещал оказать Отечеству бесценную услугу, подставив под удар сограждан царский флот. Павсистрат не подозревал, что внутренний мир предателя представляет собою клоаку с гниющими помоями, и наивно мерил



его собственной душой. Он поверил диссиденту и согласился ходатайствовать о возвращении ему гражданских прав. Достигнув мнимого соглашения, Поликсенид сообщил свой план и внес в распоряжение царских сил ряд ложных перегруппировок и прочих маскирующих мер, чем окончательно ввел греков в заблуждение. Ожидая условного сигнала от продажного земляка, родосцы расслабились и сами ничего не предпринимали. Поликсенид же скрытно подвел к месту действия сирийский флот и всей его мощью внезапно обрушился на одуроченных греков. Родосцы оказались запертыми в гавани и были одновременно атакованы кораблями с моря и десантом с суши. Лишь несколькими судам удалось вырваться на волю, все остальные достались врагу, а их экипажи подверглись избиению. Павсистрат первым повел свою квадрирему на неприятеля и погиб в самом начале боя. Его кровь бальзамом пролилась на ядовитое сердце торжествующего Поликсенида.

Поражение родосцев потрясло все страны бассейна Эгейского моря, в результате чего сменились настроения и политические ориентации многих общин. Сирийцы воспряли духом, положение римлян пошатнулось. Гай Ливий в это время готовил переправу через Геллеспонт. Со стороны Европы он обеспечил доступ к проливу, легко войдя в город Сест. Но противлежащий город Азии Абидос заключал в своих стенах мощный источник враждебности к Риму в лице царского гарнизона, и потому здесь претору было оказано сопротивление. Ливий затратил некоторые усилия на осадные работы и уже был близок к успеху, когда стало известно о гибели союзного флота. Римлянам пришлось оставить Геллеспонт и спешить в горячую зону.

В тот же период произошел мятеж в крупном городе малоазийского побережья Фокее. Там зимой находился римский флот, и тяготы постоя чужеземных воинов вызвали недовольство жителей. Этим воспользовалась часть олигархии, подкармливаемая подачками Антиоха, и придала волнениям масс организованную форму. В ответ на жалобы фокейцев римляне покинули город и перебазировались в другое место. Олигархам только того и было надо: они незамедлительно довели свое дело до конца, и вскоре вместо римлян на постой в городе расположился сирийский гарнизон. Толпа получила новых господ и снова была предоставлена самой себе. Однако если раньше возмущаться пришельцами считалось признаком хорошего тона, и всяческое недовольство поощрялось теневой властью, то теперь это вдруг сделалось неприличным и воспринималось как свидетельство дурного воспитания.

Используя волну успеха, сирийцы вторглись в пределы Пергамского царства и осадили сначала Элею, а затем и столицу. Это вынудило Эвмена покинуть римлян и вернуться домой.



Вскоре после этих событий на смену Гаю Ливию прибыл новый претор Луций Эмилий Регилл. Приняв командование флотом, он совершил несколько различных маневров, то осаждая города, то вызывая противника на морской бой, но ни в чем не преуспел.

Когда Сципионы, освободившись от этолийцев, взглянули на восток, желая усладить взор зрелищем подвигов своего молодого друга Луция Эмилия, они ничего такого не заметили и увидели лишь то, что претор не отдал Эгейское море Антиоху, однако и сам не завладел им.

Помог Сципионам составить представление о положении в Малой Азии и вокруг нее претор Гай Ливий, который, возвращаясь домой, заехал в Фессалию почтить вниманием столь выдающихся мужей. В неофициальной части беседы Ливий аккуратно пожаловался на отсутствие взаимопонимания с преемником, что и стало причиной, вынудившей его покинуть район боевых действий. Видя, как он желает быть полезен делу, Сципионы дали ему рекомендательные письма к столичным друзьям, чтобы те помогли толковому человеку найти соответствующее его рангу поручение, и с тем отправили в Рим.

Погрустив часа два по поводу неуместной доверчивости родосца Павсистрата, братья тяжело вздохнули и пошли собирать войско в длительное путешествие вдоль берегов Эгейского моря.

Давно уже Публий Африканский присматривался к нынешним солдатам и ревниво сравнивал их со своими воинами, выпестованными им в ходе испанской и африканской кампаний.

В солдатах появилось нечто хищное. Они больше походили на наемников, чем на граждан, и в войне искали не столько славы защитников Родины, сколько наживы. Издавна, отправляясь в поход, римляне преображались, едва только переступали священную черту померия. В своем городе они были добропорядочными членами общины и блюли все ее законы, но за его пределами в соответствии с родовой моралью для них начинался чужой, враждебный мир, и потому, выходя за ворота, они сами становились врагами всего окружающего: здесь в их представлении уже не существовало людей и городов, а были лишь противники и добыча. Постепенно государство расширялось, и вместе с его границами раздвигались горизонты человеческого духа. Хозяйское отношение римлян распростиралось на все большие территории. Но теперь процесс вдруг пошел в обратном направлении. Во внутренний мир людей вторглась некая сила, которая сломала тончайший механизм их нравственного роста и вновь пробудила в них зверя. Хлынувшее в Рим богатство затопило его низины, поработив наиболее примитивных и грубых людей, которым увидеть золотой блеск было проще, чем узреть сиянье возвышенной души, и через этих позолоченных рабов стало на-



саждать свои альтернативные, сугубо безликие ценности, завоевывая все большее человеческое пространство. «Какая разница, как я добуду деньги? – думал современный солдат. – Греция далеко от дома, и в Риме не узнают, снял ли я серебряный браслет с побежденного врага или с ограбленной женщины. Важно, что, вернувшись домой, я куплю раба, который придаст мне больший вес в глазах соседей, чем дубовый венок или фалеры истинного героя». В своих войнах Сципион воспитывал чувство гражданина всей ойкумены, стремился возрастить их души до космических масштабов, объемлющих собою всю цивилизацию, чтобы они весь обитаемый мир считали своим домом так же, как прежде считали своим домом весь Рим. Тогда, по его мнению, этот замысел удался, но теперь Публий вдруг обнаружил противоположный результат: интересы многих легионеров настолько сузились, что они не только не вышли на средиземноморский рубеж, но даже утратили общность с Родиной и съежились до муравьиных размеров собственной избушки или квартиры. Души людей сделались почти такими же маленькими, как и их тела, и едва высывались за пределы биологической оболочки.

Наряду с хищнической тенденцией обнаружилась и другая, также ведущая к утрате духа гражданственности. Находясь длительное время вдали от Италии, солдаты забывали власть выборных магистратов и привыкали к абсолютному диктату полководца. Они жили как бы уже и не в республике, а в монархическом государстве, и оттого их внутренний мир терпел деформации. Рушилась их солидарность, исчезало чувство общности. Они теряли ощущение своей коллективной силы и мощь войска связывали с военачальником, с его гением и удачей. Он вырастал в их глазах до невероятных размеров полубожества и затенял собою Родину.

Наблюдая этот феномен, Публий не отдавал себе отчета в том, что сам же своим авторитетом непобедимого императора положил ему начало. Тогда, в Испании и Африке он смотрел на подчиненных с возвышения трибунала и оценивал их в первую очередь как воинов, но теперь он наблюдал солдат со стороны, и другая точка зрения давала другую картину: то, что прежде казалось достойным, сейчас смущало его.

И наконец третий фактор, отмеченный Сципионом, возмутил его более всего. Первые два заставили его призадуматься, обозначив зачатки пороков, которые только через несколько десятилетий проявились в полной мере, когда развращенное войско десять лет терпело позорные поражения от одной небольшой испанской общины, но последний – требовал решительных действий уже сегодня. Итак, Публий выявил очень низкую физическую и тактическую подготовку войска, объясняющуюся тем, что, привыкнув к легким победам над несерьезными про-



тивниками, солдаты и многие офицеры резко снизили требования к себе. Поэтому он заручился поддержкой консула и стал проводить учения прямо в походе, подобно тому, как это делал некогда афинянин Хабрий.

Сципионам предстояло пересечь Македонию и Фракию. Одна из этих стран совсем недавно воевала с Римом, другая же, дикая и необузданная, была враждебна всем. Потому дорога могла стать очень опасной, и многое в этом вопросе зависело от воли Филиппа. В письмах к сенату и Сципионам царь обещал оказать поддержку римской армии и даже снабжать ее продовольствием, но уж очень удобно ему будет во время похода запереть римлян в каком-либо ущелье, отрезать их от провианта и уничтожить, а поэтому трудно было довериться его стойкости пред таким искушением. Однако римлянам ничего иного не оставалось, как положиться на слово царя, и единственное, что они могли сделать, это еще раз проверить его настроение.

Публий предложил явиться к Филиппу внезапно, чтобы успеть взглянуть на его душу прежде, чем разум наденет на нее одну из своих масок. На роль такого гонца, от которого требовалась не только сноровка всадника, смекалка и обходительность посла, но и особая проницательность, был выбран очень способный молодой человек Тиберий Семпроний Грахх.

Публию хотелось поскорее дать возможность отличиться собственному сыну, изъявлявшему готовность отправиться к царю, но он удержался от соблазна использовать имеющуюся власть для его пользы и согласился поручить сложную, но выгодную миссию тому, кто, по общему мнению, более всех подходил на эту роль.

Семпроний легко вскочил на коня, пригнулся к его шее и, почти не меняя позы, в три дня одолел расстояние до македонской столицы. Горячий юноша надолго опередил молву о себе и прибыл во дворец, как то и требовалось, неожиданно. Царь встретил римлянина на пиршественном ложе и своим сытым видом развеял все подозрения в каких-либо каверзных намерениях, ибо человек, замышляющий большое и рискованное дело, не предается с такой беззаботностью мирским увеселениям. В последующие дни Тиберию показали дорогу, пребывающую в ожидании легионов. Ознакомившись с обстановкой в Македонии, он пришел в восторг, поскольку здесь были приняты все меры для обеспечения успешного похода римлян. По всему маршруту располагались продовольственные базы, сама дорога находилась в отличном состоянии, через реки и ущелья были перекинuty только что отремонтированные мосты. Закончив осмотр дорожного хозяйства, Семпроний возвратился в Пеллу, выразил царю благодарность за выполненные работы, обсудил с ним некоторые практические вопросы



по взаимодействию во время предстоящего путешествия и с легким сердцем отправился в римский лагерь.

Выслушав своего посла, Сципионы ускорили марш войска и вскоре приблизились к границам Македонии. Там их встретил сам царь, сопровождаемый отрядом отборной конницы. Он любезно поприветствовал консула, его знаменитого брата и прочих легатов, тем самым продемонстрировав осведомленность о порядках республиканского общества, в котором магистрат имеет лишь формальное превосходство над окружающими. По случаю такого визита римляне несколько ранее обычного завершили дневной переход, возвели лагерь и оказали царю торжественный прием в претории. А на следующий день войско вошло в один из македонских городов, и Филипп сторицей отплатил за гостеприимство, устроив для полководца и легатов истинно царский пир.

Царь с первой же встречи произвел благоприятное впечатление на Сципионов. Публию он показался интереснее других, виденных им восточных владык и политиков. В общении Филипп представлял человеком более широким и независимым, чем Эвмен, в суждениях выглядел реалистичнее и основательнее греков, и держался он свободнее и естественнее Антиоха. В отличие от сирийского монарха, словно закованного в латы царственности, его ничуть не стеснял высокий сан, он был органичен на троне, как красавица – в шикарном одеянии, которой сознание своей красоты позволяет носить его с небрежным изяществом. Филипп являлся царем по всем статьям от импозантной внешности и элегантных манер до властного характера и блистательного, разящего ума, но он был как бы царь в себе, царь внутри при внешней простоте удалого молодца, тогда как царственность Антиоха, наоборот, зарождалась снаружи: в позах, взглядах и дворцовом ритуале – откуда проникала в глубь его души, уже имея сложившийся на поверхности нрав. В этом различии двух родственных по национальному происхождению людей сказывалась разница в воспитавших их общественных условиях. Азиатская цивилизация, разделив население на кучку господ и массу черни, утвердила формализованную иерархию, согласно которой в каждой микрообщности находились свои господа и рабы, чей статус менялся всякий раз при взаимодействии с представителями иных групп, в результате чего, любой господин обязательно был и рабом какого-либо другого господина, за исключением царя, господствовавшего над всеми людьми, но зато являвшегося рабом трона. Такая система порождала холопское благоговение пред внешними факторами престижа, как то: происхождение и богатство – со всею мишурою их опознавательных знаков. Отсюда с неизбежностью следовало смешное для римлян, но весьма почтенное на взгляд сирийцев позерство Антиоха, от которого



никак нельзя было требовать иного поведения, ибо даже Александр, выросший в другом мире и прибывший в Азию вождем эллинов, стал здесь персом. В Греции же все еще не выдохся республиканский дух, все граждане тут считались равноправными, и потому в обществе превалировала оценка людей по их сущностным качествам, что побуждало каждую личность самосовершенствоваться и стремиться к возрастанию духовных, а не материальных богатств. Потому Филипп старался притушить сиянье своего титула и добиться уважения греков к самому себе, а не к занимаемому им трону. Однако в Македонии общественные условия были иными в сравнении с Элладой, да и по отношению к Греции Филипп реально выступал как владыка, а не союзник, защитник или друг, как его называли льстецы с глубокими карманами. Смешение гражданского воспитания с царским дало в итоге весьма причудливый плод, исполненный противоречий.

Филипп был на три года старше Сципиона Африканского. В семнадцать лет, то есть в том возрасте, в котором Публий пошел на войну с карфагенянами, он уже стал царем. Юноше пришлось сразу, без предварительной закалки характера с головою окунуться в государственные дела. Общение с такими людьми, как Арат, не могло не подействовать разрушающе на его душу. Имея подобных наставников, он быстро прошел курс политического лицемерия и беспринципности, в результате чего вскоре сам принял на вооружение те средства, какими еще недавно возмущался. Потому он без стеснения убрал с пути своего учителя, едва только тот перестал быть ему нужен. Успешно сделав первые шаги на политическом поприще и снискав восхищение толпы и угодливые заискивания олигархов за свершенные преступления, Филипп познал восторг царского могущества и вседозволенности, но одновременно испытал разочарование в методах, каковыми утверждается власть. Жесткая действительность, грубо вторгшись в его душу, разодрала ее на две части, заставив обе половины вечно враждовать между собой. Отзвуком этой внутренней борьбы, прорвавшимся наружу, стал скептицизм, который одновременно служил ему еще и средством маскировать свое превосходство в общественном положении при общении с греками. Интриги научили его хитрости, а тесное взаимодействие с самым образованным народом позволило ему до изощренности развить свой ум, а также – эстетическое чувство. Будучи щедро наделенным способностями со стороны природы и возможностями – со стороны общества, царь лелеял самые смелые мечты и имел самые высокие претензии. Однако ему не хватило целеустремленности для реализации своих планов, ибо, с юности привыкнув повелевать, он не встречал иных препятствий на пути, кроме риторики беспомощных греков, потому всякий раз, сталки-



ваясь с реальной силой римлян, терялся и падал духом, и хотя ему в конце концов всегда удавалось преодолевать эти приступы безволия, жизнь его двигалась зигзагами.

Итак, в личности Филиппа замысловато переплелись достоинства и пороки, таланты и изъяны, сила и слабость. Он представлял собою любопытный объект для наблюдения, и Сципионы с интересом принялись разматывать этот клубок противоречивых качеств и всевозможных загадок, вновь и вновь приглашая царя к общению.

Встречи Филиппа с греками обычно начинались с длинного ритуала взаимных расшаркиваний и многословных восхвалений друг друга, лицемерных в устах одних и насмешливо-снисходительных в ответных фразах другого, в ходе которых собеседники разогревались, чтобы чуть позже разом перейти к обоюдным нападкам и обвинениям. С римлянами царь повел себя иначе. Обменявшись с ними короткими приветствиями, он без промедления приступил к обсуждению предстоящих дел и лишь после того, как был намечен план совместных действий, расслабился и возвратился к привычной манере поведения.

Весь излучая обаяние, он принялся заверять гостей в том, что очень рад их появлению на Балканах и испытывает к ним беспредельную благодарность. Лицо его при этом было серьезно и будто бы ничего не выражало, кроме ледяной дипломатической любезности, но в крутом изгибе бровей и зрачках пронизательных глаз, словно в засаде, притаилась насмешка, готовая в любой момент выстрелить остротой в доверчивого собеседника. Публий в свою очередь изобразил подобную мину, только, не располагая такими вычурно-красивыми бровями, как у Филиппа, он запрягал смех в глаза и улыбку. Сотворив достойный оппонента лик, Сципион произнес комплимент изысканности царской иронии. Не смущаясь тем, что его уличили в едкой двусмысленности, Филипп подтвердил высказанную мысль и пояснил, почему именно доволен приходом римлян в свои бывшие владения. «Выдворив меня из Эллады, вы извлекли меня из зловонного водоворота склок и смут и освободили от неумных притязаний и упреков вечно всем недовольных греков, – сказал он, – так как же мне после этого не приветствовать и не восхвалять своих избавителей!» Царь улыбнулся, как бы подчеркивая шуточный характер ответа, но в глубинных пластах его фразы прозвучала совсем нешуточная грусть, вызванная то ли в самом деле усталостью от бурного прошлого, то ли сожалением о нем, а возможно, тем и другим вместе.

Публий залюбовался движеньями мысли и чувств на броском, ярком лице Филиппа с резкими, рельефными чертами, гармонично устремленными к единой идее красоты, обрамленном вьющимися волосами, покрывающими голову роскошными лепестками локонов и окутываю-



щами щеки и подбородок гроздьями мелких кудряшек. Он попытался представить, что должна испытывать женщина, глядя на этого красавца, но не смог вообразить ничего подобного. Его взгляд оставался взглядом мужчины на мужчину и человека на произведение искусства природы и не пробуждал в душе иных чувств, кроме дружеской симпатии. Филипп тоже внимательно изучал Сципиона. Иногда его взор обращался к Луцию, но всякий раз поспешно возвращался обратно и жадно шарил по лицу Публия, словно ощупывая его в поисках слабых мест, однако безуспешно: римлянин казался ему монолитом. Прямые брови, прямая линия рта, почти прямой нос, прямая посадка головы: в каждой детали этого лица, как во всем облике в целом, читались несокрушимая мощь и добродушие, истинное добродушие, свойственное только очень сильным людям. Филипп был наслышан о хитрости и коварстве победителя карфагенян, но никак не мог обнаружить следы этих качеств в его внешности, и это пугало царя, как всегда пугает неведомая опасность, скрытая во мраке неизвестности.

Публий вступился за греков, косвенно охаянных македонянином, но у Филиппа вдруг прорвалась накипевшая обида, и он излил по их адресу всю язвительность своего ума. Тут на помощь брату пришел Луций.

– Нам, Публий, надлежит не защищать греков, – сказал он, – а, наоборот, всячески подчеркивать собственное отличие от них, дабы не лишиться милости нашего гостеприимного хозяина.

Сделав паузу, он добавил:

– Да, не умеем мы еще разговаривать с монархами...

Филипп почувствовал себя уязвленным упреком в царской несдержанности и с плохо скрытой обидой произнес:

– Ну что вы говорите, могущественные гости, стоит ли оглядываться на каких-то там царей владыкам всего цивилизованного мира!

Разрежая сгустившиеся страсти, Публий с веселой беззаботностью рассмеялся и, как бы подытоживая спор, сказал:

– Филипп предостерегает нас, римлян, от чреватой глобальной катастрофой ошибки, ибо, если у мира появятся владыки, тот перестанет быть цивилизованным. Но я надеюсь, что, познакомившись с нами поближе, царь и союзник наш уже никогда более не подвергнет нас жестоким подозрениям в стремлении к владычеству. Потому, оставив пока без ответа тонко высказанное обвинение, полагая, что в процессе дальнейшего общения оно растает само собой, я снова возвращусь к разговору о греках, поскольку они, по моему мнению, достойны внимания и более бережного отношения, чем существующее ныне.

Затем он привел несколько доводов в оправдание непоследовательности и сумбура в политике греческих государств. Филипп принял вы-



зов и продолжил борьбу, сменив, однако, тактику. Теперь он уже не горячился и старался не опровергать открыто аргументы римлян, а нередко подхватывал их мысль и, переиначивая ее на разные лады, в конце концов выворачивал наизнанку, извлекая из нее противоположный первоначальному смысл. Избрав такую форму, он продолжал едко высмеивать греков, от которых натерпелся немало обид и несправедливостей, но все же гораздо меньше, чем причинил им сам.

Тема Эллады оказалась весьма плодотворной, и этот разговор, начавшись в римском лагере, на следующий день продолжился в пиршественном зале Филиппа сразу же, едва только гости успели воздать традиционную хвалу сервировке стола и качеству блюд.

— Я не отрицаю особой одаренности эллинов, — внушительно возвышаясь над ложем, говорил Филипп, — но их таланты имеют декоративный, прикладной в условиях нашей ойкумены характер. В настоящих же делах они ненадежны, ибо лукавы и корыстны, в их душе нет стержня, их ум лишен ориентации ввиду отсутствия ясной цели.

— Слишком широка твоя фраза, Филипп, — отвечал Публий, — я не сумею охватить ее всю в одной речи, а потому, отложив обсуждение значения греческой одаренности на десерт беседы, выскажу свои соображения относительно хитрости и непостоянства греков. Известно, что любой человек всегда найдет множество поводов для обвинения соперника, но тот, кто желает постичь истину, должен избежать эгоистических эмоций, а для этого ему следует поставить себя на место неприятеля: уж самого себя никто напрасно упрекать не станет. Вот я и попробовал использовать такой подход, для чего вообразил себя греком, а конкретно — этолийским стратегом. Облачившись мысленно в хитон, я увидел пред собою могучего царя Македонии, обладающего самой сильной армией восточного Средиземноморья, а за спиною услышал взволнованное дыханье олигархов-предателей, развращенных подачками владык. Как же мне в этой ситуации надлежало поступить? Что я мог противопоставить тебе, блистательный Филипп, кроме хитрости со всею сворою ее прислужников, как то: лицемерие, словоблудие, лесть, коварство и наконец подкуп?

Скрыв мгновенное затруднение за скептической улыбкой, Филипп сказал на это:

— О Корнелий, ты предлагаешь мне тяжкое бремя! Я и в царском одеянии в последние годы чувствую себя ущемленным, а ты советуешь примерить шкуру этолийца! Боюсь, мне это не по плечу! Да и к чему? Мне достаточно быть самим собою и смотреть на этолийцев со стороны, чтобы ясно видеть их пороки.

— Взгляни, Филипп, на быка, когда он мирно пасется на лугу, и залюбуешься грациозным сильным животным, но подойди к нему с кнутом, и



узнаешь ярость зверя. Раз и навсегда заняв статичное положение по отношению к грекам, ты не только будешь иметь о них однобокое, плоское представление, но и сам явишь их взорам лишь одну свою грань и – как я подозреваю, а я, хвала богам, об этом могу только подозревать – далеко не лучшую грань. Попробуй общаться с греками, Филипп, а не воевать с ними, и тогда ты поймешь мою мысль без всяких слов.

– Приму к сведению твой совет, Корнелий, а вместо комментариев лишь восхищусь тем, как здорово вы сами умеете совмещать общение и войну.

– Вот как ловко действует смелый полководец! – с притворным энтузиазмом воскликнул Луций. – Вынужденно отступив на правом фланге, он тут же нанес нам удар на левом!

– Филипп тонко уловил названную им особенность, – невозмутимо заметил Публий, – он произвел атаку на стыке наших войск, но, увы, напрасно: позиция у нас крепка. Мы действительно, Филипп, совмещаем общение и войну, и происходит это потому, что война выступает у нас только как вспомогательное средство общения. Средство, что и говорить, грозное, но, поскольку оно вспомогательное, его применения можно избегать, к чему мы и стремимся. Вспомни, Филипп, сколько войн здесь, на Востоке, предотвратила или, по крайней мере, отсрочила наша дипломатия.

– О ваших талантах совмещать несовместимое, дорогие гости, я говорить просто не в состоянии, ибо родился Филиппом, а не Гомером, потому возвращу свою речь к эллинам, к тем самым эллинам, каковых я так люблю, что всегда страстно желал подчинить их себе, или, выражаясь вашим языком, освободить от... хлопотной самостоятельности. Правда, ваша любовь к ним оказалась еще сильнее... Но тем резоннее будет мое намерение уделить им внимание хотя бы на словах.

– Так вот, – продолжал он, – я несколько увлекся личными переживаниями и укорил своих соседей в неверности по отношению ко мне, хотя гораздо уместнее было бы похвалить их за то, что они правильно сориентировались в той обстановке и избрали в союзники вас. Тут действительно сказалась субъективность моего взгляда, но не его однобокость, как считаете вы. Теперь я каюсь и с удовлетворением признаю, что необыкновенная идеологическая подвижность эллинов является самым что ни на есть вопиющим достоинством, позволяющим им находить все новых и новых друзей вместо старых, надоевших и обессилевших.

– Умелый оратор, пожелай он того, несколькими словами и мед обратит в желчь, – отреагировал на этот замысловатый сарказм Луций. – Язык царя все еще оттягивается в сторону грузом былых обид.

– Так пусть же теперь, на склоне дня, царь предастся законному отдыху, а в беседе вместо него вступит красноречивейший Филипп! – вос-



кликнул Публий. — Истина, несомненно, отметит подобное преображение и почтит нас своим визитом.

— В чем вы меня уличаете, могущественные друзья? — удивился царь, высоко приподняв узорчатую бровь, чем заставил стоящую у его ложа флейтистку издать трель особо нежных тонов. — Неужели вы до сих пор сомневаетесь в моей симпатии к эллинам? Да спросите, наконец, вашего Тита: он вам расскажет, как, сойдясь с ними на рассвете, мы не можем наговориться вдоволь аж до заката. Ему даже однажды стало завидно слушать нас, потому он в дальнейшем вел переговоры наедине со мною.

— Да-да, Квинкий рассказывал, — со смехом подтвердили сразу оба Сципиона.

— Но вернемся к теме непостоянства в политике, — после того, как стих приступ веселья, заговорил Публий. — С момента, когда в высказываемые суждения помимо искажений, вносимых односторонним подходом, внедрился, по признанию нашего собеседника, еще и субъективизм, мы снова удалились от сути этого явления. Я объяснял, что политические принципы формируются не только психологическим складом того или иного народа, но и внешними условиями. То, что говорилось прежде, я дополнил историческим примером. Вспомним, друзья, как вели себя греки во время персидского нашествия. Выпивали азиатские толпы реки и озера на своем пути или не выпивали — не имеет значения, но важно, что такие фантастические рассказы Геродота характеризуют моральную атмосферу того периода, передают страх греков перед небывалым наплывом иноземной орды, захлестнувшей их родную землю подобно океану. И что же? Афиняне и спартанцы, то есть те государства, которые располагали реальным потенциалом, не колеблясь, встали на борьбу и победили, поразив воображение всех современников беспримерным подвигом. Их не одолели ни подкупом, ни силой. В то же время фиванцы и фессалийцы, не имевшие возможности противиться врагу, запятнали себя предательством. Но те и другие — эллины. Так значит, не в крови у греков надо искать яд измены. Более того, те же афиняне, даже будучи обреченными на поражение, поднялись на защиту Отечества против, извини царь, твоих земляков — Филиппа, сына Аминты, и Александра. Выходит, что греки — очень мужественный народ, сломленный лишь целым столетием несчастий.

— О да, — подхватил царь, — они чрезвычайно мужественны! До такой степени, что даже на ложе мужчин предпочитают женщинам.

Публий Сципион смутился: Филипп уязвил репутацию греков в самое болезненное с его точки зрения место.

На помощь оказавшемуся в затруднении товарищу пришел Публий Виллий.



– Я немало пожил в Греции, – сказал он, – и, наблюдая здешний быт свежим взглядом стороннего человека, пришел к некоторым заключениям, трудноопределимым для тех, кто находится внутри этого мира. Относительно того чудовищного порока, упоминание о котором тенью промелькнуло в нашей беседе, я также могу высказать кое-какие соображения. Мне удалось выявить две причины, толкнувшие греков на гнусное извращение: во-первых, их женщины в большинстве своем неразвиты в духовном отношении, поскольку занимают положение, близкое к рабскому, они – лишь самки и потому не способны всерьез, глубоко увлечь образованных мужчин, достигших культурных вершин цивилизации, и стать их полноценными подругами; а во-вторых, эллины слишком привыкли везде и во всех качествах видеть мужчин: они на сцене в театре изображают женщин, они изощряются в гимнастических упражнениях в палестре, ведут спортивные состязания на стадионе, и они же сидят на зрительских скамьях амфитеатра – повсюду мужские тела, причем большей частью обнаженные, и вот, лишенные широкой возможности любоваться женской красотой, греки постигают гармонию мужской фигуры, воспитывают в себе художественный вкус, но теряют природную безразличность к телесным особенностям собратьев по полу.

– Это точно! – подхватил Луций. – Привычка многое значит. Вот я, когда по прибытии в Грецию впервые увидел напрягшиеся мясистые зады борцов в палестре, едва сдержал приступ дурноты, а теперь почти не реагирую на подобные безобразия, так только, изредка сплевываю в сторону и все.

– Твои успехи, Корнелий, поразительны, – похвалил консула Виллий и затем завершил свою мысль:

– Таким образом, получилось, что греки, потеряв в одном, нашли в другом. Их можно пожурить за такую подмену, а заодно и пожалеть: унизив женщин, они пострадали сами. Но все же не следует придавать слишком большого значения этой традиции, поскольку их однополые эротические игры сравнительно безобидны и далеко не всегда приводят к тому, что нас так возмущает. Ну, конечно же, существуют и уроды, по своей природе неспособные познать нормальные отношения полов; к ним следует относиться, как к горбунам.

– Рим сегодня выставил против меня отборные силы, и в такой неравной борьбе мне успеха не видать, – с притворной покорностью констатировал Филипп.

– Рассуждение Таппула подвело меня к любопытной гипотезе, – тем временем с энтузиазмом говорил Публий Сципион. – Меня всегда занимал вопрос о феномене греческого искусства. Может быть, один из ис-



токов их художественной плодотворности сокрыт как раз в отмеченной Виллием дисгармонии между целями и средствами. Эстетический потенциал, порождаемый женской красотой, обычно реализуется природным способом, но греки нашли иной род красоты и потому им пришлось создать другие способы ее выражения.

— Впрочем, это всего лишь гипотеза, указывающая на один из стимулов, тогда как главной причиной взлета греческого искусства, несомненно, является эмоциональная одаренность этого народа... — добавил он задумчиво после некоторой паузы.

— На нечто подобное намекал Платон в своем «Пире», — небрежно бросил Филипп.

— Если у Платона и витала аналогичная мысль, то разве только между строк, — отреагировал на это Виллий.

Сципион искренне увлекся предметом спора и на некоторое время потерял контроль над ситуацией, но теперь он заметил, что царь остался холоден к импровизациям римлян и под любезной улыбкой скрывает недовольство. Видимо, он был обижен тем, что его реплика о неравенстве сил не получила отклика у окружающих. Такое отсутствие интереса к обсуждаемой теме свидетельствовало либо о недостаточной глубине личности паря, либо о тягостных думах, омрачающих его ум.

Как бы то ни было, вопрос об искусстве явно не занимал Филиппа, а потому Публий двинулся дальше по культурному полю Эллады и, ухватившись за прозвучавшее имя Платона, завел речь о философии. Царь умело поддержал и этот разговор, с блеском продемонстрировав свою просвещенность в науках. Но он продолжал не в меру острить и перескакивал с вопроса на вопрос ради удовольствия удачно пошутить. Складывалось впечатление, что Филипп больше заботится о том, как в ходе дискуссии показать себя во всей красе, чем о поисках рационального знания. При этом его утонченный скептицизм прикрывал истинное лицо и интриговал собеседников ощущением тайны, подобно тому, как полупрозрачная мелитская ткань, затеняя детали тела танцовщицы, создает в воображении зрителей образ безукоризненной красоты. Казалось, будто царю уже все не внове, что он давно знает ответы на все вопросы и слушает окружающих только из любезности, снисходя к их младенческому неразумию.

Однако интерес Публия к общению с царем не ослабел, так как, во-первых, он, хотя и нащупал защитную маску Филиппа, заглянуть под нее еще не сумел, во-вторых, претенциозные и подчас неожиданные высказывания македонянина, не содержа в себе глубокого смысла, все же будили его фантазию и питали мысль, и наконец, в-третьих, царь был нужен Сципиону, нужен римскому войску и всем римлянам.



Поняв, что греки порядком надоели Филиппу, Публий, желая завершить эту тему, произнес громоздкую подытоживающую фразу о том, что мир многим обязан эллинской цивилизации, расширившей горизонты человечества за счет новых областей приложения душевных сил, и потому должен заботиться об Элладе, дабы вернуть ей былые краски. Это изречение, да еще исподволь прозвучавшая в нем заявка римлян, выступая в роли хозяев мира, возрождать страну, отобранную у него, Филиппа, превысила меру терпения царя, и он открыто выказал раздражение.

– Эллада – это восхитительно! – саркастически воскликнул Филипп. – Культура эллинов превыше всяких похвал, их извращения превосходят воображение, красноречие способно стереть в порошок уши и раздробить камень! Изумительная цивилизация! Только ее уже не существовало бы, не будь Македонии. Высокообразованные эстеты-эллины давно растерзали бы друг дружку в своей извечной и бесконечной грызне, если бы не вмешались мои предшественники, сплотившие их и направившие энергию этого суетливого, оголтелого народа на Азию. Благодаря нам они распространились по всему Востоку и обосновались даже в Африке. Да и в самой Элладе сохранялся некоторый порядок, пока греки слушались меня. А что произошло, едва только вы ввергли эту страну в хаос свободы? Они тут же изменили вам и в ответ на оказанные благодеяния обрушили на вас Антиоха. А то ли еще будет! Вы с ними так намучаетесь, что в конце концов потеряете веру в добрые начала человеческой природы и в отчаянии задушите их силой легионов.

Сципион укорил себя в запоздалой смене предмета обсуждения, однако завершить разговор на такой ноте он не мог, потому, как можно спокойнее, сказал:

– Ты, Филипп, не знал истинной Эллады, столкнувшись на своем веку лишь с продуктами разложения великой культуры. Потому твое раздражение вполне оправданно, ибо каким бы вкусным ни было блюдо, отрыжка всегда неприятна. Мы тебя понимаем, но и ты, царь, попытайся нас понять, мы печемся вовсе не о благоденствии Фенея, Дамокрита, Филопемена, Архидама или Никандра, хотя даже к этим одиозным фигурам сам ты не всегда суров, мы ратуем за возрождение Перикла, Ликурга, Фемистокла, Платона, Аристотеля, Архимеда, Гомера, Фидия, Зенона, Фукидида, Еврипида и многих новых эллинов, чьи имена с соизволения богов пусть окажутся более громкими, чем произнесенные мною.

Примиряющий тон Сципиона, а самое главное, упоминание о Никандре, через которого Филипп недавно пытался вести закулисные переговоры с этолийцами, заставили царя обуздать гнев и более почтительно слушать римлянина.



Публий же продолжал прежним уравновешенным тоном:

– Вклад Македонии в распространение эллинской культуры на Востоке бесспорен и чрезвычайно ценен. Причем, обрати внимание, Филипп, что мы не только на словах восхваляем это славное деяние твоего Отечества, но и стремимся практически поддержать ваше начинание. Ведь ты не станешь отрицать, что эллинский, точнее греко-македонский дух в Азии ныне ослаб? Основы вашей совместной с греками цивилизации в Сирии расшатались под массивным давлением азиатских нравов. Два года назад я беседовал с Антиохом, и теперь, после встречи с тобою, Филипп, я уверенно могу заявить, что царь Сирии гораздо более перс, чем македонянин. Для нас, европейцев, такое положение, конечно же, прискорбно. Однако дело персов – определять условия жизни в Персии, мидийцы вольны устанавливать обычаи в Мидии, а сирийцы – в Сирии. Но мы не имеем права мириться с притеснениями греков в Малой Азии, в той области, которую эллины обжили гораздо раньше мидийцев, персов и сирийцев. Антиох соблюдает выгоды своих сатрапов, каковые лишь именами македоняне, он не в состоянии отстаивать интересы родственного ему по крови, но, увы, не по воспитанию народа. Поэтому судьба избрала нас, римлян и македонян, на роль защитников европейской цивилизации.

– Вот как! Она и меня назначила в защитники? – удивился Филипп.

– Любопытно твое восклицание, царь, – заметил Публий, ибо нечасто ирония выступает в качестве скромности. Весьма похвально такое, извините за неловкую фразу, скромное выражение скромности. Однако всему должен быть разумный предел, не следует доходить до самоуничижения. Ты ведь прекрасно понимаешь, царь, что без тебя мы не сможем одолеть Азию. Ты облегчил нам победу на Балканах, а нынешний поход без твоей поддержки был бы и вовсе невыносим.

– В Греции я действительно сыграл некоторую роль... – подтвердил Филипп, – так и то некоторые ваши друзья укоряют меня за опоздание к Фермопилам и за... – он осекся.

– За захват Акарнании и значительной части Фессалии! – с простодушным смехом, компенсирующим жестокость слов, подсказал ему Публий.

– Не обращай внимания на частные упреки и внемли гласу государства, – внушительно произнес консул.

– Да, Филипп, – подхватил Публий, – мы боролись за свободу Эллады, но вразрез с собственными принципами были вынуждены почтить твою беспримерную доблесть частью Греции. Что поделать, если царская психология пока не приемлет иной награды, кроме прибавки к царству! Нас, римлян, Родина воспитывала так, что мы предпочитаем жертвовать



материальным ради духовного, дарить земное, дабы получать небесное. В конечном итоге и материальные блага приносят удовлетворение лишь через осознание их ценности в условных единицах общественного мнения, то есть воспринимаются душою, а не телом, но лишь как пошлый суррогат духовного. Однако не о том речь. Мы несем свои ценности в мир, но понимаем всю сложность человеческих взаимоотношений в чуждых нам цивилизациях и потому не чураемся компромиссов.

— До такой степени не чураемся, что, щедро отдавая свои духовные ценности, жадно хватаем взамен материальные, и сами превращаемся в азиатов и пунийцев, — мрачно вставил Луций, — правда, это в первую очередь характерно не для настоящих римлян, а для пришлых, плебеев, каковые ныне заполонили не только Город, но и сенат.

— Мы справимся с этим змием, — твердо произнес Публий, но взгляд его потускнел, вдохновение погасло. Лишь усилием воли он заставил себя вернуться к теме разговора и сказал:

— Так вот, царь, однажды одолев греков, мы их простили и вернули им свободу. Победив их второй раз, мы снова дали им волю, но тем из них, которым пришлось расплачиваться за измену войной с тобою, следует ждать помилования не от нас, а от своего непосредственного победителя. Наше вмешательство в этом случае выглядело бы насилием. Насилие же допустимо лишь в применении к врагам, но никак не в отношении союзников, каковым являешься ты. И как бы ни злословили этолийцы о якобы состоявшемся между нами торге городами и странами, в действительности мы руководствовались именно высказанными мною соображениями. Я отвечаю за свои слова, ибо восточная политика находится под моим контролем, и потому здесь наши дела чисты.

Филипп стал серьезным. На него словно повеяло штормовым ветром с высоких снежных гор. В последних словах римлянина ощущалась устращающая в своем могуществе сила, сквозь обычную ритмику фразы вдруг, как тайнопись на огне, проступил облик этого человека, и Филипп содрогнулся под впечатлением яркого прозрения. Он невольно сосредоточился и, обдумывая произошедшее, не мог решить: хорошо то, что он увидел, или точнее, почувствовал, или плохо, радоваться ему либо страшиться. Было ясно одно — он не хотел бы еще раз узреть подобный лик.

«Что это за люди? — мысленно спрашивал себя Филипп. — Ведь и в Квинкции, наверняка, сидит подобный дьявол, иначе как он мог разгромить меня?... Мою фалангу невозможно победить, об этом знают все нормальные люди, а они победили...»

Когда Филипп, овладев собою, поднял взор, пред ним вновь светилось добродушием широкое простое лицо Сципиона Африканского, того самого Сципиона, который в свое время раздавил, как червя, Плутон



на в земном обличье – Ганнибала. Филипп поежился, невольно радуясь, что он не Ганнибал и потому не обязан вечно ненавидеть римлян.

– Выходит, именно из-за того, что моя совесть не может побороть, так сказать, царскую алчность, вы и не берете меня с собою в Азию? – стараясь принять презренный, насмешливый тон, поинтересовался Филипп.

– Такое предположение неуместно уже хотя бы потому, что от этой кампании мы не ждем иной добычи, кроме той, которую можно унести в солдатских ранцах, – ответил Публий. – Так что делить нам с тобою, царь, будет нечего, а вот интересы дела требуют твоего присутствия именно здесь. Дальний поход невозможен без заблаговременного обеспечения надежного тыла. Мы пытались создать опору экспедиции за счет флота, но не добились на море решающего превосходства. Следовательно, все надежды теперь связаны с тобою. Мы одолеем Антиоха, если ты, Филипп, проведешь нас к Геллеспонту и в наше отсутствие будешь поддерживать спокойствие на Балканах.

– Разве без меня вы не в состоянии достигнуть Азии? Да и в отношении самой Греции вам беспокоиться не пристало, потому как там стоят ваши легионы, а, кроме них, есть еще ваши ахейцы и ваши афиняне.

– Ответ настолько очевиден, царь, – заметил Сципион, – что твой вопрос я расцениваю только как попытку выяснить, насколько мы осознаем важность оказываемой тобою услуги. Так вот, Филипп, твое благодеяние не останется в неизвестности: мы отдаем себе отчет в том, что для передвижения по территории Македонии без твоей помощи нам пришлось бы чрезмерно увеличить обоз, отчего расходы на экспедицию могли сделаться для нас непосильными, а марш по ущельям дикой Фракии, кроме всего прочего, привел бы к немалым жертвам.

На лице Филиппа отразилось удивление при упоминании о Фракии, и он неуверенно открыл рот с намерением возразить или что-то уточнить, но Сципион, будто не замечая красноречивой мимики царя, спокойно продолжил изложение своей мысли.

– Все эти осложнения потребовали бы совсем иного уровня в подготовке и снаряжении экспедиции, что отсрочило бы ее на несколько лет, – сказал он.

Последние слова заставили царя забыть прежнее удивление и со всем его азартом вцепиться в эту фразу.

– Но все-таки экспедиция состоялась бы! – полувопросительно-полуутвердительно воскликнул он.

– Трудности могут задержать римлян, но не остановить.

– То есть в конечном итоге, моя помощь не имеет решающего значения?

– Как сказать... все подвижно в нашем мире, ни одно мгновение не повторяется и, следовательно, всякий миг исполнен особого смысла.



Твоя поддержка этой кампании имеет решающее значение для тех городов Малой Азии, которым каждый месяц рабства несет муки и унижения целых десятилетий, для римского народа, поскольку ему не придется лишний раз ту же затягивать пояс, и наконец для самого Филиппа, какового не минует благодарность Рима, а также и некоторых конкретных римлян, ибо, случись поход не сейчас, а через два-три года, его возглавляли бы уже не Сципионы.

Не побоявшись подчеркнуть свою зависимость от царя, Публий тем самым взбодрил Филиппа, и тот снова почувствовал себя в этой кампании равным среди равных и даже усомнился в реальности недавнего прозрения. Однако равенство между людьми имеет обобщенный характер, оно является результирующей суммой всех способностей личностей, но в каждый отдельный момент распадается на множество векторов противоположных сил, которые в непрерывной борьбе за неравенство как раз и порождают высшее равенство. Согласно диалектике человеческого взаимодействия, Филиппу тут же, по достижении равновесия в беседе, захотелось добиться превосходства, и он предпринял наступление.

– Но почему же, страшись фракийцев, вы, тем не менее, уверены в победе над Антиохом? – не без лукавства спросил он.

– Потому, что мы готовились к войне с Сирией, а не с Фракией, – ответил Луций.

– Суть действительно в этом, Филипп, – поспешно подтвердил Публий, стараясь увести разговор от темы Фракии, – мы выбрали благоприятное время для проведения кампании, которая в нашем варианте станет прямым продолжением начатой на Балканах, мы оснастили легионы для ведения боевых действий именно в условиях Малой Азии, заручились поддержкой союзников – Пергама, Родоса и большинства эолийских и ионийских городов – и наконец, мы изучили царя и точно знаем, как вести с ним борьбу.

– Но еще важнее всего перечисленного то, что среди нас находится Сципион Африканский, – дополнил Виллий Таппул.

– Видишь, царь, каково мне приходится с тех пор, как народ присвоил мне почетное прозвище? – отреагировал на замечание товарища Сципион. – Оно так понравилось моим друзьям, что они возомнили, будто смогут украсить им любую шутку, даже самую несуразную.

– Ну, в высказывании моего давнего знакомого Публия Виллия я не усмотрел ничего шуточного и, тем более, несуразного, – с дипломатической вежливостью возразил Филипп, – в отличие от прозвучавших надежд на помощь Пергама, которые я серьезными считать никак не могу.

– Ты сомневаешься в верности Эвмена или в его силах?



— Я сомневаюсь в самой личности Эвмена, ибо это человек мелкий и насквозь корыстный.

— У нас не было повода жаловаться на пергамского царя, — возразил Виллий, — он оказал нам, как, естественно, и своим балканским сородичам, немало услуг.

— О да, он услужлив! Но оттого, что Эвмен сделал удачный выбор и проданся один раз и навсегда, суть дела не меняется: он все равно человек продажный, и от измены его спасает лишь отсутствие более выгодного хозяина, чем вы, римляне.

— Значит, ты, Филипп, признаешь, что в существующей жизни Эвмен все же постоянен в своих привязанностях, а следовательно, надежен? — поинтересовался Публий Сципион.

Филипп патетически развел руки, как бы признавая невозможность дальнейших возражений, и нехотя обронил:

— Он честен, как вор в камере одиночке.

— Ловко сказано! — восхитился Луций. — Наш Филипп в отличие от бедного Эвмена сумел выбраться из устроенной ему западни: он согласился с тобою, Публий, категорически тебе противореча.

— И все же — согласился, — отметил Публий. — Для всех нас, Филипп, существует своя камера, куда мы заточены судьбою, у кого-то она больше и богаче, у другого меньше и беднее, но никто не способен вырваться из клетки и взлететь в небеса по собственному произволу. Недавно мой друг... — Публий на миг запнулся, — мой друг сказал мне, будто я стал Сципионом Африканским только потому, что уже родился Сципионом, а если бы, мол, я явился на свет в доме, например, Порцийев, то и в делах своих был бы никем иным, как Порцием. Жестокий упрек моей гордости! Я с ним не согласился, но и возразить ему не смог... Так будем же оценивать людей на тех местах, на которых они пребывают в жизни, не вырывая их из круга реального существования, чтобы вознести в заоблачную высь или обрушить в дымящуюся смрадом пропасть. Давайте смотреть на Эвмена как на союзника и соратника в наших начинаниях. Именно в этом качестве он особенно хорош, и в этом качестве он сейчас интересуется нас более всего. Хотя от себя могу добавить, что царь Пергама еще и рачительный хозяин доставшейся ему в удел страны, а кроме того, образованный человек, почитатель искусств и интересный собеседник.

— У меня уши слиплись, Корнелий, от меда твоих речей. Я уже представляю, сколько городов и областей вы отвалите этому подхалиму за то, что он пару месяцев покормит ваших лошадей. И я уже слышу, как он будет насмехаться у вас за спиной над вашей щедростью.

— Не любит царь Эвмена, и все тут, — пояснил суть противоречий Луций. — Это бывает. Некогда одна знатная матрона очень настойчиво мне



улыбалась. Все ее считали красавицей, а для меня она была все равно что конь с хорошим экстерьером: глаза видят, а душа – нет. В какие платья она ни рядилась, для меня всегда выглядела одинаковой. Аналогично дело обстоит и с Эвменом: какими похвалами его ни укрась, Филиппу он милей не станет.

– Симпатии между царями – вообще явление редкое, – подытожил Публий и внимательно посмотрел на Филиппа.

На некоторое время все замолкли, мысленно исследуя прозвучавшую фразу, которая воспринималась как узкая щель, ведущая в мрачные катакомбы с лабиринтом усыпанных костями пещер, населенных зубастыми чудищами.

После паузы Сципион заговорил снова.

– Я не мог этого понять, пока мне не довелось побеседовать с Антиохом. Царь Азии жаловался нам с Публием Виллием на сарказм судьбы, вверившей его воле огромнейшую страну, но отнявшей у него самого себя. Власть, по словам Антиоха, походит на коварную красавицу, которая жестокими чарами будит в мужчине зверя страсти и, отдаваясь ему, подкармливает и приручает этого зверя, а через него подчиняет себе человека, превращает его в раба своих прихотей. Царь правит царством, а царство правит им самим, повелевая, кого ему любить, кого ненавидеть, указывая, кому благоволить, а кого казнить, при этом цинично обрывая узы дружбы и родства, надменно попирая чувства и мечты.

– И такое говорит владыка бескрайней Азии Антиох Великий и Могущественный, преемник Александра Завоевателя! – мешая насмешку с досадой и презрением, воскликнул Филипп. – Мне бы его заботы!

Публий Сципион насторожился и вперил цепкий взгляд в македонянина, отчего тому показалось, будто его крепко схватили за грудки. Но возмущение слабостью характера Антиоха превысило мимолетное ощущение тревоги, возникшее от вторжения в душу чужой воли, и мысли Филиппа целиком растворились в эмоциях по адресу сирийского царя.

– Ты пренебрежительно отозвался о затруднениях Антиоха, Филипп, однако именно тогда дворцовые интриги привели к гибели его сына, – строго сказал Публий, – мы застали царя, действительно, в страшный час его жизни.

– Для объяснения своего отношения к этим трудностям, я воспользуюсь примером самого Антиоха, только что приведенным тобою, Корнелий, – отозвался Филипп, – и скажу, что не совладать с властью для государственного мужа так же позорно, как и оказаться в рабстве женских чар.

– Мне сложно судить Антиоха даже за столь чудовищный поступок, ибо проблемы царской власти для меня далеки и темны, но тем инте-



реснее узнать твое мнение, Филипп, ведь ты тоже царь, и у тебя тоже есть сыновья...

– Ну, для меня-то подобных проблем не существует, я сумел правильно воспитать Персея и Деметрия: они отлично усвоили, кто в Македонии царь и кто их отец, – самоуверенно усмехнулся Филипп, ничуть не подозревая, что наступит день, когда он точно так же, как и Антиох, в интересах трона убьет лучшего из своих сыновей.

– Вот это звучит вполне по-римски, – одобрил Луций Сципион, – ведь наша твердость в делах зиждется как раз на вере в неразрывность времен, то есть на вере в наших сыновей.

– Для того, чтобы оценить качества царя, мои дорогие гости, вовсе не обязательно носить диадему, – продолжал свой ответ Публию Филипп, – потому как на всех уровнях власти действует единый закон и проявляется одна и та же тенденция: если уровень личности и качеств человека соответствует занимаемому месту, он будет прекрасным солдатом, полководцем или царем, в противном случае он вконец запутается и наделает глупостей, даже если является всего лишь хозяином сукновальни.

– Так ли, Филипп? – усомнился Публий. – Ведь для того, чтобы повелевать тысячами людей, необходимо превосходить достоинствами все эти тысячи... Возможно ли одному человеку быть умнее и талантливее целого народа? Мы, римляне, решили, что при бесконечном разнообразии способностей не существует людей, имеющих тысячекратную ценность в сравнении с другими, а значит, никто не заслуживает права на абсолютное господство. Поэтому мы еще на заре нашей истории отказались от монархии и установили республику, поделив власть между всеми гражданами, раздробив ее как по объему полномочий, так и по времени исполнения, дабы надлежащим образом сочетать контроль за магистратами и необходимую для дела концентрацию их прав.

Филипп хитровато усмехнулся, тем самым обнаружив, что никогда не задумывался о моральной обоснованности своей власти над соплеменниками, изначально воспринимая ее как нечто само собою разумеющееся.

– Если бы я вдруг оказался в вашем государстве, то, лицезрея вокруг себя такое фантастическое обилие выдающихся мужей, наверняка разорил бы свой трон и смастерил из него стульчики для консулов, преторов и эдилов, – сказал он. – Но здесь, сколько бы я ни озибался по сторонам, мне не удалось бы увидеть человека, который сумел бы сделать Македонию более могущественной, чем она есть теперь, а потому дробление власти привело бы лишь к дроблению самой страны... Уж не к этому ли вы меня подбиваете хитроумно-благородными рассуждениями? – лука-



во поинтересовался Филипп, стараясь шуткой смягчить жесткую самоуверенность всего высказывания.

– Ты же знаешь, царь, как в трудный для тебя период мы боролись с греками за сохранение целостности Македонии, и, между прочим, этим навлекли на себя ненависть этолийцев, – урезонил Филиппа Виллий Таппул.

– Я же замечу по части того, о чем ты говорил, Филипп, что не власть надо подгонять под выдающихся мужей, а людей ориентировать на стремление к справедливой власти; именно тогда и появятся эти самые выдающиеся мужи, об отсутствии которых в твоём окружении ты сокрушаешься, в то время как теперь им в Македонии просто негде поместиться, ибо весь пьедестал почёта занят тобою, царь, – сказал Публий Сципион.

– Я не обладаю такой богатой фантазией, как ты, несравненный Корнелий Африканский, – светясь скептической улыбкой, произнес Филипп, – и не способен извлечь из твоей фразы ничего иного, кроме художественных красот, а поэтому, пожалуй, оставлю в Македонии монархию, по крайней мере, пока сажу на троне.

– Именно так и поступай, Филипп! – воскликнул Луций. – Ибо, если престол занимает столь надёжный наш друг, нам не нужно никакой республики.

Публий понял, что в этом вопросе Филипп исчерпал себя, потому воздержался от дальнейшей дискуссии и снова вернул разговор к имени Антиоха. Его интересовала глубина противоречий между царями, а также те сверхтрудности македонянина, о которых он ненароком обмолвился.

– И все же я думаю, Филипп, что ты излишне резко осудил Антиоха, – сказал Сципион, – даже гораздо резче, чем мою недавнюю фразу. У меня сложилось о сирийском царе впечатление как о человеке весьма немалых достоинств. Но я уже говорил, что никакая человеческая оболочка не вместит столько талантов, сколько потребно для целой страны, а значит, никто не может в одиночку совладать с Азией, точно так же, как никто из смертных не способен удержать на плечах небосвод, ибо даже Гераклу это удалось лишь на краткое время.

– Геракл держал небеса ровно столько, сколько ему было нужно, потому о пределах его способностей мы судить не имеем права, – возразил Филипп. – Но зато мы с уверенностью можем сказать, что Антиох – далеко не Геракл, и в этом-то все дело. Причем, он страдает дальновзоркостью: жадно зарится на Скифию, Индию, Египет, Грецию и даже, голову дам на отсечение, в мечтах громыхает своей золотой царской повозкой по дорогам Италии, однако совсем ничего не видит



рядом с собою, не различает подданных, а самое главное – не знает самого себя. Человек с таким зрением неизбежно будет спотыкаться, пока не расшибет лицо в кровь. Что, кстати сказать, произошло с ним в буквальном смысле при Фермопилах.

– Насчет его далеко идущих притязаний, ты, Филипп, правильно заметил. Он действительно страдает излишним глобализмом, ни в грош не ставит других государственных деятелей Средиземноморья, и надеется, по меньшей мере, надеялся два года назад, возродить державу Александра в прежних границах, – коварно подтвердил Публий.

– С Птолемеем ему, может быть, и удалось бы справиться, но зато я бы его научил уму-разуму, если бы вы не подрезали мне крылья! – раздраженно крикнул Филипп. – Рядом со мною, бегущим от Киноскефал – вот уж действительно собачье место – он, конечно же, выглядел Антиохом Великим, но пусть только завершится ваш нынешний поход, и тогда все тайное станет явным, тогда мир увидит, сколь ничтожно все мнимо-великое!

– А что, царь, если бы ты объединился с Антиохом? Пожалуй, совместными усилиями вам удалось бы оказать нам сопротивление? – вдруг в упор спросил Публий.

– Когда б кампанию возглавлял я, мы бы славно поборолись с вами, на зависть всем олимпийским чемпионам, – не смущаясь, ответил Филипп.

– Я надеюсь, – продолжил он после некоторой паузы, – вы, дорогие гости, простите меня за такое самоуверенное высказывание и скрытое за ним тщеславное желание, каковое продиктовано не ненавистью к вам, а лишь жадой состязанья с гениальным соперником. Но если я в теперешней роли неудачника пойду в услужение к Великому, как это сделал Ганнибал, то война оттого нисколько не станет интереснее, а зато я подарю вам Македонию в качестве награды за победу.

Римляне рассмеялись, Филипп последовал их примеру, хотя в глубине его глаз тускло мерцала грусть, крепко засевшая там несколько лет назад.

– Значит, Филипп, ты действительно проводишь нас до Геллеспонта, мы вступим в Азию, собьем спесь с Антиоха и сделаем его более сговорчивым, после чего ты сможешь столкнуться с ним на приемлемых условиях и повернуть свою фалангу, это невообразимое чудовище, снова против нас? – сделал вывод Публий.

– Прекрасный пример сотрудничества! – воскликнул Луций. – Ты поможешь нам, мы поможем тебе, и все это для того, чтобы снова вступить в войну друг с другом!

– Увы, друзья мои, – забавно изображая уныние, возразил Филипп, – я стал стар, и такие игры теперь уже не для меня. Хотя, признаюсь,



нарисованные вами перспективы весьма заманчивы и могут возвратить молодость иному старцу, но, опять-таки замечу, не мне, поскольку я слишком хорошо знаю вас, а знание старит.

– Зато могу вас успокоить относительно Сирийца, – заговорил он другим тоном. – Ваши тревоги за Антиоха по поводу его душевных мук и терзаний в ходе дворцовых интриг скоро рассеются, потому как близкое соприкосновение с римскими легионами укрепит его дух и направит помыслы в иную сторону. Уверяю вас, побитый вами, он станет казнить приближенных холодно и равнодушно и столь же бестрепетно будет сворачивать шеи своим женам и сыновьям. Это сейчас он находит внутренние, бытовые трудности, но потом, познав истинные беды, напрочь забудет о них.

– Насчет Антиоха ты нас вполне утешил, – сказал Публий, – но зато заронил в наши души беспокойство за тебя, Филипп. Чувствуется, что ты все же тоскуешь по своим грекам, оттого порою и грустен твой взор.

Царь встрепенулся, с опаской посмотрел на римлянина, но тут же подавил нечаянную эмоцию и в свойственной ему шутливой манере признался:

– Разве что как о соучастниках в проказах молодости...

– В преклонные лета пристало умиляться воспоминаниями о проделках юности, но тебе царь, рано жить прошлым, – заметил Виллий.

– А что мне остается? Все проблемы этого региона вы блестяще решили без меня, и потому я ныне могу спокойно предаваться отдыху в обществе вот таких очаровательных подружек, – сказал Филипп, грубовато завалив на ложе восхищенную до степени визга флейтистку, каковую, впрочем, уже в следующий момент оттолкнул, бросив в объятия кого-то из царедворцев.

– А почему бы тебе ни двинуться на север, в неизведанные края, где люди не развращены богатством, как вызывающие твои нарекания греки, и представляют собою прекрасный материал для построения новой цивилизации? – поинтересовался Публий.

– Колоть варваров, чтобы потом рубить их леса? – удивился Филипп. – Нет, это не для меня. Добыча не окупит затрат. Трудов много, а славы никакой: они ведь не станут восхвалять меня, если я обращу их в рабство, ибо, как вы изволили заметить, не развращены богатством, а я безнадежно испорчен эллинами и уже не могу жить без сладкоречивого хора подхалимов.

– И потом, вы ведь запретили мне иметь армию, ограничив мои силы четырехтысячным оборонительным контингентом, – не без некоторого злорадства укорил римлян царь.



– Да, это так, но кроме солдат, стоящих под оружием, ты располагаешь большим количеством воинов, не называемых таковыми, но готовых в любой момент встать под знамена своего любимого царя, – едко заметил Публий.

Филипп смутился, обнаружив, что Сципион знает о его хитрости, благодаря которой он сумел выйти из рамок римско-македонского договора. Его уловка состояла в том, что каждый год он набирал четыре тысячи новых солдат и, обучив их, увольнял в запас, а потому в случае необходимости его армия могла быстро возрасти до прежних размеров в двадцать пять – тридцать тысяч человек, то есть достичь оптимальной величины с точки зрения материальных ресурсов Македонии. Царь прикусил язык, плутовато повел глазами и начал уводить разговор в сторону.

– Кроме того, в варварских странах и местность варварская, там нет простора для моей фаланги, – с максимальной серьезностью возвестил он.

– Мы можем действовать совместно, – предложил Публий, – на равнинах – ты, а в пересеченной местности – мы. Тогда бы никакие варвары против нас не устояли.

Филипп недовольно поморщился, и Сципион решил изменить тему, чтобы не завершать разговор на пессимистической ноте. Он принялся рассказывать царю о своей деятельности в Испании и Африке и о планах по привлечению иберов и нумидийцев в лоно цивилизации. Постепенно живой ум Филиппа пробудил в нем интерес к беседе, и настроение царя нормализовалось. Выслушав повесть о заморских похождениях Сципиона, он стал расспрашивать римлян об Италии и населяющих ее народах, стараясь постичь истоки их успехов. Однако вскоре его любопытство все-таки угасло, поскольку не имело питания со стороны практических нужд: Италия навсегда осталась недоступной Филиппу и потому воспринималась им лишь в качестве абстракции, подобной Луне, Солнцу или звездам. С большей охотой он говорил о планах азиатской кампании римлян. Публий объяснил ему, что путь к победе видит в стремительности действий, потому как Антиох твердо встречает опасность, если та размеренно приближается к нему от самого горизонта, но теряется в нестандартной, тревожной обстановке.

– Нам необходимо так стратегически построить эту войну, чтобы она показалась Антиоху неотвратимо надвигающейся на него всепоглощающей лавиной, – говорил Публий. Каждый новый наш шаг должен вызывать в нем память о его прошлых неудачах, беречь бывшие душевные раны и пробуждать пораженческие эмоции. За «Фермопилами» сразу же последовали морские битвы, а за ними – наш переход, которому надлежит быть молниеносным, почему мы и просим тебя, царь, избавить нас от фракийцев. Нельзя допустить, чтобы Антиох перевел дух



и осмотрелся, его следует постоянно держать в горячке, недостаточную силу ударов компенсируя их непрерывностью, надо днем и ночью внушать ему мысль о грядущей катастрофе, мутить душу, поднимая со дна ее первобытные темные страхи, неумолимым преследованием доводить его до помешательства!

— Если человек уверен в своем поражении, он обязательно его потерпит, — подытожил Луций.

— Пожалуй, именно к Антиоху такая манера ведения боевых действий очень даже подходит, — задумчиво промолвил Филипп, — и, кстати... ко мне — тоже, — сделал он открытие для самого себя, но тут же шутливо добавил, — однако в гораздо меньшей степени.

— Естественно, что в меньшей, — подтвердил Публий, — к каждому сопернику у нас свой подход. По отношению к Ганнибалу, например, изложенная стратегия была бы провальной и даже вовсе смехотворной, потому мы и позаботились заранее о том, чтобы отдалить Пунийца от царя. Наша дипломатия, Филипп, преследует не только прямые цели, пользуясь случаем, мы внимательно изучаем будущих противников.

— Вы страшные люди! — патетически воскликнул царь.

— Нет, Филипп, мы страшные враги, но зато хорошие друзья, и всякий сам волен в выборе: с какой именно стороны нас узнать!

Подобные беседы затевались каждый вечер и нередко продолжались далеко за полночь. Сципионы старались прерывать встречи на какой-либо любопытной для царя теме, чтобы постоянно поддерживать его интерес к общению. Иногда в качестве приманки к разговору использовалось неудовлетворенное самолюбие либо, наоборот, поощрительный комплимент, порою — азарт спорщика или любознательность. Так или иначе, эти словесные баталии серьезно увлекли Филиппа и, кажется, были интересны самим Сципионам. В итоге царь, отложив государственные дела, сопровождал римлян на протяжении всего их путешествия по Македонии, к чему он вряд ли готовился ранее. Когда же войско достигло пределов владений Филиппа, Сципионы повели себя так, словно были уверены в продолжении прежнего порядка следования. Уж во Фракию царь никак не стремился, но бросить доброе дело помощи римлянам как бы незавершенным он не хотел. Филипп чувствовал себя неловко: римляне неоднократно говорили о его участии в походе через земли варваров, но всякий раз в таком контексте, что он не мог либо не успевал ответить или прояснить этот вопрос, будучи влеком ходом дискуссии дальше. Вовремя не выдвинув возражений, царь как будто молчаливо признал за собою обязанность сопровождать союзников до самого Геллеспонта, и если бы он теперь отказался от этого, то тем самым подвел бы римлян, негласно получивших право рассчитывать на его поддержку. Таким образом Филипп



оказался опутанным сетью, сотканной из намеков, недоговоренностей и прочих условностей, которую при всей кажущейся непрочности, однако, невозможно было порвать, не вступив в конфликт и не загубив того доброго, что уже было сделано в рамках сотрудничества.

Филипп покорился обстоятельствам, не выразив недовольства иначе как только пошутив по этому поводу.

– Никак вы держите меня в заложниках? – играя бровями, многозначительным тоном поинтересовался он.

– Ну что ты говоришь, Филипп, мы даже сына твоего постыдились использовать в таком качестве, а уж тебя-то, славный царь, и подавно! – в той же интонации отвечал Публий Африканский. – Мы просто не в состоянии обойтись без твоих копьеносцев и, не заподозри в лести, без твоего задушевного общества, ибо беседы с тобою, царь, подобны фонтану, они сверкают прозрачными струями оригинальных мыслей и искрятся брызгами остроумия. А, да будет тебе известно, римляне очень любят фонтаны и украшают ими площади и сады.

– Наверное, именно поэтому твоя насмешка, Корнелий, похожа на фонтан: она сверкает и искрится.

– Ну что же, царь, исключительно в угоду твоему скепсису я добавлю, что, если говорить о чисто политическом аспекте, отделив его от более важных в нынешних условиях – военного и познавательного, мы стремимся лицеизреть тебя, Филипп, рядом все это время для того, чтобы в тоске одиночества тебе в голову не приходили грустные мысли.

– Ты хочешь сказать, коварнейший Корнелий, что держишь в плену не тело мое, а ум?

– Нет, я не хотел этого говорить, – рассмеялся Публий.

Филипп тоже изобразил веселье, но не очень естественно.

– Напрасно ты беспокоишься, Филипп, – успокоил озадаченного царя Публий, – ибо твоя хитроумная догадка как раз и свидетельствует о полной независимости ума. Иначе ведь твои мысли не смогли бы парить с легкостью птиц.

Благодаря материальной помощи Македонии, поход римлян проходил без задержек. Сципионов не волновали бури и штормы, препятствующие флоту осуществлять связь войска с Италией, так как всем необходимым их снабжал Филипп. На марше по Фракии римляне находились под защитой не только македонского конвоя, хорошо знакомого с местными условиями, но и самого имени царя, весьма уважаемого варварами. Воинственных фракийцев не смущала слава пришельцев, они не боялись римлян, поскольку еще не отведали их оружия в бою, и могли бы нанести им не меньший ущерб, чем некогда галлы – Ганнибалу, но, будучи многократно битыми Филиппом, опасались царя, и пото-



му провожали чужеземцев лишь злобными взглядами, стреляющими ненавистью из-за гряды холмов.

На страх сирийцам римляне стремительно преодолели длинный, опасный маршрут и вышли к Геллеспонту. Там Сципионы дружески простились с Филиппом, пригласили его на будущее к себе в гости, и заверили царя, что, пока они живы, ни одна его просьба не останется в Риме без должного ответа, на что в свою очередь получили приглашение поохотиться в знаменитых заповедных лесах Филиппа.

В ставке консула еще долго говорили о Филиппе, человеке, несомненно, ярком, с блистательной, но трагической судьбой. Итог подвел Публий Африканский, который сказал, что Филипп понравился ему больше прочих царей, поскольку он не только умен и образован, как все другие представители эллинистического мира, но и ясно осознает собственные возможности, принимает ситуацию такой, какова она есть, не впадая в грезы успокоительного самообмана.

– Но этот человек, – сказал он напоследок, – недолго будет верен нам, если только мы не втянем его в круговорот наших дел, как Масиниссу и Эвмена.

4

Следя за перемещением войска Сципионов, Антиох испытывал различные движения души. То надежда на вероломство Филиппа или на свирепость фракийцев возносила его дух к вершинам мечты, то жестокие факты, свидетельствующие о неумолимом приближении врага, приземляли его на каменистую азиатскую степь. Наконец стало ясно, что царю следует рассчитывать только на самого себя, да на милость богов. Однако вскоре не осталось времени даже для мольбы к небожителям, и Антиох был вынужден превратиться из впечатлительного человека с богатым спектром эмоций в сухого, расчетливого полководца.

В поисках контрмер против широкомасштабного наступления противника на суше и на море, царь решил напасть на римского союзника Эвмена. Сначала в пергамские земли вторгся царевич Селевк, а потом для пущего устрашения греков туда явился и сам повелитель Азии. Сирийцы принялись грабить и жечь селения, а также потрясать оружием перед стенами двух крупнейших городов царства – Пергама и Элеи, вести серьезную осаду которых они не могли ввиду недостатка времени.

Римский флот немедленно прибыл на помощь друзьям и расположился в элейской гавани, а в столицу был доставлен ахейский гарнизон. Благодаря этому силы уравнились.

Из неудавшейся военной акции Антиох попытался извлечь политическую пользу и предпринял попытку выгодно продать активную позицию



своих войск на переговорах. Он предложил римлянам заключить перемирие и еще раз поискать согласия в дебрях дипломатии. Претор Эмилий понимал, что никакой договор с Антиохом без консула заключить невозможно, но коварная фантазия нарисовала ему его собственный портрет в ореоле завершителя войны и учинила распрю между рассудком и чувствами. Терзаемый противоречиями Эмилий пригласил для обсуждения дела союзников, втайне уповая на их эмоциональность и надеясь, что они дадут ему повод выступить в завидной роли представителя Отечества на решающих переговорах. Родосцы действительно были настроены мирно, поскольку Антиох еще не добрался до их острова, тогда как на морских путях его господство уже было поколеблено, но Эвмена никак не устраивало сложившееся положение, потому что, поиздержавшись на войну, он ничего не приобрел взамен, владения его не расширились, а близость Антиоха и вовсе угрожала самому существованию Пергамского царства. Критическая ситуация стимулировала красноречие Эвмена, и царь убедительно показал всю бесперспективность предполагаемых переговоров, ввиду незавершенности кампании и половинчатости предпринятых мер, и объяснил, что Антиох просто-напросто стремится выиграть время, являющееся его союзником в условиях, когда боевые действия ведутся на территории Азии вблизи царских баз. Луций Эмилий устыдился своих тайных надежд, похвалил Эвмена за аргументированный ответ и через послов уведомил Антиоха о невозможности мира в самый разгар войны.

Не желая обнаруживать собственное бессилие перед защитниками Пергама и умалять славу царского имени бездействием, Антиох оставил Эвменову столицу и грозно прошелся по эолийским землям, собрал добычу с деревень и попытался штурмовать некоторые города, однако, большей частью, безуспешно, так как римский флот успевал подавать помощь союзникам. Селевк со своим войском еще некоторое время силился устрашать пергамцев, но это выходило неубедительно, потому он вскоре тоже покинул пределы царства Эвмена.

В это время на Сирийскую державу обрушилась новая беда. Не смирившись с потерей господства на море, Антиох еще после поражения от Гая Ливия отправил Ганнибала на его прародину в Финикию, чтобы снарядить пополнение флоту. И вот теперь Пуниец с большой эскадрой торопился к царю, но был перехвачен в пути родосцами. Островитяне блестяще доказали, что ныне в морском деле им нет равных: они в пух и прах разбили финикийцев. Ганнибал, как истый карфагенянин успевший бежать с поля боя, был столь удручен поражением, что более не посмел предпринять попытку пробиться к месту главных военных действий и остался не у дел, вынужденный издали наблюдать, как ненавидимые ему Сципионы расправляются с его господином.



Подсчитав неудачи, Антиох Великий удалился в Сарды и, нахмурился, углубился в размышления.

Царь извлек урок из своей провальной экспедиции на Балканы. Так, когда в Эфесе в знаменитом храме Артемиды ему повстречалась красивая жрица, он тут же покинул город, чтобы не поддаться вновь опасному искушению. Кроме страха пред женскими прелестями, царь вынес из греческого путешествия еще и ощущение собственного бессилия перед римскими legionами. Поэтому Антиох велел Поликсениду дать решающую битву на море, справедливо полагая, что в случае успеха это отсрочит вторжение Сципионов в Азию. Пока хитрый родосский диссидент маневрировал, стараясь захватить врасплох Эмилия, царь принялся собирать орды войск по всему царству, начиная от самых дальних его пределов. Одновременно он создавал антиримскую коалицию, стремясь втянуть в нее царя Вифинии Прусия, малоазийских галлов и Армению. Наибольшей пользы Антиох ожидал от Прусия, который с начала войны тяготел к нему, но теперь настроение вифинца изменилось.

Антиох строчил Пруссию послания, в которых пояснял, что римляне – это жестокие звери, потому как они свергают монархов и освобождают народ, чье единственное призвание ублажать владык, они устанавливают республики и творят прочие беззакония. Увы, Антиох не ведал, что у него появился грозный соперник в эпистолярном искусстве. Оказалось же, что Сципионы загодя предвидели ход мыслей Антиоха Великого и упредили его в деле воздействия на умы соседей Сирии. Они тоже затеяли переписку с Пруссией и, чаруя его красотах риторических оборотов, попутно ознакомили с главными принципами международной политики римского государства, основу которой составляет справедливость и, в частности, одна из важнейших разновидностей справедливости – верность общему делу. «Верность и честность во взаимоотношениях, – писали Сципионы, – в свое время сделали нашими друзьями нумидийца Масиниссу, ибера Индибилиса, иллирийца Плеврата, пергамца Эвмена и, наконец, Филиппа». Тут же приводились имена Сифакса и прочих государственных деятелей, которых измена Риму повергла в провал небытия. Вывод предоставлялось сделать самому Пруссию, и он его сделал, отказав в помощи Антиоху. Для пущей надежности римляне отправили послом в Вифинию Гая Ливия, и тот вдобавок к письменной информации сообщил Пруссию, насколько силен Рим и как сильны в Риме Сципионы, после чего царь загорелся страстным желанием угодить могущественному Риму в лице могущественных Сципионов, при поддержке которых всерьез задумал потеснить Антиоха и извлечь выгоду из его будущего поражения для собственного царства.



Поликсенид творил чудеса коварства, чтобы порадовать господина доброй вестью и развеять его печаль по поводу неудачной пробы пера, точнее – стиля. Честолюбивый Эмилий тяготился тщетностью своих усилий и горел страстью к большим делам. Его темперамент и ненависть к врагам еще более подогрела смерть брата, которого он, по обычаю римлян, взял к себе легатом. Эмилий шарахался от одного города к другому, там угрожал, здесь грабил, ничуть не смущаясь тем, что его флот был ослаблен ввиду отсутствия эскадры Эвмена, отбившей к Геллеспонту для помощи в организации переправы через пролив сухопутному войску, и части сил родосцев, возвратившихся домой, чтобы перекрыть путь к театру военных действий финикийцам. Горячность Эмилия была на руку Поликсениду. Однажды бывшему родосцу почти удалось заманить римлян в ловушку, но в последний момент те сменили дислокацию и ушли в другую гавань. В следующий раз Поликсенид сумел незаметно подкрасться к расположению противника и учинить в его стане переполох. Однако, благодаря четкому руководству Эмилия и знаменитой римской дисциплине, преторский флот успел подготовиться к сражению и вышел в море, будучи развернутым в боевую линию. В правильном бою римляне сначала смяли сирийцев в центре, а затем, прорвавшись в тыл, обрушились на фланги. К исходу дня царский флот потерял почти половину своих сил, то есть более сорока кораблей, и морское могущество Антиоха было сломлено навсегда.

Эмилий победоносно проследовал вдоль азиатских берегов, карая по пути изменников. В первую очередь он обрушился на фокейцев. Те воинственно встретили римлян, но, изведав их в деле, быстро согласились сдаться. Солдаты Эмилия вошли в город и, презрев приказ претора, бросились мародерствовать, тем самым наказав фокейцев за переход на сторону сирийцев, а свои души – за собственную жадность. Некогда римские легионы, расположившись на ночлег под яблоней, наутро оставляли лагерь и уходили прочь, не сорвав ни одного яблока и не повредив ни одной ветки, но те времена безнадежно канули в прошлое; ныне римляне, следуя примеру побежденных ими народов, все чаще отдавали предпочтение тому, что можно схватить руками, пред тем, что объемлет дух и разум. Впрочем, переориентация человеческого восприятия жизни на сугубо осязательное в то время только обозначилась, потому Эмилию быстро удалось прекратить безобразия, и мир с фокейцами был восстановлен. Римляне даже остались в этом городе на зимовку.

Сирийский царь посчитал, что без флота он не сможет удержать отдаленные территории, а потому вывел гарнизон из Лисимахии и снял осаду с греческих городов малоазийского побережья. Со всеми силами Антиох отступил в Сарды и принялся готовиться к решающей битве на суше.



5

Завершая переход через Фракию, Сципионы обдумывали, как им с изнуренным долгой дорогой войском преодолеть царские заслоны на подступах к Геллеспонту. Город Лисимахия представлялся неприступной твердыней, способной задержать римлян у своих стен на несколько месяцев. А за такое время Антиох вполне мог собраться с силами и организовать отпор пришельцам. Однако не столько этого опасались Сципионы, потому как знали, что одолеют царя в любом случае, сколько беспокоились из-за приближения срока вступления в должность новых консулов, которые, конечно же, не замедлят заявить о своих притязаниях на командование в Азии. Чтобы друзья Сципионов в Риме смогли отстоять в сенате их империй, необходимо было в качестве довода представить какой-то весомый успех. Братья немало сделали за последние полгода. Они затушили конфликт с этолийцами, без потерь провели войско по длинному и опасному маршруту, подвластный им флот разгромил морские силы царя. Но все эти достижения не были оформлены в единое целое, их следовало уподобить заготовленным строительным конструкциям, из коих нетрудно возвести здание, но которые пока выглядят всего лишь бесформенной кучей на строительной площадке. Вступление войска в Азию – вот достойный итог проделанной работы, способный произвести впечатление и на матерого сенатора, и на наивного простолюдина. Но путь римлянам перекрывала Лисимахия, специально созданная как форпост Азии в Европе. Самые хитроумные тактические построения Сципионов не могли обеспечить легионам немедленный доступ к переправе.

И вдруг сирийцы сами бросили насиженные места и ушли прочь, расчистив римлянам дорогу к победе! Это казалось невероятным, и в лагере вновь, как в давние времена, заговорили о божественной сути Публия Африканского, а также – и его брата, ибо кампания проходила под ауспигиями консула. Сам Публий в кругу товарищей объяснял случившееся успехом разработанной им тактики психического давления на Антиоха, но в душе уверовал в промысел богов и в собственную исключительность, за что очень скоро был жестоко наказан небесами.

Итак, объятые ужасом азиаты поспешно ушли с обоих берегов Геллеспонта, и римляне беспрепятственно достигли пролива. Там их ожидал Эвмен со своей эскадрой. Пергамский царь с присущей ему дотошностью до мелочей рассчитал всю операцию по форсированию Солнечного пролива, и потому переправа легионов в Азию прошла без каких-либо осложнений. На европейском берегу остался только Публий Африканский, да небольшой гарнизон, отвечающий за охрану стра-



тегически важного района. Сципион вынужден был задержаться на Херсонесе потому, что по календарю наступил март, и он, будучи жрецом-салием, был обязан исполнять священные обряды на том месте, где его настигло время празднеств. Остальное войско, высадившись на вражеском берегу, тоже воздержалось от дальнейших действий по религиозным мотивам. Впрочем, теперь Сципионы могли не торопиться, так как желаемое событие свершилось: впервые в истории войско римлян вступило в Азию. Если даже политиканы в Риме презреют этот факт и определят Луцию преемника, Сципионы все равно успеют дать бой Антиоху, прежде чем новый консул доберется до места назначения.

Уводя войска с берегов Геллеспонта, Антиох полагал, что руководствуется здравым смыслом, совершает стратегически верный шаг, покидая безнадежную позицию и концентрируя силы на новом рубеже. Но, когда он увидел, что из этого вышло, когда римляне легко одолели природные препятствия и объявились в Азии, его охватил ужас. Все происходящее казалось ему дурным сном, его донимали кошмары, он чувствовал себя, как человек, в дом которого ворвался беспощадный убийца. От отчаянья Антиох заболел, но беда не знает снисхождения, и недуг не избавил его от проблем, а, напротив, породил новые тревоги. В этот период придворные советники стали более доверительно шептаться друг с другом, и тогда же началось паломничество сирийских вельмож к Селевку. Антиоху чудилось, будто земля разверзается под ним, а небеса давят на плечи грузом всех своих сфер.

В момент наивысшего напряжения боги вдруг улыбнулись Антиоху и ободрили его, стоявшего уже на самом краю бездны. Форсировав Геллеспонт, страшные римляне неожиданно прекратили марш и надолго застряли в гомеровских местах. Это показалось царю свидетельством намерения врага кончить дело миром. Он решился уступить пришельцам все те греческие города, из-за которых у него начался спор с Римом, и такую цену купить у консула пощаду, не сознавая, однако, что эти города уже и без его согласия оказались во власти неприятеля. Более точно оценившая ситуацию судьба, следуя какому-то капризу, вздумала укрепить шаткую политическую платформу царя и сделала ему поразительный подарок к переговорам. Во время одной из немногочисленных и незначительных стычек римлян с остатками сирийских постов, она, коварная жрица Фортуны, подсекла ноги прекрасному италийскому скакуну, выхватила из седла кувыркающегося коня аристократического вида юношу и бросила его к трону Антиоха. Так царь познакомился с Публием, сыном Сципиона Африканского.

Убив собственного сына, Антиох под гнетом этой утраты ощутил в себе неисчерпаемые сокровища отцовской любви, что придало особую



сладостную горечь его трагедии. Теперь, глядя на тщедушного паренька с гордым взглядом, он глотал слезы умиления. В обрушившемся на его могучего противника несчастье, аналогичном его собственному, царь узрел всеисилие богов и умиротворил грешную душу религиозным чувством. Он понял, что может искупить преступление, свершенное над своим сыном, если помилует сына врага. Возвысившись благородством этой мысли, Антиох воспрял духом и стал обдумывать, как ему шантажировать Сципиона.

Во время переправы войска через Геллеспонт настроение Публия Африканского было прекрасным, небеса души сияли лучезарной синевой, их более не замутняла тень грядущих бедствий в виде ночного призрака косматого старца. Дела Сципионов шли отлично, и даже вынужденная задержка, вызванная жреческими обязанностями Публия, не ломала плана кампании. Во взаимоотношениях братьев также не возникало каких-либо осложнений из-за их непривычного положения в государственной иерархии. Им удалось выбрать верный тон общения и разделить полномочия таким образом, что консул оставался консулом, а Сципион Африканский – Сципионом Африканским. Их согласие даже вызвало разочарование недоброжелателей, обманувшихся в своих надеждах на конфликт между реальной славой и формальным империем. Потому завистники были вынуждены проявить активность и, за неимением яблока Эриды, подбросить Сципионам фразу раздора: скрываясь под личиной невинных балагуров, они стали называть вождей Агессилаем и Лисандром. Вначале сравнение понравилось офицерам, благодаря моде на все греческое и тому, что оба названных спартанца слыли выдающимися мужами, но скоро они уяснили далеко не безобидный смысл этой шутки и изгнали ее из своей среды. Однако к тому моменту ядовитая острога достигла слуха Сципионов и ранила Луция в самое уязвимое место, поскольку при всей деликатности брата он все же испытывал давление авторитета Публия Африканского как реальное, так и кажущееся. К счастью, старшему Сципиону удалось быстро выявить причину озабоченности Луция. «Почему же ты хмуришься, ведь такое уподобление грозит бедою мне, а не тебе?» – весело воскликнул Публий, но тут же, сменив тон, со всей серьезностью принялся растолковывать ему происки недругов, желающих любой ценой внести разлад в их отношения. Луций и сам догадывался о том, о чем говорил брат, но в устах Публия эти соображения обрели дополнительную убедительность, и взаимопонимание между Сципионами восстановилось, едва успев пошатнуться. Среди других событий тоже не было ничего такого, что могло бы поколебать их решимость избранным путем двигаться к победе. Правда, из Рима сообщали об активизации Фульвиев и Валериев, а Эмилий Павел писал из



Испании о своем поражении от иберов, которое он объяснял распушенностью современных солдат, однако все эти неприятности имели совсем иной масштаб в сравнении с нынешними делами Сципионов, потому не могли заметно повлиять на их настроение.

Пребывая в приподнято-энергичном состоянии духа, обычно предшествующем большим победам, будучи целиком сосредоточенным на завершающей стадии небывалого для римлян похода, Публий Африканский вдруг узнал, что его сын не вернулся из разведки на азиатском берегу. Поскольку младшего Публия Сципиона не нашли среди убитых в стычке, его и еще двух пропавших всадников сочли пленниками сирийцев.

Потрясенный страшной вестью Сципион неожиданно для самого себя быстро обрел душевное равновесие и стал обдумывать сложившуюся ситуацию с холодной расчетливостью, свойственной ему как полководцу. Некогда, разрабатывая планы сражений, он беспристрастно обрекал на гибель тысячи людей ради того, чтобы десятки тысяч других возвратились из боя с победой. К собственному удивлению и даже возмущению он обнаружил, что эта жестокая способность не покинула его и в этот час. Однако именно такая трезвость рассудка, не пьянящего от запаха крови и вида трупов, позволяла ему всегда достигать успеха, и в том было оправдание разума перед взыскательным судом души: малой смертью он платил за большую жизнь.

Следуя первому побуждению, Сципион подумал о том, чтобы приостановить поход и начать переговоры с царем. Но подобный шаг противоречил римским нравам... Он мог бы наладить с Антиохом секретные связи, но это противоречило его римской совести... На миг Публий отвлекся и вспомнил знакомую с детства историю о грозном Манлии Торквате, который казнил своего сына за подвиг, свершенный не вовремя, без приказа консула, затем припомнил еще несколько похожих случаев... «Нет, я так не могу, – решил он, – слишком трудно достался мне мой Публий, с младенчества его окружали тысячи смертей, и чуть ли не каждый день я боролся за его жизнь. Я обязан спасти Публия, но при этом должен остаться верен себе и Риму, что, впрочем, одно и то же... Вот такую задачу поставили мне боги. Не найдя достойного соперника среди людей, они заставили меня сражаться с судьбой!»

Разобравшись с постановкой задачи, Сципион совсем успокоился, поверил в собственные силы и в победу не только над Антиохом, но и над бросившими ему вызов существами невидимого мира. Он представил себе лицо сирийского монарха и на некоторое время сам в меру своего воображения сделался Антиохом, чтобы исследовать мысли и чувства царя.

Антиох боится римлян в открытом бою – это следует из факта его отступления от Геллеспонта и попытки завязать переговоры с Эмили-



ем. Сомневаясь в возможностях войска, он ищет иных средств усиления своей позиции – свидетельством тому является его попытка найти новых союзников. А ценный заложник в шатком положении стоит больше, чем иной союзник, потому Антиох будет дорожить знатым пленником, и побудить его к жестокости может только отчаянье. Но в планы римлян не входит доводить царя до отчаяния, следовательно, жизни Публия ничего не угрожает, если только он действительно попал к Антиоху и узнал им. Из всего этого можно сделать вывод, что царь обязательно будет торговать юношу отцу, и вопрос состоит лишь в том, как, совершив сделку, не поступиться честью. Антиох, конечно же, предъявит политические требования, однако Сципиону недопустимо за личное платить общественным, он может вступать в отношения с царем лишь как частный человек. Но что предложить властелину самой обширной и богатой страны? Деньги Сципиона вызовут у царя только презрительную насмешку. Отдать ему самого себя в обмен на сына? Но пленение принцепса сената Публия Корнелия Сципиона Африканского станет великой победой Сирии над Римом; увы, даже собственным именем Публий не может распоряжаться добровольно, ибо оно является достоянием и гордостью государства. Итак, Сципиону нужно дать царю нечто такое, от чего не убудет у Рима, но прибудет у Антиоха. В качестве призрака, способного то материализовываться, то снова исчезать из мира осязаемой реальности, может выступать только мысль. Значит, Публий должен предложить Антиоху некую идею, каковая, не лишая победы римлян, спасла бы царя.

Самым разумным для Антиоха было бы не раздражать Рим бесполезным сопротивлением и принять все условия могущественной Республики, поскольку, чем меньше затрат понесет Рим на ведение войны, тем меньшая компенсация будет затребована с побежденного. Но как такое скажешь самолюбивому, избалованному лестью монарху?

Рассуждение Публия оборвалось. Он представил своего мальчика во власти сирийцев, и в его голове произошел обвал мыслей, обрушившихся с высоты сознания в бездну панического хаоса, беспорядочно смешавшихся в бесформенную груды.

Ему мерещились кошмарные картины. Между ним и дорогим ему существом словно установилась внепространственная связь, и он чувствовал все духовные и телесные страдания сына. С момента рождения его Публий оказался между жизнью и смертью в той узкой пограничной полосе, где он мог одновременно видеть мир и антимир, поочередно заглядывать в лицо то жизни, то смерти, каковые, будто соревнуясь, демонстрировали ему себя в ореоле своих достоинств, являя взору завораживающий контраст красоты и безобразия. В этой экстремальной



зоне время имело иную плотность, и Публий за год проживал несколько лет, потому сейчас, в шестнадцатилетнем возрасте он был старше многих старцев. И вот теперь итогом такой короткой, но в то же время нестерпимо длинной, такой бедной событиями, но перенасыщенной переживаниями жизни, единственная радость которой заключалась в надежде, стал плен. Каков сарказм бездушной судьбы!

Несчастный отец вновь почувствовал собственную вину за бесплодные муки сына. Некогда он полагал причину его физической болезни в неискренности своей любви к Эмилии, а ныне в жестоком коварстве небес, нанесших сыну душевную рану, усматривал зависть бессмертных к его славе, которая могла оказаться более бессмертной, чем сами боги.

Среди этих терзаний Сципиона внезапно прошиб пот от еще более ужасающих подозрений. Он вспомнил оговорку, сделанную им в рассуждениях, о том, что жизни Публия ничего не угрожает, если только он целым и невредимым попал к Антиоху и при этом узан царем. Но вдруг дикие сирийцы убили юношу прежде, чем он мог быть доставлен во дворец, например, в случае оказания им сопротивления!

Едва Сципион оправился от первого оцепенения, как на смену одной страшной мысли пришла другая, затем третья. Подобно молниям в грозу они резкими зигзагами пронзали его мозг, заставляя съеживаться и содрогаться человеческую оболочку от шквалов внутренней бури.

Что будет, если Публий не назовет своего имени из опасения бросить тень на прославленный род? Тогда его продадут в рабство, и он навсегда растворится в необъятной массе «говорящих орудий», «живых убитых», на страданиях которых построена блистательная античная цивилизация!

А вдруг Сципионова гордость молодого человека не позволит ему терпеть унижения плена, и он покончит с жизнью! Или он не захочет стеснять собою отца и дядю, связывать их зависимостью от Антиоха... И тогда тоже добровольная смерть... Наконец, Публий может просто отчаяться, потерять веру в себя и решить, что самоубийство – единственный достойный поступок, который он способен совершить в беспросветном мраке своей постылой жизни.

Усилив воли Сципион затолкал страхи на дно души, чтобы они не лихорадили мозг, и снова принялся раздумывать в поисках выхода из создавшегося положения. Он понимал, что необходимо дать Публию какой-то знак и тем самым подбодрить его. Но как это сделать? Ему на ум пришла история о малоазийском греке, сумевшем переслать секретное письмо через всю Персию, запечатлев текст на бритой голове гонца, который, отрастив волосы, спокойно отправился в путь, не вызывая каких-либо подозрений. Даже в нынешнем горестном состоя-



нии Сципион улыбнулся при этом воспоминании, но тут же осознал, что для него подобные методы не годятся. Ему не к кому обратиться при царском дворе, у него нет во вражеском стане человека, через которого он мог бы выйти на связь с сыном, и поиск такого человека чреват особой опасностью. В ходе всей кампании каждым маневром Сципион оказывал психическое давление на Антиоха, он постоянно внушал царю, что гораздо сильнее его, и если бы теперь тот вдруг почувствовал слабость в его душе, вся стратегия пошла бы прахом. Было очевидно, что для достижения успеха Сципион должен выдержать принятый образ действий и в любой ситуации являть царю непреклонную волю и мощь. Римлянину ни в коем случае нельзя искать контакта с царем или с кем-либо из его придворных, ибо последние столь продажны, что и часа не удержат тайну в дворцовой атмосфере морального вертепа. Не Сципион должен идти к Антиоху, а Антиох к Сципиону. Только таким путем можно добиться требуемого результата. А младший Публий, чтобы оказаться достойным своей фамилии, обязан самостоятельно просчитать сложившуюся ситуацию и сделать верные выводы. Единственным сигналом, который Сципион мог подать и сыну, и Антиоху, не утрачивая занимаемой позиции, была задержка войска у Геллеспонта. Здесь боги помогли Публию Африканскому, совместив происходящие события со временем празднества Марса, и ему оставалось лишь продлить их чуть долее, чем это необходимо по религиозным соображениям.

Итак, Сципион определил линию поведения по отношению к царю, однако выработать конкретный план действий, который гарантировал бы успех, он пока не смог и был вынужден предоставить инициативу Антиоху, чтобы косвенным воздействием корректировать каждый шаг царя и постепенно привести его к желанному итогу.

Как того и хотел Сципион, Антиох из факта промедления римлян вывел заключение об их готовности вступить в переговоры. Не теряя времени, царь объяснил суть дела одному из дворцовых корифеев закулисных махинаций – обладателю многозначительного взгляда, масляной улыбки и вертлявого, как тело акробата, языка – византийскому греку Гераклиду и отправил его во вражеский стан.

Прибыв в консульский лагерь, Гераклид вначале был обескуражен отсутствием там Публия Африканского, но затем истолковал это как добрый для себя знак. «Великий полководец пребывает в шоке от потери сына и боится пошевелиться, дабы не вызвать нас на радикальные меры», – решил он. Однако Гераклид оказался в неловком положении, поскольку должен был вступить в переговоры с консулом без участия в них Сципиона Африканского, на которого только и рассчитывал. Снача-



ла он прикинулся больным, но вскоре придумал нечто получше и отбросил примитивную женскую уловку. Трудность ситуации настолько мобилизовала память посла, что он изощрился вспомнить о давно забытой его соотечественниками, но характерной для римлян коллегиальности принятия государственных решений. На встрече с консулом грек с дипломатической аккуратностью дал знать Луцию, что хотел бы говорить в присутствии легатов, составляющих в войске некое подобие сената, якобы из-за особой серьезности царских предложений. Луций отлично понял его намерения, хотя сделал вид, будто понял только слова. Он позволил Гераклиду спокойно дожидаться Публия Африканского и в качестве развлечения предоставил ему право беспрепятственно сновать по лагерю и восхищаться римской мощью, аналогично тому, как некогда поступил его брат в отношении послов Ганнибала.

Так прошло несколько дней. Сципион не спешил явиться к царскому посланцу и невозмутимо продолжал приносить жертвы богам на Херсонесе, словно и не догадывался о секретной миссии к нему Гераклида. Византиец настолько был сбит с толку поведением покорителя Африки и Испании, что начал верить в исключительно религиозные мотивы остановки римлян у Геллеспонта. В самой же армии царили спокойствие и полная уверенность в грядущей победе. Гераклид пришел в смущение. Он вспомнил слышанные им фантастические рассказы о римлянах, о том, что эти люди не ведают ни страха, ни боли, ни сомнений. «Может быть, они и к собственным детям равнодушны?» — в растерянности думал он.

Публию Африканскому регулярно докладывали о поведении Гераклида, и он с удовлетворением отмечал, что взятая им пауза оказывает должный драматический эффект на царского посла. Но если византиец терял терпение и уверенность в успехе, то сам Сципион был близок к отчаянию. У него даже возникла мысль переодеться простолюдином и втайне от своих и чужих пробраться на азиатский берег, проникнуть в покои Гераклида и любой ценой что-либо выведать о сыне или хотя бы просто увидеть грека, которому осведомленность о положении юного Публия и возможность повлиять на его судьбу придали в глазах Сципиона гигантское значение, возвели его в ранг титанов. Только опасение испортить все дело удерживало его от безрассудной авантюры. Страдания несчастного отца усугублялись дурными знаменьями.

Несмотря на несколько скептическое отношение к официальным ритуалам, в глубине души Сципион был религиозен. Он всегда тонко чувствовал связь с небесами, и добрая воля высших миров помогала ему одолевать земные трудности. Но в последнее время Публий все больше ощущал вокруг себя скопление зла. Возможно, это собирались на ша-



баш мести неприкаянные души поверженных им врагов либо то были ядовитые флюиды зависти всемогущих обитателей заоблачной страны. Так или иначе, воздух возле него был отравлен предвестием беды. Порою на него нисходили трагические озарения, и, глядя с холма на широкою, благоухающую всеми красками жизни долину, он чувствовал себя парящим над нею бестелесным духом, взирающим на необъятный простор красоты и радости со стоном расставанья. Во всем этом угадывался некий смысл...

И вот в ближайшую ночь после того, как он узнал о прибытии в лагерь царского представителя, ему приснился сладостно щемящий душу и одновременно тревожный сон на тему его юности. Он отчетливо увидел Виолу, которая смотрела на него с обворожительным призывом и одновременно – циничным коварством. Она беззвучным словом поманила его за собою и привела в пиршественный зал, где бесновались какие-то уроды, после чего безжалостно исчезла. Откуда она явилась к нему? Она взирала на него с чувством превосходства, на ее лице было выражение неколебимого всезнания, космической мудрости...

Проснулся Публий в холодном поту. «Так, значит, она умерла, – подумал он с черной тяжестью в душе. – Но приходила она не для того, чтобы сообщить об этом. Ее цель была гораздо хуже...» Он снова и снова вспоминал всю сцену ночного видения, запечатлевшуюся в голове с такими подробностями, на которые часто бывает неспособна даже память бодрствования. Зал, кишаший ведьмами и упырями, казался ему тягостно знакомым. Вдруг он припомнил, что Виола бежала или, скорее, летела перед ним в бесстыдном одеянии танцовщицы. Тогда ему мгновенно пришел на ум бал в Новом Карфагене, на котором он отдал ее в жены варвару, и тут же он забыл и варвара, и саму Виолу, потому что увидел лик старца, совсем недавно во время ночных кошмаров вещавшего ему беду. Это был восточный прорицатель, презренный халдей, двадцать лет назад предсказавший ему бесплодность всех его побед. «Всегда побеждая, ты будешь побежден!» – снова услышал Сципион скрипучий голос дряхлого старика, который, находясь на пороге собственной смерти, отравил ядом сознания бессмысленности жизни его, Публия Корнелия Сципиона Африканского!

Половину жизни он не вспоминал эту парализующую волю фразу, и вот теперь ему напомнили ее. И сделать это любезно взяла на себя труд Виола, та женщина, ради спокойствия которой он погубил свою первую и навсегда самую сильную любовь.

«Не сумев взять меня, вся эта нечисть, земная и подземная, набросилась на моего бедного больного Публия!» – кипя от гнева, вновь и вновь повторял Сципион и от возмущения готов был в одиночку выйти про-



тив целого войска Антиоха или зашвырять камнями облака, чтобы побить несправедливых и злобных вершителей людских судеб, но вместо этого с «каменным лицом» совершал нудные культовые мероприятия и вел размеренные беседы с друзьями и любопытными греческими купцами, упорно выдерживая заданную разумом паузу. Когда бездействие становилось ему совсем невмоготу, он совершал длительные прогулки по холмам опостылевшего Херсонеса или доводил себя до изнеможения боевыми упражнениями, после чего садился на берегу пролива и с тоскою смотрел на азиатский берег.

Когда Сципион, наконец, объявил, что необходимые обряды надлежащим образом исполнены, и боги позволяют ему тронуться в путь, на водах Геллеспонта едва не произошел бой между пергамцами и родосцами, так как и те, и другие желали, чтобы знаменитый римлянин пересек пролив именно на их судне. Публий выбрал в провожатые Эвмена, обосновав это тем, что царь переправлял в Азию и его брата, а родосцам пообещал уделить внимание на обратном пути.

Прибыв в лагерь, Сципион приободрился. Знакомая обстановка войска на походе, окружение друзей, неколебимо верящих в его всепобеждающий гений, солдат, боготворящих в нем неодолимого императора, восстановили его пошатнувшуюся уверенность в своих силах. Поэтому он твердо встретил взгляд Гераклида, когда ему представили посланца Антиоха.

Еще два дня Сципион отдыхал, прежде чем вступить в официальные переговоры с послом. Эта отсрочка казалась Гераклиду сигналом к тайной встрече, но все его попытки наладить контакт с могущественным легатом оканчивались неудачей. Публий либо беззаботно пописывал одному ему понятные теоретические труды, сидя в палатке, либо прогуливался по лагерю или близлежащему саду в компании друзей. Византиец сновал вокруг Сципиона, то и дело попадаясь ему на глаза, и нещадно эксплуатировал выразительность своей мимики, но все напрасно: чело римлянина оставалось ясным, как у ребенка, без малейшей тени заговорщицких страстей. Наконец однажды грек дерзнул проявить инициативу и велел своим помощникам под каким-либо предлогом отвлечь спутников Сципиона, а когда Публий остался один, решительно устремился к нему. Но Сципион окликнул проходившего неподалеку квестора Фурия и, подозревая его к себе, отгородился им, как щитом, от преждевременных откровений Гераклида. Не сумев застать Сципиона в одиночестве, византиец, пряча досаду, обменялся с ним лишь формальными фразами.

Входя в шатер консула, где собрался весь римский штаб, Гераклид почти не верил в успех порученной ему миссии, поскольку не смог сде-



лать главного: подкупить или шантажировать Публия Африканского и заручиться его поддержкой, однако, будучи матерым политиком, взял себя в руки и явил римлянам достойный образец цветистого греко-азиатского красноречия.

Он говорил о просторах Сирийской державы, могуществе царя и широте его души, намекал на алчность римлян, захватывающих земли врагов и отдающих их друзьям, предупреждал, что невозможно вечно испытывать терпение богов, ибо оно небеспредельно, и когда-нибудь владыки небес покарают зарвавшихся сынов италийской земли. В редких промежутках между риторическими шквалами оратор более скромным языком поведал о том, что Антиох Великий по бесконечной доброте своей готов оставить исконно греческие территории Ионии и Эолиды и уже давно сданную Лисимахию, а также согласен явить изумленному миру образец истинно царской щедрости, возместив римлянам половину военных издержек, если только те покинут Азию.

Посовещавшись с легатами, консул ответил послу, что римляне никогда не останавливаются на половине дороги, и точно так же, как они освободили всю балканскую Грецию, намерены освободить и всех без исключения малоазийских греков, а потому мир может быть достигнут лишь после того, как царь очистит все пространство до Таврских гор и целиком оплатит расходы римлян на азиатский поход, поскольку война началась по его вине.

Гераклид покидал преторий, низко опустив голову, и, лишь скосив взгляд на Публия Африканского, немного оживился, так как уловил в глазах римлянина некоторый интерес к себе. Византиец снова стал охотиться за Сципионом, который теперь олицетворял собою его последнюю надежду, и на этот раз ему повезло: он встретился с ним наедине в тот же день. Обрадованный такой удачей, Гераклид сразу выложил римлянину все, что имел сообщить ему от имени царя, поскольку боялся, как бы им снова не помешали. Он сказал, что царь питает к Сципиону самые дружеские чувства с момента их встречи в Апамее, а потому страстно желает оказать ему услугу, возвратив в целости и сохранности случайно оказавшегося у него в плену сына, а заодно предлагает первому из римлян несметные сокровища и даже долю в управлении царством, причем все это безвозмездно, однако, в свою очередь, надеется на столь же бескорыстную помощь Сципиона в деле урегулирования сирийско-римского конфликта.

Публий возликовал. Увидев Гераклида сразу по прибытии в Азию, он по лицу грека и его настойчивым поискам аудиенции понял, что не ошибся в своих расчетах, то есть: юный Публий жив, находится у Антиоха и преподносится ему, Сципиону, как объект торга на переговорах.



Однако сейчас, непосредственно услышав от царского посла все то, что и без того уже знал, он испытал невероятный взрыв радости и небесную легкость в душе. У Публия возник порыв обнять и расцеловать Гераклида, но вместо этого он холодно сказал:

– Я сожалею, но ты запоздал с ходатайством за царя. Чем я могу помочь теперь, когда консул и совет уже вынесли свое решение?

Гераклид сделал движение, порываясь объяснить, что он искал встреч с ним раньше, и посоветовать на отсутствие подходящего случая, но Сципион не дал ему возможности увести разговор на обочину основной темы и продолжил начатую мысль.

– Впрочем, сам Антиох опоздал с поисками мира еще больше, – внушительно говорил римлянин, – царю следовало создать мощный оборонительный рубеж на Херсонесе возле Лисимахии или, по крайней мере, у Геллеспонта. Продержав нас там несколько месяцев и подточив наши материальные ресурсы, он мог бы вступить в переговоры с нами на равных. Но какой разговор может быть у нас с царем теперь, когда он сдал без боя важнейшие стратегические районы, мощный хорошо укрепленный город, вдобавок ко всему, переполненный провиантом и всяческим воинским снаряжением, и беспрепятственно впустил нас в свою страну, когда он, образно выражаясь, не только позволил себя взнуздать, но и оседлать? Увы, сегодня уже никто не поможет вернуть царю потерянные по безрассудству территории.

Гераклид пребывал в полной растерянности от столь сурового нравовучения римлянина, которого не смягчили даже отцовские чувства, но вдруг он встрепенулся, так как, сделав несколько шагов по яблоневой аллее в тягостном молчании, Сципион заговорил на несколько иной лад.

– Однако я рад, что царь, несмотря на политические и военные трудности, сохранил в себе человека и чтит дружеские отношения, – любезным тоном сказал он. – Я благодарен ему за предложенные дары, но приму только один из них, зато несравненно лучший из всего, что может быть на свете, – сына. Остальное же, всякое там богатство, полцарства и тому подобное меня ничуть не интересует, и по этому поводу лишь замечу следующее: царю было бы полезно получше изучить римлян, дабы понять, что сокровища души и ума несравненно ценнее россыпей золота и бриллиантов, равно как и толпы рабов.

– Итак, передай царю величайшую мою благодарность за сына, – подытоживая, внушительным тоном сказал Сципион, – но при этом прошу подчеркнуть, что я согласен принять только частное благодеяние, оказанное мне как частному человеку, но как государственный муж я не возьму от царя ничего.



— О, само собой разумеется! — воскликнул Гераклид, с ужасом думая о том, как он объяснит господину, что, отдав заложника, фактически ничего не получил взамен.

Сципион знал, что в сложившейся ситуации Антиох вернет ему сына уже хотя бы в силу одной только царской кичливости, но решил смягчить дело пухом летучих слов.

— А в свою очередь я как частный человек дам царю совет, каковой, не сомневаюсь, вполне стоит царской щедрости, — заявил он. — Так вот, передай Антиоху, Гераклид, чтобы он, не раздумывая, соглашался на все условия римлян. Пусть он пожертвует Малой Азией ради дружбы Рима, ибо не о каких-то конкретных территориях стоит ему теперь думать, а о том, как спасти свое царство от полного краха. Ты сам говорил недавно, что мы отнимаем земли у врагов и дарим их друзьям. Так пусть же царь станет нашим другом, тогда сама собой отпадет причина для завоевания нами Азии, в противном же случае нас не остановит ничто и никто. Да, сейчас часть Антиоховых владений мы отдадим Эвмену, поскольку мы чтим тех, кто делает нам добро, и караем противников за причиненное зло, но, если царь последует моему совету, наступит день, когда мы стократ возместим Антиоху нынешние потери. Посмотрите на Филиппа! Семь лет назад он был нам заклятым врагом, а теперь мы уже позволили ему вернуть часть утерянного. Его успехи были бы еще грандиознее, если бы он стремился не в Грецию, а в глубь материка, дабы распространять тело и дух цивилизации на дикий мир.

С последними словами Сципион сделал последние шаги на пути к лагерным воротам, и продолжение этого разговора стало невозможным.

На следующий день Гераклид объявил консулу, что доложит царю ответ римлян на его предложения, и отбыл в Сарды.

6

Будучи уверенными в том, что Антиох не подчинится им, не испытывав предварительно судьбу в сражении, Сципионы оставили приморский лагерь и двинули войско в глубь Азии. Однако они несколько отклонились от прямого пути и завернули в Илион.

Прославленное место произвело сильное впечатление на римлян, но их чувства были чувствами посетителя заброшенного кладбища, где над прахом героев произрастают пыльные сорняки и копошатся муравьи вокруг своих убогих кучек. Нынешнее поселение, полугород-полудеревня, расположенное в окрестностях древней Трои, точное местоположение которой теперь уже никто не мог указать достоверно, мало походило на воспетый Гомером город, десять лет противостоявший объединенным силам всей Греции в войне за обладание торговы-



ми путями в Черное море. Несмотря на попытки Александра и Лиси-
маха возродить былое величие Илиона, это место оставалось бесплод-
ным, словно исчерпав свой жизненный потенциал в давние века. Город
имел довольно большую территорию, протяженные стены, но полови-
на его сооружений лежала в развалинах, свидетельствующих о набегах
варваров, и даже заселенные дома выглядели почти как руины. Увы, с
образованием греческих колоний на берегах Геллеспонта и расцветом
малоазийских городов, таких, как Фокея, Пергам и Эфес, Троя оказа-
лась в стороне от торговых маршрутов и утратила экономическое зна-
чение, а потому никакие искусственные меры по ее восстановлению,
предпринимавшиеся честолюбивыми царями, желавшими связать соб-
ственные имена со знаменитым городом, не принесли успеха. Великая
Троя продолжала свое существование только в стихах Гомера. Так ми-
ру была явлена истина, гласящая, что никакому царю не под силу со-
стязаться с настоящим поэтом. По-прежнему грандиозной, как и тыся-
чу лет назад во времена Приама, Гектора и Энея, выглядела только Ида
– не столь уж высокая, но протяженная гора, изогнувшаяся дугой по-
добно гигантской сколопендре в попытке объять собою легендарную
область. Именно здесь, на Иде, до недавних пор обитала Великая Ма-
терь богов, ныне перекочевавшая в Рим и принятая на Тибре в образе
черного космического камня Сципионом Назикой.

Римляне взирали на жалкое зрелище современной Трои с торжест-
венно-скорбным видом налитых силой молодцов, вернувшихся из дли-
тельного путешествия по миру к родному очагу и могилам почивших
в нищете и запустении родителей.

Сципионы всегда придавали большое значение идеологическому
оформлению своих кампаний. На этот раз они решили как следует
обыграть миф о происхождении римлян от троянца Энея, якобы бе-
жавшего в Италию после гибели Отечества. Поэтому грозные
пришельцы приветствовали полудиких жителей полуразрушенного
Илиона как своих прародителей и потрясли их почтительностью и
благородством. Погостив у нынешних троянцев и облагодетельство-
вав их дарами и вниманием, римляне тронулись дальше. Если прежде
малоазийские греки встречали их хотя и радушно, но все же с некото-
рой опаской, то теперь население близлежащих городов и деревень в
полном составе выходило навстречу войску и осыпало солдат цвета-
ми. Римляне ступали по Азии как долгожданные сыновья этой земли,
прибывшие, чтобы очистить ее от сирийской тирании и принести сво-
боду родственному народу. Так Сципионы превратились как бы в
законных хозяев этой страны, а Антиох стал чувствовать себя здесь
иностранцем.



Римляне стремительно приближались к Сардам. В дороге к ним присоединился Эвмен, который, возвращаясь с флотом из Геллеспонта, был остановлен на половине пути плохой погодой, однако бросил свои корабли и прибыл к консулу с небольшим отрядом, дабы в нужный момент продемонстрировать союзникам преданность и рвение. Но царь недолго находился в лагере, от него ожидали не столько прямой военной помощи, сколько услуг по снабжению армии. Поэтому вскоре Эвмен был снаряжен в экспедицию и отбыл в свое царство.

До этого дня дела римлян шли превосходно, но теперь случилось непредвиденное осложнение: вместе с обозом, отправленным за продовольствием, в Пергам уехал Публий Сципион Африканский, причем именно уехал, так как идти он не мог.

Увы, с пленением сына Сципиона, судьба не оставила дерзких попыток одолеть полководца нетрадиционными средствами и наслала на него болезнь.

После беседы с Гераклидом Сципион был уверен, что Антиох из гордости сдержит свое слово относительно его сына даже при самом неблагоприятном развитии событий для самого царя, поэтому настроение Публия резко улучшилось, вихрь непривычной радости подхватил его душу и понес к облакам, он пребывал в эйфории, весь сиял и искрился блесками счастья, как сверкает фонтан в беспокойном свете факелов. Это извержение эмоций водопадом обрушивалось на окружающих, обдавало их брызгами остроумия и заражало весельем. Чрезмерное оживление прославленного императора бодряще действовало на легатов, во всем римском штабе царило воодушевление, и поход против огромной державы воспринимался как прогулочная экскурсия в экзотические края.

Однако на местное население такое легкомысленное поведение римлян и особенно простодушная резвость Публия Африканского производили дурное впечатление. Азиаты, включая и здешних греков, привыкли зреть сатрапов в роскошных носилках или в раззолоченных каретах и почитали за счастье поймать ленивый презрительный взгляд богача, царя же тут боготворили так, что, произнося про себя его имя, падали ниц перед мысленным образом Великого. А все римляне ходили на собственных ногах, сами носили оружие, шутили и смеялись. Правда, перед консулом неизменно шествовали грозные ликторы, но во всем остальном он тоже выглядел человеком, а не властелином. Общительность же Сципиона Африканского, который, как все знали, является мозгом, душой и волей всего войска, казалась азиатам просто возмутительной. Его открытое широкое лицо никак не выдерживало, в их представлении, сравнения с надменным, величавым, словно окаменев-



шим в своей царственности ликом Антиоха. «Куда они идут, эти римляне, о чем они думают? – мысленно вопрошали вечно кому-нибудь подвластные азиаты. – Неужели эти простачки надеются уцелеть в схватке с богоравным Антиохом Великим?» Но римляне, встречая это пассивное осуждение сирийцев, лишь снисходительно посмеивались над их духовной закрепощенностью и рабской подавленностью чувства человеческого достоинства.

Несколько дней Сципион пребывал в лихорадочном возбуждении. Постепенно радость стала убывать, вытесняемая тревогой ощущения приближающейся беды, но лихорадка, наоборот, усиливалась и вскоре из радостной сделалась болезненной. Так, незаметно, он из состояния счастья перешел в состояние болезни. Врачи, как обычно, ничего определенного сказать не могли и прятали глупость под масками многозначительной важности, а Сципион почувствовал симптомы того недуга, который некогда надолго свалил его с ног в Испании. Это напугало Публия. Тогда он был так близок к смерти, что во всей стране начался разброд: иберы подняли восстание, а солдаты забыли дисциплину и превратились в грабителей – но молодой организм одолел болезнь. А как-то будет теперь, ведь силы его подточены годами? Если он сейчас умрет, Антиох может посчитать себя освобожденным от обязательств и оставить юного Сципиона у себя в заложниках!

С каждым часом здоровье Публия ухудшалось, и в конце концов консул внял доводам Эвмена, обещавшего больному помощь лучших во всей Азии пергамских лекарей, и доверил ему брата. Так Сципион был доставлен сначала в Пергам, а затем в Элею. Но и высоколобые густобровые знахари Эвмена ничего не смогли сделать: болезнь прогрессировала прямо пропорционально количеству принимаемых снадобий.

Публий не знал, как бороться с этой новой, внезапно нагрянувшей опасностью, против которой оказались бесполезными его таланты полководца и политика. Бессилие сковывает разум, и тот камнем идет ко дну омута отчаянья, вслед за чем ослепленную душу поглощает мрачная бездна трансцендентности. Сципион вновь стал думать о судьбе, ему мерещились ларвы, лемуры и прочая нечисть, он начал бояться снов, раскрашенных болезнью во все краски ужаса. Ему казалось, будто им правят злые чары, будто непостижимая чуждая воля, захватив власть над ним, спрессовывая время, разгоняет его до умопомрачительной скорости и мчит в пропасть. Его страшила смерть и одновременно ужасала жизнь, над которой отныне он не властен.

Вдруг однажды в промежутке между двумя приступами горячего бреда Публий сообразил, что находится как раз в таком состоянии душевного дискомфорта человека, затравленного судьбою, каждый



миг ожидающего, что на него обрушится лавина беспричинного, а потому несправедного гнева богов, в которое он старался привести Антиоха, выстраивая стратегию азиатской кампании именно по принципу все сметающей на своем пути лавины. Уловив это сходство, Сципион поразился низкой циничности судьбы и ожесточился до такой степени, что изгнал все страхи, и думал лишь о том, как ему достойно умереть, не выказав слабости пред всемогущим космическим злом. Сжав зубы, Сципион глотал стоны от нестерпимой жаркой боли в голове и разрывающего душу отчаянья.

Он не знал, сколько длилась эта неравная борьба, поскольку пребывал в состоянии вязкого безвременья, но внезапно одно мгновение отпечаталось в его мозгу образом сына. Ему показалось, будто встреча произошла где-то глубоко в подземелье. Поддавшись первому порыву, он жалобно попросил своего маленького Публия, вдруг представившегося ему большим, подать руку и вытащить его из этого сырого подвала, но тут же испугался, подумав, что они оба оказались в царстве Орка, потому как увидеться на земле никак не могли, и смолк с застывшим от ужаса лицом. Однако юноша в самом деле протянул отцу правую руку и, поддерживая левой за плечо, поднял его и посадил на ложе.

Когда Сципион Африканский покинул лагерь и отбыл в Элею, Антиох решил, что либо он сознательно самоустранился от войны в ответ на обещание возвратить сына, либо в самом деле серьезно болен. По мнению царя, и в том, и в другом варианте ему следовало поскорее выполнить данное римлянину слово, в первом случае – в качестве оплаты бездействия опаснейшего из врагов, а во втором – для того, чтобы эффективным образом продемонстрировать миру свое благородство, оказывая милость сопернику в трудный для него час, тем более, что вполне вероятная смерть Сципиона от болезни вообще лишила бы его такой возможности. О главной же причине, побуждающей его к доброму поступку, он старался не думать. Однако когда Антиох, вежливо простившись с римским юношей, отослал его в сопровождении надежного конвоя к отцу, то в первую очередь испытал не щекотливый зуд тщеславия, предвкушающего грядущие хвалы, и не удовлетворение от сознания хорошо исполненной политической сделки, а чувство облегчения и просветления в душе. Могильная плита, придавившая прах его собственного сына, тяжким грузом легла и на него самого, вместе с телом убитого сына оказалась погребенной душа убийцы-отца. И вот теперь каменная глыба надгробия словно стронулась с места и открыла щель, через которую Антиох увидел синее небо. Помимо прочего, образ Сципиона был связан с отцовскими страданиями Антиоха и временной зависимостью. Именно в момент совершения преступления римлянин находился ря-



дом с царем, и беседы с ним, в которых Антиох в абстрактной форме поделился своим горем, помогли ему пережить страшные дни. Поэтому царь испытывал искреннюю признательность к Сципиону. Все это привело к тому, что Антиох исполнил добрый поступок с максимально возможными для царя добрыми чувствами.

Присутствие сына сразу вернуло Сципиону сознание, овладев же разумом, он постепенно стал овладевать и телом. Жар уменьшился, и болезнь начала отступать. Мысль, что небеса не отвернулись от него окончательно, и что главный враг на данный момент – обыкновенный телесный недуг, а не призрак потустороннего зла, прибавила Публию сил. Он захотел жить, и жизнь снова приняла отвергнутого в свое лоно.

Правда, встреча с сыном принесла ему не только радость, но и огорчения. Упав с коня, младший Сципион ушиб спину, потому и не смог оказать сопротивление нападавшим. Боль в позвоночнике через несколько дней почти утихла, но и без того слабый организм пришел в расстройство. Однако еще более глубоким оказался моральный надлом, произошедший в юной душе, с детства истерзанной страданиями. Мальчик узнал жизнь одновременно с болезнью, все радости существования, на которые обычный человек получает право вместе с рождением, были для него закрыты, каждый шаг на жизненном пути давался ему с великим трудом. Ценою запредельных физических и, в первую очередь, душевных усилий он выжил, он сумел вытребовать у природы все то, в чем первоначально она ему отказала, и вот, когда настала пора пожать первые плоды, его постигла катастрофа. Судьба грубо ударила вечного неудачника и разом отбросила его к исходной точке существования, способного лишь смотреть на жизнь со стороны, но не участвовать в ней самому. Публий считал себя опозоренным навсегда, так как вернуть честь можно только совершив подвиг, на который у него, увы, не было сил. Но еще более страшным итогом этой неудачи стало парализующее волю убеждение, что злой рок никогда не выпустит его из своих оков, и ему никогда не быть достойным своего имени.

Отцу юноша сказал, что собирался покончить с жизнью по примеру стоиков, дабы не унижать собою род Сципионов, хотя и ничуть не сомневался в том, что отец найдет способ вызволить его из плена, однако в критический момент ему почудился голос небес, приказавший жить и терпеть собственное ничтожество ради некой высшей цели.

«С этого часа я твердо знал, что мне предначертано совершить важный поступок, который оправдывает мое существование, и потому я не волен распоряжаться своей жизнью, ибо она принадлежит этому самому поступку», – закончил объяснение Публий с твердостью в голосе, но безо всякого оптимизма.



Сципион не знал, как утешить юношу, но надеялся, что со временем все уладится надлежащим образом. Поэтому он большее значение придавал факту спасения сына, чем его тяжелому душевному состоянию.

Радость Сципиона была столь велика, что он даже не особенно тяготился чувством долга перед царем. Публий привык с лихвой одаривать всех своих дарителей, щедростью превосходить самых щедрых, а великодушием затмевать самых великодушных. Но в отношениях с Антиохом он пока был в проигрыше, однако твердо рассчитывал отблагодарить его в будущем, не подозревая, что бездна недвижной вечности уже раскрыла над их головами смертоносный зев, и ни ему не хватит времени, чтобы расплатиться с царем, ни царю, чтобы получить причитающееся.

Царским послам, доставившим молодого человека в Элею, Сципион велел передать царю еще один совет: не вступать в решающее сражение, пока он, Публий Африканский, не вернется в строй. Этим Сципион пока и ограничился, надеясь лично держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить катастрофического для царя и не требуемого для римлян развития событий, по возможности, смягчить его поражение, дабы уже сейчас заложить фундамент будущего союза с Сирией.

7

Луций Сципион в глубине души был рад отсутствию брата, поскольку теперь он, наконец-то, вышел на первый план в войске и не только формально, но и по существу стал хозяином положения. Отправляясь с Эвменом, Публий старался подбодрить товарищей и в шутливом тоне высказал несколько серьезных пожеланий. В частности, на свое место первого легата в штабе и командующего правым флангом он рекомендовал Гнея Домиция Агенобарба, подчеркнув, что в данной ситуации тот справится с этой ролью ничуть не хуже его, Сципиона Африканского. «Теперь я вам не нужен, коль скоро в ставке Антиоха нет Ганнибала», – превозмогая слабость и боль, с улыбкой говорил он. Консул незамедлительно приблизил к себе Домиция, а также выполнил и все другие указания Публия. Такое соблюдение преемственности еще более утвердило всеобщее доверие к Луцию, который действовал как бы от имени всех Сципионов. Укрепив свой авторитет, Луций приступил к завершающей стадии кампании и решительно двинул войско к Сардам.

Антиох сначала выступил навстречу врагу, но, получив совет Публия Африканского воздержаться от форсирования событий, отошел к Магнесии у Сипила. Там он расположился на склоне горного кряжа, имея перед собою реку Фригий, и возвел мощный укрепленный лагерь.



В несколько переходов достигнув Фригия, консул остановился в замешательстве. Переправу через реку охраняла тысяча вражеских всадников, а из близлежащего сирийского стана в самый неподходящий момент могли подоспеть и другие подразделения неприятеля. Вступать в битву при столь неблагоприятных обстоятельствах было опасно даже для римлян.

Разбив лагерь, консул два дня имитировал колебания, исподволь возбуждая воинственность солдат. Наконец, когда воины пришли в крайнее нетерпение, а выдавшие виды ветераны африканской кампании открыто стали требовать бросить их в бой, во всеуслышанье заявляя, что перед ними не войско, а стадо убойного скота, Луций собрал штаб для обсуждения плана наступления.

Той же ночью римляне малыми силами завязали стычку с вражеским отрядом у реки и, играя в поддавки на нумидийский манер, втянули их в сражение, в ходе которого подключили резервы и полностью уничтожили врага. После этого все войско шагнуло в реку и к утру благополучно завершило переправу.

Антиох, введенный в заблуждение сведениями о первоначальном успехе его всадников в схватке с римским дозором, разобрался в обстановке лишь тогда, когда увидел противника на своем берегу. Посланные царем отряды конницы и легкой пехоты не смогли сбросить римлян обратно в реку и даже не помешали им возвести лагерь.

На следующий день консул в боевом порядке вывел легионы на середину равнины, недвусмысленно заявляя о своем намерении немедленно разделаться с царем. Антиох отсиживался за мощными укреплениями, состоящими из вала, глубокого рва и стены, с которой можно было легко истреблять врага при попытке форсировать ров. Штурмовать такую твердыню, да еще расположенную на холме, значило потерять половину войска, потому сирийцы чувствовали себя здесь спокойно. Однако, когда римляне день за днем стали повторять свой угрожающий маневр, а затем еще и приблизили лагерь, оставив между собою и противником только поле боя, сирийцы заволновались всерьез. Лучшей почвой для страха является бездействие. Сомнения постепенно переросли в неуверенность, которая тут же уступила место панике. Азиаты стали ссориться друг с другом, каждый род войск приписывал себе главную роль в битвах и хаял все остальные, одни племена подозревали другие в недобрых помыслах, измене, а все вместе они выражали недоверие командованию, но, конечно же, не царю, ибо в монархиях такое не принято, а советникам царя, которые якобы по глупости и низости мешают великому, гениальному самодержцу рулить напрямиком к победе.

Наблюдая, как падает боевой дух армии, Антиох во второй раз изменил стратегию на противоположную, что само по себе уже является



ошибкой и опасно для войска так же, как крутой разворот – для корабля во время шторма. Кроме объективных обстоятельств, его подхлестнуло к этому шагу царское тщеславие, не позволившее ему усидеть на месте при виде вызывающего поведения в два раза численно меньшего противника. Итак, своевременно не приняв бой, Антиох не смог до конца выдержать и роль обороняющегося. В итоге он вывел на генеральное сражение деморализованное войско. Солдаты полагали эту меру вынужденной и спустились на равнину с чувством обреченности.

Тем не менее, Антиох все же имел немалые основания надеяться на успех. Его армия насчитывала свыше семидесяти тысяч воинов, в том числе, двенадцать тысяч всадников. Значительную часть конницы составляли с ног до головы закованные в броню катафракты, даже лошади которых были защищены металлическими панцирями. Пехота включала в себя подразделения всех мыслимых типов и самых разнообразных родов вооружения от фалангитов с устрашающими сариссами до пелтастов и критских лучников. Кроме того, царь располагал серпоносными колесницами, пятьюдесятью четырьмя слонами и экзотическим отрядом арабских всадников, восседавших на верблюдах.

Консул мог противопоставить этому огромному пестрому воинству чуть более десяти тысяч римлян-легионеров, примерно столько же латинов, вооруженных так же, как и римляне, две – три тысячи италийской конницы, восемьсот всадников Эвмена, несколько тысяч легкой, в основном, греческой и пергамской пехоты, две тысячи македонских и фракийских добровольцев, присоединившихся к римлянам по пути их следования к Геллеспонту, и шестнадцать слонов, присланных Масиниссой.

По согласованию с Эвменом, который, отдав в Пергаме необходимые распоряжения относительно снабжения римлян провиантом, молниеносно возвратился в лагерь, консул сделал ударным правый фланг своего войска, где сосредоточил большую часть легковооруженных и почти всю конницу. Легионная пехота была построена обычным порядком, и от нее, по замыслу командующего, не требовалось ничего сверхъестественного, левое крыло располагалось у реки, крутые берега которой представлялись надежным прикрытием, потому здесь почти не было вспомогательных войск и конницы. Слоны находились в резерве в тылу войска.

Антиох впереди всего строя разместил колесницы попеременно с арабами, конница густыми скоплениями чернела на обоих флангах, в самом центре глубоким построением в тридцать две шеренги стояла фаланга с вкрапленными в нее слонами, справа и слева от нее толпились разноязыкие орды, согнанные сюда со всей Азии.



Царь рассчитывал забросать римлян стрелами, расшатать их дружный строй колесницами, слонами, верблюдами и прочей нечистью, после чего пробить вражескую фалангу у реки и, используя численное превосходство, обойти ее с другого края, а затем взять противника в кольцо и уничтожить. Исполнение завершающей фазы возлагалось на фалангу, организованную по образцу македонской, которую Антиох, кроме всего прочего, обучил сражаться совместно со слонами. Такое взаимодействие было особенно выгодно, так как стрелки, размещенные в башнях на спинах грозных животных, могли сверху поражать неприятеля, нападающего на фалангу, а слоны при этом были защищены густым строем, и враг почти не имел возможности нанести им ущерб, поскольку метательные снаряды, пущенные издали, отражала броня, покрывавшая наиболее уязвимые места животных. Однако для реализации совместного маневра столь различными родами войск требовалась отменная выучка и людей, и слонов, потому как последствия малейшей расогласованности в действиях были чреваты катастрофой.

Пока азиаты в утреннем сумраке выстраивали свои гигантские полчища, с окружающих холмов опустились облака и покрыли долину густым туманом. Резкое ухудшение видимости, как и всякое осложнение обстановки, в первую очередь отразилось на более громоздком и менее обученном, то есть сирийском войске. Между подразделениями образовался информационный разрыв, что привело к потере слаженности в действиях и чувству неуверенности, которое стало основой для последующей обвальной эпидемии страха. Но на начальном этапе битвы гораздо заметнее сказались другие последствия прихоти погоды: туман был столь плотным, что промочил и людей, и их снаряжение не хуже настоящего дождя, луки азиатов пришли в негодность, тогда как основное вооружение римлян – мечи и копья – не пострадали. Ввиду этого первый натиск сирийцев получился ослабленным. Римляне же, напротив, отлично исполнили свой маневр и захватили инициативу.

Ведущую роль в этот период исполнял царь Эвмен, который вместе с вверенными ему подвижными частями конницы и легкой пехоты на правом фланге без предварительной разведки разом обрушился на передовой эшелон врага, состоявший из колесниц, причем его воины старались поражать не возничих или стрелков, а лошадей и, пугая животных, создавали всеобщую сумятицу в рядах противника. Одновременно все римское войско издало боевой клич, что также произвело сильное впечатление на коней. В результате этой психической атаки лошади, по мере возможности, бросились врассыпную, и запряженные четверней колесницы, совершая замысловатые зигзаги, рывками покатались в разные стороны. Они сталкивались друг с другом, наезжали на своих



легковооруженных, косили их серпами, пронзали металлическими клыками, торчащими из этих машин смерти, и лишь изредка ранили кое-кого из римлян.

Обработав свой фланг, Эвмен сместился к центру и произвел там аналогичный фурор. Вскоре колесницы, увлекая за собою верблюдов и вспомогательные войска, бежали с поля боя через фланги, во многих местах поранив строй своей тяжелой пехоты.

Развивая успех, римская конница правого крыла стремительно атаковала катафрактов. Оставшись без поддержки легковооруженных, бронированные всадники, громыхающие на бронированных конях, не смогли противостоять маневренной кавалерии римлян и со страшным лязгом обратились в бегство. Римляне со свойственной им гибкостью ума быстро сообразили, что не стоит тыкать копьями в сплошное железо, и потому просто сталкивали неповоротливых катафрактов на землю, откуда те уже не могли подняться без посторонней помощи, находясь как бы в кандалах собственных доспехов.

Разогнав прочий разноплеменный сброд, римляне оголили вражескую фалангу и напали на нее с фланга и тыла. Страдая от тяжести своего оружия, фалангиты обливались потом в напрасных попытках перестроиться и принять боевой порядок на атакованных участках. Быстрыми наскоками легкая греко-италийская пехота совместно с конницей теребила грозный строй, с каждым разом внося в него все больший хаос. Наконец такой ход битвы возмутил слонов, встроженных в фалангу, и, презрев крикливых вожаков, они принялись топтать сариссоносцев, стараясь выбраться на волю из бестолково мечущейся людской толпы.

Когда такими действиями Эвменовы удалыцы окончательно порушили порядок в фаланге, в дело вступила тяжелая легионная пехота и совершенно смяла врага.

Не подозревая, благодаря туману, обо всех этих прискорбных событиях, Антиох громил ослабленный левый фланг римлян. Присутствие царя вдохновляло сирийцев, и те быстрее, чем рассчитывал консул, опрокинули латинян, бросившихся спасаться от катафрактов и прочих экзотических убийц к своему лагерю. Но там с лучшей стороны проявил себя военный трибун Марк Эмилий Лепид. Он командовал двумя тысячами вспомогательных войск, оставленными для охраны лагеря. С ними Эмилий преградил путь отступающим. Выиграв бой с соратниками, он еще раз обратил их вспять и возглавил сопротивление полчищам Антиоха. К этому моменту на помощь подоспела конница во главе с Атталом – братом Эвмена, и наступление сирийцев затормозилось. Антиох получил время оценить ситуацию, и тут он обнаружил, что его войско разбито на противоположном крыле и в центре. Тогда царь вспомнил о



несправедливости судьбы, преследующей его неудачами, обиделся на богов и, все бросив, бежал с поля боя.

В последующие часы сражение превратилось в бойню, в которой было истреблено около пятидесяти тысяч азиатов. В тот же день римляне овладели вражеским лагерем и сделали свою победу абсолютной. Их потери составили несколько сотен человек.

Забыв царскую изнеженность, Антиох скакал всю ночь, словно какой-нибудь низкородный гонец, и незадолго до рассвета прибыл в Сарды. Там, укрывшись за мощными стенами, царь нашел некоторое успокоение на мягком троне лидийских сатрапов, но, к сожалению, ненадолго. Утром в город с шумом влетела Виктория, ставшая верной спутницей римского оружия, и ослепила жителей серебристым сиянием своих крыл. Из глаз горожан посыпались искры, а их мозги перевернулись кверху дном, и, еще вчера почитая Антиоха величайшим из людей, сегодня они уже не могли назвать никого презреннее, чем он. Увы, тот, кто добывает поклоненье блеском внешних атрибутов власти, мгновенно лишается всякого уважения с утратой этого блеска.

Бормоча отборные антикомплименты по адресу лидийцев, впрочем, негромко, дабы его слышала только свита, по необходимости сохранявшая верность, Антиох снова оседлал коня и продлил свои дорожные страдания еще на несколько дней, пока не достиг Апамеи. Этот город располагался на границе территории, избранной римлянами, и глубинных владений царя. Серединное положение Апамеи диктовало ее населению соответствующую географии идеологию, и оно сохраняло нейтралитет. Поэтому там Антиох Великий сумел получить приют.

Без особого труда, с первой попытки разгромив сирийскую армию, римляне полонили всю Малую Азию и вовсе одним только слухом о победе. Немедленно после битвы у Магнесии к консулу хлынули посольства от городов и сельских общин с нижайшими просьбами принять их капитуляцию. Ему предались Эфес, обе Магнесии, Тралы, Сарды и, уж конечно, все мелкие города. Римляне победоносно проследовали в глубь страны и обосновались в Сардах.

Стремительное развитие событий заставило поторопиться и Публия Африканского. Он считал себя обязанным участвовать в устройстве азиатских дел как в целях достижения гармоничного урегулирования конфликта, так и за тем, чтобы уберечь Антиоха от неумеренных притязаний агрессивной части консульского штаба. Поэтому Сципион незамедлительно известил брата о своем скором прибытии и отправился в путь, едва только оказался в состоянии выдержать тяготы путешествия.

Сципион явился в Сарды как раз вовремя, чтобы разрядить возбужденную эмоциональную атмосферу в лагере. Легкий успех вскружил



голову многим легатам, одних он зажег жаждой славы, других распалил алчностью. В разгоряченных умах возникла идея о походе в центр Азии. Многим сейчас казалось, что для них нет ничего невозможного. Поддавшись этому настроению, Луций начал мысленно примеривать на себя лавровый венок Александра Македонского и мечтать о Персидском заливе и даже об Индии. «Сегодня ты сравнялся с Африканским, – говорили ему хитрецы, – но завтра ты превзойдешь его!» Всю жизнь признавая первенство брата, Луций вдруг опьянел от коварной надежды не просто стать достойным Публия, но и оказаться выше. Он еще ничего не решил, однако дух его уже был болен несбыточной мечтой.

И вот больной телом, но здоровый рассудком Публий принялся терпеливо лечить больную душу здорового Луция. Он обстоятельно, во всей полноте обрисовал перед ним предполагаемый поход, начав рассмотрение с узких, сугубо практических вопросов организации кампании и завершив изображением глобальных общемировых последствий такого предприятия. Публий растолковал брату, что у них нет материальной базы для экспедиции в глубь материка, они не располагают ни денежными средствами, необходимыми для нее, ни запасами продовольствия, а жить грабежом мирного населения римлянам не пристало. Наконец наступила зима, по календарю же – и вовсе весна, срок полномочий Луция истек, и продолжение войны может привести лишь к тому, что победителем Антиоха будет считаться кто-либо из Фульвиев или Валериев, а не он, Луций Сципион, заслуживший это по праву. Но самое главное, по мнению Публия, заключалось в том, что, изменив своей идеологии, превратившись из освободителей греков в завоевателей всего и всех, римляне оттолкнут от себя население не только Азии, но и Греции, вызовут недоверие и недовольство всего Средиземноморья. Тогда к Сципионам станут относиться, как к Ганнибалу, а Ганнибал, наоборот, окажется «на коне» и, возможно, сумеет осуществить давнюю мечту о создании широкой антиримской коалиции и развязывании всемирной войны.

– Неужели ради груды блестящего барахла, годного лишь для утешения царских наложниц в их рабской доле, мы из уважаемых людей превратимся в ненавистных хищников? – снова и снова вопрошал Публий хмуро отмалчивавшегося брата.

Наконец психика Луция не выдержала такого штурма, и однажды он раздраженно воскликнул:

– Зачем ты вот уже третий день мне все это повторяешь? Думаешь, будто я знаю обстановку хуже тебя или не способен предусмотреть последствия безумного предприятия, от которого ты стараешься меня предостеречь? Как-никак, я тоже полководец, и если ты – Африканский,



то я – Азиатский! Согласись, это тоже звучит, тем более, что Азия куда как больше Африки! Для меня лично нет вопроса о дальнейших действиях, но я озадачен тем, как мне убедить в правильности наших взглядов опьяневших от непомерной удачи легатов!

Публий улыбнулся. Он понял, что Луций лукавит, возможно, даже перед самим собою, прикрывая такими словами свое отступление. Однако, как бы там ни было, а бредовая идея, несомненно, отодвинулась из атрия его сознания в темные комнатухи хозяйственных помещений подсознания.

– Вот я тебе и подсказывал, как надо убеждать твоих подчиненных, – примирительно сказал Публий.

– Ну уж в риторике ты силен, – согласился Луций, – и я позаимствую у тебя кое-какие доводы, которые разум мой зрит, а язык выразить не умеет.

При поддержке консула Публию скоро удалось образумить штаб и сориентировать легатов на достижение изначально заданной цели похода, состоявшей в освобождении Малой Азии, предоставлении самостоятельности греческим городам при гегемонии дружественного Риму Эвмена и отстранении Антиоха от участия в делах стран бассейна Эгейского моря.

Не было никакого сомнения в том, что после сокрушительного поражения у Магнесии царь запросит мира, поэтому римляне уже сейчас разработали проект будущего договора с Сирией. При этом практически полностью был принят вариант Сципиона Африканского. Публий разошелся с коллегами только в одном вопросе. Многие, в том числе и сам консул, желали провести в триумфальной процессии знаменитого Ганнибала в облачении из рубища и цепей. Но Публий резко восстал против намерения обязать царя выдать Пунийца.

«Недостойно римского народа придавать чрезмерное значение одному человеку и, уж конечно, глупо трепетать пред Ганнибалом народу, имеющему в своих рядах человека, получившего почетное прозвище за победу над этим самым Ганнибалом! Да простят мне боги и умные люди такую фразу! Я не поставил этого унижительного для обеих сторон условия побежденному Карфагену, тем позорнее оно будет звучать теперь! – кричал он, гневно сверкая глазами. – Наконец, это требование бессмысленно, ибо невыполнимо, – добавил Публий уже более спокойно. – Пуниец верно рассчитал последние события, потому он не торопился к царю после поражения от родосцев, а выжидал исхода нашей схватки с Антиохом, находясь в безопасном отдалении. Я отлично знаю этого авантюриста и могу вас заверить, что теперь-то он уж точно не явится к царю. Верные люди говорили мне, будто африканец уже объ-



явился в Армении. Существуют также слухи о его вояже в Скифию и даже в Индию. Так что Ганнибала вы не получите в любом случае, а вот ослабиться мелочной ненавистью можете вполне. Для самых же осторожных замечу, что Пуниец никогда более не будет принят в Сирии: Антиох не захочет пятнать свою репутацию, покрывая нашего врага, тем более, когда он ему уже совсем не нужен. Так чем опасен Риму этот бездомный скиталец? Не страшитесь ли вы, что он взбунтует дикую Скифию? Или, может быть, он поднимет против нас арабов и вторгнется в Италию на кривоногом верблюде? Полноте, друзья, забудьте былые страхи. Вы – римляне, и этого достаточно, чтобы не бояться никого, кроме богов, да и тех – лишь в том случае, если вы пред ними провинились!

Оставьте в покое Ганнибала. Своим вниманьем вы лишь поднимаете его авторитет. Он повсюду бросает поля проигранных сражений и бежит от нас, скитаясь по всему свету. Так пусть же мир запомнит его бегущим!»

Столь экспрессивным Сципиона мало кто видел, поэтому легаты присмирели, однако тайком продолжали растравливать честолюбие Луция намеками на то, что, притащив в Рим закованного в кандалы Ганнибала, он превзойдет брата, отобрав у него часть славы, чем компенсирует отказ от продолжения похода. Луций не мог аргументированно спорить с Публием Африканским, ввиду чего он замолкал всякий раз после его речи, но затем, выждав какое-то время, начинал все сначала. В конце концов Публий вышел из терпения и заявил, что все бросит и уедет в Элею продолжать лечение. Без одобрения Сципиона Африканского договор неминуемо будет отклонен в Риме – это было ясно всем – да Луций и сам не хотел серьезной конфронтации с братом, потому он пошел на уступки, но все же окончательно не сдался. Тогда было решено спрятать проблему за такой формулировкой: «Царь обязан выдать перебежчиков, предателей и прочих провокаторов, инициировавших войну». Конкретные имена провокаторов предполагалось определить в процессе непосредственного взаимодействия с царскими представителями при реализации условий договора таким же порядком, как и имена заложников. Если к тому времени выяснится, что след Ганнибала потерян, то вопрос отпадет сам собою.

Антиох не замедлил заявить о себе. Но царь опасался обращаться к консулу, полагая, что если тот не принимал всерьез его посланцев прежде, то после победы и вовсе не станет с ним разговаривать, потому он отправил гонца к Сципиону Африканскому, чтобы тот указал ему путь к заключению мира. Публий встретил азиата весьма любезно и через него передал царю, чтобы он, не колеблясь, присылал официальное



посольство или, еще того лучше, явился сам. При этом он советовал сначала обратиться к Эвмену, чтобы разрешить с ним старые обиды и заложить основы добрососедских отношений.

Либо остатки гордости, либо, наоборот, полное отсутствие таковой не позволили Антиоху предстать перед римлянами в качестве побежденного, и от него прибыла делегация, состоящая из матерых политиков, профессионализм которых, впрочем, уже ничего не значил, поскольку все было решено у Магнесии. При посредстве Публия Сципиона состоялась встреча сирийцев с царем Пергама, которому отныне отводилась ведущая роль в политике этого региона, и произошло его примирение с давними обидчиками. Заручившись благосклонностью Эвмена, послы отправились к римлянам. Перед ними они произнесли витиеватую речь, стараясь пышными фразами прикрыть ее смысл, подобно тому, как цветами убирают могилу. Однако, когда красочные образы увяли вместе с растаявшими в тишине тронного зала звуками, слушателям во всей неприглядности предстала голая суть, как сквозь скелет увядшего венка проглядывает голая земля, сомкнувшаяся над мертвецом. Так сирийцы известили победителей о капитуляции.

Слово для ответа было дано Публию Африканскому. Уже одним своим именем он придал значимость происходящему, одним своим видом сообщил торжественность обстановке этого собрания. Он мог и вовсе ничего не говорить, ибо сирийцы и без того все сразу поняли и понурыми позами выразили покорность.

Сципион выступал перед азиатами совсем не так, как перед соотечественниками. Он знал, сколь падки дети монархий до эффектных проявлений внешних признаков могущества, потому говорил нарочито неторопливо и величаво. При всем том, его речь была ясной, простой и внушительной, как римский характер.

Сципион сказал, что они, римляне в своих предприятиях руководствуются справедливостью, а не выгодой, потому победы не делают их слишком требовательными, а поражения – более уступчивыми. «Наш девиз: мера и честь», – говорил он и на основании этого заключал, что, ради достижения мира, царь должен принять те же условия, которые были предъявлены ему ранее, и лишь сумма контрибуции возрастает пропорционально с увеличением римских расходов на проведение кампании.

Конкретно римские требования сводились к следующему перечню: Антиох должен был навсегда отказаться от притязаний на Европу, очистить Малую Азию до Таврских гор, выдать перебежчиков и зачинщиков конфликта, прислать двадцать заложников и заплатить пятнадцать тысяч талантов серебра в возмещение убытков, понесенных римлянами из-за развязанной им войны, причем пятьсот талантов – немедленно,



две тысячи пятьсот – по заключении договора, а остальные – равномерно в течение двенадцати лет.

Выслушав приговор, послы некоторое время помешкали, затем переглянулись и сознались, что царь, будучи в бедственном положении, велел им принимать мир на любых условиях. Совещание продолжилось, и к всеобщему удовлетворению сделка была совершена в тот же день.

В ближайшее время сирийцы снарядили делегацию в Рим, чтобы добиваться ратификации соглашения народным собранием. С ними отправились: легат консула, Эвмен, посольство родосцев, а также представители многих других малоазийских общин.

Консул распределил армию на постой в различные города, а сам обосновался в царской резиденции Эфеса. Наступил звездный час Луция Сципиона. Со всех сторон на него смотрели почтительные лица, отовсюду раздавались восхваления, его все чаще называли Азиатским, хотя закрепиться за ним это прозвание могло только по волеизлиянию народа во время триумфа. Попад в поток лести, Луций сделался необычайно грациозным, его движения обрели округлость и завершенность, как у пловца, нырнувшего в реку. Но при этом Луций был подчеркнуто предупредителен с друзьями и особенно – с Публием, всячески стараясь показать, что, несмотря на свое возвышение, он ничуть не зазнался и по-прежнему относится к брату как к равному. Так, более или менее успешно умиляя окружающих подобной, весьма непростой простотой, консул несколько месяцев упивался счастьем в прославленном красивом городе Эфесе, пока в Риме решалась судьба Азии.

А в столице Средиземноморья первым раундом политической борьбы намечилось новое противостояние. Относительно Антиоха и Сирии все было ясно: царь побежден, и Сципионы заключили с ним договор, соответствующий духу, традициям и интересам римлян, который ввиду этого был безоговорочно одобрен сенатом, а потом и народом. Но передел мира никогда не проходит безболезненно. Перспектива новых приобретений стала тяжким испытанием для малоазийских государств, главным образом, для основных союзников Рима – Пергама и Родоса. Суть проблемы состояла в том, что, ведя войну под флагом освобождения греков, римляне, по мысли родосцев, соблюдая последовательность, обязаны были дать волю и тем городам, которые находились под властью Эвмена, а, по мнению царя, этого делать не следовало, поскольку такая мера привела бы не к самостоятельности мелких греческих общин, а к усилению за их счет Родоса и ущемлению интересов Пергамского царства, верой и правдой служившего Риму во всех его предприятиях на Востоке. Эвмен сумел нанести противникам упреждающий удар и вообще вел чрезвычайно тонкую политическую игру, но



был сладок до приторности в низкопоклонстве пред римлянами, своим примером доказывая, что царь по сути есть тот же раб, лишь до поры, до времени не нашедший себе господина. Родосцы держались с большим достоинством, их речь сверкала самыми прекрасными лозунгами той эпохи, каковые отлично вписывались в сферу их собственных интересов, но вклад островитян в победу над Антиохом все же был меньше, чем внесенный Эвменом, и это ослабляло их доводы в глазах римлян. «Спору нет, праведное дело – освобождать народы от чуждой им власти, но несправедное дело – обижать верного союзника, – отвечали на это сенаторы. – Увы, мы тоже не всесильны: устранив большую часть зла, мы еще далеки от конечной цели – его полного искоренения. Эвмен был принят нами в союз, и вами, кстати сказать, – тоже, таким, каков он есть, и этим все сказано. Мы не можем вмешиваться во внутренние дела союзного государства и указывать, как следует поступать с теми или иными его городами так же, как не может один гражданин распоряжаться домохозяевами другого».

В итоге сенат постановил разделить отвоеванные у Антиоха земли между Пергамским царством и Родосской республикой, большую их часть отведя Эвмену, городам, державшим в войне сторону римлян, предоставить свободу, если только они не являются данниками пергамского царя, а те, которые проявляли враждебность, отдать под власть Эвмена. Для детального урегулирования территориальных вопросов в Азию была отряжена делегация из десяти видных сенаторов. Партия Корнелиев-Эмилиев приложила усилия к тому, чтобы в эту комиссию провести своих людей, способных достойно реализовать в Азии замыслы Сципионов. Это им удалось, и в числе послов оказались легаты африканской кампании Квинт Минуций Терм и Квинт Минуций Руф, а также соратники Публия Сципиона в других делах Гней Корнелий Мерула, Луций Эмилий Павел, Публий Корнелий Лентул и Публий Элий Туберон. Ярых противников здесь было двое: Луций Фурий Пурпуреон и Аппий Клавдий Нерон.

Достопримечательности Эфеса скоро прискучили Сципионам и, когда греки хвалились перед ними своими непревзойденными статуями, раздраженно отвечали: «У каждого собственный идеал: вы, греки, создаете произведения искусства из камня, а мы, римляне, – из живых людей!» Потому, как только они узнали, что договор ратифицирован и в Азию собирается комиссия, составленная из верных им людей, без промедления была снаряжена эскадра, которая доставила полководцев и лучших солдат, отобранных для триумфа, в Италию.

В ходе этого путешествия Публию снова не удалось изучить Грецию так, как он о том мечтал. Ему надоела чужбина, душа его стонала от то-



ски по зеленым холмам родной Италии, и он торопил время, стремясь к свиданию с Отечеством. «Наверное, я стал стар и потому меня так тянет к домашнему очагу», – с грустью думал он. О том, как торопился в Рим Луций, нечего и говорить, ведь там его ожидал триумф! Поэтому братья вожаденно всматривались в синюю колеблющуюся даль и почти не оглядывались на проплывающие мимо них города Греции. Правда, по долгу всех полководцев, воевавших в этих краях, Сципионы все же задержались на Делосе и в Дельфах, чтобы принести дары Аполлону и поглазеть на знаменитую надпись в дельфийском храме: «Познай самого себя», а заодно – на «пуп земли» – округлый камень возле расщелины с ядовитыми парами, вдохновлявшими жрицу на самые фантастические, но будто бы верные пророчества.

«Когда-нибудь потом, отдохнув от всех трудов, я приеду сюда с каким-либо посольством или даже просто как путешественник и всласть полюбуюсь чудесами и красотами этой страны», – утешал себя Публий, покидая Грецию навсегда. Однако он все-таки испытывал досаду, что судьба не позволила ему посетить ни Афины, ни Спарту. «Какой-то Порций, который только и делает, что на всех углах хаает эллинов, побывал в славном граде Фемистокла и Перикла и даже сорвал там аплодисменты за свой острый язык, режущий все подряд: и доброе, и злое – а мне этого не удалось», – с горечью жаловался он самому себе.

Средиземноморье ежилось в зябких объятиях зимы, но на море стояла тихая погода, ведь у Сципиона была давняя дружба с Нептуном, и плавание прошло успешно. Победители высадились в Брундизии как раз в тот день, когда туда прибыла следующая противоположным курсом сенатская комиссия. Восхищенная Италия с шумом и с первыми весенними цветами проводила своих лучших сынов до самого Марсова поля и в храме влюбленной в них богини войны с рук на руки бережно передала сенаторам.

Но сенат принял Сципионов не столь бережно, ибо там был Катон и его крепко сбитые воинственные соратники, научившиеся презирать стоящих у них поперек дороги героев, но до сих пор не умеющие носить тогу с иной грацией, чем походный плащ. «Экая невидаль: сходить в Азию! – восклицали они. – После «Фермопил» это было не более чем легкой прогулкой для изнеженных нобилей!» «Да, действительно, Сирия была сокрушена еще в Греции, и успех в Азии явился лишь закономерным следствием той кампании», – поддакивали им середняки, которым и Греция, и Азия представлялись одинаково далекой чужбиной. «Цветок победы над Антиохом был сорван при Фермопилах!» – лаконично подвел итог психической атаке своих бойцов Катон и принял позу, каковая, по его замыслу, должна была ясно показать всем присут-



ствующим, кто есть тот садовник, который разорил клумбу Виктории в Фермопильском ущелье. Но после того, как Луций Сципион в ответ на эти высказывания предложил присудить триумф над Азией Катону, всем стала очевидна абсурдность нападок недоброжелателей Сципионов, и собрание приняло должный тон. Сенаторы внимательно выслушали доклад Луция и благосклонно встретили его просьбу о триумфе.

В короткий срок были завершены все приготовления, и победоносный император в пурпурной расшитой золотом тоге и венке Юпитера на белоконной колеснице въехал в Город. Состоялся триумф, равного которому по блеску, роскоши и количеству добычи еще не знала история Рима. В праздничном шествии были пронесены двести двадцать четыре отбитых у неприятеля знамени, сто тридцать четыре изображения завоеванных городов, тысяча двести тридцать один слоновый бивень, неисчислимые груды серебра в монетах, слитках, чеканных изделиях и россыпи прочих сокровищ, от вида которых у плебса потемнело в глазах, закружилась голова и произошло помутнение рассудка, длившееся несколько столетий.

«Зачем нам отныне воевать, ведь за нас будет сражаться богатство? – говорили обалдевшие от азиатского счастья римляне. – Зачем нам трудиться? Это будет делать богатство. Зачем нам воспитывать доблесть, развивать ум и чувства, ведь богатство нам все заменит? Зачем нам жить, ведь это будет делать за нас...» – тут рассуждения обрывались как слишком длинные для отягченных созерцанием металлического блеска умов.

Вышло так, что Сципионы раскрыли ворота Азии, через которые в Рим ворвался сметающий на своем пути честь и совесть, традиции и законы искрящийся хмельной поток роскоши, затопивший их Родину и похоронивший под мутными волнами мечты о ее духовном величии. Многоголосый крик в Большом цирке: «Слава Луцию Корнелию Сципиону Азиатскому!» – венчал эпоху бурного расцвета Римской республики, в стремительном восхождении достигшей обрывистой вершины своей истории.



ЗАКАТ

I

На Сципионов обрушилась новая лавина славы, которая повсюду ласкала их улыбками, приветствовала рукоплесканиями, устилала мостовую на их пути цветами, хлестала по лицу завистливыми взглядами. Многоликая слава совала любопытные носы к ним в столовую и спальню, шумно смаковала свершенные ими подвиги в поисках повода для очередных восхвалений, рылась в их частной жизни в надежде обнаружить там хоть сколько-то черной краски, годной для нанесения пятен на их репутацию. Широкие плечи Сципионов не раз выдерживали подобный груз, однако теперь и в качестве самой славы, и в характере ее восприятия произошли изменения, приведшие к существенным отличиям в нынешнем состоянии Сципионов по сравнению с тем, что им довелось пережить прежде.

Сегодня слава стала обоюдоострой. Прошли времена, когда народ беззаботно ликовал, празднуя успехи государства, когда каждый гражданин душою сливался со всею общиной и ощущал себя победителем Пирра и Ганнибала, хозяином Италии, Сицилии, Испании и Африки. Вползшее в Рим с обозами побежденных народов богатство сделало денежные инъекции части граждан, искусственно раздув их престиж, чем умертвило справедливость и разрушило гармонию взаимоотношений. Люди увидели, что для преуспевания в таком обществе совсем не обязательно быть доблестным, честным, умным и талантливым, а достаточно сделаться изворотливым, лицемерным, хитрым и мелочным. Дурная действительность вступила в конфликт с былой добродетель-



ной моралью и поразила граждан болезнью скептицизма. Этот недуг душевного зрения, дробящий восприятие дворцов и храмов на серые камни, из которых они сложены, лишил людей способности постигать великое, сузил их взгляд до размеров серебряного кругляша с изображением головы Януса или богини Ромы. Им более не принадлежали ни Италия, ни Африка, ни Испания, ни сам Рим, ни Сципионы с их победами, ни солнце, ни звезды, ни луна; теперь они являлись гражданами каморки в многоэтажном доходном доме, участка в два югера или, в крайнем случае, в пятьсот югеров, что столь же ничтожно в сравнении со всей ойкуменой. Поэтому вид триумфаторов толкал их на звериное пресмыкательство перед силой успеха и вызывал совсем не звериную зависть к любимцам Фортуны, тем большую, чем низменнее было их собственное подобострастие.

Образ Сципионов не помещался в измельчавших душах, и у обывателей возникало желание расколоть его на мелкие кусочки, размолоть в порошок, растереть в пыль. От смрадного дыхания мешанской массы мутнел воздух и вяли цветы. Низость восстала против величия, бесплодная пустыня покушалась на благоухающие зеленью холмы, болота грозили океану! Над ползучим царством зависти и злобы властвовал пещерный дух Катона, выкликающий из-под земли людей-жуков, людей-сороконожек, людей-червей, и они, извлекаемые его заклятьями из сырых расщелин на поверхность мира, являли людей, сохраняющих гордую осанку и смеющих смотреть на небеса.

Однако гром недавнего триумфа все еще эхом разносился по римским кварталам и заглушал злобное шипение. Значительная часть народа пока отставала в уровне деградации от требований времени, и такие люди искренне проливали слезы счастья и гордости за Родину, смотря на триумфатора, сжимающего скипетр Юпитера. У многих рты были заняты пережевыванием угощений, а руки оттягивала азиатская добыча. Все это затрудняло деятельность Катона, и его ненависть оставалась не затребованной в полной мере.

Другая особенность нынешнего этапа в жизни Сципионов состояла в том, что сместился центр тяжести славы. Прежде лик Виктории ореолом сиял над Публием, и лишь краем плаща богиня победы осеняла Луция. Теперь, разрываясь между братьями, Виктория вынуждена была призвать на помощь свою греческую сестру Нику, дабы отдать должное сразу обоим императорам, тем более, что у себя на родине той все равно нечего было делать в отсутствие Сципионов. Тень великого человека, коей до сих пор являлся для римлян Луций, наконец материализовалась и обрела плоть в образе Сципиона Азиатского. Народ терял голову в тщетных попытках справедливо распределить любовь и почитание между Публием



Африканским и Луцием Азиатским, а в результате самозабвенно боготворил обоих. Но трезвомыслящие люди, несмотря на успех Луция, знали, кого им ценить превыше всех, так же, как и Катон точно знал, кого ему в первую очередь ненавидеть. Им было ясно, что именно Сципион Африканский собрал в войско лучших солдат, именно он устранил с пути эллистов, добился поддержки Филиппа и затравил Антиоха в холмах Малой Азии, словно медведя в берлоге, а Луций проявил себя только в самом сражении, которое было проведено не столь уж безупречно, как то может казаться, если судить о нем по итогам. Да и вообще, мало кто отваживался равнять сирийцев с карфагенянами, а Антиоха с Ганнибалом.

2

В первые месяцы по возвращении из Азии Рим представлялся Сципионам сверкающим на солнце, ласковым морем, над приветливыми волнами которого лишь иногда, как привидение, мелькает плавник акулы. Однако зубастые хищники повсюду покидали темные глубины и целыми косяками стягивались к берегу, где беззаботно нежились в лучах славы братья, носящие имена целых материков.

Еще полтора года назад, когда Сципионы только что покинули Италию, отправившись на войну с Антиохом, Катон расправил крепкую грудь бойца, глубоко вдохнул и повел риторическую атаку на друзей принцепса. Доставалось всем. Только Лелия колючий язык Порция обходил стороной как из-за большой популярности Гая, так и ввиду еще не остывшей надежды сманить его в свой стан. Этот блистательный фейерверк злобы умело использовали Фульвии и Фурии, топившие политических соперников из лагеря Корнелиев-Эмилиев в водовороте Катоновых словес и занимавшие их места.

В разгар этой кампании в столицу возвратились проконсулы Квинт Минуций Терм и Маний Ацилий Глабрион. Первый победоносно завершил войну с лигурами, второй в Греции разбил Антиоха. Оба они были ближайшими соратниками Сципиона Африканского и именно в таком качестве выдвинулись из незнатных родов и поднялись на самую вершину римской карьеры. Естественно, Катон люто ненавидел этих людей, тем более, что Ацилий еще и был его командиром на Балканах.

Поскольку Порций уже давно стал негласным принцепсом всех торгашей и ростовщиков, то через этот проницательный контингент он следил за враждебными ему магистратами и выведывал самые пикантные подробности их поведения в провинциях, которые затем с треском использовал в политической борьбе. Вот и в тот раз, собрав зловонный компромат на героев года, он пустил в ход весь набор слухов, сплетен, домыслов и обрывков правды, подсмотренных через замочную скважи-



ну и подслушанных через тайники стен. За Ацилием Порций имел возможность наблюдать непосредственно, и потому накопил о нем особенно много материалов, но его победа была слишком громкой и весьма актуальной, поскольку как раз тогда начался представлявшийся очень трудным и опасным азиатский поход Сципионов, потому Катону пришлось умерить свой пыл по отношению к Ацилию и сосредоточить все силы на уничтожении Минуция Терма. Однако осечка в деле с Глабрионом обозлила его до предела, и он, дрожа от нетерпения, ждал часа, когда сможет расправиться со своим недавним императором.

Попытка критики боевых действий Минуция не привела к успеху, потому как при частичных неудачах в целом он провел кампанию успешно и одолел воинственный народ, подготовленный к борьбе с Римом еще африканцем Магоном. Тогда Порций сменил тактику и ударил полководца в спину. Дело в том, что Квинту пришлось больше сражаться с собственными солдатами, чем с лигурийцами. Привыкший к дисциплине Сципионова войска, Минуций был ошеломлен, обнаружив распушенность и неподготовленность полученных им легионов. Со свойственным ему темпераментом он взялся за воспитание солдат, прибегая к исправительным работам и розгам. С точки зрения старинных римских обычаев, в его крутых мерах не было ничего предосудительного, более того, прежде консулы использовали даже смертную казнь, как, например, Сципион – против сукронских мятежников. Но ревностный охранитель нравов предков Марк Катон всегда готов был осудить эти самые нравы, если того требовало святое дело травли политических соперников. Потому в этом случае черствый и жестокий Порций неожиданно сделался мягким и человечным. Он начал активно ратовать за гуманизм отношений в армии и призывал уважать в пьянствующем, предающемся на глазах полководца разврату солдате личность покорителя ойкумены и обладателя кучки серебра. Столичному плебсу, избалованному подачками и отвыкшему от ратных трудов, очень понравились речи нового Катона. Красноречиво живописуя проводившиеся и не проводившиеся Минуцием Термом экзекуции по отношению к трусам, дезертирам и растяпам, Порций запугал еще более трусливых, чем солдаты Минуция, обывателей и настроил их против проконсула. В шумном шквале возмущения, раздутом Катоновой глоткой, бесследно потонул голос Минуция, просящего триумф.

Терму было отказано в заслуженной почести. Ну а уж с торжественным въездом в Город Ацилия Глабриона Порцию пришлось смириться, и он утешался в этом несчастье тем, что вновь и вновь рассказывал всем подряд о своем фермопильском подвиге, сделавшем, по его заверению, возможным нынешний триумф Глабриона.



Затем ораторская команда Катона попыталась прославить поражение в Испании Луция Эмилия Павла, но претор вскоре разбил иберов и возвратился из провинции победителем. Большого успеха достигли катоновцы в напаках на другого Эмилия – товарища Павла – Лепида, который, исполнив претуру, сразу же выставил свою кандидатуру в консулы. Такая поспешность, свидетельствовавшая о неумном честолюбии, как раз и стала поводом для его критики. Вкупе с Фульвиями и Фабиями Порций сумел так измусолить имя Эмилия в самых кислых словосочетаниях, что набил им оскомину плебсу, и на выборах толпа презрительно отвернулась от того, кого в дальнейшем много лет чтילה как первого гражданина государства.

Консулами стали бесноватый честолюбец Марк Фульвий Нобилиор и «серая лошадка» Гней Манлий Вольсон. Успех противников Корнелиев был столь велик, что и в преторы в основном прошли их кандидаты. Лишь только Луцию Бебию – видному легату Сципиона, отличившемуся в Африке, удалось преодолеть вражеские редуты и пробиться к претуре, да и то благодаря богатству. Однако Бебию не повезло более всех прочих: на пути в доставшуюся ему провинцию Испанию он попал в засаду обозленных поражениями лигурийцев и, получив в схватке тяжелые раны, вскоре скончался.

Заручившись поддержкой вновь избранных магистратов, Катон стал действовать еще решительнее и предпринял самую авантюрную антисципионовскую акцию последних лет. Незадолго перед тем в Риме стало известно, что Сципионы благополучно завершили беспрецедентное путешествие и переправились с войском в Азию. Это событие вновь всколыхнуло любовь народа к представителям славного рода и повысило авторитет их столичных друзей, что поставило под угрозу надежды новых консулов получить вожаемое назначение в Азию. Вот тут-то и пошел по Риму слух, будто оба полководца были завлечены Антиохом в ловушку под предлогом переговоров о выдаче сына Публия Африканского и захвачены в плен, после чего сирийцы якобы напали на римский лагерь и уничтожили все войско без остатка. Катясь по городу, как снежный ком, эта сплетня обрастала все новыми устрашающими подробностями. Во всей своей абсурдности проявились импровизационные способности обывателей, и вскоре на площадях Рима говорили о том, что на костях Сципионов восстал весь Восток, этолийцы завоевали Грецию и, объединившись с азиатами, наступают на Италию широким фронтом, встрепетулся Филипп, оскалились дикие фракийцы.

В таких условиях, естественно, требовались энергичные ответные меры государства, и они были осуществлены: без особых разногласий консулам предоставили в управление Азию и Этолию, благо, агрессив-



ным силам в сенате удалось замордовать этолийское посольство и спровоцировать продолжение войны. Так восторжествовала экспансионистская политика враждебных Сципиону кругов в лице тщеславных, чувствующих себя обделенными Фульвиев, Фуриев, Фабиев и алчных рыцарей наживы из катоновского лагеря.

Ведьмин дух сплетни о провале Сципионов в Азии, как и следовало ожидать, вскоре выдохся, дымовая завеса рассеялась, истина открылась всем взорам, но дело уже было сделано, и Манлий Вольсон, получивший по жребию командование в Азии вместо Луция Сципиона, довольно потирал руки. Не особенно был расстроен и Фульвий, полагавший, что и в Греции он сможет побуянить настолько, чтобы получить триумф. Катон выиграл в том, что проиграли Сципионы, а его сподвижники выстроились в очередь за азиатской добычей и наперебой записывались в войско Манлия, где их ждало обогащение.

В тот год удачи сыпались на стриженую голову Катона, как из рога изобилия. Отобрав триумф у Минуция Терма, он тут же получил возможность лишиться консулата Эмилия Лепида, затем ему довелось навредить самим Сципионам и почти сразу же представился шанс свести счеты с Ацилием Глабрионом.

Наступила пора выборов цензоров. Среди кандидатов были такие видные фигуры как Тит Квинкий Фламинин, Публий Корнелий Сципион Назика и Марк Клавдий Марцелл. Несмотря на столь авторитетный перечень соискателей, к ним в соперники записались Марк Катон и его давний друг Луций Валерий Флакк, а также Маний Ацилий Глабрион, надеявшийся использовать свою свежую славу для получения престижной должности. Триумф Ацилия и сопровождавшие его подарки и впрямь были памятны народу, а потому Маний имел наивысший рейтинг на первом этапе предвыборной борьбы. Но затем нобили возмущались засильем в верхах «новых людей» и открыли по удачливому конкуренту стрельбу увесистыми обвинениями. Верные сподвижники Фульвиев и Фабиев Семпронии в лице двух своих представителей, являвшихся народными трибунами, привлекли Ацилия к суду за якобы утайку части военной добычи. Показания свидетелей были сумбурны и неопределенны ввиду значительных размеров самой добычи. И лишь Катон твердо заявил, будто не заметил во время триумфа золотых сосудов, каковыми любовался в Греции, и тем самым потопил своего командира, наградами которого он совсем недавно гордился. На первых двух из трех полагавшихся по закону слушаниях дела Ацилия присудили к уплате штрафа. Тогда Глабрион, обвинив знать в слепом недоброжелательстве, а Катона – в лжесвидетельстве и беспринципной угодливости пред нобилями, демонстративно отказался от соискания цензуры. До-



стигнув истинной цели, Семпронии прекратили судебное преследование Ацилия, и его, отныне никому не интересного, оставили в покое, напрочь забыв о третьем заседании суда.

Однако шумный и откровенно пропагандистский процесс скомпрометировал и Катона, исчерпав на данном этапе потребность толпы в злобных эмоциях, потому Порций тоже лишился внимания народа и вчистую проиграл выборы. Цензорами стали Тит Квинкий Фламинин и Марк Клавдий Марцелл, которые, кстати сказать, без колебаний записали первым гражданином Республики Публия Корнелия Сципиона Африканского.

Правда, упустив цензуру, на которую он в то время серьезно и не мог рассчитывать, Катон одержал более важную победу над нобилитетом. Оказывая услуги знати антисципионовской партии, Порций при их благодушном попустительстве провел через трибуна Квинта Теренция Куллеона, альянсом с которым составил самую ядовитую пару того десятилетия, закон о предоставлении гражданских прав детям вольноотпущенников. Тем самым он влил в ряды римлян массу потомков рабов-иностранцев со всего света, чем подорвал нравственное здоровье римского народа, но зато расширил свою социальную базу, заручившись поддержкой этих новых граждан, многие из которых, кроме всего прочего, были очень богаты.

В качестве реванша партия Сципиона нанесла противникам лишь комариный укус: Великий понтифик Публий Лициний Красс якобы по религиозным соображениям не отпустил в провинцию претора Фабия, являвшегося по совместительству жрецом. Это дело тоже вызвало шумиху, сопровождалось всевозможными публичными слушаниями и разбирательствами, однако на фоне достижений оппозиции выглядело смешотворно.

Лишь безукоризненный Гай Лелий был неуязвим для любых нападок и оставался чистым в ливне грязи, обрушившемся на Город. Получив консульское назначение в земли бойев, он добросовестно занимался наведением порядка на севере Италии и налаживал в этой беспокойной зоне послевоенную жизнь. Лелий усилил и пополнил новыми переселенцами форпосты римлян против галльских нашествий Кремону и Плаценцию, а также образовал две новые колонии на территории, отобранной по праву войны у бойев Сципионом Назикой.

Однако, когда в Рим возвратились победоносные Сципионы, реальными делами сумевшие опрокинуть все политические препоны, воздвигнутые на их пути оппозицией, закончившие войну раньше, чем их успели лишить полномочий, общественное мнение вновь изменило полярность, обратившись сияющим лицом к Сципионам, а неприглядным



местом – к Катону, который в досаде был вынужден покинуть столицу и укрыться от нестерпимой славы Сципионов и насмешек сограждан в лагере консула Фульвия Нобилиора, поспешно отбывшего в Этолию. Манлий Вольсон так же торопливо рванулся в Азию в надежде найти там отголоски войны или, на худой конец, остатки добычи.

Ретировавшись из Рима при виде грозного врага в триумфальной колеснице, Фульвии, Манлии и Катоны не унывали и, прибыв в провинции, энергично принялись за дело, стараясь толком вознаградить себя за политические труды, что им и удалось ценою беспримерных боевых походов, достойных времен гниения империи. Особенно веским было новшество, внесенное в стратегию Манлием, но и Нобилиор смотрелся молодцом.

Вторгшись в пределы владений затравленных этолийцев, Фульвий с расчетливой надменностью не замечал никаких парламентаров. Он искал славы, а не мира, потому его взор жадно шарил по зубчатым стенам греческих городов и высокомерно скользил по жалким лицам униженных послов. Высочайшего внимания консула удостоился город Амбракия, стоявший на границе между Эпиром и Этолией, славный своими культурными ценностями, ибо там некогда находилась резиденция знаменитого царя Пирра. Амбракийцы выразили готовность внять гласу грозного римлянина и выполнить все его хоть сколько-нибудь справедливые требования, не подозревая по своей наивности, что, как заяц – волка, так и они могут удовлетворить Фульвия только одним способом. Нобилиор разграбил поля амбракийцев, чем сразу остудил их дипломатический пыл и разжег – воинственный. Население этого края ожесточилось и заперлось в стенах города, приготовившись к обороне. Фульвию только того и было надо. Он повел массированное наступление на Амбракию по всем правилам военного искусства. Но оказалось, что и амбракийцам не чужды знания в этой области. Сложным штурмовым орудиям римлян греки успешно противопоставили не менее хитроумные оборонительные механизмы. Когда нападающие разрушали таранами городские стены, жители позади них возводили новые укрепления, когда римляне сделали разветвленный подкоп, греки установили его местоположение с помощью медных сосудов, используемых в качестве резонаторов, вырыли собственные катакомбы и дали врагу подземный бой, а затем и вовсе выкурили его из этого лабиринта дымом. Многомесячные страсти под Амбракией привлекли внимание общественности, и теперь уже консулу не удалось уклониться от переговоров. При посредстве нейтральных соседей было заключено соглашение о мирной сдаче города. Амбракийцы открыли ворота, и вот тут-то римляне учинили разбой, дочиства разграбив все произведения искусства, не пощадив да-



же изображений богов в храмах. После них в городе остались лишь пустые пьедесталы и постаменты, да голые стены.

Затем победитель возомнил себя равным Титу Квинкцию и решил увенчать свой лик дипломатическими лаврами. Он отправился на Пелопоннес, где долго пытался урегулировать очередной конфликт между бьющейся в предсмертных конвульсиях Спартой и Ахейским союзом. Самое умное, что смог посоветовать спорящим мудрый консул, это отправить посольство в Рим. Правда, в сенате тоже не сумели развязать запутанный узел противоречий, и по делу, в котором душою римляне были на стороне лакедемонян, а разумом, подчиненным политическому расчету, стояли за ахейцев, был дан замысловатый ответ в духе дельфийского оракула, каковой каждая из сторон могла трактовать в свою пользу. В результате, победил сильнейший: ахейцы под предводительством Филопемена подло расправились с лакедемонскими аристократами, ложью заманив их к себе, и лишили обезглавленную Спарту не только политической самостоятельности, но и духовной самобытности. Так прекратил существование еще один выдающийся народ, растворившись в массе окружающей посредственности.

Покрасовавшись в ахейском собрании, Фульвий вновь обратил свой далеко не бескорыстный гнев на этолийцев. Не имея никаких шансов на успех, этолийцы смирили гордыню и без устали молили о пощаде то консула, то сенаторов, соглашаясь на все условия римлян. На их защиту встала вся Греция, присоединившая голоса лучших ораторов к просьбам этолийских послов. В такой обстановке война стала политически невозможной, и потому неотвратимо назревал мир. Скрепя сердце, Фульвий подобрел к истерзанным грекам и дал им надежду на лучшее будущее.

Разочаровавшись в перспективах этолийской войны, Нобилиор посмотрел в море стратегически значимый остров Кефаллению и молниеносно ввел туда легионы. К своей досаде, он сразу же наткнулся на коленопреклоненных греков, которые безоговорочно капитулировали, лишив воинственного консула права на добычу. Уже приняв от местных общин заложников, осененный счастливой идеей консул распустил слух, будто собирается выселить из одного приморского города всех жителей и сделать его исключительно военной крепостью. Перед лицом такой угрозы горожане заперли ворота и изготовились к защите. Довольный своей выдумкой Фульвий незамедлительно предпринял штурм, но вскоре вынужден был перейти к затяжной осаде, ибо Фортуна разочаровалась в римлянах и приняла сторону ведущих справедливую борьбу греков. Но зато, истомив защитников четырехмесячными боевыми действиями и овладев городом, Фульвий и его верные сорат-



ники существенно повысили свое материальное благосостояние, разграбив каждый дом и продав все население в рабство.

Другой консул добился значительно больших, в весовом исчислении, успехов. Греки были слишком говорливы и то и дело норовили опутать римские мечи паутиной словес, азиаты же оказались проще, и с ними Манлий Вольсон не церемонился. С согласия Аттала – брата Эвмена – он объявил азиатских галлов, некогда с боями переселившихся сюда из Европы, отъявленными злодеями и развязал против них войну. При этом он выказал пренебрежение к существовавшим на такой случай обычаям своей Родины. Но воевать с галлами трудно, да и народ это аскетический, зато в прилежащих областях Фригии и Лидии груды несметных сокровищ покоились рядом с рыхлыми тушами ленивых, изнеженных роскошью жителей. Это сонное царство и решил посетить консул в первую очередь. Тактика его была такова: он вторглся в земли какого-либо пигмейского государства, жег и грабил все подряд, пока к нему не прибегал разбуженный топотом солдатских сапог царек. Страшая азиата, Манлий вымогал у него взятку, после чего оставлял это княжество и отправлялся в соседнее. Прodelав веселое путешествие по центральной области Малой Азии, он, проявив недюжинный талант стяжательства, собрал огромное количество талантов серебра и золота. Потом Манлий попытался спровоцировать на новую войну Антиоха, но сирийский монарх, наученный горьким опытом, шел на любые уступки, лишь бы сохранить мир. К тому же, вопросами взаимоотношений с Антиохом ведали десять сенатских легатов, которые быстро пресекли неблагоприятные поползновения консула. Тогда Вольсон, наконец, начал войну с галлами. С его приближением, обороняющиеся свезли все имущество в горы, там же укрыли женщин и детей и превратили природные бастионы в свою крепость. Не считаясь с потерями, Манлий атаковал врага на этих неприступных высотах и, благодаря грамотно построенному плану наступления и отменной выучке солдат Сципионова войска, одержал полную победу. Через некоторое время консул подобным образом разгромил другое галльское племя и, сверх меры нагрузившись добычей, посчитал войну законченной. Римляне вновь спустились на равнины, прибыли в Эфес и стали готовиться в обратный путь на родину.

Попав во время этой экспедиции в непроходимые джунгли золота и серебра, римляне сделались более алчными, чем азиаты, и более дикими, чем галлы. Характерный для их тогдашнего морального уровня эпизод произошел с неким центурионом. Тот учинил зверское насилие над пленной женой одного из галльских вождей, а затем еще захотел получить с нее выкуп за освобождение. Праведный гнев женщины развил в ней присущие ее полу задатки интриганства, и при передаче денег она



изловчилась убить подлеца, после чего отрезала его голову и бросила ее к ногам мужа, сопроводив этим действием рассказ о нанесенном ей оскорблении и о состоявшейся мести. Происшествие получило широкую известность, и гордая женщина потом пользовалась большим уважением всех настоящих римлян, сумевших уберечь свои души от золотой ржавчины, которые и сохранили этот рассказ для потомков.

В ходе обратного марша через Фракию войско Манлия угодило в засаду и, понеся людские потери, лишилось также части добычи. В схватке с местным населением погиб один из лучших друзей Сципиона Квинт Минуций Терм, сопровождавший Манлия в качестве члена сенатской комиссии. В дальнейшем, на протяжении всего пути через Фракию, римляне продвигались вперед с боями, теряя людей и серебро. Так судьба наказала их за алчность и пренебрежение к моральным установлениям предков.

Впоследствии, оправдываясь в происшедшем перед сенатом и народом, Манлий Вольсон доказывал неизбежность столкновения с фракийцами, а успех Сципионов, безболезненно одолевших этот маршрут, объяснял малым количеством добра в их обозе. Однако такое утверждение могло выглядеть убедительным разве только для самого Вольсона, помешавшегося на добыче и все в мире сводящего к ней. Фракийцы, как любой воинственный народ, никому не позволяли проходить по своей территории без особых на то причин, а, кроме того, обоз тридцатитысячного римского войска с запасом провианта и снаряжения на длительную кампанию являлся для них огромным богатством. Потому они и в первый раз не дали бы римлянам покоя, не прими Сципионы упреждающих мер, в качестве главной из которых была организация охраны колонны знакомыми с местными условиями македонянами и личное присутствие уважаемого фракийцами Филиппа, точно так же, как не дали покоя галлы войску Ганнибала, двигавшемуся к Альпам, совсем не собираясь ожидать его возвращения с итальянской добычей. Но плоский стяжатель Манлий Вольсон, в отличие от Сципионов, не представлял никакого интереса для Филиппа, а равнодушие царя в свою очередь послужило сигналом к действию для фракийцев.

Столь гармонично была подобрана команда восточных военачальников, что и глава флота претор Квинт Фабий Лабен, подражая Фульвию и Вольсону, рьяно рыскал по побережью Эгейского моря в поисках хоть какой-нибудь войны. Создавая врагов, он использовал самые разнообразные поводы, например, содержание в рабстве пленных римлян, как-то, когда-то попавших в какой-либо город. Здесь он кого-то слегка поштурмовал, там кого-то чуть-чуть пограбил, и в итоге заработал себе славу у теряющих разборчивость сограждан, а также добыл вожаемое богатство, обходиться без которого в Риме становилось все труднее.



3

Публий Сципион возвратился из Азии с двойственным чувством. С одной стороны, поход прошел успешно, цель достигнута, опасный враг государства повержен. Он искренне радовался за Луция, наконец-то сумевшего показать себя в лучшем виде, тем более, что у себя в войске Публий при всем желании не мог предоставить ему должного простора, поскольку имел рядом с собою таких талантливых военачальников как Гай Лелий и Масинисса. Что касается дележа славы, то и здесь Сципион был удовлетворен, потому как грамотные люди по достоинству оценили его роль в азиатской кампании, а восторгами массы он уже давно пресытился. Но с другой стороны, эта война принесла разочарование эстетам от стратегии, знатокам боевого искусства, так как не состоялась с нетерпением ожидавшаяся всем средиземноморским миром повторная дуэль двух лучших полководцев. Ганнибал настолько сплеховал, что растерял первоначальный авторитет при царском дворе и не смог даже предпринять попытку добиться обещанного им реванша. Правда, Пуниец был до тонкостей познан Сципионом и по существу его не занимал, но все же более сильного соперника просто не существовало, и если бы сирийскими ордами командовал Ганнибал, все взоры в римском стане были бы устремлены на него, Публия, никто другой не посмел бы тягаться с матерым африканцем. Наконец, это состязание возвратило бы Сципиона в счастливое прошлое, до предела насыщенное трудами и победами, к зениту его жизни. Впрочем, любая попытка вернуть минувшие дни всегда оборачивается насмешкой судьбы, ее жестоким сарказмом – в этом Публий убедился давно. Увы, всякий миг неповторим, в том прелесть жизни и в том ее трагедия. Нет, Ганнибал не интересен Сципиону. Но оттого ему не стало легче: сознание, что надежды не только не сбылись, но и являлись самообманом, умножало его разочарование, возводило его в более высокую степень. Публий сейчас как никогда ясно ощущал свое абсолютное одиночество. Оказалось, что очень страшно, когда у тебя нет достойных соперников!

Этот поход стал переломным для сына Сципиона, причем не только в переносном смысле, как поворотный этап, экстремум жизни, но и в прямом: он действительно его сломал, сломал душу. Публий пал духом, отказался от общения со сверстниками, физических упражнений и прочих общепринятых занятий, он отрекся от надежды войти в нормальную человеческую жизнь. Единственное, что его еще поддерживало – это вера в какое-то особое предназначение, о котором ему будто бы сообщил в царской темнице посланец небес. Он сосредоточенно искал свое призвание и в итоге решил, что должен запечатлеть на папирусе



бурный век, перекроивший всю ойкумену по вкусу римлян, прославить главных героев эпохи и в первую очередь, конечно же, собственного отца, а заодно и самому добиться славы Фукидида, раз уж ему недоступна слава Сципиона. Публий с жаром взялся за исторический труд о войнах с пунийцами. У юноши был яркий писательский талант, но плохое здоровье не позволяло ему уделять сочинению необходимое время, а кроме того, ему не хватало жизненного опыта. Поэтому его труд продвигался вперед рывками и порою работа прерывалась на несколько месяцев, отчего краткие периоды взлета духа молодого автора перемежались провалами длительной депрессии. Все это также удручало отца и окрашивало его азиатские воспоминания в мрачные тона.

Утрата надежды на славное будущее старшего сына была особенно тяжела для Сципиона из-за того, что младший при отменном физическом здоровье был поражен иной болезнью. Луций слишком активно впитывал в себя современные нравы и жаждал успеха любой ценой. Он в большей степени походил на Фульвия Нобилиора и Манлия Вольсона, чем на собственного отца. Дочери были замечательны во всех отношениях, но даже при своих достоинствах они, конечно же, не могли в должной мере составить отцовскую гордость такого человека как Публий Сципион Африканский.

Дух Сципиона не мог найти приют в семейной гавани. Дома достижения его последнего похода воспринимались более скептически, чем где-либо. Тон такому настроению задавала Эмилия, но даже рабы шептались по углам о том, что господин начал стареть и ныне уже совсем не таков, каким был прежде.

Эмилия не желала простить мужу своего унижения перед Ветурией во время триумфа Луция. Весь тот памятный день она чувствовала себя несправедливо обиженной и была единственным несчастным человеком в праздничном Риме. Правда, в решающий момент, когда на арену Большого цирка въехал триумфатор, взрыв эмоций многотысячной толпы захватил и ее, причем настолько, что в порыве патриотической радости она даже привлекла к себе и обняла Ветурию. Но в следующий миг Эмилия увидела идущего рядом с колесницей лишь чуть-чуть впереди остальных легатов Публия, и ей сразу показалось, будто в объятиях она сжимает холодную скользкую змею. Эмилия поспешно с брезгливым ужасом оттолкнула жену Луция, но было уже поздно: эта кобра – соперница по славе мужей – успела смертельно ужалить ее своим счастьем. Затем она услышала за спиной ядовитый шепот обывателей, смакующих в предвкушении ссоры знаменитых братьев угрюмый вид Публия, и ее досада еще более усугубилась. В дальнейшем, смотря на мужа, Эмилия всегда вторым планом видела оскорбительное зрелище, как он,



Публий, на глазах всего Рима идет пешком рядом с возвышающимся в триумфальной колеснице братом. Эта картина стала ситом, фильтрующим их общение и отсеивающим, извлекающим из него все добрые чувства. Так, даже женщина столь выдающегося характера ни умом, ни сердцем не смогла противостоять формальной оценке общества и подчинила свои взгляды ритуальной расстановке фигур во время обрядного шествия. В женской потребности уступать силе, она как бы отдалась общественному мнению и изменила с ним мужу и собственной любви.

Любопытно, что слабовольная и незатейливая Ветурия, наоборот, всю жизнь, вопреки бытующим в среде аристократии взглядам, считала своего мужа самым выдающимся человеком на земле, и на ее представления не влияли ни поступки самого Луция, ни скептические оценки окружающих. Однако вряд ли это постоянство можно ставить ей в заслугу, поскольку в его основе лежал презренный обывательский эгоизм: Луций был ее мужем, она сама сливалась с ним и его отождествляла с собою, а потому любила его так же, как собственные глаза, уши, руки или тунику, как детей и дом. При узости духовного диапазона, Ветурия не выходила за пределы этого сугубо «своего» круга и ее ничуть не смущал и не тревожил внешний мир с его океаном суждений, мнений, мыслей, чувств и страстей.

Такое «плебейское» самодовольство Ветурии еще сильнее раздражало Эмилию, и она проникалась к ней все большей ненавистью. Но гораздо возмутительнее всего прочего было то, что по своей беззаботной наивности Ветурия совсем не собиралась стареть. Она как была маленькой пухловатой смешливой девицей, так ею и осталась, и, даже напротив того, со временем похорошела, обретя более четкие очертания и выразительные формы. Но совсем не так было с Эмилией. В последние годы красота ее стала портиться. Время неумолимо обнажало ее жесткий властный характер, который все более проступал в лице, жестах и походке, вытесняя прелесть и очарование и придавая ее облику неприятную сухость. Теперь, когда жены прославленных братьев, изображая трогательную, нежную дружбу, рядышком шествовали во время какого-либо торжества, уже не все взгляды были прикованы к Эмилии, как и не все уста произносили имя Публия Африканского, кое-кто ныне восхищался Луцием Азиатским и удостаивал благосклонного взгляда Ветурию. Это, в представлении Эмилии, являлось свидетельством глубокой деградации сограждан и показателем общего упадка государства.

Эмилия вообще разочаровалась в Римской республике. Сразу став женою первого человека Города, она лишилась простора для развития честлюбивых амбиций. По ее мнению, мужу более некуда было стремиться, республиканские законы сковывали и ограничивали его лич-



ность. Она стала проявлять интерес к судьбам восточных царей и египетских фараонов. Начитавшись соответствующих книг, Эмилия сделалась яркой монархисткой и взлелеяла мечту о воцарении в Риме своего мужа. Однако на все ее попытки разжечь у Публия вождение к трону, он отвечал, что уважение равных людей гораздо выше поклонения рабов, а Антиоха и Филиппа при этом называл несчастными существами. Эмилия, согласно своим вульгарным женским запросам сладостно грезившая именно о поклонении низведенной до рабства толпы, не принимала всерьез его слова и считала их пустыми отговорками человека, не способного сыграть требуемую от него роль. Публий Корнелий Сципион Африканский стал казаться ей слишком ничтожным для реализации ее целей, а значит, и для нее самой. Вот тут-то в ее памяти и воскресала колесница Луция и плетущийся за сверкающей каретой, словно пленник, ее никчемный Публий. Как ей было не постареть от таких мыслей и видений!

Поколовшись о терновый кустарник скептицизма, которым отгородилась от него жена, Публий стал искать естественного, без каких-либо примесей корысти общения у друзей и возобновил обеденные трапезы с приглашением большого количества гостей. До некоторой степени эта затея оправдала себя. Однако в таких вечерах отсутствовал прежний задор. Публика Сципионова кружка постарела, многих его завсегдатаев уже не было в живых: погибли Минуций Терм, Луций Бебий, Апустий Фуллон, умерли Корнелий Цетег и Марк Эмилий – несчастным гостем теперь был Гай Лелий, который, хотя и восстановил дружбу с Публием, но утратил интерес к активной жизни, внутренне потух, навсегда смирившись с участью второго персонажа всякого действия, отдалился от Сципиона и Тит Фламинин. Пополнения же практически не было, поскольку у современной молодежи появились собственные интересы. Возможно, в этом окостенении своего окружения был виноват сам Публий, который все более ощущал духовный разрыв с согражданами. Нынешняя действительность начинала казаться ему чуждой и даже враждебной, мир, словно трясына, проваливался под его ногами, как льдина, уползал в сторону, все предательски сдвигалось куда-то в тень в непроходимые дебри искусственных потребностей, фальшивых ценностей и псевдоцелей. Из людей будто выпотрошили все человеческое и набили их опилками микроскопических интересов. Сципиону стало скучно разговаривать с ними, и он не проявлял должного рвения в том, чтобы оживить их, увлечь своими идеями и воскресить былую прелесть общения во всей ее увлекательности и глубине.

Даже с родным братом Публий потерял взаимопонимание, и по возвращении в Рим отношения между ними испортились. Если в аскети-



ческих условиях войска и здоровом окружении старых соратников Сципиона Африканского Луций вел себя молодцом, то, вкусив в Городе необузданных восторгов толпы и лицемерных похвал политических соперников, он оторвался от земли и завис в душевной атмосфере взбодраженного победой общественного мнения в смешной и неестественной позе. Одевание славы надо уметь носить с достоинством и вкусом, радуя других людей исходящим от него сиянием, но, не оскорбляя и не унижая их кричащим контрастом. У Луция это не получилось. Став Азиатским, он захлебнулся тщеславием и перестал прислушиваться к советам родных и друзей. В результате такого опьянения почестями на Капитолии появилась статуя Сципиона Азиатского, облаченного в греческий плащ и обутого в сандалии. Этот возвышающийся над городом мраморный болван сугубо иноземного облика стал отличной мишенью для остроумия Катона и всей его шайки. Впрочем, все это было неприятно, но не более того, однако Луций к подобным детским шалостям добавил серьезное оскорбление, направленное непосредственно на брата. По чьему-то коварному наущению, он заказал для триумфа картину, изображающую сцену пленения азиатами юного Публия Сципиона. Увидев в торжественной процессии это произведение искусства, красочно начертанное чьей-то ненавистью, Публий Африканский возмутился и потребовал убрать позорящую его род картину, но триумфатор не снизошел к его просьбе и высокомерно заявил, что, поскольку запечатленный на транспаранте эпизод действительно имел место, он вправе рассказать о нем народу. Этим и объяснялся угрюмый вид Публия во время триумфа. Впоследствии Луций раскаялся в этом поступке, но все же в отношениях между братьями уже не было прежней теплоты, хотя внешне мир был восстановлен.

Все неприятности последних лет, которые Публий претерпел от людей и от самой судьбы, накопившись в большом числе, в какой-то момент слиплись в единую глыбу, обретя в ней новое качество, и грузной массой придавили его к земле. И вот теперь, на пороге пятидесятилетия, полный физических сил Сципион вдруг почувствовал духовный надлом. Все его способности и таланты оставались при нем, но он уже не стремился перевернуть мир. Его состояние слагалось из спрессованных противоречий, в своей вражде порождающих мучительное и тревожное душевное напряжение. Публий долго не мог разобраться в хаосе терзающих его мыслей и антимыслей, чувств и античувств, пока, наконец, не узрел суть конфликта в осознании им смерти. В этом и была разгадка снизошедшей на него из инородных сфер апатии. Каждый человек с детства знает о существовании смерти вообще, но когда он понимает, что есть именно его, собственная смерть, остаток жизни



окрашивается для него в особые цвета, он видит мир в невообразимых сочетаниях самых ярких и самых угрюмых красок, грядущий мрак вечной ночи заставляет его широко раскрывать глаза навстречу дневному свету, затхлость склепа угнетает грудь, и она требует свежего ветра, напоенного майским ароматом, могильный холод позволяет в полной мере оценить ласку солнечных лучей.

На Сципиона повеяло смертью. Она незримо кралась к нему, то ли выползая из каких-то подземных тайников, то ли кристаллизуясь в воздухе из некоего антивещества. Он был силен, умен, даже красив, но у него исчезли желания, исчезло само стремление чего-либо желать. Публий не затевал больших дел, так как знал, что не завершит их, его перестали интересовать дальние страны, поскольку он знал, что не увидит их, с Востока он привез множество книг, но они пылились в табличке, не радуя его: он знал, что уже не сможет их прочесть. Все, относящееся непосредственно к нему самому, потеряло для него смысл, ибо имело зыбкую основу, и приобрели значение только вопросы преемственности. Но здесь его пессимизм был еще глубже: моральные ориентации современного Рима сулили Отечеству многие беды в скором будущем, а его собственному роду грозило угасание, так как старший сын был болен, а младший унаследовал от Сципионов лишь имя, но не нрав.

4

Обстановка в Риме становилась все более нервной. Социальная энергия обрушившихся на Республику африканских, испанских, эллинских и особенно азиатских богатств изуродовала общество, поломала устанавливавшиеся веками связи, опрокинула основанную на доблести и справедливости мораль и перекроила человеческие взаимоотношения на базе случайных, привнесенных извне факторов престижа. Герой, вся грудь которого серебрится фалерами, возвратившись на родину, вынужден был продавать свой крошечный участок с пришедшим в упадок хозяйством и идти в батраки к трусу, отсидевшемуся во время похода в обозной прислуге, но сумевшему выгодно обмануть охрану и провести спекуляцию с войсковым добром, или к презренному торгашу, по всему миру таскавшемуся за легионами, по дешевке скупавшему у солдат добычу и втридорога продававшему ее в Италии семьям тех же самых солдат. Патриций, потомок десятка выдающихся полководцев, чьи победы воздвигали Рим, теперь вдруг попадал в зависимость к бывшему рабу, разбогатевшему на махинациях с государственными подрядами, получая которые от властей, он затем перепродавал коллегиям непосредственных исполнителей, или на «мертвых душах», вносимых им в списки пострадавших в годы войны граждан, коим государство ныне



оказывало помощь. Сегодня у порога курии толпились в ожидании магистратур откупщики, во славу тугого мешка творящие беззакония в провинциях под высочайшим покровительством имеющих свою долю в бизнесе сенаторов Катоновой кучки. По форуму в роскошных одеяниях важно расхаживали всяческие умельцы, из которых кто-то исхитрился присвоить государственные деньги, полученные на выкуп из рабства пленных римлян, кто-то талантливо отсудил наследство у семьи погибшего героя, а кто-то помог поднять волну «народного возмущения» против политического соперника своего патрона. Сквозь этот заслон принявшего гордые позы отречься все сложнее было пробиться истинно гордым людям, обедневшим из-за честности и благородства. Если приходилось туго даже части аристократов, то простым римлянам еще труднее было сохранять прежние позиции перед напором орд иноземцев, получивших гражданские права. Естественно, что из гигантской массы рабов, за исключением редких талантов, всегда ценимых римлянами независимо от их положения, могли выбраться лишь обладатели стальных локтей, каковые, оказавшись на свободе, столь же рьяно расталкивали коренных жителей великого города, как прежде – сотоварищей по несчастью.

Недовольство, злоба, зависть множились в Риме прямо пропорционально количеству даровых денег, втекающих в город. Система ценностей пришла в упадок, добро и зло сплелись в единый клубок неразрешимых противоречий: авторитет пытались подменить богатством, уважение – получить обманом, славу – купить за деньги, а деньги – добыть за счет славы. В сенаторской среде отрицательный потенциал реализовался раздорами и конфронтацией между полководцами, возникшими на почве дележа славы и добычи, а также – вокруг спекуляций относительно того и другого. Катон, обвинив в недобросовестности проконсулов Минуция Терма и Ацилия Глабриона, положил начало длинному ряду таких конфликтов. Дерзкая деятельность Манлия Вольсона и Фульвия Нобилиора небывалой для римлян направленности заставила бы заговорить даже мертвых. Понятно, что живые не могли молчать и подавно. На Фульвия обрушился его политический и личный враг Эмилий Лепид. Нобилиор дважды преградил Эмилию дорогу к консулату: один раз – победив его как соперник в оголтелой предвыборной борьбе, когда он в обход законов сделал своим напарником от патрициев Вольсона; а во втором случае – вмешавшись в комиции в качестве магистрата, руководящего выборами. Вручив консульские фасы ничем не примечательным Валерию Мессале и Ливию Салинатору младшему, Фульвий за это получил от них продление своих полномочий в Греции. С третьей попытки став, наконец, консулом, Лепид предпри-



нял попытку осудить деятельность Нобилиора в Амбракии. Он пригласил в Рим представителей этого города и с их помощью доказал сенаторам противозаконность проведенной Фульвием кампании и показал ее неоправданную жестокость. Однако позиции партии Корнелиев-Эмилиев в последние годы ослабли, и против Лепида восстали могучие силы. Первым ему возразил другой консул Гай Фламиний. Коллегиально-го магистратского решения не получилось, и дело застопорилось. С большим трудом Сципиону удалось уговорить своего испанского квестора не противиться Эмилию. Тогда Фламиний сказался больным и не пришел на следующее заседание. Так Лепид провел в сенате постановление о признании действий Фульвия в отношении Амбракии незаконными и о компенсации грекам понесенного ущерба. Но Нобилиор в течение нескольких месяцев отсиделся на Балканах и, появившись в Риме в то время, когда Эмилий находился в Лигурии, словно вор, забравшийся в дом в отсутствие хозяина, добился для себя триумфа и прочих благ за беспримерный подвиг расправы над мраморными богами Амбракии и сдавшимися ему женщинами и детьми, а также за победу грозного консульского войска над крошечным городком в Кефаллении.

Манлию Вольсону триумф достался еще дороже, причем в прямом смысле этого слова. С разоблачением его позорной для римлянина деятельности в Азии и с критикой халатности, приведшей к поражению от фракийцев, выступили почти все сенатские легаты, находившиеся с ним в провинции. Длинными оправданиями Манлий затянул обсуждение до вечера. А ночью его родственники и друзья без усталости носили по городу груды сирийской добычи, распределяя ее по домам наиболее современно настроенных сенаторов. Золотые гири повисли на языках отцов города, одним они притиснули их к зубам, и те замолкли, а другим, наоборот, оттянули до пола, и они сделались говорливы, как Катон. В результате, на следующий день в Курии раздавались совсем иные речи, и, к изумлению Здравого Смысла, Справедливости и Чести – реальных богов древнего Рима – поведение Манлия было одобрено, и он получил триумф. Правда, в это время грянули такие события, что перепуганный Вольсон залег на Марсовом поле и до конца года не смел показать носа в городе.

Дело, потрясшее устои Вечного города, стало высшим достижением творчества Катона наряду с грудой медяков, накопленной им за восемьдесят пять лет скаредной жизни. Порций уже задолго до этого сделал важное открытие, что зло, если его использовать с умом, есть то же самое добро. В свете такого прозрения он обнаружил в отрицательной энергии масс мощный двигатель политики. Возможно ли найти более эффективное оружие против доблести, чем праведный гнев народа на службе у расчетливой ненависти выскочки? Тогда более действенного оружия



не существовало, поскольку деньги, содержащие в себе боль и труды не одного, а многих поколений народа, еще не имели нынешней власти.

Катон и его многочисленная партия сенатских низов и верхов всадничества, вскормленных иноземными богатствами, создававшая в последние годы мощный подпор нобилям, теперь перешла в открытое наступление, чтобы окончательно сломить господство старой военно-землевладельческой аристократии и занять ее место, установить собственную власть, то есть господство торгово-финансовой олигархии.

Низвергнуть нобилей не представлялось возможным, пока не был уничтожен Сципион. И Катон, никогда не боявшийся трудностей, вплотную подступил к исполнению мечты всей своей сознательной жизни. Теперь его личная ненависть наконец-то получила мощную поддержку в лице низкородных сенаторов и богатых всадников, коим засилье знати мешало продвигаться к вершинам государства. С их помощью Порций принялся ковать выгодное ему общественное мнение.

Народ, раздраженный дисгармонией общества, абсурдностью ситуации, когда с притоком в государство несметных сокровищ большинство людей нищает, содержал в себе огромный потенциал, который можно было использовать как для созидания, так и для разрушения. Если вооружить его идеей, начнется восхождение, если ему навязать антиидею, он превратится в толпу, в свирепого зверя, алчущего крови.

Порция устраивал второй вариант. И вот множество ораторов Катоновой выучки выплеснуло на уши сограждан потоки изощренной критики сложившейся в государстве обстановки. Подогревая возмущение, они пока не называли врага в открытую. И, лишь доведя всеобщее недовольство до кипения, стали разливать народный гнев в заранее заготовленные формы.

Конечно же, во всем были виноваты нобили. За иллюстрациями их порочности и вредоносности далеко ходить не приходилось. Достаточно было указать на богатый дом Сципиона, расположенный тут же, у форума, на возвышающиеся по склону Палатина особняки других аристократов, чтобы вызвать справедливое негодование простых людей. Правда, нобили, выросшие из племенных вождей древности, издавна по материальному положению выделялись в своей общине, а потому логично было предположить, что зло, захлестнувшее государство только в последние пятнадцать лет, вызвано другими причинами. Но где уж тут предполагать, когда тебя душит гнев! Кричащий человек не размышляет. О том, что богатство неотделимо от бедности так же, как аверс монеты от ее реверса, тоже никто не задумывался. Никому не приходило в голову задаться вопросом, почему в прошлые времена Цинцинат самолично ходил за плугом и считал себя богачом, а ныне го-



рожанин живет за счет труда рабов или ограбленных иноземцев, но называет себя нищим. Людям, поднявшим всю эту шумиху, невыгодно было знание того, что возмущающее всех искажение в государственный порядок внесено не наследственными латифундиями нобилей, а их собственными незаслуженными богатствами, что богатым можно быть лишь по отношению к бедному и наоборот, что нет богатства и бедности вообще, и в абсолютном виде необходимый материальный уровень жизни определяется только его достаточностью для обеспечения биологического существования; им было невыгодно, чтобы это знали, и потому этого никто не знал, и люди оперировали в бесчисленных спорах лишь словами, но не понятиями.

К Сципионам враги начали подбираться издалека. Чуть ли не целый год длились празднества по случаю победы над Антиохом, которые сопровождались раздачей подарков и массовыми угощениями. И чуть ли не целый год сытый народ славил Сципионов. А когда эта река азиатского изобилия иссякла, стали стихать и похвалы покорителям Сирии. Образовавшуюся паузу решили заполнить Катоновы питомцы. Они принялись аккуратно нашептывать плебсу, что угощений и торжеств могло быть гораздо больше. Встречая недоуменные взоры, мастера интриги делали туманные намеки на будто бы особые обстоятельства освобождения из плена сына Сципиона Африканского и многозначительно замолкали. Простолюдины ничего не понимали, но постепенно утверждались во мнении, что дело тут нечисто. Поэтому, когда на следующем витке грандиозной сплетни возникли разговоры об уступках Антиоху со стороны Сципионов в качестве выкупа за неосторожного юношу, уже мало кто из обывателей этому удивился. Заронив в умы сограждан ядовитые подозрения, катоновцы прервали раскручивание данной темы. Дальнейшее нагнетание страстей вокруг будто бы бесчестного поступка Сципионов, граничащего с государственной изменой, неизбежно пришлось бы в противоречие с общественным мнением об этих людях, а потому тиграм и шакалам пропаганды следовало сначала основательно очернить их репутацию в целом, доказать, что они никогда и не были порядочными гражданами. Из-под многолетнего слоя времени на свет были извлечены давние истории о солдатском мятеже в Сукроне, о бесчинствах в Локрах, о Племинии, о разгульной жизни Публия Сципиона в Сиракузах, после которой он, правда, в два года разгромил Африку. В ход опять были пущены конъюнктурные стишки Невия о развратнике Сципионе, которого отец за шиворот стаскивал с разбитных красоток. На злобу дня создавались и новые произведения искусства, оформленные как исторические труды о войне с Антиохом. В этих опусах всячески порочились оба полководца, а ведущая роль отводилась кому-либо из легатов, чаще всего —



Домицию. Луций Сципион изображался бездарностью, лишенной самых элементарных для римского аристократа военных знаний. Заказы на эту литературу обычно выполнялись пронирыливыми греческими риторам, каковые, не имея четких представлений о римских порядках, в угаре угодливого служения хозяевам, допускали такие абсурдные фразы, как: «Домиций дал бой Антиоху», «Домиций поставил в центре консула, а сам расположился на правом фланге». Ни одного консула, каким бы он ни был, хоть столь же презренным, как Теренций Варрон, никто не мог где-то поставить, не говоря уж о том, что в те времена у римлян центром всегда командовал сам полководец. Такое низкопробное злопытательство редко находило себе подходящего потребителя, но, как известно, вода камень точит, а ползучая ненависть, плескающая яд из-за угла, для доблести страшнее воды. Гораздо тоньше был построен труд самого Катона, в котором Сципионы не подвергались публичному шельмованию, более того, они не упоминались вовсе, а субъектом исторических событий изображался народ и только народ. Это выглядело изысканной лестью толпе и внушало обывателям мысль, что они важнее всяких Сципионов, являющихся всего лишь нахлебниками их славы. Любопытно, что величайший поэт эпохи Квинт Энний в тот период был предан забвению, ибо в эпосе о Пунической войне показал Публия Сципиона как конструктора победы, идейного, политического и военного вождя Отечества, как гения Рима.

Засалив нечистыми языками далекое прошлое Сципионов, ораторы возвратились к азиатской теме. После всего услышанного обывателям уже ничто не могло показаться невероятным. Общая порча нравов привела к росту спроса на пороки. Одно зло притягивало к себе другие, разрастаясь, как лавина. Растеряв в склоках, передрягах и спекуляциях последних лет свою порядочность, люди неохотно верили в чьи-либо добрые качества и если не могли оспорить чью-то доблесть, как в случае со Сципионами, то очень тяготились безупречностью этих людей, являющих собою укор их собственной низости. Толпа устала восхищаться Сципионами, и поэтому, когда обывателям стали внушать, что герои не столь уж героичны и даже более того, глубоко порочны, а вся их слава – лишь обман, они внутренне были готовы и даже рады поверить этому. Вдобавок ко всему, пропала практическая необходимость боготворить Сципионов, поскольку теперь, с победой над Карфагеном и Сирией, плебсу некого было бояться в мире, и Сципионы ему более не требовались. «Прежде Сципионы властвовали над иберами, пунийцами и азиатами, а ныне они будут властвовать над вами! Они воцарятся в Риме!» – вещали ораторы, и толпа сочувственно внимала им. Таким образом, большая часть народной массы представляла собою



благодатную почву для семян клеветы и ненависти, рассеянных по Риму щедрыми языками катоновых сподвижников.

Связав в общественном мнении представление о нарастающей в государстве дисгармонии и моральном хаосе со злоупотреблениями знати, а злоупотребления знати – с порочностью их лидеров – Сципионов, катоновцы перешли к решающей стадии своего предприятия. С новой силой, уже как грозный набат, предвещающий жестокую войну, зазвучала на народных сходках тема Азии. «Мы одолели богатейшего царя земного круга и все еще пребываем в бедности!» – удивлялись граждане, кто искренне, а кто – не очень, но те и другие – одинаково громко. «Это потому, что Сципионы украли у нас победу, а вместе с нею похитили и завоеванные нами в неравной борьбе с сирийским монстром сокровища!» – раздавались ответные возгласы рядовых исполнителей великой авантюры. «Да, именно так, Сципионы продали Антиоху нашу победу за взятку и оболтуса сына!» – подтверждали исполнители рангом повыше. «Действительно, иначе ведь никак не объяснить столь мягкие условия мира с царем», – соглашались сбитые с толку горожане, забывшие, что договор был заключен народным собранием после рассмотрения его сенатом, а не Сципионами, и уж подавно не помня, что требования, аналогичные предъявленным Антиоху, выставлялись царю Филиппу, Карфагену и другим побежденным государствам. «Почему эти Сципионы довольствовались территорией до Таврского хребта, а не повелели царю отдать всю Азию?» – возмущались обыватели, не имевшие понятия ни о землях перед Тавром, ни об Азии вообще. – Уж тогда бы мы могли безбедно прожить не один год!»

Вся эта шумиха в массе плебса требовала какой-то реакции властей, тем более, что и в сенатской среде проходила подобная идеологическая кампания, с той лишь разницей, что здесь было меньше лжи и больше расчетливости, то есть тут зло опиралось не столько на глупость, сколько на рассудок, на сознательную корысть. Меры по удовлетворению народного возмущения были разработаны катоновской партией задолго до возникновения самого этого возмущения. Так что конструкторы конфликта не испытывали ни малейших затруднений и смело двинулись на штурм чести аристократов. Плебейские трибуны Петилии предложили закон о проведении расследования по делу о деньгах Антиоха. Обычно все спорные вопросы о разделе и использовании добычи решались сенатом в рабочем порядке, поскольку на этот счет не существовало конкретных законов, то есть не было юридической основы для судебного разбирательства. Поэтому два других трибуна по фамилии Муммий наложили на законопроект вето. Однако им скоро растолковали, что затевается такое грандиозное дело, в которое мелочи, подобной Муммийам, соваться



не следует. Сам Марк Порций произнес по этому поводу блистательную речь, и Муммии испуганно забились в угол, освободив путь грозному воинству Катона. Итак, народ утвердил закон, внесенный Петилиями, а сенат поручил расследование претору Квинту Теренцию Куллеону. Этот претор согласно своей должности ведал судами по делам иностранцев, и заниматься разбирательством конфликта между гражданами должен был другой претор – Сульпиций Гальба, однако фигура Теренция представляла особый интерес для обеих противоборствующих сторон, и мнения большинства сенаторов пересеклись на его имени.

Квинт Теренций Куллеон был тем самым человеком, которого Публий Сципион вызволил из карфагенского плена, который шел за его триумфальной колесницей в колпаке вольноотпущенника и прилюдно называл Африканского своим патроном¹. Благодаря этому он пользовался доверием партии Сципиона. Но Теренций являлся также и тайным другом Порция. У Катона был прекрасный нюх, он мгновенно угадывал всякую червоточину и без труда различал людей с гнильцой в характере. Претерпев унижения пунийского рабства, Теренций сделался желчным и злобным, испытал немало страданий, он теперь жаждал видеть страдания других. Подобно тому, как прочими людьми двигали честолюбие, любовь, алчность, он жил страстью мести. Он желал мстить за перенесенные им лишения всему свету, но самой заметной фигурой в его жизни стал Публий Сципион Африканский, потому именно на него обрушилась месть Куллеона. Теренций вынужден был полжизни благодарить и восхвалять Сципиона за оказанные благодеяния – невыносимая мука для злого человека! При этом ему еще приходилось постоянно слышать от окружающих, что жизнью и честью он обязан Сципиону – тяжкое испытание для всякого самолюбца. Нрав Куллеона не выдержал такой нагрузки, и, отдавшись обуревавшей его злобе, он сладко возненавидел Сципиона, за что его немедленно приютил в своем лагере Порций.

Поблескивая масляными глазками и льстиво улыбаясь представителям обеих сторон, смотрящих на него с надеждою, претор повел дело так круто, что в мгновение ока Сципионы сделались у него подсудимыми. Их обвинителями при этом стали Петилии, тем самым выказавшие сугубо конкретную направленность своего закона.

Где уж тут было вспоминать о каком-то Манлии Вольсоне, прячущемся на Марсовом поле, распластавшись на куче награбленного и ворованного серебра. Теперь даже плебсу стало ясно, что весь гвалт относительно злоупотреблений Вольсона, Ацилия Глабриона и других

¹ Данное утверждение основано на высказывании Сципиона: «Что против меня может сказать тот, кто самой возможностью говорить обязан мне?»



магистратов служил лишь эмоциональной подготовкой к суду над Сципионами, представлял собою нечто вроде обстрела из пращей и луков, тогда как только теперь в бой пошли железные легионы. Обыватели чувствовали, что это будто бы не особенно хорошо, но уж слишком заманчивым им казалось увидеть Сципионов в необычной роли, и за такое зрелище они готовы были простить режиссеру разворачивающегося действия самую неблагоприятную хитрость.

5

Над Римом брезжило хмурое утро. Ночью шел дождь. Теперь он почти иссяк, но его остатки повисли в воздухе серой мглой. Стены храмов, колонны и статуи слезились влагой, словно источаемой камнями. Булыжники мостовой терялись во мраке, но от них тоже веяло сыростью. То там, то здесь слышался похожий на всхлипывания шелест ручейков, ищущих спуск с крыш или бегущих по водоотводным канавкам.

Сумрак форума шевелился и качался группами теней. То были люди, сходявшиеся сюда еще с ночи. Они собирались на главную городскую площадь, словно в театр. Их ждало здесь представление, драма, трагедия. Сегодня был день суда над Публием Корнелием Сципионом Африканским!

Не замечая промозглой прохлады ранней утренней поры, зрители ругались и работали локтями, тужась протиснуться в первые ряды. Однако переговаривались и даже ссорились они почему-то шепотом, будто боялись помешать актерам готовиться к выходу на сцену или опасались спугнуть муз. Народ все прибывал, и когда небеса очнулись от ночного сна и раскрыли синие очи, им предстало море голов, колыхающихся на форуме. Правда, небесные владыки не могли уловить флюид мыслей, каковые должны были бы воскуряться над таким обилием мозгов, но зато им без солнца стало жарко на своих белесых кучерявых тронах от раскаленной желчи, плещущей из толпы.

Ажиотаж нарастал. Любопытство, истекая слюною, терзалось жестоким голодом на зрелища. Тысячи пламенных взоров буравили дом Сципиона, стены которого, казалось, вот-вот рухнут под их напором, как под ударами тяжеловесных таранов. Все ждали: сейчас медленно, неуверенно раскроется дверь, и на пороге понурым, униженным, молящим о пощаде появится тот, кого всегда видели только гордым, победоносным, щедро одаряющим милостями обездоленных, он предстанет перед бесчисленной толпой в рубище, тогда как прежде его видели только в сенаторской тоге, магистратской претексте, императорском плаще, в наряде триумфатора. Душераздирающий контраст! У какого обывателя не застонет сладко чрево при виде такого головокружитель-



ного падения титана! Все они и впрямь чувствовали себя подобно очевидцам крушения Родосского Колосса.

Многие из присутствующих, будучи растравлены катонами, искренне считали Сципионов корнем всех зол, другие ненавидели их как нобилей вообще, третьи вечно гноились завистью и источали духовный смрад в силу своей природы, для четвертых любопытство было превыше доблести и пороков, и ради острых ощущений они могли аплодировать казни праведника и триумфу подлеца, пятых томило постоянство, и эта категория плебса жаждала свержения кумиров из страсти к новизне, шестые были многим обязаны Сципионам, в потоках грязи они сумели сохранить чистыми свои чувства к ним и пришли на форум, надеясь поддержать патрона, седьмые находились здесь, так как полагали, что обязаны быть причастными к важнейшим делам государства. Но все эти разные люди, собравшись вместе, оказались спаянными единым инстинктом и объаты стадным психозом. Их соединяли самые элементарные связи, и на уровне этих простейших связей осуществлялось функционирование организма под названием толпа, тогда как глубинная человеческая основа отступила назад и укрылась в тайниках души. Тут были тысячи милых, доброжелательных людей, но составленная из них толпа являлась диким зверем, она упивалась своим могуществом и, оскалившись, подстерегала жертву у ее жилища. Она чуяла беду и приходила в неистовство, как хищник от запаха крови.

Вот сейчас на пороге покажется Сципион...

Двадцать лет эти люди трепетали и заискивали перед ним, ловили его взгляд, надувались гордостью и сияли счастьем, если удастаивались его слова или хотя бы приветливого жеста, многих из них он водил в походы, бросал на штурм городов, выстраивал на поле боя, с ним они победоносно прошли Испанию, Африку и Азию. Кто-то получил от него награды и богатство, кто-то – земельный участок, всем он вернул Родину и принес славу и при этом никому из присутствующих не нанес обиды. Но зато теперь он очутился в их власти! Его авторитет казался незыблемым, как могущество Рима, в представлении плебса этот человек не просто превосходил всех прочих людей, но был близок к самим богам. И вдруг мир перевернулся, трава поднялась выше кипариса, солнце провалилось в катакомбы, мухи заели слона, величие Сципиона Африканского обратилось во прах! И столь грандиозное превращение осуществилось силой и волей толпы. Они, ничтожные обыватели, которых считали не способными к большим делам, без труда одолели творца самых значительных предприятий своего века, они одержали победу над победителем, достигли того, чего не сумели ни бесчисленные орды иберов, ни дьявольская конница Сифакса, ни си-



рийская фаланга, ни Карфаген с его Ганнибалом и денежным воинством. Так как же было плебсу не возгордиться собственной мощью и не возрадоваться своей беспримерной победе! Толпою владело упоенные хищника, вонзившего зубы в горло жертвы, она жаждала крови и ни о чем не размышляла.

На дальнем плане маячил Катон. Он не смог устоять перед соблазном непосредственно вкусить вожденное зрелище и потому затесался в ряды простонародья, чтобы увидеть унижение Сципиона как бы изнутри, из темных недр Рима.

«Вот он, мой день! — сквозь зубы, словно ругательства, цедил он. — Вот он, антитриумф Корнелия! Сегодня ты, надменный, холеный патриций пред всем миром предстанешь в лохмотьях! Уж теперь ты никак не избежишь позора! Подсудимый должен быть в рубище, подсудимый должен быть просителем, и ты, непобедимый император, будешь вызывать о снисхождении вот к этому вшивому сброду, ты, гордец, будешь просить о милости меня! Но разжалобить Катона тебе не удастся, я буду неумолим и доведу дело до конца!»

Порций вновь и вновь, как заклинания, твердил эти фразы, и многие из близстоящих граждан уже знали, что он доведет дело до конца, но никто тогда не мог даже предполагать, каким именно видел свое дело Катон.

Нынешние события готовились трудами сотен людей, и ни один из них, включая ближайших сподвижников Порция, не представлял в полной мере замысла идеолога и организатора затеваемого действия. Каждый исполнитель был осведомлен о нем только в ограниченном объеме, достаточном для выполнения его конкретной задачи. Относительно планов Порция предполагали, что он сводит счеты с давним недругом и заодно травит знать в надежде, потеснив аристократов, рассадить на скамьях консуляров своих друзей. Тут почти все мнения сходились, однако трактовка его намерений была весьма разнообразной. Часть плебса надеялась, что свержение злых, корыстных Сципионов и воцарение щедрых, народолюбивых Катонов сразу сделает их счастливыми, торгово-финансовая олигархия, вскормленная спекуляциями вокруг гремящих по всему миру войн, рассчитывала в надвигающейся смуте завладеть могущественным государством, продавая доблесть которого, она смогла бы возвыситься над серебряными кучами азиатских сатрапов, а здравомыслящее большинство усматривало в происходящем лишь возможность приструнить аристократов, вернуть в общий строй граждан чрезмерно возвысившихся славой и авторитетом лидеров, и показать нобилям, кто в Риме хозяин.

Немногие граждане верили в виновность Сципионов, ибо казалось верхом абсурда подозревать их во взяточничестве и уж тем более — в го-



сударственной измене, еще меньше было таких, кто верил, что они могут быть осуждены. Об этом неоднократно шел разговор за скудным обеденным столом богача Порция. Друзья говорили Катону о бессмысленности судебного процесса, так как, если бы даже Сципионы действительно присвоили себе большую часть добычи, чем то диктовалось этическими соображениями, подвергнуть их наказанию не представлялось возможным, ввиду отсутствия соответствующих законов.

«У вас отсутствует объемность мышления, — усмехаясь, отвечал на это Катон, — ваш ум ходит по одной линии, словно по мощеной дороге. Так к победе не придешь. Помните, какие кручи преодолел я у Фермопил, когда забрался в тыл к Антиоху? — приводил он свой вечный пример. Причем всякий раз, повествуя об этой истории, Порций обязательно называл ее конкретного героя, а не приписывал победу всему народу, как делал это в историческом труде о пунической войне. — А вы говорите: процесс. А вы восклицаете: Сципион! — продолжал он. — Отсутствие конкретных мер для того, чтобы уличить преступника, как раз и есть средство для того, чтобы уличать всех, кто нам мешает. В том-то и суть нашего дела! Если в нынешних условиях невозможно доказать виновность Сципиона, то нельзя доказать и его невиновность. А это позволяет нам вывалить чистюлю Корнелия в такой грязи, что жизнь опостылеет ему, как старая, изъеденная язвами жена. Уж можете мне поверить: погрязнув в этом процессе, Сципион выберется из него, будучи чернее эфиопа».

Удивляя собеседников тонкостью расчета, Порций все же не гнался за славой первого интригана и выкладывал далеко не все перлы своего политического искусства. О многом он умалчивал.

Зная нрав противника, Катон понимал, что гордый Сципион вообще не стерпит процедуры суда и поведет себя неадекватно обстоятельствам, а потому его нетрудно будет спровоцировать на существенное нарушение обычаев Города, а, если повезет, — то и законов Республики. Тогда можно будет перевести конфликт в патовое состояние, сделать его неразрешимым мирными средствами и вынудить Сципиона и связанных с ним нобилей отстаивать свою независимость противоправными средствами. Это скомпрометирует аристократов в глазах народа, а он, Порций, тогда предстанет перед толпою в качестве пророка, поскольку всегда говорил о злонамеренности знати. При таком развитии событий нобили будут обречены на поражение, и он, Катон, с помощью многочисленных соратников и при посредстве толпы подвергнет их политическому, а может быть, и физическому уничтожению. Так что, сколь ни радостно было Порцию полюбоваться вываленным в моральных нечистотах Сципионом, этого ему не хватило бы для полного счастья: Ка-



тон был максималистом. Но пока он скромно умалчивал о скрытых достоинствах своего плана, дабы лишний раз не смущать людей возможностью выбора, будучи твердо уверенным, что в дальнейшем события сами помогут всем участникам предприятия найти нужный путь.

При непосредственной реализации своего замысла Катон также повел себя молодцом и учел недавний отрицательный опыт борьбы с Ацилием Глабрионом, когда оголтелой травлей соперника он в равной мере опорочил и его, и самого себя. На этот раз Порций с самого начала держался в стороне, осуществляя дистанционное управление операцией. Он даже уехал из Рима легатом балканской экспедиции и возвратился в столицу только накануне решающей схватки, к этому времени вдрызг разругавшись с Фульвием Нобилиором, которому, как и всем прочим своим командирам, пригрозил судом по сложению им империя. Таким образом, Катон возник перед плебсом в момент апогея страстей, свалившись на форум с эллинских гор, как «бог из машины» в греческих спектаклях, являя благородную претензию враз разрешить все проблемы.

Где-то за тучами взошло солнце, но в Риме его не видели, здесь по-прежнему было темно, словно в сумерках. Сверкающие все так же, как и час назад, глаза буравили дверь Сципионова дома. Казалось, что, если бы не сырость, уподобившая город преющему яблоку, дверь, скрывающая жертву, уже давно бы вспыхнула от горячей экспрессии этих глаз.

Сейчас стукнут засовы, и на пороге появится Сципион...

Толпа ждала этого события, как девица – брачной ночи. Вся жизнь впавших в созерцательный транс обывателей сосредоточилась на вожделенном мгновении, которое представлялось пределом желаний и концом света, переходом в иной мир, вознесением в эдемский сад. Никто не знал, что будет потом, после того, как дверь снова закроется, это казалось неинтересным и ненужным, ибо все свершится сейчас...

Стукнули засовы. Люди оцепенели: они уже не соображали, происходит ли это наяву или в их бредовых видениях. Они так долго ждали... Тысячам воспаленных любопытством глаз предстал привратник, который деловито отер порог, а затем уверенно отстранил публику от входа. И снова пауза. Толпа готова была ринуться на штурм, да вот беда: полководец-то находится внутри.

Вышел Сципион. У стоящих поблизости вырвался ликующий возглас, как и всегда при виде этого человека, однако на них злобно зашикали сзади и тем заставили замолчать. Следом за привычным восхищением зрителей охватило разочарование: Публий Корнелий Сципион Африканский по случаю сырой погоды был закутан в длинный плащ, и они пока не смогли увидеть его в жалких лохмотьях, в одеянии смиренности и мольбы, каковое предписывалось подсудимому римскими обычаями.



ями. Но днем-то они заставят его снять плащ и предстать пред ними униженным и покорным оборванцем.

Публий поздоровался за руку с друзьями, собравшимися у входа, дал слугам указания относительно клиентов и в сопровождении кучки родственников и ближайших товарищей, а также когорты клиентов, не спеша, двинулся в сторону Капитолия. Толпу он не удостоил даже беглого взгляда и вообще вид его был слишком торжественен, настолько, что плебс пришел в смущение и оробел. На форуме стояла неестественная при таком скоплении людей тишина, народ не выражал ни любви, ни ненависти. Катонеры молодцы попытались скандировать поносные стишки, но эта затея не получила поддержки массы, и те тоже замолкли. Казалось, сама серость скорбящей природы пасмурного утра проникла в души людей, и они усомнились, действительно ли так радостно губить славу и гордость собственной Родины надругательством над лучшими представителями своей общины.

Впрочем, замешательство длилось недолго. Сказалась гигантская подрывная работа, проделанная гвардией Катона, а также другие пороки того времени. И едва плебс увидел ростры, сидящих чуть поодаль судей, претора в магистратской тоге и ликторов со связками прутьев – символом государственной власти – разом вернулись недавние страсти. Люди осознали, что все это происходит наяву, что сегодня в самом деле будет суд над Публием Сципионом Африканским и, значит, почтение к нему неуместно. Муль тяжких переживаний и разочарований последних лет снова наполнила души, а влитая в них идеология Катона сцементировала это рыхлое недовольство в монолитную глыбу ненависти, которая опять с грохотом покатила на Сципиона.

За неимением в то время просторного общественного здания, способного вместить всех угодных Катону, Теренцию и Петилиям злопыхателей, суд проходил на форуме. Правда, некоторые слишком уж горячие катонеры требовали перенести процесс на Марсово поле, но на это никто не решился.

После традиционного ритуала, открывавшего подобные мероприятия, слово было предоставлено обвинителям. На ростры коршуном взлетел наиболее темпераментный из двух Квинтов Петилиев, который воинственно обозрел море людских голов, будто высматривая добычу, и ринулся в дебри своей речи с решимостью низвергнувшегося с небес стервятника, а может быть, с отчаянностью ныряльщика за пурпуром, штурмующего смертоносные глубины.

Не располагая фактами против Сципиона, он прибег к намекам, не обладая возможностью воззвать к рассудку слушателей, старался возбудить их эмоции. Страшась сразу высказать несуразное обвинение, ора-



тор решил предварительно подготовить аудиторию к тому, чтобы услышать самое худшее о подсудимом. Потому он сделал экскурсию по биографии Сципиона, мало затрагивая общеизвестные события и обильно заполняя все пробелы чернотою своей фантазии. Так, на основе похабных стишков Невия, Петилий выдвинул гипотезу о том, что Сципион всегда был слугою порока, только умело скрывался от проницательного ока сограждан. По его версии, Публий родился уже глубоко испорченным младенцем и до пятнадцати или шестнадцати лет вел разгульный образ жизни. Развивая теорию на почве избранных установлений, Петилий пришел к выводу, что суровые условия войны препятствовали реализации страстей Сципиона, и потому он сбежал в Испанию, где пять лет провел в непрерывных оргиях с иберийцами. Поход в Африку он также объяснял желанием Сципиона избежать моральных оков своей родины, накладываемых на распутников. Однако, по мнению оратора, столь сладострастный нрав, как у Сципиона, утаить от соотечественников было никак невозможно, а потому Рим узнал о роскошном прозябании консула в Сиракузах и о беспорядках в Локрах, а также о каких-то шашнях с пленной карфагеняжкой – женою двух варваров.

«Несмотря на все эти безобразия и беспутства полководца, народ сумел победить и испанцев, и пунийцев, – с экспрессией экстатических восточных жрецов вещал Петилий, – но более нам недопустимо терпеть на себе ярмо подобных нобилей, паразитирующих на наших доблестях!»

У Петилия захватило дух от собственной смелости. В этот момент он мнил себя Радамантом, возникшим из мглы подземелья, чтобы свершить суд над пороком в его земном обличье. Ему мерещилось, будто его рука сжимает меч Ганнибала, и он жаждал вонзить оброненное пунийцем при Заме оружие в спину ненавистному Сципиону, который в тот момент и в самом деле повернулся к нему спиной, отвечая на вопрос кого-то из друзей. Велик был сейчас боевой дух Петилия, и потому он разом выпалил обвинение подсудимому. Правда, объявив Сципиона государственным преступником, он невольно замолк и втянул голову в плечи, ожидая, что с вершины Капитолия грянет разящая молния Юпитера, но, пережив несколько ужасных мгновений, приободрился пуще прежнего и приступил к обоснованию высказанного обвинения. Суть его паутинообразных рассуждений сводилась к следующему: Антиох все время был подозрительно благорасположен к Сципиону, он подозрительно мягко обошелся с его пленным сыном, подозрительно безвозмездно вернул его отцу и получил подозрительно мягкие условия мира. В том, что договор с царем был рассмотрен в сенате, одобрен народным собранием и окончательно заключен сенатской комиссией из десяти легатов, усматривать что-либо подозрительное Петилию не было резона, и потому об этом ре-



чи не велось. В завершение Петилий потребовал назначить Сципиону штраф, выразившийся многозначной цифрой. В таком противоречии между обвинением, квалифицировавшимся как измена Родине, за которую полагались смертная казнь или изгнание, и мерой наказания, состоящей в уплате денежной пени, просматривался пропагандистский характер всей акции и угадывался дух фальсификации, но народ понял это гораздо позже, а в тот момент было не до раздумий и анализа, поскольку требовалось кричать и размахивать руками.

При всей беспринципной агрессивности Петилия и его жажде добиться славы любой ценой, обвинительная речь далась ему нелегко. За этот час, проведенный на рострах, он словно совершил кругосветное путешествие и стократ претерпел все злоключения Одиссея. Несмотря на молодость, Петилий помнил Пуническую войну, и вместе с мочою грязных пеленок кожу его пропитал страх перед Ганнибалом, а фигура Сципиона представлялась ему и вовсе мифической. Он и сейчас трепетал, как сухой лист на осеннем ветру, при упоминании об Африке, означающей для него Плутонино царство, кишашее кровожадными чудовищами, которыми его пугали в детских сказках, потому каждый раз, называя своего врага, он невольно заикался, доходя до его почетного имени, и никак не мог вымолвить слово «Африканский». Лишь звание народного трибуна, окрыляющее даже пресмыкающихся, да напор молодости, не отягощенной мудростью жизненного опыта, позволили ему кое-как довершить речь и слезть с трибуны без помощи передних конечностей.

Однако, оказавшись в кругу своих вдохновителей, ощутив запах пота, исходящий от их крепких плебейских тел, он пришел в себя, осознал грандиозность свершенного подвига и безмерно возгордился. Прочтя его настроение по пылающему восторгом и азартом лицу, кто-то из друзей Сципиона достаточно громко бросил в его сторону: «Поджечь Рим – дело, конечно, более достопамятное, чем храм Дианы в Эфесе, да только у нашего оратора явно запала маловато».

Разгоряченный словесной дракой, Петилий тут же хотел ввязаться в – кулачную, дабы бицепсами восполнить недостаток остроумия, но тут Сципион Африканский вышел на передний план в прямом и переносном смысле слова и начал неспешно подниматься на ростры. Он восходил на трибуну походкой императора, намеревающегося вершить суд, и оттого плебс почувствовал себя проштрафившимся легионом. Все стихли и как бы по волшебству замерли в тех позах, в которых их застало завораживающее предчувствие кары. Застыли зачарованные драматизмом момента и оба Петилия.

Этого мгновения хватило для того, чтобы вечность поставила незримый заслон, разрубивший время на прошлое и будущее. Только что



произошедшее, как и предшествовавшее ему, уже не имело значения, ибо все определял наступающий миг. Сейчас истерзанный страстями народ в равной мере был готов, ринувшись на ростры, задушить Сципиона, и, бросившись ему в ноги, молить его о прощении.

Сципион основательно устраивался на рострах. Приготовившись говорить, он еще продлил паузу и внимательно обозрел толпу.

Народ по-прежнему пребывал в замешательстве. Первое оцепенение, вызванное явлением принцепса, прошло, но люди недоумевали: глядя на претора, судей, обвинителей, писцов и прочих клерков, они видели суд, но, смотря на Сципиона, не видели подсудимого. Он был органически величав, как всегда, но при этом еще светился каким-то грустным торжеством. У них возникло впечатление, что они присутствуют при некоем грандиозном погребальном обряде, однако им не дано было понять, кого хоронят в этот пасмурный день и с чем расстанутся.

Наконец Сципион заговорил. Его голос зазвучал неожиданно мягко для такой суровой обстановки.

«Приветствую вас, квириты, — сказал первый человек государства, — сегодня для меня особый день».

Народ оцепенел от нового предчувствия. Всем было ясно, что день суда, конечно же, особый для любого подсудимого, но Сципион произнес эти слова загадочным тоном, свидетельствующим о том, что он знает обо всем происходящем гораздо больше, чем плебс, судьи и обвинители вместе взятые. Толпа была заинтригована духом тайны, овевавшим форум, но не удивилась: она ведь привыкла, что Сципион, подобно Юпитеру, обо всем всегда осведомлен лучше простых смертных.

Так Сципион первой же фразой восстановил дистанцию с плебсом, повергнув его к подножию пьедестала своей славы. Он продолжал: «И раз уж я стою пред вами в этот день, то скажу вам несколько слов о себе, ибо лицо Рима за последнее десятилетие изменилось, и многие из присутствующих здесь меня не знают, а другие и знают, да прикидываются, будто забыли».

На семнадцатом году жизни, едва надев тогу взрослого, я записался в войско, которым в ранге консула командовал мой отец. Поскольку уже в то время я сознавал свое призвание и усиленно занимался военными науками и боевыми упражнениями, народ доверил мне должность военного трибуна. Тогда же я был избран в коллегию салиев. Год моего совершеннолетия стал также и годом начала войны с Карфагеном. Наше войско направлялось в Испанию, чтобы в зародыше пресечь агрессию Ганнибала. О пунийском вожде мы в тот период знали лишь то, что он достойный сын прославленного Гамилькара. Однако через год мы уже говорили по-иному и называли Гамилькара достойным от-



цом Ганнибала. Наши легионы являли взгляду великолепное зрелище. Мы верили в себя, ибо понимали, что защищаем праведное дело, и казалось, что никто не способен нас сокрушить. Тогда мы были наивным народом, слишком чистым, чтобы познать бездну человеческого коварства, и Ганнибал стал нашим учителем. Он перевернул наши представления о людской природе и заставил повзрослеть все латинское племя. Да, Пуниец обхитрил нас и, предприняв рискованный переход через Галлию и Альпы, зашел нам в тыл, вторгся в Италию. Правда, в последний момент мы все-таки разгадали его замысел и едва не перехватили пунийцев у Родана, нам не хватило всего нескольких дней. Но, увы, Ганнибал успел уйти, и вместо решающего сражения, произошла лишь схватка передовых конных отрядов. В том бою мое копье впервые омылось пунийской кровью. Так я вступил во взрослую жизнь.

Потом было поражение нашей конницы у Тицина, когда консул получил ранение, в результате чего войско до конца года лишилось квалифицированного управления. Затем последовал разгром в заснеженной долине Требии. В сумрачный холодный день мы отступали к Плаценции. Тогда так же, как и сегодня, под ногами хлюпала грязь, и наши души тоже затопила слякоть. Казалось, будто сама Италия потоками дождя оплакивает свою скорбную участь, и земля ее, раскисши от слез, жалобно всхлипывает под ударами сапог алчных наемников и копыт африканских скакунов. Нам в то время думалось, что уже никогда не наступит лето, и никогда мы не увидим солнца.

Однако лето пришло, но оно стало для Отечества более суровым, нежели самая лютая зима. Разразилась катастрофа у Тразименского озера, где Ганнибал, как африканский хищник, подкрался к консульским легионам и, налетев из засады, в считанные часы растерзал их в клочья. Далее последовала каннская трагедия, нанесшая государству больший урон, чем все остальные поражения вместе взятые.

Даже сейчас, когда доблестью народа римского и его вождей опасность отодвинута на дальние границы ойкумены, жива память о том времени, и молодые люди, родившиеся уже в освобожденной от африканцев Италии, все-таки содрогаются от ужаса при упоминании о тех событиях, ибо с материнским молоком впитали страдания Родины так же, как и ее славу. Каково же было нам, видевшим все это воочию?

Буря, обрушившаяся на государство, смела всю нечисть. Выстояли только сильнейшие духом, самые что ни на есть римляне из римлян. Вокруг них и сплотился народ на пути к победе.

Да, положение казалось безнадежным, и после каннского побоища часть офицеров намеревалась бежать за границу. Мы с Аппием Клавдием объединили здоровые силы офицерского корпуса, и предотврати-



ли предательство. Кстати, замечу, что именно нашей группе удалось вывести с поля боя несколько тысяч воинов, ставших затем основой войска Марцелла, тогда как консул сохранил Республике лишь пятьдесят человек.

Народ отметил наши труды, и Клавдий получил претуру, а вскоре и консулат, а меня избрали эдилом, ведь мне было только двадцать лет. Мой юный возраст в те годы служил единственным поводом для упрёка со стороны недругов, но народ оценивал дела и помыслы, а не количество изношенной одежды. И потому, когда грянула новая беда, и в Испании одновременно погибли оба полководца, а с ними были почти полностью истреблены два войска, собрание граждан вручило мне, всего лишь эдилицию, консульские полномочия в этой, оказавшейся столь враждебной нам стране.

Нелишне будет вспомнить, что из всех достойных мужей не нашлось ни одного, кто вызвался бы возглавить остатки разбитых испанских легионов, столь гиблым казалось это дело. Я же не мог колебаться, меня влекли в Испанию и долг перед Отечеством, и долг пред своим родом, ведь оба полководца, ставшие жертвой коварства африканцев и измены иберийцев, были Корнелии Сципионы.

Прибыв в Испанию, мы вместо пассивной обороны, обреченной в той ситуации на неудачу, сразу перешли к активным действиям. Отвлекающим маневром с фуражировкой мы заставили все три карфагенских войска сгруппироваться в центре страны, а сами атаковали местную пунийскую столицу Испанский Карфаген. Благодаря оригинальному замыслу и помощи владык небес и морей, нам удалось в один день овладеть этой твердыней.

Там мы пополнили ресурсы для ведения войны и, самое главное, захватили сотни знатных иберийцев, содержавшихся пунийцами в качестве заложников. Всех испанцев мы отпустили на волю без выкупа. И этим показали местным народам великую разницу между римлянами и карфагенянами. С тех пор иберийцы душою были с нами и, постепенно освобождаясь от пунийских пут, племя за племенем, народ за народом переходили на нашу сторону. Увы, ныне близорукие магистраты, ослепленные мишурным блеском пунийских ценностей, повели себя в Испании так же, как некогда карфагеняне, и в результате иберы сделались нашими врагами. Теперь мы получили войну, которая продлится, я уверен, не одно десятилетие.

Тогда же, благодаря взвешенной политике в отношении местных племен и продуманной наступательной стратегии в борьбе с африканцами, мы в пять лет уничтожили четыре пунийских войска и овладели огромной страной, в два раза большей, чем Италия.



Потеряв Испанию, Ганнибал лишился материальных и людских ресурсов, необходимых для большой войны, а потому был вынужден отказаться от активных действий и перейти к обороне. Он окопался в Бруттии, как раненый зверь в своей норе, но продолжал огрызаться, покусав при этом не одного консула. Выдворить его из Италии представлялось делом крайне хлопотным и чреватым значительными потерями. А самое главное, это не принесло бы нам решающей победы в войне.

Я со своими лучшими легатами Гаем Лелием и Луцием Сципионом, еще будучи в Испании, пришел к выводу, что выиграть войну можно только в Африке. Наши взгляды разделяли самые дальновидные сенаторы в Риме: Квинт Цецилий Метелл, Марк Корнелий Цетег, Гай Сервилий Гемин и другие. В напряженной идеологической борьбе, где нам фактически противостояла не столько альтернативная стратегия, сколько зависть и злоба, мы отстаивали свою точку зрения и добились права увести войну из разрушенной и выжженной Италии в благоухающую Африку. Однако недруги лишили нас поддержки государства. Нам пришлось собирать войско из добровольцев и оснащать его на собственные средства. Этим объясняется наша задержка в Сицилии. Правда, мы не ограничились приготовлениями и одновременно сумели малыми силами отобрать у Ганнибала Локры.

В Африке нам первоначально пришлось труднее, чем мы полагали. Стараясь заранее проторить пути в ливийский край, мы заручились поддержкой нумидийских царей Сифакса и Масиниссы. С Масиниссой мы тайно встречались в Испании, а Сифакса навестили в его Сиге, где, скрестив интеллектуальное оружие с пунийцем Газдрубалом, в драматичном идеологическом споре отвоевали себе душу царя. Но цинизм и коварство пунийцев, на государственном уровне торгующими своими лучшими женщинами, похитили у нас Сифакса и его обширное царство. Увы, сластолюбивый царь не устоял перед лживыми ласками дочери Газдрубала, в которой все было лживо, кроме самого основного — любви к Родине, каковая возвела это глубоко порочное существо на пьедестал героев. Я бы поставил ее выше Ганнибала. По крайней мере, она не бежала с поля боя, а сражалась до последнего. Ну а Сифакс, подобно животному подчинивший разум прихоти тела, стал рабом Софонисбы и слугою Газдрубала. Он собрал огромное войско и сформировал его по нашему образцу, поскольку прежде, в период дружеских отношений, царскими консультантами были наши специалисты. Его пунийский хозяин тоже постарался... Совместные силы врагов достигали численности в сто тысяч. Но все было тщетно: мы расправились и с теми, и с другими. Потом разгромили их новую, на этот раз объединенную ар-



мию, и наконец добили Сифакса в глубине его царства. На нумидийский трон мы посадили верного нам Масиниссу. Отныне знаменитая африканская конница, принесящая Ганнибалу победу при Тицине, Требии и Каннах, принадлежала нам. Правда, Нумидия была истерзана войной и не могла выставить нужное количество всадников. Однако мы сумели толково воспользоваться и теми, которые были.

Итак, война шла по нашему плану. Благодаря верной стратегии мы управляли событиями, а события управляли карфагенянами. В полном соответствии с нашими расчетами Ганнибал покинул Италию именно тогда, когда нам это было угодно, ни месяцем раньше, ни месяцем позже. Но при всех наших успехах окончательная победа, казалось, была еще далека, ибо Ганнибал есть Ганнибал. Пуниец за одну зиму создал могучее войско и приготовил нам несколько тактических сюрпризов. В частности, он изучил наш обходной маневр резервным эшелоном и успешно применил его против нас у Замы. Если бы мы, в свою очередь, не придумали кое-какие новинки, нам пришлось бы туго.

Главная задача состояла в том, чтобы вызвать Ганнибала на решительное сражение, не дать войне затянуться, так как государство было истощено и практически не имело возможности продолжать масштабную кампанию в далекой стране. Кстати сказать, это главный закон наступательной войны вообще: на чужой территории нужно действовать стремительно, поскольку в начальный период преимущества принадлежат атакующему, если же война затянется свыше некоторой критической продолжительности, то в более выгодном положении окажется уже обороняющаяся сторона. Однако у Ганнибала имелись свои трудности, и он тоже не прочь был решить дело одной битвой, но только при выгодных обстоятельствах, вместе с тем он готовился и к затяжной войне на изнурение. Пуниец предпринял беспрецедентный марш в пустынные глубины Африки с целью оторвать нас от приморской базы под Утикой, а самое главное – изолировать от Нумидии, из которой мы ждали Масиниссу с подкреплением. Чтобы сделать ситуацию необратимой, а генеральное сражение – неизбежным, мы притворились, будто не поняли замысел врага, и сознательно устремились в ловушку хитрого Пунийца. Соревнуясь в гонке с неприятелем, мы зашли в такие места, откуда мог вернуться только кто-то один, только победитель. Сложилась такая обстановка, что грань, отделявшая успех от катастрофы, была тоньше лезвия меча. Балансируя на смертоносном острие, мы сумели воссоединиться с Масиниссой, не позволив сделать того же Ганнибалу и Вермине, заманили карфагенян на ровное поле, удобное нашей коннице, навязали им бой и разгромили в пух и прах. О самом сражении лучше всего узнать из поэмы Квинта Энния – красоты и гордости латин-



ской литературы. Это были «Канны» наоборот. Только мы потом не бражничали, как пунийцы в Капуе, а двинулись напрямик к вражеской столице и принудили Карфаген к капитуляции.

И произошла эта битва, решившая исход борьбы Рима с Карфагеном и заложившая основу для «Киноскефал» и «Магнесии», ровно день в день пятнадцать лет назад! Вот такая сегодня знаменательная дата! Вот такой сегодня особенный день!»

При этих словах Сципион одним движением сбросил с плеч серый плащ и предстал изумленной толпе в пурпурном облачении триумфатора. Увлеченные повестью о подвигах Сципиона, слившихся воедино с подвигами всего народа римского, люди не заметили, как постепенно над их головами таяли тучи, и прояснялось небо. Зато теперь они увидели сразу десяток ослепительных солнц, брызнувших на них праздничным сиянием с золотых узоров триумфального плаща Сципиона. Восхищенным людям показалось, будто именно Сципион Африканский своим преображением зажег солнце, и они не удивились этому, ведь им и раньше было известно, что пред этим человеком, которого они имеют возможность числить в согражданах, расступается море и по его воле разводит свои костры Вулкан.

«Итак! – покрывая шум ликования, снова воскликнул Сципион. – Пятнадцать лет назад Рим одолел Карфаген, а я победил Ганнибала! Так что уместнее сегодня воздать должное делам Рима, чем словам, тем более, что это будет не только благороднее, но и интереснее, ибо, что может сказать против меня тот, кто мне обязан самой возможностью говорить...»

При последней фразе, произнесенной без укора, но с грустью, председатель суда Теренций Куллеон позеленел. Этот момент, наверное, стал единственным случаем в истории, когда подлец проклял собственную подлость. Впрочем, его раскаяние было лишь минутной слабостью, и в дальнейшем он с лихвой наверстал потерянное.

«Я сейчас отправляюсь на Капитолий, чтобы принести жертвы богам – покровителям Отечества в благодарность за данную нам победу, – продолжал Сципион. – Туда же должны быть доставлены отобранные для обряда животные: я распорядился об этом еще на рассвете. И с собою я приглашаю всех истинных граждан, каковым дорога слава Рима, а не его грязь!»

Произнеся эти слова, Сципион сошел с ростр и, высоко подняв голову, светящуюся вдохновенным взором, двинулся к самому высокому римскому холму. За ним хлынул весь народ, ибо по мере того, как люди слушали Сципиона, их души расправляли крылья, а фигуры распрямлялись, принимая гордую осанку, они, словно животворным со-



ком, наливались достоинством и добротой, забывая низменные инстинкты, разбуженные в них лживой пропагандой, и к моменту окончания речи действительно из толпы превратились в народ. Постепенно к процессии присоединились писцы, прочие судебные служители и даже судьи. На обезлюдевшем форуме остались лишь зеленый претор в окружении ликторов, бессильных защитить его от собственной порочности, красный Катон и бесцветные Петилии.

Так Сципион разметал в клочья все обвинения, даже не упомянув о них, снял с себя все подозрения, не унизившись до оправданий, прекратил судебный процесс прежде, чем он успел начаться.

6

В день, назначенный антиаристократической партией для расправы над Сципионом Африканским, состоялся его неофициальный триумф. В сопровождении почти всех граждан Города он обошел главные римские храмы, принося дары богам и принимая изъявления народной любви. Сплотившись вокруг вождя, римляне вновь осознали величие и славу Отечества, а следовательно, и собственное могущество. Даже вольноотпущенники, ростовщики и торговцы почувствовали себя в этот день римлянами. Сколь ни сильна толпа, заряженная ненавистью, ей не сравниться с народом, объединенным в единое целое добрыми чувствами; тем и было живо человечество, что его созидательный потенциал превосходил энергию разрушения.

В здоровой моральной атмосфере гибнут микробы зависти и злобы. На некоторое время Катону пришлось уйти с форума к своим медякам, поскольку ни о каком продолжении процесса над Сципионом в сложившейся обстановке не могло быть и речи. Помимо воодушевления народа патриотической гордостью за своего героя, пользе Сципиона послужило осознание людьми того, что вести себя так, как он, мог только невиновный человек. Порций был обескуражен: всю жизнь он задирается со Сципионом, но тот всякий раз сметает его с дороги, словно пыль, не удостоивая даже отрицательного внимания, вообще брезгуя вступать с ним в какую-либо борьбу. Но Катон не унывал, потому как это был Катон. Труднее оказалась жизнь Петилиев. Этим народным трибунам пришлось скрываться от народа, проявляя всю изобретательность, присущую выскочкам. Теренций, закаленный в горниле унижений карфагенского плена, был недоступен стрелам совести и стыда, потому скоро приобрел прежний цвет лица. Веря в розги ликторов, он смело разгуливал по городу и делал вид, будто никогда и не стремился засудить своего благодетеля, а участвовал в позорном процессе лишь как государственное лицо, добросовестно исполняющее поручение сената.



Друзья Сципиона торжествовали и уговаривали принцепса поскорее развить успех, чтобы довершить разгром зарвавшейся группировки сенатских низов. Многие нобили в последнее время ощутимо страдали от притязаний на их место в обществе этой, прежде послушной, рыхлой, а ныне необычайно усилившейся за счет иррационального богатства и талантливых лидеров массы. Потому аристократы вновь с надеждой взирали на Сципиона и чрезмерно восхищались его идеологической и нравственной победой, которая, по их мнению, при умелом развитии наступления на оппозицию могла превратиться в победу политическую и возвратить им безоговорочное господство в государстве.

Однако Сципион повел себя не так, как ожидали и его друзья, и враги.

– Неужели я буду ввязываться в склоку с катонами да петилиями! – презрительно бросил он, когда завсегдатаи его триклиния открыто подняли этот вопрос.

– Но ведь ты не чурался политических игр во время войны с Карфагеном? – осторожно уговаривал его корифей искусства интриги Квинт Цецилий Метелл.

– Одно дело – Фабий Максим, и совсем другое – Порций, – с досадой отмахнулся от приставаний Публий. – Потом, я ведь всей своей жизнью, надеюсь, заслужил право вести себя честно и прямо, не унижаться до лжи и лицемерия. Но самое главное различие в том, что тогда я отстаивал свою идею и боролся за Родину, а сегодня вы мне предлагаете грызться с Петилиями ради себя. Пусть народ сам решает: нужен ему Сципион или нет. В конце концов, я дал Республике гораздо больше, чем взял, так что Рим должен дорожить Сципионом ничуть не меньше, чем Сципион – Римом!

«Постарел наш Корнелий», – думал, слушая эти слова, Цецилий.

– Ты же понимаешь, что народ – могучее, но лишенное зрения животное, – не унимался Метелл, – он послушно идет за поводырем и с равным рвением творит добро и зло. Так что для него же будет лучше, если он последует за нами, а не за кучкой разбогатевших ничтожеств с прожорливым брюхом вместо души.

– Что же тогда стоят наши труды и наши победы, если народ ныне так же слеп, как и был прежде? – мрачно философствовал Сципион. – Что нам толку в Испании, Африке, Греции и Азии, если люди остались столь же мелки, какими были в маленьком городишке, хуже того, становятся все мельче с увеличением наших владений? Как могло произойти, что после «Илипы», «Метавра», «Замы», «Киноскефал» и «Магнесии» в Риме возникли петилии и теренции? Увы, мы взрастили тело государства, но не его душу!



«Постарел!» – окончательно решил превосходящий товарища годами Цецилий и оставил его в покое.

Однако не все соратники подобно Метеллу простили Сципиона. Многие были обижены на него, считая, что, укрепив собственный авторитет, он тем и удовольствовался, а их интересами пренебрег.

У Сципиона же были иные заботы. Ему казалось, будто все случившееся после его возвращения из Азии, происходило не с ним, а с его тенью. Неким высшим знанием он понимал, что его судьба покатилась вниз с крутого откоса, с каждым днем убыстряя обороты. Причем это низвержение было вызвано не Катонем, Петилиями или Антиохом и не сенатом или плебсом. Его участь решилась совсем в других сферах, и жестокою насмешкою судьбы ему позволили узреть будущее. Восприятие внешнего мира изменилось, и действительность как бы стала недействительной. Все вокруг сделалось чужим и отдаленным. Он словно смотрел на землю, на которой его уже нет.

Временами Сципион испытывал прилив сил и боролся с депрессией. Он внушал себе, что его пессимизм вызван неприятностями реальной жизни, а значит, и преодолен может быть земными средствами. При желании всему можно подобрать объяснение. Досадная болезнь помешала ему проявить себя в Азии, а пленение сына и вовсе омрачило впечатление от похода. В Риме он застал разгул низменных страстей: в мир пришло новое поколение, и оно сказалось не таким, какого чаяли отцы. Самого его, Публия Сципиона Африканского, на родине встретили не благодарностью за беспримерные заслуги перед Отечеством, а завистью и злобой. Тот, кто спас государство от Ганнибала и дал государству власть над Испанией, Африкой и Азией, был обвинен в государственной измене! Как ему было не скорбеть о таком падении народа! Как ему было не поверить в рок судьбы!

Разбирая конкретные причины неудач, Сципион взбадривал себя доводами рассудка и намечал план действий по преодолению отрицательных явлений, но, сталкиваясь с реальностью, быстро терял пыл и снова впадал в пессимизм. Он ощущал себя дельфином в луже грязи, где, несмотря на сильные плавники и гибкое тело, ему невозможно пуститься в плаванье.

7

Обнаружив, что Сципион не помышляет о преследовании обидчиков, Катон воспрял духом и решил возобновить наступление на врага, внося в свою кампанию соответствующие настоящему моменту коррективы. Сейчас его лагерю принадлежали все городские магистратуры, но в дальнейшем добиться такого расклада должностей не представлялось



возможным, ввиду присутствия в Риме Сципионов, потому Катону было необходимо достичь поставленной цели именно в этом году. Однако действовать прежним способом не следовало. Обвинение Сципиона Африканского в измене Отечеству было явным перебором. В те древние, темные века средства пропаганды еще не достигли такого развития, чтобы тиранически господствовать над разумом, совестью и честью, и народу нужно было подавать более тонкие политические блюда, чем то, за версту смердящее ложью, которое он сварганил вместе с Петилиями.

Порций надумал привлечь в помощь бациллы новой тогда для Рима, но уже весьма распространенной и злободневной болезни – алчности и выдвинул, естественно, через Петилиев обвинение Сципионам в присвоении части азиатской добычи. Он полагал, будто перед деньгами не устоит никто, и потому считал такую формулировку правдоподобной, и обвинение – неотразимым. Причем во всеуслышанье говорилось о нечестности одного только Луция Сципиона, дабы не слишком больно ранить порядочность простоллюдинов, но одновременно подразумевалось, что братья действовали совместно.

Другим новшеством стала сотканная Катонем идеологическая подкладка затеваемого судебного процесса. Каждому камню на форуме внушалась мысль о нашествии на Город страшного врага – алчности. Да, именно так! Катон решил пожертвовать собственной богиней, отлично зная, что она стерпит любые словесные поношения, лишь бы только непрерывно наполнялось ее бездонное чрево. Некоторым оправданием ему может служить то, что он искренне верил, будто существует порочная корысть, ворующая у государства, и есть честное, добропорядочное стяжательство, обирающее граждан этого самого государства, а также – грабящее иноземцев и сосущее кровь рабов. Дело Сципионов подавалось народу как начало оздоровительной кампании в масштабах всей Республики. «Как нам ни жаль Корнелиев, некогда оказавших кое-какие услуги Отечеству, долг требует крутых мер по излечению граждан, пораженных азиатским недугом, – сокрушенно говорили перед плебсом катоновцы, хихикая в плечо. – Ведь мы бы не допустили на форум, в гущу народа или в сенат человека, больного чумой, сколь уважаемым он бы ни был. Таково наше нынешнее отношение и к консулу трехлетней давности. Он должен быть очищен от скверны взяточничества и воровства!»

В целях демонстрации глобального характера предпринимаемых оздоровительных мер, а также для создания впечатления о порочности всей среды обитания Сципионов, наряду с полководцами к ответу были привлечены квестор Гай Фурий Акулеон, легаты – братья Луций и Авл Гостилии и несколько чиновников из штабного персонала. Позасе-



дав и пошумев, претор – все тот же Квинт Теренций Куллеон – и судьи оправдали Луция Гостилия и чиновников. Так народу были даны косвенные свидетельства объективности и добросовестности организаторов судебной эпопеи.

Поддавшись гипнозу грозно-величественных манипуляций городских властей, потрясающих связками прутьев и трибунскими знаками, плебс опять поверил в серьезность дела Сципионов, и потому, когда был назначен день суда над ними, на форуме собралась столь же возбужденная и агрессивная толпа, как и несколько месяцев назад при первой попытке расправиться с Публием Африканским.

8

Над Римом уже давно взошло солнце, которое, словно прищурившись, скептически смотрело на форум сквозь дымку разреженных облаков, а воинственность трибунов все еще пожирала их самих за неимением более достойной пищи. Возле ростр, забаррикадовавшись пучками розог, восседал претор, тут же сгруппировались обвинители, грифами озирали толпу судьи, против них в окружении знатных сенаторов стоял с демонстративно-независимым видом Луций Азиатский, за его спиной, нервно покусывая губы, переминались с ноги на ногу Фурий Акулеон и Авл Гостилий, а вся площадь пенилась стриженными макушками жаждущего зрелища плебса. Но при таком обилии лиц и судебных атрибутов вся сцена в целом выглядела незавершенной, безжизненной, лишенной содержания, поскольку отсутствовал главный герой, для задействования которого и затевалось это представление. На форуме не было Публия Сципиона Африканского.

Никто не мог назвать причину отсутствия принцепса, и это дало возможность строить предположения всем. В толпе быстро разнесся слух, что Сципион заболел. Но столь простое решение вопроса не удовлетворило взыскательную публику, и вскоре уже, как о чем-то несомненном, говорилось о тайном бегстве Африканского из города, тут же нашлись люди, утверждавшие, будто видели его рано утром у Капенских ворот переодетым в рабский балахон, однако относительно его дальнейшего маршрута мнения расходились: одни предполагали, что он обосновался на Альбанской горе и собирает ветеранов; по мнению других, – отплыл в Карфаген, дабы возглавить пунийское войско и с ним вторгнуться в Италию, о чем у него якобы уже была договоренность с лидерами совета ста-четырех; третьи заверяли, что он отбыл в Сирию, где Антиох обещал ему половину царства.

Петилии вначале перепугались, ожидая от непредсказуемого Сципиона какого-либо подвоха, потом решили, что он сам порядком напуган, и



осмелели до наглости. По закону неявка подсудимого на собрание расценивалась как признание им вины, и Петилии уже собрались настаивать на заочном осуждении принцепса, но Катон, понимающий, что Сципион так просто не уступит, потянул за узду и остановил своих рысаков. Те ограничились несколькими выражающими возмущение фразами.

«Вот вы в прошлый раз презрели отеческие законы, оставили претора, судей и словно стадо овец, пошли за Корнелием, чтобы в сотый раз восславить его за древние, поседевшие и полинявшие от времени подвиги! — выговаривали Петилии простолюдинам. — А сегодня он, уверившись в собственной безнаказанности, пренебрег не только нами, но и вами!»

Излив избыток гнева, Петилии успокоились и принялись за Луция Сципиона, отложив решение участи его брата на конец дня. В прыткой, как галоп молодого скакуна, речи они обвинили победителя Антиоха в присвоении гигантской части азиатской добычи, исчисляемой примерно в четыре миллиона сестерциев. Эмоциональным фоном для обсуждаемого преступления вновь стали намеки на мягкие условия мира и любезность царя в отношении племянника консула.

Луций был человеком тщеславным и остроумным, но честным и справедливым. Благодаря первым качествам, он приготовился выступить с хлестким ответным словом, намереваясь при этом не столько защищаться, сколько атаковать своих обвинителей, но из-за второй группы качеств пришел в крайнее возбуждение от столкновения с клеветой и злобой, а потому его речь получилась сумбурной и чрезмерно резкой.

Вначале Луций заговорил о своей азиатской кампании. Описал весь ход войны, решающее сражение и главные итоги. Затем, сбиваясь от волнения, он принялся доказывать, что предъявленные им требования к побежденным были ничуть не мягче, чем условия, выставленные Карфагену или царю Филиппу.

«Так на чем же основаны упреки? — возмущенно вопрошал Сципион Азиатский. И, забыв о дипломатичности, откровенно отвечал: — На недобросовестности Петилиев и на вашем невежестве, квинтиты! Толпа, зовущаяся ныне римским народом, с каждым годом включает в себя все меньше истинных римлян, с оружием в руках победоносно прошедших весь круг земной, и все больше всяческих отщепенцев: изворотливых рабов, сумевших обмануть своих хозяев, любителей легкой жизни, сошедшихся в столицу со всей Италии, и прочих проходимцев. Таким людям нет дела до Македонии, Карфагена или Сирии, нет дела до славы Рима, вся Вселенная для них заключена в корзинке с завтраком, подаренной патроном за порцию лести, да в подачках городских властей и триумфаторов. Разве они могут знать, что территория, отобранная у



Антиоха, в ширину составляет десять дней пути, а в длину – тридцать дней, разве они способны сосчитать, что контрибуция, затребованная с азиатского царя, в полтора раза превышает выкуп Карфагена и в десять раз – дань Филиппа! Разве они в состоянии понять душу Сципионов! Они верят в нашу корысть, они пытаются измерить нас деньгами! Да, такие люди – находка для Петилиев: их глупостью можно сотворить любое преступление. Из рыхлой, аморфной массы обывателей авантюристы испокон веков лепят монстров, пожирающих лучших сынов народа, чтобы потом беспрепятственно подчинить себе обезглавленную толпу!»

Эта речь вызвала взрыв истерического бешенства, и Луция хотели тут же стащить в Гемонии, но слово в качестве свидетеля взял Публий Сципион Назика и несколько утихомирил страсти.

Он пояснил, что в своем обличении Луций имел в виду не римский народ как таковой, а лишь худшие, чужеродные его элементы, и уж никак не хотел обидеть присутствующих здесь доблестных и почтенных граждан, которые, несомненно, представляют собою соль земли.

Успокоив разгоряченный народ, Назика стал развивать те же положения, которые только что высказал Луций, но поскольку делал это в более изысканной форме, перемежая изложение сути с хламом пустых комплиментов плебсу, то вместо гнева толпы, снискал ее расположение. Из симпатии к оратору, простолюдины поверили в лживость, завистливость Петилиев и выразили доверие Сципионам.

«Как же так, недавно мы порицали пунийцев за неблагодарность к своему великому соотечественнику Ганнибалу, а сегодня сами стали трижды неблагодарны к Сципионам! – развивая успех, воскликнул Назика. – Но ведь карфагеняне изгнали побежденного, а мы преследуем победителей! Неужели мы опустимся ниже презренных пунийцев? Неужели мы, свергнув с пьедестала славы Отечества Сципионов, возведем на него Петилиев? Вы только сравните их...»

В толпе пробежал смехок, ибо, как ни топорщили грудь и не воздевали кверху нос трибуны, представить их на месте Сципионов было невозможно.

«Вы только сравните их! – с повышенным эмоциональным накалом повторил Назика. – Одни руководили легионами, другие повелевают писцами, одни организовывали величайшие кампании нашего Отечества, другие – позорную травлю героев, Сципионы сражались мечом и копьем, а Петилии – броскими фразами и лживыми наветами, Сципионы бились с врагом, а Петилии – с согражданами, Сципионы привели в действие все лучшее, что есть в народе римском, и победили могущественные государства, а Петилии мутят людские души, стараясь поднять



с их дна осадок самых низменных страстей, присущих человеческой природе, чтобы победить победителей! Так неужели вы отдадите предпочтение последним перед первыми! Неужели злые начала в вас восторжествуют над добрыми!»

Штурм был отбит. Атакующих отбросили от твердыни авторитета Сципионов, нанеся им ощутимый урон. В штабе осаждающих началась возня. Озабоченные сновали туда-сюда адъютанты, легаты и гонцы, только сам император судебных битв Марк Порций Катон оставался невозмутим, правда, лишь внешне, в потусторонних глубинах его существа, как и в душе всякого полководца во время сражения, клокотали неистовые страсти. Публий Назика отобрал у него победу, когда Луций Сципион, растворив ворота, опрометчиво ринулся в контратаку и угодил в хитрую ловушку. За это Катон обрек Назику пасть жертвой своей мести следом за его двоюродными братьями. Прежде Порций ненавидел этого человека как представителя рода Сципионов, но теперь он, вдобавок, возненавидел его и персонально как Публия Назику. Такое подкрепление в полку Катоновой ненависти с лихвой восполнило только что понесенные моральные потери, и Порций, невзирая на изменившееся настроение плебса, вновь ощутил в себе необъятные силы и почуял трупный запах своей близкой победы.

Прыткие молодцы, разрезая толпу острыми локтями, устремились от ставки командующего на передовую, чтобы довести до Петилиев и Теренция приказы «императора». Их прибытие внесло оживление в ряды нападающих. Хмурый лик Куллеона просиял внезапной надеждой, и претор, возникнув перед плебсом во весь рост, заявил, что если Сципионы действительно невиновны, то пусть предъявят ему счетные книги, чтобы, проверив их частные траты, суд мог косвенно, как бы подойдя к проблеме с другой стороны, убедиться в отсутствии каких-либо следов в их доме Антиоховых денег.

Луций Сципион побледнел от такого унижения.

– Мне отчитываться в домашних тратах перед тобою, Теренций, перед вами, Петилии! – воскликнул он.

– Перед судом! – помпезно возвестил Куллеон, любовно поглаживая пурпурную полосу на магистратской тоге.

– Боги нам судьи, а не пунийский раб!

Петилии налету схватили эту фразу, словно тощие псы – жирную кость.

– Вот каковы они, Сципионы! – страстно возопили трибуны. – Они пренебрегают судом, унижают народ римский и оскорбляют избранного вами претора! Вот она, царская надменность Сципионов! Посмотрите только, как взбеленился этот обласканный вами Корнелий! «Как же



так, вы, ничтожные плебеи, будете рыться в моих книгах, обсуждать мои дела!» – кричит его гневный облик. Видите, как презирает нас, плебеев, этот высокомерный патриций! Словно у нас и не две ноги, как у него, словно мы существа низшей породы, быдло, самую природой назначенное лстыть ему и пресмыкаться перед ним, а также совершать ратные подвиги, которые он будет приписывать себе!

Итак, в бой была брошена грозная сила возвращенной веками ненависти плебеев к патрициям. В последнее столетие эта тема утратила актуальность ввиду фактического стирания границ между обеими категориями граждан и уступила место борьбе верхов общества – нобилитета, куда наряду с патрициями влились и могущественные плебейские роды, и низов, условно именуемых плебсом. Однако вражда плебеев к патрициям проникла в их плоть и кровь, стала генетической. Она была подобна спящему зверю, который теперь был разбужен громкими криками трибунов и издал грозный рык тысячами глоток раздраженных людей. Вдвойне ненавистен был им сейчас Сципион: и как патриций, и как нобиль.

– А другой-то Сципион в своей необузданной надменности и вовсе не явился на суд! – воскликнул один из Петилиев, в опьянении успехом возмечтавший покончить сразу с обоими врагами, но, как выяснилось, тем самым лишь накликал на себя беду.

Весь люд вдруг отвернулся от Петилиев и, издав изумленный возглас, воззрился на вершину Капитолия. Там, на пороге храма Юпитера под изливающимися солнечный свет золотыми щитами, стоял Публий Корнелий Сципион Африканский. На миг плебсу показалось, будто то сам Юпитер, сошедши с пьедестала, явился гражданам, чтобы поразить их молнией за обиды, чинимые его любимцу.

Выдержав драматическую паузу, Сципион, не спеша, стал сходить вниз к народу. Его провожали жрецы во главе с самим Великим понтификом. По пути он проследовал через арку с позолоченными статуями, установленную им в честь победы над Карфагеном, благодаря чему плебс живо вспомнил о его достижениях и заслугах.

Зрелище спускающегося со священных высот принцепса произвело сильное впечатление не только на простолудинов, но и на судей. Потому, когда Сципион, никого не спрашивая, занял место на рострах, никто не воспрепятствовал ему обратиться к народу.

«Сегодня ночью, квириты, я услышал гневный глас богов, – заговорил Сципион. – Юпитер недвусмысленно требовал меня к себе. Над государством нависла страшная беда: одолев в честной борьбе всех внешних врагов, Республика оказалась под угрозой гибели от яда внутреннего раздора. Что я мог сказать небесным владыкам? Чем мог оправдаться перед ними за происходящее здесь? Как мне можно было



объяснить безумие, одолевшее дотоле непобедимый народ римский? Я делал все, что должно делать римскому гражданину, когда видел противника перед собою, но как быть, когда он подкрался сзади и ударил в спину? Я воин, император, мой долг – противостоять силе, но я не обязан сражаться с подлостью. Я защитил вас от иберов, нумидийцев и пунийцев, я поверг столь страшного для вас Ганнибала, но я не могу защитить вас от глупости, не в моих возможностях дать вам разум.

Я повинился пред богами за свое бессилие и стал молить их о помощи. Но оказалось, что вы и богов поставили в тупик! Прежде наши боги поддерживали нас в борьбе против чужеземных неприятелей, блюли интересы государства, а кого им поддерживать теперь, когда одни граждане нападают на других? Может быть, им тоже передрасться между собою и стать богами отдельно Петилиев, Порциев, Теренциев, Фульвиев, Корнелиев? Каковое зрелище представлял бы собою такой пантеон!

Увы, даже боги не в силах наставить на путь истинный безумца, выколовшего себе глаза!

Я принес жертвы Юпитеру, Юноне и Минерве. Что еще мог я предпринять? Мне удалось выпросить для вас отсрочку. Сегодня все окончится благополучно: человеческое в вас одержит верх над низостью ползучей злобы, и Республика еще некоторое время сохранится в том виде, в котором она добилась ведущей роли в мире. Но знайте – это ваш последний шанс. Следующий раз, когда вы вновь соберетесь здесь с пенящимися злобой ртами и слепыми от гнева глазами, я не стану вызывать к богам, я не буду более спасать вашу совесть.

Поговорим же в последний раз, квинтиты. Ответьте мне на тот вопрос, на который я не смог дать ответ богам: зачем вы пришли сюда, зачем тратите столько сил и времени на бесплодные страсти? Какие беды, страдания, несчастья подвигли вас на эту демонстрацию бешенства? Вам мало полученных в результате моих побед двухсот миллионов сестерциев, и вы требуете еще четырех миллионов? Кажется, такое число прошипели раздвоенные языки этих пресмыкающихся, когда обсуждалась пеня с меня и с Луция Азиатского. А может быть, вам не хватило Испании, Африки и Азии, которые мы с братом предоставили в ваше распоряжение, и вы требуете еще Персию и Индию? Так ведь проесть нетрудно и весь мир, мы же дали вам эти страны, чтобы хозяйствовать в них, а не за тем, чтобы грабить, как Порций – испанцев, а Манлий – фригийцев.

Поистине велик был Рим в пределах Лация, но ныне он расплескал свою доблесть по обширным просторам Средиземноморья и обмелел!

А вдруг я ошибаюсь, и вами движет высшее из чувств – чувство справедливости, и вы хотите наказать корыстолюбца, запятнавшего пу-



нийской страстью имя римского гражданина! Может быть, дело обстоит именно так, и следует воздать вам хвалу за праведный гнев? Но кто же этот преступник, столь возмутивший вас? Оказывается, Публий Корнелий Сципион Африканский! Вот как, человека, который некогда отказался от бессрочного консульства, от памятников в храмах, на Капитолии и в курии, от божеских почестей, человека, который повелевал могущественнейшими царями, победил самые богатые народы земного круга, человека, чьей добычей был весь мир, вы обвиняете в присвоении кучки блестящего азиатского хлама, составляющей пятидесятую часть от сокровищ, принесенных им государству!

Расскажите об этом вашим женам, и они, бросив вас, возьмут себе в мужья пунийцев! Расскажите об этом своим детям, и они установят над вами патронаж как над слабоумными родичами! Впрочем, не будет ни того, ни другого, ибо и женщины, и младенцы засмеют вас до смерти.

Так зачем вы пришли сюда? Молчите? Неужели только из-за того, что вас позвали? А кто позвал и для чего, вас не интересует? Вам лишь бы служить, а добру или злу – не имеет значенья?»

Толпа разомлела от избытка благих чувств. Над форумом воскурялись испарения очистительного раскаянья. Румянец стыда, разливаясь по лицам, стал придавать людям естественный вид.

Официальные представители государства тоже поддались гипнозу общего настроения и почувствовали себя обычными людьми, совершившими, однако, необычные поступки. Петилии прикипели к камням мостовой, а их челюсти сковала судорога. Теренций сохранил некоторую подвижность и маневрировал корпусом, стараясь укрыться за пучками розог. Ему казалось, что вот-вот Сципион произнесет роковую фразу, и суд обратится вспять, подсудимые и судьи поменяются местами.

Узрев в происходящих метаморфозах угрозу своей затее, Катон воспользовался оцепенением толпы и самолично выдвинулся в первые ряды бойцов. Оказавшись среди своих растерявшихся легатов, Порций украдкой дал подзатыльник Теренцию и потряхнул за шиворот Петилиев. Такими энергичными действиями он привел их в чувство. Затем Порций пристроился к уху одного из Петилиев и завел речь окосевшими устами трибуна, который сейчас в равной мере боялся и Сципиона, и Катона, а потому как бы выключился, самоустранился от происходящего и работал исключительно как ретранслятор, автоматически повторяя не только слова, но даже интонации Катона.

Растерзав эффектную паузу резким голосом, они возвестили: «Уж так с нами разговаривал Корнелий, словно он почти что и не человек! Даже явился он к нам не из города, а, спустившись с вершины, будто сошел с самих небес! Однако мы-то, в отличие от него, всего лишь лю-



ди и мучают нас исключительно человеческие проблемы. Нас крупно обокрали, и мы требуем ответа.

Так что, уж коли Великий и Африканский полубог-получеловек, полуконсул-полудиктатор-полуцарь: в общем, весь располовиненный и раздвоенный Корнелий снизошел до нас, простых смертных, пусть он и в самом деле опустится на землю, примет суд, а потом мы, уж так и быть, вознесем его на небеса, но уже вполне легально, по закону. Мы требуем суда!»

Теперь уже обвинителям согласно сюжету потребовалась грозная пауза, презрев которую, в дело вновь вступил Сципион. Не оборачиваясь к врагам, он как бы продолжал прерванный разговор с народом:

«Так зачем вы собрались здесь? Ах, вам сказали: тут будет суд, и вы без раздумий поверили. Поверили этому четвероногому оратору Порцепетилию! Поверили, будто здесь и в самом деле состоится суд над Сципионами! Неужели вам, квириты, не ясно, что цель их – не судить Сципионов, ибо на это никто не способен, а показать вам, будто они нас судят! Не имея возможности справиться с нами, они вздумали очернить нас, связав через этот постыдный фарс наши имена со своими! И вы с готовностью вызвались стать участниками грязной авантюры, позорной демонстрации лжи и злобы!

Мне ничего не стоит освободить Рим от этой нечисти, как я некогда освободил от нее войско, но как быть с вами, граждане? Ведь если вы поверили им, значит, вы безнадежно больны душою, судьба устроила вам испытание, и вы не выдержали его! Вот ведь парадокс: этот, казалось бы, ублюдочный, фиктивный суд, явился настоящим судом, судом над народом римским в его нынешнем виде, над вами, и вы его проиграли, вы осудили себя на деградацию, на века мучительного упадка, наполненные пустыми терзаниями в кипятке искусственных страстей, далеких от интересов человеческого естества. Неважно, что станется со Сципионами или вон с теми обладателями собачьих глаз, то бешено злобных, то заискивающе-угодливых, важно, что вы пришли сюда...»

«Корнелий! – крикнул «Порцепетилий». – Полноте убиваться о народе римском! Он, как никогда, могуч, раз сумел восстать против рабства, против вас, Сципионов! Так что лучше позаботься о себе, Корнелий!

Ты говоришь, будто невиновен, будто ничего не крал, а этот особняк, выросший чуть ли не на самом форуме, словно ты намеревался заменить им народное собрание, подарил тебе любезный Юпитер, который заодно и жену твою с ног до головы осыпал драгоценностями? Охотно верю. Но судьи обязаны не верить, а знать. Предъяви им счетные книги, и коли там стоит печать Юпитера против твоих миллионных трат, мы с должным почетом проводим тебя восвояси».



Сципион мгновенье раздумывал, потом подозвал слугу и распорядился доставить вождеденные свитки.

Этот жест вызвал тревогу в стане завоевателей чужой чести. А что, если в записях Сципионов и в самом деле полный порядок? Конечно, славно покопаться в домашнем белье знаменитого человека, пересчитать его имущество, перевероршить всю утварь, но это может дать обильный материал для сплетен, но не для суда... Впрочем, Катон все равно что-нибудь придумает. Уж если зубы Порция впились в чью-то лодыжку, то жертва не стряхнет его, пока ей напрочь не отгрызут ногу. Потому Петилии и Теренции могли твердо рассчитывать, что в любом случае Сципион уйдет от них не иначе, как сделавшись калекой.

Пока доставлялись домовые книги, в разреженной атмосфере действия заняли сцену писцы и прочие судебные чиновники, которые наполнили ее суетой. Однако их выход длился недолго. Вскоре слуги принесли необходимые документы и передали их Публию Африканскому. Сципион поднял свитки на уровень лица и показал народу.

– Вот наши счетные книги, квиниты, моя и Луция, – сказал он. Я даю вам слово, что в них нет следа Антиоховых денег, за исключением официально полученной части добычи, как нет их следа и в наших жилищах. Кто подвергнет сомнению сказанное мною, тот оскорбит меня, это будет равноценно обвинению меня, Публия Корнелия Сципиона Африканского, во лжи, тот, кто сделает это, станет клеветником!

При последних словах дернувшийся в направлении ростр Теренций окаменел, словно на него опять надели пунийские колодки, но Порций энергично двинул его в загривок, и претор шустро подлетел к Сципиону.

– Дай... – с опаской протягивая руку, промямлил Теренций, но тут у него за спиной раздалось угрожающее шипенье, и он, поспешно приняв преторскую осанку, напыщенно произнес:

– Предъяви суду документы.

– Ах, вот кто вызвался быть моим оскорбителем! – насмешливо воскликнул Публий. – Вот вам, будущие триумфаторы, наука! Хорошенько обдумывайте, кого ставить перед своей колесницей, а кого – позади нее, кому вручать красный колпак, а на кого надевать цепи. Так ты, Теренций, усомнился в честности Сципиона Африканского? Досадное заблуждение... Ну что же, ты убедишься в ней, но это будет стоить тебе труда. А что поделаешь! Давно ведь известно, что строптивых рабов лучше всего смирять трудом.

Тут Сципион сильным движеньем, в которое он вложил долгое время сдерживаемый гнев, разорвал счетные книги и пустил их по ветру, предложив Теренцию поползть на четвереньках по форуму, собирая их.



В толпе раздались испуганные возгласы, смех, одобрение и робкое возмущение. Но в этот момент, пока плебс, подброшенный таким поступком Сципиона на вершину эмоций, еще не определился с отношением к произошедшей сцене, стоящая у самых ростр группа знатных сенаторов торжественно зааплодировала. К ней присоединились другие сенаторы, включая Фабиев, Фуриев и Клавдиев. А спустя несколько мгновений уже весь форум грохнул неистовым восторгом.

– Таким поведением ты оскорбил суд! – завопил Катон теперь уже своим голосом, покрывая шум толпы, но тут же спохватился и вытолкнул вперед Петилия.

– Таким поведением ты оскорбляешь суд! – в той же интонации прокричал трибун.

– Каков суд, таково и отношение к нему, – бросил им Сципион.

– Ни один гражданин не должен быть вне досягаемости суда, иначе рухнет государство!

– Ошибаешься, трибун, – возразил Публий. – Судить надлежит только виновных, в противном случае рухнет государство!

– Но как мы без суда узнаем, виновен ты или нет? – нашелся Теренций.

– Вся жизнь моя прошла у вас на виду; мои поступки – свидетельство моей честности и моей чести! И если ты за целые десятилетия не смог понять меня, то что тебе удастся узнать обо мне за несколько часов?

После этих слов претору оставалось только собирать клочки счетных книг на булыжной мостовой. Но в бой вновь вступил взнузданный Порцием Петилий.

– Законы Республики дают нам право привлекать к суду любого гражданина, будь то Децим, Септимий или Сципион, а претор облечен полномочиями вершить суд над всяким, кто носит имя римлянина. Закон превыше всего, а закон на нашей стороне! – вдохновенно на одном дыхании выпалил он.

– Не так, Петилий. Превыше законов справедливость, ибо законы как раз и направлены на защиту справедливости, а законодательство в целом – есть лестница, по которой человечество восходит к вершине справедливости! Справедливость же на нашей стороне!

Дальше говорить было уже невозможно, поскольку все слова тонули в восторженном реве толпы и ритмичной музыке рукоплесканий сенаторов.

9

Итак, второй поход Катона против Сципиона завершился полным крахом. Хитрость, Коварство и Ложь – три титана политики будущих веков – вновь оказались посрамлены в республиканском Риме. Народ не



поверил в то, что Сципион – взяточник так же, как раньше не поверил в его измену. Над Порцием стали насмехаться даже его друзья, даже самые активные соратники, разуверившись в успехе, смирились с мыслью, что их бизнесу придется повременить с завоеванием Рима до дня естественной смерти Сципиона.

Год близился к концу. Скоро должен был вернуться из Лигурии консул Марк Эмилий Лепид, и с его прибытием в столицу политическому господству клана Катона неизбежно придет конец. На долгие годы Порций будет вынужден залечь на дно и смиренно ждать, когда потускнеет от времени слава Сципиона, подобно тому, как ночной хищник ждет заката солнца, чтобы выйти на охоту. Катону, и смиренно ждать?! Для него не могло быть ничего мучительнее, ничего невозможнее.

Однако этот сгусток энергии и не помышлял о страшной перспективе бездействия. У него уже созрел новый план. Он не стал ломиться в закрытую дверь, а решил пробраться в стан Сципионов с черного хода. «Да, судя по всему, Африканский не виновен, – творя над собою насилие, говорил теперь Порций, – это человек заслуженный, и есть резон ему верить, но ведь его братец-то при всем том остается простым смертным, и относительно его честности мы не можем судить абстрактно. Тут необходима конкретная информация, а Сципионы ее нам не предоставили. В итоге, под тем предлогом, что Африканский выше всяких подозрений, мы сняли подозрения и с его брата... Ловко же нас обошли!»

Такой маневр Катона снова привлек к нему внимание. У Порция опять появились слушатели, а это лишь усугубило его красноречие, и по мере того, как он забирал силу, в произносимых им речах, направленных против Луция Сципиона, стали появляться выпады и против Публия. Этому оратору неведомо было сознавать, что на Сципионе Африканском не будет лежать хотя бы тень позора, а потому, произнося вступительные слова о заслугах Публия Сципиона и его априорной невинности, он начал добавлять: «Ну, а если Африканский и грешен, то ему это, пожалуй, можно простить». Подобными оговорками, великодушно отпуская Сципиону несуществующие грехи, Порций принялся стирать только что якобы признанный им нимб его исключительности.

При отсутствии какой-либо деятельности в этом направлении со стороны противника Катон вскоре полностью овладел умами сограждан и смело выдвинулся на новый рубеж атаки. Повторяя привычную формулу о невинности Африканского, которую он постепенно превратил в формулу о его неподсудности с подтекстом морального осуждения, и о необходимости хорошенько прощупать Луция Азиатского, Порций совершал резкий скачок в сторону и тоном дурного пророчества говорил: «Впрочем, дело не в деньгах, деньги – дело наживное, был



бы хорошим хозяином, и даже – не в факте коррупции. Недавний суд вскрыл гораздо более опасное явление, грозящее всему укладу нашей жизни, самому государству, нашей свободе! Добром ли, нет ли, но один человек так возвысился над согражданами, обрел такую силу над нами, что его слово, обретенное частным порядком, стало иметь большее значение, чем сенатское постановление, чем решение комиций, его воля ныне попирает законы и обычаи Республики. Судите сами: по одному мановению этого человека народ, забыв свой долг, оставил собрание и пошел за ним, более того, даже судьи презрели священные обязанности и присоединились к этому небывалому триумфальному шествию. Он так вырос на победах сограждан, что стал затмевать солнце! На Рим пала тень, тень Сципиона Африканского! Нет больше ни комиций, ни сената, ни суда, есть только Сципион Африканский! Республиканские учреждения растоптаны во прах его надменною пятою. Нет больше республики, есть только Сципион Африканский! Это ли не царствование, это ли не худшая из монархий без трона и знаков царского достоинства, незаконная, а потому не имеющая ограничений, тираническая!

Вопреки фактам вы, квириды, отказались поверить в злоумышленья Корнелия в Азии. Пусть так, не буду спорить. Но, если он все же совершит проступок, а, как вы знаете, безнаказанность порождает преступленья, как вы поступите тогда, что будете делать, как защищаться от его происков, ведь на него не действует суд, против него бессильны магистраты? Увы, вам останется только молча все стерпеть, как вы терпите разгул стихии: ураганы, ливни, град! Вам останется только молить небеса, потому что вы сами возвели его в ранг богов!

Граждане, одумайтесь! Сколь ни был бы вам дорог Сципион, неужели Родина не дороже? Неужели Сципион значит для вас больше, чем государство, чем установления отцов, ваша собственная свобода, счастье детей и внуков? Граждане, одумайтесь!»

Плебс был озадачен такими восклицаниями и призывами. На обывателей напал страх, что вдруг Сципион и в самом деле замыслил против государства нечто недоброе, о том же, что для этого Сципион должен превратиться в Ганнибала, им не было велено задумываться, и они не задумывались. Верные солдаты толпы принялись морщить лбы, размышляя, как им уберечься от всемогущего авторитета Сципиона, однако никто не задавался вопросом, как уберечься от неукротимого риторического напора Катона, способного очернить солнце и обелить ночь, а также – от алчности стоящего за его спиною легиона торговцев и банкиров.

Вся информация, необходимая для надлежащего вывода, была вложена Порцием в уши сограждан, и потому после мучительных потуг в



конце концов народ породил лозунг: «Республика или Сципион! Либо Сципион, либо Свобода должны уйти из Рима!» Скандируя эти чеканные фразы, простолюдины все больше убеждали самих себя, что теперь, когда весь цивилизованный мир находится в их власти, великие люди им больше не нужны.

10

Сципион не обращал внимания на всю эту возню своих врагов и завистников. Его отношение к окружающему миру в последние годы резко изменилось. Прежде римский народ, несмотря на краткие вспышки массового психоза, в целом сознательно управлял политикой государства. Так, во время войны с Карфагеном, граждане, узнав на деле цену демагогам-популистам типа Теренция Варрона и Гая Фламиния, решительно отвернулись от них и встали на сторону консервативного крыла сената, возглавляемого Фабием Максимом, а в дальнейшем, когда ситуация изменилась, народ опять верно оценил обстановку и поддержал Сципиона в борьбе с группировкой Фабия. Благодаря этому Рим выстоял и победил в тяжелейшей войне. Затем римскому владычеству открылось все Средиземноморье с его более чем тысячелетней культурой и, казалось, что римляне будут расти вместе с ростом государства, но произошло наоборот. Люди устремились в погоню за внешними признаками престижа и забыли о своем сущностном, человеческом содержании. В результате, аристократия стала превращаться в олигархию, а народ — в толпу. Граждане потеряли идеологические и политические ориентиры, а следовательно, утратили собственное лицо. Отныне тот, кто владел их ушами, владел и умами.

Сципион добивался уважения людей, которых сам уважал и любил, но к сегодняшнему плебсу он проникался все большим презрением и соответственно брезговал популярностью. Шараханья толпы от восторга до ненависти, от преклонения до поношенья сводили на нет ценность как ее гнева, так и милости. Не по масштабам личности Сципиона было состязаться с Петилиями и Порциями за благосклонность толпы, уподобившейся мещанке, выбирающей мужчину лишь по изъятию готовности взять ее и удовлетворить простейшие надобности и капризы. Публий имел призвание и талант вести людей к вершинам жизни, преодолевая по пути любые пропасти и завалы, но его отнюдь не привлекала перспектива фиглярствовать на политической сцене перед лениво рассеянными в амфитеатре и разложившими на скамьях грубо пахнущие закуски обывателями. Единственное, на что он еще надеялся, это на пробуждение совести народа. Сама чудовищность преступления плебса против первого гражданина, по его мысли, должна была отрез-



вить людей и прояснить их разум. В связи с этим Публий вспоминал легенду о подвигах Курция и Деция, принесших себя в жертву черным духам преисподней ради победы Отечества и счастья народа, и угадывал в этих историях мифическое отражение событий, подобных тех, свидетелем которых он теперь являлся. В воображении он видел себя таким же мучеником, и оттого ему становилось и грустно, и горько, и сладко, хотя он понимал, что, даже если демонстративно сожжет себя на форуме в знак протеста против глупости народа, тот не станет умнее. Но в отчаянных ситуациях, когда надежда становится единственным прибежищем жизненных сил, она на некоторое время способна заглушить критический голос разума, и Публий вопреки сознанию надеялся...

Так или иначе, Сципион все более отдалялся от общественной жизни и все сильнее углублялся в литературный мир Греции, уже перенесшей и перестрадавшей период государственной и моральной деградации. Его переживания вливались в грандиозный поток более и страстей философов, поэтов, драматургов, историков, имевших несчастье остаться живыми людьми среди громяющих золотом и прочими погрешками одереженевших марионеток, и уносились с этим духовным потоком прочь, за пределы времени.

В состоянии такой отрешенности от окружающего мира Сципиона застала просьба группы сенаторов отправиться в Этрурию для урегулирования в очередной раз возникших там волнений. Будучи в особом расположении духа, он не мог настолько опуститься, чтобы заподозрить подвох, и без промедления двинулся в путь. Публий имел родственные связи по материнской линии с этрусской знатью, и давно сотрудничал с этой областью, в частности, при подготовке африканской экспедиции, поэтому сенатское поручение выглядело вполне естественно.

Однако едва Сципион Африканский покинул город, как возобновились гонения на его брата. Раз за разом Луция Азиатского стали вызывать на форум. Теренций демонстрировал там свои розги, а Петилии – пожелтевшие от яда речей языки. Катон же и вовсе выглядел в эти дни Ганнибалом у Канн. Луций клеймил позором клеветников, громогласно обвинял их во лжи, заявлял, что вся кампания затеяна против него только из зависти к Публию Африканскому. «Лишь в том моя вина, – говорил он, – что у меня есть брат Публий Сципион Африканский, который истинно велик, и потому рядом с ним сразу видно все ничтожество Порциев и Теренциев. За это они его и ненавидят, но, не имея возможности дотянуться грязными руками до него, они пачкают меня, мстят ему, преследуя его родных и друзей! Уже по одному этому вы, граждане, можете судить об их подлости, но вы утратили способность судить и служите орудием низости и злобы!»



Подобные речи не нравились избалованному лестью плебсу, и под умелым руководством Катона гнев Луция, отражаясь и усиливаясь в толпе, обращался против него самого. Под аккомпанемент этого возмущения Петилии и Теренции кропотливо плели сеть обвинений и в конце концов сшили приговор. Луций Корнелий Сципион Азиатский, победитель царя Антиоха, был признан виновным в сокрытии и присвоении части военной добычи, и за это преступление с него взимался штраф, тогда как честь и славу он уже потерял из-за самого факта осуждения. Для пушей убедительности процесса наказанию подверглись также Фурий Акулеон и Луций Гостилий. Фурий и Гостилий сочли за благо подчиниться приговору беспощадного Теренция и изъявили согласие заплатить пеню, за что тут же были отпущены домой, но Луций Сципион продолжал отрицать вину, и потому его силой потащили в тюрьму. Теперь над ним нависла угроза уже не штрафа, а позорной смерти с преданием тела клювам стервятников на ступенях Гемоний. Однако Луций все так же упорствовал, предпочитая казнь уступке клевете.

Тут на арене борьбы возник Сципион Африканский, вновь вторгшийся в события в самый драматичный момент. Когда Публию сообщили о травле брата, он оставил все дела в Этрурии, в значительной степени оказавшиеся фикцией, оседлал скакуна и во весь опор помчался в Рим. Чуть ли не в боевом снаряжении, верхом на коне он ворвался на форум как раз в тот момент, когда ликторы Теренция, заломив за спину руки недавнему триумфатору, влекли его к подземелью Туллиянума. Растолкав толпу, Публий пробился к месту действий, спрыгнул с коня едва не на шею самого Теренция, разбросал ликторов, резким движением подкрасил глаз одному из Петилиев и освободил брата. Все произошло так быстро, что никто не успел воспротивиться принцепсу. Да и какой римлянин посмел бы оказать физическое сопротивление Сципиону Африканскому!

В первый момент Катон слегка струхнул, но зато потом возликовал. «Свершилось!» – возопило его нутро. Да, Сципион, наконец-то, в открытую преступил закон, противясь бесчестному, аморальному, но ведущемуся в полном согласии с законами наступлению Порция, а потому теперь последний получил повод засадить в тюрьму первого на пару с его братом.

Впрочем, о брате Катон уже забыл, потому что его руки тянулись к шее Публия Сципиона, готовясь схватить его за горло. Но это только – пока, а вообще-то Катон не забывал ничего, и адресная книга его мести всегда содержалась в отменном порядке.

«Преступление! Преступление!» – радостно закричал Порций, спеша зафиксировать в умах сограждан столь важное мгновение.



Сципион впервые за много лет удостоил Катона прямого взгляда и, кажется, готов был пронзить его огнедышащую глотку мечом. Но катастрофическое развитие событий пресек один из трибунов Тиберий Семпроний Гракх, который укоризненным взором смирил гнев Сципиона и, оттерев его от брата, взял арестованного под свою охрану.

Семпроний Гракх, представитель видного плебейского рода, был одним из самых энергичных и талантливых молодых людей Рима. Недавно он отличился в азиатской кампании, где его императором являлся именно Луций Сципион. Он пользовался доверием также и Публия Африканского. Но при всем том по своей родовой принадлежности Гракх был политическим врагом Сципионов. Катон же ему, по молодости лет, казался бескомпромиссным бойцом за чистоту римских нравов. Потому он и получил трибунат в год высшего могущества Порция и потому был привлечен к участию в травле Сципионов. Но экстремальный зигзаг событий, вспыхнув как молния, озарил его сознание, и он в один миг понял больше, чем за все предшествовавшие месяцы.

– Своею трибунскою властью я запрещаю вести Луция Сципиона Азиатского в тюрьму! – закричал он, покрывая всеобщий шум. – Пусть суд признал его виновным в неправильном разделе добычи, но никуда не годится сажать императора, победителя царя Антиоха в ту же темницу, куда он совсем недавно отправил множество иноземных врагов Отечества. Недостойно римского государства держать в застенках своих героев!

Катон застонал от разочарования: получилось, что Луция Сципиона освободил от тюрьмы народный трибун Тиберий Гракх, имеющий на это право, а не частное лицо – Сципион Африканский, наказать которого теперь можно разве что за резкое поведение. Но даже и эту возможность отобрал у него Семпроний, самолично пожурив Сципиона.

– А тебе, Публий Корнелий Африканский, надо бы всегда помнить, что такому человеку, как ты, не пристало злом отвечать на зло, – настаивательно промолвил он.

Публий Сципион, конечно же, был уязвлен укором юнца, но, отдавая ему должное, ограничился лишь скептической улыбкой.

– Я многое мог бы тебе сказать на это, – произнес он, – но скажу лишь, что ты, юноша, заслужил эту сцену.

– А вы! – крикнул Публий, обращаясь к толпе. – Вы не вняли моему предостережению! Вы безвольно сдались пороку. Вместо того, чтобы тянуться за большими людьми, расти вместе с ними, вы стремитесь избавиться от них, дабы некому было пробудить вас от прозябання тусклого обывательского существования. Знайте же, что, если вы будете оскорблять честных людей, среди вас переведутся Сципионы, и тогда ваш



город превратится в болото, недра которого наполнятся зловонными газами, удушающими все живое!

Плебс безропотно снес от Сципиона слова, за которые растерзал бы любого другого. Но дальше испытывать терпение толпы Публию не довелось. Его обступили сенаторы, белой стеною отделив от серой массы плебса, и, наперебой воздавая хвалу ему самому, но еще более – Тиберию Гракху, стали упрашивать Сципиона почтить славного молодого человека высшею наградой. Публий не смог сделать по форуму ни одного шага пока не дал обещания обручить с Гракхом свою младшую дочь; старшая уже давно была обещана в жены сыну Сципиона Назики. Так зловещую атмосферу суда на форуме сменило свадебное настроение, и все сенаторы под предлогом какого-то религиозного праздника веселою гурьбой отправились пировать на Капитолий.

II

Но и этой стычкой у зловещего порога Мамертинской тюрьмы неприятности Сципиона не закончились. В тот же день, вернувшись домой с праздничного обеда на Капитолии, он столкнулся с не менее грозным противником, чем Катон или Теренций. После всех фальсифицированных процессов ему довелось принять настоящий суд разгневанной Эмилии, которая, узнав о том, что муж без ее ведома просватал младшую дочь, пришла в неистовство. В таком состоянии она могла бы встретить мужа с мечом в руках, если бы не была уверена, что пронзит его острым словом и испепелит взглядом. Долгое время копившееся в ней недовольство поведением Публия и вопиющей неблагодарностью сограждан наконец получило законный повод излиться наружу, и произошло извержение. Гнев, как раскаленная лава, хлынул на усталого после путешествия из Этрурии и схватки на форуме Сципиона, а заодно – и на провожавших его друзей, сметая с их лиц последние цветы доброго настроения и оставляя за собою безжизненный рельеф уныния.

Ситуация была критической. Тут Публию не способны были помочь ни слава его побед над карфагенянами, ни ссылки на волю Юпитера. Однако судьба пощадила знаменитого императора, внезапно обнажив брешь в наступательных порядках врага, и позволила ему с честью выйти из, казалось бы, безнадежного положения.

– Я не потерплю никаких оправданий! Ты поступил бесчестно, подло по отношению ко мне и нашей маленькой Корнелии! – кричала она, этими громогласными восклицаниями сопровождая молнии, метаемые из глаз. – Каков бы ни был твой выбор, знай, тебе не будет снисхождения... даже, если ты назначил ей в мужа Тиберия Гракха!



При этих словах уже готовые впервые в жизни обратиться в позорное бегство Сципион и его легаты вдруг разразились гомерическим смехом. Они смеялись так искренне, что Эмилия пришла в замешательство и даже замолкла. Будучи опытным полководцем, Сципион мастерски воспользовался минутной слабостью неприятеля и без промедления предпринял контратаку.

— Мы зря с тобою ссоримся, нежная моя красавица, — сладко произнес он, обнимая жену обволакивающим взглядом, которым, несмотря на весьма прозрачную иронию, в самом деле превратил ее в нежную красавицу, — у нас с тобою очень много общего во взглядах и вкусах. Основываясь именно на этом сходстве, я и выбрал нашей прелестной Корнелии жениха, а зовут его как раз Тиберий Семпроний Гракх.

Эмилия улыбнулась такой забавной развязке конфликта, но тут же снова приняла строгий вид на зависть самому суровому претору, а пожалуй что — и цензору, и повелительным тоном промолвила:

— Так я же и сказала: не жди пощады, даже если это Тиберий Гракх.

— Ах, мой непреклонный император! — искрясь усмешкой, воскликнул Публий. — Я все же жду от тебя пощады и смиренно припадаю к краю твоей триумфальной столы в надежде вымолить прощение, ибо что еще остается в удел несчастному преступнику!

Мир был восстановлен и закреплен за легким ужином кубком, пригубленным всеми присутствующими, включая Эмилию.

Когда светильники устали бороться с ночным мраком, а гости разошлись, Эмилия, расчувствовавшись, изъявила намерение пооткровенничать с мужем, чтобы излить томившие ее тревоги и переживания. Но Публий, привыкший за последние годы к сварливости жены, посчитал, будто она опять затевает скандал и собирается попрекать его за принципиальную гражданскую позицию, не выгодную в нынешних условиях с точки зрения благополучия их дома, потому, решительно прервав разговор, отправился спать. Утром с просветленным благодаря ночному отдыху сознанием он раскаялся в проявленной им жесткости и в свою очередь предпринял попытку объяснить с женою, но тоже безуспешно. Эмилия всю ночь терзалась обидой и утром была менее, чем когда-либо, расположена к душевному общению. Так они упустили последнюю возможность восстановить духовную близость накануне событий, окончательно разделивших их непреодолимой стеной.

День также не принес Сципиону радости. Вокруг его дома околачивались подозрительные личности, по всей видимости, из числа побочного пополнения римскому гражданству, дарованного государству Марком Катом и Теренцием Куллеоном, которые громко возмущались засильем знати и скандировали лозунги на тот предмет, что либо



Сципион, либо Свобода должны уйти из Рима. Возле этих активистов останавливались праздные зеваки, образуя толпу, каковая, несмотря на пассивность, своим присутствием, своею массой создавала поддержку крикунам. Наверное, лозунги хорошо кормили демонстрантов, потому как их глотки исправно работали на протяжении всего дня, и в доме Сципиона не существовало уголка, где можно было бы усомниться в их добросовестности.

Когда Публий вышел на улицу, все замолкли и, потупив взоры, принялись рассматривать мостовую. Подобная молчаливая враждебность сопровождала Сципиона на всем его пути. Перед домом Луция Азиатского, к которому направлялся Публий, кучковались такие же борцы за освобождение Рима от аристократии и за предание его в рабство толстосумам, как и на форуме возле храма Кастора и Поллукса. При виде Сципиона Африканского они тоже закрыли рты и все дружно поглядели в землю.

Луций встретил брата недружелюбно. Его, как и Публия, с утра доносили злобными выкриками, и это создало мрачный фон для осмысления безрадостных событий последнего времени. Но в отличие от Публия Луцию было проще концентрировать свой гнев, и, будучи доведен до отчаянья беспрестанными преследованиями, он пришел к выводу, что во всех его бедах виноват брат. «Не будь Публия с его непомерной славой, заставляющей злобствовать и завидовать весь мир, меня бы никто не трогал», — целый день твердил себе Луций, и не без оснований, поскольку в принятом им гипотетическом случае, ему действительно жилось бы проще, тем более, что, не будь Африканского, он и сам не стал бы Азиатским. Впрочем, последнее соображение в его голову не приходило. Он привык быть Азиатским и против этого ничуть не возражал, а возражал только против Африканского. Об этом он и поведал, кстати, а может быть, наоборот, нестати заявившемуся брату.

Публий попытался его успокоить. Он стал уверять Луция, что в этом году его больше никто не посмеет беспокоить, а весной при новых магистратах они обратятся к народу с апелляцией, и все встанет на свои места. Однако Луций продолжал нервничать и упрекать Публия в том, что из-за него никому из его близких нет жизни. Тогда Публий грустно посмотрел на брата и ушел восвояси. С его удалением на Луция вновь обрушился шквал проклятий, изрыгаемых дежурившей у входа толпой.

Подобная картина наблюдалась и в других местах, где появлялся Сципион Африканский. Повсюду шумел катоновский плебс, и все друзья принцепса, устав от неблагодарной борьбы с завистью и ненавистью, тяготились своим знаменитым товарищем, ставшим объектом гражданского раздора. Так или иначе они давали ему это понять и старались поскорее отделаться от него.



Итак, в Риме вызревало мнение, что если бы не существовало Сципиона Африканского, то всем было бы лучше. В самом деле, зачем теперь римлянам Сципион? Весь цивилизованный мир частью покорен, частью усмирен, серьезных врагов не осталось, могущественнейшие цари состязаются друг с другом за благорасположение победоносного народа, некогда страшный Ганнибал превратился в изгнанника и флибустьера, ради пропитания и крова продающего полководческий талант азиатским царькам. На Рим снизошло небесное умиротворение. После многовековой бурной жизни, наполненной борьбой и страстью, государство наконец-то достигло вершины и получило возможность перейти к спокойному существованию. Отведав иноземной роскоши, римляне почувствовали вкус к физическим наслаждениям. Добыча триумфаторов завалила город всевозможными предметами потребления. Отныне римлянам не нужно, да и некогда было производить, они едва успевали потреблять. Вместе с изменившимся образом жизни пришлось адаптироваться к новым условиям и сознанию людей. Мораль стала претерпевать трансформацию. Традиционный аскетизм сегодня мешал римлянам вкушать телесные удовольствия, а потому утратил социальный престиж. Духовные радости являются следствием самореализации личности, потому ориентация на духовные ценности порождает энергию созидания, тогда как телесные – возникают в результате потребления, и производство в этих условиях становится подневольным. В силу обвального характера обогащения, римлянам пришлось срочно умертвить душу ради торжества чрева. Благодаря этому они на некоторое время обрели иллюзию простого, всем понятного счастья и смачно хрустели челюстями, с самодовольством прислушиваясь к урчанию сытого брюха. Однако переход на иные ценности не принес людям покоя, а, наоборот, вызвал более ожесточенное соперничество, причем сделал его порочным. Если прежде люди стремились превзойти друг друга в благодеяниях для своего народа, то есть в подвигах во имя Отечества, то теперь каждый старался как можно и как нельзя больше присвоить себе в ущерб окружающим. Каков сарказм! Народ стал ценить не тех сограждан, которые вели его к победам и расширяли сферу жизнедеятельности государства, а тех, кто успешнее других его обирал. Изменились и пути достижения цели. Раньше, чтобы добиться уважения соотечественников, надо было взрастить в себе доблесть и развить положительные способности, ибо слава не приемлет лжи, но зато богатство неразборчиво, как шлюха, и отдается всякому, кто не побрезгует им, оно не требует от своего хозяина иных достоинств, кроме загребуших рук. В том принципиальное отличие качественных факторов престижа от количественных: первые – растят чело-



века, а последние – только его имущество при полном безразличии к самому человеку. Безликость количественных показателей, кроме того, создает широкую базу для преступлений внутри общины, то есть для присвоения плодов чужой жизни, а по сути – для присвоения в том или ином объеме самой жизни сограждан. При таких правилах игры люди очень быстро понимают, что не стоит стремиться добывать богатство законным способом, потому как гораздо проще получить его в обход законов. Отсюда следуют соответствующие задачи нового воспитания. Между тем и само законодательство трансформируется, приспосабливаясь к видоизменившимся общественным отношениям.

Но все это предстояло познать римлянам в будущем. А пока они захлебывались потреблением, с наслаждением утопая в болоте роскоши, забыв, кто они и зачем явились на свет. Сципион же был осколком их прежней жизни и, подобно флагу на торчащей из воды мачте затонувшего корабля, напоминал им об их былой доблести. Он нарушал обывательский сон, самым своим существованием будоражил память, пробуждал в людских душах голос совести и долга, более того, имел бестактность в открытую говорить согражданам об их измелчании, о позоре перед отцами и дедами и о гибельности будущего. «Нет – Сципиону! Пусть он сгинет в беспокойном прошлом вместе со своими подвигами! – кричали обыватели. – Он препятствует нам идти к благам тихой жизни, он сковывает нас, мешает нашей свободе! Не хотим равняться на Сципионов, нам легче и сытнее с Катонами, а будущее нас не волнует, потому как на наш век хватит богатств, завоеванных отцами и дедами!» Так в массе плебса все более утверждалось мнение, что Сципион стал слишком велик для нынешнего Рима, а потому должен избавить сограждан от своего непомерного, непосильного их одряхлевшим душам авторитета.

Каких только парадоксов не сочинит циничная насмешница судьба в желании потешиться и развеять скуку своего вечного существования. Когда Катон боролся со славой Сципиона, пытался опорочить его, унижить, он потерпел крах, но зато преуспел, развернув кампанию по безмерному возвышению противника. Ему не удалось преуменьшить значение Сципиона для Рима, тогда он его преувеличил настолько, что вывел за пределы общества и тем самым отстранил образ Сципиона от людей. Конечно, Порций не сам создавал эти настроения. Как талантливый, но не гениальный политик, он лишь улавливал существующие тенденции и, расставляя акценты, выгодные для себя – стимулировал, а неблагоприятные – затушевывал.

В отличие от одуревших во хмелю триумфальных пиршеств простолюдинов, с пеной у рта кричащих, что они, римляне, не хотят больше



быть римлянами, а потому им не требуются истинно римские лидеры, сплоченный класс торгово-финансовой олигархии отлично создавал собственные нужды и имел ясную цель – свержение древней аристократии. Поэтому направляемая ими политика оппозиционных сил при внешнем сумбуре по существу проводилась последовательно и логично.

Однако силы Сципиона тоже были весьма значительны, тем более, что при угрозе широкого наступления олигархии теоретически становилось возможным объединение нобилей различных партий. Но группировка Сципиона имела ориентацию на внешнюю политику и в существующем виде не была готова к назревавшей гражданской войне. Вдобавок к этому, персональный характер преследований лидеров аристократии замутнял картину разворачивающихся событий перипетиями личных связей и отношений, вносил раскол в ряды нобилитета. Многие видные сенаторы были рады падению Сципиона, поскольку им надоело находиться на вторых ролях, а сам Сципион не желал поднимать одну половину граждан на борьбу с другой половиной для отстаивания буд-то бы своих личных интересов, собственного авторитета.

Подспудно римская аристократия угадывала глобальный характер грянувшего конфликта, но не создавала этого явно, потому надеялась, что все еще образуется и для восстановления прежнего положения достаточно принести в жертву новым, хищным силам общества одного только Сципиона. Помимо того, значительная часть нобилитета сама оказалась в плену у богатства и, постепенно срастаясь с олигархией, уже не могла считать таковую своим врагом.

Публий грустно усмехался при мысли об уготованной ему роли жертвы, и вновь, уже в который раз видел себя Курцием, бросающимся на коне в провал преисподней ради спасения Отечества. Но броситься-то он мог, на то он и Сципион, чтобы совершать непосильное большинство, но вот в возможности спасения Отечества очень и очень сомневался, и оттого ему не хотелось ни жить, ни умирать впустую.

На одном из заседаний сената развернулся спор по вопросу об идеологии внешней политики. Во весь голос заявили о себе агрессивные силы, помышлявшие об устройстве провинций не только в Испании, но и в Африке, Нумидии, Греции, Македонии и Азии. Тогда Порций громогласно заявил, что Карфаген должен быть разрушен, о чем потом, как помешанный, твердил сорок лет. Такие перспективы сулили чудовищное обогащение олигархам и пурпурные тоги с триумфальными колесницами Фабиям, Фульвиям и Фуриям. Сципион выступил с резкой критикой этой политики. «Да, – говорил он, – Рим должен главенствовать в мире, но благодаря разуму, а не насилию, быть хозяином, но не господином». Далее он в очередной раз попытался привить свои идеи о



гармоничном устройстве ойкумены основной массе сената, но встретил меньшее понимание, чем когда-либо прежде. Ему все-таки удалось отстоять прежний внешнеполитический курс, направленный на создание в Средиземноморье дружественных государств, относящихся к Риму как к оплоту справедливости и порядка. Однако он нажил себе новых врагов, причем даже из числа бывших друзей, и большинство сенаторов, подобно плебсу, готово было вскричать: «Не хотим слушать Сципиона!»

Вскоре после конфликта в сенате к Публию обратились многочисленные клиенты рода Корнелиев с предложением организовать отпор Катоновым крикунам, засоряющим атмосферу Рима вредоносными лозунгами. Но Сципион велел этого не делать, чтобы не давать недругам повода для массовых беспорядков в городе. В итоге, его верные сторонники из народной среды остались разрозненными на мелкие группы и практически бесследно растворились во враждебной массе плебса.

Так от Сципиона постепенно отворачивалась и откалывалась одна группа граждан за другой, один слой населения за другим. Его все сильнее сжимало кольцо одиночества, все плотнее обступала пустота, сквозь мрак и холод которой доносились лишь безумные протесты.

Публию стало неуютно в городе, который казался ему безлюдным, как Ливийская пустыня, и одновременно тесным и суевливым, как Вавилонский базар во времена Навуходоносора. Его стонущая от обозрения действительности мысль обратилась за помощью к памяти, и та подсказала, что когда-то, в годы юности, ему удавалось изживать невзгоды и обретать душевное равновесие в храме Юпитера. Он решил снова прибегнуть к этому средству и, взойдя на Капитолий, уединился в храме.

Долго сидел там Сципион в ожидании потока живительных космических лучей и нисхождения к нему божественного духа. Но в храме звенела все та же пустота, которая преследовала его в городе. Он напрягался и расслаблялся, сосредотачивался и уносился фантазией к звездам или парил в облаках, но при всем том, никак не мог обнаружить следов духовных владык мира. Священное место Рима опустело: боги покинули храм, оставили город...

Назавтра Сципион повторил опыт и, принеся жертвы, провел в храме много изнурительных часов. К вечеру самого длинного дня своей жизни он окончательно пришел к выводу, что покровители римлян, как и он сам, разочаровались в своих подопечных, прекратили бороться за их счастье и бросили горожан на растерзание собственным порокам. Вывод был однозначным: боги ушли и этим указали путь ему самому.

Публий подобно прочим аристократам не был лишен скептицизма в отношении официальной религии, но не сомневался в существовании космического разума, одним из атомов которого ощущал и себя. В дан-



ном случае его обращение к небесам было слишком серьезным, а пустота в храме – беспощадно отчетливой, потому у него не возникло колебаний в оценке полученного знамения, данного как раз в форме отсутствия каких-либо знамений.

Публий Корнелий Сципион Африканский, не унывавший ни в каких ситуациях, отвечавший энергичными действиями на любые проiski врагов или превратности судьбы и всегда выходивший победителем, ныне, так и не познав поражения, впал в сентиментальную печаль, как девица в разрыве с любимым или как мать в разлуке с сыном, а может быть, как сын, навсегда расстающийся с матерью... как римлянин, теряющий Родину. Самым страшным наказанием в Риме было изгнание, в сравнении с которым смертная казнь казалась лишь минутной неприятностью. Римляне не могли выносить разлуки с Родиной, в том была оборотная сторона величия духа этого народа.

Публию предстояло расстаться с Отечеством... «Сципион или Свобода должны уйти из Рима!» – вопили на всех городских площадях обыватели, не имеющие представления ни о Сципионе, ни о Свободе, о том же аккуратно намекали ему сенаторы, и то же самое говорили глаза родственников и друзей, а сегодня Сципиону предложила покинуть город его жена.

Не сумев спровоцировать на неблагоприятный поступок самого Сципиона, его враги смогли добиться требуемой реакции от Эмилии. Однажды властная женщина попала в окружение катоновского хора и в ответ на оскорбления велела многочисленным рабам своей свиты разогнать толпу бичами. Ей удалось обратить голосистое воинство в бегство, но с этого дня плебс повсюду встречал и провожал ее возмущенными возгласами. «Нет на вас Ганнибала! – восклицала она в ответ. – Жаль, что мой муж не дал возможности Пунийцу истребить вас всех до единого!» Однако, хотя Эмилия чисто по-женски отводила душу в звонких проклятиях плебсу, жизнь в городе сделалась для нее невыносимой. О том она и заявила Публию.

Правда, нрав Эмилии был не таков, чтобы позволить ей бежать от трудностей, поэтому вначале она предложила мужу свой, давно взлеянный ее мечтами выход из положения.

– Народ слишком испортился, – решительно подытожила она события последних лет, – а потому он более не способен к самоуправлению, и Риму требуется централизованная монархическая власть. Ты же как принцепс должен взять на себя главную роль и, перетряхнув государство, реорганизовать его на новой основе.

– Так, значит, ты хочешь, чтобы я тоже испортился вместе с народом? – грустно поинтересовался Публий.



Эмилия приняла упрямый вид и враждебно молчала.

– Да, – продолжил Сципион, – то, что ты предлагаешь, является физическим выходом из нынешнего кризиса, но не нравственным. Я много походил по миру и видел различные социальные образования. Поверь же, что монархия – самый удручающий из них тип. Это всеобщее замкнутое по кругу рабство, жизнь без достоинства, уважения, без человеческих целей. Нет, я не ввергну Рим в эту бездну деградации. Я дам ему время образумиться. У меня еще есть надежда, что Отечество произведет на свет настоящих людей, и Республика возродится, причем уже на более высокой стадии развития. Вышло так, что Рим разом проглотил все Средиземноморье, и у него наступило несварение, однако это еще не означает неизбежную смерть. Возможно, крепкий организм нашего народа сможет переварить чужеземное угощение, впитать в себя все лучшее и отбросить требуху, очиститься от скверны. Сколь ни мал этот шанс, я не имею права отнимать его у сограждан.

– Тогда уходи! – с жестокой логикой вывела итог из его речи Эмилия. – Не хочешь царствовать, будь изгнанником! Здесь же нам оставаться просто унизительно. Нужно либо действовать, либо исчезнуть.

Да, Публий понимал, что ему предстоит расстаться с Отечеством, но он пока не нашел приемлемую форму для осуществления этого действия. Значима была смерть отца и сына Дециев на виду всего войска в насыщенный эмоциями час битвы, великолепен поступок Курция, закрывшего собою зловещую трещину, расколовшую Рим, но как ему, Сципиону, закрыть трещину, возникшую в душе народа? Какая-либо демонстративная смерть лишь насмешила бы и позабавила его врагов, причем не только в Риме. Ему представилось, как будет хвататься за живот африканец Ганнибал на пирушке у какого-нибудь Пруссия при известии о самоубийстве своего победителя, и он содрогнулся. Такое отвратительное зрелище могло заставить его жить вечно. Вот уж удивился бы и, пожалуй, проклял бы самого себя Ганнибал, если бы узнал, что ненароком сохранил жизнь Сципиону!

Итак, спасительный ход стоиков не годился Сципиону. Значит, ему оставалось уехать в какую-нибудь далекую страну и владеть там годы пустого прозябанья?

Несмотря на затруднения, Публий даже и не помышлял о том, чтобы подобно Ганнибалу наняться к какому-то царю и имитировать бурную деятельность, совершая за деньги то, для чего он мыслил единственную награду – благо Родины и уважение сограждан. Вдали от Рима он мог только доживать, но никак не жить.

Память рисовала ему заманчивые пейзажи страны его молодости. Он словно наяву видел величавые горы и тучные долины Испании. Но при-



быть изгнанником в тот край, где его чтили могущественнейшим человеком, было невозможно. Тогда — Афины. Он давно мечтал посетить этот город, а теперь может вовсе поселиться в нем... Однако нынешние Афины — живая иллюстрация будущего упадка Рима. Сегодняшние афиняне — пустые краснобаи и подхалимы, пресмыкающиеся перед всяким, кто способен взять в руки меч, они представляют собою карикатуру на граждан свободной республики. Нет, он не выдержит соседства ничтожных потомков великих предков. Остается Пергам... О, как будет гордиться Эвмен, если у него на содержании окажется Сципион Африканский! Какое чванство будет чернить последние и без того черные годы Сципиона! Может быть, Карфаген? Пожалуй, его там примут, даже окружают почетом и, вполне вероятно, исподтишка убьют. Все это весьма привлекательно, особенно последнее, но в глазах мировой общественности будет выглядеть слишком вызывающе по отношению к Риму.

В рассмотренных Сципионом вариантах был еще один, причем самый главный изъян: удалившись в другую страну, Публий потерял бы гражданство, оказался бы официальным изгнанником и в этом качестве выглядел бы перед римлянами осужденным, признавшим свою вину.

Выход неожиданно подсказала Эмилия. Она предложила поехать в их имение на богатом кампанском побережье. Уже несколько лет Литерн был любимым местом отдыха семьи Сципиона, и почему бы ему действительно не укрыться там от слепой злобы сограждан? Этот небольшой городок, образованный именно Публием Африканским как колония его ветеранов, был отделен от Рима достаточным расстоянием, чтобы обосновавшегося в нем Сципиона не беспокоили эмоции сумасшедшей столицы, и в то же время, не столь далек, чтобы дать повод недругам предполагать, будто он кого-то боится.

Сципиона удовлетворило найденное решение, и он похвалил жену за разумную идею. Эмилия усмехнулась и ничего не сказала в ответ, хотя ей, как женщине, очень трудно было устоять перед соблазном выложить все свои тайные мысли и надежды, связанные с намерением отправиться в Литерн. В отличие от мужа, не помышляющего о возвращении в Рим, она, избирая местом ссылки Литерн, как раз имела в виду, что из этого города Публий всегда может вернуться в столицу и снова занять свое законное место первого сенатора. Она ничуть не сомневалась, что с удалением Сципиона римляне поостынут и успокоятся, а успокоившись, задумаются, задумавшись же, обязательно расскаются. По ее мнению, уже к весне и плебс, и сенаторы спохватятся, поймут, что они натворили и кого потеряли, а потому придут к Сципиону с повинной и будут просить его возглавить государство с не меньшим энтузиазмом, чем когда-то пунийцы молили пощадить их Отечество.



Итак, Публий принял решение уехать в Литерн, однако все еще медлил с его осуществлением. Наконец он наметил дату печального события и напоследок вздумал еще раз посетить Капитолийский храм. При этом Публий даже в уме не мог произнести слова «а вдруг...», хотя они постоянно огненными буквами горели в его мозгу и, незримые, все же жгли глаза нестерпимым пламенем. Он говорил себе, будто ни на что не надеется и только хочет свести обычай, в некоторых случаях предписывающий троекратное обращение к богам.

В эти дни обстановка в Риме еще более накалилась. Толпы плебса в предчувствии победы без устали скандировали антисципионовские лозунги и, не покладая языков, трудились даже по ночам. Правда, с появлением перед ними самого Публия Африканского они, как и прежде, затихали, но стоило Сципиону проследовать дальше, и в спину его били истошные вопли обезумевших от ненависти людей, которые ярой злобой вознаграждали себя за четвертьвековое восхищение этим человеком.

Проходя сквозь такой строй, Сципион внешне сохранял полную невозмутимость, но душа его чернела, и вступить в храм он уже не мог. Его желание в третий раз спросить Юпитера об отношении к происходящему и получить совет так и осталось нереализованным.

Незадолго до отъезда Публий еще раз поссорился с братом Луцием и после этого уже не рисковал обращаться к другим родственникам или друзьям. Все считали его конченным человеком и спешили отречься от былой дружбы. Его сторонились, как разлагающегося трупа. Впрочем, многие не торопились окончательно хоронить авторитет Сципиона и, опасаясь новых виражей судьбы, старались не показываться на глаза опальному колоссу, чтобы не выказывать ни вражды, ни приязни, равно опасных в условиях неопределенности будущего. Лояльнее прочих к нему относился Публий Назика, но его сочувствие в основном было молчаливым, поскольку он не мог сказать Африканскому ничего утешительного, так как подобно Цецилию Метеллу, Корнелию Лентулу и другим матерым политикам считал, что принцепс упустил благоприятный момент для контрнаступления, и теперь его положение уже непоправимо.

В такой обстановке Публию хотелось увидеться с Лелием. Но Гай не пришел к нему проститься. Говорили, будто он был тяжело болен. Однако Сципион усматривал в этих слухах всего лишь уловку, тем более, что именно Лелию в городе приписывали фразу: «Сципион сам отвернулся от друзей, посчитав, будто на вершине славы они не нужны, так пусть же и теперь обходится без них», которой в эти дни многие нобили прикрывали свою измену, потому он тоже не стал предпринимать шагов к сближению.



В конце концов тотальное недоброжелательство Рима вызвало у Сципиона взрыв гнева, и он проклял всех бывших друзей. «Я упрекал за дурное поведение народ, но вы оказались еще хуже. Плебс возненавидел меня по безграмотности и недомыслию, а вы – исходя из хитрости», – сказал он на прощанье всем Корнелиям, Эмилиям и Сервилиям. Это произошло накануне его ухода из Рима.

Слишком медленно и слишком быстро шли последние часы пребывания Сципиона в родном городе. Но там, где есть время, есть и конец всему. Сколь ни тягостна жизнь, наступает час смерти; настал и день изгнания. Сципион собрался в дорогу на рассвете, чтобы следующую ночь провести как можно дальше от этого города.

Несмотря на то, что дата отъезда держалась в секрете, из-за чего даже вещи было решено отправить не вперед, а вслед хозяевам, плебс неким чутьем угадал, когда свершится столь ожидаемое всем государством событие, и необозримой толпою запрудил форум. Правда, сегодня народ вел себя тихо и изо всех сил таращил глаза на дверь дома Сципиона, совсем как несколько месяцев назад, в сравнительно недавний, но уже очень далекий день первой попытки осудить принцепса.

Увидев у входа толпу, Публий нахмурил и без того хмурое чело и решил молча пройти сквозь эту массу пышущих разрушительной энергией тел. Он уже занес ногу над ступенькой лестницы, ведущей вниз, но вдруг передумал, остановился на высоком пороге и, используя его в качестве трибуны, обратился к плебсу.

«Вы зачем столпились здесь! – резко крикнул он, словно новобранцам, в сутолоке боя потерявшим свое место в строю. – Жаждите в последний раз поглазеть на Сципиона Африканского? Ну что ж, торопитесь, больше вам такой возможности не представится. А может быть, хотите послушать меня? Так наострите уши! Уж, так и быть, подарю вам десяток ласковых слов, достойных дезертиров.

Я вас предупреждал, что вы ступили на гибельный путь, но вы не вняли предостережению, и вот результат: я бросаю вас. Да, я отрекся от вас, ибо вы безнадежны, вас уже нельзя вернуть к достойной жизни, а я не берусь за безнадежные дела. Барахтайтесь в болоте собственных пороков, коли не нашли в себе силы подняться вслед за мною к высотам римского духа, служите рабски злу, как олицетворенному в ваших нынешних кумирах, так и сидящему в каждом из вас, пожирайте друг друга и самих себя на потеху побежденным вашими отцами народам. Да, мы победили всех врагов, а вас они, уже будучи побеждены нами, купили грудой серебра и подчинили прихоти вещей. Вот уж поистине вы обрели диковинное рабство! Прежде слабые служили сильным, а теперь



вы, рожденные сильными, сделались рабами... нет, даже не слабых, а вовсе мертвых предметов, вы стали рабами вещей. Уж какие вам после этого Сципионы! Для вас сегодня и Теренций Варрон слишком велик!

Отныне Сципион Африканский, всегда говоривший «мы», будет говорить только «я». Так что посмотрите на меня в последний раз, дабы вам было чем похвалиться перед детьми и внуками, каковые, прозреваю, будут еще ничтожнее, чем вы сами, и проваливайте прочь.

Да, я говорю: «Убирайтесь прочь!» Именно так обстоит дело. Сейчас коляска увезет отсюда меня, но исчезнете вы! Я остаюсь на своем месте, ибо по-прежнему верен себе и духу Рима, а вы уходите, потому как предали отцов и дедов, изменили самим себе! Я остался на вершине республиканского Рима, а вы покатались вниз! Туда вам и дорога! Стараясь удержать вас от падения, я сделал больше всякого другого смертного. Я спасал вас, пока было кого спасать. Вы сгнили прямо у меня в руках, потому что были насквозь червивы, и я со спокойной совестью стряхиваю вас со своих ладоней. Я боролся за ваши души, пока эта борьба имела смысл и согласовывалась с честью и рангом Сципиона Африканского, но сегодня я имею право избавить себя от вашего присутствия.

Ну что же, вы на меня посмотрели, а теперь отступите на несколько шагов назад, чтобы и я мог напоследок полюбоваться Римом, позвольте мне проститься с Родиной. Я без сожаления обрек вас на обывательское небытие, на смерть при жизни, но я скорблю об Отечестве, ибо Отечество – не есть вы, Отечество – это пятьсот лет нашей славы, сотни тысяч героев, чьи светлые души и сейчас защищают Город, противостоят вам, люди-тени. А вы – всего только язва на теле моей Родины. Да, вы запятнали ее грязью, покрыли гноем, но я все же верю в нее, верю, что она переболеет вами, преодолет все напасти и воссияет ярче, чем когда-либо прежде! Я верю в ее жизнь уже хотя бы потому, что лучшую частицу ее уношу с собою и тем самым избавляю от вас.

Прошу тебя, Родина, почтить меня за все, что я совершил доброго, и простить за то, что чего-то я не сумел сделать. Всю жизнь я верой и правдой служил тебе и рос, стараясь быть достойным тебя. Но, если я теперь стал больше, чем тебе нужно, я ухожу, однако надеюсь на встречу с тобою в ином качестве и при более счастливых обстоятельствах. На прощанье желаю тебе, Родина, сбросить со своего хребта это поколение и вырастить настоящих граждан, которые были бы под стать твоему величию.

Вы же, ничтожные рабы, более не увидите не только самого Сципиона Африканского, но и его праха: я велю похоронить мои останки в Кампанье, в Литерне! Пусть ваши дальние потомки, люди нового Рима, всякий раз, когда надумают отдать долг памяти былой славе Отечества, совершают тот путь, который сейчас предстоит мне, пусть они каждый



раз идут к моей могиле из Рима в Литерн, и пусть они каждый раз при этом вспоминают о вашей неблагодарности».

Говоря эти слова, Сципион сделал круг по форуму, озирая знаменитые холмы, и направился к городским воротам. Оказавшись за священной чертою померия, он сел в повозку, и та покатила по Аппиевой дороге.

12

Едва затих стук колес кибитки, уносящей из Рима Публия Сципиона, как Теренций и Петилии потребовали приведения в исполнение приговора, вынесенного Луцию Азиатскому. Надежды нобилей, что после ухода с политической арены Сципиона Африканского партия Катона утихомирится, не оправдались, поскольку были пустой иллюзией, возникшей из-за непонимания истинных причин конфликта. Наоборот, именно теперь олигархия повела дело преследования знати с особой жестокостью, и в ближайшие годы предстояло пасть не только всем Сципионам, но и Квинкциям, а менее значительные фигуры нобилитета в этот период были просто оттеснены от власти, либо вовлечены в класс олигархии.

Как ни хорохорился Луций Сципион, ему пришлось покориться своей участи и платить штраф: деньгами – Петилиям, и раскаяньем – Публию Африканскому. Первое ему удалось с большим трудом, а второе – оказалось и вовсе непосильным. Красочные сказания о несметных богатствах Сципионов и об их многомиллионных взятках, полученных от Антиоха, которыми катоновцы питали зависть и ненависть толпы, увы, не прибавили средств самим Сципионам. Когда руки Петилиев под видом длани закона проникли в дом покорителя Азии и обшарили его от подвалов до антресолей, они не смогли нащупать там ни одной вещи, ни одной монетки, каковые напомним бы об Антиохе. Не только азиатской добычи, но и всего имущества Луция Сципиона, нажитого им за пятнадцать лет военных походов, а также полученного по наследству, не хватило, чтобы собрать сумму, требуемую от него в качестве штрафа. Луций продал все, включая дом, и только тогда расплатился с принципиальным государством. Отныне Луций Корнелий Сципион Азиатский был беднейшим человеком в Риме.

Эта драма заставила прослезиться впечатлительных римлян. Они очень тужили оттого, что осудили невинного, и наперебой выражали сочувствие гордому нищему, победителю богатейшей страны мира. Однако граждане этого города пока еще в большей степени были римлянами, чем пунийцами, потому их добрый порыв не ограничился словами. Друзья выкупили дом и имущество Сципиона Азиатского и подарили законному хозяину. Помимо этого, всевозможных подношений и по-



жертвований сограждан было столько, что, прими их Луций, он стал бы гораздо богаче, чем был до осуждения. Но перед лицом нежданного богатства Сципион остался Сципионом так же, как и недавно – перед угрозой нищеты: он принял дом и самое необходимое из своего имущества, а все остальное с благодарностью возвратил дарителям.

Поведение Луция в эти дни принесло ему не меньшую славу, чем победа над Сирией, и народ снова взалел восхвалял его. Однако это не помешало Катону через три года исключить Луция Сципиона из высшего сословия как недостойного гражданина, а заодно – и Публия Назику, о котором ничего дурного не могли сказать даже клеветники. Да, Катон твердо проводил свою политику, ничуть не смущаясь благими порывами сограждан, ибо знал, что без реальной поддержки государства порывы останутся всего лишь порывами, а государство с каждым годом проявляло все меньший интерес к взлетам добрых чувств народа.

Как и рассчитывал Порций, плебс очень скоро забыл о Сципионах и уже в конце года ликовал, приветствуя покупателя фригийских городов и продавца римской чести Гнея Манлия Вольсона, который, переждав на Марсовом поле кипевшие вокруг темы азиатских денег страсти, теперь с триумфом вошел в Рим и привел всех в восторг видом груд серебра, золота и всяческой утвари, отобранных у мирного населения Малой Азии.

13

Некогда афиняне под командованием Мильтиада на Марафонской равнине впервые нанесли поражение персам. Это стало одним из самых грандиозных событий той эпохи. Народ осыпал своего героя почестями, а потом осудил его и заточил в тюрьму. Там Мильтиад и скончался.

Во время второго нашествия персов, когда в Элладу вторгся сам царь Ксеркс с бесчисленной азиатской ордою, хитроумнейший из греков, изобретательный, как сто Одиссеев, афинянин Фемистокл сумел преодолеть недоверие и панику сограждан, апломб самоуверенных спартанцев и мощь персов, чтобы реализовать свой план борьбы против завоевателей, который и принес славную победу всей Элладе. Затем Фемистокл, рискуя собою, отвратил от родного города опасность, исходившую уже не от азиатов, а от соперничавшего с Афинами Лакедемона. В благодарность за все это сограждане обвинили его в сговоре с Ксерксом, с тем самым Ксерксом, которого он дважды заманил в ловушку и обрек на поражение. Фемистоклу пришлось отправиться в изгнание. Но его соотечественникам показалось, что такое наказание не соответствует заслугам Фемистокла. Для великого человека им было не жаль и великой ненависти, потому они преследовали его по всему ми-



ру, пока не вынудили просить приюта у вражеской Персии, где он и закончил свои дни.

Пример афинян вдохновил на подобные дерзания и спартанцев, которые взялись доказать, что в неблагодарности не уступают жителям Аттики, и обрушили гнев на самого выдающегося из собственных героев – Павсания. Под командованием Павсания греки выиграли величайшее сражение в своей истории, разгромив у Платей сухопутное войско Ксеркса, а потому он был прекрасным объектом для зависти и злобы. Правда, спартанцам изменило воображение при поиске повода для ненависти, и им пришлось позаимствовать тему осуждения у афинян: Павсаний так же, как и его афинский коллега, был обвинен в сношениях с Персией. Почему Павсаний, если он решил перейти на сторону врага, не сделал этого до битвы у Платей, когда такой шаг мог иметь гораздо большее значение для азиатов, а следовательно, и для него, будь он предателем, никто не задумывался, ибо размышления мешают размахивать кулаками и выкрикивать проклятия. Недостаток изобретательности в измышлении интриги спартанцы восполнили усердием при ее реализации. В травле своего героя они преуспели гораздо больше афинян: им удалось не только заставить Павсания скитаться по чужим краям в поисках пристанища, но настичь его, запереть в храме и растерзать прямо в священном месте.

Кимон, сын Мильтиада, предводительствовал афинянами во многих сражениях и на суше, и на море. Ему не раз удавалось побеждать персов уже не в оборонительной, а в наступательной войне. Его усилиями создавался знаменитый Афинский морской союз – высшее военно-политическое достижение Афин, да и вообще всей Греции. Естественно, такие успехи накликали на него беду, и он был осужден и изгнан. Поводом послужила его симпатия к Спарте, так как, будучи воином, Кимон не мог не восхищаться военной организацией лакедемонян. То, что при своем интересе к Спарте, он укреплял могущество Афин, не могло служить положительным доводом в глазах разъяренной толпы.

Аристид был самым принципиальным, честным и справедливым человеком Афин. Настала пора, когда его достоинства превысили меру терпения народа, и он был осужден на изгнание. На вопрос: «За что вы подвергаете Аристиду ostracism?» – граждане так и отвечали: «Нам надоело слышать о его честности и справедливости».

Афинянин Алкивиад уже в юности всех удивлял яркими и многообразными талантами. Вступив на арену государственных дел, он возглавил поход в Сицилию – самое смелое предприятие афинян за всю их историю, в случае успеха обещавшее им гегемонию во всем Средиземноморье. Однако в его отсутствие недоброжелатели состряпали против него судебное дело. Алкивиад был обвинен в осквернении изображений



Гермеса. На суде злоумышленники попали впросак, так как их ставленник, выступавший в качестве свидетеля, заявил, будто узнал Алкивиада в группе святотатцев при свете луны, но в рассматриваемый период вместо яркой луны в небесах сиротливо бледнел худенький месяц. Выявленная фальсификация не смутила народ: уж, если толпе вздумалось кого-то осудить, она обязательно его осудит и только потом будет раскаиваться и лить слезы. Алкивиад был признан преступником, и вдогонку за ним в Сицилию отправился государственный корабль с заданием арестовать его. Однако Алкивиад являлся человеком новой формации, он и не думал о том, чтобы подобно героям классической Греции доживать свои дни в печали на постылой чужбине. Узнав, что соотечественники приговорили его к смерти, Алкивиад воскликнул: «А я докажу им, что еще жив!» – и переметнулся к спартамцам. В Лакедемоне он быстро выдвинулся и добился власти. Возглавив Пелопоннесский флот, он нанес несколько морских поражений лучшим мореходам той эпохи – афинянам, чем произвел на них столь сильное впечатление, что они прозрели, увидели свою вопиющую неблагодарность к ярчайшему из граждан и пригласили его обратно. Алкивиад с помпой и шумом возвратился в Афины, вкусил там небывалых почестей и получил небывалые полномочия. Затем он принялся бить уже спартамцев, причем так успешно, что вызвал новый взрыв зависти сограждан и опять был обвинен и изгнан. В итоге, Алкивиад погиб в Персии в схватке с разбойниками или заговорщиками как раз тогда, когда ветреные соотечественники хотели вновь призвать его на помощь, а афиняне потерпели сокрушительное поражение от спартамцев и проиграли войну.

Афиняне Ификрат и Хабрий тоже были выдающимися полководцами и одержали немало побед, поэтому и они извели обвинение в государственной измене и прошли через судебный процесс.

Сократ не возглавлял войск и не занимался политикой, но имел славу мудреца, поборника справедливости и нравственности. Сограждане не смогли простить ему этого, осудили самого мирного человека и принудили его принять яд.

Аристотель также не избежал преследований соотечественников, а Платон пытался философией облагородить сиракузских царей, за что неоднократно оказывался на краю гибели.

Величайшему драматургу Греции Еврипиду, не нашедшему понимания сограждан, но зато встретившему их неприязнь, пришлось покинуть Афины и искать признания у чужеземцев. Последние годы он провел в Македонии, и лишь после смерти его бесплотный образ, уже свободный от какой-либо зависти, ибо завидовать мертвым античный человек еще не умел, обрел славу на родине.



Талант афинского скульптора Фидия, руководившего украшением Парфенона и всего Акрополя, привлек к нему недремлющее око завистников, каковые при помощи своего послушного слуги – народа изгнали и этого человека.

Знаменитый фиванский полководец Эпаминонд, возведший прежде убогое Отечество в ранг первых держав Эллады, нанесший поражение в правильном бою самим спартамцам, чего до него не удавалось никому, также познал горечь неблагодарности сограждан и прошел через судебный процесс, организованный завистниками при посредстве толпы, всегда охотнее внимающей дурному, нежели хорошему. Однако слишком уж абсурдна была попытка осудить человека за такую победу, какая не могла фиванцам даже присниться, и когда Эпаминонд попросил не забыть написать на его могиле, что он против воли сограждан принес им великую победу, народ смутился и оправдал его. Последовавшая вскоре смерть в сражении избавила Эпаминонда от новых проявлений агрессивности черни.

Спартанский царь Агис предпринял попытку возродить Отечество, повергнутое в ничтожество Македонией и деньгами. Поскольку олигархов интересовало только золото, да изредка – серебро, а для восстановления государства требовались более широкие интересы, он сделал ставку на народ. Отбирая земли и звенящие радости у богачей, Агис начал раздавать их простым гражданам и тем создавал материальную базу для восстановления государственной мощи. Однако богачи рядом беспримерных предательств и грязных интриг свергли законного царя и возвели на его место своего ставленника. При молчаливом согласии народа Агис был осужден на смерть. Но даже деньгам не удалось заставить палачей привести приговор в исполнение: никто не смел прикоснуться к невинному. Тогда Агис, видя уныние и слезы на глазах своих убийц, сказал: «Не надо меня оплакивать. Я умираю вопреки закону и справедливости, но уже поэтому я лучше и выше обречших меня на смерть!» С этими словами он сам вложил голову в петлю.

Последнего патриота Эллады Демосфена также не миновала участь изгнанника, но будто бы вполне справедливо – за коррупцию. Во времена заката своей цивилизации греки при всех достоинствах не могли устоять против гнусных металлов и даже порцию яда для исполнения смертного приговора надо было добывать за взятку, так как в противном случае палач угощал жертву таким составом, после которого смерть казалась несчастному недостижимым блаженством. После очередного политического излома бьющейся в предсмертных конвульсиях Греции народ призвал Демосфена на родину, но, как оказалось на деле, лишь для того, чтобы исправить свою оплошность по его справедливому осужде-



нию и приговорить к смерти, как и положено, за патриотизм, то есть, за приверженность этому самому народу с его прошлым и будущим.

Римляне ко времени излагаемых событий меньше преуспели на поприще расправы со своими благодетелями, но они с лихвой наверстали упущенное впоследствии. Однако кое-какие достижения имелись у них и на тот период, ибо, как известно, если уж римляне за что-то брались, то делали это добротнo и от души.

Гней Марций был великим воином и прирожденным лидером. Он отличился в войне против вольсков и получил почетное прозвище Кориолана по названию захваченного им города, после чего стал консулом. В тот век полным ходом шла борьба плебеев с патрициями, итогом которой в дальнейшем стало то, что за счет усилий народной массы плебейская верхушка добилась равного положения с патрициями и тоже села на шею народу. В лице Марция патриции получили сильного вождя. Это послужило причиной его травли со стороны плебейских лидеров. Обозрев монументальную фигуру Кориолана, они не смутились его неприступной доблестью и сумели обнаружить в нем существенный для политика недостаток: тот был честен и горд. За гордость, названную проявлением стремления к тирании, его взялись судить, а честность не позволила ему защищаться так, как того требовали обстоятельства. При всеобщем ликовании плебса, столь же интенсивном, как и во время избрания Марция консулом, он был изгнан из Рима и нашел приют у вольсков, с которыми до этого сражался на полях битв семнадцать лет. Столь яркий человек не мог остаться незамеченным в любой общине: вскоре он встал во главе вольсской армии и в пух и прах разбил «освобожденных от тирании» римлян. Те обратились к нему с мольбами о пощаде, но Кориолан оказался горд до конца: он не простил соотечественников, однако отказался продолжать поход на родной город, и за это был убит вольсками прямо на народном собрании.

Ромул, основавший великий город и давший ему собственное имя, на вершине своей карьеры вдруг бесследно исчез. Говорили, будто он обратился в бога и вознесся на небеса. Другая версия гласила, что его убили соратники-сенаторы, которые затем рассекли тело и по частям, пряча кровавые куски за пазухой, вынесли его из храма, где было совершено преступление. Дабы пресечь неблагоприятные толки и всяческие подозрения, те же сенаторы обожествовали Ромула и издали указ верить первой версии. Народ охотно поверил, ибо приятно уверовать в бога после надругательства над ним.

Марк Фурий Камилл шесть раз избирался трибуном с консульскими полномочиями, пять раз был диктатором в те годы, когда наступали особенно трудные для государства времена, и справил четыре триумфа, ког-



да его талант и воля превращали худшие годы страны в лучшие. Под руководством Камилла римляне одолели этрусков, с которыми соперничали за гегемонию в центральной Италии несколько столетий и чей город Вейи, покоренный Камиллом, в ту эпоху был для римлян все равно, что позднее Карфаген. Он сумел отстоять за Римом статус столицы расширившегося за счет победы над Вейями государства и за это получил от граждан титул второго основателя Рима. Однако Фурий пресек алчность, которой тогда впервые заболели римляне в результате больших успехов, и тем навлек на себя ненависть любителей злата, каковые всегда по совместительству являются и завистниками. Соединение зависти с деньгами дает грязь, разливающуюся в обществе смрадным болотом лжи и клеветы. Зловонные испарения человеческой подлости ударяют в голову простых людей, отчего те теряют ориентацию и, одурманенные, впадают в безумную воинственность либо в тупую апатию. В этой душной атмосфере Марк Фурий Камилл был осужден якобы за кражу этрусской добычи. Великий человек будто бы позарился на какую-то медную дверь в захваченных Вейях и упер эту ценность в свою усадьбу, наверное, для того, чтобы его пресыщенный блеском триумфов взор мог иногда упокоиться на ее тусклой поверхности. Под улюлюканья и проклятия толпы оскорбленный Камилл оставил город. Грохот, поднятый плебсом, откликнулся эхом аж на севере Италии и навлек на римлян галлов. Ослабленный распрями Рим пал жертвой нашествия чужеземцев. Только возвращение Фурия Камилла позволило римлянам собраться с силами и победить галлов. После этого народ снова воспылал к Камиллу такой любовью, что уместно было ждать очередного урагана ненависти, но его унесла чума, избавившая судьбу от искушения еще раз продемонстрировать свои капризы.

Марк Манлий во время того же нашествия галлов отразил ночное нападение захватчиков на Капитолий и тем самым спас Рим от окончательного поражения, за что получил прозвище «Капитолийский», а позднее был осужден и сброшен с кручи именно Капитолийского холма.

Длинен этот перечень, пронесенный пергаментом, камнем и медью через две тысячи лет, но реальность во всем своем размахе не могла поместиться ни на пергаменте, ни на камне, ибо беспощаден народ к своим благодетелям. И всякий раз место изгнанных занимали организаторы гонений, лучших сменяли худшие...

Да, немало приложил усилий и затратил эмоций народ античности, чтобы погубить собственную цивилизацию и погрузить человечество в тысячелетний мрак средневековья.

Значительный шаг на этом пути был совершен и в тот день, когда Публий Сципион Африканский сел в коляску и по Аппиевой дороге покинул Рима.



14

Трясаясь в повозке, Сципион угрюмо озирался по сторонам, но ничего не видел вокруг, поскольку его взгляд был направлен внутрь. Он вспоминал. Перед мысленным взором вновь проползала унылая колонна пленных пунийцев, которых он некогда вел в триумфальной процессии. Потом в стране прошлого, называемой памятью, проходили тысячи и тысячи других несчастных побежденных, вводимых в Рим многочисленными триумфаторами, каковые своим скорбным видом, неизбывным горем создавали разящий контраст облику победоносных полководцев, мраком своего отчаянья оттеняли блеск торжества римлян. Каждый шаг по мостовой этого города накладывал на них особую печать и делал их все менее похожими на самих себя, ибо с каждым шагом они все глубже погружались в бездну рабства. Публий пытливо всматривался в лица этих жалких существ, когда-то бывших людьми, и старался угадать ту беспощадную силу, которая заставляла их терпеть позор, тешить своими страданиями победителей, осквернять собственное достоинство, топтать душу. Его всегда удивляла их способность выдерживать этот марш, оскорбления, плевки, безнадежность будущего, доходить до Капитолия, смотреть на возвышающегося над их головами триумфатора, слышать рукоплескания врагов своему бесчестью, затем дожидаться смерти в тюрьме или торгов на невольничьем рынке. Он никогда не понимал способности людей к беспредельному паденью... А теперь сам уезжал из Рима, по существу, как изгнанник, и тоже не понимал, какими происками судьбы продолжал дышать, чувствовать и даже мыслить, отчего глаза его не вывалились из орбит при виде неблагодарной толпы, ноги не отнялись, когда он совершал прощальный круг по форуму, мозг не воспламенился от сознания чудовищной обиды.

Публий сделал краткую остановку у родовой гробницы Сципионов, чтобы проститься с прахом предков, а затем его кибитка снова загромыхла деревянными колесами по выдавшим виды камням знаменитой трассы. Оставив позади могилы родных, Сципион окончательно расстался с прежней жизнью и целиком погрузился в чуждый мир изгнания.

Тем временем слева проплывала величественная, на взгляд любого римлянина, Альбанская гора, где некогда располагалась Альба-Лонга – прародина римлян. Это священное место своим видом неоднократно вдохновляло Сципиона на подвиги во имя Отечества, когда, отправляясь в дальние походы, он проходил здесь со своими легионами. Но сейчас Публий ничуть не был тронут: насыщенный вековой славой пейзаж окрестностей великого города казался ему пустынным, как склон вулкана, покрытый коркой застывшей лавы, похоронившей под собою все живое.



Когда у человека сгорает дом, он не может восторгаться благоухающей зеленью природы, окружающей пепелище, когда человек теряет Родину, у него пропадает вкус к путешествиям. Он лишается системы координат, утрачивает шкалу ценностей и не способен адекватно воспринимать мир.

Чем дальше отъезжал Сципион от Рима, тем более удалялся от жизни. Казалось, будто эта, столь знакомая дорога теперь вдруг провалилась под землю и ведет его в Тар-тар, или еще того хуже: он очутился на другой планете, где есть декорации, но отсутствует реальность, где обитает Смерть, грубо пародирующая Жизнь.

Эмилия непрерывно болтала всякий вздор о том, как отлично они устроятся в Литерне. Ее словоохотливость питалась предвкушением грядущего довольства и комфорта, царской роскоши без царских забот, тишины и покоя вдали от суеты, зависти и злобы прыщеватых обывателей.

Публий безропотно терпел этот женский треск. Он не перебивал Эмилию, понимая, что словесной бутафорией она старается прикрыть тоску, виновником которой так или иначе был он сам. А когда становилось совсем невмоготу, Публий объявлял, что у него затекли ноги, и какое-то время шел впереди коляски. Тогда его уши отдыхали от бичей глупых фраз, но зато глаза страдали обозрением италийских просторов. Для счастливого человека весь мир наполнен радостью, для несчастного — затоплен мутными волнами уныния. Чем живописнее были окружающие холмы, чем шире были раскинувшиеся вдоль дороги равнины, тем больше они вмещали скорби. Он с бессмысленной надеждой всматривался в линию горизонта, мечтая о пределе земного круга. Однако достичь его можно только в смерти, Публий же твердо решил выжить назло судьбе.

Так, пребывая вне времени, Сципион незаметно достиг Литерна, который показался ему более зловещим, нежели когда-то Карфаген. Без остановки он проследовал дальше в свое имение и немного успокоился, лишь когда запер за собою дубовые ворота усадьбы.

Отныне высокий забор и эти ворота отделили его от неблагодарного мира, и их крепость служила ему гарантом возможности спастись от людского предательства и выработать образ дальнейшего существования. Но, увы, защита, обеспечиваемая забором, была всего лишь защитой тюремных стен, не способных укрыть жертву от палача, и следом за Публием, прячась за его спиной, к нему в убежище проскользнуло оскорбление, каковое незамедлительно слоем грязи легло на дом и сад, атрий и хозяйственные помещения, на стол и ложе, засорило воздух и куполом пыльного облака заслонило небеса. Все здесь сразу стало ему противно. Его отвращение было столь сильным, что он ощущал не только моральный, но даже физический дискомфорт. Глядя по сторо-



нам, Публий испытывал чувство, будто здесь только что диким табуном протопала злобная толпа римской черни и запятнала все вокруг навозными отпечатками нечищенных башмаков.

Это ощущение было таким навязчивым и неотступным, что Сципион велел тщательно вымыть и выскрести дом и вообще всю территорию усадьбы, после чего запретил впускать во двор кого бы то ни было постороннего, будь то родственник, бывший друг, почтовый курьер или торговец. Сам он не выходил за ворота, ограничиваясь ежедневными прогулками вдоль забора своих владений, а рабов, при возвращении из внешнего мира, заставлял мыть ноги, чистить обувь и произносить покаянную молитву, чтобы не заносить к нему мирскую грязь. Сципион сам понимал смехотворность этих очистительных мер, но его брезгливость к людям превосходила разум, и он старательно следил за соблюдением заведенного обряда, жестоко наказывая виновных в его нарушении.

У Эмилии была другая страсть, помогавшая ей коротать время. Она благоустроивалась. Загромоздив все помещения усадьбы хламом атрибутов роскоши, вывезенных из Рима, великосветская дама этим не удовлетворялась и затеяла грандиозную реконструкцию деревенского дома, дабы превратить его во дворец. Она наняла архитекторов, подрядила всевозможных дельцов и дни напролет проводила в жарких спорах с этой холодной публикой.

При всем сострадании к жене Публий, тем не менее, как мог, противился проникновению в дом ее соратников по тщеславной суете. Однако ему не удалось пресечь болезненную предприимчивость Эмилии, ибо очень трудно излечить людей, заразившихся чесоткой богатства, которая заставляет мельтешить своих жертв в угаре псевдодеятельности до скончания их дней: одних – в стремлении избавиться от непомерного богатства, реализовать его хоть в сколько-нибудь пристойной форме, а других – в жажде его обрести. Итог же и первого, и второго процессов всегда один – канувшая в небытие жизнь.

15

Сейчас, смотря на происшедшие события с некоторого удаления как пространственного, так и временного, Публий поражался чудовищности нанесенной ему обиды. Оскорбление, которое первоначально встало перед ним стеною, отгородившей его от мира, теперь, при взгляде с большего расстояния, представало взору как гора, не только закрывшая собою горизонт, но и заслонившая небеса. Оно было столь огромным, что не вмещалось в человеческом восприятии, и потому он был обречен познавать его частями каждый день и всякий миг, и каждый день душа принимала новую дозу этой отравы.



Где бы он ни находился и в каком бы состоянии ни пребывал, воспаленный обидою мозг все время пятнал взор овалами лиц бесчисленных катонов, петилиев, теренциев и их бездумных приспешников. Сотни и тысячи искаженных злобой лиц, беснуясь в хороводе иступленной ненависти толпы, сливались в единый омерзительный лик оскорбления.

Нет ничего более пагубного для человеческой души, чем несправедливость – порождение деградировавшего общества, когда духовная тугодумность народа вынуждает его исполнять роль дубины в руках подлецов. И оскорбление – крокодилова пасть, которой несправедливость кусает честных людей. Причем, оскорбление – хищник, пожирающий именно лучших представителей рода человеческого. Негодяй не доступен оскорблению, поскольку это – прежде всего незаслуженное наказание, в том его принцип, в несправедности его суть. Бессильно оскорбление и против болвана, как бессильны клыки самого свирепого хищника против каменной глыбы или бревна. Честность и великая душа – вот лакомая добыча для несправедливости.

Будучи квинтэссенцией подлости, несправедливость не только люто ненавидит доблесть, но и, сознавая свое конечное поражение, тщится найти утешенье в особой циничности ее поруганья. Ей мало уничтожить того или иного субъекта доблести, ей важно надругаться, осквернить его. Она – и палач по призванию, и, являясь антиподом человечности, вожделеет к казни. Атакуя жертву, несправедливость берет ее в осаду и ищет Ганнибаловы способы проникновенья в центр цитадели. Реализуясь в форме оскорбления, она окружает ее частоколом злобы, ядом пропитывает все предметы, удушливой отравой заражает воздух, пачкает само время, превращая этот прозрачный поток в струю грязи, и, наконец, пробирается вовнутрь, гложет сердце, высасывает мозг и клубком червей гноит душу. Такою тотальной, изнурительной осадой оскорбление уничтожает веру в людей и, следовательно, убивает любовь к жизни. Пораженный этим оружием человек как бы носит в себе мертвеца. Труп же любви – ненависть. Она разлагает душу и лишает последнего прибежища в беде. Человек умирает изнутри, он задыхается от трупного смрада, исходящего глубинами его существа, который ударяет в голову и захлестывает разум волною безумия.

Это состояние столь же тяжело, сколь и унижительно, так как из него нет выхода. Кому противостоит нормальный враг, тот может бороться и, даже будучи побежден физически, сохраняет духовную опору в образе Отечества, в лице своих единомышленников, которые, как он знает, обязательно продолжают борьбу. Но оскорбление лишает как возможности сопротивления, так и надежды, одолеть его может только справедливость, которая, однако, не достижима в угаасающем обществе.



Сципион нигде не находил себе места, его повсюду преследовало оскорбление. Спасаясь от погони зубастого чудовища, он метался по дому, саду, пробовал заниматься хозяйственными или интеллектуальными делами. Увы, все было тщетно: невидимый, но вездесущий хищник не оставал ни на шаг, преодолевая все пространственные преграды, и проникал в любое духовное состояние. Публий постоянно ощущал себя с ног до головы облитым нечистотами, зловонный яд которых зудящей болью вьедался в тело. Потому он то и дело порывался содрать с себя кожу, чтобы выбросить ее вместе со всей налипшей грязью, и, если бы это действительно сулило освобождение от оскорбления, он так бы и сделал.

Сципион ненавидел все и всех вокруг и избегал общества даже членов своей семьи. Он презирал Эмилию за ее натужную возню по обустройству быта, за ее стремление в мертвой роскоши вещей найти замену богатству живого общения; он сторонился сыновей, поскольку они требовали его доброго отношения, на которое у него уже не осталось духовных сил; и даже жизнерадостный вид дочерей, от избытка энергии и просыпающейся женственности поминутно прыскающих смехом и «строящих глазки» деревьям, облакам и солнцу за неимением иных ценителей их очарованья, не умилял его. Зато он на каждом шагу придирался к рабам и вымещал на них накопившийся гнев. Сам человеческий облик был теперь невыносим его взору. Более того, даже копошившиеся в пыли куры раздражали Публия, поскольку тоже были двуногими существами, хотя и в перьях, и он гонял по всему двору горластого назойливого петуха, который, проворно ретируясь перед знаменитым полководцем где-нибудь на пустырях, возле курятника, на виду у своих подруг, преображался, становился смелее Ганнибала и, выпятив грудь, громко кричал и хлопал крыльями, вызывая Сципиона на бой. Публий желчно смеялся над собою и отходил в сторону, но через несколько мгновений снова терял терпение и с постыдным рвением метал камни в краснобородого гладиатора или шел врукопашную и давал врагу такого пинка, что заставлял того вспоминать о своем птичьем происхождении и перемахивать через высокий забор.

Так, понукая рабов, враждуя с петухом, да еще со строптивым круторогим бараном, который узрел в Сципионе соперника в борьбе за место вожака овечьего стада и оттого сделался воинственным, как галл, Публий проводил дни литернского заточенья. Он, привыкший жить заботами целой цивилизации, вершить судьбы могучих государств, ныне был напрочь лишен возможности действовать. У него было отобрано истинно человеческое оружие против тоски и бед текущего периода, благодаря которому люди своими трудами перешагивают время и простирают жизнь в будущее. Изъяв Сципиона из сферы его



деятельности, общество разом низвергло великого человека чуть ли не до положения животного.

Публий задыхался в тюремной камере вынужденного покоя и все более терял собственное лицо. Приступы гнева, который он обрушивал на слуг, жену или домашний скот, стали почти ежедневными. Но если Эмилия давала ему энергичный отпор и даже петух храбро защищался в меру своих куриных сил, то рабы безропотно сносили любые упреки и поношенья независимо от того были те справедливы или нет. Они молчаливо терпели униженья и побои и, наверное, столь же послушно исполнили бы приказ хозяина умереть, как исполняли все прочие его прихоти. Эти люди, многие из которых были сильны телом и в иных условиях вполне успешно могли бы оказать сопротивление Публию, не смели не только противиться ему, но даже молить о пощаде или звать к справедливости. Каждый раз при виде их чудовищной покорности Сципион приходил в замешательство, прежде чем свершить над ними господскую волю, и наконец он ясно, всем существом своим понял, что они – рабы, и осознал, что значит быть рабом. А ведь далеко не все они заслужили такую участь, не все виновны в постигшем их несчастье. Ведь и сам Публий при всей своей доблести, воле и талантах оказался в положении бесправного изгнанника, от которого лишь один шаг до рабства. Публий понял, что они терпят его несправедный гнев не потому, что будто бы являются низшими существами в сравнении с ним, а только потому, что они еще более несчастны, чем он. Обижать раба хуже, чем бить лежачего. Сципиону открылась еще одна бездна общественной несправедливости, в которую прежде он не заглядывал. Он устыдился собственного поведения и с тех пор стал вести себя сдержаннее по отношению к рабам, что, однако, сразу усугубило его душевные страдания, поскольку оказался перекрытым последний шлюз, чрез который он избавлялся от чрезмерной отрицательной энергии.

Прошло всего несколько месяцев, как Сципион покинул Рим, а его силы в борьбе с тягучим временем, опустошенным безнадежностью и запачканным оскорблением, иссякли, терпение кончилось. Он лихорадочно перебирал в уме доступные в его положении развлечения, как то: охота в горах, боевые упражнения с копьем и мечом, любовные приключения с рабынями, чревоугодие, сельскохозяйственные страсти, в кои претворяется неумная алчность некоторых владельцев латифундий, – и все их с негодованием отвергал. Публий даже подумывал о том, чтобы заразиться какой-либо тяжелой болезнью, дабы недуг вместе с его телом сковал моральные страдания и физической болью отвлек внимание от нравственной пытки бесцельного существования, однако это было бы бегством от трудностей, ничуть не лучшим, чем самоубийство, которое



он отверг, уповая на свою духовную силу. Именно за счет воли он должен одолеть неблагодарность сограждан и не прибегать при этом к каким бы то ни было ухищрениям и внешним факторам. Подкрепленный таким осознанием долга на остаток своей жизни, он вновь и вновь упрямо встречал рассвет за рассветом, таращил ослепшие от отсутствия интереса глаза на благоухающую летними красками природу и молился о приближении ночи, тогда как с наступлением тьмы проклинал ночь и жаждал скорейшего наступления ненавистного дня. Он, мучительно тужась, толкал груз времени к концу собственной жизни, так же, как Сизиф толкал камень к вершине горы, и с тем же успехом. На пути этого неблагодарного восхождения он периодически срывался и скатывался вниз, в глубокое ущелье черной депрессии. Там его душа несколько суток корчилась от боли безысходности жизни, но каждый раз обязательно распрямлялась, поднималась во весь рост, и он вновь начинал карабкаться по бесконечно длинному склону своего могильного холма.

В один из периодов упадка духа к Сципиону подошел старший сын и попросил ознакомиться с его новой работой. Оказывается, он оставил историю Пунийских войн и обратился к жизнеописаниям. Это не понравилось отцу, показалось ему свидетельством отсутствия целеустремленности Публия и его недобросовестности в труде, потому он резко раскритиковал такой поворот в тематике и не удостоил новое произведение внимания. Но через некоторое время младший Публий снова напомнил старшему о плодах своего вдохновения, заявив при этом, что он тщательно переработал сочинение и приблизил его к желанному идеалу, заложенному в душе каждого художника. Отец поморщился и нехотя взял свиток, однако не спешил с его прочтением. Он опасался новых разочарований, а кроме того, испытывал отвращение ко всяким теоретическим трудам вообще, поскольку потерял смысл собственной работы.

Когда-то Сципион говорил друзьям, что на досуге у него особенно много дел, имея в виду писательскую деятельность. Он много жил и много размышлял, ему было что рассказать людям, но, разочаровавшись в перспективах человечества, он не захотел оставлять на поруганье презренной толпе результаты изысканий своего ума и полетов души и уничтожил все написанные им свитки. «Те, кто читает Катона, не достойны читать Сципиона», – произнес он, глядя на пылающий в очаге папирус. С тех пор бывали моменты, когда Публий раскаивался в содеянном, но тут же гнал все сомнения прочь, считая их непростительной слабостью для человека его масштаба. Решение принято, и он следовал ему неуклонно. Бросив писать, он прекратил и чтение. К чему читать о добродетели, если в мире утвердился порок, внимать книжной мудрости, если вокруг царствует невежество, вникать в рассуждения о благе и



смысле жизни, когда сама жизнь выродилась в азартные скачки, в жестокую погоню за миражем фиктивных ценностей? Если Публий теперь и думал о ком-либо из греков, то отнюдь не в связи с их учением, так, например, Зенона он вспоминал лишь в связи с тем, что тот покончил с собою, задержав дыхание.

Но при всем том, Сципион сознавал, что не имеет права переносить свои взгляды на сына, для которого писательская деятельность была единственной дверью в жизнь. Поэтому он, творя над собою насилие, в конце концов развернул свиток, однако, едва коснувшись взглядом строк, вдруг преобразился и неожиданно легко прочел его целиком, не прерываясь и даже не меняя позы. Это было захватывающее повествование о жизни Марка Фурия Камилла, исполненное боли за катастрофическое неразумие народа и муки великого человека, но прежде всего — веры в окончательное торжество справедливости. Закончив чтение, Сципион надолго задумался. Произведение было написано талантливо, однако не это являлось предметом его размышлений. Публия поразил смысл сочинения, выпукло проступающий на полотне представленных событий. Да, римский народ, пойдя на поводу у худших из граждан, оклеветал и несправедливо осудил Камилла, но за это подвергся нашествию варваров, практически уничтоживших Рим, и лишь вмешательство простившего соотечественников изгнанника спасло Город от окончательной гибели. Народ осознал ошибку, опять пошел за Камиллом и благодаря этому победил иноземного врага, а затем и восстановил родной город. Здесь не было ничего нового для Сципиона, и сама по себе эта история мало его вдохновляла, поскольку он понимал, что в те века народ в глубине души своей был чист и лишь под действием дурных веяний на него садился налет порока, который можно было удалить, тогда как теперь порча вызревала в человеческих недрах и, проступая наружу, свидетельствовала о полной нравственной гибели людей. Новым для него стало то, что эту тему избрал его сын. Что руководило им? Созвучие этого повествования с жизнью самого Сципиона несомненно, причем в нем как бы дается оптимистическое продолжение его судьбы. Что это значит? Ищет ли юный Публий положительный выход из тупика для государства с тем, чтобы вместе с Отечеством и самому обрести смысл жизни, или старается ярким историческим примером воодушевить отца? А может быть, он упрекает его за отход от дел и ставит ему в пример Камилла, который в критической ситуации продолжал верить в победу справедливости и добился ее?

Сципион перечитал сочинение во второй и в третий раз и тогда окончательно понял, что оно обращено к нему и только к нему. Истинным героем этого жизнеописания Марка Фурия Камилла являлся Сци-



пион Африканский. Многие детали в изображении суда и травли четырехкратного триумфатора чернью были взяты из недавней истории Сципионов, но еще более значительное сходство обнаруживалось в описании переживаний безвинно осужденного. По отрывочным фразам и мелким деталям поведения Сципиона его сын воссоздал картину грандиозной трагедии большой личности. С присущей художнику способностью проникать за кулисы внешних явлений в сердцевину чужой души он узрел и суть обиды Сципиона, и ее тончайшие нюансы, а поскольку он их не только увидел, но и сам пережил благодаря таланту перевоплощения, то сумел достойным образом все это запечатлеть в неровных строках нервного почерка.

Сципион был тронут такой заботой сына, явленной в столь необычной и энергетически насыщенной форме, но не более того. В те времена художественный талант ценился только в изображении эпических картин битв или политических распрей, но не в передаче психологии страдающего индивида. Возможно, где-нибудь на Востоке, в эллинистическом мире, у этого художественного произведения и нашлись бы ценители, но не так дело обстояло в Риме.

Сципион позвал Публия и сообщил, что прочел его труд. Потом он некоторое время помолчал, ожидая, пока утихнет волнение молодого автора, а затем сказал:

– Работа любопытная, яркая, но... бесполезная. Она не заслужит признания граждан, потому как не является ни историческим исследованием, ни поэмой.

– Я это знаю, но я ставил перед собою более благородную цель, нежели поучать или забавлять сограждан, – с достоинством ответил Публий.

– Дорогой мой Публий, нет задачи благороднее, чем воспитывать соотечественников, но, увы, это не всегда возможно: существуют целые поколения, изначально созданные обществом слепыми и глухими. А что касается твоей цели, то скажу так: я ценю тебя как сына, но пока не могу отметить как большого историка, тогда как второе долговечнее первого, а значит, предпочтительнее...

– Оно представляется тебе предпочтительным лишь потому, что я не сумел, как следует, исполнить задуманное, – с огорчением заметил Публий.

– Нет, на избранном тобою пути дальше двигаться некуда, ты достиг вершины, так что дело не в исполнении, просто бывают такие времена, когда не стоит трогать руины разрушенных городов, а надлежит создавать новые очаги жизни. Я свое назначение исполнил, и обескураживающий результат, ставший итогом моих побед, выбил меня с мо-



ей орбиты. Я не знаю действенных путей к выходу государства из морального кризиса, а вслепую блуждать по дебрям подлости и лжи не желаю, поэтому я ушел. А вот ты в силу своего возраста уйти не имеешь права, ты еще не исчерпал заложенный в тебя природой и нашим Римом потенциал, а потому обязан искать дорогу к победе. Я сжимал в руках меч и двигал легионы, твое оружие – стиль и мысль. Ступай же смело вперед, как в свое время сделал это я, и пусть тебе повезет больше, чем мне.

Немного подумав, младший Публий сказал:

– Да, ты прошел большую часть пути и прошел доблестно, меня же еще в детстве закружил смерч болезни и перебросил сразу к финишу. Так что мы оба у черты... Глобальное зло разлилось над миром, ныне благоденствуют лишь мерзавцы да болваны. Ведь только посмотри: нет в Риме человека, выносливее крепкого, как лошадиное копыто, Порция, пышут самыми яркими красками здоровья физиономии Теренция и Петилиев, а сколько звериной энергии у фанатичных поклонников золотого истукана слепой богини Алчности! Нам же достается только все плохое, в том числе, болезни. Так, недуг отнял у тебя славу победителя Антиоха и втоптал мой ум и прочие способности в бездонную трясиину немощи. Я заметил, что в последние годы неестественно часто болеют и другие честные люди.

Сципион не знал, что ответить юному старцу, и бессильно поник головою.

Вскоре после этой сцены здоровье Публия вновь ухудшилось то ли от переутомления, то ли от разочарования, и он слег на несколько месяцев. Отец ежедневно проводил у его ложа четыре – шесть часов. Стараясь отвлечь больного от грустных мыслей, а заодно расширить его исторические познания в расчете на будущую писательскую деятельность, Сципион читал ему греческие книги. По ходу чтения они обсуждали представленные на их суд древними авторами события и особенно жарко спорили по вопросам оценки знаменитых личностей. Как это ни странно на первый взгляд, телесно слабый и вялый в жизни молодой человек проявлял большую склонность к авантюризму, нежели его отец, проводивший три блистательно-дерзкие военные кампании и предпринявший неисчислимое множество отчаянно-смелых боевых операций. Публий симпатизировал таким людям, как Александр, Пирр, Алкивиад, Лисандр, Кир Младший и порою восхищался даже Ганнибалом. Сколь ни близки были по духу отец и сын, эпоха взяла свое: она раскрасила нрав представителя нового поколения в вызывающе пестрые цвета эллинистического индивидуализма. Как ни доказывал старший Сципион младшему, что объекты его восторга являют-



ся типичными представителями вымирающей цивилизации и не несут в себе ничего иного, кроме хищной энергии разрушения, тот стоял на своем и по-прежнему считал вполне допустимым для выдающихся людей использовать все имеющиеся под руками средства ради достижения славы. Впрочем, индивидуализм Публия выступал как бы незаконным сыном его мировоззрения, возникшим из мутных волн эмоций, тогда как разумом он был республиканец и при этом даже не подозревал, что одно, по сути, противоречит другому.

Пока сын находился в тяжелом состоянии, отец, забыв о собственных неприятностях, жил его заботами, но когда Публий начал выздоравливать, Сципиона снова схватило за горло оскорбление. Он опять потерял интерес к грекам, как и ко всему вообще, стоящему по ту сторону преграды, отделившей его от мира. Однако на этот раз отчуждение не стало полным. Слишком свежо было впечатление от недавней встречи с любимыми чуть ли не с детства героями, от только что возобновленных в памяти сцен великих общественных потрясений и личных драм. Пред мысленным взором чередой прошли многие цивилизации в своем рождении, расцвете и крахе, он прожил десятки пестрых, головокружительных, с крутыми изломами жизней, успел побывать Фемистоклом, Павсанием и Камиллом. Еще в юности его потрясли их судьбы, еще тридцать с лишним лет назад он с неким пророческим трепетом внимал страданиям этих людей, и вот теперь сам оказался в их положении. Поток несчастий Сципиона влился в море людского горя, и течение его замедлилось. С позиций целого частное стало казаться не столь уж значительным.

Он длительное время барахтался в этом море человеческих несчастий, смывая его едкими водами грязь оскорбления со своей души. Но наступил момент, когда он стал захлебываться этой смесью слез и крови и почувствовал необходимость выбраться на сушу. Оказавшись на берегу, Сципион попытался обозреть весь гигантский клокочущий скорбью котлован людских бед и заглянуть за горизонт в надежде обнаружить там величественные горы и выходящий в них путь к восхождению. Но сколько он ни напрягался, глаза его видели только страдания, а уши слышали лишь стоны. Чтобы проникнуть за горизонт, необходимо руководствоваться высшим зрением, присущим именно человеку. Где оказываются бессильны органы чувств, там дорогу прокладывает разум. Сципион предпринял попытку осмыслить историю, а для этого ему в помощь потребовались не анналисты, а философы. Так он перешел на следующую и предельную ступень человеческого знания.

В вопросах построения справедливого государства греки не могли быть советчиками Сципиона. Ему, выросшему в период расцвета рес-



публики, их умозрительные политические конструкции представлялись не только наивными, но и реакционными. По его мнению, невозможно было даже измыслить более порочного порядка, чем платоновское разделение людей на сословия правителей, стражей и работников с их профессионализацией по областям жизни. Распределение обязанностей дает хороший результат в материальном производстве, но никак не приемлемо в духовной сфере. Что станет с человечеством, если уделом одних людей будет мудрость, вторых – мужество, а третьих – тяжкий труд? Лишившись гармоничного развития, человек утратит себя как личность и превратится в существо уже иной породы. Как истинный римлянин, Сципион считал, что каждый гражданин должен быть хозяином не только своих вещей, но и самому себе, а поскольку люди живут сообща, то и заниматься управлением им надлежит также сообществу. Вследствие того, что общество оформлено в виде государства, и именно государство распоряжается людьми вместе с их скарбом, то есть решает вопросы войны и мира, устанавливает законы, поощряет и наказывает, каждый человек должен иметь реальную долю в управлении этим государством, соответствующую его значению. Любое отчуждение от власти какой-либо группы или категории людей под предлогом профессионализма, делает их слепыми исполнителями чужой воли, причем почти всегда чуждой им, потому что правящий класс обязательно использует свое господство в собственных интересах. Никто из правителей никогда добровольно не позаботится о гражданах, если те не имеют на него ответного влияния, а значит, такие, отстраненные от власти люди фактически окажутся в положении рабов или точнее – обывателей, что гораздо прискорбнее, ибо не все рабы сломлены духовно, но никогда не было, нет и не будет обывателя с высокой и свободной душой. Бесспорно, не каждый человек обладает талантом вождя, но и не всякий умеет лепить горшки, и не всякий может сочинять стихи. Однако из этого не следует, что гончар должен быть рабом поэта или поэт – рабом гончара. Пусть прирожденный лидер руководит, но не получает за это особых прав, как не получают их гончар и поэт. А для того, чтобы правитель выражал своей деятельностью чаяния всех сословий граждан, эти сословия должны иметь возможность воздействовать на правителя через народное собрание, избирательные комиции и суд, в этом и будет заключаться их участие в управлении. Все это было ясно Сципиону, как и любому римлянину, однако он не судил строго Платона, понимая, в какое время тот жил. В век упадка греческих республик, в период, когда люди при материальном благоденствии деградировали в идеологическом, а следовательно, и в личностном плане, так как идейность для мировоззрения – то же, что направление для век-



тора, Платон не мог представить иного средства укротить броуновское движение узкокорыстных интересов мелких, как молекулы, индивидов, кроме военной силы целого класса профессиональных стражей. Его ум был целиком занят поиском политической системы, способной обуздать человеческие пороки, тогда как следовало думать о том, как построить общество, ориентированное на положительные качества и воспитывающее доблесть, ибо, как сказал Антисфен, государства погибают, если перестают отличать хороших граждан от дурных. Впрочем, игнорируя результирующую идею Платона, Сципион использовал его труды для изучения «чистых» форм политической власти, поскольку ему требовался материал для ответа на главный вопрос. Увы, несмотря на то, что Римская республика со своим сложным политическим устройством, снабженным двумя параллельными обратными связями (комиции и трибунат), являла собою новое качество в сравнении не только с утопией Платона, но и со смешанной структурой управления, предложенной Аристотелем, она, подобно предшественникам, также не выдержала испытания богатством и вдруг резко покатилась к закату, пока еще только моральному, за которым, однако, как доподлинно знал Сципион по историческим примерам, неизбежно, хотя и с временной задержкой, последует интеллектуальный, а затем и материальный упадок.

Еще и еще раз перечитав труды греческих мудрецов и поразмыслив над собственным опытом, Сципион пришел к выводу, что не все определяется государственным устройством, что порок может проникать в общество снизу или со стороны, минуя властные структуры, и поражать непосредственно самих людей, которые затем портят и государство. Его интерес с политики переключился на нравственность, и он принялся изучать уже не полисы в эпоху их распада, а граждан этих полисов. Когда-то его занимали лишь политики и полководцы, но теперь он обратился к остальным людям, стремясь выяснить, кем они стали и в чем искали спасенья для своих страждущих душ.

Образцы мировоззрения мыслящего эллинистического человека были даны в учениях основных философских школ той эпохи. С немыслящими все обстояло проще и скучнее: они являлись слепыми функционерами, всецело подчиненными окружающим условиям, рабами злобной мелочной страсти наживы, и ныне, по прошествии лет, могли привлечь внимание разве что могильных червей или древесных корней, питающихся перегноем тех, кто сгнил еще при жизни.

Сципион, как и большинство римлян, всегда тяготел к стоицизму, однако сейчас, в период второго рождения интереса к Греции, увлекся киниками. На изломе эпох у него возникла потребность пересмотреть взгляды на человека и общество, произвести переоценку ценностей, а



именно этим в свое время занимались киники. Когда рушились греческие государства, разлагалась коллективистская полисная мораль, и по трупам растоптанных человеческих душ властно шагало богатство, обрастающее в рабство знатных и простолюдинов, молодых и старых, мужчин и женщин, у людей, избежавших петли этого завоевателя, возникло резкое неприятие всего окружающего. Им претил новый порядок, устанавливаемый алчностью, но и прежние ценности, на которых выросла античность, казались смехотворными и вызвали скептицизм. Любовь к Родине, честность, справедливость, жажда подвига и славы – все то нравственное оружие, которое сплачивало людей общины и способствовало их восхождению из дикости животного мира к высотам человеческой культуры, ныне было изгнано из практической жизни. Утратив опору в существующей реальности, эти нормы человеческого взаимодействия бесплотным призраком повисли в душах людей, смущая их совесть своею вечной, неистребимой красотой и приводя в замешательство рассудок бесполезностью и даже вредоносностью для адаптации в имеющихся бытовых условиях. Благородство стало помехой для достижения успеха в порочном обществе, а потому утратило жизненную силу и превратилось в словесную ширму, прикрывающую суетную низость, в завесу лицемерия, под покровом которой ползучая корысть творила свою гнусность, и именно в этом качестве оно было отторгнуто честными людьми.

Киники отвергали государство, ибо им довелось узнать лишь карикатуру на него. Монархия предстала перед ними как тирания, аристократия явилась взору в форме олигархии, а демократия – в отталкивающем образе разнузданной охлократии.

«Тиран хуже палача: второй казнит преступников, а первый – невинных людей», – говорили они и тут же нападали на демократию, то есть на власть большинства: «Лучше сражаться среди немногих хороших против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших». Высмеивая народные собрания, уже давно выродившиеся в сборища толпы, основатель кинизма Антисфен советовал афинянам принять постановление: «Считать ослов конями», – а в ответ на их удивление пояснял, что подобным образом они простым голосованием из невежественных людей делают полководцев. В своем политическом пессимизме они заявляли: «Мудрец живет не по законам государства, а по законам добродетели», – и называли себя гражданами всего мира. Одновременно с отрицанием государства оказалось упраздненным и понятие Родины. Потому, когда кто-то из подвергшихся ostracismu посетовал, что умрет вдали от Отчизны, Диоген Синопский успокоил его такими словами: «Не печалься, глупец, дорога в Аид отовсюду одинакова».



Но основной удар своей саркастической горечи киники направили, конечно же, на главное зло, то самое, которое, позволяя жиреть отдельным людям, губит человечество, которое, вздувая чрево, сушит мозги, сеет раздор и войну, зависть и злобу, которое во главе всего ставит порок и неразлучное с ним преступление. «Ни в богатом доме, ни в богатом государстве не может быть добродетели. Стяжатель не может быть хорошим человеком. Богатство по сути своей аморально», – гласила их мудрость. Страдающие одышкой от пресыщенности всевозможными благами богатства «хозяева жизни» вызывали брезгливое презрение философов. Так, когда Диоген увидел, как раб одевает и обувает здорового господина, словно тот был беспомощным младенцем или дряхлым стариком, он насмешливо бросил рабовладельцу: «Ты был бы совсем счастлив, если бы слуга за тебя еще и сморкался!»

Безжалостный скептицизм киников был созвучен разочарованию Сципиона, и их острые изречения, ударяя Публия в самое сердце, скалывали с него болезненные наросты и очищали душу. Однако им удалось заглянуть в такие дебри человеческой порочности, о каких Сципион и не подозревал.

Устрашающую картину морального разложения людей их звенящим желтым господином изобразили поэты этого философского направления: «Людей покинула Совесть, и они из каждого камня готовы выдавить прибыль. Всякий ищет, где бы пограбить, и бросается стремглав в воду и плывет к своей добыче, готовый утопить на пути друга, брата, жену. Для этих людей нет ничего святого, они, не задумываясь, превратят море в сушу, а сушу – в море ради низкой выгоды. Эти люди перевернули нашу жизнь. Ведь некогда священная Справедливость ушла и никогда больше не вернется. Процветает неверие, а вера покинула землю. Бесстыдство стало сильнее Зевса. Низость господствует над людьми. Будь проклята нынешняя жизнь и презренны все люди, живущие такой жизнью. Они тащат откуда только могут, и нет для них ни близкого, ни дальнего. Закон их не страшит. Как люди могут жить среди таких зверей...»

Так глубоко в человеческую трагедию Сципион до сего времени не заглядывал. Риму предстояло еще двести лет падать в пропасть, прежде чем достичь столь зловонного дна. Поэтому он на некоторое время забыл о собственных бедах и с головою погрузился в страдания греков. Как ни велики были несчастья Сципиона, их едва достало на то, чтобы он смог оценить знаменитый символический поступок Диогена.

«Народу много, а людей нет, – говорил философ и, пробираясь белым днем с зажженным фонарем в руках сквозь городскую толпу, возвещал: «Ищу человека». – Чудовищный приговор! История не знает бо-



лее жестокого и горького упрека людям, забывшим о самих себе и подчинившимся вещам.

«Люди находятся в рабстве у своих желаний, — констатировали киники, — моральное же рабство хуже физического, оно надевает цепи на всех». Придя к такому выводу, они стремились снять с себя эти «цепи» и узрели путь к освобождению в избавлении от желаний. Верно определив, что пороки и несчастья приходят к людям через неразумные потребности, которые деформированной психологией вырождающегося общества возводятся в ранг главных целей и удовольствий жизни, они, тем не менее, не сумели отделить искусственные потребности, привнесенные в мир людей из хлама вещей, от естественных, духовных ценностей, коими общество питает людей, возвращая в них личность. Поэтому киники отрицали все подряд: и материальные богатства, которые искажают взаимоотношения между людьми, выхолащивают их жизнь, и богатство человеческого общения, радости совместного созидания; а только совместное созидание, благодаря оценке окружающих, окрашено эмоционально и потому способно приносить радость, а не злорадство. Чем меньше желаний, тем меньше связей, тем свободнее человек! — решили они, не подумав при этом, что идеальной свободой при таком подходе будет смерть, действительно избавляющая от всяческих связей.

Абсолютизируя свободу, киники лишались доброго и злого и как бы самоустранялись из общества и жизни. Не имея возможности преобразовать мир, они преобразовали свои взгляды и оценки, а это явилось своего рода приспособленчеством. По сути, философия кинизма была лишь уходом, бегством от жизни, трусостью пред социальными бедами, безвольным протестом самоубийцы, что никак не могло привлечь деятельную натуру римлянина. Поэтому, закончив блуждание по трансцендентной стране кинизма, Сципион возвратился в действительность с чувством человека, очнувшегося от фантасмагорического сна, который, потирая отяжелевшую голову, пытается припомнить, где и в какой компании — дурной или хорошей — он был накануне.

Итак, погрустив над участью человечества вместе с киниками, но не найдя у них положительной программы действий, без которой римлянин не может быть римлянином, Сципион снова возвратился к стоицизму.

Это учение при такой же резкой критике пороков зашедшей в тупик цивилизации, какая проводилась киниками, все же не отвергало целиком общественную жизнь и государство, благодаря чему вызывало гораздо большее доверие римлян, нежели другие философские системы. А при ближайшем рассмотрении идеология стоиков и вовсе показалась Сципиону будто специально созданной для него, а точнее, для всех ос-



корбленных и несправедливо изгнанных. Наверное, так и было в самом деле, ибо мыслящие люди той эпохи и впрямь чувствовали себя изгнанниками в опьяненном жаждою наживы обществе, где жизнь проходит в хмельном чаду разнузданной вакханалии Алчности.

Стоик взрастил в себе высокий дух и потому во всех житейских невзгодах имеет несокрушимую опору в самом себе, он умеет довольствоваться собою, а значит, не зависим от окружающего. Стоик постиг космическую мудрость, и все желания, влечения и удовольствия обывателей видятся ему ничтожно-мелкими. Он не отрицает таких ценностей как сила, здоровье, стремление к продолжению рода, любовь к детям, но смотрит на них свысока, считая животными ценностями, поскольку они присущи и животным. Истинно же человеческим качеством является способность различать добро и зло и, исходя из этого, исполнять свой долг, который состоит в том, чтобы жить в согласии с природой, не выпадая из начертанного ею маршрута рывками низких страстей. Впрочем, по мнению стоиков, все страсти низкие, так как порочна всякая неумеренность, нарушающая плавность вселенского движения.

Итак, стоик — это сильная, самодостаточная личность, осененная знанием высшего смысла бытия. Его не могут вывести из равновесия беды и радости человеческого муравейника, ибо душа его парит высоко над землей и касается лучей божественного разума.

Взгромоздившись на этот идеологический Олимп, Сципион обозрел римский форум и едва рассмотрел там дрыгающиеся подобно блохам точки, обозначающие бестолковый и злобный плебс. Укрывшись на этой вершине от несправедливости и порочности общества, Публий провел несколько спокойных дней и впервые за последний год вкусил нормальный сон.

Но, увы, недолго довелось Сципиону покоиться в умиротворяющем ложе стоической отрешенности. Он провел жизнь совсем не в таком государстве и не в окружении таких людей, спасаясь от которых, стоики карабкались в заоблачные страны. Вспоминая Испанию и Африку, вспоминая пустынную равнину между Замой и Нараггарой, на которой почти не было травы, зато пышным цветом произросла римская слава, вспоминая лица тысяч сограждан, вдохновленных любовью к Родине и взаимным уважением и доверием, Публий терял очертания стоической добродетели. В такие периоды ему казалось, что все греческие мудрецы вместе взятые не стоят одного римского солдата. В трагические дни, последовавшие за каннским побоищем, Сципион видел десятки сенаторов, только что потерявших своих сыновей, которые твердой поступью выходили на форум успокаивать сограждан и дежурили там дни и ночи, словом и мужеством собственного примера укрепляя веру людей в



победу. Он смотрел им в глаза... Как можно было ему после этого поверить, будто люди мелки, и дела их ничтожны?

Сползая с макушки возведенной из словес горы самоуспокоения, Сципион стал судорожно хвататься за все подряд, чтобы не оказаться вновь в темном ущелье пессимизма. Усомнившись в идеологическом итоге стоицизма, он возвратился к истокам ученья, чтобы проследить, как и из чего образовалось стоическое мировоззрение.

«Вселенная – одно большое живое существо, – говорил Клеанф, – ее душа – Бог, а сердце – солнце», – это было весьма созвучно интуитивному представлению Сципиона о мироздании. «Бог – активная составляющая Космоса, творческая разумная сила природы, – развивали свои взгляды стоики. – Эта сила формообразует косную, аморфную материю, подчиняет ее собственной разумной воле. Бог же всемогущ. Он все знает, все предвидит и сознательно ведет мир к благой цели».

Таким образом, Космос движется к прогрессу, Вселенная постоянно совершенствуется. Именно это убеждение позволяет стоикам равнодушно взирать на людские беды и мириться с окружающей неустроенностью. В самом деле, если все в целом превосходно, то стоит ли страдать из-за несовершенства отдельных частей? Кроме того, человек мал, ему не постичь божественный замысел, и то, что на земле воспринимается как зло, с небес, с глобальных позиций Вселенной, возможно, видится благом, и даже должно выглядеть благом, коль конечный итог – торжество добра.

Из такого представления о мире с неизбежностью следует пассивное, созерцательное отношение к жизни. Видимое зло ничтожно, да к тому же и обречено, бог всемогущ и не нуждается в помощи людей, а сами люди являются игрушкой судьбы, ибо все заранее предопределено замыслом творца. Вот в таких взглядах и кроется неземное спокойствие стоиков, такие мысли одурманивают их ум и усыпляют сердце, благодаря чему они равно презрительно шуряты и на суетящегося в грошовых заботах торгаша, и на отстаивающего справедливость оратора, и на спасающего Родину героя.

«Стоицизм – философия уставших духом, – решил Сципион, тщательно обдумав все прочитанное. – И, по сути, отличие стоиков от киников невелико: хотя те ведут себя, как собаки, а эти – как боги, одни смотрят на жизнь со стороны, другие – сверху, однако и первые, и вторые находятся вне ее, вне жизни, они самоустранились».

Сципион усмотрел и некоторые противоречия в учении стоиков. Так, если Вселенная идет по пути прогресса к совершенству, то почему по истечении мирового года, исчисляемого стоиками в десять тысяч восемьсот лет, мир гибнет в хаосе космического пожара, чтобы затем



возродиться вновь? Где справедливость, если гибнет совершенное, и почему мир гибнет, если он достиг совершенства, ведь разрушение начинается там, где есть изъяны? И зачем богу наделенные сознанием и душою люди, если он всемогущ? Зачем создавать столь изощренные существа, если не использовать их в своих целях, то есть в утверждении всемирного добра? И вообще, зачем всемогущему что-то упорядочивать и совершенствовать, если он в силу своего могущества сразу способен создать совершенное?

«Нет во Вселенной всемогущих сил, а есть извечная борьба добра и зла, — пришел к выводу Сципион. — И задача людей — не прятаться от жизни и общества из опасения запачкаться, а идти в самую гущу толпы и силой добра против сил зла утверждать справедливость так же, как и долг солдата — не рассуждать во время сражения в стороне, а биться с врагом в первых рядах».

Однако, что мог Сципион извлечь лично для себя из этого прозрения, за которым, впрочем, не стоило далеко ходить, ибо оно дается традиционным римским воспитанием? В полном согласии с такой позицией Публий Африканский прожил сорок восемь лет своей жизни, но теперь произошла катастрофа и для него, и для Рима. В нынешних условиях он не может действовать, оставаясь самим собою, но и не желает изменять самому себе в угоду пороку века. Он не знал, как ему быть дальше, но одно понял точно: спасительные идеологические конструкции хитроумных греков не способны затмить его здравый ум, который был воспитан реальной деятельной жизнью.

После блужданий по миру греческой философии, Сципион вернулся к своему одиночеству еще более опустошенным, чем был прежде. Он понял, что поиски так называемого высшего смысла затеваются тогда, когда теряется смысл реальной жизни. Однако, спустя некоторое время, он опять обратился к грекам. Стоики разворошили в нем некую потайную область души, открыли новый интерес, и он стал по ночам с пристрастием всматриваться в звездное небо. Немало страждущих во все века искало утешенья в этом величавом зрелище, стараясь рассеять свои беды в необъятном просторе Вселенной и напитаться космической энергией, источаемой тревожным сиянием звезд. Евдокс и Аристотель мало дали его жаждущей высшего познания душе, и потому он снова развернул свитки Платона.

Сципион и прежде разделял представление широкоплечего Аристотеля о глобальной идее, связующей и одухотворяющей мир, но не мог согласиться с тем, что воспринимаемая людьми жизнь — всего лишь царство теней, как и сами люди. По его мнению, вселенская идея не существует обособленно, а находится внутри материального мира, как это



прослеживается, например, в учении стоиков, где Бог – созидательная сила самой природы, и пронизывает собою все предметы. Образ пещеры, в которой лицом к стене в полутьме сидят люди и смотрят на проплывающие черные плоские тени, коими предстает им высший, цветной и объемный мир, движущийся за их спинами, противоречил мировоззрению Сципиона и не принимался им. Эта гениальная попытка Платона вырваться на простор четырехмерного мира из нашего, лишенного гармонии трехмерного с небольшим добавком пространства, каковой является всего только громоздкой проекцией – четырехмерного, была чужда римлянину, жившему нуждами общества, пока общество не отторгло его. Но теперь, лишившись привычных связей, обеспечивавших его ориентацию в жизни, и одновременно ощутив на себе дыхание непостижимого для сознания рока судьбы, он почувствовал особую глубину мира и понял, что тот не исчерпывается видимыми явлениями.

Впрочем, нет трех, четырех или пятимерных пространств, мир один, и он бесконечен и неизмерим, но существуют различные уровни его реализации и постижения: трехмерное, каково состояние неживой природы; трехмерное с довеском в виде времени, как для животных; трехмерное уже с двумя плюсами, характерное для человека, восприятие которого расширено за счет памяти, разума и общественного образа жизни, и представляет собою сумму проекций, образованную как впечатлениями его собственной жизни, так и опытом прошлых поколений и перспективами – будущих. Просматривается в нашей жизни и существо с четырехмерным охватом мира, которым, по всей видимости, является судьба, поскольку она определяет жизнь человека в целом, вместе с прошлым и будущим, однако не всесильна и доступна противоборству со стороны очень крепких духом людей. А вот платоновское «Единое» – глобальная мировая идея, возможно, представляет собою разум пятимерного организма, в который все мы включены, как клетки, а наши судьбы – как нервные узлы, из чего напрашивается вывод, что вечно противостоящие у нас друг другу «идеальное» и «материальное» являются всего лишь разными проекциями одной и той же истины более высокого порядка, двумя тенями одного предмета. Однако что проку рассуждать о высших ипостасях Вселенной, если люди не способны должным образом устроить свои взаимоотношения здесь, на земле, если они не только не продвигаются вперед по пути человечности, но даже, наоборот, утрачивают взаимопонимание, которое было присуще их предкам?

Наверное, о чем-то подобном размышлял Сципион, когда отложил в сторону свиток Платона и устал смотреть на звезды. Но увы, что не нашло реализации в обществе, то безвозвратно кануло в бездну небытия, по крайней мере, для нас, трехмерных. Как бы то ни было, из-



вестно, что эллинские идеи не смогли вернуть Сципиона ни к политической деятельности, ни к научной, к которой он имел склонность в годы активной жизни. Значит, совершив круг по ниве человеческой мудрости, возвращенной цивилизацией ко времени его века, Сципион опять пришел в исходную точку.

Эмилия шла к разочарованию своей дорогой. С момента приезда в Литерн она была активна, как краснощекий вольноотпущенник, плетущий финансовые интриги против недавнего господина с целью воздать за оказанное благодеяние присущим истинно рабским душам способом, и даже компания, в которой она вращалась, была подобна тем, в каких обитали такие вольноотпущенники: ее окружали всевозможные дельцы-проходимцы и проходимцы-бездельники. Но, хотя вкладываемые ею в обустройство усадьбы средства растекались потайными ручейками лжи и махинаций, что-то оставалось и на само строительство, то есть коэффициент полезного действия бизнеса был еще далек от единицы. Дело продвигалось, радуя не только вампиров-деньгососов, но и хозяйку. Громоздились этажи и пристройки, капали с потолка и стен произведения малярного искусства, желтели и серебрились в обширных покоях хищные металлы, пожиратели людской чести и достоинства. По мере нагнетания роскоши Эмилия становилась все говорливее. Она возбужденно оповещала мужа о достигнутых успехах, заставляя его синеть от чрезмерного терпения, и безжалостно сулила грядущие победы над камнем и штукатуркой. Наконец ее страсть, которой она пыталась заглушить растущую в глубине души неудовлетворенность затеянной возней, достигла апогея, и она с треском выгнала прочь всю сволочь, паразитировавшую на ее предприятии. Накал эмоций был столь велик, что Эмилия впервые за несколько лет вспомнила о своей женской природе и расплакалась.

Когда Сципион попытался высказать жене не совсем искреннее сочувствие, она усилием воли в миг высушила глаза и с гордым презрением изрекла:

– Что проку наводить в доме лоск, если этого все равно никто не увидит!

– А разве тебе самой роскошь не нужна? – вновь не без вынужденного лицемерия поинтересовался Публий.

– Долгое время я была уверена, что только мне и нужна, а на мнение остальных – наплевать. Но оказалось, все наоборот: мне наплевать на само золото, а радует меня, как, думаю, и всех богачей на свете, лишь завистливый блеск, которым оно отражается в глазах окружающих.

После некоторой паузы Эмилия проникновенно посмотрела на мужа и совсем другим, доверительным тоном чуть ли не со священным ужасом произнесла:



– Ты знаешь, я вдруг потеряла интерес к своим украшениям... не перед рабами же мне щеголять в этих самоцветах? Удивительное дело, теперь они мне совсем не кажутся красивыми. Выходит, их красили вос торги моих подруг, без коих все это – лишь осколки битого камня, хоть и отшлифованные. И вообще, я думаю, что, если бы глина была редкостью на земле, а рубины валялись под ногами, модницы вешали бы на шею глиняные черепки и при этом замирали бы от восхищения. Я в рас-терянности... что же нам ценить и как нам жить?

– Пойдем, – сказал Публий, подавая руку жене.

Она устало облокотилась на него, и он повел ее в дом, где на стенах буйствовали всевозможные боги и цари, намалеванные подряженными ею художниками.

– Вглядись в эти картины и поведай, что ты видишь, – попросил Публий.

– Ничего, – презрительно скривившись, ответила Эмилия, – глупая мазня и только.

– Правильно. Это продукт творения рабского духа, помешанного на атрибутах искусственного возвышения и подчинения. Тут мир изображен условным языком общества, утерявшего естественные ориентиры, языком, призванным обслуживать обывателей, привыкших опираться на какие-то знаки, символы. Например: они видят трон, значит надо благоговеть; на троне в неловкой позе, изображающей несуществующее достоинство, громоздится хищная фигура – это объект величайшего поклонения, символ высшего земного благополучия; а перед ним распростерлись в униженных позах нищие – тут нужно корчить презрительную гримасу – это неудачники. Вот развернутое полотно битвы, и опять все ясно: здесь господа жизни – бравые победители, а на противоположном полюсе трусливые, ничтожные побежденные. А эта уединившаяся на темном фоне фигура с неестественно толстым лбом есть мудрец, им восхитится обыватель, претендующий на титул оригинала и книгочея.

– Ты права, Эмилия, – подтвердил он, – все это – помпезная мазня, созданная на основе схемы приспособления к культуре общества, заключенной в сознании мелких людей, не имеющих души – инструмента для распознавания настоящих ценностей. А теперь взгляни сюда. Эта картина, изображающая кораблекрушение, выполнена неправильно с точки зрения профессионала, и в Пергаме или Эфесе ее автора обязательно бы засмеяли. Однако какое выражение глаз у несчастного утопающего, как отчаянно он вздымает руки! И не столь уж важно, что одна из них, если ее распрямить, окажется длиннее другой... А как накренился разбитый корабль! Нам кажется, что сейчас водяной вал швырнет его прямо на наши головы! Но самое поразительное здесь – пенный гре-



бень над крутою волной, который вот-вот захлестнет беспомощную жертву. Присмотрись, ведь у этого темно-синего мазка с белыми вкраплениями есть лицо, у него лицо жестокого злодея! Признай, картина не может оставить равнодушным, ибо здесь запечатлена жизнь, стусок настоящих человеческих эмоций.

– А сейчас пройдем в спальню, – пригласил он ее к продолжению экскурсии. – Смотри, по твоей прихоти стойки ложа украшены массивными резными золотыми сферами.

– Мне стыдно, Публий.

– Да, из этих сфер на нас тусклым желтым оком щерится наглое богатство и только... Но теперь представь, что ложе – это огромное здание, индийский расписной дворец вроде того, какой изображен на фреске, привезенной мною из Азии, а сферы – это купола, венчающие башни дворца.

– Да, я представила, – прищурившись, сообщила Эмилия, – действительно, похоже.

– Вот видишь, у тебя лицо сразу одухотворилось заинтересованным выражением, – обрадовался Публий. – Так знай, Эмилия, нас волнуют человеческие образы, душа радуется любым проявлениям другой души, живое тянется к живому, предметы и события имеют для нас ценность, когда они так или иначе очеловечены, и, наоборот, нас отталкивают, нам не могут доставить удовольствия всевозможные виды опредмечивания человеческого. В том отличие истинных ценностей, возвышающих людей, от условных, порабащающих их. Есть между ними и еще одна разница: истинные ценности вечны, а ложные – преходящи. Так, люди всегда будут нуждаться в дружбе, любви, уважении, сочувствии, но та роскошь, в которую ты успела обрядить часть дома, нашим потомкам покажется убожеством, однако это не значит, что они будут счастливее нас, скорее, наоборот.

Тема ценностей и антиценностей была весьма злободневной для Сципиона в свете нравственных метаморфоз, произошедших в Риме на его глазах, и связанного с ними резкого изменения отношения сограждан к своему принцепсу. Потому он мог бы еще долго говорить по этому вопросу, однако информационная потребность Эмилии достигла насыщения, и она, заметно погрузнев, уединилась на женской половине дома для осмысления услышанного.

Несколько дней Эмилия была задумчива и печальна. Год назад судьба нанесла сокрушительный удар по ее честолюбию, рухнула гордость за мужа, пошатнулась надежда на блестящее будущее детей, а теперь под сомнением оказались и традиционные радости женского бытия. Она чувствовала, что здесь, вдали от светского общества на лоне обна-



женной, не приукрашенной людьми природы, ее душа оголяется, теряя покровы обыденного непонимания, и это испугало ее так же, как если бы с нее некто неизвестный и таинственный стягивал платье. Эмилия не выдержала такого состояния неопределенности и страха и пожелала поехать в Рим, чтобы в привычной обстановке вновь попытаться обрести себя. Сципион не приветствовал ее решение, но и не противился ему, потому, взяв с собою дочерей и младшего сына, она отправилась в столицу.

16

Сципион почувствовал облегчение с отъездом жены. Вид людей, даже самых близких, был ему тягостен. Однако место отсутствующих заняла пустота, та самая, вязкая и удушливая пустота, которую он с некоторых пор начал слишком отчетливо ощущать. Она распространялась вокруг него, словно темнота среди бела дня, и поглощала жизненное пространство. Она сгущалась за его спиной и подступала к нему, как могильный холод. Иногда, задумавшись где-нибудь в тихом уголке леса, входящего в его владения, Публий вдруг вздрагивал, будто от чьего-то прикосновения, и гневно оборачивался; тогда пустота несколько отступала, как бы понимая, что ее время еще не пришло. После этого он час или два видел перед собою ветки деревьев, хилую осеннюю траву, наслаждался запахом сырого леса, а потом все вновь тонULO в тусклом мареве. Даже само физическое существование тяготило его.

В борьбе с этой пустотой ему не помогли ни греки с их усыпляющими идеологиями, ни общение с Эмилией и детьми, ни его собственные думы. А последние и вовсе были самым страшным испытанием, так как любые размышления уводили его в потусторонний мир и смыкались с враждебной пустотой. Да и о чем он мог думать, будучи вырванным из жизни, как ни о смерти? Вот он смотрит на пучки мелкой, но ярко-зеленой травы, отчаянно пробивающейся сквозь настил прелой, почившей в осеннем ненастье растительности. Он радуется такой неистовой борьбе за жизнь, бесстрашию пред грядущей зимой, но тут же уподобляет эту рахитичную зелень поколению людей, рожденному в осень цивилизации. Весенняя трава росла в тучной почве, набравшей силу за зиму, тянулась к солнцу, цвела под синим небом, внимала музыке хоровода пчел, а осенняя – терпит только холод, всегда видит над собою лишь серые хмурые тучи, слышит унылый крик улетающих птиц и, несмотря на судорожные усилия и волю к жизни, обречена на тусклое умирание, ей не суждено цвести только потому, что она явилась на свет в дурное время. В таком же положении оказываются и целые пласты человечества. Благо, он, Сципион, еще захватил красное лето своего народа, но



зато его сыновья и дочери отличаются от осенней травы лишь способностью осознавать трагедию собственной жизни. Аналогичные мысли сопровождали каждый взгляд Сципиона. Какие бы проявления жизни он ни видел перед собою, разум тут же рисовал ему их закат. «Все, что родилось, должно умереть. То, чему есть начало, имеет и конец», — говорили греки, и в согласии с этими изречениями все мысли и душевные переживания Сципиона неизбежно скатывались в бездонную яму вселенского предела, туда, где наступит конец всему сущему.

Однажды, погрязнув в тяжких думах, Сципион не заметил, как почернели тучи у него над головой, и холодный, почти что зимний дождь застал его далеко от дома. Промокнув, он тяжело заболел. В эти дни прожорливая пустота обступила его со всех сторон, как стая волков — выбившегося из сил лося. Но тут возвратилась из Рима Эмилия и развернула бурную деятельность вокруг больного. В дом нагрянул целый легион врачей и знахарей всех школ и направлений. В этой хищной своре попадались столь ученые и высокооплачиваемые мужи, что, казалось, Сципион должен был бы скончаться от одного их вида. Но среди этих словомудрых и дорогостоящих корифеев науки, обслуживающей смерть, нашелся один юнец, видимо, еще не постигший всех тонкостей врачебного жанра, который, в силу своей неспособности к словоблудию и надуванию щек, занимался другим делом, и по наивности вылечил больного. Правда, медицинская справедливость частично восторжествовала, и гонорар сумели получить другие, более опытные врачи.

Но как бы там ни было, Сципион начал вставать с ложа и совершать несколько неуверенных шагов по комнате. Эмилия тут же воспользовалась этим и принялась выкладывать ему столичные новости, чем снова уложила его в постель.

Сначала Сципион наотрез отказался слушать что-либо об отвергнутых им согражданах, но известия были слишком необычны, и в конце концов он предоставил жене слово, однако ограничил ее клятвой не называть конкретных имен.

После расправы над Сципионами новые силы Рима властно заявили о себе не только в политике, они принялись активно внедрять в жизнь сурового аскетического города свои идеалы и нормы поведения. Когда Слава оказалась повергнутой, трон общественного престижа заняло богатство, а, поскольку античное производство было экстенсивным и не могло вместить сумасшедших средств, захваченных римлянами нового толка в побежденных странах, оно реализовывало себя главным образом в роскоши. Оно, богатство, это бесполое существо, завистливое и жестокое, как евнух, всячески издевалось над своими жертвами, беспощадно истязало их пищеварительные, мочевыделительные и прочие ор-



ганы. В это время повара из самых дешевых рабов сделались самыми дорогими, поднялись в цене и проститутки, с неизбежностью вытесняющие в таком обществе женщин, а спасительное рвотное средство теперь стоило больше всяких лакомств. Чревоугодие и разврат были возведены в ранг искусства, а искусство – низведено до положения раба, обслуживающего пороки. Правда, существовали богачи и типа Катона. Этот вождь олигархии преклонялся перед богатством, но чурался роскоши. Он выплавлял медь из крови и пота рабов, наживался на торговых операциях через подставных лиц, хотя заниматься торговлей сенаторам было запрещено как моральными, так и юридическими законами, но ел грубый хлеб, пил кислое дешевое вино и дорогостоящим гетерам предпочитал бесплатных домашних рабынь. Он был подобен работающему земледельцу, который старательно вспахивает и засекает ниву, заботливо ухаживает за ростками, а потом с негодованием выбрасывает весь урожай. Так причудливо в этой натуре перепелось азиатское с римским, вождение к богатству с исконной итальянской простотой. Однако не такие нравственные полуфабрикаты определяли лицо нынешнего высшего общества. Своими поучительными, правильными речами лишь напускали пары эмоционального тумана староримских нравов над разнузданной вакханалией, потопившей город в пороке.

Причем Рим в тот год в буквальном смысле слова оказался во власти вакханалии, ставшей следствием обвального крушения человеческих ценностей, той самой вакханалии, каковая сделала этот специфический термин нарицательным для обозначения всех грязных оргий.

Священнодействия в честь Вакха проводились давно. Обряд чествования бога вина в основе своей был позаимствован из аналогичного греческого праздника во славу Диониса. В этом ритуале разыгрывались экстатические мистерии, изображающие великое пиршество, и участвовали в нем только женщины, таким образом избавляющиеся от излишка энергии, оставшейся после ложа и домашних забот, каковую они не могли подобно мужчинам применить в государственной деятельности. Когда же опустошенные с утратой нравственности люди стали искать способы как-то заполнить эту звенящую пустоту, их внимание среди прочего привлекли и вакханалии. На ночные сборища стали тайком проникать мужчины. Изогранные театрализованные представления быстро выродились в обыкновенный разврат, и в этот омут втягивалось все большее число граждан. Однако похоть мелка, она ползает по поверхности чувств и не способна заменить любовь, потому быстро приедается. Тогда недостижимое качество эмоций пытаются компенсировать количеством связей, но много – не значит хорошо, и скоро все партнеры становятся на одно лицо. Следующий шаг на этом пути – по-



иск новых форм разврата, что с неизбежностью приводит к извращениям и деградации уже не только духовной, но и физической. Вакханалии превратились в дикие оргии, где забывшие и Вакха, и тем более прочих богов мужчины, юноши и женщины, сотнями сплетаясь в немыслимых сочетаниях, клубились, как черви в навозе. После такого чествования бога они уже не были ни мужчинами, ни юношами, ни женщинами, а становились аморфной биомассой порока, из которой алчность лепит свои преступления. Этот контингент затем задействовался всяческими дельцами для разнообразных махинаций, как то: лжесвидетельства, подделка печатей и завещаний, заказные убийства и так далее, хотя куда уж далее... Так богатство сначала развращает и уродует людей, а затем использует их порочность в собственных целях.

Оргии превратились в заговор против всего человеческого. В них были вовлечены уже тысячи людей, в том числе, многие юноши знатных родов, хотя тон, конечно же, задавали толстощекие отпрыски головокружительно разбогатевших вольноотпущенников, которые бросались в крайности, не зная, как применить свой резко вздувшийся престиж.

Социальное зло превратилось в государственное, и власть уже не могла закрывать на него глаза. На борьбу с вакханалиями, словно на большую войну, были брошены сразу оба консула. Начались расследования, суды, массовые казни. Такими мерами, мобилизовав все силы, государство одолело порок. Затопивший город гной разврата был смыт кровью. Однако даже столь могучее государство, как Рим, в конечном итоге обречено на поражение, если, борясь с внешними проявлениями зла, оно будет потворствовать произрастанию его корней. Дерево зла необходимо выкорчевывать, а не стричь.

Именно так и сказала Эмилия в завершение своего рассказа о вакханалиях: «Дерево зла необходимо выкорчевывать, а не стричь». Правда, при этом она имела в виду опять-таки не само зло, которое умело прячется от людских глаз под всевозможными личинами, а лишь его носителей, то есть, по ее мнению, политических врагов Сципиона. В связи с этим она стала намекать, что видные сенаторы сожалеют об отсутствии в городе Сципиона Африканского, а в их разговорах сквозит мысль о целесообразности именно сейчас, когда народ напуган чудовищным разгулом пороков и воспринимает вакханалии как проявление гнева богов, наставших порчу на граждан, им, нобилиям, перейти в наступление и очистить Республику от олигархов. Но, увы, ей не удалось ни увлечь мужа экзотическим рассказом, ни заинтересовать перспективами возвращения на родину.

Сципион выслушал Эмилию спокойно, лишь иногда поскрипывал зубами, словно от приступа боли. В этой истории, которая так поразила



римлян, для него не было ничего нового. Нынешние бесчинства людей он видел еще тогда, год назад, в перекошенных бешенством лицах обывателей, требовавших избавить их от негласной цензуры его авторитета и предоставить им свободу, тогда же он узрел и многие другие беды, предстоящие Отечеству, о которых пока еще не догадывался даже Дельфийский оракул. Для Сципиона более не существовало тайн в будущем Родины, он уже знал, каков будет ее конец так же, как любой римлянин знал, что если выехать из города по Фламиниевой дороге, то рано или поздно, несмотря ни на какие задержки и приключения, обязательно прибудешь в Арреций, и в этом знании заключалась его трагедия.

Эмилия была крайне разочарована апатией мужа. Ей казалось, что уж такие события, какие потрясли весь Рим, должны были пробудить его от литературной спячки. Увидев, что этого не произошло, она окончательно прониклась к нему презрением и почувствовала необходимость вернуться в столицу, где не все люди были столь вялы, как ее почивший в своей обиде муж. Но Сципион еще не выздоровел, под влиянием зимнего ненастья болезнь перешла в хроническую форму, и покидать его в таком состоянии было неприлично. Однако вскоре Эмилия поняла, что ни дня более не может оставаться в захолустном поместье и, разорвав узы совести, заявила Публию о принятом ею решении уехать. Это известие очень огорчило его, и он совсем поник. Когда Эмилия с жаром и праведным негодованием рассказывала ему о столичных пороках, он, не зная истинных причин такой экспрессивности, усмотрел в ней союзницу по неприятию современных нравов, и вновь, уж в который раз, воспринял ее как родственную душу. Возможно, так произошло потому, что это была вообще единственная душа возле него, поскольку сын Публий выглядел удрученным всем происходящим ничуть не меньше отца, и над его головою Сципион видел раскрытый зев той самой черной пустоты, которая сводом могильного склепа смыкалась и над ним самим. Как бы то ни было, ослабленный болезнью Сципион ощущал необходимость присутствия жены, тем более, что у него не было собой надежды дожить до весны.

Несколько дней Эмилия, хмуясь и злословя, потакала капризу больного, затем все же собралась в дорогу, но успокоила мужа заверением вернуться в ближайшее время. «По делам!» – бросила она на прощанье, и вскоре, выполнив «дела», приободрившаяся, повеселевшая действительно прибыла обратно.

Сумрачные, безрадостные дни поползли дальше своей скорбной дорогой из жизни в смерть. Состояние Сципиона не улучшалось. Болезнь, накинув на него петлю, словно задумалась, что ей делать дальше, но он не мог воспользоваться этим промедлением, чтобы освободиться от ее



пут, потому как ему нечем было зацепиться за жизнь. Большую часть суток он проводил в тяжелой дреме и грезил о былых временах.

Однажды эти видения внезапно прервались чувством некой тревоги. Ему почудилось, будто на него кто-то пристально смотрит. Он предпринял усилие, чтобы очнуться от вязкой дремоты, но в этот момент сон предстал в новом качестве, и он, зачарованный, остался в прежнем состоянии.

Публий увидел Виолу. Она юная и прекрасная, такая же, как была в Новом Карфагене, сидела возле ложа и теплым взглядом глядела на него. Он ощутил непривычное блаженство, а постель показалась облаком, несущим его куда-то в райский мир. Но тут же он испугался, что восхитительный образ вот-вот исчезнет, ведь ему даже во сне никогда не удавалось настичь эту женщину, неизменно ускользавшую, как и наяву. Поэтому Публий захотел взять ее за руку и удержать силой, однако ему подумалось, что рука ее холодна, ведь, как он чувствовал, она уже несколько лет была покойницей. Страх убедиться, что перед ним всего лишь труп, в первый миг удержал его, но затем соблазн превысил все преграды, и Публий осторожно тронул ее кисть, которая оказалась такой же теплой, как и ее взгляд. Это его несказанно обрадовало, он мягко сжал ее пальцы и, поднеся их к губам, поцеловал. Она улыбнулась, он тоже заулыбался в ответ, и так они некоторое время вели молчаливый, но весьма насыщенный диалог. Вдруг его счастливое умиротворение нарушилось неприятным подозрением в обмане со стороны прелестного призрака. «Почему у нее светло-карие глаза, ведь они должны быть светло-голубыми?» – спросил он себя. – Я точно помню ее глаза: они голубые, как вода в лагуне у стен Испанского Карфагена».

Он попытался привлечь ее к себе, чтобы обнять и заодно получше рассмотреть смутившие его глаза, но она изменилась в лице и отстранилась. Тогда Публий все понял и, приподнявшись на постели, спросил:

– Ты кто?

– Новая служанка госпожи. Она приставила меня ухаживать за тобой, – ответила сидящая перед Сципионом девушка голосом, отличающимся от того, который был у Виолы, но каким-то непостижимым образом напоминающим его по ритмике и интонациям.

– Я думал, что вижу тебя во сне, – объяснил Сципион, едва снова не впавший в забытие при звуках ее голоса.

– А это был хороший сон? – с кокетливой усмешкой живо поинтересовалась она.

– Да, чудесный. Я чувствовал себя таким же молодым и красивым, как ты...

– О, я не хотела бы, чтобы ты, господин, был теперь молодым!

– Почему?



– Молодой ты был сильным и недоступным, и я ничем не могла бы тебе пригодиться, молодой ты бы не нуждался в моих заботах.

– А ты видела меня молодым?

– Я видела твои изображения в Риме и потом... – она несколько смутилась и покраснела. – Я присутствовала на твоём триумфе, когда ты вел пленного Ганнибала.

– Я не вел Ганнибала, Пуниец сбежал от меня.

– Ну, значит, Сифакса или кого-то ещё. Мне нет дела до побежденных, я запомнила только победителя. В то время мне было семь лет, но поверь, господин, и в семь лет женщина уже имеет сердце... Я запомнила то зрелище на всю жизнь: твоя поза на колеснице, вознесенный скипетр, венок Юпитера, твоё вдохновенное лицо в обрамлении пышных локонов!

– Но у меня и сейчас волосы все ещё вьются, – усмехнулся Сципион.

– Да, только это уже не локоны, – довольно жестоко остудила она его вызывавший темперамент.

– А как ты оказалась в Большом цирке?

– Я сопровождала своих господ.

– Так ты и родилась рабыней?

– Нет, в четырехлетнем возрасте меня привезли сюда...

– Из Испании! – почти вскричал Сципион, перебив её.

– Нет, из Афин, – с некоторым удивлением поправила она его.

– Не может быть... – посмотрев в пол, упрямо заявил Публий.

– Почему, не может?

– Это я о другом, – объяснил он. – Скажи, кто твои родители.

– Я хорошо помню только маму. Она была очень красива...

– У неё светло-голубые глаза? – снова не сдержался Сципион.

– Кажется, да.

– Откуда она родом?

– Я не знаю. Мы жили в многоэтажном доме у подножия акрополя. А потом началась война. Нас изгнали, в пути мы попали к каким-то разбойникам, отца убили, когда он пытался защитить нас, а меня с матерью в цепях доставили на Делос. Там нас разлучили: её продали в Африку, а меня к вам, в Рим.

– Так кто же ты по крови: гречанка, а может быть, иберийка?

– Ну, уж только не иберийка! – презрительно отвергла она его последнюю надежду. Я знаю латинский язык и греческий, а по крови?... Какая разница, ведь я рабыня?

Последнее слово охладило пыл Сципиона, и он устыдился своего интереса к этому презренному существу.

– Однако, судя по разговору, да и по манерам, у тебя неплохое воспитание, – снисходительно похвалил он её.



– Со мною много занимались. Одна время я даже ходила в школу вместе с детьми свободных.

– И чья же ты была? Впрочем, не надо, не говори.

В этот момент в комнату вошла Эмилия и, окинув взглядом представшую ей картину, быстрым взглядом, как клещами, сцапала мужа за руку, в которой он по забывчивости все еще держал кончики пальцев рабыни. Публий поспешно отбросил руку служанки, сам не понимая, почему вдруг так смутился.

Эмилия при этом победоносно улыbnулась.

– Ну, я вижу, ты, Публий, на верном пути к выздоровлению, – язвительно щурясь, сказала она.

– Да, мне лучше... И я довольно долго разговаривал с твоей служанкой.

– Тебе, как я заметила, было не просто лучше, а даже очень хорошо... Береника – отличная сиделка, она умеет выходить и поднять с постели любого больного мужчину.

«Ах, вот как, ее зовут Береника! – мысленно отметил Публий, которого это имя почему-то укололо в сердце. – Прямо-таки – миф, сплошная сказка...»

– Я рада, что тебе приглянулась моя рабыня, – продолжала Эмилия.

– Да, очень скромная и добросовестная девушка, – подтвердил Сципион.

– Ах, ты даже шутишь? Поздравляю тебя, это верный признак выздоровления. А правда, она вдобавок к скромности и добросовестности еще и симпатичная?

– Да, симпатичная.

– А у меня есть и еще более симпатичные. Я внимаю твоим мудрым речам, Публий Африканский, ничуть не менее добросовестно, чем скромная Береника. Видишь, стоило тебе только сказать, что истинно прекрасное заключено в живых людях, а не в предметах, какими бы блестящими те ни были, и я тут же отказалась, ну, почти отказалась от своих драгоценностей и украсилась этими, живыми самоцветами. Оцени-ка их.

– Девушки! – крикнула она за порог, – зайдите сюда, я покажу вас господину.

В следующий момент перед взором Сципиона возникли уже три грации вместо одной, опять-таки, как в мифе. Все они были замечательно красивы, и все – удивительно различны, даже противоположны друг другу, как воздух, огонь и вода. Первая... Несмотря на заявление Эмилии, первой была Береника, она казалась столь же чистой, прозрачной и необходимой для жизни, как воздух. Огонь олицетворяла рыжекудрая дива, насквозь пронизанная пьянящим эротизмом, у нее были блудливые, лу-



каво косящие глаза, блудливые дугообразные брови и блудливая улыбка или скорее ухмылка, она вся играла и искрилась, как шампанское, которого, впрочем, римляне не знали, однако они знали таких девиц. Даже, потупив взор, рыжая бестия излучала бесстыдство, то своеобразное стыдливое бесстыдство, которое является острой приправой для страсти. Но это излишне темпераментное существо не только не заинтересовало Сципиона, а, напротив, вызвало его неприязнь. Чтобы увлечься подобным типом красоты, ему следовало быть или на тридцать лет моложе, или на десять лет старше – либо располагать юношеской пылкостью, способной окрасить в романтические цвета даже столь прямолинейную женственность, либо нажить старческую немощ, когда одряхлевшее тело можно оживить только очень резким возбуждающим средством. Третья – была водой в ее величавом образе широкой полноводной реки. Она являла собою гармонию соразмерной во всех деталях красоты, лишь ее гордость от сознания собственного совершенства была безмерной и словно покрывала все ее достоинства слоем стекла. Такой красотой Сципион насытился еще в молодости благодаря своей жене, потому его взгляд без задержки проскользил по этим остекленевшим формам и снова, как вначале, погрузился в воздушное обаяние Береники.

– Ну что, хороши? – цинично-насмешливым тоном, в котором скрывалась неистребимая женская зависть к молодости, поинтересовалась Эмилия.

– Да, безусловно, – подтвердил Сципион. – Это самый блистательный парад из всех, какие мне доводилось принимать за мою бурную жизнь полководца. Однако, с кем собирается сражаться это неотразимое воинство?

– С моими соперницами в Риме, – с вызовом заявила матрона. – Я всегда была первой красавицей и, появляясь на улице, приковывала к себе все взгляды. А теперь презренная римская толпа смеет не замечать меня. Так пусть же все они, и занюханые простолюдины, и холеные развратные сынки нобилей, до рези в глазах таращатся на моих рабынь: восторгаясь ими, они все равно будут произносить мое имя! Хорошо я придумала?

– Превосходно. Может быть, и мне поступить так же: набрать себе крутоплечих атлетов, всевозможных писаных красавцев и, вызвав этим рабским окружением удивление плебса, заявить претензию на консульство?

– Не язви. У вас своя гордость, у нас своя. Лучше в полной мере оцени мой вкус и посмотри на этих красоток в их боевом снаряжении, то есть – голых. Сейчас я велю им раздеться...

При этих словах огненная фемина задрожала от наслаждения и уже потянула одну сторону туники вверх, обнажая столь же бесстыжее, как и ее



глаза, бедро. Гордая водянистая леди многообещающе взялась за пояс и сделала еще более осанистой в предвкушении своего триумфа. А Береника затрепетала, как легкий ветерок в шторах, и испуганно съежилась.

Заметив реакцию последней из рабынь, Эмилия пренебрежительно воскликнула:

– А ты, милашка, почему засмушалась? Кого ты собираешься обмануть? Я же видела, как на пиру ты плясала голышом перед толпою самых похабных зрителей! Она, Публий, замечательная танцовщица.

– В той толпе не было ни одного настоящего человека, там мне некого было стыдиться, – неожиданно смело ответила Береника.

– А здесь ты кого же стесняешься? Неужели ты полагаешь, будто мой муж увидит в тебе женщину? Глупышка, там, на пиру, ты говоришь, для тебя не было людей, но здесь ты сама – нечеловек! Итог же один: рабыне не пристало иметь стыд. Раздевайся!

– Но, Эмилия, то, что красит женщину, украсит и рабыню, – вступился Публий. – Посмотри, сколь прелестной ее сделало чувство собственного достоинства.

– А я не хочу, чтобы она была прелестна таким образом. Рабыня должна иметь иные качества. Вот сейчас я прикажу всем им принять такие позы, чтобы ты смог заглянуть к ним в самую суть.

– Суть человека можно увидеть в глазах, а еще лучше – в делах, – возразил Публий.

– Так, это – суть человека, а суть женщины прячется совсем в другом месте!

– Эмилия, я же сказал: суть более всего видна в поступках. Демонстрируя их тела, ты этим поступком выдаешь себя.

– А ты уж и не хочешь взглянуть на меня?

– Я устал, Эмилия, – сказал Сципион и отвернулся к стене.

– Ну, что же, девушки, пощеголяете своими прелестями в другой раз, когда он по-настоящему выздоровеет, – тоном полководца, увидевшего преждевременное отступление противника, распорядилась Эмилия. – А пока пойдите прочь, но имейте в виду: вы должны понравиться господину и впредь радовать его взор так же, как и мой, иначе я отправлю вас работать в поле.

– Тебе же, Публий, давно бы надо знать, что суть женщины – в ее сердце, – насмешливо добавила она и вышла из комнаты вслед за служанками.

В дальнейшем Публий, просыпаясь, обязательно обнаруживал около себя одну из «трех граций», каковые совсем оттеснили от него деревенских рабов. Все они стремились ему всячески услужить, точно и споровисто выполняли любые поручения, «Огонь» и «Вода» при этом еще и



отчаянно кокетничали. Видимо, они слишком по-женски поняли наказ госпожи понравиться хозяину и потому при всяком удобном и неудобном случае строили ему глазки: одна – бесстыже-навязчиво, а другая – величаво-навязчиво. Жрица Нептуна гордилась зыбко-податливой талией и длинными ногами, из-за чего красовалась в прозрачных туниках, а огненновласая поклонница Вулкана считала своим главным достоинством пересеченный рельеф и с филигранной ловкостью чуть ли не при каждом движении обнажала тыловые позиции, настойчиво давая знать, сколь они доступны мужской атаке. Однако Публий слишком много воевал, чтобы позволить себе быть сраженным таким оружием, и чем более они старались, тем смешнее и глупее выглядели в его глазах. Впрочем, они были всего лишь рабынями, и он не придавал значения их кривляньям.

Но не так дело обстояло с первой грацией. Последние годы Публий жил в душевной общественной атмосфере и потому испытывал настоятельную потребность в чистом воздухе. Береника же, как он сразу отметил, олицетворяла именно эту природную стихию – воздух. Теперь он уже рассмотрел ее и убедился, что она не столь уж точно похожа на Виолу в чертах лица и фигуры, но при всем том, эта девушка неизменно ассоциировалась в его представлении с объектом юношеской любви. Он смотрел в светло-карие глаза Береники, и узнавал светло-голубые глаза Виолы, ловил мимолетную ускользающую улыбку Береники, и тут же на образе этой улыбки дорисовывалось лицо Виолы, фиксировал в восприятии характерный жест рабыни, и моментально видел его в исполнении иберийской царицы. Они обе, казалось, представляли собою два лица, два среза, две проекции одного существа более высокого уровня организации, нежели человек, являли две стороны одной и той же космической души. Ему невольно думалось, что если он принесет радость одной из них, то ее же почувствует и вторая, если будет ласкать одну, то доставит наслаждение и другой, что любя эту, будет любить ту... К этому одновременно трагическому и притягательному чувству, соединившему его богатое эмоциями прошлое со скудным настоящим, добавлялась своя особая симпатия к прелестному созданию, в первую же встречу вызвавшему у него ощущение света и чистоты. Девушка, видимо, тоже была равнодушна к знаменитому человеку, который поразила ее воображение еще в детстве, потому, помимо воли обоих, каждая новая встреча сближала их души.

Все это происходило столь естественно, что Публий заметил свое увлечение лишь тогда, когда Эмилия в предвестии весны снова пожелаала навестить римских подруг. В первый миг, узнав о намерении жены, он не только не огорчился, но даже обрадовался, однако тут же сообразил, что она возьмет служанок с собою, и испытал сильнейшую досаду.



Причем эта досада была двойственной: сначала ее вызвала необходимость расстаться с Береникой, а затем – осознание причины первоначальной досады. Он так поразился только что сделанному открытию, что совсем не заметил, как экспрессивно сверлит его взглядом Эмилия, которая даже прищурилась от напряжения.

– Твое состояние улучшилось, и я думаю, что ты вполне сможешь обойтись без меня, – с каким-то вызовом, нервно говорила она. – Впрочем, я оставлю тебе для всевозможных услуг одну из своих любимых рабынь... Какую ты предпочтешь?

Сципиона застал врасплох этот вопрос, и он, злясь на самого себя, грубовато ответил:

– Какая мне разница? Поступай по собственному усмотрению.

– Я оставлю тебе прекрасную Глорию... – с садистским наслаждением нараспев произнесла Эмилия. – Правда, она слишком любит прозрачные ткани, но, я думаю, ты последишь за ее нравственностью и не позволишь ей развращать твоих рабов... Зато она похожа на меня, и тебе, конечно же, будет приятно видеть возродившуюся в ней красоту собственной жены.

– Разве может чья-то красота возродиться в ком-то другом?! – испуганно воскликнул Сципион, задетый за живое.

– А разве нет? – зло переспросила она.

Публий приподнялся на ложе и пристально посмотрел в глаза жены, пытаясь угадать, какими подозрениями вызвано ее недовольство.

«Может быть, я проговорился во сне о Виоле», – подумал он и, немного помолчав, вслух сказал:

– Мы слишком много говорим о мелочах.

– Действительно, пора не говорить, а действовать. Вот я и действую: уезжаю в Рим! – заявила Эмилия таким тоном, словно извещала: «Вот я и бросаюсь с моста в Тибр».

У Публия осталось тяжелое чувство от разговора с Эмилией. Он попытался проанализировать поведение жены и выявить причины ее раздражительности, однако через некоторое время уже думал о Беренике и только о ней. Лишь теперь, перед разлукой, он понял, сколь глубоко она вошла в его жизнь и мало-помалу в самом деле стала необходимой как воздух. Угроза расстаться с нею казалась ему новой болезнью, тогда как непрерывная череда недугов и так уж затерзала его.

Вдобавок ко всем неприятностям к нему явилась пресловутая «прекрасная Глория».

– Госпожа сказала мне, что я на всю весну остаюсь здесь прислуживать тебе, господин, – сообщила долговязая красавица с радостью спартанской бегуни, выигравшей состязание.



– Я вне себя от счастья, – в тон ей ответил Сципион.

– Правда? Я тоже! – подхватила она, и лицо ее засветилось гордостью за свой успех точно так же, как тело светилось бесстыдством наготы под мелитскими кружевами.

Окинув взором спутницу предстоящих месяцев, он оценивающе пробежал взглядом по ее изысканно-элегантным формам, чуть-чуть задержался на энергичных линиях четко очерченного зада, на насыщенных жизненной силой бедрах, крепких икрах и небрежно подумал: «А не впасть ли мне с горя в разврат?» – как другой подумал бы: «А не напиться ли мне с горя?» Но тут же он вспомнил о Беренике и с негодованием отверг чудовищную мысль даже как шутку. Тем не менее, взгляд его по инерции все еще шарил под туникой фигуристой рабыни. Невольно сравнивая обозреваемый ландшафт с прелестями Береники, он вдруг поразился различию в своем восприятии этих женщин: здесь он оценивал отдельные формы, более или менее удачно отлитые в мастерской природы, а когда смотрел на плечи, грудь или ноги Береники, то совсем не видел ни плеч, ни груди, ни ног, он видел Ее, она не делилась на части и представляла взору в едином образе Любимой, одинаково совершенной во всех своих проявлениях.

Тем временем безукоризненная Глория, перехватив проникающий взгляд Сципиона, истолковала его на свой манер и, приняв томный облик, с чувственным надрывом воскликнула:

– О господин! Скажи, чем я могу угодить тебе!

– Только не тем, чем угождала всем другим господам, – насмешливо ответил Сципион.

Уже готовая пасть на ложе Глория сразу приосанилась, величаво поправила складки ничего не скрывающей материи и, гордо воздев лик, с недоумением посмотрела на Публия.

– Лучше пойдی помоги собраться в дорогу госпоже, а то она еще полагает, что ты тут уже угождаешь...

Безукоризненно-холодное лицо осенила тень прозрения.

– Я все поняла, – многозначительно сказала она, – час еще не пробил...

С этими устрашающими словами «Вода» отхлынула прочь, и едва не захлебнувшийся Сципион ощутил потребность полной грудью вдохнуть воздух.

Через два дня шумный караван увез Эмилию к столичным радостям, а Сципион загрустил, думая обо всех несчастьях сразу: о неблагодарности сограждан, упадке нравов, болезни сына, об уехавшей, возможно, навсегда Беренике, с которой он даже не попрощался.

Размышляя над столь неожиданным чувством к рабыне, он усмотрел суть феномена в том, что эта девушка, благодаря сходству с Виолой,



вскрыла в нем залежи созревшей в юности, но так и не реализовавшейся в свое время страсти. Таким образом, Сципиона постигла расплата за долги молодости. Однако это была только одна из причин, а истоки другой заключались в его угнетенном как в моральном, так и в физическом плане состоянии. Жизнь уходила от него, и он невольно судорожно хватался за все ее проявления. А что может быть более ярким проявлением жизни, чем красота? На пороге преждевременной смерти он инстинктивно прибег к наркотическому действию человеческой амброзии и в отчаянии пригубил кубок любви. Оставалось лишь удивляться, что судьба щедро подарила ему такой уникальный случай. Впрочем, судьба, похоже, все-таки оставалась верной самой себе: случай она предоставила, но тут же его и отобрала.

«Возможно, все это справедливо, – думал Сципион, – долги нужно отдавать вовремя. Не пристало Старости занимать у Юности, а Юности – полагаться на Старость».

Получив такой удручающий итог размышлений, Публий отвел взгляд от потолка, который теснил его душу и напоминал о склепе, повернулся лицом к двери и вдруг увидел Беренику.

«Опять мне Виола мерещится», – устало проворчал он.

– Можно войти, господин? – прозвучал голос, сразу ожививший его.

– Да, конечно, почти испуганно откликнулся он и, предприняв усилие, сел на ложе. – Только не надо называть меня господином. Я разбитый немощью старик, а ты полная сил прелестная девушка... Я даже передвигаться не могу без твоей помощи. Так какой же я тебе господин? Скорее ты – моя госпожа.

– Ты господин... моего сердца.

– С чего бы это? – недоверчиво и даже настороженно удивился он. – Такое положение неестественно.

– Женщины, Публий, бывают всякие, как и мужчины. Обычные – ищут себе и обычное поприще. Им нужны молодые, здоровые и богатые мужчины, под которыми они могли бы удобно устроиться и провести свой век с наименьшими трудами и заботами. Но есть женщины, стремящиеся не пристраиваться к чужой жизни, а создавать жизнь собственными силами и талантами. Таким мало сиять бледным отраженным светом, они хотят быть светилом.

– Ну и речь! Ай да рабыня! – восхитился Публий.

– Когда я вижу, – воодушевлено продолжала она, – как чахнет, сходит на нет великий человек, еще полный внутреннего огня, у меня появляется желание вступить за него, сразиться со смертью, померяться с нею силами, доказать, что моя любовь сильнее ее ядовитого зелья! Почему я не могу притязать на победу в такой битве, ведь согласись,



моя красота острее зазубренной косы старухи-смерти? И разве моя цель – не более достойное поприще для красоты, чем обеспечивать уют урчащего брюха, лежащего на денежном мешке, или снимать напряженье с мускулистого тела самодовольного глупого юнца? Да, Публий, я такая. Меня, как и тебя, влекут большие сраженья, меня влекут большие люди и великие чувства! Несколько дней назад, когда твоя жена сказала, что увезет меня в Рим, я так страдала, что заболела. Я совсем не могла ходить, это и побудило Эмилию изменить решение и оставить меня здесь вместо холодной Глории.

Сципион глядел на нее во все глаза. Воздух вдруг воспламенился! Он даже не заметил, что своего господина она стала называть Публием, а госпожу – Эмилией, столь естественно это теперь звучало в ее устах.

– Ну, так что, Публий, способна я победить твою смерть? – лучисто улыбаясь, спросила она. – Я видела, как тут тебя старались соблазнить те две дурехи, демонстрируя румяные тела. Позволь же и мне предпринять попытку соблазнить тебя. Ты знаешь, что я танцовщица. Да, мне через многое пришлось пройти в моей рабской жизни. Но пусть же искусство танцовщицы хоть однажды принесет мне не униженье, а радость, и пробудит в мужчине не похоть, а любовь!

Она сделала паузу, запыхавшись от бойкой речи и собственной смелости, а потом тоном царицы, предлагающей полцарства, произнесла:

– Позволь мне подарить тебе танец... – и еще помедлив, уже голосом богини, сулящей небеса, добавила:

– И в нем – себя.

Публий молчал, застигнутый врасплох. При упоминании о танце он вспомнил пиршество в Новом Карфагене и вдохновенную пляску Виолы. Береника воскресила многие из его тогдашних переживаний и чувств, что если она позволит ему вновь прожить и самый яркий час его жизни?

– Только не здесь, – вновь заговорила она, не давая ему опомниться, – мне нужен простор: я ношусь по сцене, как вихрь. Пойдем за лес на большую поляну.

– Ты думаешь, я туда дойду? – наконец отозвался он.

– Со мною дойдешь.

Они возвратились только под вечер. Засыпая в ту ночь, Публий видел перед собою огромный огненный шар. Именно так, в образе раскаленного шара, в котором переплавились в единую плазму страсти смех, радость, наслажденье, красота и счастье, запомнился ему этот день. Береника действительно танцевала не хуже Виолы, а он, Сципион, уже не тревожимый судьбою войны с Ганнибалом, не допустил к ней никакого Аллущия, и сам отблагодарил ее за танец так, как она того заслуживала.



Утром в Литерн пришла весна, которая словно ждала, когда влюбленные проложат ей дорогу к земным радостям. Яркое солнце и высокое небо будто раздвинули пределы жизни, и все беды показались Сципиону не столь уж большими на фоне этого простора. В голубых небесах еще бледнела зимняя немощ, но с каждым днем синева сгущалась и становилась ярче. Остатки зимы растворялись в оживающей природе. Скоро на деревьях появилась зеленая дымка. Публий никогда прежде с таким интересом не наблюдал за тем, как раскрываются почки и развертываются народившиеся листья. Сейчас эти листочки были детьми, и подобно всем детям излучали радость и свежесть новой жизни, новой надежды. Пробудив растительность, весна тронула своим волшебным жезлом насекомых и птиц, которые сразу засуетились, включившись в грандиозный хоровод природы. К Публию весна явилась в облике Береники, и его тоже увлекла в общий круговорот.

Восхищаясь весенним праздником жизни, Сципион совсем забыл, что ровно год назад та же картина воспрившей ото сна природы раздражала его, казалась вульгарной, пошлой комедией, циничной прихотью богов, потешающихся над земными существами, маня их ложной надеждой, чтобы посмотреть, как они смешно прыгают, скачут и встают на задние лапки. Тогда он был выброшен обществом, выброшен жизнью, тогда он был здесь чужим, но теперь если не общество, то хотя бы природа приняла его в свое лоно, и он был счастлив, как беспризорный котенок, которого наконец-то кто-то приютил.

Поддавшись очарованию весенних пейзажей, Публий вскоре ощутил и романтику сельского труда. Подобно своим дедам и прадедам, он встал за плуг и увлеченно пахал землю, с наслаждением вдыхая запах влажной почвы и собственного здорового пота. Вокруг него при этом плясала на рытвинах пашни Береника, дразнящая его резвым смехом и трепыханьем бьющейся и коварно взлетающей на ветру юбки.

Перед лицом такого буйного весеннего помешательства Сципиона болезнь в ужасе отступила и забилась в сырые подвалы, чтобы снова напасть на него вместе с первым осенним ненастьем.

Публий увлекся разведением домашних животных. Особенно ему нравилось возиться с кроликами, несколько лет назад завезенными в Италию из Сардинии. Приглядевшись к их поведению, изучив их взаимоотношения, он обнаружил, что стадо этих зверьков во многом является моделью человеческого общества. Здесь нашлись и свои Фабии Максимы, и Петилии, и Катоны, и Ганнибалы, и Софонисбы, и Эмилии, и даже Сципион, который, между прочим, жил как бы в добровольном изгнании и не якшался с кем попало. Зато, когда этот длинноухий Сципион оказывался в гуще мохнатой черни, все начинали перед ним заис-



кивать. Они подобострастно нюхали его хвост, падали ниц, прижимали уши, стелились плашмя. Он же ни на кого не обращал внимания и исследовал рельеф, брезгливо переступая через трусливо припавшие к земле тела недостойных собратьев. Но их задевало такое пренебрежение, и они стаей следовали за ним, выражая готовность лизнуть его под хвост или каким угодно прочим способом добиться внимания великой кроличьей личности, каковая, кстати сказать, не обладала ни большими размерами, ни особой физической силой. Вся мощь этого существа, закупоренного в столь ничтожную оболочку, заключалась в характере. Демонстрация лстивой угодливости продолжалась до тех пор, пока независимый кроличий муж не терял терпение и не раздражался гневом по адресу кроличьей низости. Тут он воинственно задирает хвост и, широко раскрыв пасть, казалось бы безобидного травоядного зверька, начинал хватать длинными зубами подвертывающихся на пути подхалимов за морды и бока. Тогда все прочие сбивались в кучу и, испуганно вытаращив глаза, громко топали, выражая трусливое недовольство. «Ах, какой злодей! Какой тиран!» – звучало в этом топоте. «Мы к нему с добрыми намерениями, а он...» – словно шептали их прижатые уши. Честный крол приходил в ярость и бросался в гущу толпы. Некоторое время там раздавался отчаянный визг и летели клочья шерсти, но скоро все прекращалось. На поле боя оставался только один фыркающий победитель с пучками трофейной шерсти во рту, все же остальные разбежались по углам двора и забивались в щели. Он снова с независимым видом расхаживал по очищенной территории, а из укромных мест в его адрес периодически раздавался неодобрительный топот.

Когда этот крол только начинал утверждать свое первенство среди сограждан республики землероек, он побеждал соперников за счет упорства и разнообразной тактики. Именно так! Он изучал врагов и против каждого действовал определенным образом. Одного он брал стремительной атакой с налета, против другого маневрировал, чтобы вынудить его ошибиться и подставить незащищенный бок, третьего, труса, пренебрежительно таскал за хвост, а четвертого, тяжеловесного гиганта, к которому невозможно было подступить, просто изматывал непрерывными наскоками в течение полутора часов, после чего легко утверждал свое господство. При этом он никогда не отступал и никогда не издавал постыдного визга.

Вызывали у Публия интерес и представители самого неопрятного вида животных, каковы, однако, были неопрятны лишь при небрежном уходе за ними, то есть при неопрятности своих хозяев-людей. Он с удивлением обнаружил, что свинья – очень смышленное, чрезвычайно жизнерадостное и общительное существо. Она обладает лукавой



крестьянской смекалкой и то и дело норовит обмануть хозяина, чтобы добиться своего. Здесь у Публия было два любимца: энергичный, как Катон, но добрый, как Лелий, «Вулкан», который в азарте исследования готов был любопытным пятакom перевернуть сам земной шар, и красавец, длинный и обтекаемый, как челн, «Аполлон», оживленным хрюканьем докладывавший Сципиону обо всех находках, добытых им в навозной куче.

Наблюдая за этими новыми друзьями, Публий с обидой вспоминал изречения прежних друзей о том, что свинье жизненный дух дан якобы вместо соли лишь для того, чтобы мясо не испортилось. Ему вообще порою было стыдно перед животными за самодовольную глупость людей. Он теперь представлял, какими бестолковыми иногда кажутся им двуногие владыки. Животное никогда не совершит бессмысленный поступок, оно всегда знает, чего хочет добиться, и обязательно руководствуется доступным ему анализом обстановки. Потому человеку нужно быть весьма внимательным в обращении с подвластными ему существами, чтобы не ударить лицом в грязь и не опозорить собственный род. Например, собака прекрасно понимает человека, ориентируясь по интонациям его голоса и по общей логике происходящих событий. Более того, она имеет собственные каналы связи с душою человека и угадывает его мысли без слов.

Увлеченно занимаясь животными, Сципион забывал о существовании людей. Эти новые члены Сципионова кружка явно прогрессировали в общении с ним, и ему не было дела до деградирующих римлян. Никто здесь не просил чинов и должностей, никто не завидовал его могуществу, никто не упрекал за то, что он в отличие от них ходит на двух ногах и имеет величавую осанку, никто не обвинял его в намерении украсть кость или горсть зерна. Он любил их, а они любили его, и в этом была основа их взаимоотношений. «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных», – мог повторить Сципион вслед за греком Эзопом общую формулу для представителей всех вырождающихся социумов. Когда люди овеществляются под гнетом сугубо меркантильных ценностных установок, они невольно стремятся очеловечиться в общении с животными. Каков сарказм! Люди со страхом или презрением сторонятся других людей и учатся человечности у зверей! Какой негодяй так жестоко насмеялся над ними? Какая злобная сила довела их до такой участи? Впрочем, известно, какая, не будем ее называть, ибо она и без того излишне часто бесцеремонно и нагло вторгалась в наше повествование, уродуя его рисунок, хотя справедливости ради стоит напомнить, что в латинских текстах эта сила занимает еще большее место, чем здесь, и еще менее почетное.



Итак, день Сципион проводил либо в трудах по части флоры, либо во взаимодействии с фауной, вечер у него занимала или, может быть, наоборот, ему дарила Береника, но по ночам сознание освобождалось для прежних духовных мук, если только накопленная за день физическая усталость не погружала его в спасительный сон. Оставаясь наедине с самим собою, он смотрел в глаза той самой суровой даме, чей прямой немигающий взгляд мало кто выдерживает, и признавался себе, что радость, приносимая ему столь простою жизнью, недолговечна, что такая пища не способна насытить его ум и душу. Тяжела дорога в дремучем лесу ночью без фонаря, мучительны блуждания мысли в отсутствие света идеи. Сципион утратил цель жизни, и потерявшие ориентацию в наступившей тьме силы пожирали его самого. Однако наступало утро, приходила свежая, счастливая Береника и чистыми ласками смывала с него муки ночных сомнений, ее любящий взгляд проникал в глубь его существа и разглаживал морщины состарившейся души. Публий оживал для предстоящего дня, оживал до следующей ночи.

При ярком солнце, в окружении жизнерадостных ушастых, лохматых и парнокопытных существ, рядом с Береникой Сципион забывался сном первобытной жизни. Шумное общество новых друзей защищало его от воспоминаний. Однако никто и ничто не могло защитить Сципиона от пронзительного взгляда сына. Публий уже хотя бы в силу юношеского максимализма не мог признать право отца противостоять тоске избранным им способом. Он предлагал ему средство, единственно достойное, по его мнению, великого человека, когда обращал его взор, например, на Фурия Камилла. Но, увы, отец, который прежде был для него высшим авторитетом, на этот раз отринул путь борьбы по не совсем понятным для молодого человека причинам, и прибег к пустому времяпрепровождению, словно престарелый преторий, отчаявшийся достигнуть консулата. Вполне естественно и то, что Публий не признавал Беренику на месте своей матери. Красавица всячески старалась произвести на юношу хорошее впечатление и даже кокетничала с ним, если этого не видел старший Сципион, но все оказывалось безрезультатным. Публий в упор не замечал ее, и самым большим, чего он ее удостаивал, был презрительный плевок через плечо ей вслед. А однажды, когда она изъявила намерение помочь ему в каком-то бытовом деле, он послал эту, разодетую, как царица, и прекрасную, как богиня, женщину мыть туалет. Публий не делал замечаний отцу по поводу любовницы, соблюдая субординацию патриархального общества, но каждый раз при встрече экспрессивно буравил его осуждающим взглядом, отлично зная, что именно такое молчаливое выражение упрека наиболее болезненно для него.



Сципиону нечем было оправдаться перед сыном, и он виновато прятал глаза от горячего юношеского взора так же, как всю жизнь прятали глаза проштрафившиеся офицеры или политики при столкновении с требовательным взглядом самого Сципиона. Однако, сознавая вину перед сыном, он совсем не чувствовал долга перед женой. Они давно разошлись с Эмилией духовно. Она была ему доброй женою и другом, пока он пребывал на высоте могущества и славы, но, когда в результате трансформации нравов Олимп общественного престижа раскололся на две вершины, на одной из которых остались Достоинство и Честь, а на вторую перескочили прыткие Успех и Выгода, они с нею оказались по разные стороны образовавшейся моральной пропасти. А теперь, как он полагал, она и вовсе предала его бегством в Рим, причем предала в самый тяжкий период его жизни. Были и другие причины, не позволяющие ему раскаиваться. Им владела любовь, а не похоть, противоположность же этих чувств признавал даже Катон, говоривший по этому поводу: «Куда приходит одна из них, оттуда уходит другая». Унижает и пачкает человека похоть, но любовь очищает и возвышает, и жертвовать этим чувством ради соблюдения пустой формы супружеских обязанностей, давно лишившейся содержания, Сципион считал нелепым. Наконец, в отношениях с Береникой, которую Публий до сих пор воспринимал в единстве с образом Виолы, он как бы возвратился к юношеской страсти, в свое время украденной у него судьбою, и именно эта любовь была для него первична. Потому он скорее готов был признать, что с Эмилией много лет изменял Беренике и Виоле, чем с Береникой – Эмилии.

Итак, Сципион принял подарок судьбы. Не найдя выхода из тупика с помощью разума, он доверился чувствам, и те вывели его на лоно чистой природы, единственной жизненной среды, которую в то время еще не успели запачкать человеческие пороки. Впрочем, прелестная Береника являлась для него не только элементом природы, но и частицей общества. Она была развита не хуже многих столичных матрон, так что Сципион с удовольствием разговаривал с нею на многие темы. Правда, в отличие от Эмилии она не имела представления о философии и не читала историков, но, пожалуй, это было к лучшему, поскольку, когда женщина старается постигнуть мудрость, ее интересует не сама мудрость, а возможность блеснуть ее отражением в соответствующем мужском окружении. Интеллектуальные запросы Береники были проще, но зато естественнее и честнее. Она любила театр и отлично знала пьесы греческих драматургов благодаря тому, что некоторое время жила в Кумах, интересовалась изящными искусствами, особенно тонко чувствовала музыку, но могла точно оценить и достоинства той или иной скульпту-



ры, и мастерство живописца. Она наизусть выучила «Илиаду» и «Одиссею», но с большей охотой читала стихи Сапфо, хорошо ориентировалась в латинском эпосе и частенько дразнила Сципиона велеречивыми, громоздкими похвалами из поэмы Энния, прославляя таким образом его «подвиги» на поприще сельскохозяйственных, а порой – и интимных трудов. Вообще, Береника любила насмешничать. У нее был шустрый и цепкий ум, характерный для разбитных девиц, у которых спорится любое дело. Иногда ее смекалка даже опережала ум Сципиона, как юркая мышка опережает могучего быка, однако то, что ей удавалось сообразить в первый миг, являлось для нее также и пределом: она не умела продираться мыслью сквозь расщелины и скрытые ходы природы к сути вещей. Но, при бойком, как брызжащий фонтан, темпераменте, Береника умела быть и лиричной, потому она могла оттенить своею по-разному освещаемой красотой любое настроение мужчины.

Сципиону общаться с нею было гораздо проще и приятнее, чем с Эмилией. Более того, на склоне лет он впервые узнал, что человек может излучать волшебное счастливое сиянье, каковое нельзя объяснить ни его внешними, ни умственными, ни эмоциональными качествами. Само присутствие рядом Береники давало свет его душе, тогда как Эмилии в лучшие годы их жизни он радовался лишь чуть сильнее, чем, например, Лелию. В этом проявлялся феномен любви, ее фокусирующая способность. Так в россыпи битого стекла один из осколков, не более примечательный сам по себе, чем другие, вдруг неистово засверкает, поймав солнечный луч, и ослепит смотрящего на него.

Но их счастье не было безоблачным. Подобно тому, как над головою Сципиона сгущался мрак тягостных воспоминаний, когда он оставался в одиночестве, на лицо Береники тоже нередко падала тень, гася блеск светлой красоты. В жизни молодой женщины также были свои тучи. Публий не раз заставлял ее погруженной в задумчивость и, прежде чем она воспрянет, заметив его, успевал уловить на ее челе суровое, а подчас недоброе и даже жестокое выражение. Было видно, что она страдает и страдает давно, настолько давно, что горечь уже сгустилась в желчь. Несколько раз Публию довелось наблюдать, как надменно она ведет себя с другими рабынями, как помыкает ими, злоупотребляя положением фаворитки. Временами в ней вспыхивала извечная женская страсть к кускам ткани и ярким безделушкам, и тогда Публий, обильно посыпая серебром загоревшиеся чесоточным зудом руки подруги, отпускал ее в ПUTEОЛЫ или в КаПУЮ, естественно, в сопровождении охраны. Порадовав в городе намертво прикованных цепями алчности к своим прилавкам торговцев, она возвращалась в Литерн разряженная в пух и прах, так, что даже всегда самодовольный петух начинал стыдиться



собственного радужного оперения и прятался под крыльцо, считая себя недостаточно пестрым, чтобы стоять рядом с этим шедевром текстильного и галантерейного ремесла. Несколько дней после этого она красовалась перед униженными такою роскошью рабынями, а потом вдруг впадала в истерику и гневно срывала с себя весь этот утонченный хлам, призванный раздувать женское тщеславие.

Будучи всегда ровной и обаятельной в обращении с Публием, Береника была импульсивной и неуравновешенной в прочих случаях. Сципион знал причину этих мук, деформирующих ее характер.

– Хочешь, я попрошу Эмилию дать тебе свободу? – предложил он однажды.

– Ты не в себе? – небывало резко возмутилась прекрасная рабыня.

– Она мне не откажет в любом случае.

– Этого никак нельзя делать, – убежденно сказала Береника. – Такой поступок принесет вред и мне, и тебе.

– Мне невозможно нанести больший вред, чем уже причинили сограждане.

– Не надо, – решительно подтвердила она высказанное мнения.

– Тогда я пожалуюсь на тебя Эмили, будто ты недостаточно расторопна, и попрошу ее отделаться от ленивой служанки, а потом сам выкуплю тебя у нового хозяина.

– Не надо, – немного подумав, повторила Береника. – Теперь это уже ни к чему.

Так они и продолжали радоваться жизни вместе и тосковать из-за своих бед поодиночке.

В начале лета приехала из Рима Эмилия, дабы вкусить благодатные плоды деревни. При виде ее, у Публия впервые забрезжила мысль о том, что его отношения с Береникой, казавшиеся вполне естественными, а потому законными, все же оскорбительны для Эмили, и он несколько смутился. Но, когда жена сразу после обмена приветствиями стала пытаться его подозревающим, недобрый взглядом, чувство вины мгновенно испарилось подобно тому, как испаряется пот с тела, попавшего в струю холодного ветра.

– Ты прекрасно выглядишь, Публий, – осуждающим тоном отметила Эмилия. – А где Береника?

– Публий удивленно посмотрел по сторонам и сказал:

– Могу только сообщить, коль ты волнуешься за нее, что она жива и здорова.

– А чего ты не можешь сообщить? Что она жива, здорова и цветет точно так же, как и ты, я не сомневаюсь. Эта весна явно пошла вам на пользу...



– Да и тебе – тоже, Эмилия. Когда я тебя увидел, ты была великолепно и оставалась бы такой до сих пор, если бы твое очарование не оскудело от чахлах вопросов.

– Да, я знаю, что существуют мужья, которые более всего ценят в жене покорность, умение промолчать, когда вопросы висят прямо в воздухе, но, как ты давно мог убедиться, я не такова, – с вызовом, угрозой и еще невесть с чем произнесла Эмилия и прошла в дом.

Настроение Публия ничуть не испортилось в результате этой сцены, поскольку образ Береники засиял в нем еще ярче после столкновения с той, которую он много лет называл женою. Поэтому, заметив в свите Эмилии гордо распрямленную Глорию, напоминающую осанкой штурмовую башню, он весело обратился к ней:

– Привет, восточная царица!

У Глории даже груди покраснелись от восторга под тонкой тканью, и она шустро подбежала к нему.

– Привет, владыка всей ойкумены! – с готовностью откликнулась она чуть ли не всем телом. – А почему, Великий, ты назвал меня именно восточной царицей?

– А вот ты не спрашиваешь, почему я тебя назвал именно царицей восточной!

– Ну, тут все понятно: моя красота разорвала цепи рабства и вознесла меня на трон! – со смехом объяснила она, выверенным движением губ показывая ровные белые зубы.

– Твоя скромность, царица, столь же прозрачна, как и твоя одежда.

– Пусть одежда будет прозрачной, зато красота при этом не выглядит призрачной.

– Так вот я и назвал тебя восточной царицей потому, что в наших местах такой красоты не водится. Правда, в Азии я тоже не видывал равных тебе... разве что кожа у персиянок такая же белая... Но, по крайней мере, известно, что Азия – край изобильный, и если такие пышные цветы где-то произрастают, то уместно предположить, что именно там.

– О господин, ты еще не знаешь, насколько бела моя кожа... и шелковиста на ощупь, – таинственно пропела Глория, наполняя туманом вождельня пустые глаза.

– О прозрачная красавица, пусть в тебе останется хоть что-то, чего я еще не знаю.

Тут Публию сделалось не по себе. Он почувствовал чье-то постороннее внимание и, обернувшись, увидел Беренику. Бесшумно подкравшись, она слышала, как он развлекал комплиментами рабыню, и теперь взглядом красноречиво выражала ему свое отношение к происшедшему. Серьезность ее глаз уже сама по себе заставила Публия огор-



читься, а в следующий момент он вдобавок к этому еще сообразил, что последнюю произнесенную им фразу Береника может толковать в излишне расширенном смысле, и его настроение совсем испортилось. Но тут инициативу неожиданно захватила Глория, которая тоже весьма активно поучаствовала в битве взглядов.

— Ах, так! Все ясно! — вскрикнула она и, от возмущенья сделавшись прямее самого понятия прямизны, резко зашагала прочь, противно видящаяся задом.

Вечером Глория застигла Публия одного, поскольку он, по понятным причинам, перестал встречаться с Береникой, хотя мир между ними после утреннего инцидента был восстановлен. Пользуясь моментом, Глория откровенно попыталась овладеть прославленным полководцем. Не ограничившись сердцебойным действием своей изощренной наготы, она пошла врукопашную, но получила отпор и была сражена наповал. Сраженный воин падает, сраженная женщина встает. Неосторожная Глория вынуждена была встать во весь свой башенный рост, и предмет ее гордости — длинные ноги — в тот момент едва держали отяжелевшую от гнева фигуру.

— Ах, так! — с чувством повторила она утреннее восклицание, но теперь уже этим не ограничилась. Как истинная женщина, она, не сумев получить чувственного удовольствия, отдалась наслаждению мести:

— С нею, значит, пожалуйста, а меня не хочешь! — кричала она. — Ловко же она всех нас провела. Талант, ничего не возразишь! Как выставит себя в похотливом танце, так все мужчины ее: и цари, и рабы. Самых толстобрюхих богачей совращала! Прежний хозяин на ней здорово наживался, да и сам ласками этой бесстыдницы обделен не был, как и его похотливые сынки!

— Ты о ком? — вдруг испугался Публий, ранее настроенный скептически.

— О твоей любовнице, нечестивой Беренике!

— Молчать! — закричал Сципион. — Вон отсюда, грязная сплетница!

— Может, и грязная, под всяких приходилось ложиться по нашей рабской доле, да только не такая грязная, как твоя Береника! Я уйду, на то я и рабыня, чтобы все сносить покорно, но расспроси сам свою красотку о том, как госпожа, выкупив нас, троих самых красивых рабынь города, у трех самых богатых и развратных вольноотпущенников, дала нам задание обольстить тебя, чтобы ты, оставшись с кем-то из нас, не противился ее пребыванию в столице! Конкурс выиграла Береника! Теперь она получит от госпожи свободу и добропорядочного муженька-лавочника!

Высказав все это, Глория ловко увернулась от пущенного, как из баллисты, башмака Сципиона и скрылась за дверью.



Избавившись наконец от разъяренной девицы, но не избавившись от ее слов, Публий снова увидел перед собою повисший в серой пустоте лик восточного предсказателя, двадцать пять лет назад напроорочившего ему, что все его победы и удачи будут начинены изнутри несчастьями и в итоге обернутся поражениями. «Вот так слабо прозвучал и стих, захлебнувшись в пучине человеческой низости, последний всхлип моей жизни», – сказал себе Сципион. Стараясь скрыться от неотвязных мыслей, он попытался погрузиться в очищающую бездну сна, однако безуспешно. Для него раскрывала объятия другая бездна, но он упрямо медлил рухнуть в этот беспредельный провал, чьею добычей в конечном итоге становятся все. «Все, что явилось на свет, должно исчезнуть». «Но не теперь же, в самом деле! – мысленно восклицал Публий. – А то ведь чего могут возомнить о себе эти мокрехвостые сучки!» И тут же он возмутился самим собою:

«Боги! Какие ничтожные мотивы руководят мною! Может быть, правы стоики, перешагнувшие в себе через все человеческие? Поддался бы я тогда тщеславию их сухой гордости и фиктивной свободы, не вляпался бы теперь в эту грязь...» Чем дальше он углублялся в лес рассуждений, тем чернее были его мысли, их едкая желчь разъедала мозг, и голова уже не могла долее вмещать в себе столько яда. Морщась от ударов молота головной боли, Публий вышел во двор, но там было слишком оживленно для него даже сейчас, поздним вечером: топали чем-то озабоченные кролики, швыряли опустошенное корыто свиньи, тяжело вздыхали коровы. Его тяготила собственная жизнь, а терпеть еще и чужую было вовсе не в состоянии. В поисках покоя он шагнул в сад, потом в лес и незаметно для себя пришел на отдаленную поляну у самого предела его владений, где три месяца назад перед ним танцевала Береника.

Публий сплюнул от досады, что ноги занесли его сюда, и хотел поскорее уйти с этого, излишне памятного места, но вдруг его охватила какая-то нега, словно здесь еще реял незримый дух его любви. Он остановился, пораженный сладостным благоуханьем ночных ароматов, возможно, и вызвавших в нем по ассоциации былые чувства. Пока он колебался произошло то, что заставило его задержаться на несколько часов.

– А я ждала тебя, – раздался из темноты болезненно знакомый голос.

Публий вздрогнул. Вздрогнул сначала от радости, а потом от возмущения.

– Нет, не страшись, сегодня мои колени плотно сдвинуты, – продолжал голос, – мои чары на замке, и тебе ничего не грозит.

– Зато тебе грозят мои чары, – зловеще отозвался Публий, – те чары, которые покорили три огромные страны.



– Неужели ты станешь сражаться со мною силою всех твоих легионов? – нагло засмеялась Береника. – Угомонись, зачем такие страсти, зачем обрушивать на жалкую рабыню всю императорскую мощь? Тебе сподручнее просто повелеть твоей, обманувшей саму себя жене распять меня на кресте. Кажется, такую казнь вы по примеру карфагенян применяете к нам, рабам? Вот и все дела, и тогда всякий раб сможет, проходя мимо, безглаголиво поглазеть на то тело, которым еще вчера любовался ты.

– Ну, как раз у Эмилии ты заслужила совсем иную почесть: красный колпак на голову и серый колпак, то бишь лавочника – в постель.

– А ты ревнуешь? – с озорством воскликнула она.

– Не кощунствуй.

– И все же ты меня любишь, Публий...

– Господин, а не Публий: рабам надлежит и рабское обращение.

– И все же ты меня любишь, Публий, иначе ты бы не пришел сюда. Да, я ждала тебя. Я видела утром, как долговязая дуреха перехватила твой огненный взгляд, обращенный на меня, и ничуть не сомневалась, что после этого она окажет тебе просветительскую услугу, коли уж ты отверг все прочие ее услуги. Я представляю, как теперь блаженствует Глория, ведь ударить соперницу, особенно, если та – твоя подруга, слаще, чем обнять любимого. Я ждала тебя, Публий, чтобы дать тебе ответ на все твои вопросы. Ведь у тебя много вопросов? Скажи, ты сразу поверил Глории?

– Сразу. Труднее верить в исключение, чем в правило, хотя первое куда радостнее.

– А с чего бы мне быть исключением, если я обитала на самом дне порока? Ты бы задумался. Нет, ты не раздумывал, увидел яркий цветок и тут же его сорвал. Ах, какая красота! Ах, как он пахнет! А что его двадцать лет поливали навозом, об этом предпочитал не знать!

– Но я на самом деле не знал... то есть я знал, что ты танцовщица, но...

– Там, где существует рабство, не может быть благородной красоты! Ты не знал, ты обитал среди своих сенаторов, величавых и белых, ты каждый миг пользовался трудами рабов и не знал, что ваша господская чистота достигается нашей рабской грязью!

– Но если мы отпустим всех рабов, то скоро сами станем их рабами. Таков мир. Не мы, а пунийцы начали войну, они пришли к нам в Италию с целью обратить нас в рабство. Наша мораль оказалась здоровее, наш дух – сильнее, мы победили, поэтому рабы – они. Что же, нам теперь их жалеть? Прежде пленных вовсе убивали, а потом им стали позволять жить, хотя и рабской жизнью. У египтян рабы так и назывались «живые убитые».



– Не надо про египтян. Мне нет до них дела. Я ненавижу вас, я ненавижу рабство, и никакие ваши умные рассуждения не поколеблют моей ненависти!

– И меня ненавидишь? – грустно спросил Публий.

– А разве ты не рабовладелец?

– Но ведь я любил тебя... и твои ответные ласки, казалось, были такими искренними.

– Между рабыней и господином не может быть любви. Любовь возможна только между равными, в других случаях это – либо паскудная торговля, либо ущербная, болезненная страсть. Ведь ты не станешь уважать раба? Ты будешь его ценить, если он тебе подходит, но уважать – никогда. А станет раб уважать того, кто его презирает, того, кто отнимает у него возможность быть человеком? Никогда. Любовь же выше уваженья, и ей подавно не возникнуть в условиях неравенства. Меня на свой манер любили многие нобили, горели яркой страстью, но в решающий миг они обязательно видели во мне рабыню, а не возлюбленную. Бывало и наоборот, иногда мои чары давали мне такую власть над мужчинами, что я могла делать с ними, что захочу, однако это тоже были взаимоотношения господина и раба, только госпожой выступала уже я, а рабами были они. И такое господство, несмотря на некоторую упоительность, по сути, столь же мерзко, сколь и рабство. Неравенство унижает и господ, и рабов. Разве ты сейчас не чувствуешь себя виноватым предо мною?

– Чувствую.

– Ну вот, и я чувствую себя виновной. Ты уж прости, Публий, я относилась к тебе неплохо, но все же ты был господином, а я рабыней, и это первично.

– Итак, ты заработала свободу, а что ты станешь делать с такой свободой дальше, когда на шее у тебя вместо рабского ошейника, символического, конечно, будет болтаться совсем не символический лавочник?

– Все, что угодно! Рожу детей, которые уже по-настоящему будут свободны.

Немного помолчав в задумчивости, она встряхнулась и задорно добавила:

– А вместо лавочника заведу себе любовника или куплю смазливую раба... а может быть, отдамся тебе, только уже совсем по-иному! Тогда у нас с тобою, возможно, что-нибудь и получится...

– У нас с тобою ничего не получится.

– Ну и не надо!

– Да и с рабом заминка... Ты же ненавидишь рабство, ненавидишь рабовладельцев, и вдруг сама туда же... Как это понять?



Сципион даже во тьме угадал ее удивленный взгляд.

– А что ты меня спрашиваешь? Я женщина, я умею только задавать вопросы, а уж вы, мужчины, потрудитесь найти на них ответы. Если вы не смогли справедливо устроить общество, то чего можно требовать от меня? Да, я буду пользоваться тем, что есть в вашем мире. Довольно пользовались мною, теперь настает моя очередь!

– Вообще-то ты заявляла час назад, будто пришла сюда отвечать на вопросы, а не задавать новые, вдобавок к тем, которые поставило твое поведение.

– Я и готова ответить на все вопросы, только по своей женской части.

– Отлично, сейчас последует вопрос по женской части. Ты хочешь иметь детей. Вполне резонно. Но ведь твои дети будут детьми лавочника, а вспомни, что ты мне вещала о своих порывах к высоким целям. Как понять такое противоречие, и можно ли его объяснить иначе как ложью?

– Никакого противоречия нет. Дети лавочника – это и есть мой порыв. Что же еще мне остается делать, ведь я не могу родить детей Сципиона?

У Публия потемнело в глазах. Ему, наконец, открылся мир этой женщины, мир темный, пошлый и отвратительный, ограниченный, однако, непреступными стенами, каковые она при всех своих талантах не в силах преодолеть. Следом за этим прозрением он уличил себя в том, что действительно относился к ней, как к рабыне, как к тому цветку в ее примере, который он сорвал, поставил в кувшин с водою, любовался им, холил его, заботливо менял воду, сочетал тень и свет, но не подумал о том, что цветок не имеет корня, а потому обречен засохнуть в его кувшине. В молодости у него дважды была возможность сблизиться с женщиной, зажегшей в нем первую и единственную, неистребимую страсть, но он не воспользовался ею. И хотя главной причиной, сдержавшей его, был государственный и нравственный долг, он все же учитывал и ее интересы, и не хотел ломать ей жизнь. Но о Беренике Публий не заботился иначе как в бытовом плане. Обрушившиеся на него беды заставили его сжаться, как сжимается от боли пораженный орган, он замкнулся в себе, отягченная личной драмой душа утратила способность парить над людьми, которые его окружали, и проникать в их внутренний мир. Поэтому Беренику он воспринял как небесный дар, как утешенье в своих несчастьях, а о том, что «дар» мечтал о собственном даре, и не подозревал. Именно тут наряду с душевной усталостью проявилось его скрытое в темной мозаике подсознания отношение к ней как к рабыне, ибо рабовладелец, тем более нобиль, ни в коем случае не мог допустить мысль, будто рабыня способна мечтать о чем-то серьезном и не довольствоваться благоволением доброго хозяина.



Испытывая досаду от собственной близорукости и невозможности что-либо изменить даже сейчас, когда глаза его вроде бы раскрылись, Сципион постарался отбросить все мысли о Беренике, рабах и рабстве, а потому задумался в поисках другой темы, и нашел ее скорее, чем ожидал.

— А как же Эмилия позволила себе так поступить со мною? — спохватившись, удивился он.

— И все-таки ты меня любишь, Публий, — засмеялась резко меняющая настроение Береника, — целый час говорил обо мне и только теперь вспомнил о жене.

— Разве я мог бы устроить подобную гнусность в отношении нее? — продолжал Публий, не обращая внимания на колкость. — А ведь она когда-то любила меня больше, чем я ее...

— Она и сейчас тебя любит, но еще больше она любит власть и славу. С удалением в Литерн, твое значение упало для нее так же сильно, как и для римской толпы.

— Это понятно, но зачем издеваться надо мною, подставляя мне...

— Какую-то Беренику, — договорила за него она. — Так вот, Беренике она изложила свой замысел таким образом, что будто бы хочет с помощью красоты этой самой Береники пробудить в тебе интерес к жизни и вдохновить тебя на борьбу с болезнью. Себя же она при этом изображала подвижницей, идущей на самопожертвование ради мужа. Но сдаётся мне, что даже глупая Глория смекнула, в чем дело: Эмилия просто хотела отвязаться от тебя и улизнуть в Рим. Причем, не зная твоего вкуса, она нашла мне двух дублерш, дабы при богатстве выбора вернее погубить твое сердце.

— Что же ей делать в Риме? — удивился Публий и тут вдруг опешил от гадливого подозрения.

— А может, у нее там любовник? — задыхаясь от тошнотворного прозрения, с трудом выговорил он.

— У нее не может быть любовника: она слишком горда.

— А я, выходит, не горд, раз спутался с тобою?

— Ты не спутался, а влюбился. Это совсем другое дело.

— А она не может влюбиться?

— Ей не в кого влюбляться. Разве что Зевс сойдет с Олимпа и прольется на нее золотым дождем.

— Так, зачем ей Рим?

— Она ездит господствовать над своими подружками: знатными, важными и глупыми матронами, каковые не стоят волоса презренной рабыни Береники.

— И все?



– Для нее это немало. Ну, конечно, есть еще другие радости: покрасоваться нарядами, посмотреть чужие наряды, высмеять их и тут же скопировать самой, а затем предпринять сверхусилия и превзойти их. Знаешь, как это захватывает! Тут развертывается настоящее состязание, которое бывает поострее скачек в цирке, только оно похоже на бег без финиша.

– А тебе чужд такой азарт?

– Если бы я могла затмить роскошью твою Эмилию, я с головою ушла бы в эту дуэль, хотя и понимаю глупость подобной борьбы, но соперничать с рабынями не желаю.

– Однако у Эмилии ты одно состязание уже выиграла.

– Я не обольщаюсь на этот счет. Я знаю, что, если бы не случай, затея твоей жены провалилась бы. Вообще-то, тебя соблазнить невозможно. Нечасто, но я встречала таких мужчин. Сердца других непрочны: их вскрыет любая женская отмычка, ты же похож на замок с секретом, к которому подходит лишь единственный ключ. Вся моя заслуга – не в красоте, уме или искусстве танцевать, а в том, что я оказалась именно этим ключом.

– Поэтический вкус тебе явно изменил, едва твои помыслы переключились на лавочника.

– Мое сравнение непоэтично, зато точно. Ты прав, жизнь с лавочником требует не поэзии, а расчетливости, расчетливость же любит точность.

– Расчетливость не может любить, на то она и расчетливость.

– Верно. Потому я и не способна любить, что с тринадцати лет стала расчетливой, с того самого дня, когда меня изнасиловали двое сыновей моего первого господина.

Сципион молчал, с отвращением и болью переживая услышанное.

– А знаешь, как я тогда использовала эту только что приобретенную расчетливость? Я насмерть влюбила в себя папашу этих подонков и посеяла в их семье вражду, закончившуюся бойней над моим распростертым телом, которое они не могли поделить. В итоге, отец задушил старшего сынка, а младший – зарезал папашу и сбежал из дома. Вот в таких боевых условиях я училась искусству обольщать. Здесь для достижения цели мне пришлось гадиться со всеми ними, но зато потом в каждом новом доме я начинала карьеру сразу с хозяина, и сколь ни мерзко это было, я выигрывала в том, что в дальнейшем его ревность защищала меня от посягательств остальных.

– Вот я даже в темноте вижу, с каким осуждением ты смотришь на меня, – перебила она саму себя, – а как, по твоему мнению, могла жить рабыня, наказанная природой такою красотой, как моя? Жизнь прочих смазливых рабынь была куда унижительнее. Да сам ты разве никогда не



портит служанок с такою же беззаботностью, с какою иные от нечего делать наступают на цветок? Впрочем, ты – Сципион, тебя нельзя мерить общей меркой.

– О рабынях и загубленных цветах мы сегодня говорили больше, чем достаточно. Давай лучше еще уделим внимание тому единственному цветку, который никогда не сгибался и засох стоя. У меня было впечатление, что Эмилия меня ревновала. Как это увязать с ее планами?

– Ну, во-первых, ей было приятно уличить тебя в проступке, возвыситься над тобою, когда тебя унизило прелюбодеяние, а во-вторых, она действительно ревновала. Она неверно оценила пределы собственных волевых возможностей: думала, будто ты ей уже безразличен как мужчина, и тем все исчерпывается, а когда заметила, что ты в самом деле увлекся мною, почувствовала угрозу своему тщеславию. Помнишь, как она бесновалась в первый раз, когда увидела, что ты ласкаешь мою ручку, которую я нарочно оставила в твоей власти, чтобы обозначить свой успех? Как она старалась нас унижить? Но отказаться от намеченного плана ей не позволило то же самое тщеславие. Единственное средство, которое она изобрела в борьбе против меня, была долговязая Глория. Это подтверждает, что ей важно было не отстоять твою верность, а победить меня, то есть потешить тщеславие. Она не скупилась на наряды для своей фаворитки, сама руководила одеванием, сама украшала ее и давала наставления. Но, видимо, Эмилия так надоела тебе за годы супружества, что ее помощь лишь повредила бедняжке Глории, сделавшейся вульгарной копией госпожи. Позднее, когда Эмилия поняла, что ты серьезно влюблен в меня, она взревновала тебя уже всем своим существом, в ней возмутилось не только тщеславие, но и память, начиненная былой любовью. Она пребывала в бешенстве, хотела меня убить, но потом гордость одолела в ней женщину, и, чтобы не выказать своей слабости, она демонстративно отдала мне тебя в жертву.

– Откуда ты знаешь все эти подробности?

– Из себя самой, мы, женщины, все одинаковые.

– Ну, уж, как сказать...

– А так и сказать. Просто мы рядимся в разные одежды и надеваем разные маски, чтобы заморочить вам головы.

– И, зная чувства Эмили, ты надеешься, что она даст тебе вольную?

– И устроит мой брак, выгодный для такого ничтожества, как я. Она сдержит слово опять же из гордости, вы же патриции...

– Если будут осложнения, обращайся напрямую ко мне. Я-то более, чем кто-либо, обязан отплатить тебе за бесценную услугу... Однажды мне уже довелось выдать свою возлюбленную замуж, причем – за князя, а уж с лавочником я тебя в два счета сведу.



– Ты иронизируешь? Ну что же, ты прав, говоря со мною таким тоном. Я действительно сошлась с тобою за награду, хотя ты был мне интересен и сам по себе, но эта награда – не презренные деньги, а святая свобода!

– О какой свободе ты говоришь, если, освобождая тело, ты навечно закабалишь душу?

– Разве так может быть?

– Да. Но бывает и наоборот: я, например, заточил свое тело в литернскую тюрьму, чтобы не отдать в рабство толпе душу. Однако ухитрился запачкать ее даже здесь...

– Ты имеешь в виду меня?

– Довольно. Наш разговор затянулся. Теперь мы расстаемся, и расстаемся, унося с собою равноценный товар: ты – мираж фиктивной свободы, а я – презрение к самому себе вдобавок к благоприобретенному ранее презрению ко всему ныне существующему человечеству.

С этими словами Публий отвернулся от Береники, которая уже стала видна в мутной бледности наступающего утра, и зашагал прочь.

Подходя к дому, он услышал резкие выкрики, какие раздаются на пунийской квадриреме, когда надсмотрщик вразумляет нерадивых гребцов. Ему не сразу удалось узнать в столь черном одеянье дурных эмоций голос своей жены, а узнав, он на некоторое время оторопел, благодаря чему, стоя у ворот в тени полусумрака, оказался свидетелем расправы Эмилии над совсем уже не гордой Глорией.

– Проболталась, дрянь! – кричала она. – Сначала ты не сумела выполнить поручение, а потом еще и предала госпожу! Я продам тебя в самый грязный притон какой-нибудь торговой клоаки Средиземноморья. Будешь там потешать матросов и беглых рабов!

– О нет, только не это! Я наложу на себя руки!

– Не наложишь. Ты – женщина, а значит, сможешь привыкнуть к любому позору!

Тут Сципион опомнился, выступил вперед и, угрюмо глядя в глаза Эмилии, приказал:

– Отпусти ее. Она добросовестно пыталась исполнить поручение... И вообще, она виновата во всем этом гораздо меньше нас с тобою. А что касается твоего приговора женщинам, то на основании всего произошедшего я скажу, что женщина действительно будет терпеть любой позор, пока ее не станут воспитывать как человека, а не только как женщину. Опираясь лишь на свои женские особенности и не будучи личностью, она самостоятельную нравственную позицию в жизни не займет.



17

С этого дня Сципион и Эмилия стали тяготиться друг другом, потому в ближайшее время Эмилия, сославшись на необходимость устроить дела служанок, уехала в Рим.

Оставшись в одиночестве, Сципион окончательно потряхнул с себя любовное наваждение и, оглядевшись вокруг, убедился, что зловещая пустота не теряла времени даром. Пока он резвился с молоденькой девицей, стараясь обмануть судьбу, та исподволь вершила свое дело, и теперь черная стена небытия придвинулась к нему вплотную. Она зияла холодным мраком прямо перед его глазами, и жизненного пространства у него оставалось настолько мало, что он даже не решался глубоко дышать, страшась вместе с ароматным летним воздухом ненароком вдохнуть смерть. Сурово посмотрев в зияющую пасть хищной пустоты, Сципион сосредоточился, как воин перед последним безнадежным боем с превосходящим его противником, и попытался мобилизовать внутренние ресурсы на борьбу. Он принялся мысленно сортировать события своей жизни, чтобы отобрать из них все доброе и прочное, из чего можно было бы соорудить бастион для предстоящей битвы с вечностью.

В семнадцать лет он отбил у пунийцев раненого отца, который в то время являлся консулом; в девятнадцать лет вывел из окружения под Каннами десять тысяч соотечественников, тогда как полководец бежал с поля боя всего с пятью десятками всадников, и предотвратил предательство группы офицеров; в двадцать четыре года возглавил кампанию в Испанию и в пятилетний срок очистил огромную страну от карфагян, для которых она являлась главной материальной базой для ведения войны в Италии; в двадцать девять лет стал консулом и, выиграв острейшую политическую схватку с сенатом, добился права действовать согласно собственному плану, каковой в то время патриархам представлялся верхом отчаянного авантюризма; затем он навязал свою стратегию карфагянам и в тридцать три года, сойдясь с Ганнибалом в африканской пустыне, перехитрил самого коварного в истории полководца и разгромил его в пух и прах, после чего принудил грозный Карфаген к капитуляции. В ходе своих кампаний Публий выработал политическую модель для построения взаимоотношений с побежденными странами, которые он превращал в союзные Риму государства с дружественным населением. Связи, соединившие Рим с этими странами, оказались столь жизнеспособными, что во всех делах обеспечивали римлянам их безоговорочную поддержку до тех пор, пока могучее государство само агрессивными устремлениями не обрывало добрые отношения. Благодаря сципионовой внешней политике Рим быстро



приобрел международный авторитет и превратился в арбитра средиземноморского мира. Впервые в истории право встало вровень с оружием, и появилась возможность разрешать конфликты между государствами без войн. Римляне заслужили славу самого справедливого и честного народа. Эти достижения Республики стали итогом десятилетней гегемонии в сенате сципионовой партии. Под идеологическим руководством Сципиона была блестяще проведена кампания против Македонии, которую мировая общественность и, в первую очередь, сами греки восприняли как освобождение Эллады. Усмирив Филиппа, римляне отбросили за Тавр зарившегося на Европу Антиоха и освободили ионийских греков. Эту экспедицию непосредственно возглавлял сам Сципион вместе со своим братом.

Итак, застав Отечество едва не растоптанным сапогами ганнибаловых наемников, сжатым чуть ли не до пределов одного Лация, Сципион, встав у руля государства, привел его к победе над самым страшным врагом, многократно расширил пределы Республики и сделал Рим столицей всей Средиземноморской цивилизации. Таков был его актив.

Однако, успешно занимаясь внешней деятельностью государства, Сципион упустил из вида внутренние преобразования, произошедшие в области экономики и нравственности. Поскольку эти изменения на первом этапе не касались политической системы, они долгое время оставались незаметными для первых людей страны. Правда, Сципион раздавал земли ветеранам, чтобы возродить опору Республики – класс крестьянства, но этого было недостаточно для сохранения крепкого здоровья Рима. В результате резкого расширения сферы экономической деятельности государства и притока богатств из побежденных стран, значительно окреп и умножился класс торговой и финансовой олигархии. Капитал же – сила агрессивная, алчущая поглощать все и вся. Поэтому олигархия не была заинтересована в международной стабильности и разумном построении гармоничной цивилизации, ей требовались войны, чтобы грабить все новые и новые страны, ей требовались все новые и новые провинции, чтобы эксплуатировать их население. Набрав экономическую мощь, олигархи стали заявлять о себе и в качестве политической силы, нацеленной на то, чтобы приспособить государство для обслуживания материальных интересов представителей своего класса. Это и была пресловутая партия Катона, который, правда, сам отнюдь не считал себя олигархом, но зато, как всякий олигарх, точно знал, что его враг – аристократия, поскольку народ в то время не был организован в самостоятельную политическую силу. Вступив в борьбу с названным врагом, олигархи первым делом вырвали из-под контроля Сципиона Испанию и объявили ее провинцией римского народа. Есте-



ственно, иберийцы начали освободительную войну. Утверждать там собственный порядок взялся сам Катон, который провел такую кампанию, что посеял в душах иберийцев вековую ненависть к римлянам. Таким образом, Испания выпала из Сципионовой мозаики средиземноморской цивилизации и стала опасным прецедентом на будущее. Из славы Рима эта страна превратилась в его позор, в очаг бесконечной изнурительной войны, где гибли римские солдаты, но зато богатели откупные компании, а последнее, в глазах олигархов, перевешивало все остальное. После такой удачи рыцари кошелька и сундука жадно воззрились на другие территории, зависимые от воли Рима, но партия Сципиона отстояла их свободу. Тогда олигархи обрушились на самого Сципиона. Чтобы расправиться с первым человеком Города, они вначале испортили народ, посеяв в нем корысть, и когда граждане выродились в обывателей, когда народ трансформировался в свой антипод – толпу, когда лучшее и худшее поменялось местами, тогда лучший человек и был представлен черни как худший. Сципион ушел из Рима, в его партии начался разброд, и алчности олигархов открылся путь в Грецию, Македонию, Азию и Африку.

В итоге все приобретения Сципиона оказались под угрозой, под угрозой был и сам Рим, который ожидала участь из мирового арбитра превратиться в мирового насильника и грабителя, из оплота справедливости и чести – в оплот алчности и средоточие порока. Злодей же, по всем античным теориям, не может быть счастливым человеком, хотя и тужится внушить с помощью роскоши себе и окружающим обратное, значит, римляне в скором времени станут несчастнее собственных жертв.

Пассив превысил актив, более того, зло просто захлестнуло и поглотило благо! На фундаменте, заложенном Сципионом для построения дворца средиземноморской цивилизации, теперь воздвигается тюрьма антицивилизации.

Не лучше обстояло дело и в других областях жизнедеятельности, второстепенных в понимании настоящего римлянина.

Он много изучал человеческую мудрость и немало написал сам, однако все уничтожил, когда понял, что его окружают совсем не те люди, к каким он адресовывал свои труды.

Долгое время его семья представлялась соотечественникам идеально благополучной. Но, достигнув в совместной жизни душевного и физического комфорта, они с Эмилией не дали друг другу счастья. Со временем это выразилось в отчуждении и взаимном отдалении, а напоследок выплеснулось наружу нелепым, безобразным фарсом с рабыней-любовницей. Публий не оправдывал своего поведения в постигшей их семью неприглядной истории, и особенно укорял себя за то,



что не распознал фальши в чувствах Береники, ибо искренняя любовь была бы достойна жертв. Но роль, которую при этом сыграла жена, его просто ужасала. Он с отвращением думал о многих годах, проведенных рядом с Эмилией, казавшейся ему теперь неким омерзительно-скользким ядовитым существом, вроде Медузы Горгоны. Так же, как измена народа запачкала все его деяния, направленные на благо государства, предательство Эмилии отравило всю его личную жизнь.

Правда, чуть позже Сципион снял часть вины с Эмилии и переложил эту часть на себя. Он понял, что в свое время не дал жене ярких чувств и тем самым низвел ее жизнь из объемного пространства эмоций и образов в плоскость расчетливости, превратил ее в сухое рассудочное существо, которое теперь и рассудило, сколь выгодно спутать ненужного мужа связью с рабыней. Так, в очередной раз Публий был наказан за совершенную в молодости подмену истинной любви обыкновенной симпатией.

У Сципиона было четверо детей. Однако болезнь одного из сыновей и легкомыслие другого сводили на нет надежда на их будущее. Оставались дочери, но могли ли они вытянуть Рим из пучины порока, куда тот плюхнулся с радости от громких побед? Такое дело не для женщин. Представляя участь своих детей в деградирующем обществе, Публий испытывал гораздо большую боль, чем от собственных душевных ран. Подобные раздумья погружали его в глубокий транс. Он словно прозревал грядущую катастрофу, когда его внуки возглавят противоположные партии и уничтожат друг друга в зловещей увертюре столетней гражданской войны, после чего род Сципиона прекратит свое существование, и кровь Сципиона иссякнет в теле Рима.

Итак, Публий оказался один на один с черной пустотой. Память не снабдила его нравственным оружием для предстоящей борьбы. Пройдя грандиозный путь, преодолев самые грозные пропасти и покорив самые высокие вершины своего века, Сципион перед лицом смерти не мог оглянуться назад, чтобы усладить взор достигнутыми свершениями, так как за его спиной произошел гигантский нравственный оползень, похоронивший под собою плоды его усилий во всех сегментах сферы жизни. Оставалось только одно: смотреть вперед, а впереди зияла крошечная тьма небытия.

Помимо всех этих бед, которые черной тучей зрели над головою Сципиона многие годы, а теперь разом обрушились на него истребительным градом несчастий, инцидент с Береникой нежданно взвалил на его сознание неподъемную глыбу вопроса о рабстве. Прежде бывало, что Сципион жалел рабов, иногда презирал, но чаще относился к ним с безразличием. Рабство всегда казалось ему неизбежным социальным



злом, точнее, необходимым компромиссом со злом, и он не тяготился осмыслением или оценкой этого компромисса, будучи занятым проблемами куда более насущными, в его представлении. Но вот рабыня Береника сумела вызвать в нем человеческое чувство и через него – внушить человеческое отношение к себе, а потом между ними разверзлась пропасть рабства, и он, наконец-то, увидел это бездонное зло, которое не замечал пятьдесят лет. Разум Публия едва не помутился от представшего ему зрелища, и его мировоззрение пошатнулось, дав трещину в самой своей основе.

Античная цивилизация выросла пышным цветом на почве рабства. Людьми считались только граждане, они были умны, образованны и человечны в отношении друг к другу, они были прекрасны, как луговые растения, но рабы являлись лишь почвой. Наверху сияло солнце, кипела жизнь, но ее корни уходили в человеческий перегной и питались соками попанной жизни, заточенной в царство теней.

Конечно же, Сципион не мог разрешить этот вопрос, как не могли его решить и последующие поколения, потому что всегда существовал класс людей, которому рабство было выгодно, и эта выгода тушила светоч знания, чтобы держать рабов во тьме. Множество раз в дальнейшие века различные цивилизации заявляли об упразднении рабства, а на деле воспроизводили его в иных, более изощренных формах, провозглашали всеобщую свободу, тогда как всего лишь подсвечивали подземное царство лживым, как лунные блики, лицемерием и яростно душили ростки солнечной свободы. Сколь постыдны новые цепи рабства, изобретенные человечеством, которыми люди сковывают самих себя в непостижимой страсти к самоуничтожению, а в конечном итоге и к самоубийству!

Размышления о рабстве привели только к тому, что Сципион, прежде веривший, что шел в жизни верным путем и потерпел неудачу только из-за людской низости, характерной для эпохи упадка цивилизации, теперь усомнился в самой целесообразности выбранного курса, и эти сомнения сотрясали его мозг, создавая в нем хаос. В результате, его песимизм стал еще глубже.

Несколько дней после отъезда Эмилии Сципион бродил вдоль стены, ограничивающей его последнее земное пространство, и упрямо глядел перед собою, ничего не видя. Напряженье внутренней борьбы поглотило все ресурсы его организма и на восприятие внешнего мира сил уже не было. Но однажды он вдруг спохватился, что совсем забыл о своих новых, бессловесных и тем не менее очень общительных друзьях. А ведь ему теперь требовались именно такие друзья: простые, естественные и не помышляющие о предательстве.



Он тут же выпустил на поляну длинноухое братство, которое, впрочем, скоро перестало быть братством, перессорилось и повело борьбу за самоутверждение и захват территории. Каждый из самцов норовил поставить ароматную метку на характерных точках рельефа, игнорируя при этом права конкурентов. Естественно, такая политика незамедлительно привела к инцидентам, каковые, множась, логично переросли в войну. Как и во всякой войне, здесь проявили себя мужество, смекалка, благородство в обращении с побежденными, а также обнаружилось трусость, коварство и подлость.

Однако сегодня это занятое зрелище не вызвало у Публия энтузиазма. «Только денег им не хватает, чтобы опуститься до уровня людей», — подвел он итог пессимистическому впечатлению от увиденного. Вдобавок ко всему, его любимец приболел и не вязывался в потасовки. Порядок навести было некому, и некоторые лопухие типчики, которые обычно испуганно пластались на земле, едва завидя вздернутый хвост кроличьего принцепса, теперь совсем распоясались и драли пух со всех подряд. Но главное все же было не в этом. Публию не хватало второй пары глаз, которая наблюдала бы за потешной картиной, не хватало пары ушей, которые внимали бы его замечаниям, не хватало восклицавших уст, ему не хватало человека. С тоскою он вспоминал о Беренике. Она даже в качестве пассивной зрительницы придавала значение всей забаве, а уж если увлекалась кроличьим состязанием, то превращала его в представление, не уступающее играм в Большом цирке.

Публий разогнал озверевших, как плебс во время раздачи угощений, животных по их норам. С этого дня он утратил к ним интерес, ибо всякий ваз при попытке общения с животными убеждался, что ему для этого не хватает человека.

В дальнейшем Публий налег на земледельческие работы, столь благотворно отражавшиеся на его состоянии физического и духовного здоровья два-три месяца назад. Однако нынешний результат оказался таким же, как и в попытке возобновления общения с компанией ушастых и парнокопытных существ. На любом орудии труда, которое он брал в руки, неподъемной гирей висела апатия. Вся эта деятельность потеряла для него смысл и потому была непосильна. Физический труд уже не радовал Публия, как и умственный. Не интересовали его более и деревенские пейзажи, ранее придававшие сельским работам романтическую окраску. Лес, поля, река, горы вдали и даже вечнозеленый поливной сад, орошаемый из огромного подземного водохранилища, теперь не содержали красоты для его взора, поскольку оказались лишенными человеческого наполнения.



Стремясь уйти от людей, он пытался слиться с природой, но как выяснилось, природа для человека – это в первую очередь другие люди. В условиях одиночества, не только физического, но и духовного, его эмоции замыкались в нем самом, и их судьба была подобна участи родника, прозрачные струи которого, попадая в стоячую воду, зеленеют и гниют. А для того, чтобы чувства, впечатления, мысли жили, они должны двигаться, как и все живое, то есть необходим их поток, направленный к другим людям, нужно общение.

Поняв тщетность усилий обмануть самого себя, подменить человеческую пищу для души и ума кормом травоядных, Публий опустил на следующую ступень депрессии. Здесь, на новой глубине, намертво стиснутый каменным склепом отчаяния, он уже не старался искать выход и был тих и спокоен спокойствием обреченного. Целыми днями он просиживал на скамейке в парке или на пеньке в лесу с задумчивым видом, ни о чем не думая.

В таком состоянии его застала Эмилия, возвратившаяся из Рима, где она отпустила на свободу и выдала замуж за уважаемых торговцев Беренику и Глорию, третья же из граций, самая пламенная и нахальная, еще раньше собственными трудами добыла себе вольную, сбежав с каким-то горбатым колдуном. Публий встретил Эмилию равнодушно, без ненависти и, уж конечно, без любви. Единственное чувство, которое он испытал при виде ее, было удивление: ему показалось очень странным сознавать, что рядом с этим чужим существом он провел половину жизни.

Эмилия снова выказала намерение высыпать на его голову мусор столичных новостей, однако он пресек эту попытку. Но одно она ему все же сообщила: Гай Лелий просил разрешения приехать в Литерн, чтобы навестить Публия. Сципион при этом известии слегка вздрогнул и напрягся, словно слепой старец, услышавший голос, напомнивший ему о радостях далеких юных лет, а через миг снова обмяк и угрюмо произнес:

– Передай ему, что как Лелия я его прощаю, но как представителя рода человеческого – никогда.

Эмилия усмехнулась этой фразе, посчитав, что Публий впал в детство и потому тешится риторической патетикой, но снисходительно промолчала.

Зато несколько позже она все же поддалась соблазну рассказать ему историю об одиссее Ганнибала, которую тогда активно обсуждали в Риме, однако и здесь потерпела поражение при первых же словах: Публия ничуть не занимали похождения Пунийца.

– Уж если я Лелию отказался уделить внимание, то тем более не позволю пачкать свою душу мыслями о каком-то Ганнибале, – резко оборвал он Эмилию и пошел на свой пенек под кроной старого дерева.



За полтора года литернского заточения Сципион ни разу не вспомнил о Ганнибале, разве только мимоходом, в связи с событиями Пунической войны, и никогда не задумывался о его нынешней судьбе. Слишком много всяческих Ганнибалов и ганнибальчиков ему пришлось увидеть в Риме после своего возвращения из Азии, чтобы он вдобавок к этому еще стал интересоваться африканским авангардом порока хищного индивидуализма. Но теперь, когда усилиями любопытной женщины набившее оскомину имя оказалось вытянутым с покрытого илом забвения дна памяти, он невольно представил себе Ганнибала в эллинистическом мире и тут же, сидя на пеньке, прокрутил в уме возможные варианты его приспособления к окружающим условиям. Сципион хорошо изучил Ганнибала, иначе он не одержал бы над ним три победы: стратегическую, заставившую Карфаген перейти от наступления к пассивной обороне, тактическую – в решающем сражении под Замой, и дипломатическую – в Эфесе – потому он и теперь точно определил характер действий и мыслей этого человека, хотя и не задавался целью угадать конкретное место событий и имена людей, среди которых тот обретался.

А Ганнибал тем временем скитался по Восточному средиземноморью, ничуть не ощущая себя от этого ущербным. Он свободно обходил без Родины, ибо все свое, родное носил с собою: в голове, руках, имени, да еще в медных статуях, но о статуях – позже. В последние годы он нашел приют у царька Вифинии Прусия и командовал его флотом в иллурийской войне против Эвмена. В свои шестьдесят лет Ганнибал в физической выносливости и темпераментности не уступал сорокалетнему, а духом был точь-в-точь таким же, как во времена альпийского перехода. Он по-прежнему удивлял людей нестандартностью действий и сверхчеловеческим коварством. Так, например, весь регион Эгейского моря был потрясен двумя последними его подвигами.

В одном случае он заставил отступить пергамский флот с помощью невиданного оружия – горшков, начиненных змеями, которыми подопечные героя забросали палубы пергамских кораблей и тем самым привели в ужас их экипажи. Эту змеиную победу Ганнибал очень хотел украсить убийством царя Эвмена, какового люто ненавидел за его дружбу с римлянами. Замысел нападения на Эвмена был истинно пунийским, более того, истинно Ганнибаловым. Великий полководец перед битвой сделал вид, будто ищет мира, и отправил к царю шлюпку с парламентаром. Эвмен принял посла, а тот, возвратившись к своим, сообщи, на каком именно корабле находится царь, и пока пергамский монарх с удивлением читал и перечитывал послание Ганнибала, не содержащее ничего, кроме оскорблений, на него со всех сторон устремились вифинские суда. Лишь благодаря высоким мореходным качествам



корабля и искусству команды, Эвмену удалось спастись от нападения гения ловушки и засады, который за долгую жизнь заманил в свои западни немало славных полководцев, в том числе Марка Клавдия Марцелла и Тиберия Семпрония Гракха – отца будущего зятя Сципиона. Но, вообще-то, Пергам был гораздо сильнее Вифинии, да еще опирался на дружбу Рима, потому Ганнибал был для Эвмена все равно, что комар, досаждающий назойливым писком.

А еще раньше, во время бегства от Антиоха, Ганнибал сумел возторжествовать над коварством самого хитрого и беспринципного народа Эллады, так сказать, пунийцев среди греков – критян. Остановившись на их острове на неопределенный срок, Ганнибал поместил в храм Артемиды на хранение гигантские амфоры, наполненные чем-то очень тяжелым, и сердечно попросил критян бережно обойтись с его грузом. Будучи наслышаны о несметных богатствах Пунийца, смысленные островитяне сразу смекнули, что там находится золото, потому жрецы установили тщательный контроль над сокровищами, причем, по словам очевидцев, ревностно охраняли их в первую очередь от самого Ганнибала.

Через некоторое время критяне инсценировали нечто вроде гражданских волнений и покушение «злых сил» на высокого гостя, но сами же посредством «добрых сил» острова помогли ему избежать опасности. Однако, спешно выйдя в море, Ганнибал второпях не успел захватить с собою тяжелые амфоры. Сделавшись обладателями бесценного сокровища, хитрые критяне стали разбивать один глиняный сосуд за другим и извлекать оттуда... свинец – весьма тяжелый металл. Таким образом, выяснилось, что амфоры в самом деле не имеют цены. А золото уплыло вместе с Ганнибалом в тех самых, ранее упомянутых статуях, каковые все время валялись во дворе критской резиденции Пунийца, не привлекая ничьего внимания, так как все алчные взоры были направлены на амфоры.

Несколько меньшую известность имела своеобразная попытка Ганнибала сразиться с извечными врагами – римлянами. В то время, когда Гней Манлий Вольсон творил свои гнусные дела в Малой Азии, позоря римское оружие вымогательством и грабежом невинных, Ганнибал сидел по соседству в Вифинии и грыз ногти от досады, что не может выступить с войском навстречу консулу. Но его изобретательность помогла ему реализовать генетическую ненависть к Риму иным способом. Он занялся писательством и запечатлел на папирусе постыдную кампанию Вольсона, дабы этой книгой внушить грекоязычному миру неприязнь к римлянам. Своими действиями Вольсон дал богатый материал злопыхателю, и тот упивался преступлениями римлян, смачно пересказывая



их на разные лады. Есть такие писатели, которые, разоблачая, торжествуют, для которых чья-то трагедия – лакомый кусочек или звонкий рупор, в который можно громко прокричать о себе, и, что еще приискорбнее, есть такие эпохи, когда подобные писатели из презираемых превращаются в восхваляемых. Впрочем, Ганнибал гораздо меньше своих далеких последователей заслуживал упрека. Он мастерски воспользовался пороками консула-олигарха, каковой являлся полной противоположностью великим соотечественникам Титу Квинкцию Фламинину и братьям Сципионам, в целях вечной непримиримой борьбы с Римом, которую сознательно и самостоятельно вел всю жизнь, а не из конъюнктурных соображений в угоду могущественному хозяину. Однако острый стиль Ганнибала не мог соперничать с силой римских легионов, потому авторитет его врагов остался непоколебленным.

Итак, Ганнибал с прежним пылом творил свои пунийские подвиги и вполне серьезно гордился «змеиными» победами и «обходными маневрами» медно-золотых статуй, видимо, считая, что победы, как и деньги, не пахнут. Но это ошибочное мнение сложилось у него только из-за того, что ему пришлось жить в обществе, лишенном, так сказать, нравственного нюха. Гордился он и смешанным со страхом уважением своих подчиненных и снисходительной дружбой царя Пруссия. То есть он жил в Вифинии так же, как и в Сирии, и в Испании, и в Карфагене, и для него в принципе будто бы ничего не изменилось. Правда, он мог бы командовать сотысячными армиями, а не той горсткой азиатов, которая находилась в его распоряжении сейчас, он мог бы распространить пожар войны на весь мир, тогда как сейчас его милитаристский гений терзал всего лишь один Пергам, да и то безуспешно. Ганнибал мог бы уничтожать сотни тысяч людей, а не сотни человек, как теперь, мог снискать за это восхищение миллионов людей, а не нескольких тысяч, как теперь, мог наживаться на тысячи талантов, а не на сотни драхм, как теперь, мог бы покупать на эти деньги царей и цариц, тогда как теперь покупает только рабов и рабынь. Однако он не чувствовал себя столь несчастным, как Сципион, ибо его неудачи были всего лишь количественными, а не качественными, как у римлянина. Ганнибалу не пришлось пережить разочарование, ему не довелось наблюдать трагедию деградации людей. Он родился в порочном обществе, где частнокорыстные интересы изначально отворачивали людей друг от друга, и потому всегда знал их только с тыльной стороны, но ни разу ему не посчастливилось увидеть истинного человеческого лица. Люди всегда представляли ему как безликие, но злобные и алчные существа, потому он презирал их в детстве и точно так же презирал сейчас. Ганнибал относился к окружающим как к строительному хламу, из которого надле-



жит возвести здание собственного честолюбия, и только. Не видя человеческого в людях и, соответственно, не содержа такого в самом себе, он не способен был испытывать человеческую драму из-за того, что его мечты сбылись лишь отчасти. Его неудовлетворенность жизнью была подобна досаде волка, который гнался за лосем, глотал слюну, видя перед собою аппетитный, мясистый круп большого зверя, но в конце концов задрал лишь тощего ягненка.

После мыслей о Ганнибале у Сципиона возникло неприятное ощущение, будто ему пришлось проглотить слизняка, и он попытался воспоминаниями о добрых людях погасить эту гадливость. Первыми на экране его памяти возникли отец и мать, затем Гай Лелий, Марк Эмилий, лица других сограждан, сенаторов и крестьян, его воинов, иберийцев и ибериек. Здесь ему вновь довелось пережить тяжелое чувство, только вместо слизняка на этот раз попалась змея. «Нет уж, лучше не думать ни о ком и ни о чем», — решил Публий и погрузился в тягостную дрему, когда сон, не трогая тело, окутывает лишь разум.

Так, скрываясь от мыслей и воспоминаний, Сципион просидел на пеньке до осени, а когда природа стала увядать и блекнуть, он воспринял это как знак сочувствия его собственному угасанию, и стал внимательнее присматриваться к окружающему. Все выцветало и смазывалось серой пеленою дождя, и точно так же обесцвечивалась его жизнь. Природа избавлялась от лишнего груза летних роскошеств, готовясь замереть в зимнем оцепенении, и он тоже старался вырвать из себя оставшиеся корни всего человеческого, пораженные паршой разочарования, чтобы уйти в мир предков очищенным от скверны. У них обнаружилось нечто общее, а это, как следует уже из самого слова, предмет для общения. Таким образом, у него появился собеседник, друг, которому он мог сопереживать и с которым имел возможность делиться собственными горестями. В пожухлой растительности Публий усматривал состояние своей души и потому с каждой травинкой мог вести долгий диалог, в образе опавших листьев он оплакивал своих погибших солдат, офицеров, легатов, всех тех соратников, кто сумел достойно завершить достойную жизнь, а их почерневшие собратья, цепляющиеся за ветки, готовые трепетать на холодном ветру и терпеть непогоду лишь бы еще сколько-то провисеть наверху, напоминали ему аристократов, согласных выродиться в олигархов, предать свое дело и самих себя, почернеть, как эти листья, ради возможности болтаться на иссохшем древе жизни обрывком биомассы. Отталкиваясь от этих аналогий, его мысль обобщала осень в модель упадка цивилизации, на основе которой он уподобил нынешний век Рима сентябрю или даже секстилию, то есть августу, когда все благоухает изобилием плодов и пестрит броскими



расцветками, однако внутри праздника жизни зреет смерть, и само буйство красок имеет болезненный характер. Теперь же на дворе стоял тусклый ноябрь, и Публию хотелось указать на окружающее уныние своим согражданам, упивающимся лихорадочно-ярким желто-красным сентябрем.

Так картина умирающей природы исполнилась для него особого содержания, и созерцательность напитала его дни эмоциями, придав значение каждому часу. Сейчас он уже меньше, чем прежде, тяготился временем и, поднимаясь утром с ложа, торопился в лес на свой пенек, чтобы наблюдать трагическое и величественное зрелище тотальной борьбы за жизнь обреченных на смерть букашек и травинок. Периодически он поднимал голову и смотрел на рваные тучи, гонимые ветром туда, где они, излившись дождем, тоже погибнут, как и все вокруг. И хотя Публий знал, что косматые облака – не более чем небесные резервуары воды, они казались ему душами некогда живших на земле существ, каковые, пролетая теперь над родными местами, жадно всматриваются в покинутый ими мир и, разбросав в стороны воздушные перья причудливых рук, стремятся обнять своих внуков и правнуков, бьющихся в судоорогах бессмысленной жизни, и наконец в непосильной тоске падают слезами отчаянья в почву, чтобы дать рост новым существам, способным продлить вселенский круговорот страданий.

Была в этой его созерцательности и еще одна, особая прелесть: он знал, что более не увидит ничего подобного. Да, Публий чувствовал, что это его последняя осень, и потому страстно, чуть ли не с вожделением всматривался в любой камешек, в любой листок, ловил каждый солнечный луч, праздновал встречу каждого нового часа, а о прошедшем часе скорбел, словно заколачивал гроб дорогого друга. Под таким пристрастным взором Сципиона природа совершала свое мерное нисхождение из Эдема цветущего летнего сада в холодный тусклый склеп зимы и увлекала за собою вниз его самого. С каждым новым днем на земной поверхности оставалось все меньше живого, и все меньше жизни оставалось в нем.

Зимой Публий опять заболел, и теперь даже рабы шушукались у его ложа о смерти. Мир Сципиона сузился до размеров спальной каморки. Бревенчатый потолок навис над ним, заменив собою небо, солнце и деревья, стены скрыли простор полей, холмов и моря. Его деятельный ум ныне вынужден был изучать узор, начертанный на дереве топором плотника, где кружки крепких сучков воспринимались как изюминки, как украшения картины. Однако после особенно тяжелых приступов болезни Публий жадно разглядывал даже этот скудный пейзаж и находил в нем массу интересного. Но порою его душа настолько уставала от



безысходности такого существования, что он проклинал опостылевшие бревна с их сучками и просил подземных богов разверзнуть под ним землю, чтобы, провалившись в Тартар, наконец-то обрести покой. Тогда он опять с завистью вспоминал своих соратников, окончивших жизнь в битвах за Родину достойной римлян смертью, и с пристрастием разглядывал висящий на стене меч, с которым он прошел весь известный мир. На этом клинке было немало крови, но у Публия его вид вызывал только положительные эмоции, потому что, неся гибель врагам, он тем самым спасал сограждан, он являлся орудием жизни, но не смерти. Вот и сейчас Публий не мог осквернить честь своего оружия и использовать его для неблагоприятной цели бегства от страданий. Таким образом, соблазнительное острие, манящее возможностью избавления, наоборот, укрепляло его волю к жизни.

Тем не менее, каждую ночь Сципион ждал смерти. Утром организм обретал новые силы, черпая их, из дневного света, но вместе с вечерней тьмою к нему подступала непроницаемая чернота небытия, и следующий день казался почти недостижимым чудом. Тяготясь жизнью, он все же не хотел умирать жалкой смертью старика, лежа на постели в окружении причитающих рабынь и баночек с бесполезными лекарствами. Он боролся, однако противопоставить смерти мог лишь упрямство, так как все положительные ценности были разбиты людской неблагодарностью.

Дни ползли унылой чередой из мрака будущего в мрак прошлого. Все они казались одинаково серыми, но каждый из них был достижением Сципиона. Каждый день он совершал никому не видимый подвиг. И вот эта дождливая, более холодная, чем обычно в тех местах, зима начала сдавать свои позиции. Она не смогла убить Сципиона.

Однажды Публий заметил, что в комнате стало как будто светлее: это спала с глаз болезненная пелена, омрачавшая взор несколько месяцев. Он собрался с силами и попытался встать. Его попытка принесла успех, и, хотя движения были неверны, а голова кружилась от слабости, он смог, держась за стены, выйти во двор. Там сияло бледное, словно переболевшее зимним ненастьем, небо. Публий захмелел от свежего воздуха и пока еще немощного, но уже веселого солнца. Пережив первый восторг, он снова ощутил жар в теле, пожирающий силы, и подозвал рабов, которые усадили его на скамейку. Придя в себя, Публий попытался осмыслить случившееся и предположил, что облегчение его состояния – есть всего лишь предсмертное затишье. Мерзкая старуха нередко предоставляет своим жертвам такие паузы, чтобы те могли проститься с жизнью и на явленном их взору контрасте сильнее утрашиться смерти. Если это так, то в его распоряжении всего какой-нибудь час или два. Публий начал торопиться. Он велел приготовить баню, а



сам, опираясь на костыль, но без помощи слуг, прошел в сад и принялся внимательно озирать окружающий пейзаж, стараясь навсегда запечатлеть эту картину жизни.

Когда рабы подогрели воду, Сципион вошел в тот бревенчатый полутемный сруб, который приводил в восхищение своей здоровой скромностью потомков, и тщательно омыл наслоения болезненного пота, а затем надел чистую тунику и чистую тогу. С чувством исполненного долга он возвратился в пропахшую лекарствами и духом страдания спальню, торжественно возлег на ложе и стал ждать.

Наступил вечер, и Публий несколько огорчился мыслью, что умирать ему придется ночью. Однако ночь тоже прошла в напрасном ожидании. Смерть словно заблудилась в потемках и потеряла дорогу к нему. Но в последующие дни выяснилось, что она отправилась вовсе в другие края решать более насущные задачи и оставила в покое пятидесятилетнего старца, который уже никому не мешал.

Мало-помалу Сципион начал возвращаться к жизни, и это выявило новые проблемы. Раньше он боролся со смертью, и только. Задача была однозначной, все сводилось к вопросу: да или нет? Теперь же ему предстояло бороться с жизнью, а это было гораздо сложнее. Жизнь — движенье, но, чтобы куда-то двигаться, нужно проложить маршрут, для чего в первую очередь необходимо иметь цель. Однако все жизненные пути были закрыты для него. Дорогу деятельности преградила порочность сограждан, путь литературы и науки терялся во мраке бесперспективности существующей цивилизации, ибо, со вступлением Рима на стезю порока, в Средиземноморье уже не осталось силы, способной спасти античный мир от краха. Азартная погоня за богатством и подавно не могла увлечь его, поскольку он являлся слишком значительной личностью, и то же самое относилось ко всем прочим псевдоценностям, измышленным хитроумием, лицемерием и алчностью. Некогда ему довелось жить естественной человеческой жизнью, и потому он имел в себе немеркнувший критерий истинности, безразлично отвергающий любые эрзацы интересов и страстей.

Именно обращение к той жизни и к тем людям помогало ему заполнять пустоту нынешнего существования. Он вспоминал сограждан, которые отстаивали Отечество в годы нашествия варваров, мысленно вглядывался в одухотворенные лица бесчисленных героев, столь отличные от низменных физиономий их потомков, и обретал веру в человечество. Сами факты, сами победы тех людей неопровержимо свидетельствуют о том, что они, настоящие люди, действительно были, так же, как и разрушенные цивилизации неопровержимо говорят о делах олигархов и выдрессированных ими обывателей. Так сама история смыкает с людей



прошлых эпох желтую слюну клеветы пропагандистских шавок, и тогда становится видна духовная красота – первых и омерзительные струппы гнойников – последних. Впрочем, плевки к великим людям и великим государствам вообще не пристают, заплевать можно лишь глаза обывателей, дабы исказить их восприятие.

В те часы, когда изуродованное настоящее особенно жестоко отторгало Публия и теснило его к бездонному провалу, зияющему вечной чернотой за спиною, его душа цеплялась за образы лучших людей, со всем недавно населявших Рим, и это позволяло ему устоять. На мерцающем, слегка затененном экране памяти, словно в кадрах хроники, ему представляли лица отца, отправляющегося в свой бесконечный поход в Испанию, Фабия Максима, принимающего остатки войск после поражений у Требии и Тразименском озере, Эмилия Павла, решительно идущего в бой под Каннами, несмотря на уверенность в поражении и собственной гибели, а также многих тысяч других соотечественников: солдат, офицеров, калек, кующих мечи для оставшихся в строю, матерей и жен, крепостью своего духа и любви создающих нравственный фундамент победы. В годину бедствий все эти лица были исполнены трагизма, но даже их трагизм был оптимистичен, ибо сквозь его мрак светилась вера в окончательную победу Отечества. Зато, какая радость цвела на тех же лицах, когда он, Публий Сципион, со славой завершил войну и возвратился из Африки! Лишь тот, кто способен страдать за Родину так, как страдали они, умеет радоваться так же, как они. Сколь яркую и великую жизнь прожили эти люди, и разве можно сравнить эту жизнь с пещерным существованием двуногого паука, изо дня в день, из года в год гребущего под себя монеты, вся радость которого заключается в сознании, что он нагреб чуть больше, чем точно такой же паук по соседству, а горести состоят в зависти к другому пауку, огребшему еще больше!

Тут поворот мысли бросал Сципиона в сегодняшний Рим, и он с брезгливым содроганием скользил взглядом по идиотическим, со всеми признаками деградации физиономиям героев нынешнего дня, на которых сальная ухмылка заменяла лучистую улыбку и открытый человеческий смех, что служило внешним выражением внутреннего перерождения этих существ, у которых маска навечно срослась с лицом, у которых были имидж вместо индивидуальности, похоть – вместо любви, зуд алчности – вместо вдохновения, плоский азарт – вместо счастья, суета – вместо жизни. Сейчас, в сравнении с только что пережитым воспоминанием о великой эпохе, все это казалось дурным сном. Чудилось, будто незримо пролетят столетия, и он очнется от кошмарных видений, взглянет на мир глазами потомков и вновь увидит про-



светленные лица настоящих людей. Увы, у Сципиона уже не хватало ни физических, ни моральных сил на признание того факта, что ничего не происходит само собою и за все нужно бороться.

Через некоторое время Публий уже мог самостоятельно совершать прогулки в пределах своих владений, и он подолгу бродил в лесу, удивленно любуясь оживающей природой. Возможность видеть все это казалась ему чудом, подарком его коварной, противоречивой судьбы, а может быть, даже и не подарком, а победой над судьбою. Эти живительно-зеленые деревья, пестрые, цветущие лужайки, холмы в прозрачных голубых покрывалах пляшущего от первого зноя воздуха, ярко-синие кампанские небеса отвоеваны у черной пустоты, это его трофеи, и он вправе радоваться им. Если год назад Публий восхищался зрелищем пробуждения земной жизни, будучи участником праздника весны, то теперь он походил здесь на гостя, прибывшего издалека. Сам он уже не принадлежал этому миру и смотрел на него со стороны. В том была прелесть такой созерцательности. Он знал, что недолго ему осталось видеть земные красоты, и сознание скорой смерти примиряло его с бездействием.

Взирая на чарующие усталую душу сельские пейзажи, Публий вспоминал, что именно о таких картинах бредили его раненые солдаты перед смертью. Большинство легионеров составляли крестьяне, родившиеся и прожившие долгие годы в деревне, потому родина запечатлелась в них именно в образе тучных полей, плодородных долин и синих гор вдалеке. Зеленые листья, зрелые колосья, пашня, ждущая семя, создавали основу, костяк их внутреннего мира, на который нанизывались все прочие впечатления. Потому в трудные моменты, когда страждущая душа как бы худела, теряя наслоения жизненной плоти, обнажался ее скелет, состоящий из самых первых и самых простых восприятий жизни, являющихся и самыми глубокими. У Публия же ранние впечатления были иного рода. Он вырос в Риме, и среду его обитания образовывали скопления разнообразных зданий – дешевых и незатейливых – частных, богатых и величественных – общественных – толпа на форуме, шум, энергичные голоса ораторов, фасцы магистратов, окаймленные пурпуром тоги, торжество триумфов и всенародный траур поражений, и все это – на фоне знаменитых римских холмов. Великое и малое срослось в единый ком сладкого воспоминания о первичной родине. И сейчас, отчаянно скучая именно по такой, очеловеченной и даже испорченной непомерной людскою скученностью природе, Публий прислушивался к раздающемуся где-то у самого горизонта памяти настырному, резкому, но по-своему мелодичному зазывному крику торговца орехами. Как раздражал его когда-то этот надоедливый голос, и как он



хотел бы услышать его вновь! Увы, опять – увы, которое теперь венчало все последние помыслы и душевные порывы Сципиона, путь в Рим к декорациям детства ему был заказан, правда, можно было бы поехать в Капую или Путеолы и полюбоваться городской толчеею там, но он не терпел подделок.

Однажды утром Публия разбудил такой переполох в доме, что он даже забыл, где находится, и представил себя в воинском лагере, подвергшемся внезапному нападению. Однако ликторов рядом с ним не оказалось, и он все вспомнил, а вспомнив, разгневался на рабов, посмевающих поднять шум. По его зову вбежал перепуганный слуга и сбивчиво объяснил, что на усадьбу напали разбойники.

Увы, италийское крестьянство так и не оправилось от ударов, нанесенных ему сначала Ганнибалом, а потом олигархами. Пунийское нашествие уничтожило традиционный хозяйственный уклад страны и расчистило гигантские территории для богачей, которые, купив эти земли, образовали на них латифундии с широким применением рабской силы. Вернувшиеся после войны к земледелию крестьяне в большинстве своем так и не смогли конкурировать с крупными хозяйствами, поскольку продукты рабского труда были всегда дешевле, чем плоды деятельности свободных людей, которым необходимо было обеспечивать не только воспроизводство собственных сил, но и содержать семьи. Потому крестьяне разорялись, уступали участки плантаторам в счет уплаты долгов и шли в города, чаще всего в столицу на должность попрошайки-клиента, так как в качестве батраков они тоже не могли соперничать с рабами. Многие же из них вспоминали боевое ремесло, которое в совершенстве постигли в дальних походах, и создавали разбойничьи шайки, добывая пропитание на больших и малых дорогах, а заодно мстя обидчикам-олигархам, вытеснившим их с земли. Вот такого рода стихийное воинство теперь атаковало усадьбу Сципиона.

Узнав в чем дело, Публий, не спеша умылся, оделся и только тогда прошел во двор, хотя на башнях его укреплений, традиционных для усадеб того времени, уже шел настоящий бой. Ворота сотрясались от ударов бревенчатых таранов, а за ними раздавались свирепые голоса, выкрикивающие: «Где он, этот Сципион Африканский? Где этот патриций из числа тех нобилей, кто не дает жить простому люду? Ишь, какую усадьбу отгрохал, прямо крепость! А вот мы сейчас пойдем на штурм! Пусть-ка славный император попробует воевать один, без солдат! Где он, ваш хваленый Африканский!»

Сципион приказал немедленно открыть ворота, и рабы, страшившиеся бандитов, но еще больше – строгого господина, поспешно выполнили его волю.



– Я здесь, – ровным спокойным голосом, но достаточно громко, как он обычно разговаривал с войском, произнес Сципион, представ перед шайкой.

– Я Публий Корнелий Сципион Африканский, – твердо сказал он чуть погодя, – а вы кто?

Разбойники оцепенели от неожиданности. Обычно их все боятся, а тут вдруг у них на пути в одиночку встает безоружный человек! «Не иначе, как здесь какая-то западня», – подумали головорезы.

Мгновенной растерянности бандитов хватило Сципиону, чтобы разобратся в ситуации и захватить инициативу. Не поворачивая головы, одним взглядом полководца, привыкшего иметь дело с людскою массой, он окинул всю шайку, без труда выявил главаря и повелевающим взором императора приковал его к месту. Смотря ему в глаза, Публий спросил:

– А ты кто такой?

Разбойник уже давно забыл свою фамилию, а поставить бандитскую кличку рядом с только что прозвучавшим именем не посмел. Он молчал, тупо соображая, как быть. Вид Сципиона и его тон вернули вожака к тому времени, когда он подчинялся, а не повелевал, и теперь старая привычка боролась в нем с новой. Его обезглавленное воинство озабоченно переводило взгляд со своего начальника на Сципиона и обратно. В этот момент у них в подсознании уже сформировалось мнение, кому следует подчиняться. Публий на мгновение оставил в покое главаря и тяжелым немигающим взором прошелся по лицам его дружков, затем снова вперился в свою жертву и требовательно спросил:

– Что вам здесь нужно?

Главарь облизал пересохшие губы и вдруг просиял.

– Посмотреть на тебя, император! – заявил он, счастливый от неожиданно произошедшего душевного переворота.

– Да, точно! – подхватили остальные грабители.

– А что, мы – не люди, не римляне? Нам тоже дорога слава Отечества, – пояснил вожак.

Сципион на мгновение смягчился, но, выдержав паузу, основанную на точном знании психологии масс, снова посуровел и решительно сказал:

– Посмотрели, и будет. Проваливайте прочь.

Он сделал три шага вперед, разбойники невольно отступили за пределы усадьбы, а слуги проворно закрыли ворота и с восхищением воззрились на своего господина, о значительности которого они не имели ни малейшего понятия, несмотря на годы, проведенные с ним рядом.

О нападении разбойников на литернскую виллу Сципиона и о неожиданном финале этого действия каким-то образом стало известно в Риме, и



народ пришел в движение. Простые люди в глубине души сохраняли добрые чувства, поскольку еще не были окончательно развращены общественным лицемерием, живя в эпоху, когда ложь являлась эпизодом, а не повседневной нормой, потому они раскаялись в неблагодарности по отношению к Сципиону. «Грабители и те ценят Публия Африканского, и те преклоняются перед ним, а мы что же...» – сетовали они. Используя эти настроения плебса, знать вознамерилась поправить свои дела в государстве и развернула кампанию за возвращение принцепса в Рим.

В тот год олигархия готовилась нанести аристократам сокрушительный удар и наступала развернутым фронтом. Одним из консулов был Порций, а другого, самого пробивного Порция – Катона прочили в цензоры, чтобы под предлогом борьбы за чистоту нравов расправиться с лидерами нобилитета. Появление на форуме Сципиона опрокинуло бы масштабные планы торгово-финансовой олигархии. Даже само воспоминание о принцепсе оживило народ и пошатнуло авторитет Катона. Поэтому вся предприимчивость предпринимателей обратилась на дело осквернения репутации соперника. Порциево племя, зарывшись крепкими носами в грязь, перепахало все идеологические помойки и извлекло на поверхность неимоверное количество гнили, каковую принялось метать в очнувшуюся от нокдауна прежних побоев совесть народа. Совесть опять свалилась за мертвое, а выхолащенные души людей теперь лишь удивлялись своим недавним добрым чувствам. Цари серебра и императоры злата небрежно поманили к себе трибуна Квинта Невия, по республиканскому обычаю все еще называвшемуся народным, и слегка позолотили ему руку, отчего его рот сразу же наполнился гноем, затем вытолкали начиненного ядом народного заступника на форум.

«Как допустили мы, квиниты, что опасный преступник, злейший враг Отечества Корнелий Африканский до сих пор разгуливает на свободе! – завопил он, выпучив глаза и тайком потирая золоченые руки. – Он укрылся от нас в Литерне и безнаказанно продолжает плести козни против государства. Он собирает шайки рабов и бандитов, чтобы с их помощью воцариться в Риме, а мы прозябаем! Как случилось, что он уже четвертый год ускользает от суда? Далее это продолжаться не может, и я, народный трибун Квинт Невий, заявляю, что своею трибунской властью доставлю сюда непомерно зазнавшегося нобилиа и подвергну его вашему суду! Некогда мы не побоялись к нему, тогда консулу, отправить комиссию в Сицилию, а теперь не можем извлечь его из зарослей литернского сада, где он, посмеиваясь над нашим благодушием, предается пирам и разврату!»

Развернулась масштабная борьба Корнелиев с олигархией и примкнувшим к ним Валериями и Фуриями. При активном пособничестве



Эмилии нобили наладили переписку со Сципионом и настойчиво просили его поскорее вернуться к активной жизни.

На какое-то время Публий заинтересовался этой идеей и даже начал обдумывать судебную речь против Невия. Правда, его память ослабла от долгих болезней и потому ему пришлось делать записи. Написав речь, он представил, как будет произносить ее перед озверевшим от лжи и злобы плебсом ради спасения всяческих Корнелиев, Эмилиев, Сервилиев, ставших ему почти столь же чуждыми, как и олигархи, ибо все они, независимо от политической принадлежности, должны были сгинуть вместе с деградирующим обществом, а представив, содрогнулся от отвращения. Увы, слишком многое пережил Сципион за последние время, и слишком отдалили его эти переживания от прежних соратников. Глядя на Рим с расстояния двух лет жестокого одиночества, он видел пропасть, разверзшуюся у римских холмов, и признавал всю бесполезность и ничтожность судорожной кутерьмы своих современников в попытках в одиночку или мелкими группами спастись от грядущего вслед за моральным кризисом физического краха общества.

До конца дня Сципион задумчиво ходил вдоль стены усадьбы, размышляя над создавшимся положением, а вечером заявил Эмилии, что отказывается простить сограждан и вернуться в Рим.

Миновав этот зигзаг, жизнь Сципиона вышла на финишную прямую. В Риме же Катоны да Невии еще некоторое время пошумели, но, убедившись, что грозный враг брезгает воевать с ними, забыли о его «азиатских злоупотреблениях», а также – о «царской надменности» и занялись насущными делами, то есть очередным переделом так или иначе материализованного престижа внутри государства, созданного под руководством Сципиона и его соратников.

С тех пор Публию стало как бы покойнее днем, но зато по ночам он томился бесцельностью жизни и спал плохо. И вот когда-то на пороге утра его постиг слишком явственный сон. Вначале ему послышался приглушенный говор до боли знакомых голосов, а затем он увидел, как к нему приближаются отец и мать: отец впереди, а мать чуть-чуть сзади и слева от него. «Публий!» – услышал он возглас отца и разом очнулся от наваждения сна. В тот же миг в ушах снова раздалось его имя, но уже произнесенное матерью. Голос отца был торжественен и значителен, тон матери – тревожный и виноватый.

– Да, иду! – откликнулся Публий, словно в далеком детстве, когда его будил кто-то из родителей, чтобы собираться в школу, но в тот же момент он окончательно проснулся и понял, что отзывать-то как раз и не следовало.



Да, Публий все понял и возблагодарил судьбу за то, что в этот день она сохранила ему силы и ясный рассудок. Было еще рано, рассвет только занимался, что тоже обрадовало его, поскольку предоставило возможность еще раз вкусить зрелище рождения дня. Он вышел во двор, прошел в сад, сел на скамейку и стал смотреть, как бледнеет, затем розовеет и наконец синеет небо. Вслед за свитой своих лучей из-за далеких Апеннин показалось багровое солнце, и будто гром раздался над Италией. «Вот она, музыка небесных сфер!» – воскликнул Публий и встал навстречу солнцу, ибо ему уже не нужно было экономить силы. Его обостренные чувства и впрямь восприняли краски зари, как рокот гласа богов.

Небесный оркестр сыграл перед ним увертюру последнего дня, и его душа наполнилась неизъяснимым блаженством.

С просветленным взором Публий возвратился в дом, расположился в таблине, куда уже долго не заглядывал, и обстоятельно привел в порядок необходимые документы, а также сделал записи относительно отпуска на волю наиболее добросовестных рабов.

Проставив в соответствующих местах папируса сумму приданого дочерям в пятьдесят талантов серебра, он задумался, сожалея, что не дожил до дней их свадьбы. Впрочем, женихи им уже давно были определены: это Публий Корнелий Сципион Назика младший, которого впоследствии назовут Разумным, и Тиберий Семпроний Гракх – один из самых честных молодых людей настоящего времени – потому за дочерей Сципион мог быть спокоен. Хуже выглядели перспективы сыновей, но Публий уже не имел возможности что-либо изменить, и оттого ему было грустно и в то же время легко. Он многое совершил в жизни, а многого не сумел или не успел сделать, однако теперь уже все долги с него сняты, он более не ответственен за живых. Душа обрела невесомость и потянулась ввысь, туда, где жарко сияет солнце, однако нет ни тепла, ни холода, ни света, ни тьмы.

Закончив последние дела, Сципион вернулся на улицу и жадно взглянул в небеса. Там неспешно проплывали его любимые белые кучевые облака, которые сегодня казались ему роднее собственных детей. Затем он пошел по лесу, принимая парад торжествующей в предчувствии лета природы. Завтра он уже не будет видеть всего этого. Может быть, он продлит свое существование в иной ипостаси, однако у него никогда больше не будет глаз, чтобы любоваться красками земли, не будет слуха, чтобы внимать музыке леса и моря, не будет кожи, способной ощущать свежее дыхание майского дня. Возможно, он станет некой идеей, но он навсегда лишится чувств, возможно, ему откроются новые пути познания, но он уже никогда не сможет наслаждаться красотой.



Однако, скорее всего, его ожидает непроницаемая мгла черной пустоты, в которой он сгинет навсегда со всеми своими талантами и знаниями, с совестью и честью.

Думая теперь о людях, Публий поражался тому, сколь жестоко они укорачивают собственную жизнь хлопотами надуманных забот, сколь обесценивают ее в погоне за фиктивными ценностями, как убивают самих себя, зарясь на чужое. Ему вдруг страстно захотелось обратиться ко всему человечеству с призывом образумиться и вернуться к достойному образу жизни, когда все получают от общества по заслугам: и добрые граждане, и порочные – что твердо ориентирует людей на стремление к добру. Это казалось таким естественным! Но беда в том, что если порядочные люди согласны и желают получать по заслугам, то порочные, у коих «заслуги» совсем иного рода, ни в коем случае не могут с этим смириться и потому мутят общество, стараясь перессорить между собою честных людей, посеять всеобщую вражду, развязать повседневную и повсеместную войну, дабы втихомолку лакомиться добычей. И, судя по всему, никакие призывы тут не помогут, а против силы нужна другая сила. Если же созидающее цивилизацию большинство не проявит воли к объединению с целью выработки коллективного сознания, способного обуздать паразитическое меньшинство, то и далее судьба будет вразумлять каждого по отдельности, проводя его через очистительные страдания смерти, чтобы не умеющие достойно жить люди хотя бы умирали как должно.

Ничего не мог напоследок сказать современникам Сципион, ибо не желающий понимать, никогда не поймет, и если двигатель порока – алчность, то самый удобный путь для его распространения – невежество. Потому Публий стал думать о другом и снова обратился к созерцанию земных красот – единственное надежное утешение в зыбком человеческом существовании.

Он опять вспомнил утренний визит почивших родителей и обрадовался этому видению как факту потустороннего бытия. Причем он начал припоминать, что в отдалении от отца и матери находилась целая группа призраков, наверное, манов рода Корнелиев. Это будто бы давало ему шанс на какую-то реализацию себя в ином мире. Но едва он успел обрадоваться, как его оптимизм остудила мысль о том, что сон, возможно, является всего лишь продуктом его страждущей души, предчувствующей конец.

«Нет, что-то от меня все же останется, – решил Сципион. – Но сохранюсь ли я как целое, как нечто, сознающее себя, или обращусь в обрывок идеи, лентой вплетенный в общий венок на могиле человечества?»

Ответа нужно было ждать еще несколько часов.



Обойдя дерево за деревом, куст за кустом свои лес и сад, Публий вернулся в дом, но тут же спохватился, что напрасно тратит время в душной темной комнате, и снова отправился в лес. Удивительное дело: он созерцал только что виденные картины с такой жадностью, словно не был здесь много лет. Оказалось, что последний взгляд столь же насыщен информацией и дорог сердцу, сколь и первый, а, пожалуй, даже превосходит его, поскольку в нем отражается все прошлое, связанное с объектом наблюдения. Потому Публий на одном дыхании повторил свой прощальный маршрут и только после этого, совсем обессилив, вытянулся прямо на траве, уже не заботясь о большой пояснице.

Находясь в расслабленном изнеможении, он все же старался не спать и занимал ум воспоминаниями детства. Но вдруг шлейф перво-зданной радости жизни, которой были наполнены эти ранние впечатления, оборвался, и он сообразил, что ведет себя слишком несерьезно, не-солидно, предаваясь в такой час столь незатейливым чувствам. Тут же он привел себе в пример Сократа, который умирал хотя и просто, но величественно. Однако Сократ в последние часы пребывал среди людей, более того, близких ему людей, среди своих учеников, являвшихся его продолжением здесь, в мире живых. А это совсем иное дело, нежели кончина в положении Сципиона, ибо трудно умирать, утратив веру в человечество, такая смерть не подводит итог жизни, а перечеркивает ее. Поэтому все соображения Публия, связанные с его человеческими делами, были отравлены разочарованием, и только природа не изменила ему, ныне она так же окружала его лаской, как и много лет назад, когда и люди славили его сверх всякой меры. В ответ на эту верность Публий дарил свое последнее внимание земле, траве, деревьям, птицам, горам, облакам и солнцу, с презрением отвергая все помыслы о людях.

И все же помимо его воли на дальнем плане памяти проносились сцены походов и битв в обманчивом сиянии славы. Он терял бдительность и погружался в эти видения, упивался грандиозным размахом запечатленных в них событий, но затем те же люди, которые творили рядом с ним славу эпохи, представляли его мысленному взору в нынешнем обличье беспринципных приспособленцев к пороку, и душу корчили рвотные судороги, заставляя ее вместе с этой мерзостью болезненно изрыгать все доброе и значительное, что довелось ему познать в жизни. Тогда он снова начинал старательно исследовать листья и травинки, находя в них, однако, по мере истечения дня, все меньше утешения.

После полудня силы Публия начали резко убывать, словно клонящееся к горизонту солнце уводило их с собою в неведомый мир вечной ночи. Он поторопился принять ванну, теперь уж точно в последний раз, переоделся в чистое белье и будто бы почувствовал себя готовым пред-



стать пред грозным ликом Орка, а в то же время – будто бы и нет... Его все более одолевало беспокойство, казалось, он забыл сделать что-то очень важное, а времени оставалось все меньше...

Вскоре страдания Публия о некой незавершенности земных дел потонули во мраке утомленья. Рабы отнесли его в дом и положили на ненавистное ложе.

После эффектной сцены с разбойниками слуги посчитали, что их господин бессмертен, что такой человек не может скончаться в постели, как все прочие люди, будь то сенаторы, плебеи, рабы или цари. Но теперь и они поняли, что развязка этой драмы с названием «Сципион» совсем близка. Они сообщили о происходящем Эмилии, которая как раз тогда ненадолго заехала в Литерн, и та, подойдя к ложу, сколько-то времени смотрела на умирающего. Ей уже давно все было ясно, более того, Сципион умер для нее еще тогда, когда отказался унизиться борьбою за выцветший общественный престиж. Потому теперь матрона относилась к нему так же, как относится кошка к ослабшему котенку, которого она отбрасывает от себя, чтобы не тратить на него молоко, нужное его братьям, инстинктивно понимая, что он уже не жилец. Но, несмотря на сухой голос рассудка, интерпретирующий происходящее как обыденное и задолго до того определенное явление, ей все же было тягостно видеть это зрелище. Потому Эмилия поторопилась уйти, а рабам приказала вызвать ее, когда начнется агония. Одновременно она повелела заложить карету в Рим за детьми, так как погребенье, согласно воле Сципиона, должно было состояться здесь, в Литерне. Неотлучно находящийся тут же в усадьбе старший сын в то время тяжело болел, и ему казалось, что сам он немалого переживет отца. Ввиду этого Публий мало уделял внимания умирающему, но все же каждый раз, когда доставало сил, подходил к его ложу. Сципион в таких случаях силился взять правую руку сына и с таким рукопожатием смотрел на него долгим запоминающим взором, надеясь пронести дорогой образ сквозь мрак потустороннего безвременья.

Несколько предвечерних часов Сципион провел в вязком тошнотворном полузабытьи, но затем смерть вновь отступила, в очередной раз не отважившись взвалить на себя столь огромную ношу. Последним усилием Публий встал и утренней тропею прошел в сад.

На востоке сгушалась серость, лишь верхушки Апеннин туманно белели, прощаясь с косыми солнечными лучами заходящего солнца, а Везувий на юге еще ярко выделялся гордыми очертаниями вулкана, на западе не виделось, а скорее угадывалось море. На север Сципион не смотрел, ибо там был Рим. Многоэтажные небеса, составленные сегодня высокими перистыми и более низкими кучевыми облаками, хищно красовались разноцветьем, словно только что растерзали в клочья радугу.



Этот день Сципиона оказался и очень долгим и одновременно слишком коротким. Утренние воспоминания о восходе солнца и о прогулках в саду теперь виделись настолько давними, что вставали в один ряд с впечатлениями детства, но все же этот огромный по теперешним его меркам отрезок жизни вышел пустым, не наполненным ни единым событием, достойным последнего дня, за исключением прощального рукопожатия с сыном, и оттого казался потерянным. «Как же так, ведь я видел зарю и знал, что передо мною простирается целая вечность восхитительного весеннего дня, и вот уже закат...» — думал Сципион.

Закат развевался над Италией во всей своей грозной красоте. Небосвод, разрисованный лихорадочно яркими мазками божественного живописца, походил на гигантское поле битвы. Там было сражение цветов, страдания красок, их вырождение и гибель.

Синева на подступах к горизонту бессильно меркла, белый цвет на кромках облаков медленно умирал, уступая место желтому, а того постепенно вытесняли розовые тона, но скоро они тоже багровели, словно от напряжения борьбы, и принимали агонистический сизый оттенок, затем темнели и становились мертвой чернотой. Круговорот эволюции и деградации красок перемещался по небосводу, торжествующая чернота наступала на горизонт, чтобы в конце концов похоронить под собою солнце.

Этот хоровод света во всем роскошестве своего спектра и мрака во всей его бездонной пустоте увлекал душу, и она вторила оркестру красок сладостной тоскующей мелодией лебединой песни.

Зачарованный Публий, не отрываясь, смотрел в вышину, внемля божественной музыке, пронизавшей все его существо и весь Космос, но вдруг содрогнулся от рыданий, раздавшихся в его душе. Ему предстал образ, подобного которому он еще не видел. Он словно наяву узрел, как от него уходит жизнь, принявшая почти телесное обличье изумительно прекрасной и желанной возлюбленной. Ему даже показалось, будто он схватил ее за руку, стараясь удержать, но она лишь слегка обернулась к нему и с укоризной во взоре беззвучно, на языке свободных душ произнесла: «Пусти. К чему это? Все кончено». Ему же захотелось крикнуть: «Постой! Давай, попробуем все сначала! Ведь я только сейчас узнал тебя по-настоящему, оценил по достоинству, и возлюбил всеми силами! Может быть, теперь мы сможем быть с тобою счастливы...» Но она, удрученная разочарованием, уже отвернулась и шагнула в небытие.

Взор Сципиона померк, душа омрачилась. Он понуро опустил голову, но вдруг почувствовал, что у него осталось лишь несколько мгновений, и, восторженно, посмотрел на север. Ему увиделся родной Палатин, далее — вершина славы — Капитолий, плебейский густонасе-



ленный Авентин, Марсово поле, Большой цирк, храмы, Бычий рынок, торговец орехами, форум... и могильный камень с надписью: «Да оставит тебя и прах мой, неблагодарное Отечество». Затем Публий взглянул на гаснущие небеса и сообразил, что та же картина сейчас наблюдается и в Риме, что тьма погребает в ночи и Палатин, и Капитолий, и форум... Тут же он представил себе Испанию, Сицилию, Нумидию, Карфаген, Элладу, Македонию, Азию – все страны, где ему довелось побывать, и также увидел их во тьме. Ночь широко и размашисто ступала по Средиземноморью. Его душу охватило зловещее и одновременно торжественное ощущение свидетеля глобальной трагедии.

В эти тревожно-величественные мгновенья первых аккордов ночного реквиема мир хоронил Сципиона, а он хоронил мир.

9 августа 1997 г



С Л О В А Р Ь

АВГУР – жрец римской коллегии, призванной на основании природных явлений (гром, молния, полет и голоса птиц и т. д.) угадывать волю богов и толковать ее для людей.

АГОРА – центральная площадь в греческих городах, на которой проходили народные собрания и другие общественные мероприятия.

АСС – медная римская монета.

АТРИЙ – главное помещение в римском доме.

АУСПИЦИИ – предсказания на основании поведения птиц.

БАЗИЛИКА – общественное здание с различного типа колоннадами в качестве стен.

БЕЛЛОНА – римская богиня войны. Храм Беллоны находился за пределами городской черты, поэтому там сенат принимал тех, кому был запрещен доступ в город: военачальников, сохранявших империй, иноземных послов.

ВАРВАР – в понятии греков и римлян любой чужеземец; иногда употреблялось с оттенком презрения как синоним слова дикарь.

ВЕЛИТЫ – одетые в холщовые доспехи, вооруженные дротиками, луками и пращами солдаты римского войска из числа беднейших граждан.

ВЕСТАЛКИ – жрицы римской богини домашнего очага и очага римской общины, поддерживавшие огонь в ее храме. Весталки должны были блюсти обет целомудрия.

ВСАДНИЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ – второе после сенаторского сословие в Риме, из представителей которого формировалась конница.

ГАРУСПИК – член жреческой этрусской коллегии, предсказывавшей будущее по внутренностям жертвенных животных.

ГАСТАТЫ – молодые солдаты, составлявшие первую линию легиона.

ДЕЦИМАЦИЯ – наказание провинившегося воинского подразделения в римской армии – казнь каждого десятого, определяемого жребием солдата.

ДИКТАТОР – римский магистрат, назначаемый консулом по постановлению сената в критической для государства ситуации; обладал почти абсолютной властью, концентрируя в себе полномочия всех прочих магистратов, кроме трибунских, однако его власть ограничивалась полугодовым сроком действия.



ИДЫ – середина месяца у римлян, тринадцатый или в некоторых месяцах пятнадцатый день месяца.

ИМПЕРАТОР – почетный титул, присваиваемый римскому полководцу солдатами как знак их особого почтения и доверия.

ИМПЕРИЙ – полная (военная и гражданская) власть высших римских магистратов.

КАЛЕНДЫ – начало месяца у римлян, первый день каждого месяца.

КАПИТОЛИЙСКАЯ ТРОИЦА – Юпитер, Юнона, Минерва – главные боги римского пантеона, общий храм которым стоял на Капитолии.

КВАДРИРЕМА – римское военное судно предположительно с четырьмя рядами весел.

КВЕСТОР – римский магистрат, заведующий финансами в самом Риме, войске или провинции.

КВЕСТОРИЙ – человек, исполнявший ранее должность квестора.

КВИНКВЕРЕМА – большое римское военное судно предположительно с пятью рядами весел.

КЛИЕНТЫ – категория граждан в Риме, зависимых от того или иного представителя нобилитета.

КОГОРТА – подразделение союзнической части римского войска.

КОЛОНИЯ – поселение, основанное гражданами какого-либо города. Жители римских колоний были полноправными гражданами Республики.

КОМИЦИИ – народные собрания в Риме.

КОМИЦИЙ – место на форуме, где проводились народные собрания.

КОНСУЛ – высший ординарный магистрат в Римской республике; во время войны командовал войском. Каждый год избирались два консула, хотя бы один из них должен был принадлежать плебейскому роду.

КОНСУЛЯР – бывший консул.

КУРИЯ – место собрания сената или само собрание как орган.

КУРУЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ – основные государственные магистратуры в Риме: консулат, претура, патрицианский эдилитет.

КУРУЛЬНОЕ КРЕСЛО – раскладной табурет для магистрата, являвшийся символом его государственной власти.

ЛАРЫ – божества, охранявшие дом и семью.

ЛАРВЫ – злые духи, или души умерших.

ЛЕГАТ – назначавшийся сенатом заместитель командующего римским войском.



ЛЕГИОН – крупное подразделение римской армии, состоявшее только из граждан и включавшее в себя 4200 пехотинцев и 300 всадников.

ЛЕГИОНЕР – воин легиона, поступавший в войско на правах гражданина-ополченца.

ЛЕКТИКА – носилки, используемые в качестве транспортного средства.

ЛИКТОР – должностное лицо при магистрате, в обязанности которого входила охрана магистрата и исполнение его поручений.

МАНИПУЛ (МАНИПУЛА) – подразделение римского легиона, состоявшее из двух центурий.

МАНЫ – души умерших.

МЕДИМН – мера емкости сыпучих тел, составляющая 52,5 литра.

МУНИЦИПИИ – города Италии, имевшие самоуправление, население которых пользовалось правами римского гражданства, за исключением права голоса.

НИМФЕЙ – павильон с фонтаном – святилище нимф.

НОБИЛИ – римская аристократия, знать консулярных родов.

НОНЫ – девятый день месяца до ид по римскому календарю, пятый или седьмой день от начала месяца.

ОВАЦИЯ – малый триумф.

ОЙКУМЕНА – у греков обитаемый мир.

ОЛИГАРХИЯ – форма вырождения аристократии.

ОРДИНАРНАЯ МАГИСТРАТУРА – обычная, регулярно исполняемая должность.

ОСТРАКИЗМ – осуждение на изгнание посредством голосования.

ОХЛОКРАТИЯ – крайняя, извращенная форма демократии, власть толпы.

ПАЛЛА – верхняя длинная одежда римлянок.

ПАТРОН – представитель знатного рода у римлян, взявший под защиту лиц более низкого происхождения (клиентов) и связанный с ними взаимными обязательствами.

ПЕПЛОС – женская греческая одежда, заколотая на плечах, справа открытая.

ПЕРИСТИЛЬ – прямоугольный двор, окруженный колоннадой. Являлся частью греческого, а позднее и римского дома.

ПОМЕРИЙ – священная черта вдоль стены Рима, отделявшая город от остального мира в религиозном и нравственном смысле.

ПОНТИФИКИ – главная жреческая коллегия в Риме, осуществлявшая надзор за деятельностью других коллегий.

ПОРТИК – галерея с колоннами, открытая с одной стороны.



ПРЕТЕКСТА – магистратская тога с пурпурной полосой. Ее также носили дети сенаторов.

ПРЕТОР – второй по значению после консула годовой магистрат, в обязанности которого входила судебная деятельность в Риме или управление провинцией.

ПРЕТОРИЙ – бывший претор.

ПРЕТОРИЙ – шатер римского полководца в лагере.

ПРЕФЕКТ – начальник, командующий. В частности, так назывались предводители союзнических подразделений в римской армии.

ПРИМИПИЛ – старший по рангу центурион в легионе.

ПРИНЦЕПС – сенатор, значившийся первым в списке сенаторов и соответственно первым высказывавшийся по обсуждаемым вопросам.

ПРИНЦИПЫ – опытные солдаты, составлявшие вторую линию легиона.

ПРОВИНЦИЯ – круг деятельности должностного лица, а также неиталийские области, подчиненные Риму.

ПРОКОНСУЛ (вместо консула) – лицо, исполнявшее обязанности консула вне Рима.

ПРОПРЕТОР – лицо, исполнявшее обязанности претора в какой-либо области вне Рима.

ПУБЛИКАНЫ – откупщики государственных доходов в провинциях.

ПУНИЙЦЫ – финикийцы в произношении римлян. Термин утвердился применительно к жителям африканских и испанских колоний Финикии.

ПЭАН – греческий гимн в честь Аполлона, который эллины пели также и перед сражением.

РЕТИАРИЙ – гладиатор, вооруженный сетью и трезубцем.

РОСТРЫ – ораторская трибуна на форуме, украшенная деталями носовых частей военных кораблей.

СЕНАТ (совет старейшин) – государственный орган, состоявший из бывших магистратов, который контролировал деятельность магистратов и определял пути внутренней и внешней политики.

СЕНАТОРСКОЕ СОСЛОВИЕ – высшее сословие в Риме.

СЕСТЕРЦИЙ – римская мелкая серебряная монета достоинством в 2,5 асса.

СОЮЗНИКИ – италийские подразделения римского войска. Реже используется как наименование для союзников из числа других народов.

СТИЛЬ – бронзовый заостренный стержень, которым писали на покрытой воском дощечке.

СТИПЕНДИЯ – солдатское жалованье у римлян.



ТАБЛИН – кабинет в римском доме.

ТАЛАНТ – мера веса, составляющая 26,2 кг.

ТЕРМЫ – римская баня.

ТОГА – римская мужская верхняя шерстяная одежда, представлявшая собою отрез ткани длиной более 5 метров и шириною 2 метра, оборачиваемый вокруг тела определенным образом.

ТРИАРИИ – ветераны, замыкавшие строй легиона.

ТРИБА – территориальный избирательный округ в Риме.

Трибун военный – офицер римской армии из сословия сенаторов или всадников. В легионе было 6 равнозначных трибунов, которые поочередно командовали легионом.

Трибун плебейский (народный) – городское должностное лицо в Риме, призванное соблюдать интересы плебса.

Трибунал – площадка в римском лагере перед шатром полководца.

Триера – греческое название военного корабля с тремя рядами весел.

Триклиний – столовая в римском доме.

Трирема – военное судно с тремя рядами весел.

Триумф – римское торжество в честь полководца-победителя.

Туника – римская одежда в виде рубашки длиной до колен.

Турма – конный отряд в римской армии, численностью в тридцать всадников.

Унция – мера веса, составлявшая 27,3 грамма.

Фалеры – военные награды у римлян в виде металлических блях.

Фасцы – пучок прутьев с воткнутым в него топориком, который ликторы несли перед римским магистратом как знак его власти. При пребывании магистрата в пределах померия топор из фасц вынимался, так как здесь магистрат был не властен над жизнью граждан.

Хитон – греческая одежда, подобная римской тунике.

Хора – область поселения какого-либо народа.

Цензор – римский магистрат, проводивший перепись и ревизию граждан, а также определявший стратегическое направление хозяйственной деятельности государства.

Центурия – единица имущественно-возрастной классификации римских граждан. Каждая центурия выставляла воинское подразделение численностью до ста человек.

Центурион – командир центурии. Центурионы подразделялись на несколько рангов (так, например, центурион первой центурии



манипула был старше по должности, чем центурион второй центурии, центурион принципов – старше центуриона гастатов). По социальному положению центурионы относились к солдатам.

ЭВОКАЦИЯ – религиозный обряд, посредством которого римляне призывали вражеских богов перейти на свою сторону.

ЭДИЛ – римский магистрат, отвечавший за городское хозяйство и общественную жизнь в городе.

ЭДИЛИЦИЙ – бывший эдил.

ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ МАГИСТРАТУРА – чрезвычайная должность в римском государственном аппарате, используемая в особых условиях для исполнения специальных, разовых мероприятий, например, диктатура, децемвир.

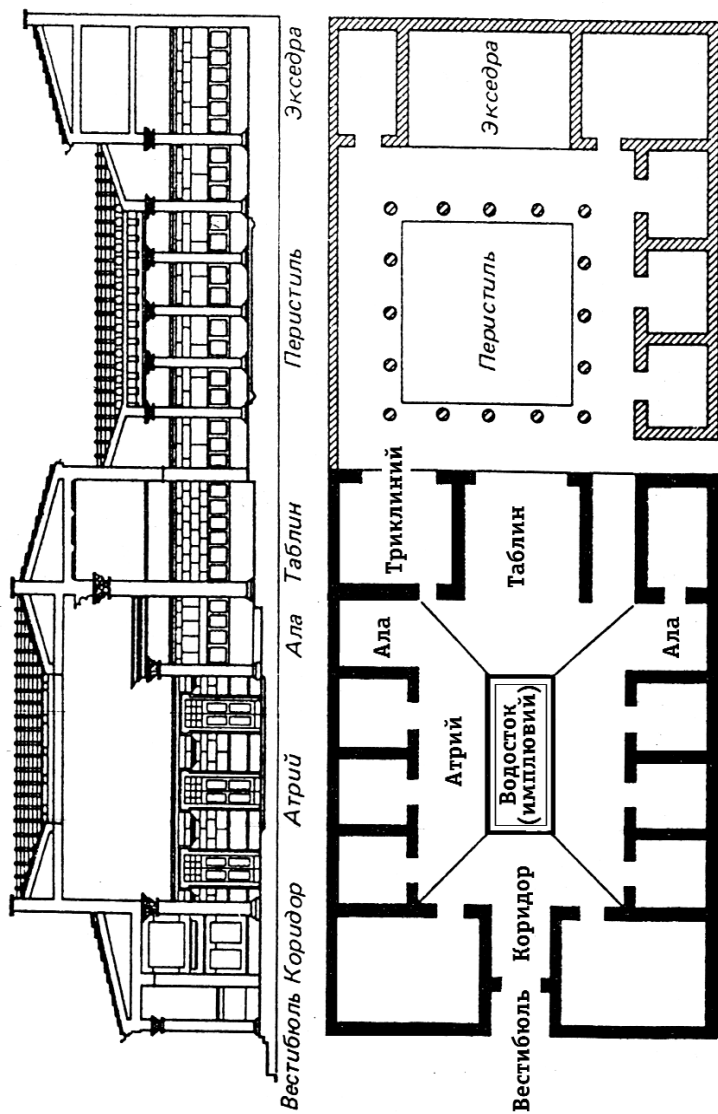
ЭНЕАТОР – военный музыкант в римской армии.

ЭРГАСТУЛ – тюрьма для рабов в римском поместье.

ЭРАРИЙ – римская государственная казна.



Филипп V

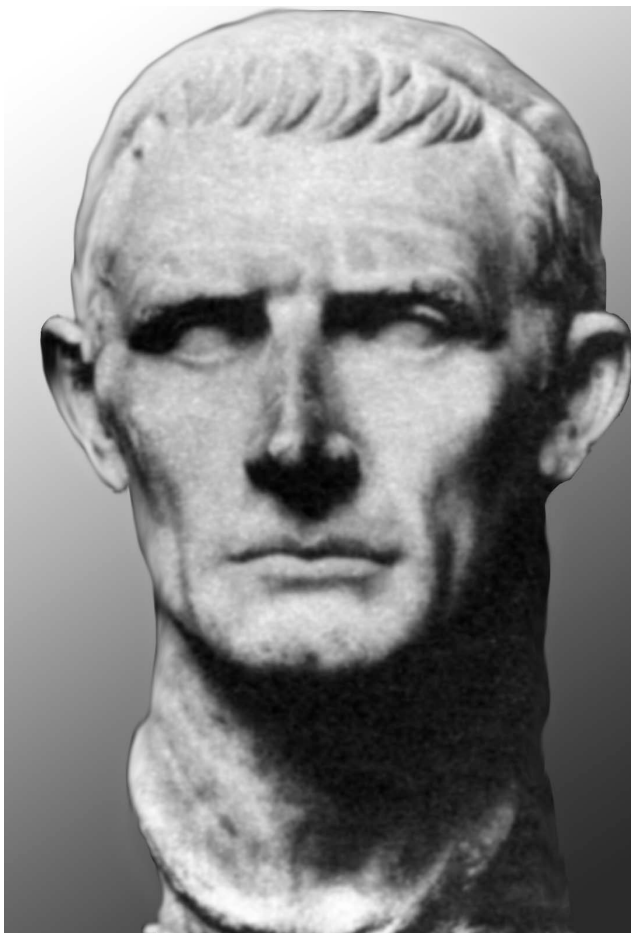


Продольное сечение и план римского дома

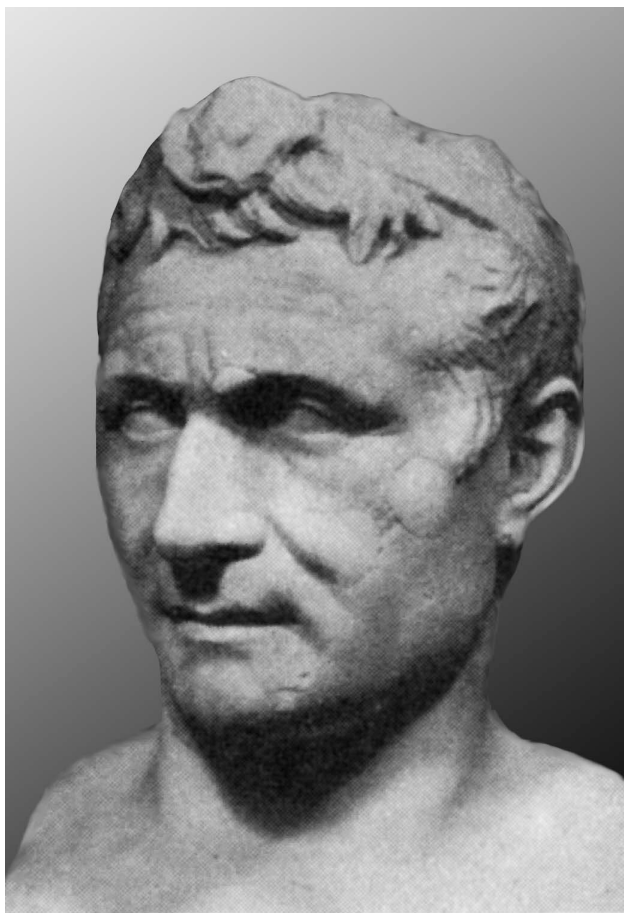


Греция





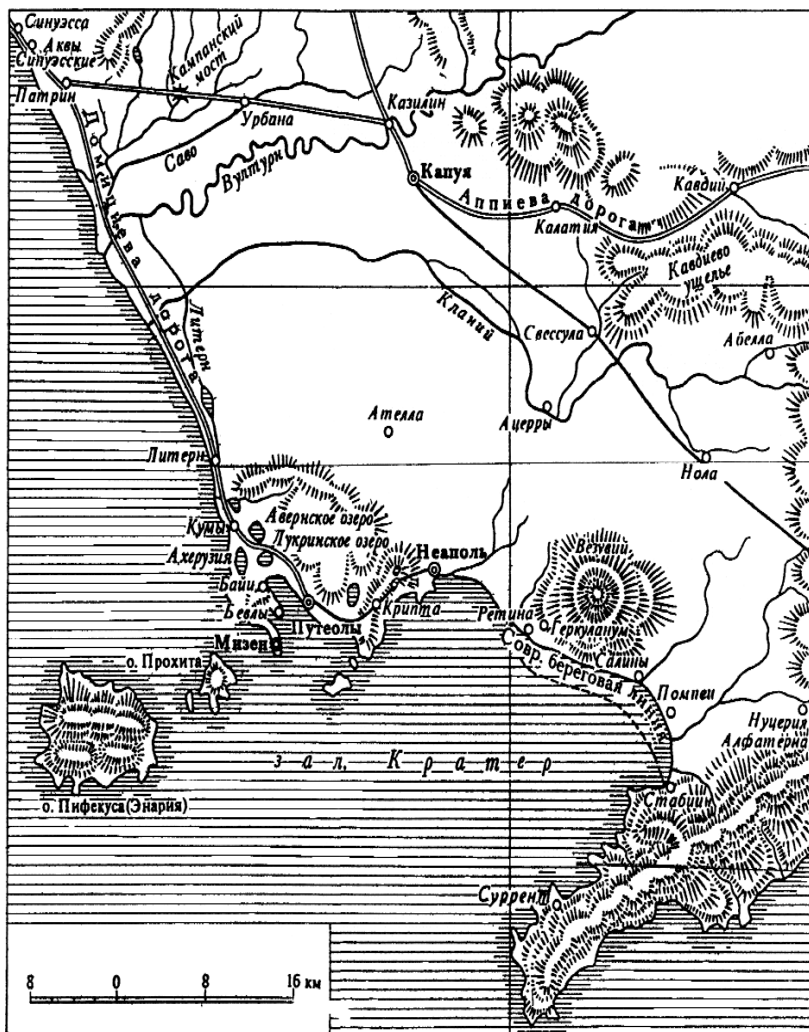
Антиох III. Париж, Лувр



Эвмен II. Ватикан



Аппиева дорога



Побережье Кампаний



Перечень иллюстраций

Римский Форум485
Филипп V486
Продольное сечение и план римского дома487
Греция488
Антиох III. Париж, Лувр490
Эвмен II. Ватикан491
Аппиева дорога492
Побережье Кампаньи493



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Слава	3
Борьба	88
Азия	244
Закат	320
Словарь	479
Перечень иллюстраций	494

Тубольцев Юрий Иванович

СЦИПИОН

Социально-исторический роман

Том II

В авторской редакции

Обложка, дизайн С.В.Захаров
Верстка Е.А.Ермолаева
Подписано к печати 15.02.2007
Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times»
Усл.печ. л. 31. Тираж 500 экз.
Заказ № 5
«Полиграф сервис»
103031 г. Москва,
ул. Рождественка, 27
тел: (495)623-3123
e-mail: pservice@pservice.ru
www.pservice.ru